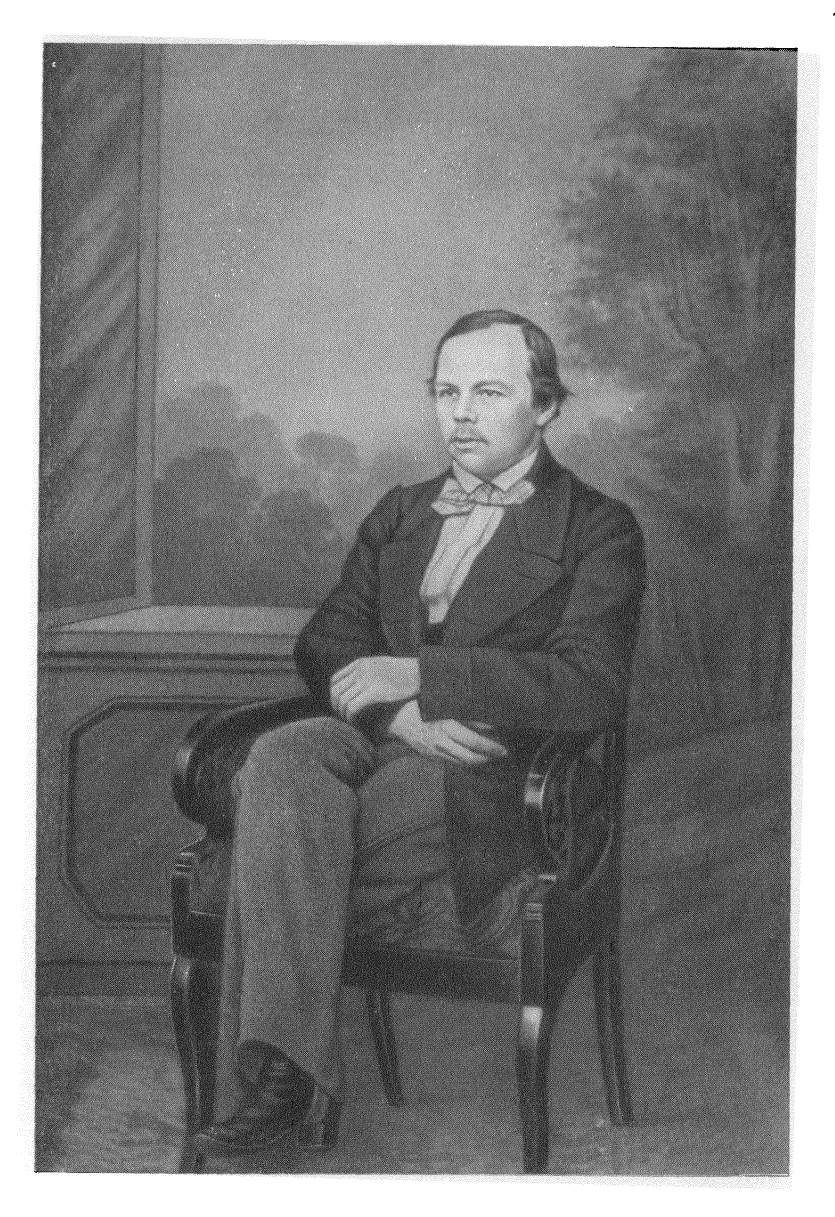


Ф. М. Достоевский.

Фотография конца 1850-х годов.

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ИНСТИТУТ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
(ПУШКИНСКИЙ ДОМ)



Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ТРИДЦАТИ ТОМАХ

* * *

ПУБЛИЦИСТИКА. ПИСЬМА

ТОМА XVIII—XXX

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ • ЛЕНИНГРАД
1978

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ

ТОМ ВОСЕМНАДЦАТЫЙ

СТАТЬИ И ЗАМЕТКИ

1845—1861

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ · ЛЕНИНГРАД
1978

Д $\frac{70301-520}{042(02)-78}$ Подписное

1845

«ЗУБОСКАЛ»

КОМИЧЕСКИЙ АЛЬМАНАХ, В ДВУХ ЧАСТЯХ (В 8-ю Д⟨ОЛЮ⟩ Л⟨ИСТА⟩), РАЗДЕЛЕННЫХ НА 12 ВЫПУСКОВ, ОТ 3-х до 5-ти ЛИСТОВ В КАЖДОМ, И УКРАШЕННЫХ ПОЛИТИПАЖАМИ

Прежде всего просим вас, господа благовоспитанные читатели нашего объявления, не возмущаться и не восставать против такого странного, даже затейливого, даже, быть может, неловко-затейливого названия предлагаемого вам альманаха... «Зубоскал»!.. Мы и без того уверены, что многие, даже и очень многие, отвергнут наш альманах единственно ради названия, ради заглавия; посмеются над этим заглавием, даже немного посердятся на него, даже обидятся, назовут «Зубоскал» анахронизмом, мифом, пуфом и, наконец, признают его чистою невозможностию. Главное же, назовут анахронизмом. «Как! Смеяться в наш век, в наше время, железное, деловое время, денежное время, расчетливое время, полное таблиц, цифр и нулей всевозможного рода и вида? Да и над чем, прошу покорно, смеяться вы будете? над кем смеяться прикажете нам? Как он будет, наконец, смеяться, ваш „Зубоскал"? Может ли, наконец, смеяться ваш „Зубоскал"? Действительно ли имеет к тому средства достаточные? А если и точно имеет достаточные средства, то зачем будет смеяться?.. именно вот зачем он будет смеяться? Конечно, — продолжают они, враги «Зубоскала», — конечно, смеяться можно, смеются все, отчего же не смеяться? — но смеются кстати, смеются при случае, смеются с достоинством, — не попусту *скалят зубы,* как вот здесь из одного заглавия вашего явствует, — одним словом, известно, как смеются... Ну, от удач там каких-нибудь смеются... ну, над резкостию какою-нибудь, выдающеюся из общего уровня, — ну, наконец... как вам сказать?.. ну, за преферансом смеются при счастии, в театре смеются, когда „Филатку" дают, — вот над чем смеются при случае, только не так, как здесь, а с достоинством, с приличием, а не пóходя, не скалят по заказу зубы, не острят через силу. Да и почему знать, не намерение ли здесь какое скрывается? — скажут в заключение те, которые любят во всем,

что до них не касается, видеть намерение, даже дурное намерение: — Не фальшь ли тут какая-нибудь; может быть, даже неблаговидный предлог к чему-нибудь, может быть, даже вольнодумство какое-нибудь... — гм! — может быть, очень может быть, — при нынешнем направлении особенно может быть. И наконец, грубое, немытое, площадное, нечесаное, мужицкое название такое — „Зубоскал“! Почему „Зубоскал“? Зачем „Зубоскал“? Что доказывает именно „Зубоскал“?»

Вот уж вы и осудили и обвинили, господа; обвинили, не выслушав! Погодите, послушайте! Мы вам объясним, что такое *Зубоскал,* долгом почтем прежде всего объясниться с вами. И приняв объяснение наше, вы, смеем уверить вас, непременно перемените свое мнение, может быть, даже с улыбкою благоволения встретите *Зубоскала,* даже полюбите его, даже, — как знать? — может быть, будете уважать его. Да и как не полюбить его, господа! *Зубоскал* — малый редкий в своем роде, единственный, — малый добрый, простой, незатейливый и, главное, с весьма небольшими претензиями. Ради этого одного обстоятельства, что он человек без претензий, ради этого одного он уже достоин всякого уважения. Посмотрите, оглянитесь кругом, — кто теперь без претензий? А? видите ли? А он вас не толкнет, не заденет, не затронет ничьей амбиции и никого не попросит посторониться. У него только одно честолюбие, одна лишь претензия — вас посмешить подчас, господа. Впрочем, из этого одного еще не следует, что он так вот и взялся, подрядился высиживать для почтеннейшей публики на немецкий лад посильную остроту. Нет; он зубоскалит, когда хочет, когда чувствует наклонность к тому, призвание; малый-то он такой, что за словцом в карман не полезет и для красного словца не пожалеет первейшего друга. Да уж если на то пошло, так мы и расскажем вам, кто он именно такой, наш *Зубоскал,* через какие дела перешел, какие дела совершил, что затевает он делать, — одним словом, обрисуем его вам с головы до пяток, как говорится.

Представьте себе человека еще молодого, подбирающегося, впрочем, к средним годам, веселого, бойкого, радостного, шумливого, игривого, крикливого, беззаботного, краснощекого, кругленького, сытненького, так что при взгляде на него рождается аппетит, лицо улыбкою расширяется, и даже самый солидный человек, очерствелый на службе человек, проведший, например, целое утро в канцелярии, проголодавшийся, желчный, рассерженный, осипший, охрипший, и тот, спеша на свой семейный обед, и тот, при взгляде на нашего героя, просветлеет душою и сознается, что можно весело этак на свете пожить и что свет не без радостей. Представьте же себе такого человека, — да! позабыли главное: мы расскажем вам вкратце его биографию. Во-первых, он родом, положим, москвич и, прежде всего, непре-

менно москвич, то есть размашист, речист, всегда с своей задушевной идеей, любит хорошо пообедать, поспорить, простоват, хитроват — словом, со всеми принадлежностями добрейшего малого... Но воспитывался он в Петербурге, непременно в Петербурге, и можно решительно сказать, что получил образование блестящее, современное. Впрочем, он прошелся везде: он всё знает, всё заучил и запомнил, всё схватил, везде был. Прикинулся было сначала человеком военным, понюхал потом и университетских лекций, узнал даже, что делается и в Медицинской академии и, что греха таить, даже забрался было и на Васильевский остров, в 4-ю линию, когда вдруг, ни с того ни с сего, увидел в себе художника, когда наука и искусство поманили было его золотым калачом. Впрочем, наука и искусство продолжались недолго, и герой наш, как водится, после этого засел в канцелярию (нечего делать!), где и пробыл изрядное время, то есть ровно два месяца, до самой той поры, в которую, при неожиданном повороте своих обстоятельств, очутился он вдруг владетелем неограниченным своей особы и своего состояния. С той поры он, заложив руки в карманы, ходит посвистывая и живет (извините, господа!) для себя самого.

Он, может быть, единственный фланер, уродившийся на петербургской почве. Он, как хотите, и молодой и уже не молодой человек. Много молодого опало, а нового едва привилось да засохло. Остался лишь смех, — смех, впрочем, смеем уверить вас, совершенно невинный, простой, беззаботный, ребяческий смех над всеми, над всем. Да и виноват ли он, в самом деле, что беспрерывно хочет смеяться? виноват ли он, что там, где вы видите дело серьезное, строгое, он видит лишь шутку; в ваших восторгах — свой Васильевский остров, в ваших надеждах и стремлениях — заблуждения, натяжку, чистый обман, в вашем твердом пути — свою канцелярию, а в вашей солидности — Варсонофья Петровича, своего бывшего начальника отделения, весьма, впрочем, почтенного человека. Виноват ли он, что видит изнанку кулис, когда вы видите лишь одну их сторону лицевую; виноват ли он, наконец, что весь, например, Петербург, с его блеском и роскошью, громом и стуком, с его бесконечными типами, с его бесконечною деятельностью, задушевными стремлениями, с его господами и сволочью — *глыбами грязи*, как говорит Державин, *позлащенной* и не позлащенной, аферистами, книжниками, ростовщиками, магнетизерами, мазуриками, мужиками и всякою всячиной, — представляется ему бесконечным, великолепным, иллюстрированным альманахом, который можно переглядывать лишь на досуге, от скуки, после обеда — зевнуть над ним или улыбнуться над ним. Да; после этого еще хорошо, что у нашего героя осталась способность смеяться, зубоскалить!.. По крайней мере, еще есть хоть польза какая-нибудь. Нерегулярная жизнь, впрочем, начала ему сильно надоедать с недавнего времени. Да и действительно, его так затормошили, растащили и употребляли во зло перед

публикою в иных романах, журналах, альманахах, фельетонах, газетах, что он серьезно решился быть теперь повоздержнее и действовать посолиднее... Для сей цели вздумал он было явиться перед публикою с особою книжкою своих заметок, мемуаров, наблюдений, откровений, признаний и т. д., и т. д. Но так как всё чересчур — значит некстати, так как самое лучшее блюдо в чрезмерном количестве может произвести индижестию, и так как он сам, наконец, враг несварения желудка, то и решился раздробить всю книжку на тетрадки...

Материалов у него бездна, времени — девать некуда. Мы говорили уже, что он нигде не служит, не знаком ни с какими департаментами, ни с какими канцеляриями, ведомствами, правлениями и архивами, даже не употреблялся никогда ни по чьим поручениям. Он, как сказали мы выше, заклятый враг индижестии. Прибавим еще, что он неутомимый ходок, наблюдатель, проныра, если понадобится, и знает свой Петербург как свои десять пальцев. Вы его увидите всюду — и в театре, и у подъезда театра, и в ложах, и за кулисами, и в клубах, и на балах, и на выставках, и на аукционах, и на Невском проспекте, и на литературных собраниях, и даже там, где вы вовсе не ожидали бы увидеть его, — в самых дальнейших закоулках и углах Петербурга. Он не брезгает ничем. Он везде с своим карандашом и лорнетом и тоненьким, сытненьким смехом. А вот и еще одно достоинство «Зубоскала»: первое дело и главнейшее дело у него — правда. Правда прежде всего. «Зубоскал» будет отголоском правды, трубою правды, будет стоять день и ночь за правду, будет ее оплотом, хранителем, и особенно теперь, когда, с недавнего времени, правда ему страх как понравилась. Впрочем, он иногда и приврет; отчего же не приврать? Он и приврет иногда — но только умеренно. Ведь со всеми случается; все любят приврать иногда; то есть не приврать — что мы! — обмолвились, но этак, знаете, сказать поцветистее. Ну вот и «Зубоскал» точно так же иногда что-нибудь тоже скажет метафорой, но зато если и соврет, то есть сметафорит, то сметафорит так, что будет совершенно похоже на правду, что выйдет не хуже иной правды, — вот будет как! А впрочем, во всяком случае, будет за правду стоять, до последней капли крови будет за правду стоять!

Во-вторых, «Зубоскал» будет врагом всяких личностей, даже будет преследовать личности. Так что Иван Петрович, например, прочитав нашу книжку, вовсе не найдет совершенно ничего предосудительного на свой счет, а зато найдет, может быть, кое-что щекотливое, впрочем, невинное, совершенно невинное о приятеле и сослуживце своем, Петре Ивановиче, и, обратно, Петр Иванович, читая ту же самую книжку, ровно ничего не найдет о себе, зато найдет кое-что об Иване Петровиче. Таким образом, оба они будут рады, и обоим им будет крайне весело. Уж это так «Зубоскал» устроит. Вот вы сами увидите, как он обделает подобное обстоятельство. И что всего удивительнее — сам, например,

Иван Петрович первый закричит, что о нем ровно нет ничего в нашей книжке и что не только нет ничего похожего, но что даже и тени нет никакой! Что неприличного и злокачественного там намека какого-нибудь — и намерения не было! А что если есть что-нибудь, то единственно разве про Петра Ивановича. Вот будет как! Итак, повторяем: правда прежде всего. «Зубоскал» будет жить правдой, отстаивать правду, подвизаться за правду, и — чего, впрочем, боже сохрани — если случится ему умереть, то он и умрет не иначе как за правду. Да! не иначе как за правду!

Но, может быть, и после всего, что мы сказали о характере «Зубоскала», о привычках его и наклонностях, даже о самом поведении, кто-нибудь спросит еще — каково же будет содержание нашей книги? чего должно надеяться от нее, чего не надеяться? На это лучшим ответом может служить первый выпуск «Зубоскала», долженствующий появиться не позже, как в первой половине ноября этого года. Но мы и теперь же готовы удовлетворить желание читателей. Повести, рассказы, юмористические стихотворения, пародии на известные романы, драмы и стихотворения, физиологические заметки, очерки литературных, театральных и всяких других типов, достопримечательные письма, записки, заметки о том, о сем, анекдоты, пуфы и пр., и пр., всё в том же роде, то есть в том роде, который соответствует нраву «Зубоскала» и кроме которого ни к какому другому роду он не чувствует в себе призвания. Таково будет содержание нашего альманаха. Некоторые статьи, по усмотрению своему, «Зубоскал» будет украшать политипажными рисунками, исполнение которых поручит лучшим петербургским граверам и рисовальщикам, а когда книга окончится, именно при двенадцатом и последнем выпуске, выдаст своим читателям великолепную иллюстрированную обертку, в которую и попросит читателей переплесть его произведение. «Зубоскал» считает нужным довести до сведения публики, что у него заготовлено много хороших рисунков и разнообразных статей, и потому он твердо уверен, что расстояние в выходе выпусков книжек никак не будет продолжительнее четырех недель. Таким образом, вся книга в год будет непременно окончена.

Наконец, еще об одном предмете... об одном важном, щекотливом предмете... «Зубоскал» так любит, так уважает, так высоко ценит своих читателей... своих будущих читателей (у него будут, непременно будут читатели!), что готов бы даже давать книгу свою даром, несмотря на неизбежные расходы на печатание, бумагу, картинки, — картинки, которые у нас достаются так трудно и дорого!.. Но, во-первых, принять подарок от него, от человека, у которого такой чин, что он боится даже объявить, какой у него чин, чтоб не лишиться уважения читателей, от человека, который... ну, который, словом, ничего больше, как зубоскал... не покажется ли обидным даже одно такое предположение?.. А во-вторых, есть и другая причина: как! давать книгу

даром в наш век, в наш век, как уже всякому известно, *положительный, меркантильный, железный, денежный?..* Не вернейший ли это способ *уронить* книгу, лишить ее читателей, которые бегут от всего, что им навязывают?.. Где же смысл? где такт?.. где, наконец, приличие?.. где чувство собственного достоинства?.. Такие-то причины обуздывают великодушие «Зубоскала». Итак, по соображении издержек на издание, с чувством собственного достоинства, скрепя сердце, «Зубоскал» объявляет, что он будет продавать себя по *1 руб. сер⟨ебром⟩ за выпуск* в книжных магазинах М. Ольхина, А. Иванова, П. Ратькова и Комп⟨ания⟩, А. Сорокина и других петербургских книгопродавцов. На пересылку прилагается за один фунт.

Зубоскал.

1847

ПЕТЕРБУРГСКАЯ ЛЕТОПИСЬ

⟨27 апреля⟩

Еще недавно я никак не мог себе представить петербургского жителя иначе как в халате, в колпаке, в плотно закупоренной комнате и с непременною обязанностию принимать что-нибудь через два часа по столовой ложке. Конечно, не всё же были больные. Иным болеть запрещали обязанности. Других отстаивала богатырская их натура. Но вот наконец сияет солнце, и эта новость бесспорно стоит всякой другой. Выздоравливающий колеблется; нерешительно снимает колпак, в раздумьи приводит в порядок наружность и наконец соглашается пойти походить, разумеется во всем вооружении, в фуфайке, в шубе, в галошах. Приятным изумлением поражает его теплота воздуха, какая-то праздничность уличной толпы, оглушающий шум экипажей по обнаженной мостовой. Наконец на Невском проспекте выздоравливающий глотает новую пыль! Сердце его начинает биться, и что-то вроде улыбки кривит его губы, доселе вопросительно и недоверчиво сжатые. Первая петербургская пыль после потопа грязи и чего-то очень мокрого в воздухе, конечно, не уступает в сладости древнему дыму отечественных очагов, и гуляющий, с лица которого спадает недоверчивость, решается наконец насладиться весною. Вообще в петербургском жителе, решающемся насладиться весною, есть что-то такое добродушное и наивное, что как-то нельзя не разделить его радости. Он даже, при встрече с приятелем, забывает свой обыденный вопрос: *что нового?* и заменяет его другим, гораздо более интересным: *а каков денек?* А уж известно, что после погоды, особенно когда она дурная, самый обидный вопрос в Петербурге — *что нового?* Я часто замечал, что, когда два петербургских приятеля сойдутся где-нибудь между собою и, поприветствовав обоюдно друг друга, спросят в один голос — *что нового?* — то какое-то пронзающее уныние слышится в их голосах, какой бы интонацией голоса ни начался разговор. Действительно, полная безнадежность налегла на этот петербургский вопрос. Но всего оскорбительнее то, что часто

спрашивает человек совсем равнодушный, коренной петербуржец, знающий совершенно обычаи, знающий заранее, что ему ничего не ответят, что нет нового, что он уже, без малого или с небольшим, тысячу раз предлагал этот вопрос, совершенно безуспешно и потому давно успокоился — но все-таки спрашивает, и как будто интересуется, как будто какое-то приличие заставляет его тоже участвовать в чем-то общественном и иметь публичные интересы. Но публичных интересов... то есть публичные интересы у нас есть, не спорим. Мы все пламенно любим отечество, любим наш родной Петербург, любим поиграть, коль случится: одним словом, много публичных интересов. Но у нас более в употреблении *кружки*. Даже известно, что весь Петербург есть не что иное, как собрание огромного числа маленьких кружков, у которых у каждого свой устав, свое приличие, свой закон, своя логика и свой оракул. Это, некоторым образом, произведенье нашего национального характера, который еще немного дичится общественной жизни и смотрит домой. К тому же для общественной жизни нужно искусство, нужно подготовить так много условий — одним словом, дома лучше. Тут натуральнее, не нужно искусства, покойнее. В кружке вам бойко ответят на вопрос — *что нового?* Вопрос немедленно получает частный смысл, и вам отвечают или сплетнею, или зевком, или тем, от чего вы сами цинически и патриархально зевнете. В кружке можно самым безмятежным и сладостным образом дотянуть свою полезную жизнь, между зевком и сплетнею, до той самой эпохи, когда грипп или гнилая горячка посетит ваш домашний очаг и вы проститесь с ним стоически, равнодушно и в счастливом неведении того, как это всё было с вами доселе и для чего так всё было? Умрешь в потемках, в сумерки, в слезливый без просвету день, в полном недоумении о том, как же это всё так устроилось, что вот жил же (кажется, жил), достиг кой-чего, и вот теперь так почему-то непременно понадобилось оставить сей приятный и безмятежный мир и переселиться в лучший. В иных кружках, впрочем, сильно толкуют о деле; с жаром собирается несколько образованных и благонамеренных людей, с ожесточением изгоняются все невинные удовольствия, как-то сплетни и преферанс (разумеется, не в литературных кружках), и с непонятным увлечением толкуется об разных важных материях. Наконец потолковав, поговорив, решив несколько общеполезных вопросов и убедив друг друга во всем, весь кружок впадает в какое-то раздражение, в какое-то неприятное расслабление. Наконец все друг на друга сердятся, говорится несколько резких истин, обнаруживается несколько резких и размашистых личностей и — кончается тем, что всё расползается, успокоивается, набирается крепкого житейского разума и мало-помалу сбивается в кружки первого вышеописанного свойства. Оно, конечно, приятно так жить; но наконец станет досадно, обидно досадно. Мне, например, потому досадно на наш патриархальный кружок, что в нем всегда образуется

и выделывается один господин, самого несносного свойства. Этого господина вы очень хорошо знаете, господа. Имя ему легион. Это господин, имеющий *доброе сердце* и не имеющий ничего, кроме *доброго сердца*. Как будто какая диковинка — иметь в наше время доброе сердце! Как будто, наконец, так нужно иметь его, это вечное доброе сердце! Этот господин, имеющий такое прекрасное качество, выступает в свет в полной уверенности, что его доброго сердца совершенно достанет ему, чтоб быть навсегда довольным и счастливым. Он так уверен в успехе, что пренебрег всяким другим средством, запасаясь в житейскую дорогу. Он, например, ни в чем не знает ни узды, ни удержу. У него всё нараспашку, всё откровенно.

Этот человек чрезвычайно склонен вдруг полюбить, подружиться и совершенно уверен, что все его тотчас же полюбят взаимно, собственно за один тот факт, что он всех полюбил. Его доброму сердцу никогда и не снилось, что мало полюбить горячо, что нужно еще обладать искусством заставить себя полюбить, без чего всё пропало, без чего жизнь не в жизнь, и его любящему сердцу, и тому несчастному, которого оно наивно избрало предметом своей неудержимой привязанности. Если этот человек заведет себе друга, то друг у него тотчас же обращается в домашнюю мебель, во что-то вроде плевательницы. Всё, всё, *какая ни есть внутри дрянь,* как говорит Гоголь, всё летит с языка в дружеское сердце. Друг обязан всё слушать и всему сочувствовать. Обманут ли этот господин в жизни, обманут ли любовницей, проигрался ли в карты, немедленно, как медведь, ломится он, непрошеный, в дружескую душу и изливает в нее без удержу все свои пустяки, часто вовсе не замечая того, что у друга у самого лоб трещит от собственной заботы, что у него дети померли, что случилось несчастье с женой, что, наконец, он сам, этот господин с своим любящим сердцем, надоел как хрен своему другу и что, наконец, деликатным образом ему намекают о превосходной погоде, которою можно воспользоваться для немедленной одинокой прогулки. Полюбит ли он женщину, он оскорбит ее тысячу раз своим натуральным характером, прежде чем заметит это в своем любящем сердце; прежде чем заметит (если только он способен заметить), что эта женщина чахнет от любви его, что, наконец, ей гадко, противно быть с ним и что он отравил всё существование ее благодаря муромским наклонностям своего любящего сердца. Да! только в уединении, в углу, и более всего в кружке, производится это прекрасное произведение натуры, этот *образец нашего сырого материала,* как говорят американцы, на который не пошло ни капли искусства, в котором всё натурально, всё чистый самородок, без узды и без удержу. Забывает да и не подозревает такой человек в своей полной невинности, что жизнь — целое искусство, что жить значит сделать художественное произведение из самого себя; что только при обобщенных интересах, в сочувствии к массе общества и к ее прямым непо-

средственным требованиям, а не в дремоте, не в равнодушии, от которого распадается масса, не в уединении может ошлифоваться в драгоценный, в неподдельный блестящий алмаз его клад, его капитал, его доброе сердце!

Господи боже мой! Куда это девались старинные злодеи старинных мелодрам и романов, господа? Как это было приятно, когда они жили на свете! И потому приятно, что сейчас, тут же под боком, был самый добродетельный человек, который, наконец, защищал невинность и наказывал зло. Этот злодей, этот tirano ingrato,[1] так и рождался злодеем, совсем готовый по какому-то тайному и совершенно непонятному предопределенью судьбы. В нем всё было олицетворением злодейства. Он был еще злодеем в чреве матери; мало того: предки его, вероятно предчувствуя его появление в мир, с намерением избирали *фамилию,* совершенно соответственную социальному положению будущего их потомка. И уж по одной фамилии вы слышали, что этот человек ходит с ножом и режет людей, так себе, ни за копейку режет, бог знает для чего. Как будто бы он был машиной, чтоб резать и жечь. Хорошо это было! По крайней мере понятно! А теперь бог знает об чем говорят сочинители. Теперь, вдруг, как-то так выходит, что самый добродетельный человек, да еще какой, самый неспособный к злодейству, вдруг выходит совершенным злодеем, да еще сам не замечая того. И что досадней всего, некому заметить того, некому того рассказать ему, и смотришь, он живет долго, почтенно и умирает наконец в таких почестях, в таком восхваленьи, что завидно становится, часто искренно и нежно оплакиваемый, и что смешнее всего, оплакиваемый своею же жертвою. А несмотря на то, на свете иногда бывает столько благоразумия, что решительно не понимаешь, каким это образом могло оно всё между нас поместиться? Столько его наделано в досужий час, для счастья людей! Вот хоть бы, например, случай на днях: мой хороший знакомый, бывший доброжелатель и даже немножко покровитель мой, Юлиан Мастакович намерен жениться. Истинно сказать, трудно жениться в более благоразумных летах. Он еще не женился, ему еще три недели до свадьбы; но каждый вечер надевает он свой белый жилет, парик, все регалии, покупает букет и конфеты и ездит нравиться Глафире Петровне, своей невесте, семнадцатилетней девушке, полной невинности и совершенного неведенья зла. Одна уже мысль о последнем обстоятельстве наводит самую слоеную улыбочку на сахарные уста Юлиана Мастаковича. Нет, даже приятно жениться в подобных летах! По-моему, уж если всё говорить, даже неблагопристойно делать это в юношестве, то есть до тридцати пяти лет. Воробьиная страсть! А тут, когда человеку под пятьдесят, — оседлость, приличие, тон, округленность физическая и нравственная — хорошо, право хорошо! и какая идея! человек жил, долго жил, и наконец стяжал... И по-

---

[1] тиран поневоле (*лат.*).

тому я был в совершенном недоумении, зачем это на днях Юлиан Мастакович ходил по вечеру в своем кабинете, заложа руки за спину, с таким тусклым и грязновато-кислым видом в лице, что если б в характере того чиновника, который сидел в углу того ж кабинета, пристроенный ко стопудовому спешному делу, было хоть что-нибудь пресного, то тотчас закисло бы, неминуемым образом, от одного взгляда его покровителя. Я только теперь понял, что это было такое. Мне бы даже не хотелось рассказывать; такое пустое, вздорное обстоятельство, которое и в расчет не придет благородно мыслящим людям. В Гороховой, в четвертом этаже на улицу, есть одна квартира. Я еще когда-то хотел нанять ее. Квартиру эту снимает теперь одна заседательша; то есть она была заседательшей, а теперь она вдова и очень хорошая молодая дама; вид ее очень приятен. Так вот Юлиан Мастакович всё терзался заботой, каким бы образом сделать так, чтобы, женившись, по-прежнему ездить, хотя и пореже, по вечерам к Софье Ивановне, с тем чтобы говорить с нею об ее деле в суде. Софья Ивановна вот уже два года, как подала одну просьбу, и ходатаем за нее Юлиан Мастакович, у которого очень доброе сердце. Оттого-то такие морщины и набегали на солидное чело его. Но наконец он надел свой белый жилет, взял букет и конфеты и с радостным видом поехал к Глафире Петровне. «Бывает же такое счастье у человека, — думал я, — вспоминая о Юлиане Мастаковиче! Уже в цвете преклонных лет своих человек находит подругу, совершенно его понимающую, девушку семнадцати лет, невинную, образованную и только месяц вышедшую из пансиона. И будет жить человек, и проживет человек в довольстве и счастьи!» Зависть взяла меня! На ту пору день был такой грязный и тусклый. Я шел по Сенной. Но я фельетонист, господа, я должен вам говорить об новостях самых свежих, самых *животрепещущих* — пришлось употребить этот старинный, почтенный эпитет, вероятно созданный в той надежде, что петербургский читатель так и затрепещет радостью от какой-нибудь животрепещущей новости, например, что *Женни Линд* едет в Лондон. Да что *Женни Линд* петербургскому читателю! У него своего много такого... Но своего нет, господа, решительно нет. Я вот шел по Сенной да обдумывал, что бы такое написать. Тоска грызла меня. Было сырое туманное утро. Петербург встал злой и сердитый, как раздраженная светская дева, пожелтевшая со злости на вчерашний бал. Он был сердит с ног до головы. Дурно ль он выспался, разлилась ли в нем в ночь желчь в несоразмерном количестве, простудился ль он и захватил себе насморк, проигрался ль он с вечера как мальчишка в картишки до того, что пришлось на утро вставать с совершенно пустыми карманами, с досадой на дурных, балованых жен, на ленивцев-грубиянов детей, на небритую суровую ораву прислужников, на жидов-кредиторов, на негодяев советников, наветников и разных других наушников — трудно сказать; но только он сердился так, что грустно было

смотреть на его сырые, огромные стены, на его мраморы, барельефы, статуи, колонны, которые как будто тоже сердились на дурную погоду, дрожали и едва сводили зуб об зуб от сырости, на обнаженный мокрый гранит тротуаров, как будто со зла растрескавшийся под ногами прохожих, и наконец, на самых прохожих, бледно-зеленых, суровых, что-то ужасно сердитых, большею частию красиво и тщательно выбритых и поспешавших туда и сюда исполнить обязанности. Весь горизонт петербургский смотрел так кисло, так кисло... Петербург дулся. Видно было, что ему страх как хотелось сосредоточить, как это водится в таких случаях у иных гневливых господ, всю тоскливую досаду свою на каком-нибудь подвернувшемся постороннем третьем лице, поссориться, расплеваться с кем-нибудь окончательно, распечь кого-нибудь на чем свет стоит, а потом уже и самому куда-нибудь убежать с места и ни за что не стоять более в Ингерманландском суровом болоте. Даже самое солнце, отлучавшееся на ночное время вследствие каких-то самых необходимых причин к антиподам и спешившее было с такою приветливою улыбкою, с такою роскошной любовью расцеловаться с своим больным, балованым детищем, остановилось на полдороге; с недоумением и с сожалением взглянуло на недовольного ворчуна, брюзгливого, чахлого ребенка и грустно закатилось за свинцовые тучи. Только один луч светлый и радостный, как будто выпросясь к людям, резво вылетел на миг из глубокой фиолетовой мглы, резво заиграл по крышам домов, мелькнул по мрачным, отсырелым стенам, раздробился на тысячу искр в каждой капле дождя и исчез, словно обидясь своим одиночеством, — исчез, как внезапный восторг, ненароком залетевший в скептическую славянскую душу, которого тотчас же и устыдится и не признает она. Тотчас же распространились в Петербурге самые скучные сумерки. Бил час пополудни, и городские куранты, казалось, сами не могли взять в толк, по какому праву принуждают их бить такой час в такой темноте.

Тут мне встретилась погребальная процессия, и я тотчас в качестве фельетониста вспомнил, что грипп и горячка — почти современный петербургский вопрос. Это были пышные похороны. Герой всего поезда, в богатом гробе, торжественно и чинно, ногами вперед отправлялся на самую удобную в свете квартиру. Длинный ряд капуцинов, ломая пудовыми сапогами рассыпанный ельник, чадил смолой на всю улицу. Шляпа с плюмажем, помещенная на гробе, этикетно гласила прохожим о чине сановника. Регалии текли вслед за ним на подушках. Возле гроба плакал навзрыд неутешный, уже весь поседевший полковник, должно быть зять умершего, может быть и двоюродный брат. В длинном ряду карет мелькали, как водится, натянуто-траурные лица, шипела неумирающая сплетня и весело смеялись дети в белых плёрезах. Мне стало как-то тоскливо, досадно, и я, которому распекать совершенно некого, с самою распекающею миною

и даже с глубоко обиженным видом приветствовал любезность одного флегматически-разбитого, на все четыре ноги, коня, стоявшего смирно в ряду, уже давно дожевавшего последний клок сена, украденный с соседнего воза, и решившегося от нечего делать сострить, то есть выбрать самого сурового и занятого прохожего (за которого он, вероятно, принял меня), легонько ухватить за воротник или рукав, потянуть к себе, и потом, как будто ни в чем ни бывало, показать мне, вздрогнувшему и вспрянувшему от тоскливой утренней думы, свою добродетельную и бородатую морду. Бедная кляча! Я пришел домой и расположился было писать мою летопись, но, сам не зная как, раскрыл журнал и начал читать одну повесть.

В этой повести описывалось одно московское семейство среднего, темного круга. Там толковалось тоже и про любовь, но про любовь я не люблю читать, господа, не знаю как вы. И я как будто перенесся в Москву, в далекую родину. Если вы не читали этой повести, господа, то прочтите ее. Что же в самом деле, что же такого сказать вам нового, лучшего? Что на Невском проспекте процветают новые омнибусы, что Нева занимала всех всю неделю, что в салонах еще продолжают зевать, в положенные дни, с нетерпением ожидая лета. Это, что ли? Но вам это уже давно наскучило самим, господа. Вы вот прочли описание одного северного утра. Не правда ли; ведь довольно тоски? Так прочтите в ненастный час, в такое же ненастное утро, эту повесть об маленьком московском семействе и об разбитом фамильном зеркале. Я как будто видел еще в моем детстве эту бедную Анну Ивановну, мать семейства, да и Ивана Кирилыча знаю. Иван Кириллович добрый человек, только под веселый час, под куражом, любит разные шуточки. Вот, например, жена его больная и всё смерти боится. А он при людях начнет смеяться и стороною, для шутки, речь заводит, как он в другой раз женится, когда овдовеет. Жена крепится, крепится, засмеется, с натуги, что делать, такой уж характер у мужа. Вот разбился чайник; правда, денег стоит; но при людях все-таки совестно, когда муж начнет стыдить и попрекать за неловкость. Вот настала и масляница. Ивана Кирилловича не было дома. Собралось на вечер, как будто украдкой, много молодых подружек к старшей дочери Оленьке. Тут было тоже много молодых мужчин, были такие резвые дети; был еще один Павел Лукич, который так и просится в роман Вальтер Скотта. Взбаламутил всех этот Павел Лукич и затеял в жмурки играть. Как будто предчувствовала больная Анна Ивановна; но увлеченная общим желанием разрешила жмурки. Ах, господа, точно пятнадцать лет назад, когда я сам играл в жмурки! Что за игра! И этот Павел Лукич! Недаром Сашенька, черноглазая Оленькина подружка, шепчет, прижимаясь к стене, и дрожа от ожидания, что она пропала. Так страшен Павел Лукич, а он с завязанными глазами. Случилось так. что меньшие дети забились в угол под стул и зашумели у зеркала. Павел Лукич

ринулся на шум, зеркало покачнулось, сорвалось с ржавых петель, через его голову полетело на пол и разбилось вдребезги. Ну! когда я читал, как будто я разбил это зеркало! будто я был во всем виноват. Анна Ивановна побледнела; все разбежались, на всех напал панический страх. Что-то будет? Я с нетерпением и страхом ожидал прихода Ивана Кирилловича. Я думал об Анне Ивановне. Вот в полночь он возвратился хмельной. Навстречу ему на крыльцо вышла змея-наушница бабушка, московский старинный тип, и что-то нашептала, вероятно о приключившемся *несчастии*. Сердце мое начало биться, и вдруг гроза началась, сначала с шумом и громом, потом стихая, стихая; я услышал голос Анны Ивановны, что-то будет? Через три дня она лежáла в постели, через месяц умерла в злой чахотке. Так как же так, от разбитого зеркала? Да разве это возможно? Да; а однако ж, она умерла. Какая-то диккенсовская прелесть разлита в описании последних минут этой тихой, безвестной жизни!

Хорош и Иван Кириллович. Он почти с ума сошел. Он сам бегал в аптеку, ссорился с доктором и всё плакал о том, на кого это жена его оставляет! Да, много припомнилось. В Петербурге тоже очень много таких семейств. Я лично знал одного Ивана Кирилловича. Да и везде их довольно. Я к тому заговорил, господа, об этой повести, что сам намерен был вам рассказать одну повесть... Но до другого разу. А кстати, о литературе. Мы слышали, что многие очень довольны зимним литературным сезоном. Крику не было, особенной бойкости и споров зуб за зуб тоже; хотя явилось несколько новых газет и журналов. Всё как-то делается серьезнее, строже; во всем более стройности, зрелости, обдуманности и согласия. Правда, книга Гоголя наделала много шуму в начале зимы. Особенно замечателен единодушный отзыв о ней почти всех газет и журналов, постоянно противоречащих друг другу в своем направлении.

Виноват, забыл главное. Всё время, как рассказывал, помнил, да вышло из памяти. Эрнст дает еще концерт; сбор будет в пользу Общества посещения бедных и Германского благотворительного общества. Мы и не говорим, что театр будет полон, мы в этом уверены.

⟨11 мая⟩

Знаете ли, господа, сколько значит, в обширной столице нашей, человек, всегда имеющий у себя в запасе какую-нибудь новость, еще никому не известную, и сверх того обладающий талантом приятно ее рассказать? По-моему, он почти великий человек; и уж бесспорно, иметь в запасе новость лучше, чем иметь капитал. Когда петербуржец узнает какую-нибудь редкую новость и летит рассказать ее, то заране чувствует какое-то духовное сладострастие; голос его ослаб и дрожит от удовольствия; и сердце его как будто купается в розовом масле. Он, в эту

минуту, покамест еще не сообщил своей новости, покамест стремится к приятелям через Невский проспект, разом освобождается от всех своих неприятностей; даже (по наблюдениям) излечивается от самых закоренелых болезней, даже с удовольствием прощает врагам своим. Он пресмирен и велик. А отчего? Оттого, что петербургский человек в такую торжественную минуту познает всё достоинство, всю важность свою и воздает себе справедливость. Мало того. Я, да и вы, господа, вероятно, знаем много господ, которых (если б только не настоящие хлопотливые обстоятельства) уж ни за что не пустили бы вы в другой раз в переднюю, в гости к своему камердинеру. Скверно! Господин сам понимает, что он виноват, и очень похож на собачонку, которая опустила хвост и уши и ждет обстоятельств. И вдруг настает минута; этот же самый господин звонит к вам бодро и самодовольно, проходит мимо удивленного лакея, непринужденно и с сияющим лицом подает вам руку, и вы познаете тотчас, что он имеет полное право на то, что есть новость, сплетня или что-нибудь очень приятное; не смел же бы войти к вам без такого обстоятельства такой господин. И вы не без удовольствия слушаете, хотя, может быть, совсем не похожи на ту почтенную светскую даму, которая не любила никаких новостей, но с приятностию выслушала анекдот, как жена, учившая детей по-английски, высекла мужа.*

Сплетня вкусна, господа! Я часто думал: что, если б явился у нас в Петербурге такой талант, который бы открыл что-нибудь такое новое для приятности общежития, чего не бывало еще ни в каком государстве, — то, право не знаю, до каких бы денег дошел такой человек. Но мы всё пробиваемся на наших доморощенных занимателях, прихлебателях и забавниках. Есть мастера! Чудо как это создана человеческая натура! Вдруг, и ведь вовсе не из подлости, человек делается не человеком, а мошкой, самой простой маленькой мошкой. Лицо его переменяется и покрывается влагой не влагой, а каким-то особенным сияющим колоритом. Рост его делается вдруг не в пример ниже вашего. Самостоятельность совершенно уничтожается. Он смотрит вам в глаза ни дать ни взять, как мопка, ожидающая подачки. Мало того, несмотря на то, что на нем превосходнейший фрак, он, в припадке общежития, ложится на пол, бьет радостно хвостиком, визжит, лижется, не ест подачку до слова: *есть*, гнушается жидовским хлебом и, что смешнее всего, что приятнее всего, нисколько не теряет достоинства. Он сохраняет его, свято и неприкосновенно, даже в вашем собственном убеждении, и всё это происходит натуральнейшим образом. Вы, конечно, Регул честности, по крайней мере Аристид, одним словом, умрете за правду. Вы видите насквозь своего человечка. Человечек, с своей стороны, убеждает, что он совершенно сквозит; — а дело идет как по маслу, и вам хорошо, и человечек не теряет достоинства.

* Гоголь.

Дело в том, что он хвалит вас, господа. Оно, конечно, не хорошо, что вас хвалит в глаза; это досадно, это гадко; но наконец вы замечаете, что человек умно хвалит, что именно указывает на то, что вам самим очень нравится в вашей особе. Следовательно, есть ум, есть такт, есть даже чувство, есть сердцеведенье; ибо признает он в вас даже и то, в чем, может быть, свет отказывает вам, разумеется несправедливо, по зависти. Почем знать, говорите вы наконец, может быть, он не льстец, а так только, слишком наивен и искренен; к чему, наконец, с первого разу отвергать человека? — И такой человек получает всё, что хотелось ему получить, как тот жидок, который молит пана, чтоб он не купил его товару, нет! Зачем покупать? — Чтоб пан только взглянул в его узелок для того хоть, чтоб только поплевать на жидовский товар и уехать бы далее. Жид развертывает, и пан покупает всё, что жидку продать захотелось. И опять-таки вовсе не из подлости действует столичный наш человечек. Зачем громкие слова! Вовсе не низкая душа; — душа умная, душа милая, душа общества, душа, желающая получить, ищущая душа, светская душа, правда, немного вперед забегающая, но все-таки душа, — не скажу как у всех, как у многих. И потому еще это всё так хорошо, что без нее, без такой души, все бы умерли с тоски или загрызли друг друга. Двуличие, изнанка, маска — скверное дело, согласен, но если б в настоящий момент все бы явились, как они есть на лицо, то, ей-богу, было бы хуже.

И все эти полезные размышления пришли мне на ум в то самое время, когда Петербург вышел в Летний сад и на Невский проспект показать свои новые весенние костюмы.

Боже! об одних встречах на Невском проспекте можно написать целую книгу. Но вы так хорошо знаете обо всем этом по приятному опыту, господа, что книги по-моему не нужно писать. Мне пришла другая идея: именно то, что в Петербурге ужасно мотают. Любопытно знать, много ли таких в Петербурге, которым на всё достает, то есть людей, как говорится, совершенно достаточных? Не знаю, прав ли я, но я всегда воображал себе Петербург (если позволят сравнение) младшим, балованым сынком почтенного папеньки, человека старинного времени, богатого, тароватого, рассудительного и весьма добродушного. Папенька наконец отказался от дел, поселился в деревне и рад-рад, что может в своей глуши носить свой нанковый сюртук без нарушения приличия. Но сынок отдан в люди, сынок должен учиться всем наукам, сынок должен быть молодым европейцем, и папенька, хотя только по слухам слышавший о просвещении, непременно хочет, чтобы сынок его был самый просвещенный молодой человек. Сынок немедленно схватывает верхи, пускается в жизнь, заводит европейский костюм, заводит усы, эспаньолку, и папенька, вовсе не замечая того, что у сынка в то же самое время заводится голова, заводится опытность, заводится самостоятельность, что он, так или не так, хочет жить сам собою и в двадцать лет узнал даже

на опыте более, нежели тот, живя в прадедовских обычаях, узнал во всю свою жизнь; в ужасе видя одну эспаньолку, видя, что сынок без счету загребает в родительском широком кармане, заметя наконец, что сынок немного раскольник и себе на уме, — ворчит, сердится, обвиняет и просвещенье и Запад и, главное, досадует на то, что «курицу начинают учить ее ж яйца». Но сынку нужно жить, и он так заспешил, что над молодой прытью его невольно задумаешься. Конечно, он мотает довольно резво.

Вот, например, кончился зимний сезон, и Петербург, по крайней мере по календарю, принадлежит весне. Длинные столбцы газет начинают наполняться именами уезжающих за границу. К удивлению своему, вы тотчас замечаете, что Петербург гораздо более расстроен здоровьем, чем карманом. Признаюсь, когда я сравнил эти два расстройства, на меня напал панический страх до того, что я начал воображать себя не в столице, а в лазарете. Но я тотчас рассудил, что беспокоюсь напрасно и что кошелек провинциала-папеньки еще довольно туг и широк.

Вы увидите, с каким неслыханным великолепием заселятся дачи, какие непостижимые костюмы запестреют в березовых рощицах и как все будут довольны и счастливы. Я даже совершенно уверен, что и бедный человек сделается немедленно доволен и счастлив, смотря на общую радость. По крайней мере увидит даром такое, чего ни за какие деньги не увидишь ни в каком городе нашего обширного государства.

А кстати, о бедном человеке. Нам кажется, что из всех возможных бедностей самая гадкая, самая отвратительная, неблагородная, низкая и грязная бедность — светская, хотя она очень редка, та бедность, которая промотала последнюю копейку, но по обязанности разъезжает в каретах, брызжет грязью на пешехода, честным трудом добывающего себе хлеб в поте лица, и, несмотря ни на что, имеет служителей в белых галстуках и в белых перчатках. Это нищета, стыдящаяся просить милостыню, но не стыдящаяся брать ее самым наглым и бессовестным образом. Но довольно об этой грязи! Мы искренно желаем петербуржцам веселиться на дачах и поменьше зевать. Уж известно, что зевота в Петербурге такая же болезнь, как грипп, как геморрой, как горячка, болезнь, от которой еще долго не освободятся у нас никакими лечениями, ни даже петербургскими модными лечениями. Петербург встает зевая, зевая исполняет обязанности, зевая отходит ко сну. Но всего более зевает он в своих маскарадах и в опере. Опера между тем у нас в совершенстве. Голоса дивных певцов до того звучны и чисты, что уже начинают приятно отзываться по всему пространному государству нашему, по всем городам, городкам, весям и селам. Уже всякий познал, что в Петербурге есть опера, и всякий завидует. А между тем Петербург все-таки немножко скучает, и под конец зимы опера ему становится также скучна, как... ну, как например последний зимний концерт. Последнего замечания нисколько нельзя отно-

сить к концерту Эрнста, данного с прекрасной филантропической целью. Случилась странная история: в театре сделалась такая страшная давка, что многие, спасая жизнь свою, решились прогуляться в Летнем саду, который на ту пору как нарочно в первый раз открылся для публики, и потому концерт вышел как будто немного пустенек. Но это произошло не более как от недоразумения. Кружка для бедных наполнилась. Мы слышали, что многие прислали свои вклады, и не приехали сами, собственно боясь страшной давки. Страх совершенно естественный.

Вы не можете себе представить, господа, какая приятная обязанность говорить с вами о петербургских новостях и писать для вас петербургскую летопись! Скажу более: это даже не обязанность, а высочайшее удовольствие. Не знаю, поймете ли вы всю мою радость. Но, право, преприятно этак собраться, посидеть и потолковать об общественных интересах. Я даже иногда готов запеть от радости, когда вхожу в общество и вижу преблаговоспитанных, солидных людей, которые собрались, сидят и чинно толкуют о чем-нибудь, в то же время нисколько не теряя своего достоинства. Об чем толкуют, это второй вопрос, я даже иногда забываю вникнуть в общую речь, совершенно удовлетворяясь одной картиной, приличною общежитию. Сердце мое наполняется самым почтительным восторгом.

Но вникнуть в смысл, в *содержание* того, об чем у нас говорят общественные светские люди, люди — *не кружок,* я как-то до сих пор не успел. Бог знает, что это такое! Конечно, бесспорно что-нибудь неизъяснимо прелестное, затем что всё это такие солидные и милые люди, но всё как будто непонятно. Всё кажется, как будто начинается разговор, как будто настраиваются инструменты; часа два сидишь, и всё начинают. Слышится иногда, что все будто говорят о каких-то серьезных предметах, о предметах, вызывающих на размышление; но потом, когда вы спросите себя, об чем говорили, то никак не узнаете об чем именно: о перчатках ли, об сельском ли хозяйстве, или о том, «продолжительна ли женская любовь»? Так что признаюсь, иногда как будто нападает тоска. Похоже на то, когда бы вы, например, шли в темный вечер домой, бездумно и уныло посматривая по сторонам, и вдруг слышите музыку. Бал, точно бал! В ярко освещенных окнах мелькают тени, слышится шелест и шарканье, как будто слышен соблазнительный бальный шопот, гудит солидный контрабас, визжит скрипка, толпа, освещение, у подъезда жандармы, вы проходите мимо, развлеченный, взволнованный; в вас пробудилось желание чего-то, стремленье. Вы все будто слышали жизнь, а между тем вы уносите с собой один бледный, бесцветный мотив ее, идею, тень, почти ничего. И проходишь, как будто не доверяя чему-то; слышится что-то другое, слышится, что сквозь бесцветный мотив обыденной жизни нашей звучит другой, пронзительно живучий и грустный, как в Берлиозовом бале у Капулетов. Тоска и сомнение грызут и надрывают сердце, как та тоска, кото-

рая лежит в безбрежном долгом напеве русской унылой песни, и звучит родным, призывающим звуком:

Прислушайтесь... звучат иные звуки...
Унынье и отчаянный разгул...
Разбойник ли там песню затянул,
Иль дева плачет в грустный час разлуки?
Нет, то идут с работы косари...
Кто ж песнь сложил им? как кто? посмотри
Кругом: леса, саратовские степи...

На днях был семик. Это народный русский праздник. Им народ встречает весну, и по всей безбрежной русской земле завивают венки. Но в Петербурге погода была холодна и мертва. Шел снег, березки не распустились, к тому же град побил накануне древесные почки. День был ужасно похож на ноябрьский, когда ждут первого снега, когда бурлит надувшаяся от ветру Нева и ветер с визгом и свистом расхаживает по улицам, скрыпя фонарями. Мне всё кажется, что в такое время петербуржцы ужасно сердиты и грустны, и сердце мое сжимается, вместе с моим фельетоном. Мне всё кажется, что все они с сердитой тоской лениво сидят по домам, кто отводя душу сплетнями, кто празднуя день ссорой зуб за зуб с женой, кто смиряясь над казенной бумагой, кто отсыпая ночной преферанс, чтоб прямо проснуться на новую пульку, кто в сердитом, одиноком угле своем стряпая кухарочный кофе и тут же засыпая под фантастический клокот воды, закипевшей в кофейнике. Кажется мне, что прохожим на улице не до праздников и общественных интересов, что там мокнет лишь одна костяная забота, да бородатый мужик, которому, кажется, лучше под дождем, чем под солнцем, да господин с бобром, вышедший в такое мокрое и студеное время разве только для того, чтоб поместить капитал... Одним словом, нехорошо, господа!..

⟨1 июня⟩

Теперь, когда уже мы успокоились совершенно насчет неизвестности, в которой находились относительно времени года, и уверились, что у нас не вторая осень, а весна, которая решилась наконец перевернуться на лето; теперь, когда первая, изумрудная зелень выманивает мало-помалу петербургского жителя на дачу, до новых грязей, наш Петербург остается пустой, заваливается хламом и мусором, строится, чистится и как будто отдыхает, как будто перестает жить на малое время. Тонкая белая пыль стоит густым слоем в раскаленном воздухе. Толпы работников, с известкой, с лопатами, с молотками, топорами и другими орудиями, распоряжаются на Невском проспекте как у себя дома, словно откупили его, и беда пешеходу, фланеру или наблюдателю, если он не имеет серьезного желания походить на обсыпанного мукою Пьерро в римском карнавале. Уличная

жизнь засыпает, актеры берут отпуск в провинцию, литераторы *отдыхают,* кофейные и магазины пусты... Чтó остается делать тем из горожан, которых неволя заставляет вековать свое лето в столице? Изучать архитектуру домов, смотреть, как обновляется и строится город? Конечно, занятие важное и даже, право, назидательное. Петербуржец так рассеян зимою, у него столько удовольствий, дела, службы, преферанса, сплетен и разных других развлечений и, кроме того, столько грязи, что вряд ли есть когда ему время осмотреться кругом, вглядеться в Петербург внимательнее, изучить его физиономию и прочесть историю города и всей нашей эпохи в этой массе камней, в этих великолепных зданиях, дворцах, монументах. Да вряд ли кому придет в голову убить дорогое время на такое вполне невинное и не приносящее дохода занятие. Есть такие петербургские жители, которые не выходили из своего квартала лет по десяти и более, и знают хорошо только одну дорогу в свое служебное ведомство. Есть такие, которые не были ни в Эрмитаже, ни в Ботаническом саду, ни в музее, ни даже в Академии художеств; даже, наконец, не ездили по железной дороге. А, между прочим, изучение города, право, не бесполезная вещь. Не помним, когда-то случилось нам прочитать одну французскую книгу, которая вся состояла из взглядов на современное состояние России. Конечно, уже известно, чтó такое взгляды иностранцев на современное состояние России; как-то упорно не поддаемся мы до сих пор на обмерку нас европейским аршином. Но, несмотря на то, книга пресловутого туриста прочлась всей Европой с жадностию. В ней, между прочим, сказано было, что нет ничего бесхарактернее петербургской архитектуры; что нет в ней ничего особенно поражающего, *ничего национального* и что весь город — одна смешная карикатура некоторых европейских столиц; что, наконец, Петербург, хоть бы в одном архитектурном отношении, представляет такую странную смесь, что не перестаешь ахать да удивляться на каждом шагу. Греческая архитектура, римская архитектура, византийская архитектура, голландская архитектура, готическая архитектура, архитектура rococo, новейшая итальянская архитектура, наша православная архитектура — всё это, говорит путешественник, сбито и скомкано в самом забавном виде и, в заключение, ни одного истинно прекрасного здания! Затем наш турист рассыпается в уважении к Москве за Кремль, говорит по случаю Кремля несколько риторических, витиеватых фраз, гордится московскою национальностию, но проклинает дрожки-пролетки затем, что они удалились от древней, патриархальной линейки, и таким-то образом, говорит он, исчезает в России всё родное и национальное. Смысл выходит тот, что русский стыдится своей народности, затем что не хочет ездить по-прежнему, справедливо опасаясь как-нибудь вытрясти душу в патриархальном своем экипаже.

Это писал француз, то есть человек умный, как почти всякий француз, но верхогляд и исключительный до глупости; не при-

знающий ничего нефранцузского — ни в искусствах, ни в литературе, ни в науках, ни даже в народной истории и, главное, способный рассердиться за то, что есть какой-нибудь другой народ, у которого своя история, своя идея, свой народный характер и свое развитие. Но как ловко, себе неведомо разумеется, стакнулся француз с некоторыми, не скажем русскими, но досужными, кабинетными идеями нашими. Да, француз именно видит русскую национальность в том, в чем хотят ее видеть очень многие настоящего времени, то есть в мертвой букве, в отжившей идее, в куче камней, будто бы напоминающих древнюю Русь, и, наконец, в слепом, беззаветном обращении к дремучей, родной старине. Бесспорно, Кремль весьма почтенный памятник давно минувшего времени. Это антикварская редкость, на которую смотришь с особенным любопытством и с большим уважением; но чем он совершенно национален — этого мы не можем понять! Есть такие национальные памятники, которые переживают свое время и перестают быть национальными. Скажут: народ русский знает московский Кремль, он религиозен и стекается со всех точек России лобызать мощи московских чудотворцев. Хорошо, но особенности тут нет никакой; народ толпами ходит молиться в Киев, на Соловецкий остров, на Ладожское озеро, к Афонской горе, в Иерусалим, всюду. А знает ли он историю московских святителей, св⟨ятых⟩ Петра и Филиппа? Конечно, нет — следственно, не имеет ни малейшего понятия о двух важнейших периодах русской истории. Скажут: народ наш чтит память старинных царей и князей земли русской, погребенных в московском Архангельском соборе. Хорошо. Но кого же знает народ из царей и князей земли русской до Романовых? Он знает трех *по имени:* Дмитрия Донского, Иоанна Грозного и Бориса Годунова (прах последнего лежит в С⟨вято⟩-Троицкой лавре). Но Бориса Годунова народ знает только потому, что он выстроил «Ивана Великого», а о Дмитрии Донском и Иване Васильевиче наскажет таких диковинок, что хоть бы и не слушать совсем. Редкости Грановитой палаты тоже совсем неизвестны ему, и, вероятно, есть причины такого непонимания своих исторических памятников в русском народе. Но скажут, пожалуй: что же народ? Народ темен и необразован, и укажут на общество, на людей образованных; но и восторг людей образованных к родной старине, и беззаветное стремление к ней всегда казалось нам навеянным, головным, романтическим восторгом, кабинетным восторгом, потому что кто у нас знает историю? Исторические сказки очень известны; но история в настоящее время, более чем когда-нибудь самое непопулярное, самое кабинетное дело, удел ученых, которые спорят, обсуживают, сравнивают и не могут до сих пор согласиться в самых основных идеях; ищут ключа к возможному объяснению таких фактов, которые более чем когда-либо стали загадочными. Мы не спорим: никакой русский не может быть равнодушен к истории своего племени, в каком бы виде не представля-

лась эта история; но требовать, чтобы все забыли и бросили свою современность для одних почтенных предметов, имеющих антикварное значение, было бы в высочайшей степени несправедливо и нелепо.

Не таков Петербург. Здесь что ни шаг, то видится, слышится и чувствуется современный момент и идея настоящего момента. Пожалуй: в некотором отношении здесь всё хаос, всё смесь; многое может быть пищею карикатуры; но зато всё жизнь и движение. Петербург и глава и сердце России. Мы начали об архитектуре города. Даже вся эта разнохарактерность ее свидетельствует о единстве мысли и единстве движения. Этот ряд зданий голландской архитектуры напоминает время Петра Великого. Это здание в расстреллевском вкусе напоминает екатерининский век, это, в греческом и римском стиле, — позднейшее время, но всё вместе напоминает историю европейской жизни Петербурга и целой России. И до сих пор Петербург в пыли и в мусоре; он еще созидается, делается; будущее его еще в идее; но идея эта принадлежит Петру I, она воплощается, растет и укореняется с каждым днем не в одном петербургском болоте, но во всей России, которая вся живет одним Петербургом. Уже все почувствовали на себе силу и благо направления Петрова, и уже все сословия призваны на общее дело воплощения великой мысли его. Следственно, все начинают жить. Всё — промышленность, торговля, науки, литература, образованность, начало и устройство общественной жизни, — всё живет и поддерживается одним Петербургом. Все, кто даже не хочет рассуждать, уже слышат и ощущают новую жизнь и стремятся к новой жизни. И кто же, скажите, обвинит тот народ, который невольно забыл в некоторых отношениях свою старину и почитает и уважает одно современное, то есть тот момент, когда он в первый раз начал жить. Нет, не исчезновение национальности видим мы в современном стремлении, а торжество национальности, которая, кажется, не так-то легко погибает под европейским влиянием, как думают многие. По-нашему, цел и здоров тот народ, который положительно любит свой настоящий момент, тот, в который живет, и он умеет понять его. Такой народ может жить, а жизненности и принципа станет для него на веки веков.

Никогда так много не говорилось о современном направлении, о современной идее и т. п., как теперь, в последнее время. Никогда такого любопытства не возбуждала литература и всякое проявление общественной жизни. Петербургский, зимний, деловой и производящий наиболее сезон кончается только теперь, в настоящий момент, то есть в конце мая. Тут выходят последние книги, кончаются курсы в учебных заведениях, производятся экзамены, наезжают новые жители из провинции, и всякий обдумывает будущую зиму и свою будущую деятельность, каково бы оно ни было, и каким бы образом ни производилось это обдумывание. Более, чем когда-нибудь, вы убедитесь в общественном

внимании к настоящему моменту нашему, если вникнете в последний пережитый Петербургом сезон. Конечно, не скажем, что современная жизнь наша мчится как вихрь, как ураган, так что дух занимается, и страшно и некогда оглянуться назад. Нет, скорее походит на то, что мы еще как будто куда-то сбираемся, хлопочем, укладываемся и увязываем разные наши запасы, как это бывает с человеком перед длинной дорогой. Современная мысль не мчится вдаль без оглядки; да она еще и побаивается слишком быстрого ходу. Напротив, она как будто приостановилась в известной средине, дошла до возможного своего рубежа и осматривается, роется кругом себя, сама осязает себя. Почти всякий начинает разбирать, анализировать и свет, и друг друга, и себя самого. Все осматриваются и обмеривают друг друга любопытными взглядами. Наступает какая-то всеобщая исповедь. Люди рассказываются, выписываются, анализируют самих же себя перед светом, часто с болью и муками. Тысячи новых точек зрения открываются уже таким людям, которые никогда и не подозревали иметь на что-нибудь свою точку зрения. Иные думали, что нападки идут от людей безнравственных, беспокойных, даже негодяев, вследствие какой-то затаенной злости и ненависти. Думали, что нападения преследуют только известные классы общества, клеветали, обвиняли, наушничали публике, но теперь рухнуло и это заблуждение; обижаются реже, поняли и взяли в толк, что анализ не щадит и самих анализирующих и что лучше, наконец, знать самих себя, чем сердиться на господ сочинителей, которые всё народ самый смирный и обижать никого не желают. Но всего более было досадно иным господам, до которых, кажется, никому и дела не было, которым неизвестно почему вообразилось, что их задевают, что их вводят в какую-то сомнительную и неприятную историю с публикой; вообще, тут произошло очень много самых темных и до сих пор необъясненных анекдотов, и, право, чрезвычайно было бы интересно составить физиологию господ обижающихся. Это особый, очень любопытный тип. Иные из них кричали из всех сил против всеобщего развращения нравов и забвения приличий, вследствие какого-то особого принципа, состоявшего в том, что пусть, дескать, дело и не про меня, пусть это и про другого кого, но всё равно, зачем же это печатать и зачем это позволять печатать. Другие говорили, что ведь есть же и без того добродетель, что она существует на свете, что существование ее уже подробно изложено и неоспоримо доказано во многих нравственных и назидательных сочинениях, преимущественно в детских книжках, следственно, зачем же об ней беспокоиться, искать ее и только напрасно употреблять ее священное имя всуе. Конечно, подобный господин столько же нуждался в добродетели, как в прошлогодних желудях (к тому же решительно неизвестно, с чего вообразилось ему, что дело идет об ней); но при первом крике забеспокоился, задвигался этот господин, начал сердиться и претендовать на безнравственность.

Глядя на него, другой господин, тоже очень почтенной наружности, живший доселе мирно и тихо, вдруг, ни с того ни с сего, подымался с места, тоже сердился и начинал трубить на всех перекрестках, что он честный человек, что он почтенный человек и что он не позволит себя обижать. Некоторые из подобных господ до того часто повторяли, что они честные и благородные люди, что наконец сами пресерьезно уверялись в непреложности затейливых слов своих и пресерьезно сердились, если как-нибудь подозревали, что почтенное имя их произносится не с таким уважением, как следовало. Наконец, третьему, доброму и даже рассудительному пожилому человеку вдруг начинали трубить в оба уха, что всё то, что он чтил до сих пор за самую высокую добродетель и мораль, как-то вдруг сделалось и не добродетелью, и не моралью, а чем-то другим, только отнюдь не хорошим, и что сделали всё это вот такие-то и такие-то люди. Одним словом, многим, очень многим, сделалось чрезвычайно досадно; ударили тревогу, поднялись, затрубили, засуетились, закричали и наконец до того дошли, что самим совестно стало своего же крика. Теперь это случается реже...

Появление нескольких благотворительных и ученых обществ, образовавшихся в последнее время, сильная деятельность в литературном и ученом мире, появление нескольких новых, замечательнейших имен в науке и литературе, нескольких новых изданий и журналов, сильно завлекало и завлекает внимание всей публики и находит в ней полное сочувствие. Ничего не будет несправедливее упреков в бесплодности и в бездействии нашей литературы за прошлый сезон. Несколько новых повестей и романов, появившихся в разных периодических изданиях, увенчались полным успехом. Появилось в журналах несколько замечательных статей, преимущественно по части ученой и литературной критики, русской истории и статистики, явилось несколько отдельно изданных исторических и статистических книг и брошюр. Осуществилось издание русских классиков Смирдина, которое увенчалось самым полным успехом и будет продолжаться безостановочно. Появилось полное собрание сочинений Крылова. Число подписчиков на журналы, газеты и другие издания увеличилось в огромных размерах, и потребность чтения начала распространяться уже по всем сословиям. Карандаш и резец художников тоже не оставались праздными; прекрасное предприятие господ Бернардского и Агина — иллюстрация «Мертвых душ» — приближается к концу, и нельзя достаточно нахвалиться добросовестностию обоих художников. Некоторые из политипажей окончены превосходно, так что лучшего трудно желать. М. Невахович, покамест единственный наш карикатурист, безостановочно и неутомимо продолжает свой «Ералаш». С самого начала новость и невидаль такого издания сильно завлекли всеобщее любопытство. Действительно, трудно себе представить более удобное время, как теперь, для появления карикатуриста-*художника*. Идей

много, и выработанных и прожитых обществом; ломать головы над сюжетами нечего, хотя мы часто слышали: да об чем бы, кажется, говорить и писать? Но чем более таланта в художнике, тем богаче он средствами провести свою мысль в общество. Для него не существует ни преград, ни обыкновенных затруднений, для него сюжетов тьма, всегда и везде, и в этом же веке художник может найти себе пищу где ни пожелает и говорить обо всем. К тому же у всех потребность как-нибудь высказаться, у всех потребность подхватить и принять к сведению высказанное... Мы подробнее поговорим в другой раз о карикатурах г-на Невaховича... Предмет важнее, чем кажется с первого взгляда.

⟨15 июня⟩

Июнь месяц, жара, город пуст; все на даче и живут впечатлениями, наслаждаются природою. Есть что-то неизъяснимо наивное, даже что-то трогательное в нашей петербургской природе, когда она, как будто неожиданно, вдруг, выкажет всю мощь свою, все свои силы, оденется зеленью, опушится, разрядится, упестрится цветами... Не знаю, отчего напоминает мне она ту девушку, чахлую и хворую, на которую вы смотрите иногда с сожалением, иногда с какою-то сострадательною любовью, иногда просто не замечаете ее, но которая вдруг, на один миг и как-то нечаянно, сделается чудно, неизъяснимо прекрасною, и вы, изумленный, пораженный, невольно спрашиваете себя: какая сила заставила блистать таким огнем эти всегда грустно-задумчивые глаза, что привлекло кровь на эти бледные щеки, что облило страстью и стремлением эти нежные черты лица, отчего так вздымается эта грудь, что так внезапно вызвало силу, жизненность и красоту на лицо этой женщины, заставило блистать его такой улыбкой, оживиться таким сверкающим, искрометным смехом? Вы смотрите кругом себя, вы чего-то ищете, вы догадываетесь... Но миг проходит, и, может быть, на завтра же встретите вы опять тот же грустно-задумчивый и рассеянный взгляд, то же бледное лицо, ту же всегдашнюю покорность и робость в движениях, утомление, бессилие, глухую тоску и даже следы какой-то бесполезной, мертвящей досады за минутное увлечение. Но к чему сравнения! И захочет ли кто их теперь? Мы переехали на дачи, чтоб пожить непосредственно, созерцательно, без сравнений и взглядов, насладиться природой, отдохнуть, полениться вдоволь и оставить кой-какой ненужный и хлопотливый житейский вздор и хлам на зимних квартирах, до более удобного времени. Есть у меня, впрочем, приятель, который на днях уверял, что мы и полениться-то не умеем как следует, что ленимся мы тяжело, без наслаждения, с беспокойством, что отдых наш какой-то лихорадочный, тревожный, угрюмый и недовольный, что в то же время у нас и анализ, и сравнение, и скептический взгляд, и задняя мысль, а на руках всегда какое-нибудь вечное, нескончаемое, неотвязное житей-

ское дело; что мы, наконец, сбираемся на лень и на отдых, как на какое-то тугое и строгое дело, что мы если, например, захотим насладиться природою, то как будто с прошлой недели, в календаре своем наметили, что в такой-то день и в такой-то час мы будем наслаждаться природою. Это очень напоминает того аккуратного немца, который, выезжая из Берлина, преспокойно заметил в дорожной книжке своей: «В проезд через город Нюремберг, не забыть жениться». У немца, конечно, прежде всего была в голове какая-нибудь система, и он не почувствовал безобразия факта, из благодарности к ней; но действительно нельзя не сознаться, что и системы-то в наших поступках иногда никакой не бывает, а так как-то делается, точно по какому-то предопределению восточному. Приятель отчасти и прав; мы как будто тянем наш жизненный гуж через силу, с хлопотливым трудом, по обязанности, и стыдимся только сознаться, что не в мочь и устали. Будто и вправду переехали мы на дачи, чтоб отдыхать и наслаждаться природою? Посмотрите-ка прежде, чего-чего не вывезли мы с собой за заставу. Мало того,. что не отставили, хоть за выслугу лет, ничего зимнего, старенького — напротив, пополнили новым, живем воспоминаньями, и старая сплетня, старое житейское дельцо идет за новое. Иначе скучно, иначе придется испытать, каков преферанс при пеньи соловья и под открытым небом, что, впрочем, и делается. Кроме того, мы отчасти и не устроены так, чтоб наслаждаться природою, да к тому же и природа-то наша, как будто зная нашу натуру, позабыла устроиться к лучшему. Отчего, например, в нас так сильно развит один пренеприятный обычай (не спорим, он, может быть, там как-нибудь и полезен в нашем общем хозяйстве) — всегда, часто без нужды, так, по привычке поверять и уже слишком точно взвешивать свои впечатления, взвешивать иногда только предстоящее, грядущее наслаждение, еще не осуществившееся, оценять его и удовлетворяться им заранее, в мечтах, удовлетворяться фантазией и, естественно, быть потом негодным в настоящее дело? Мы всегда разомнем, истерзаем цветок, чтоб сильнее почувствовать его запах, и ропщем потом, когда вместо аромата достается нам один чад. А между тем трудно сказать, что бы сталось с нами, если б не выдавались нам хоть эти несколько дней в целый год и не утоляли разнообразием явлений природы нашу вечную ненасытимую жажду непосредственной, естественной жизни. И как не устать наконец, как не упасть в бессилии, вечно гоняясь за впечатлениями, словно за рифмой к плохому стиху, мучась жаждою внешней, непосредственной деятельности и пугаясь, наконец, до болезни своих же иллюзий, своих же химер головных, своей же мечтательности и всех тех вспомогательных средств, которыми в наше время стараются кое-как пополнить всю вялую пустоту обыденной бесцветной жизни.

А жажда деятельности доходит у нас до какого-то лихорадочного, неудержимого нетерпения: все хотят серьезного занятия,

многие с жарким желанием сделать добро, принесть пользу и начинают уже мало-помалу понимать, что счастье не в том, чтоб иметь социальную возможность сидеть сложа руки и разве для разнообразия побогатырствовать, коль выпадает случай, а в вечной неутомимой деятельности и в развитии на практике всех наших наклонностей и способностей. А много ли, например, у нас занятых делом, как говорится, con amore,[1] с охотою. Говорят, что мы, русские, как-то от природы ленивы и любим сторониться от дела, а навяжи его нам, так сделаем так, что и на дело не будет похоже. Полно, правда ли? И по каким опытам оправдывается это незавидное национальное свойство наше? Вообще у нас с недавнего времени что-то слишком кричат на всеобщую лень, на бездействие, очень друг друга поталкивают на лучшую полезную деятельность, и, признаться, только поталкивают. И таким образом, ни за что ни про что готовы обвинить своего же собрата, может быть, и потому только, что он не очень кусается, как уже заметил раз Гоголь. Но попробуйте сами ступить первый шаг, господа, на *лучшую и полезную деятельность*, и представьте ее нам хоть в какой-нибудь форме; покажите нам *дело*, а главное, *заинтересуйте* нас к этому делу, дайте нам сделать его *самим* и пустите в ход наше собственное индивидуальное творчество. Способны вы сделать это иль нет, господа понукатели? Нет, так и обвинять нечего, только напрасно слово терять! То-то и есть, что у нас дело всегда как-то само собою приходит, что у нас оно как-то внешне, и не отзывается особым сочувствием в нас и тут-то проявляется уже чисто русская способность: дело через силу сделать дурно, несовестливо и, как говорится, опуститься совсем. Это свойство ярко рисует наш национальный обычай и проявляется во всем, даже в самых незначащих фактах общежития. У нас, например, коль нет средств зажить в палатах по-барски или одеться как следует порядочным людям, одеться *как все* (то есть как очень немногие), то наш угол и зачастую похож на хлев, а одежда доведена даже до неприличного цинизма. Коль неудовлетворен человек, коль нет средств ему высказаться и проявить то, что получше в нем (не из самолюбия, а вследствие самой естественной необходимости человеческой сознать, осуществить и обусловить свое Я в действительной жизни), то сейчас же и впадает он в какое-нибудь самое невероятное событие; то, с позволения сказать, сопьется, то пустится в картеж и шулерство, то в бретерство, то, наконец, с ума сойдет от *амбиции*, в то же самое время вполне про себя презирая амбицию и даже страдая тем, что пришлось страдать из-за таких пустяков, как амбиция. И смотришь — невольно дойдешь до заключения почти несправедливого, даже обидного, но очень *кажущегося вероятным*, что в нас мало сознания собственного достоинства; что в нас мало необходимого эгоизма и что мы, наконец, не привыкли делать доброе дело без

[1] с любовью (*итал.*).

всякой награды. Дайте, например, какое-нибудь дело аккуратному, систематическому немцу, дело, противное всем его стремлениям и наклонностям, и растолкуйте только ему, что эта деятельность выведет его на дорогу, прокормит, например, и его и семейство его, выведет в люди, доведет до желаемой цели и т. д., и немец тотчас примется за дело, даже беспрекословно окончит его, даже введет какую-нибудь особенную, новую систему в свое занятие. Но хорошо ли это? Отчасти и нет; потому что в этом случае человек доходит до другой, ужасающей крайности, до флегматической неподвижности, иногда совершенно исключающей человека и включающей на место его систему, обязанность, формулу и безусловное поклонение дедовскому обычаю, хотя бы дедовский обычай был и не в мерку настоящему веку. Реформа Петра Великого, создавшая на Руси свободную деятельность, была бы невозможна с таким элементом в народном характере, элементом, принимающим часто форму наивно-прекрасную, но иногда чрезвычайно комическую. Видали, что немец до пятидесяти лет сидит в женихах, учит детей у русских помещиков, сколачивает кое-какую копейку и так совокупляется наконец законным браком с своей пересохшей от долгого девичества, но геройски верной Минхен. Русский не выдержит, уж он скорее разлюбит или *опустится*, или сделает что-нибудь другое — и здесь можно довольно верно сказать наоборот известной пословице: что немцу здорово, то русскому смерть. А много ли нас, русских, имеют средства делать свое дело с любовью, как следует; потому что всякое дело требует охоты, требует любви в деятеле, требует всего человека. Многие ли, наконец, нашли свою деятельность? А иная деятельность еще требует предварительных средств, обеспеченья, а к иному делу человек и не склонен — махнул рукой, и, смотришь, дело повалилось из рук. Тогда в характерах, жадных деятельности, жадных непосредственной жизни, жадных действительности, но слабых, женственных, нежных, мало-помалу зарождается то, что называют мечтательностию, и человек делается наконец не человеком, а каким-то странным существом среднего рода — *мечтателем*. А знаете ли, что такое мечтатель, господа? Это кошмар петербургский, это олицетворенный грех, это трагедия, безмолвная, таинственная, угрюмая, дикая, со всеми неистовыми ужасами, со всеми катастрофами, перипетиями, завязками и развязками, — и мы говорим это вовсе не в шутку. Вы иногда встречаете человека рассеянного, с неопределенно-тусклым взглядом, часто с бледным, измятым лицом, всегда как будто занятого чем-то ужасно тягостным, каким-то головоломнейшим делом, иногда измученного, утомленного как будто от тяжких трудов, но в сущности не производящего ровно ничего, — таков бывает мечтатель снаружи. Мечтатель всегда тяжел, потому что неровен до крайности: то слишком весел, то слишком угрюм, то грубиян, то внимателен и нежен, то эгоист, то способен к благороднейшим чувствам. В службе

эти господа решительно не годятся и хоть и служат, но все-таки ни к чему не способны и только *тянут* дело свое, которое, в сущности, почти хуже безделья. Они чувствуют глубокое отвращение от всякой формальности и, несмотря на то, — собственно потому, что смирны, незлобивы и боятся, чтобы их не затронули, — сами первые формалисты. Но дома они совсем в другом виде. Селятся они большею частию в глубоком уединении, по неприступным углам, как будто таясь в них от людей и от света, и вообще, даже что-то мелодраматическое кидается в глаза при первом взгляде на них. Они угрюмы и неразговорчивы с домашними, углублены в себя, но очень любят всё ленивое, легкое, созерцательное, всё действующее нежно на чувство или возбуждающее ощущения. Они любят читать, и читать всякие книги, даже серьезные, специальные, но обыкновенно со второй, третьей страницы бросают чтение, ибо удовлетворились вполне. Фантазия их, подвижная, летучая, легкая, уже возбуждена, впечатление настроено, и целый мечтательный мир, с радостями, с горестями, с адом и раем, с пленительнейшими женщинами, с геройскими подвигами, с благородною деятельностью, всегда с какой-нибудь гигантской борьбою, с преступлениями и всякими ужасами, вдруг овладевает всем бытием мечтателя. Комната исчезает, пространство тоже, время останавливается или летит так быстро, что час идет за минуту. Иногда целые ночи проходят незаметно в неописанных наслаждениях; часто в несколько часов переживается рай любви или целая жизнь громадная, гигантская, неслыханная, чудная как сон, грандиозно-прекрасная. По какому-то неведомому произволу ускоряется пульс, брызжут слезы, горят лихорадочным огнем бледные, увлаженные щеки, и когда заря блеснет своим розовым светом в окошко мечтателя, он бледен, болен, истерзан и счастлив. Он бросается на постель почти без памяти и, засыпая, еще долго слышит болезненно-приятное, физическое ощущение в сердце... Минуты отрезвления ужасны; несчастный их не выносит и немедленно принимает свой яд в новых, увеличенных дозах. Опять-таки книга, музыкальный мотив, какое-нибудь воспоминание давнишнее, старое, из действительной жизни, одним словом, одна из тысячи причин, самых ничтожных, и яд готов, и снова фантазия ярко, роскошно раскидывается по узорчатой и прихотливой канве тихого, таинственного мечтания. На улице он ходит повесив голову, мало обращая внимания на окружающих, иногда и тут совершенно забывая действительность, но если заметит что, то самая обыкновенная житейская мелочь, самое пустое, обыденное дело немедленно принимает в нем колорит фантастический. Уж у него и взгляд так настроен, чтоб видеть во всем фантастическое. Затворенные ставни среди белого дня, исковерканная старуха, господин, идущий навстречу, размахивающий руками и рассуждающий вслух про себя, каких, между прочим, так много встречается, семейная картина в окне бедного деревянного домика — всё это уже почти приключения.

Воображение настроено; тотчас рождается целая история, повесть, роман... Нередко же действительность производит впечатление тяжелое, враждебное на сердце мечтателя, и он спешит забиться в свой заветный, золотой уголок, который на самом деле часто запылен, неопрятен, беспорядочен, грязен. Мало-помалу проказник наш начинает чуждаться толпы, чуждаться общих интересов, и постепенно, неприметно, начинает в нем притупляться талант действительной жизни. Ему естественно начинает казаться, что наслаждения, доставляемые его своевольной фантазиею, полнее, раскошнее, любовнее настоящей жизни. Наконец, в заблуждении своем он совершенно теряет то нравственное чутье, которым человек способен оценить всю красоту настоящего, он сбивается, теряется, упускает моменты действительного счастья и, в апатии, лениво складывает руки и не хочет знать, что жизнь человеческая есть беспрерывное самосозерцание в природе и в насущной действительности. Бывают мечтатели, которые даже справляют годовщину своим фантастическим ощущениям. Они часто замечают числа месяцев, когда были особенно счастливы и когда их фантазия играла наиболее приятнейшим образом, и если бродили тогда в такой-то улице или читали такую-то книгу, видели такую-то женщину, то уж непременно стараются повторить то же самое и в годовщину своих впечатлений, копируя и припоминая малейшие обстоятельства своего гнилого, бессильного счастья. И не трагедия такая жизнь! Не грех и не ужас! Не карикатура! И не все мы более или менее мечтатели!.. Дачная жизнь, полная внешних впечатлений, природа, движение, солнце, зелень и женщины, которые летом так хороши и добры, — всё это чрезвычайно полезно для больного, странного и угрюмого Петербурга, в котором так скоро гибнет молодость, так скоро вянут надежды, так скоро портится здоровье и так скоро переработывается весь человек. Солнце у нас такой редкий гость, зелень такая драгоценность, и так усидчиво привыкли мы к нашим зимним углам, что новость обычаев, перемена места и жизни не могут не действовать на нас самым благодетельным образом. Город же так пышен и пуст! хотя иным чудакам он нравится летом более, чем во всякое время. К тому же наше бедное лето так коротко; не заметишь, как зажелтеют листья, отцветут последние редкие цветы, пойдет сырость, туман, настанет опять нездоровая осень, затолчется по-прежнему жизнь... Неприятная перспектива — по крайней мере теперь.

1860

⟨ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПОДПИСКЕ НА ЖУРНАЛ «ВРЕМЯ» НА 1861 ГОД⟩

С января 1861 года будет издаваться
«ВРЕМЯ»
журнал литературный и политический ежемесячно, книгами от 25 до 30 листов большого формата

Прежде чем мы приступим к объяснению, почему именно мы считаем нужным основать новый публичный орган в нашей литературе, скажем несколько слов о том, как мы понимаем наше время и именно настоящий момент нашей общественной жизни. Это послужит и к уяснению духа и направления нашего журнала.

Мы живем в эпоху в высшей степени замечательную и критическую. Не станем исключительно указывать, для доказательства нашего мнения, на те новые идеи и потребности русского общества, так единодушно заявленные всею мыслящею его частью в последние годы. Не станем указывать и на великий крестьянский вопрос, начавшийся в наше время... Всё это только явления и признаки того огромного переворота, которому предстоит совершиться мирно и согласно во всем нашем отечестве, хотя он и равносилен, по значению своему, всем важнейшим событиям нашей истории и даже самой реформе Петра. Этот переворот есть слитие образованности и ее представителей с началом народным и приобщение всего великого русского народа ко всем элементам нашей текущей жизни, — народа, отшатнувшегося от Петровской реформы еще 170 лет назад и с тех пор разъединенного с сословием образованным, жившего отдельно, своей собственной, особенной и самостоятельной жизнью.

Мы упомянули о явлениях и признаках. Бесспорно важнейший из них есть вопрос об улучшении крестьянского быта. Теперь уже не тысячи, а многие миллионы русских войдут в русскую жизнь, внесут в нее свои свежие непочатые силы и скажут свое новое слово. Не вражда сословий, победителей и побежденных, как везде в Европе, должна лечь в основание развития будущих

начал нашей жизни. Мы не Европа, и у нас не будет и не должно быть победителей и побежденных.

Реформа Петра Великого и без того нам слишком дорого стоила: она разъединила нас с народом. С самого начала народ от нее отказался. Формы жизни, оставленные ему преобразованием, не согласовались ни с его духом, ни с его стремлениями, были ему не по мерке, не впору. Он называл их немецкими, последователей великого царя — иностранцами. Уже одно нравственное распадение народа с его высшим сословием, с его вожатаями и предводителями показывает, какою дорогою ценою досталась нам тогдашняя новая жизнь. Но, разойдясь с реформой, народ не пал духом. Он неоднократно заявлял свою самостоятельность, заявлял ее с чрезвычайными, судорожными усилиями, потому что был один и ему было трудно. Он шел в темноте, но энергически держался своей особой дороги. Он вдумывался в себя и в свое положение, пробовал создать себе воззрение, свою философию, распадался на таинственные уродливые секты, искал для своей жизни новых исходов, новых форм. Невозможно было более отшатнуться от старого берега, невозможно было смелее жечь свои корабли, как это сделал наш народ при выходе на эти новые дороги, которые он сам себе с таким мучением отыскивал. А между тем его называли хранителем старых допетровских форм, тупого старообрядства.

Конечно, идеи народа, оставшегося без вожатаев на одни свои силы, были иногда чудовищны, попытки новых форм жизни безобразны. Но в них было общее начало, один дух, вера в себя незыблемая, сила непочатая. После реформы был между ним и нами, сословием образованным, один только случай соединения — двенадцатый год, и мы видели, как народ заявил себя. Мы поняли тогда, что он такое. Беда в том, что нас-то он не знает и не понимает.

Но теперь разъединение оканчивается. Петровская реформа, продолжавшаяся вплоть до нашего времени, дошла наконец до последних своих пределов. Дальше нельзя идти, да и некуда: нет дороги; она вся пройдена. Все последовавшие за Петром узнали Европу, примкнули к европейской жизни и не сделались европейцами. Когда-то мы сами укоряли себя за неспособность к европеизму. Теперь мы думаем иначе. Мы знаем теперь, что мы и не можем быть европейцами, что мы не в состоянии втиснуть себя в одну из западных форм жизни, выжитых и выработанных Европою из собственных своих национальных начал, нам чуждых и противоположных, — точно так, как мы не могли бы носить чужое платье, сшитое не по нашей мерке. Мы убедились наконец, что мы тоже отдельная национальность, в высшей степени самобытная, и что наша задача — создать себе новую форму, нашу собственную, родную, взятую из почвы нашей, взятую из народного духа и из народных начал. Но на родную почву мы возвратились не побежденными. Мы не отказываемся от нашего прошедшего: мы сознаем и разумность его. Мы сознаем, что реформа раз-

двинула наш кругозор, что через нее мы осмыслили будущее значение наше в великой семье всех народов.

Мы знаем, что не оградимся уже теперь китайскими стенами от человечества. Мы предугадываем, и предугадываем с благоговением, что характер нашей будущей деятельности должен быть в высшей степени общечеловеческий, что русская идея, может быть, будет синтезом всех тех идей, которые с таким упорством, с таким мужеством развивает Европа в отдельных своих национальностях; что, может быть, всё враждебное в этих идеях найдет свое примирение и дальнейшее развитие в русской народности. Недаром же мы говорили на всех языках, понимали все цивилизации, сочувствовали интересам каждого европейского народа, понимали смысл и разумность явлений, совершенно нам чуждых. Недаром заявили мы такую силу в самоосуждении, удивлявшем всех иностранцев. Они упрекали нас за это, называли нас безличными, людьми без отечества, не замечая, что способность отрешиться на время от почвы, чтоб трезвее и беспристрастнее взглянуть на себя, есть уже сама по себе признак величайшей особенности; способность же примирительного взгляда на чужое есть высочайший и благороднейший дар природы, который дается очень немногим национальностям. Иностранцы еще и не починали наших бесконечных сил... Но теперь, кажется, и мы вступаем в новую жизнь.

И вот перед этим-то вступлением в новую жизнь примирение последователей реформы Петра с народным началом стало необходимостью. Мы говорим здесь не о славянофилах и не о западниках. К их домашним раздорам наше время совершенно равнодушно. Мы говорим о примирении цивилизации с народным началом. Мы чувствуем, что обе стороны должны наконец понять друг друга, должны разъяснить все недоумения, которых накопилось между ними такое невероятное множество, и потом согласно и стройно общими силами двинуться в новый широкий и славный путь. Соединение во что бы то ни стало, несмотря ни на какие пожертвования, и возможно скорейшее, — вот наша передовая мысль, вот девиз наш.

Но где же точка соприкосновения с народом? Как сделать первый шаг к сближению с ним, — вот вопрос, вот забота, которая должна быть разделяема всеми, кому дорого русское имя, всеми, кто любит народ и дорожит его счастием. А счастие его — счастие наше. Разумеется, что первый шаг к достижению всякого согласия есть грамотность и образование. Народ никогда не поймет нас, если не будет к тому предварительно приготовлен. Другого нет пути, и мы знаем, что, высказывая это, мы не говорим ничего нового. Но пока за образованным сословием остается еще первый шаг, оно должно воспользоваться своим положением и воспользоваться усиленно. Распространение образования усиленное, скорейшее и во что бы то ни стало — вот главная задача нашего времени, первый шаг ко всякой деятельности.

Мы высказали только главную передовую мысль нашего журнала, намекнули на характер, на дух его будущей деятельности. Но мы имеем и другую причину, — побудившую нас основать новый независимый литературный орган. Мы давно уже заметили, что в нашей журналистике, в последние годы, развилась какая-то особенная добровольная зависимость, подначальность литературным авторитетам. Разумеется, мы не обвиняем нашу журналистику в корысти, в продажности. У нас нет, как почти везде в европейских литературах, журналов и газет, торгующих за деньги своими убеждениями, меняющих свою подлую службу и своих господ на других единственно из-за того, что другие дают больше денег. Но заметим, однако же, что можно продавать свои убеждения и не за деньги. Можно продать себя, например, от излишнего врожденного подобострастия или из-за страха прослыть глупцом за несогласие с литературными авторитетами. Золотая посредственность иногда даже бескорыстно трепещет перед мнениями, установленными столпами литературы, особенно если эти мнения смело, дерзко, нахально высказаны. Иногда только эта нахальность и дерзость доставляет звание столпа и авторитета писателю неглупому, умеющему воспользоваться обстоятельствами, а вместе с тем доставляет столпу чрезвычайное, хотя и временное влияние на массу. Посредственность, с своей стороны, почти всегда бывает крайне пуглива, несмотря на видимую заносчивость, и охотно подчиняется. Пугливость же порождает литературное рабство, а в литературе не должно быть рабства. Из жажды литературной власти, литературного превосходства, литературного чина, иной, даже старый и почтенный литератор, способен иногда решиться на такую неожиданную, на такую странную деятельность, что она поневоле составляет соблазн и изумление современников и непременно перейдет в потомство в числе скандалезных анекдотов о русской литературе в половине девятнадцатого столетия. И такие происшествия случаются всё чаще и чаще, и такие люди имеют влияние продолжительное, а журналистика молчит и не смеет до них дотрагиваться. Есть в литературе нашей до сих пор несколько установившихся идей и мнений, не имеющих ни малейшей самостоятельности, но существующих в виде несомненных истин, единственно потому, что когда-то так определили литературные предводители. Критика пошлеет и мельчает. В иных изданиях совершенно обходят иных писателей, боясь проговориться о них. Спорят для верха в споре, а не для истины. Грошовый скептицизм, вредный своим влиянием на большинство, с успехом прикрывает бездарность и употребляется в дело для привлечения подписчиков. Строгое слово искреннего глубокого убеждения слышится всё реже и реже. Наконец, спекулятивный дух, распространяющийся в литературе, обращает иные периодические издания в дело преимущественно коммерческое, литература же и польза ее отодвигаются на задний план, а иногда о ней и не мыслится.

Мы решились основать журнал, вполне независимый от литературных авторитетов,— несмотря на наше уважение к ним — с полным и самым смелым обличением всех литературных странностей нашего времени. Обличение это мы предпринимаем из глубочайшего уважения к русской литературе. Наш журнал не будет иметь никаких нелитературных антипатий и пристрастий. Мы даже готовы будем признаваться в собственных своих ошибках и промахах, и признаваться печатно, и не считаем себя смешными за то, что хвалимся этим (хотя бы и заранее). Мы не уклонимся и от полемики. Мы не побоимся иногда немного и «пораздразнить» литературных гусей; гусиный крик иногда полезен: он предвещает погоду, хотя и не всегда спасает Капитолий. Особенное внимание мы обратим на отдел критики. Не только всякая замечательная книга, но и всякая замечательная литературная статья, появившаяся в других журналах, будет непременно разобрана в нашем журнале. Критика не должна же уничтожиться из-за того только, что книги стали печататься не отдельно, как прежде, а в журналах. Оставляя в стороне всякие личности, обходя молчанием всё посредственное, если оно не вредно, «Время» будет следить за всеми сколько-нибудь важными явлениями литературы, останавливать внимание на резко выдающихся фактах, как положительных, так и отрицательных, и без всякой уклончивости обличать бездарность, злонамеренность, ложные увлечения, неуместную гордость и литературный аристократизм — где бы они ни являлись. Явления жизни, ходячие мнения, установившиеся принципы, сделавшиеся от общего и слишком частого употребления кстати и некстати какими-то опошлившимися, странными и досадными афоризмами, точно так же подлежат критике, как и вновь вышедшая книга, или журнальная статья. Журнал наш поставляет себе неизменным правилом говорить прямо свое мнение о всяком литературном и честном труде. Громкое имя, подписанное под ним, обязывает суд быть только строже к нему, и журнал наш никогда не низойдет до общепринятой теперь уловки — наговорить известному писателю десять напыщенных комплиментов, чтобы иметь право сделать ему одно не совсем лестное для него замечание. Похвала всегда целомудренна; одна лесть пахнет лакейской. Не имея места в простом объявлении входить во все подробности нашего издания, скажем только, что программа наша, утвержденная правительством, чрезвычайно разнообразна. Вот она:

Программа

I. Отдел литературный. Повести, романы, рассказы, мемуары, стихи и т. д.

II. Критика и библиографические заметки как о русских книгах, так и об иностранных. Сюда же относятся разборы новых пьес, поставленных на наши сцены.

III. Статьи ученого содержания. Вопросы экономические, финансовые, философские, имеющие современный интерес. Изложение самое популярное, доступное и для читателей, не занимающихся специально этими предметами.

IV. Внутренние новости. Распоряжения правительства, события в отечестве, письма из губерний и проч.

V. Политическое обозрение. Полное ежемесячное обозрение политической жизни государств. Известия последней почты, политические слухи, письма иностранных корреспондентов.

VI. Смесь. a) Небольшие рассказы, письма из-за границы и из наших губерний и проч. b) Фельетон. c) Статьи юмористического содержания.

Из этого перечня видно, что всё, что может интересовать современного читателя, входит в нашу программу. Из статей юмористического содержания мы сделаем особый отдел в конце каждой книжки.

Мы не выставляем имен писателей, принимающих участие в нашем издании. Этот способ привлечения внимания публики оказался в последнее время совершенно несостоятельным. Мы видели не одно издание, дававшее громкие имена только в своем объявлении. Хотя и мы в нашем могли бы выставить не одно известное в нашей литературе имя, но нарочно удерживаемся от этого, потому что, при всем уважении к нашим литературным знаменитостям, сознаем, что не они составляют силу журнала.

«Время» будет выходить каждый месяц, в первых числах, книгами от 25 до 30 листов большого формата, в объеме наших больших ежемесячных журналов.

1861

РЯД СТАТЕЙ О РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

I. ВВЕДЕНИЕ

I

Если есть на свете страна, которая была бы для других, отдаленных или сопредельных с нею стран более неизвестною, неисследованною, более всех других стран непонятою и непонятною, то эта страна есть, бесспорно, Россия для западных соседей своих. Никакой Китай, никакая Япония не могут быть покрыты такой тайной для европейской пытливости, как Россия, прежде, в настоящую минуту и даже, может быть, еще очень долго в будущем. Мы не преувеличиваем. Китай и Япония, во-первых, слишком далеки от Европы, а во-вторых, и доступ туда иногда очень труден; Россия же вся открыта перед Европою, русские держат себя совершенно нараспашку перед европейцами, а между тем характер русского, может быть, даже еще слабее обрисован в сознании европейца, чем характер китайца или японца. Для Европы Россия — одна из загадок Сфинкса. Скорее изобретется perpetuum mobile[1] или жизненный эликсир, чем постигнется Западом русская истина, русский дух, характер и его направление. В этом отношении даже Луна теперь исследована гораздо подробнее, чем Россия. По крайней мере, положительно известно, что там никто не живет; а про Россию знают, что в ней живут люди и даже русские люди, но какие люди? Это дó сих пор загадка, хотя, впрочем, европейцы и уверены, что они нас давно постигли. В разное время употреблены были пытливыми соседями нашими довольно большие усилия для узнания нас и нашего быта; были собраны материалы, цифры, факты; производились исследования, за которые мы чрезвычайно благодарны исследователям, потому что эти исследования для нас самих были чрезвычайно полезны. Но всевозможные усилия вывесть из всех этих материалов, цифр, фактов

---

[1] вечный двигатель (*лат.*)

что-нибудь основательное, путное, дельное собственно о русском человеке, что-нибудь синтетически верное, — все эти усилия всегда разбивались о какую-то роковую, как будто кем-то и для чего-то предназначенную невозможность. Когда дело доходит до России, какое-то необыкновенное тупоумие нападает на тех самых людей, которые выдумали порох и сосчитали столько звезд на небе, что даже уверились наконец, что могут их и хватать с неба. Всё доказывает это, начиная с мелочей до самых глубокомысленных исследований о судьбе, значении и будущности нашего отечества. Кое-что, впрочем, о нас знают. Знают, например, что Россия лежит под такими-то градусами, изобилует тем-то и тем-то и что в ней есть такие места, где ездят на собаках. Знают, что кроме собак в России есть и люди, очень странные, на всех похожие и в то же время как будто ни на кого не похожие; как будто европейцы, а между тем как будто и варвары. Знают, что народ наш довольно смышленый, но не имеет гения; очень красив, живет в деревянных избах, но неспособен к высшему развитию по причине морозов. Знают, что в России есть армия, и даже очень большая; но полагают, что русский солдат — совершенная механика, сделан из дерева, ходит на пружинах, не мыслит и не чувствует и потому довольно стоек в сражениях, но не имеет никакой самостоятельности и во всех отношениях уступает французу. Знают, что в России был император Петр, которого называют Великим, — монарх не без способностей, но полуобразованный и увлекавшийся своими страстями; что женевец Лефорт воспитал его, сделал его из варвара умным и внушил ему мысль завести флот и обрезать русским кафтаны и бороды; что Петр, действительно, обрезал бороды, и потому русские тотчас же сделались европейцами. Но знают и то, что, не родись в Женеве Лефорт, русские до сих пор ходили бы с бородами, а следовательно, не было бы и преобразования России. Но, впрочем, довольно и этих примеров; все остальные познания то же или почти то же самое. Мы говорим совершенно серьезно. Сделайте одолжение, разверните все книги, об нас написанные разными заезжими виконтами, баронами и преимущественно маркизами, — книги, разошедшиеся по Европе в десятках тысяч экземпляров; прочтите их внимательно и увидите, правду ли мы говорим, шутим мы или нет? И что всего любопытнее — некоторые из этих книг написаны людьми, бесспорно, замечательно умными. То же самое бессилие, как и в этих попытках заезжих путешественников бросить высший взгляд на Россию и усвоить ее главную идею, видим мы и в полнейшей неспособности почти всякого иностранца, которого обстоятельства заставляют жить в России иногда даже пятнадцать и двадцать лет, хоть сколько-нибудь оглядеться, прижиться в России, понять хоть что-нибудь окончательно, выжить хоть какую-нибудь идею, подходящую к истине. Возьмем сначала ближайшего соседа нашего, немца. Приезжают к нам немцы всякие: и без царя в голове, и такие, у которых есть свой король в Швабии, и ученые, с серьезною целью узнать, опи-

сать и таким образом быть полезным науке России, и неученые простолюдины с более скромною, но добродетельною целью печь булки и коптить колбасы, — разные Веберы и Людекенсы. Иные даже принимают себе «раз навсегда за правило и даже за священную обязанность» знакомить русскую публику с разными европейскими редкостями и потому являются с великанами и великаншами, с ученым сурком или обезьяною, нарочно выдуманною немцами для русского удовольствия. Но какая бы ни была разница между ученым немцем и простолюдином в понятиях, в общественном значении, в образовании и в цели посещения России, — в России все эти немцы немедленно сходятся в своих впечатлениях. Какое-то больное чувство недоверчивости, какая-то боязнь примириться с тем, что он видит резко на себя не похожего, совершенная неспособность догадаться, что русский не может обратиться совершенно в немца и что потому нельзя всего мерить на свой аршин, и, наконец, явное или тайное, но во всяком случае беспредельное высокомерие перед русскими,— вот характеристика почти всякого немецкого человека во взгляде на Россию. Иные приезжают служить у помещиков Буеракиных, * управлять вотчинами; другие являются в виде естествоиспытателей, ловят русских жуков, приобретают этим бессмертную славу и обращаются в каких-нибудь заседателей. Другие, с успехом заседая лет пятнадцать, решаются наконец быть современными и полезными и для этого подробно опишут, из каких горных пород будет состоять цоколь будущего памятника тысячелетию России. Есть из них чрезвычайно добрые; такие почти всегда начинают специально учиться по-русски, очень полюбят русский язык и русскую литературу, получают наконец употребление русского языка, конечно не без тяжких усилий, и, в припадке восторга, желая принести себе, русским и человечеству несомненную пользу, решаются — «перевести „Россияду“ Хераскова на санскритский язык». Впрочем, не все переводят «Россияду» Хераскова. Иные приезжают писать свою Россияду и издают ее уже в Германии. Есть знаменитые сочинения в этом роде. Читаешь эту «Россияду» — серьезно, дельно, умно, даже остроумно. Факты верны и новы; глубокий взгляд брошен на иные явления, взгляд оригинальный и меткий именно потому, что иные русские явления удобнее наблюдать не русскому, а со стороны, и вдруг на чем-нибудь самом важном, коренном, без чего никакие познания о России, никакие факты, приобретенные трудом самым добросовестным, не дадут никакого о ней понятия или дадут самое сбивчивое, чтоб не сказать бестолковое, — вдруг наш ученый становится в тупик, обрывается, теряет нитку и заключает такою нелепостью, что книга сама вырывается из рук ваших и падает, иногда даже под стол.

Приезжие французы совершенно не похожи на немцев; это что-то обратно противоположное. Француз ничего не станет перево-

* «Губернские очерки» Щедрина.

дить на санскритский язык, не потому чтоб он не знал санскритского языка — француз всё знает, даже ничему не учившись, — но потому, во-первых, что он приезжает к нам окинуть нас взглядом самой высшей прозорливости, просверлить орлиным взором всю нашу подноготную и изречь окончательное, безапелляционное мнение; а во-вторых, потому, что он еще в Париже знал, что́ напишет о России; даже, пожалуй, напишет свое путешествие в Париже, еще прежде поездки в Россию, продаст его книгопродавцу и уже потом приедет к нам — блеснуть, пленить и улететь. Француз всегда уверен, что ему благодарить некого и не за что, хотя бы для него действительно что-нибудь сделали; не потому что в нем дурное сердце, даже напротив; но потому что он совершенно уверен, что не ему принесли, например, хоть удовольствие, а что он сам одним появлением своим осчастливил, утешил, наградил и удовлетворил всех и каждого на пути его. Самый бестолковый и беспутный из них, поживя в России, уезжает от нас совершенно уверенный, что осчастливил русских и хоть отчасти преобразовал Россию. Иные из них приезжают с серьезными, важными целями, иногда даже на 28 дней, срок необъятный, цифра, доказывающая всю добросовестность исследователя, потому что в этот срок он может совершить и описать даже кругосветное путешествие. Схватив первые впечатления в Петербурге, которые выходят у него еще довольно удачно, и, кстати, рассмотрев при этом критически английские учреждения, выучив мимоходом русских бояр (les boyards) вертеть столы или пускать мыльные пузыри, что, впрочем, очень мило и гораздо лучше величавой и чванной скуки наших собраний, он решается наконец изучить Россию основательно, в подробностях, и едет в Москву. В Москве он взглянет на Кремль, задумается о Наполеоне, похвалит чай, похвалит красоту и здоровье народа, погрустит о преждевременном его разврате, о плодах неудачно привитой цивилизации, о том, что исчезают национальные обычаи, чему найдет немедленное доказательство в перемене дрожек-гитары на дрожки-линейку, подходящую к европейскому кабриолету; сильно нападет за всё это на Петра Великого и тут же, совершенно кстати, расскажет своим читателям свою собственную биографию, полную удивительнейших приключений. С французом всё может случиться, не причинив ему, впрочем, никакого вреда, до такой степени, что он после своей биографии тотчас же начинает рассказывать русскую повесть, конечно истинную, взятую из русских нравов, под названием «Petroucha», имеющую два преимущества: во-первых, что она верно характеризует русский быт, а во-вторых, что она в то же время верно характеризует и быт Сандвичевых островов. Кстати уж обратит внимание и на русскую литературу; поговорит о Пушкине и снисходительно заметит, что это был поэт не без дарований, вполне национальный и с успехом подражавший Андрею Шенье и мадам Дезульер; похвалит Ломоносова, с некоторым уважением будет говорить о Державине, заметит, что он был баснописец не без дарованья, подражавший Лафонтену, и

с особенным сочувствием скажет несколько слов о Крылове, молодом писателе, похищенном преждевременною смертию (следует биография) и с успехом подражавшем в своих романах Александру Дюма. Затем путешественник прощается с Москвой, едет далее, восхищается русскими тройками и появляется наконец где-нибудь на Кавказе, где вместе с русскими пластунами стреляет черкесов, сводит знакомство с Шамилем и читает с ним «Трех мушкетеров»...

Повторяем, говоря это, мы вовсе не шутим, вовсе не преувеличиваем. Между тем мы сами чувствуем, что слова наши как будто отзываются пародией, карикатурой. Правда ведь и то, что нет такого предмета на земле, на который бы нельзя было посмотреть с комической точки зрения. Всё можно осмеять, скажут нам, сказать то, да не так, передать почти те же самые слова, да не так их выразить. Согласны. Но возьмите же сами самое серьезное мнение о нас иностранцев; и вы убедитесь, что всё сказанное нами нисколько не преувеличено.

2

Но надо оговориться. Последние нелепые возгласы о нас иностранцев были большею частию произнесены в состоянии неспокойном, во время недавних раздоров, теперь уже, слава богу, поконченных надолго, если не навсегда, во время войны, среди яростных боевых криков. А впрочем, если взять эссенцию всех прежних мнений, до раздоров и войны, то вывод был бы почти тот же самый. Книги налицо; можно справиться.

Что ж? будем ли мы обвинять за такое мнение иностранцев? Обвинять их в ненависти к нам, в тупости; смеяться над их недальновидностью, ограниченностью? Но их мнение было высказано не один раз и не кем-нибудь; оно выговаривалось всем Западом, во всех формах и видах, и хладнокровно и с ненавистью, и крикунами и людьми прозорливыми, и подлецами и людьми высоко честными, и в прозе и в стихах, и в романах и в истории, и в premier-Paris [1] и с ораторских трибун. Следственно, это мнение чуть ли не всеобщее, а всех обвинять как-то трудно. Да и за что обвинять? За какую вину? Скажем прямо: не только тут нет никакой вины, но даже мы признаем это мнение за совершенно нормальное, то есть прямо выходящее из хода событий, несмотря на то, что оно, разумеется, совершенно ложное. Дело в том, что иностранцы и не могут нас понять иначе, хотя бы мы их и разуверяли в противном. Но неужели ж разуверять? Во-первых, по всем вероятностям, французы не подпишутся на «Время», хотя бы нашим сотрудником был сам Цицерон, которого, впрочем, мы бы, может быть, и не взяли в сотрудники. Следственно, не прочтут нашего ответа; остальные немцы и подавно. Во-вторых, надо

[1] в передовицах парижских газет (*франц.*).

признаться, в них действительно есть некоторая неспособность нас понять. Они и друг друга-то не совсем хорошо понимают.

Англичанин до сих пор еще не в состоянии допустить разумности существования француза; француз платит ему совершенно тою же монетою, даже с процентами, несмотря ни на какие союзы, ententes cordiales [1] и проч., и проч. А между тем и тот и другой — европейцы, настоящие, главные европейцы, представители европейцев. Где ж было им разгадать нас, русских, когда мы и сами-то для себя загадка, по крайней мере постоянно задавали друг другу о себе загадки. Разве славянофилы не задавали загадок западникам, а западники славянофилам? У нас до сих пор любят ребусы. Читайте объявления об издании журналов, и вы в этом совершенно убедитесь. И как же бы, наконец, они нас постигли, когда одна из главнейших наших особенностей именно та, что мы не европейцы, а они и не могут мерить иначе как на свой аршин. Да главное еще то, что мы сами почти вплоть до сих пор постоянно и упорно рекомендовали им себя за европейцев. Что ж могли они разобрать в такой путанице, особенно глядя на нас? Виноваты ли они, что до сих пор у них недостает даже фактов, чтоб составить о нас беспристрастное мнение? Чем заявили мы себя особенным, оригинальным? Мы, напротив, даже как-то боялись сознаться в наших оригинальностях, прятали их не только перед ними, но даже перед собою; стыдились, что мы еще носим на себе хоть какой-нибудь свой отпечаток и никак не можем стать вполне европейцами, укоряли себя за это, а следственно, им же поддакивали, торопливо соглашались с ними и даже не пробовали их переуверять. Да и кого из русских они видели? по ком судили? Правда, они встречались со многими из наших, целых полтора века сряду. Вместе с прочими ездил к ним и господин Греч и писал оттуда парижские письма. Вот про господина Греча мы знаем, что он пытался было переубедить французов, разговаривал с Сент-Бёвом, с Виктором Гюго, что явствует из его собственных парижских писем. «Я *напрямки* сказал Сент-Бёву», — выражается он. «Я *напрямки* объявил Виктору Гюго». Дело, видите ли, в том, что Сент-Бёву или Виктору Гюго, не помним (надо бы справиться), г-н Греч сказал *напрямки,* что литература, проповедующая безнравственность и проч., и проч., ошибается и недостойна называться литературой. (Может быть, слова не совсем те, но смысл тот же самый. За это ручаемся.) Вероятно, Сент-Бёву надо было дожидаться лет пятьдесят г-на Греча, чтоб услышать от него подобную истину из прописей. То-то, должно быть, Сент-Бёв выпучил глаза! Впрочем, успокоимся: французы народ чрезвычайно вежливый, и мы знаем, что г-н Греч воротился из Парижа благополучно и невредимо. Притом же мы, может быть, и не ошибемся, если скажем, что по г-ну Гречу нельзя же было судить о всех русских. Но довольно

[1] сердечные согласия (*франц.*).

о г-не Грече. Мы упомянули о нем только так. К делу! Ездили в Париж и другие, кроме г-на Греча.

Являлись туда с незапамятных времен и отставные наши кавалеристы, народ веселый и добродушный, изумлявший на наших парадах публику красотой своих форм, обтянутых лосиною, и проводивший потом остаток дней своих уже не в тягостях службы, а в свое удовольствие. Толпами валили за границу и молодые вертопрахи, нигде не служившие, но сильно заботившиеся о своих поместьях. Ездили туда и коренные наши помещики со всеми семействами и картонками; добродушно и серьезно взбирались на башни Нотр-Дам, осматривали оттуда Париж и, втихомолку от своих жен, гонялись за гризетками. Доживали там свой век оглохшие и беззубые старухи барыни и уже окончательно лишались употребления русского языка, которого, впрочем, не знали и прежде. Возвращались оттуда к нам и наши матушкины сынки (что по-французски переводится: enfants de bonne maison, fils de famille [1]), знавшие всю подноготную о Пальмерстоне и о всех мелких дрязгах во Франции, до последней бабьей сплетни, и которые, за обедом, просили своих соседей приказать лакею налить им стакан воды единственно для того, чтоб не проговорить и двух слов по-русски, хотя бы и с лакеем. Об одном из таких фактов лично свидетельствует г-н Григорович, написавший недавно «Пахатника и бархатника». Но бывали и такие из них, которые знали по-русски, даже занимались зачем-то русской литературой и ставили на русских сценах комедии, вроде пословиц Альфреда Мюссе, под названием ну хоть, например, «Раканы» (название, конечно, выдуманное). Так как сюжет «Раканов» характеризует целый слой общества, занимающегося такими комедиями, а вместе с тем изображает тип и других произведений в таком же роде, то позвольте вам в двух словах рассказать его. Когда-то в Париже, в прошлом столетии, процветал один пошлейший рифмоплет, под названием Ракан, не годившийся даже чистить сапоги г-ну Случевскому. Одна идиотка, маркиза, прельщается его стихами и желает с ним познакомиться. Три шалуна сговариваются между собою явиться к ней, один за другим, под названием Ракана. Не успевает она проводить одного Ракана, как тотчас же перед ней является и другой. Всё остроумие, вся соль комедии, весь пафос ее заключается в остолбенении маркизы при виде Ракана в трех лицах. Господа, разрешавшиеся (иногда в сорок лет от роду) такими комедиями после «Ревизора», совершенно бывали уверены, что дарят русской литературе драгоценнейшие перлы. И таких господ не один, не два; имя им легион. Разумеется, никто из них ничего не пишет. Автор «Раканов» почти исключение; но зато каждый из них так уж с виду смотрит, что как будто сейчас сочинит «Раканов». Кстати (простите за отступление), премиленькая вышла бы статейка, если б кто-нибудь из наших фельетонистов взял на себя

---

[1] дети из хорошего дома, маменькины сынки (*франц.*).

труд рассказать все сюжеты таких комедий, повестей, пословиц и проч., и проч., мелькающих даже до сих пор в русской литературе. Становые, отказывающиеся, по принципу, жениться на генеральских дочерях, — разве это не те же *Раканы,* разумеется в своем роде и немного только позлокачественнее? Я знаю, например, сюжет одной повести о проглоченных кем-то маленьких часах, продолжавших тикать в желудке, — это верх совершенства! Разумеется, она написана или будет написана тоже по принципу, именно: что искусство должно служить само себе целью. Уж наше время такое: даже сочинители «Раканов» не могут теперь обходиться без «принципов» и «современных вопросов». Но к делу. Спрашиваем: что могли до сих пор заключить о нас иностранцы по таким господам? Но, скажут нам, разве только одни такие господа ездили к иностранцам? Разве не видали, хоть бы, например, французы, таких-то или вот, пожалуй, таких-то? То-то и есть, что они их до сих пор не заметили. А если б и заметили, то опять стали бы в тупик. Ну что бы, например, могли сказать они человеку, приехавшему бог знает откуда и который бы им вдруг объявил, что они отстали, что свет уже теперь на востоке, что спасение не в légion d'honneur'е,[1] и так далее, и так далее в этом роде. Они просто бы не стали его слушать.

— Да, вы многое в нас проглядели, — сказали бы мы им, если б только они могли не проглядеть, ну, и... и если б они нас стали слушать. — Вы совершенно ничего в нас не знаете, — повторили бы мы им, — несмотря на то, что ваш Мериме знает даже древнюю нашу историю и написал что-то вроде начала драмы «Le Faux Démetrius»,[2] из которой, впрочем, столько же можно узнать о русской истории, как и из «Марфы Посадницы» Карамзина. Замечательно, что сам Le Faux Démetrius вышел у него ужасно похож на Александра Дюма, не на героя романа Александра Дюма, но на самого Дюма, настоящего, маркиза Davis de la Pailletterie. Ничего-то вы не знаете ни в нас, ни в нашей истории, — повторили бы мы им в третий раз, — и до сих пор знаете только одно: что женевец Лефорт и т. д., и т. д. — Этот женевец Лефорт до того необходим в ваших познаниях о русской истории, что я думаю, каждая дворничиха в Париже уже знает его и, вероятно, при взгляде на русского, требующего у ней в поздний час le cordon s'il vous plait,[3] бормочет про себя: «Вот не родись в Женеве женевец Лефорт, то был бы ты до сих пор варваром, не приезжал бы в Париж, au centre de la civilisation,[4] не будил бы ты теперь меня ночью и не орал бы во всё горло: le cordon s'il vous plait». Но несмотря на троекратное повторение, что вы вовсе ничего о нас не знаете, мы вовсе не ставим вам в вину, что вы знаете

---

[1] почетном легионе (*франц.*).
[2] «Лжедмитрий» (*франц.*).
[3] отворите, пожалуйста (*франц.*).
[4] в центр цивилизации (*франц.*).

только одного Лефорта. Ну, Лефорт вам даже простителен, потому что многих из вас он спас от голодной смерти. Сколько гувернеров, учителей — всяких Сен-Жеромов и Мон-Ревешей — приезжало к нам в старину из-за Рейна для образования России, ровно ничего не зная ни из какой науки, кроме того, что женевец Лефорт и т. д., и за это единственное познание, которое они передавали детям русских (boyards), они получали от нас и деньги, и социальное положение. Ну к чему, в самом деле, стали бы вы изучать нас? Где разумное к тому основание? Так разве, для искусства? Но вы народ деловой, практичный и, вероятно, не станете тратить времени на такие пустяки, как искусство для искусства, хотя и посадили Понсара в Академию (впрочем, может быть, по тому соображению, что туда ему и дорога). Ну так для науки? Да ведь в том-то и дело, что мы такой народ, что до сих пор ни под какую науку не подходим. Вот почему, господа, вы до сих пор не знаете, что если б у нас только и было, что одна ваша цивилизация, так для нас это было бы уж слишком жидко и даже обидно. Мы уж это испробовали и теперь знаем всё это на опыте.

Вот почему мы знаем, а вы не знаете, что ваша цивилизация явилась у нас как плод натуральный, потребованный нашей почвой, а не потому только, что был на свете женевец Лефорт и т. д. Мало того: что цивилизация уже совершила у нас весь свой круг; что мы уже ее выжили всю; приняли от нее всё то, что следовало, и свободно обращаемся к родной почве. Нужды нет, что не велика еще у нас масса людей цивилизованных. Не в величине дело, а в том, что уже исторически закончен у нас переворот европейской цивилизации, что наступает другой, и важнее всего то, что это уже сознали у нас. В сознании-то и всё дело. У нас сознали, что цивилизация только привносит новый элемент в народную нашу жизнь, нисколько не повредив ей, нисколько не уклонив ее с ее нормальной дороги, а, напротив, расширив наш кругозор, уяснив нам же самим наши цели и давая нам новое оружие для будущих подвигов. Пусть, пусть сознающая наша масса невелика; но дело в том, что это уже не Раканы. Повторяем, не в величине дело, а в том, что уже совершился процесс сознания; об массе этой вы не имеете еще никакого понятия. Вы до сих пор (по крайней мере, все ваши виконты) убеждены, что Россия состоит только из двух сословий: les boyards и les serfs.[1] Но вы долго еще не будете убеждены, что у нас давно уже есть нейтральная почва, на которой всё сливается в одно цельное, стройное, единодушное, сливаются все сословия, мирно, согласно, братски — и les boyards, которых, впрочем, у нас никогда не было в том смысле, как у вас на западе, т. е. в смысле победителей и побежденных, и les serfs, которых опять тоже не было, в смысле настоящих serf'ов, так, как вы понимаете

---

[1] бояр *и* крепостных (*франц.*).

это словечко. И всё это сливается так легко, так натурально, мирно — главное: мирно, и этим именно мы от вас и отличаемся, потому что вы каждый шаг свой добывали с бою, каждое свое право, каждую свою привилегию. Если и есть несогласия, то они только внешние, временные, случайные, легко устранимые и не имеющие корней в почве нашей, и мы очень хорошо это понимаем. И начало этому порядку положено еще давно, с незапамятных времен; оно заложено самой природой в духе русском, в идеале народном, и последнее внешнее к тому препятствие уже уничтожается в наше время премудрым и благословенным царем, благословенным из благословенных на веки за то, что он для нас делает. Нет у нас сословных интересов, потому что и сословий-то в строгом смысле не было. Нет у нас галлов и франков, нет цензов, определяющих внешним образом, чего стоит человек; потому что у нас только одно образование и одни нравственные качества человека должны определять, чего стоит человек; это сознают, и это в убеждениях, потому что русский дух пошире сословной вражды, сословных интересов и цензов. Новая Русь уже помаленьку ощупывается, уже помаленьку сознает себя, и опять-таки нужды нет, что она невелика. Зато она, хоть и бессознательно, живет во всех сердцах русских, во всех стремлениях и позывах всех людей русских. Наша новая Русь поняла, что один только есть цемент, одна связь, одна почва, на которой всё сойдется и примирится, — это всеобщее духовное примирение, начало которому лежит в образовании. Эта новая Русь уже засвидетельствовала себя явлениями органическими и цельными, а не неудавшимися копиями и пересадками, как вы думаете. Она засвидетельствовала себя начинающеюся в молодом поколении новою нравственностью, ревниво и строго следящею за собою; она засвидетельствовала себя благородным самоосуждением, строгою совестливостью — что есть признак величайшей силы и неуклонного стремления к своему идеалу. Каждый день она разъясняет себе всё более и более свой идеал. Она знает, что она еще только что начинается, но ведь начало-то и главное: всякое дело зависит от первого шага, от начала; она знает, что она уже кончила с вашей европейской цивилизацией и теперь начинает новую, неизмеримо широкую жизнь. И теперь, когда она обращается к народному началу и хочет слиться с ним, она несет ему в подарок науку — то, что от вас с благоговением получила и за что вечно будет поминать вас добром, — не цивилизацию вашу несет она всем русским, а науку, добытую из вашей цивилизации, представляет ее народу как результат своего длинного и долгого путешествия от родной почвы в немецкие земли, как оправдание свое перед ним, и, передавая ее ему, будет ждать, что сделает он сам из этой науки. Наука, конечно, вечна и незыблема для всех и каждого в основных законах своих, но прививка ее, плоды ее именно зависят от национальных особенностей, то есть от почвы и народного характера.

— Но позвольте, — скажут нам, — что же такое ваша-то национальность? Что же такое вы сами, русские? Вот вы хвалитесь, что мы вас не знаем; но знаете ли вы-то себя? Вы собираетесь перейти к народному началу и объявляете об этом в газетах, рассылаете при афишах? Стало быть, признаетесь, что до сих пор не имели никакого понятия о вашем «народном начале», а если и имели, то имели ложное и отвергали его именно потому, что до сих пор не переходили к нему. Теперь же вздумали и кричите об этом на всю Европу. Позвольте вас спросить, что делает курица, когда снесет яйцо?

Повторяем читателю, что всё это говорит иностранец (ну, хоть бы, например, француз), не настоящий, но воображаемый, бесплотный, фантастический. Никакого француза мы и в глаза не видали, когда писали нашу статью.

— Вот еще, — продолжает он, — в вашем объявлении вы изволили поместить следующее: вы надеетесь, что русская идея станет со временем синтезом всех тех идей, которые Европа так долго и с таким упорством вырабатывала в отдельных своих национальностях. Это что за новость? что вы под этим подразумеваете?

— То есть, — отвечаем мы, — вы хотите, милостивый государь, чтоб вам объявили прямо и без околичностей, во что мы веруем?

— Нет, я вовсе этого не хочу, — восклицает наш француз с некоторым испугом, предчувствуя, что ему опять придется выслушать несколько страниц, — я вовсе этого не хочу. Я только хотел...

— Нет, милостивый государь, — прерываем мы, — вы хотели ответа и вы выслушаете наш ответ.

— Он заслюжиль розга и полючит розга! — подхватывает Иван Карлыч, вероятно вспомнив то время, когда он управлял вотчинами господина Буеракина. Теперь же Иван Карлыч, предчувствуя скорую перемену в быте крестьян, вышел в отставку и без места; он, впрочем, надеется, что его опять позовут! В настоящую минуту он стоит подле нас (тоже в качестве иностранца), курит свою трубочку, с которой, бывало, расхаживал по крестьянским работам, и молча, но очень серьезно прислушивается к нашему разговору, в полном убеждении, что выражает в своей физиономии чрезвычайно много самой тонкой иронии.

— Мы веруем, — повторяем мы...

Но позвольте, читатель, позвольте нам еще раз одно отступление; позвольте сказать только несколько посторонних слов, не потому, чтоб они были здесь очень необходимы, а так... потому что сами просятся на бумагу. Простите за искренность.

Всегда есть в ходу несколько таких мнений и убеждений, в которых современники как будто боятся признаться и отрекаются от них перед светом, несмотря на то что потихоньку их разделяют. Особенно это бывает в иные эпохи, так что становится заметно

снаружи даже совершенно постороннему наблюдателю. Мы понимаем, что может быть много и хороших к тому побуждений: можно, например, слишком бояться за истину, за ее успех; бояться ее компрометировать, высказав ее невпопад. Можно быть благородно-мнительным, недоверчивым. Всё это бывает. Но часто и даже большею частию мы любим *умалчивать* из какого-то внутреннего, затаившегося в нас иезуитизма, главный рычаг которого — наше самолюбие, раздраженное до тщеславия. Один скептик сказал, что наш век есть век раздраженных самолюбий. Обвинять целый свет — это слишком; но нельзя не согласиться, что всё на свете снесет иной современный человек, какое хотите бесчестие — даже названия подлеца, мошенника, вора, если только эти названия не совсем ясно, не совсем осязательно высказаны, облечены, так сказать, в мягкие светские формы... Одной только насмешки над умом своим он не снесет, не простит, никогда не забудет и с наслаждением отмстит за нее при случае. Спешим оговориться. Я говорю про *иного* современного человека, а не про всех современников. Может быть, это именно оттого происходит, что в наше время все начинают всё сильнее и больнее чувствовать и даже понемногу сознавать, что всякий человек, во-первых, самого себя стоит, а во-вторых, как человек стоит и всякого другого именно потому, что он тоже человек, во имя своего человеческого достоинства. А потому и начинает требовать от профессоров гуманности и от общества, ими руководимого, к себе уважения. А так как сила ума есть единственное незыблемое и неоспоримое преимущество одного человека перед другим, то никто и не хочет склониться перед этим преимуществом до тех самых пор, пока одаренные преимуществом ученики не перестанут гордиться им и не будут считать скудоумие за что-то позорное и достойное едкой насмешки. Вот почему никто и не хочет быть дураком и таким образом невольно впадает в ошибку против своего же человеческого достоинства. Дурак-то именно и не должен бы был краснеть за свою глупость, потому что не виноват, если природа родила его дураком... Но, видно, инициатива должна выйти от привилегированных умников; дураку же простительно, если он не умнее умных людей. Я знаю, например, одного... ну, хоть промышленника (ведь нынче в ходу промышленность, даже в литературе; к тому же промышленник — это такое общее, безобидное слово, почти отвлеченное)... Так вот, если б кто спросил этого промышленника, что ему будет приятнее: название мошенника или дурака? — то он, я уверен в этом, немедленно согласился бы на мошенника, несмотря на то, что он хоть и в самом деле мошенник, но все-таки гораздо более дурак, чем мошенник, и сам это знает и знает еще, что и все это знают. Вот почему люди в наш век бывают иногда уже слишком робки на выражение иных убеждений, даже самых задушевных. Они именно боятся, что их назовут отсталыми, неумными. Ум, ум, самая тревожная боязнь за свой ум — вот в чем главное дело! Умалчивая о своих убеждениях, они охотно и с яро-

стию будут поддакивать тому, чему просто не верят, над чем втихомолку смеются, — и всё это из-за того только, что оно в моде, в ходу, установлено столпами, авторитетами. Как же можно пойти против авторитетов! А между тем кто искренно убежден, тот, кажется, должен бы уважать свои убеждения; а уважающий свои убеждения должен хоть что-нибудь для них сделать. Всякий честный человек обязан... и т. д., и т. д.

— Ну, уж это пошло́ у вас из прописей, — скажет читатель и, пожалуй, бросит читать.

В самом деле, только что захочешь высказать, по своему убеждению, истину, тотчас выходит как будто из прописей! Что за фокус! Почему множество современных истин, высказанных чуть-чуть в патетическом тоне, сейчас же смахивает на прописи? Отчего в наш век, чтоб высказать истину, всё более и более ощущается потребность прибегать к юмору, к сатире, к иронии; подслащать ими истину, как будто горькую пилюлю; представлять свое убеждение публике с оттенком какого-то высокомерного к нему равнодушия, даже с некоторым оттенком неуважения, — одним словом, с какой-то подленькой уступочкой. По нашему мнению, честному человеку не следует краснеть за свои убеждения, даже если б они были и из прописей, особенно если он в них верует. Мы говорим: *особенно*, потому что ведь есть и такие убежденные, которые сами в свои убеждения не веруют и, убеждая других, поминутно задают себе вопрос: да уж не врешь ли ты, братец? а между тем горячатся за эти убеждения до ярости, и иногда вовсе не потому, чтоб хотели обманывать людей. Я знал одного господина, одного убежденного, который сам в этом сознавался. Он принадлежал к тому разряду бесспорно умных людей, которые всю жизнь только и делают, что одни глупости. Кстати: люди ограниченные, тупые, гораздо меньше делают глупостей, чем люди умные, — отчего это? И когда мы стали спрашивать этого сознавшегося господина: для чего ж он убеждает других, если сам не верует? и откуда он берет весь этот жар, всю эту ярость убеждения, если сам в своих словах сомневается, — то он отвечал, будто оттого и горячится, что всё пробует самого себя убедить. Вот что значит полюбить идею снаружи, из одного к ней пристрастия, не доказав себе (и *даже боясь* доказывать), верна она или нет. А кто знает, ведь, может, и правда, что иные всю жизнь горячатся даже с пеною у рта, убеждая других, единственно чтоб самим убедиться, да так и умирают неубежденные... Но довольно!.. Мы убедили себя окончательно. Пусть же теперь про нас думают, что мы увлекаемся своей идеей, что она неверна, неосновательна; что мы преувеличиваем; что в нас слишком много юношеского жара или, пожалуй, старческого скудоумия, что в нас мало такта, и проч., и проч. Пусть думают! Ведь мы уверены, что не можем никому повредить, высказав прямо то, во что веруем. Отчего же не говорить? Отчего же именно непременно молчать?

3

Да, мы веруем, что русская нация — необыкновенное явление в истории всего человечества. Характер русского народа до того не похож на характеры всех современных европейских народов, что европейцы до сих пор не понимают его и понимают в нем всё обратно. Все европейцы идут к одной и той же цели, к одному и тому же идеалу; это бесспорно так. Но все они разъединяются между собою почвенными интересами, исключительны друг к другу до непримиримости, и всё более и более расходятся по разным путям, уклоняясь от общей дороги. По-видимому, каждый из них стремится отыскать общечеловеческий идеал у себя, своими собственными силами, и потому все вместе вредят сами себе и своему делу. Повторяем теперь серьезно то, что сказали выше в шутку: англичанин до сих пор не может понять никакой разумности во французе, и, обратно, француз в англичанине, и это не только у них сборное мнение, инстинктивное чувство всей нации, но замечается даже в первых людях, в предводителях обеих наций. Англичанин смеется над своим соседом при всяком случае и с непримиримой ненавистью глядит на национальные его особенности. Соперничество лишает их, наконец, беспристрастия. Они перестают понимать друг друга; они раздельно смотрят на жизнь, раздельно веруют и поставляют это себе за величайшую честь. Они всё упорнее и упорнее отделяются друг от друга своими правилами, нравственностью, взглядом на весь божий мир. И тот и другой во всем мире замечают только самих себя, а всех других — как личное для себя препятствие, и каждый отдельно у себя хочет совершить то, что могут совершить только все народы, все вместе, общими соединенными силами. Что же? Неужели это только остатки старинных соперничеств? Неужели причины разъединения надо искать во времена Жанны д'Арк или крестовых походов? Неужели цивилизация так бессильна, что не могла одолеть до сих пор эти ненависти? Не искать ли их скорее в самой почве, а не в случайностях, в крови, в целом духе обоих народов? Большею частию таковы и все европейцы. Идея общечеловечности всё более и более стирается между ними. У каждого из них она получает другой вид, тускнеет, принимает в сознании новую форму. Христианская связь, до сих пор их соединявшая, с каждым днем теряет свою силу. Даже наука не в силах соединить всё более и более расходящихся. Положим, они отчасти правы в том отношении, что эти-то исключительности, это взаимное соперничество, эта-то замкнутость от всех в самих себя, эта гордая надежда на себя одного — и придают каждому из них такие исполинские силы в борьбе с препятствиями на пути. Но тем самым эти препятствия всё более и более увеличиваются и умножаются. Вот почему европейцы совершенно не понимают русских и величайшую особенность в их характере назвали безличностью. Мы согласны, что выговариваем всё это бездоказательно. Доказывать всё это теперь мы считаем не в пределах нашей статьи. Но с на-

ми согласятся по крайней мере, что в русском характере замечается резкое отличие от европейского, резкая особенность, что в нем по преимуществу выступает способность высокосинтетическая, способность всепримиримости, всечеловечности. В русском человеке нет европейской угловатости, непроницаемости, неподатливости. Он со всеми уживается и во всё вживается. Он сочувствует всему человеческому вне различия национальности, крови и почвы. Он находит и немедленно допускает разумность во всем, в чем хоть сколько-нибудь есть общечеловеческого интереса. У него инстинкт общечеловечности. Он инстинктом угадывает общечеловеческую черту даже в самых резких исключительностях других народов; тотчас же соглашает, примиряет их в своей идее, находит им место в своем умозаключении и нередко открывает точку соединения и примирения в совершенно противоположных, сопернических идеях двух различных европейских наций, — в идеях, которые сами собою, у себя дома, еще до сих пор, к несчастью, не находят способа примириться между собою, а может быть, и никогда не примирятся. В то же самое время в русском человеке видна самая полная способность самой здравой над собой критики, самого трезвого на себя взгляда и отсутствие всякого самовозвышения, вредящего свободе действия. Разумеется, мы говорим про русского человека вообще, собирательно, в смысле всей нации. Даже физическими способностями русский не похож на европейцев. Всякий русский может говорить на всех языках и изучить дух каждого чуждого языка до тонкости, как бы свой собственный русский язык, — чего нет в европейских народах, *в смысле всеобщей народной способности*. Неужели же это не указывает на что-нибудь? Неужели это только одно случайное, бесцельное явление? Неужели по таким явлениям нельзя осмыслить и хоть отчасти предугадать хоть что-нибудь в будущем развитии нашего народа, в его стремлениях и целях? И вот эта-то нация, осиленная обстоятельствами, столько веков враждебно смотрела на Европу и упорно не хотела жить с нею и не предчувствовала своей будущности! Петр почувствовал в себе каким-то инстинктом новую силу и угадал потребность расширения взгляда и поля действия для всех русских, — потребность, скрытую в них бессознательно и бессознательно вырывавшуюся наружу и которая была в их крови еще с славянских времен. Говорят, что он хотел сделать из России только Голландию? Не знаем; лицо Петра, несмотря на все исторические разъяснения и изыскания последнего времени, до сих пор еще очень для нас загадочно. Мы понимаем только одно: что нужно было быть слишком оригинальным, чтоб, быв московским царем, вздумать — не только полюбить, но даже поехать в Голландию. Неужели ж один женевец Лефорт был и в самом деле всему причиною? Во всяком случае, в лице Петра мы видим пример того, на что может решиться русский человек, когда он выживет себе полное убеждение и почувствует, что пора пришла, а в нем самом уже созрели и сказались новые силы. И страшно,

до какой степени свободен духом человек русский, до какой степени сильна его воля! Никогда никто не отрывался так от родной почвы, как приходилось иногда ему, и не поворачивал так круто в другую сторону, вслед за своим убеждением! И кто знает, господа иноземцы, может быть, России именно предназначено ждать, пока вы кончите; тем временем проникнуться вашей идеей, понять ваши идеалы, цели, характер стремлений ваших; согласить ваши идеи, возвысить их до общечеловеческого значения и, наконец, свободной духом, свободной от всяких посторонних, сословных и почвенных интересов, двинуться в новую, широкую, еще неведомую в истории деятельность, начав с того, чем вы кончите, и увлечь вас всех за собою. Сравнил же наш поэт Лермонтов Россию с Ильей Муромцем, который тридцать лет сидел сиднем и вдруг пошел, только лишь сознал в себе богатырскую силу. К чему же даны такие богатые и оригинальные способности русским? Неужели же для того, чтоб ничего не делать? Может быть, нам скажут: откуда в вас столько хвастливости, откуда такое высокомерие? Где же ваша способность самоосуждения, где ваш трезвый взгляд, которыми вы так хвалились? Но, ответим мы, если мы начали с того, что вынесли столько самоосуждения, которому сами долго себя подвергали, то можем вынесть и другую правду, хотя бы она была и совершенно обратна самоосуждению. На нашей памяти, — как мы бранили себя славянами за то, что не могли сделаться теперешними европейцами. Неужели ж нельзя сознаться теперь, что мы тогда говорили вздор? Мы не отвергаем способности самоосуждения, любим ее и именно признаем ее за лучшую сторону русской природы, за ее особенность, за то, чего у вас вовсе нет. Мы знаем, что еще много нам предстоит упражняться в самоосуждении, даже, может быть, чем дальше, тем больше. Попробуйте, однако ж, затронуть француза, ну хоть в храбрости, или в его légion d'honneur'e. Затроньте англичанина хоть бы в самой малейшей домашней его привычке и увидите, что они вам скажут. Почему же не похвалиться, что в нас русских нет такой щепетильности и обидчивости, исключая, может быть, одних, так называемых, литературных генералов наших. Мы веруем в силу русского духа не менее, чем кто бы то ни было. Неужели он не вынесет похвалы? Нет, господа европейцы! Не спрашивайте пока от нас доказательств нашего мнения о вас и о себе и постарайтесь прежде получше узнать нас, если только вам будет на это досуг. Вот вы уверены, что мы свистали при ваших неудачах, надменно радовались им и плевали на ваши усилия, когда вы так мужественно и великодушно ринулись было на новый путь прогресса. Нет, нет, старшие братья наши, любезные и дорогие, мы вам не свистали, не радовались неудачам вашим. Мы иногда даже плакали вместе с вами. Вы, конечно, сейчас же удивитесь и спросите: да чего же вы-то плакали? Вам-то что было за дело? Ведь вы тут совершенно были сбоку припека? Ах, господа, ответим мы вам, да ведь в том-то всё и дело, что сбоку припека, а между тем вам

сочувствовали! В том-то вся и загадка. Вот вы, например, откуда-то взяли, что мы фанатики, то есть что нашего солдата у нас возбуждают фанатизмом. Господи боже! Если б вы знали, как это смешно! Если есть на свете существо вполне не причастное никакому фанатизму, так это именно русский солдат. Те из нас, кто бывал и живал с солдатами, знают это до точности. Если б вы знали, какие это милые, симпатичные, родные типы! О, если бы вам удалось прочесть хоть рассказы Толстого; там кое-что так верно, так симпатично схвачено! Да что! неужели Севастополь русские защищали из религиозного фанатизма? Я думаю, ваши храбрые зуавы хорошо познакомились с нашими солдатами и знают их. Много ли они от них видели ненависти? И как хорошо знаете вы тоже наших офицеров! Вы задали себе, что у нас всего только два сословия: les boyards и les serfs; на том и сидите. Какие тут boyards! Положим, что у нас довольно цельно определены сословия. Но во всех сословиях наших гораздо более точек соединения, чем разъединения, а в этом всё и дело. Это залог нашего всеобщего мира, спокойствия, братской любви и процветания. Всякий русский прежде всего русский, а потом уже принадлежит к какому-нибудь сословию. Не так у вас, и мы вас сожалеем. У вас бывает даже совершенно обратно. Из сословного интереса у вас предавалась иногда в жертву вся нация, и даже очень недавно, даже иногда и теперь, даже, наверно, еще много раз будет. Значит, еще очень сильны у вас сословия и всякие корпорации. Вы с удивлением спрашиваете: но где же ваше-то хваленое развитие, в чем прогресс ваш? кажется, на деле не видно того? Нет, видно, отвечаем мы, да вам-то не видно; вы не туда смотрите. Довольно уж и того, что оно в духе и в потребностях всего народа; довольно и того, что хоть самое маленькое меньшинство наше начинает соглашаться между собою хоть в общем, хоть в целом. Не называйте нас надменными и недальновидными скороспелками. Нет, мы давно уже во всё вглядываемся, всё анализируем; задаем себе загадки; тоскуем и мучаемся разгадками. Анализ начался у нас недавно, но, по-нашему, очень давно, и мы даже самим себе надоели этим до тошноты. Ведь мы тоже жили и много прожили. А кстати: не рассказать ли вам нашу *собственную* повесть, повесть нашего развития, нашего роста? Разумеется, мы не начнем с Петра Великого; мы начнем с недавнего времени, именно с того, когда во всё образованное сословие наше вдруг стал проникать анализ. Извольте. Бывали минуты, что мы, то есть цивилизованные, и в себя не верили. Поль де Кока мы еще тогда читали, но с презрением отвергали Александра Дюма и всю компанию. Мы набросились на одного Жорж-Занда и — боже, как мы тогда зачитались! Андрей Александрович купно с г-ном Дудышкиным, поселившимся в «Отечественных записках» после Белинского, еще до сих пор вспоминает Жорж-Занда; прочтите объявление об их журнале на 61 год. Тогда мы смиренно выслушивали ваши приговоры о нас самих и вам же усердно поддакивали. Да; мы поддакивали и — не знали,

что делать. От нечего делать мы основали тогда натуральную школу. И сколько у нас проявилось талантливых натур! не писателей талантливых — те особо; а натур, талантливых во всех отношениях. Господин надворный советник Щедрин знает, что означает это словечко. И как эти талантливые натуры ломались и кривлялись тогда перед нами, а мы их разглядывали, пересуживали, осмеивали их в глаза и заставляли их же смеяться над самими собою. И они смеялись над собою, но как-то по принципу и с какой-то отвратительной затаенной злобой. Тогда всё делалось по принципу; мы и жили по принципу, и ужасно боялись сделать что-нибудь не по новым идеям. Родилось у нас тогда какое-то усиленное самообвинение и самоуличение, а вместе с тем все наперерыв уличали и обличали друг друга; и, господи, как они все тогда сплетничали! И ведь всё это было большею частию искренно. Конечно, являлись между ними и промышленники; но были и самые искренние, так, сдуру, из прекрасного чувства. Случалось, что иной искренний господин вдруг, наедине как-нибудь вечерком, вломится в душу другого искреннего господина и начнет ему повествовать о своих погибельных днях и «какой, дескать, я выхожу подлец». Другой расчувствуется и начнет, с своей стороны, то же самое. И вот пустятся один перед другим наперерыв, даже клевещут на себя от излишнего жара, точно хвалятся. И наговорят они оба взаимно столько о себе самих мерзостей, что на другой день даже стыдно им встретиться друг с другом; так и избегают друг друга. Были у нас и байронические натуры. Они большею частию сидели сложа руки и... даже уж и не проклинали. Так только лениво иногда осклаблялись. Они даже смеялись над Байроном за то, что он так сердился и плакал, что лорду уж и совсем неприлично. Они говорили, что и не стоило сердиться и проклинать, — что уж так всё гадко, что даже пальцем пошевелить не хочется и что хороший обед всего дороже. И когда они говорили это, мы с благоговением внимали их словам, думая видеть в их мнении о хорошем обеде какую-то таинственную, тончайшую и ядовитейшую иронию. А те уплетали себе в ресторанах и жирели не по дням, а по часам. И какие из них бывали краснощекие! Иные же не останавливались на иронии жирного обеда и шли всё дальше и дальше; они преусердно начали набивать свои карманы и опустошать карманы ближнего. Многие пошли потом в шулера. А мы смотрели с благоговением, разиня рот и удивляясь. Что ж? говорили мы друг другу, ведь это у них тоже по принципу; надо же взять от жизни всё, что она может дать. И когда они, на наших глазах, воровали платки из карманов, то мы даже и в этом находили какую-то утонченность байронизма, дальнейшее его развитие, еще неизвестное Байрону. Мы ахали и грустно качали головами. «Вот до чего, — говорили мы, — может довести отчаяние; человек сгорает добром, преисполнен благороднейшего негодования, кипит жаждой деятельности, но действовать ему не дают, его обрезали, и вот — он с демоническим хохотом передергивает

в карты и ворует платки из карманов». И как чистосердечны, как ясны душой вышли многие из нас из всего этого срама. Куда многие! — почти все, кроме, разумеется, Байронов. Были у нас и высокочистые сердцем, которым удалось высказать горячее, убежденное слово. О, те не жаловались, что им не дают высказаться, что обрезают их поле деятельности, что антрепренеры высасывают из них последние соки, то есть они и жаловались, но не складывали рук и действовали как могли; а и все-таки действовали, хоть что-нибудь, да делали и... многое, очень многое сделали! Они были невинны и простодушны, как дети, и всю жизнь не понимали своих сотрудников Байронов и умерли наивными страдальцами. Мир праху их! Были у нас и демоны, настоящие демоны; их было два, и как мы любили их, как до сих пор мы их любим и ценим! Один из них всё смеялся; он смеялся всю жизнь и над собой и над нами, и мы все смеялись за ним, до того смеялись, что наконец стали плакать от нашего смеха. Он постиг назначение поручика Пирогова; он из пропавшей у чиновника шинели сделал нам ужасную трагедию. Он рассказал нам в трех строках всего рязанского поручика, — всего, до последней черточки. Он выводил перед нами приобретателей, кулаков, обирателей и всяких заседателей. Ему стоило указать на них пальцем, и уже на лбу их зажигалось клеймо навеки веков, и мы уже наизусть знали: кто они и, главное, как называются. О, это был такой колоссальный демон, которого у вас никогда не бывало в Европе и которому вы бы, может быть, и не позволили быть у себя. Другой демон — но другого мы, может быть, еще больше любили. Сколько он написал нам превосходных стихов; писал он и в альбомы, но даже сам г-н —бов посовестился бы назвать его альбомным поэтом. Он проклинал и мучился, и вправду мучился. Он мстил и прощал, он писал и хохотал — был великодушен и смешон. Он любил нашептывать странные сказки заснувшей молодой девочке и смущал ее девственную кровь, и рисовал перед ней странные видения, о которых еще ей не следовало бы грезить, особенно при таком высоконравственном воспитании, которое она получила. Он рассказывал нам свою жизнь, свои любовные проделки: вообще он нас как будто мистифировал; не то говорит серьезно, не то смеется над нами. Наши чиновники знали его наизусть, и вдруг все начали корчить Мефистофелей, только что выйдут, бывало, из департамента. Мы не соглашались с ним иногда, нам становилось и тяжело, и досадно, и грустно, и жаль кого-то, и злоба брала нас. Наконец ему наскучило с нами; он нигде и ни с кем не мог ужиться; он проклял нас, и осмеял «насмешкой горькою обманутого сына над промотавшимся отцом», и улетел от нас,

И над вершинами Кавказа
Изгнанник рая пролетал.

Мы долго следили за ним, но наконец он где-то погиб — бесцельно, капризно и даже смешно. Но мы не смеялись. Нам тогда

вообще было не до смеху. Теперь дело другое. Теперь бог послал нам благодетельную гласность, и нам вдруг стало веселее. Мы как-то вдруг поняли, что всё это мефистофельство, все эти демонические начала мы как-то рано на себя напустили, что нам еще рано проклинать себя и отчаиваться, несмотря на то, что еще так недавно господин Ламанский среди всего Пассажа доложил нам, что мы не созрели. Господи, как мы обиделись! Господин Погодин прискакал из Москвы на почтовых, запыхавшись, и тут же начал всенародно утешать нас и, разумеется, тотчас же нас уверил (даже без большого труда), что мы совершенно созрели. С тех пор мы такие гордые. У нас Щедрин, Розенгейм... Помним мы появление г-на Щедрина в «Русском вестнике». О, тогда было такое радостное, полное надежд время! Ведь выбрал же г-н Щедрин минутку, когда явиться. Говорят, в «Русском вестнике» прибавилось вдруг столько подписчиков, что и сосчитать нельзя было, несмотря на то, что почтенный журнал уж и тогда начинал толковать о Кавуре, об английских лордах и фермерстве. С какою жадностью читали мы о Живоглотах, о поручике Живновском, о Порфирии Петровиче, об озорниках и талантливых натурах, — читали и дивились их появлению. Да где ж они были, спрашивали мы, где ж они до сих пор прятались? Конечно, настоящие живоглоты только посмеивались. Но всего более нас поразило то, что г-н Щедрин едва только оставил северный град, Северную Пальмиру (по всегдашнему выражению г-на Булгарина — мир праху его!), как тотчас же у него и замелькали под пером и Аринушки, и несчастненькие с их крутогорской кормилицей, и скитник, и матушка Мавра Кузьмовна, и замелькали как-то странно, как-то особенно. Точно непременно так уж выходило, что как только выедешь из Пальмиры, то немедленно заметишь всех этих Аринушек и запоешь новую песню, забыв и Жорж-Занд, и «Отечественные записки», и г-на Панаева, и всех, и всех. И вот разлилась как море благодетельная гласность; громко звякнула лира Розенгейма; раздался густой и солидный голос г-на Громеки, мелькнули братья Милеанты, закишели бессчетные иксы и зеты, с жалобами друг на друга в газетах и повременных изданиях; явились поэты, прозаики, и всё обличительные... явились такие поэты и прозаики, которые никогда бы не явились на свет, если б не было обличительной литературы. О, не думайте, г-да европейцы, что мы пропустили Островского. Нет; ему не в обличительной литературе место. Мы знаем его место. Мы уже говорили не раз, что веруем в его новое слово и знаем, что он, как художник, угадал то, что нам снилось еще даже в эпоху демонических начал и самоуличений, даже тогда, когда мы читали бессмертные похождения Чичикова. Грезилось и желалось всё это нам, как дождя на сухую почву. Мы даже боялись и высказать, чего нам желалось. Г-н Островский не побоялся... но об Островском потом. Мы не располагали о нем говорить теперь; мы только хотели поговорить о благодетельной гласности. О, не верьте, не верьте,

почтенные иноземцы, что мы боимся благодетельной гласности, только что завели — и испугались ее, и прячемся от нее. Ради бога, пуще всего не верьте «Отечественным запискам», которые смешивают гласность с литературой скандалов. Это только показывает, что у нас еще много господ точно с ободранной кожей, около которых только пахни ветром, так уж им и больно; что у нас еще много господ, которые любят читать про других и боятся, когда другие прочтут что-нибудь и про них. Нет, мы любим гласность и ласкаем ее, как новорожденное дитя. Мы любим этого маленького бесенка, у которого только что прорезались его маленькие, крепкие и здоровые зубенки. Он иногда невпопад кусает; он еще не умеет кусать. Часто, очень часто не знает, кого кусать. Но мы смеемся его шалостям, его детским ошибкам, и смеемся с любовью, что же? детский возраст, простительно! Грешные люди — мы даже смеялись за ним, когда он не побоялся «оскорбить своей насмешкой» даже самих братьев Милеантов, столь почтенных и столь невинных, которых имя так неожиданно вдруг прогремело по всей России... Нет, мы не боимся гласности, мы не смущаемся ею. Это всё от здоровья, это всё молодые соки, молодая неопытная сила, которая бьет здоровым ключом и рвется наружу!.. всё хорошие, хорошие, признаки!..

4

Но что мы говорим о гласности! Всегда, во всяком обществе есть так называемая золотая посредственность, претендующая на первенство. Эти золотые страшно самолюбивы. Они с уничтожающим презрением и с нахальною дерзостью смотрят на всех неблистающих, неизвестных, еще темных людей. Они-то первые и начинают бросать камни в каждого новатора. И как они злы, как тупы бывают в своем преследовании всякой новой идеи, еще не успевшей войти в сознание всего общества. А потом какие крикуны выходят из них, какие рьяные и вместе с тем тупые последователи этой же самой идеи, когда она получает предоминирующее значение в обществе, несмотря на то, что они ее и преследовали вначале. Разумеется, они поймут наконец новую мысль, но поймут всегда после всех, всегда грубо, ограниченно, тупо и никак не допускают соображения, что если идея верна, то она способна к развитию, а если способна к развитию, то непременно со временем должна уступить другой идее, из нее же вышедшей, ее же дополняющей, но уже соответствующей новым потребностям нового поколения. Но золотые не понимают новых потребностей, а что касается до нового поколения, то они всегда ненавидят его и смотрят на него свысока. Это их отличительнейшая черта. В числе этих золотых всегда бывает чрезвычайно много промышленников, выезжающих на модной фразе. Они-то и опош-

ливают всякую новую идею и тотчас же обращают ее в модную фразу. Они опошливают всё, до чего ни прикасаются. Всякая живая идея в их устах обращается в мертвечину. Награду же за нее получают всегда они первые, на другой день после похорон гениального человека, ее провозгласившего и которого они же преследовали. Иные из них до того ограниченны, что им серьезно кажется, что гениальный человек ничего не сделал, а сделали всё они. Самолюбие в них страшное. Мы сказали уже, что они чрезвычайно тупы и неловки, хотя кажутся толпе умными, всё больше берут резкими и азартными фразами, впадают в крайности, не понимая ни смысла, ни духовной постройки идеи и таким образом вредят ей даже и тогда, когда искренно разделяют ее. Например: подымется между мыслителями и филантропами вопрос, ну хоть бы о женщине, об облегчении ее участи в обществе, об уравнении прав ее с правами мужчины, о деспотизме мужа и проч., и проч. Золотые непременно поймут это так, что брак *немедленно* должен разрушиться; главное — немедленно. Мало того, — что всякая женщина не только может, но даже *должна* быть неверною своему мужу, и что в этом-то и состоит настоящий нравственный смысл всей идеи. Всего смешнее смотреть на этих господ, когда, например, общество, в какое-нибудь хлопотливое, переходное время, разделяется на два убеждения. Тогда они не знают, к кому, к чему пристать; а между тем нередко считаются столпами, авторитетами: нужно высказать свое мнение. Что им делать? После долгих колебаний золотой господин решает и всегда невпопад. Это уже закон. Это тоже главнейшая черта золотого господина. Так и прорвется на чем-нибудь самым грубым, самым нелепым образом, так что, случалось, иные из их решений переходили в потомство как пример тупоумия. Но мы отвлеклись от дела. Не одна гласность преследуется в наше время. Преследуется и грамотность, и даже именно теми, которые в свое время казались нам в числе людей, если не передовых, то не отсталых и, главное, *страшно* благоразумных. Мы говорим *страшно*, потому что многие из них до того авторитетно и свысока смотрели на всех людей темных, до того чванились своим здравым смыслом и так называемым ясным, *практическим* пониманием вещей, что при них даже неловко было сидеть. Так и хотелось уйти в другую комнату. Такой господин крепится иногда лет двадцать среди благомыслящих и передовых и считается передовым, так что наконец и сам уверен, что он передовой, и вдруг брякнет что-нибудь до того неожиданное, что только одна помещица Коробочка могла бы так сбрякнуть в каком-нибудь случае, ну хоть, например, если б ее пригласили решить вопрос о европейском финансовом кризисе. Но мы заговорили о постороннем и отвлеклись от предмета. Перейдем к делу. Мы заговорили о грамотности.

Известен факт, что грамотное простонародие наполняет остроги. Тотчас же из этого выводят заключение, что не надо грамот-

ности. Логически ли это? Нож может обрезать, так не надо ножа. — Нет, скажут нам, не «не надо ножа», а надо давать его только тем, которые умеют владеть им и не обрежутся. — Хорошо. Следственно, по-вашему, надо сделать из грамотности что-то вроде привилегии. Но не лучше ли было бы вам, господа, обратить сперва внимание на те обстоятельства, которыми обставлена в нашем простонародье грамотность, и посмотреть, нельзя ли как устранить эти обстоятельства, а не лишать весь народ духовного хлеба. Мы признаем вместе с вами, что грамотное простонародье наполняет остроги. Но рассмотрите, как и отчего это происходит? Мы расскажем вам это так, как сами поняли, после долголетних наблюдений над острожною жизнию. Во-первых, в нашем простонародье грамотных так мало, что грамота, действительно, дает иногда человеку перед другими некоторое преимущество, придает ему большее достоинство, более солидности, отличия, возвышения над своей средой. Простонародье не то чтоб считало грамотного лучше себя в каком-нибудь отношении — нет, оно признает в грамотном только более сильного человека, чем оно само, более возвышающегося над многими хлопотливыми обстоятельствами обыденной жизни, одним словом — признает в грамотности житейскую пользу. Грамотного и бумагой какой-нибудь не надуешь, и в другом чем-нибудь не проведешь. С своей стороны, грамотный как-то невольно наклонен считать себя выше всей окружающей его среды людей темных и неграмотных. Разумеется, более или менее. А считая себя выше, он уже не совсем спокойно относится к этой среде, в которой живет вместе с другими. У него естественно рождается мысль, что ему уже и не следует, что он и не должен третироваться так, как эти темные люди. «Они, дескать, темные, а мы народ грамотный». Его так и подмывает, при случае, *выйти из рядов*. К нему же почти всегда бывает некоторый оттенок уважения, иногда самый неприметный, а иногда и очень сильный, особенно если он умеет вести себя, то есть держит себя солидно, красноречив, велеречив, немножко педант, презрительно молчит, когда все говорят, и заговорит именно тогда, когда все замолчат, не зная что говорить, одним словом, если держит себя так, как держат себя некоторые наши умники и некоторые наши мыслители, передовые, практические люди и некоторые литературные генералы, одним словом — все те, которых вы так хорошо знаете. Та же наивность, те же смешно нетерпеливые выходки. Короче, во всех слоях общества одно и то же, только в каждом слое в своем роде. Потребность заявить себя, отличиться, выйти из ряду вон есть закон природы для всякой личности; это право ее, ее сущность, закон ее существования, который в грубом, неустроенном состоянии общества проявляется со стороны этой личности весьма грубо и даже дико, а в обществе уже развившемся — нравственно-гуманным, сознательным и совершенно свободным подчинением каждого лица выгодам всего общества и, обратно, беспрерывной

заботой самого общества о наименьшем стеснении прав всякой личности. Следовательно, основание одно и то же, а разница только в употреблении прав своих. Взгляните на так называемых начетчиков между раскольниками и посмотрите, какое огромное деспотическое влияние они имеют на своих единоверцев. Даже само общество заключает в себе какую-то инстинктивную потребность выдвинуть из среды себя какую-нибудь исключительную личность; поставить ее как исключение перед собою, вне обычаев и принятых правил; признать за этой личностью что-то необыкновенное и преклониться перед нею. Таким образом, появляются Иваны Яковлевичи, Марфуши и проч. Возьмем теперь совершенно другой пример. Взгляните на иного лакея, дворового. Хотя он гораздо ниже крестьянина-хлебопашца в общественном своем положении, но так как ему кажется, что он выше, что фрак, белый официантский галстух и лакейские перчатки благородят его перед мужиком, то он уж и презирает его. И не говорите, что эта гадкая, низкая черта свойственна только грубому народу, то есть отрекаться от своих и пренебрегать ими при перемене судьбы своей. Черта гадкая, это правда; но за нее некого обвинять. Лакей не виноват, если, по темноте своей, видит привилегию в немецком платье. Для него главное в том, что он вошел в соприкосновение с господами, то есть с высшими; он обезьянничает их манеры, замашки; платье отличает его от прежней среды... Таким образом, и грамотность, как чрезвычайная редкость в народе, считает себя тоже отличною и привилегированною, и грамотный нередко презирает неграмотного. Ему хочется показать себя. Он становится самонадеян, нетерпелив, превращается в какого-то деспотика. Ему иногда может показаться, что с ним нельзя поступать так, как с другими, темными. Он нетерпелив; он дерзок на словах; ему неприлично перенести то, что все переносят, — особенно при свидетелях; он надменен. Надменность порождает в нем легкомыслие, легкомыслие — заносчивость. Иногда он уж слишком много на себя понадеется, заберется не по силам, и — вдруг обрывается, даже иногда совершенно нечаянно, и оттого, например, что в критическую минуту на него смотрели свои, перед которыми он чванился, и ждали, что от него в эту критическую минуту будет. Вот он и показал себя и... попал в острог. Разумеется, мы говорим не про всех грамотных. Мы говорили отвлеченно; и смешно бы было утверждать, что только научится простолюдин грамоте, так уж и попал в острог. Мы хотели только выяснить, каким образом грамотность, как своего рода привилегия, может породить заносчивость и самонадеянность, неуважение к среде своей и к своему положению, особенно если оно не совсем приятное. Мы говорили теоретически и жалеем, что пределы нашей статьи не позволяют нам представить несколько примеров, каким образом происходит всё это на практике, как развивается и к какому приходит концу. Повторим опять, что мы говорили не про всех грамотных; из грамотных приходят в остроги уже

отчасти самой природой к тому предназначенные при известной обстановке, то есть люди от природы упрямые, горячие, нервные, впечатлительные. На них-то грамотность и действует привилегиальными своими неудобствами именно потому, что у нас она и есть привилегия...

— Что ж из этого? — скажут нам. — Из ваших же слов выходит, что грамотность вредна и что наше простолюдье до нее не дозрело.

— Напротив, — отвечаем мы, — вместо того, чтоб делать грамотность привилегией, исключением, уничтожьте исключительность. Сделайте ее достоянием всех по возможности, и она не породит ни в ком и ни при каких обстоятельствах ни высокомерия, ни заносчивости. Не перед кем и заноситься-то будет — все будут грамотные. А потому, чтоб уничтожить вредные последствия грамотности, нужно как можно более распространять ее; в этом всё лекарство. Тем более, господа противники грамотности, что вы вашей-то системой (то есть стеснением грамотности) не только не достигнете цели, но даже против себя действуете. Рассудите: ведь вы стеснением грамотности никогда не уничтожите ее совершенно. Правительство первое воспротивилось бы вашим рьяным усилиям и защитило бы народ от вашей филантропии. Следственно, все-таки будут между народом грамотные; а если будут, то все-таки будут наполнять остроги, следовательно, вы никого не излечите, ничего не достигнете. Мало того, тем вернее будут наполняться остроги; потому что чем меньше будет грамотности, тем более будет она иметь вид привилегии. Согласитесь еще с этим: грамотность есть первый шаг к образованию; как же достигнуть образования без этого первого шага? Ведь не можем же мы серьезно представить себе, что вы нарочно хотите держать народ в темноте, в пороках и в невежестве, одним словом — убить и развратить в нем душу? Или, может быть, это тоже входит в вашу систему? Да, это правда! Нет человека упрямее, капризнее и вреднее иного кабинетного филантропа! Но довольно. Мы уверены, с своей стороны, совершенно, что грамотность нравственно улучшит народ и придаст ему чувство собственного достоинства, которое в свою очередь уничтожит многие злоупотребления и беспорядки, уничтожит даже их возможность. Всё зависит от обстоятельств, и всё на свете изменяется только сообразно с обстоятельствами. Была бы только видна в обществе прямая, насущная потребность, проявилось бы только первое сознание этой потребности — и она немедленно находит средство удовлетворить себя. Напротив того, никакое даже действительное улучшение не примется массой как улучшение, а напротив — как притеснение, если в массе не образовалась еще хоть сколько-нибудь сознательно потребность этого улучшения. Так и грамотность. Народ уже созрел до нее, он желает, ищет грамотности, и потому она должна и будет распространяться, несмотря на все усилия филантропов. Взгляните на воскресные

школы. Дети наперерыв приходят учиться, иногда даже тихонько от своих хозяев. Родители сами приводят своих детей к учителям. Да; несмотря на то, что уже давно изучают у нас народ, что многие из наших литераторов посвятили изучению его свои досуги и таланты, мы все-таки до сих пор очень плохо знаем народ. Мы уверены, что лет десять, двенадцать назад многие передовые тогдашние люди не поверили бы, что народ сам будет хлопотать об основании обществ трезвости и толпиться в воскресных школах. Мы серьезно говорим это, потому что наше мнение иные могли бы принять за шутку. Но наше цивилизованное общество достигнет наконец того, что поймет народ — этого неразгаданного сфинкса, как выразился недавно один из наших поэтов. Оно поймет народное начало и проникнется им. Оно уже сознало, что это необходимо как основание нашего будущего развития и прогресса; оно сознало, что за ним первый шаг, и — найдет наконец, как сделать этот шаг.

5

Итак, всё дело теперь в первом шаге, всё дело в том, чтоб догадаться, как сделать этот первый шаг, как выговорить это первое слово, чтоб народ услышал нас и обратил к нам свое ухо и недоверчивое лицо свое. Разумеется, найдутся еще очень многие господа, которые расхохочутся на слова наши.

Ну что ж им отвечать? Мы сами знаем, что таких господ — легион, да ведь до них нам и дела нет. Кстати, кто-то удостоверял, что мы, то есть именно наш журнал, берем на себя примирение цивилизации с народным началом. Мы считаем этот отзыв не более как за милую шутку. Не одному человеку сказать это неизвестное слово и разгадать всю эту загадку. В программе нашего журнала мы только выставили главную мысль, которая будет руководить нас. Мы будем искать разгадку вместе со всеми. Мы будем только неустанно повторять и доказывать, что искать — надо; будем следить, разбирать, обсуживать, спорить и передавать наши результаты публике. Вот вся будущая деятельность наша. Слово — та же деятельность, а у нас — более чем где-нибудь. Слово, сказанное кстати, полезно; потому и мы имеем надежду, что и мы будем полезны. Журнал наш назначается для чтения образованного общества, так как за образованным обществом до сих пор еще первое слово и первый шаг ко всякой деятельности. Мы знаем, что для народного чтения у нас еще до сих пор ничего не сделано. Хоть и было бы что читать, но и то, что есть, недоступно народу. Всякую попытку устранить эту недоступность мы встретим с искреннею радостию. Но, повторяем, мы и в мыслях не имели назначать наш журнал прямо для народного чтения. Но довольно объясняться; обращаемся к нашему делу. Мы потому считаем за образованным сословием нашим первый шаг к новой деятельности, что оно первое и отдалилось от

народности. Трудов к сближению будет много; мы все это чувствуем, хотя и не сознаем еще ясно, в чем будут состоять они. Всё дело в устранении недоразумений. Всякое недоразумение устраняется прямотою, откровенностью, любовью. Мы начинаем сознавать, что интерес нашего сословия в народном интересе, а народный интерес в нашем. Такое сознание, если б сделалось всеобщим, гарантировало бы прочность дела. Но если и нет этого сознания, то есть следы, что оно начинается, а теперь уж довольно и этого. Человек может ошибаться. Мы, с своей стороны, знаем, что ошибку в фальшь не ставят. Не в ошибках дело. Пусть желающие сближения сделают хоть тысячу ошибок; главное в том, чтоб народ видел и угадал это желание, чтоб он понял его и оценил — вот всё, чего надо. Дело правое не погибнет и от нескольких ошибок. По крайней мере, идея, на которой всё основано, останется незыблемой. Не удастся один шаг, удастся другой. Всё состоит в правдивости и прямоте побуждения, в любви. Любовь есть основа побуждения, залог его прочности. Любовь города берет. Без нее же ничего и никто не возьмет, разве силой; но ведь есть такие вещи, которые никогда не возьмешь силой. Любовь понятнее всего, всяких хитростей и дипломатических тонкостей. Ее мигом узнаешь и отличишь. Народ понятлив и признателен; он знает, кто его любит. В народной памяти остаются только те, кого он любил. Пример к сближению нам подал сам монарх, устранивший последние фактические к этому препятствия, и нет ничего выше, ничего святее его дела во всё тысячелетие России. И хотя мы полтора века сряду приучали народ быть к нам недоверчивым, но вспомните басню — ведь не дождем, не ветром сдернуло плащ с путника, а солнцем. Много несчастий произошло на свете от недоумений и от недосказанности. Недосказанное слово вредит и вредило всегда. Неужели одному сословию бояться быть откровенным с другим? Чего бояться? Народ с любовью оценит в образованном сословии своих учителей и воспитателей, признает нас за настоящих друзей своих, оценит в нас не наемников, а пастырей и будет уважать нас. Мы должны, наконец, заслужить от него уважения. И какие великие силы возродятся тогда! Как всё возрастет, возмужает и обновится! Как изменятся наши взгляды и так называемые законченные выводы! Куда денутся тогда наши «талантливые натуры», не находившие себе места, наши обленившиеся Байроны, слишком много занимающие места, потому, надо полагать, что на досуге они страшно растолстели! Конечно, недаром жили и вы, господа Байроны, и недаром толстели. Вы жили и протестовали; вы заявляли ваши желания... Мы смотрели на ваши скорбные фигуры и спрашивали: «О чем они скорбят, чего хотят, чего ищут?» Следственно, вы возбуждали наше любопытство; любопытство старалось отыскать ответ и — находило ответ. Итак, вы приносили хоть отрицательную пользу, хоть только тем, что жили между нами. Но теперь полно и вам горемычничать; сде-

лайте и вы хоть что-нибудь. Вы всё говорите, что у вас нет деятельности. Попробуйте, не найдете ли хоть теперь? Научите хоть одного мальчика грамоте; вот вам и деятельность. Но нет! вы с негодованием отворачиваетесь... «Какая же это для нас деятельность! — говорите вы, злобно улыбаясь, — мы таим в груди нашей исполинские силы. Мы хотим и можем сдвигать с места горы; из наших сердец бьет чистейший ключ любви ко всему человечеству. Мы хотели бы разом обняться со всем человечеством. Мы хотим работы соразмерно с силами нашими; вот какой хотим мы деятельности и гибнем в бездействии. Нельзя же шагать вместо семи миль по вершку! Великану ль учить мальчика грамоте?» — Справедливо, господа; но если вы ничего не будете делать, то и умрете, ничего не сделав; а тут все-таки хоть капелька первого шагу; один атом, но все-таки больше, чем ничего. И знаете ли что? Вы желаете исполинской деятельности; хотите ли, мы вам дадим такую, которая выше всех ожиданий ваших? Даже горы сдвигать легче, чем исполнять эту деятельность. Вот она: пожертвуйте для всеобщего блага всем вашим великанством; шагайте вместо семи миль по вершку; проникнетесь идеей, что если нельзя шагать дальше, то вершок все-таки больше, чем ничего. Пожертвуйте всем — и великой природой вашей и великими идеями, помня, что всё это для всеобщего блага; снизойдите, снизойдите до мальчика. Это будет колоссальнейшая жертва! Мало того: вы люди умные, талантливые, и если пожертвуете собой, снизойдете до обыденного, до маленького, то, может быть, тут же, с первого же шага отыщете еще какую-нибудь деятельность, более сильную, а потом еще и еще. Ведь дело только в начале, только начните. Начните-ка! а?.. Но виноваты, может быть, это не по вашим силам. Вы, пожалуй, можете пожертвовать и жизнию; но на такие усилия вы не способны.

Конечно, мы внесем только одну десятую долю усилий; народ сам доставит остальные девять десятых. Но что же, скажут нам, вы хотите сделать с вашим образованием? чего достигнете? Вы хотите перейти к народному началу и несете народу образование, то есть ту же европейскую цивилизацию, которую сами признали за не подходящую к нам. Вы хотите *переевропеить* народ? — Но возможно ли, отвечаем мы, чтоб европейская идея на совершенно чуждой ей почве принесла те же результаты, как и в Европе. У нас до того всё особенно, всё непохоже на Европу во всех отношениях: и во внутренних, и во внешних, и во всевозможных, — что европейских результатов невозможно добыть на нашей почве. Повторяем: что подходит к нам — останется, что не подходит — само собою умрет. Можно ли сделать из народа нашего немцев? В сравнении с ним мы самое крошечное меньшинство, самостоятельных сил и средств у нас меньше, чем во всей громадной народной массе; а вот мы же были у немцев, и в целых полтораста лет не поддались же европейскому влиянию, не сделались немцами. Значит и мы, несмотря на наше меньшинство, на наши малые

силы, на исключительное положение наше перед народом, все-таки заключали в себе великие русские начала общечеловечности и всепримиримости и не потеряли их. Они сказались в нас, и мы поняли, что не можем сделаться немцами, и сами захотели воротиться к родному началу. Мы устыдились своей недеятельности, своей несамодвижности среди громадной деятельности европейских племен, и поняли, что в Европе нам нечего делать. Не беспокойтесь, наука не наложит пут на народ наш; она только расширит его силы, и он скажет в ней свое слово. До сих же пор наука у нас не прививалась и была у нас как дорогой оранжерейный цветок. Особенной научной деятельности общество наше не выказало ни теоретической, ни практической, потому что было разъединено с родной почвой, а само по себе было слабо. Только казна строила мосты и дороги, да и то большею частию заезжими инженерами.

Но привьется наконец и наука; всё это совершится, может быть, тогда, когда уже нас не будет на свете. Мы даже и угадать не можем, что тогда будет, но знаем, что будет не совсем дурно. На долю же нашего поколения досталась честь первого шага и первого слова. Новая мысль уже не раз выражалась русским словом наружу. Мы начинаем изучать ее прежние выражения и открываем в прежних литературных явлениях факты, до сих пор не замеченные нами, но вполне подтверждающие эту мысль. Колоссальное значение Пушкина уясняется нам всё более и более, несмотря на некоторые странные литературные мнения о Пушкине, выраженные в последнее время в двух журналах... Да, мы именно видим в Пушкине подтверждение всей нашей мысли. Значение его в русском развитии глубоко знаменательно. Для всех русских он живое уяснение, во всей художественной полноте, что такое дух русский, куда стремятся все его силы и какой именно идеал русского человека. Явление Пушкина есть доказательство, что дерево цивилизации уже дозрело до плодов и что плоды его не гнилые, а великолепные, золотые плоды. Всё, что только могли мы узнать от знакомства с европейцами о нас самих, мы узнали; всё, что только могла нам уяснить цивилизация, мы уяснили себе, и это знание самым полным, самым гармоническим образом явилось нам в Пушкине. Мы поняли в нем, что русский идеал — всецелость, всепримиримость, всечеловечность. В явлении Пушкина уясняется нам даже будущая наша деятельность. Дух русский, мысль русская выражались и не в одном Пушкине, но только в нем они явились нам во всей полноте, явились как факт, законченный и целый...

О Пушкине мы хотим сказать несколько подробнее в будущей статье нашей и доказательнее развить нашу мысль. В будущей же статье мы перейдем наконец и к русской литературе, будем говорить о теперешнем ее положении, о ее значении в теперешнем обществе, о некоторых ее недоразумениях, спорах, вопросах. В особенности хочется нам сказать несколько слов и об одном

очень странном вопросе, который уже столько лет разделяет нашу литературу на партии и таким образом парализует ее силы. Именно о знаменитом вопросе: искусство для искусства и проч., — все его знают. Нечего выписывать заглавие. Признаемся заранее, мы всего более удивляемся, как не надоел еще этот вопрос публике окончательно и она еще не отказывается читать целые о нем трактаты? Но мы постараемся написать наше мнение не в форме трактата.

II. Г-Н —БОВ И ВОПРОС ОБ ИСКУССТВЕ

Мы сказали в объявлении о нашем журнале, что наша русская критика в настоящее время пошлеет и мельчает. Мы с грустию сказали эти слова; не отрекаемся от них; это наше глубокое убеждение. Многие из наиболее читаемых русских журналов выразили почти ту же мысль в своих осенних объявлениях, при начале подписки на журналы на нынешний 1861 год. По крайней мере многие из них обещали обратить особенное внимание на этот отдел в будущем году, следовательно, согласились, что до сих пор он был плоховат. Если они исполнят свое обещание, то хорошо сделают. Не думаем, чтоб нас обвинили в хвастовстве, в заносчивости и из-за того только, что мы нашли критику измельчавшеюся, обвинили нас, что мы часто выставляем самих себя глашатаями новых истин, провозвестниками новых идей и т. д., и т. д. Мы не принимаем на себя такой роли. Мы знаем только одно: что любим свое дело и приступаем к нему горячо и с уважением. Нельзя не сознаться, что в нашей критике давно уже заметна какая-то всеобщая апатия, кроме, может быть, одного исключения. Не так, впрочем, думают «Отечественные записки». Они решились объявить, — и, кажется, без малейших колебаний, без малейших угрызений совести, — что вся блестящая деятельность Белинского, правда, была блестящая, но... как бы это сказать — несколько поверхностна (entre nous soit dit [1]) и что настоящая, громадная и спасительная деятельность русской критики началась именно с того времени, как Белинский оставил этот журнал. Мы помним, что к этому времени (то есть как Белинский оставил этот журнал) относится появление в «Отечественных записках» статьи г-на Дудышкина о Фонвизине. Не с нее ли «Отечественные записки» начинают новую эру русской критики? Правда, сейчас после Белинского занялся в «Отечественных записках» отделом критики Валериан Николаич Майков, брат всем известного и всеми любимого поэта, Аполлона Николаича Майкова. Валериан Майков принялся за дело горячо, блистательно, с светлым убеждением, с первым жаром юности. Но он не успел высказаться. Он умер в первый же год своей деятельности. Много обещала эта прекрасная личность, и, может быть, многого

[1] между нами говоря (*франц.*).

мы с нею лишились. Но со смертию В. Майкова основался в «Отечественных записках» г-н Дудышкин, и мы имеем некоторое основание думать, что с него-то и начинает желтый журнал новую блестящую эру своей деятельности. «Отечественные записки» именно ставят себе в особенную заслугу, что после Белинского критика приняла у них характер по преимуществу исторический и что Белинский, который низвергал авторитеты и занимался Жорж Зандом (слова о Жорже Занде в объявлении «Отечественных записок» — верх совершенства, так кстати они помещены!), едва прикоснулся к исторической части русской литературы. Во-первых, это несправедливо, а если б и было справедливо, то в двух страницах Белинского (издание сочинений которого приводится к окончанию) сказано больше об исторической же части русской литературы, чем во всей деятельности «Отечественных записок» с 48 года до наших времен. А так как статья о Фонвизине считается в «Отечественных записках» началом этой пресловутой исторической деятельности, то и деятельность эта, вероятно, считается с г-на Дудышкина. Правда, статья о Фонвизине была еще довольно дельная, хотя очень скучная. Но после нее наступила в «Отечественных записках» такая засуха, что страх вспомнить об этом времени, даже в сравнении с статьею о Фонвизине. Между тем «Отечественные записки» называют это время самой блестящей эпохой своей деятельности, да и всей русской литературы. Они утверждают, что журнал их обратился в то время к народности. Мы припоминаем в «Отечественных записках» одну статью о метле, ухвате и лопате и о значении их в древней русской мифологии. Сведения, сообщенные автором этой статьи, были, конечно, полезные; но не в таких ли статьях видят «Отечественные записки» обращение к народности? Если так, то взгляд их и понятие о народности довольно оригинальны. Оригинален тоже другой взгляд, выраженный в объявлении «Отечественных записок» с ужасающею откровенностию: именно, что всё, что только есть исправно мыслящего, движущегося, идущего к какой-нибудь цели в нашем теперешнем обществе, всё — насколько развилось в нем сознания и смысла, — всё это сделали «Отечественные записки», всё это плоды трудов их. Так как они сами начинают немного свысока смотреть на Белинского, то позволительно заключить, что все эти блестящие результаты они приписывают своей последующей деятельности, то есть начиная с статей о Фонвизине и о лопате, до чудовищной статьи о Пушкине, помещенной в апрельской книжке «Отечественных записок» прошлого 1860 года. Впрочем, прошлогоднее объявление об издании «Отечественных записок» принадлежит истории русской литературы. Оно не умрет; оно вековечно, монументально. Мы относим его к литературе русских скандалов и к скандалам в русской литературе.

Но мы увлеклись. Принимаясь за нашу статью, мы и в виду не имели «Отечественных записок» и их объявлений и вспомнили совершенно нечаянно, несмотря на то, что хотели сказать не-

сколько слов о критической деятельности русских журналов в прошлом году. Мы говорим: несколько слов, потому что написать полный отчет всей критической деятельности за весь прошлый год мы не беремся и готовы считать подобный труд в некотором смысле даже подвигом. Правда, в этом отчете нам пришлось бы указать и на несколько приятных явлений в прошлогодней нашей критике... Но хотя мы и не беремся за этот *подвиг*, мы видим, что нам приходится в настоящей статье отчасти говорить, по поводу одного вопроса, об одном из важнейших представителей современной критики, которого — в этом надо признаться откровенно — только одного у нас теперь и читают, чуть ли не из всех наших критиков. В самом деле, исключая три-четыре критические статьи, мелькнувшие по разным журналам за прошлый год и несколько замеченные публикою, — все остальные прошли, почти не оставив по себе следа. Читают одного г-на —бова, который заставил-таки читать себя, и уж за это одно он стоит особенного внимания... Но, впрочем, вот по какому собственно случаю мы хотим в этот раз говорить о г-не —бове.

В январской книжке нашего журнала, оканчивая наше введение в «Ряд статей о русской литературе», мы обещали говорить о современных литературных явлениях и вопросах. Одним из самых важных литературных вопросов мы считаем теперь вопрос об искусстве. Этот вопрос разделяет многих из современных писателей наших на два враждебные лагеря. Таким образом разъединяются силы. Нечего распространяться о вреде, который заключается во всяком враждебном разногласии. А дело уже доходит почти до вражды.

Разобрать эту вражду и ее причины, разъяснить весь спор и высказать свое мнение по поводу этого спора — соответствовало бы и целям нашего журнала и обязанностям, которые мы сами приняли на себя перед публикой. Но прежде всего оговоримся: если мы и ввяжемся в этот спор, то вовсе не претендуя на роль окончательного судьи в этом споре. Да и примера мы не припомним, чтоб в литературных спорах наших хоть когда-нибудь одна партия подчинилась другой, согласилась бы с ней добровольно и по убеждению. Всякий литературный спор кончается у нас тем, что или выживает из лет, надоедает всем и каждому и прекращается сам собою; или одна партия одолевает другую так, что другая замолкает, но единственно от бессилия и истощения; замолкает, а не соглашается. Соглашений мы как-то не помним. Если же они и бывали, то так редко, что и припоминать не стоит.

И потому примирять и соглашать наших спорщиков мы не беремся. Да и роль неприятная. Недавно г-ну Воскобойникову показалось, что русские литераторы слишком много дерутся (литературным образом, разумеется); он и тиснул довольно забавную статейку: «Перестаньте драться, г-да литераторы». Вышло так, что все, кто только захотел заметить эту статью, напусти-

лись на г-на Воскобойникова. В чем другом были несогласны, а в этом тотчас же между собой согласились. Просто-запросто: мы считаем теперешний вопрос об искусстве чрезвычайно важным, а потому, как начинающий журнал, хотим высказать и свое мнение: как мы понимаем этот вопрос и какому именно оттенку в его решении придерживаемся. Таким образом, мы прямо выскажем свои убеждения и выкажем свое направление, тем более что нас уже об этом спрашивали. А так как высказать наши убеждения мы не можем, не разъяснив предварительно, на чем остановился этот спор в нашей литературе, то, чтоб определить современный характер этого спора, мы разберем предварительно учения обеих партий, чему и посвящаем эту статью. Один из главных представителей одного из этих учений есть, бесспорно, г-н —бов, печатающий свои статьи в «Современнике»; вот почему и статью нашу мы назвали: «Г-н —бов и вопрос об искусстве».

Еще одно замечание.

Нам говорят, и мы сами недавно читали в одном из самых распространенных в публике журналов наших, что партий в русской литературе не существует. Мы полагаем, что этот журнал употребил слово «партий» в смысле распрей личных, до которых собственно литературе не должно быть и дела. Разумеется, мы всеми силами желаем поверить этому журналу на слово: нет, так тем и лучше. Но партии в смысле несогласных убеждений в нашей литературе существуют. У нас есть Аскоченские, Чернокнижниковы, —бовы. Даже сам великолепный Кузьма Прутков в строгом смысле может тоже считаться представителем цельной и своеобразной партии. Вообще каждый журнал наш чего-либо да придерживается. Совершенно же бесцветные журналы у нас не держатся и умирают тихою и спокойною смертию. Разумеется, литературные партии наши вообще неясно и как-то смутно обрисованы. От иных решительно не дождешься ясного изложения их убеждений; другие отделываются какими-то намеками; третьи выражаются как будто по заказу, а между тем как будто сами себе не верят; четвертые удаляются в туманную область нахмуренных фраз, головоломных фраз, тарабарского слога, — разбирай как знаешь. Винить за это, разумеется, невозможно. Но по поводу вопроса об искусстве некоторые из журналов наших обозначились довольно резко, особенно в последнее время. Между ними первое место занимает «Современник» с прошлогодними статьями г-на —бова.

Сделав такое предисловие, приступим к самому делу.

И во-первых, объявляем, что не придерживаемся ни одного из теперь существующих мнений и прямо говорим, что, по нашему мнению, весь вопрос в настоящую минуту ложно поставлен — именно от слишком горячего спора; именно оттого, что дело дошло почти до вражды. Мы надеемся доказать это.

Но представим самую сущность вопроса: что именно это за вопрос и в чем он заключается?

Одни говорят и учат, что искусство служит само себе целью и в самой сущности своей должно находить себе оправдание. И потому вопроса о полезности искусства, в настоящем смысле слова, даже и быть не может. Творчество — основное начало каждого искусства — есть цельное, органическое свойство человеческой природы и имеет право существовать и развиваться уже по тому одному, что оно есть необходимая принадлежность человеческого духа. Оно так же законно в человеке, как ум, как все нравственные свойства человека и, пожалуй, как две руки, как две ноги, как желудок. Оно неотделимо от человека и составляет с ним целое. Конечно, ум, например, полезен, — так можно выразиться: плохо без ума. Полезны в этом же смысле человеку и руки и ноги! В этом же смысле полезно человеку и творчество.

Но как нечто цельное, органическое, творчество развивается само из себя, неподчиненно и требует полного развития; главное — требует полной свободы в своем развитии. Поэтому всякое стеснение, подчинение, всякое постороннее назначение, всякая исключительная цель, поставленная ему, будут незаконны и неразумны. Если б ограничить творчество или запретить творческим и художественным потребностям человека заниматься, — ну, чем бы, например? — ну, хоть выражением известных ощущений; запретить человеку всю творческую его деятельность, которую бы возбуждали в нем известные явления природы: восход солнца, морская буря и проч., и проч., — то всё это было бы нелепым, смешным и незаконным стеснением человеческого духа в его деятельности и развитии.

Это говорит одна партия, — партия защитников свободы и полной неподчиненности искусства.

«Разумеется, всё это было бы нелепым стеснением, — ответят утилитаристы (другая партия, учащая тому, что искусство должно служить человеку прямой, непосредственной, практической и даже определенной обстоятельствами пользой), — разумеется, всякое подобное стеснение, без разумной цели, а единственно по прихоти, — есть дикая и злая глупость. Но согласитесь сами (могут они прибавить) — вдруг, например, идет сражение — вы один из сражающихся; вместо того чтоб помогать своим товарищам в битве, вам, как артисту в душе, вдруг понравилась картина сражения; вы бросите оружие, вынимаете карандаш, бумагу и начинаете срисовывать поле битвы. Хорошо вы делаете? Разумеется, вы имеете полное право предаваться вашим вдохновениям; но разумна ли будет ваша художественная деятельность в такую минуту?

Одним словом, — заключат они, — мы не отвергаем вашей теории о свободе развития творчества; но эта свобода должна быть, по крайней мере, хоть разумная».

Г-н Панаев в начале своих интересных литературных воспоминаний («Современник», 1861, книга I) упоминает, что во время его молодости между петербургскими литераторами одного круга

существовало убеждение, что литераторы, поэты, художники, артисты не должны заниматься ничем насущным, текущим, — ни политикой, ни внутреннею жизнию общества, к которому принадлежат, ни даже каким-нибудь важнейшим общенародным вопросом, а заниматься только одним *высоким искусством.* Заниматься же чем-нибудь, кроме искусства, значит унижать его, низводить с его высоты, глумиться над ним. По такому учению, значит, надо было добровольно вырвать из-под себя всю почву, на которой все стоят и которою все живут, и, следовательно, улетать всё выше и выше в надзвездия, а там, разумеется, как-нибудь испариться, потому что ведь больше-то ничего не оставалось и делать. Эта теория могла привести прямо к тому, что, например, во время двенадцатого года, когда всё русское занималось только одним спасением отечества, одним литераторам и поэтам было бы гораздо приличнее заниматься, ну, хоть, например, греческой антологией. В литературной и художественной кучке, о которой рассказывает г-н Панаев, так и поступали: вопросами общественными не занимались. Один из важнейших членов этой кучки только и делал в то время, что писал драмы из жизни итальянских художников.

Возьмем еще пример.

Положим, что мы переносимся в восемнадцатое столетие, именно в день лиссабонского землетрясения. Половина жителей в Лиссабоне погибает; домы разваливаются и проваливаются; имущество гибнет; всякий из оставшихся в живых что-нибудь потерял — или имение, или семью. Жители толкаются по улицам в отчаянии, пораженные, обезумевшие от ужаса. В Лиссабоне живет в это время какой-нибудь известный португальский поэт. На другой день утром выходит номер лиссабонского «Меркурия» (тогда всё издавались «Меркурии»). Номер журнала, появившегося в такую минуту, возбуждает даже некоторое любопытство в несчастных лиссабонцах, несмотря на то, что им в эту минуту не до журналов; надеются, что номер вышел нарочно, чтоб дать некоторые сведения, сообщить некоторые известия о погибших, о пропавших без вести и проч., и проч. И вдруг — на самом видном месте листа бросается всем в глаза что-нибудь вроде следующего:

Шопот, робкое дыханье,
Трели соловья,
Серебро и колыханье
Сонного ручья,
Свет ночной, ночные тени,
Тени без конца.
Ряд волшебных изменений
Милого лица,
В дымных тучках пурпур розы,
Отблеск янтаря,
И лобзания, и слезы,
И заря, заря!

Да еще мало того: тут же, в виде послесловия к поэмке, приложено в прозе всем известное поэтическое правило, что тот не поэт, кто не в состоянии выскочить вниз головой из четвертого этажа (для каких причин? — я до сих пор этого не понимаю; но уж пусть это непременно надо, чтоб быть поэтом; не хочу спорить). Не знаю наверно, как приняли бы свой «Меркурий» лиссабонцы, но мне кажется, они тут же казнили бы всенародно, на площади, своего знаменитого поэта, и вовсе не за то, что он написал стихотворение без глагола, а потому, что вместо трелей соловья накануне слышались под землей такие трели, а колыхание ручья появилось в минуту такого колыхания целого города, что у бедных лиссабонцев не только не осталось охоты наблюдать —

В дымных тучках пурпур розы

или

Отблеск янтаря,

но даже показался слишком оскорбительным и небратским поступок поэта, воспевающего такие забавные вещи в такую минуту их жизни. Разумеется, казнив своего поэта (тоже очень небратски), они все непременно бы кинулись к какому-нибудь доктору Панглосу * за умным советом, и доктор Панглос тотчас же и без большого труда уверил бы их всех, что это очень хорошо случилось, что они провалились, и что уж если они провалились, то это непременно к лучшему. И доктора Панглоса никто бы не разорвал за это в клочки; напротив, дали бы ему пенсию и провозгласили бы его другом человечества. Ведь так всё идет на свете.

Заметим, впрочем, следующее: положим, лиссабонцы и казнили своего любимого поэта, но ведь стихотворение, на которое они все рассердились (будь оно хоть и о розах и янтаре), могло быть великолепно по своему художественному совершенству. Мало того, поэта-то они б казнили, а через тридцать, через пятьдесят лет поставили бы ему на площади памятник за его удивительные стихи вообще, а вместе с тем и за «пурпур розы» в частности. Выходит, что не искусство было виновато в день лиссабонского землетрясения. Поэма, за которую казнили поэта, как памятник совершенства поэзии и языка, принесла, может быть, даже и немалую пользу лиссабонцам, возбуждая в них потом эстетический восторг и чувство красоты, и легла благотворной росой на души молодого поколения. Стало быть, виновато было не искусство, а поэт, злоупотребивший искусство в ту минуту, когда было не до него. Он пел и плясал у гроба мертвеца... Это, конечно, было очень нехорошо и чрезвычайно глупо с его стороны; но виноват опять-таки он, а не искусство.

Одним словом, утилитаристы требуют от искусства прямой, немедленной, непосредственной пользы, соображающейся с обсто-

* Доктор Панглос — смешной философ в одной сказке Вольтера, доказывающий, что всё на свете происходит к лучшему.

ятельствами, подчиняющейся им, и даже до такой степени, что если в данное время общество занято разрешением, напр⟨имер⟩, такого-то вопроса, то искусство (по учению некоторых утилитаристов) и цели не может задать себе иной, как разрешение этого же вопроса. Если рассматривать это соображение о пользе не как требование, а только как желание, то оно, по нашему мнению, даже похвально, хотя мы и знаем, что все-таки это соображение не совсем верно. Если, например, всё общество озабочено разрешением какого-нибудь важного внутреннего вопроса, то, разумеется, приятно было бы желать, чтоб и все силы общества согласно направлены были к достижению всеобщей цели, а следовательно, чтоб и искусство прониклось этой же идеей и тоже послужило бы общей пользе. Какое-нибудь общество, положим, на краю гибели; всё, что имеет сколько-нибудь ума, души, сердца, воли, всё, что сознает в себе человека и гражданина, занято одним вопросом, одним общим делом. Неужели ж тогда только между одними поэтами и литераторами не должно быть ни ума, ни души, ни сердца, ни любви к родине и сочувствия всеобщему благу? Служенье муз, дескать, не терпит суеты.

Это, положим, так. Но хорошо бы было, если б, например, поэты не удалялись в эфир и не смотрели бы оттуда свысока на остальных смертных; потому что хотя греческая антология и превосходная вещь, но ведь иногда она бывает просто не к месту, и вместо нее приятнее было бы видеть что-нибудь более подходящее к делу и помогающее ему. А искусство много может помочь иному делу своим содействием, потому что заключает в себе огромные средства и великие силы. Повторяем: разумеется, этого только можно желать, но не требовать, уже по тому одному, что требуют большею частью, когда хотят заставить насильно, а первый закон в искусстве — свобода вдохновения и творчества. Всё же вытребованное, всё вымученное спокон веку до наших времен не удавалось и вместо пользы приносило один только вред. Защитники «искусства для искусства» собственно за то и сердятся на утилитаристов, что они, предписывая искусству определенные цели, тем самым разрушают само искусство, посягая на его свободу, а разрушая так легко искусство, стало быть, не ценят его и, следовательно, не понимают даже, к чему оно может быть полезно, — они толкуют прежде всего о пользе. Потому, говорят защитники искусства, если б утилитаристы только знали, какая великая польза заключается в искусстве для всего человечества, то они бы несколько более ценили его и не обращались бы с ним с таким неуважением. И в самом деле (продолжают они), если б даже смотреть на искусство с одной вашей точки зрения, то есть со стороны одной полезности, то ведь еще неизвестен в подробности нормальный исторический ход полезности искусства в человечестве. Трудно измерить всю массу пользы, принесенную и до сих пор приносимую всему человечеству, например, «Илиадой» или Аполлоном Бельведерским, вещами, по-видимому,

совершенно в наше время ненужными. Вот, например, такой-то человек, когда-то, еще в отрочестве своем, в те дни, когда свежи и «новы все впечатленья бытия», взглянул раз на Аполлона Бельведерского, и бог неотразимо напечатлелся в душе его своим величавым и бесконечно прекрасным образом. Кажется, факт пустой: полюбовался две минуты красивой статуей и пошел прочь. Но ведь это любование не похоже на любование, например, изящным дамским туалетом. «Мрамор сей ведь бог», и вы, сколько ни плюйте на него, никогда у него не отнимете его божественности. Пробовали отнять, да ничего не вышло. И потому впечатление юноши, может быть, было горячее, потрясающее нервы, холодящее эпидерму; может быть, даже, — кто это знает! — может быть даже, при таких ощущениях высшей красоты, при этом сотрясении нерв, в человеке происходит какая-нибудь внутренняя перемена, какое-нибудь передвижение частиц, какой-нибудь гальванический ток, делающий в одно мгновенье прежнее уже не прежним, кусок обыкновенного железа магнитом. Впечатлений на свете, конечно, множество, но ведь недаром же это впечатление особенное, впечатление бога. Недаром же такие впечатления остаются на всю жизнь. И кто знает? Когда этот юноша, лет двадцать-тридцать спустя, отозвался во время какого-нибудь великого общественного события, в котором он был великим передовым деятелем, таким-то, а не таким-то образом, то, может быть, в массе причин, заставивших его поступить так, а не этак, заключалось, бессознательно для него, и впечатление Аполлона Бельведерского, виденного им двадцать лет назад. Вы смеетесь? Действительно, всё это похоже на бред, но, во-первых, в подобных фактах, несмотря на всю вашу положительность, вы сами еще ничего ровно не знаете. Может быть, впоследствии узнаете (мы верим в науку), но теперь покамест не знаете. А во-вторых, есть исторические признаки, есть некоторые исторические факты, по которым можно подумать, что наши мечты и не совсем вздор. Ну, кто бы мог подумать, что, например, Корнель и Расин отзовутся своим влиянием в такие странные и решительные минуты исторической жизни целого народа, что, казалось бы, и немыслимо было сначала, что делать таким старым колпакам, как Корнель и Расин, в такие эпохи. Оказалось, что души-то и не умирают. А потому, если давать заранее цели искусству и определять, чем именно оно должно быть полезно, то можно ужасно ошибиться, так что вместо пользы можно принести один вред, а следовательно, действовать прямо против себя, потому что утилитаристы требуют пользы, а не вреда. И так как искусство требует прежде всего полной свободы, а свобода не существует без спокойствия (всякая тревога уже не свобода), то, следственно, искусство должно действовать тихо, ясно, не торопясь, не увлекаясь по сторонам, имея само себя целью и веруя, что всякая деятельность его отзовется со временем человечеству несомненною пользою.

Вот что говорят сторонники искусства для искусства своим противникам утилитаристам.

Во всем этом, конечно, ничего нет нового; спор стар, но вот что новое: что сами предводители обеих партий говорят так, а на деле поступают обратно-противоположно своим же словам. Слишком уж заспорились. Не распространяясь много, покажем один пример.

Обличительная литература возбуждает негодование сторонников чистого искусства. С одной стороны, это имеет некоторое основание: большею частию произведения обличительной литературы до того худы, что более вредны, чем полезны всеобщему делу, и если мы с своей стороны признаем, что нападки на эти произведения отчасти и дельны, то единственно только в этом смысле. Но в том-то и беда, что нападки на них идут не с одной этой стороны и не в этом смысле. Негодование заходит далее: обвиняется сам г-н Щедрин, родоначальник обличительной литературы, несмотря на то, что г-н надворный советник Щедрин во многих из своих обличительных произведений — настоящий художник. Мало того: гонится весь обличительный род искусства, как будто между обличительными писателями даже и не может появиться истинного художника, гениального писателя, поэта, самая специальность которого именно и будет состоять в обличении. Следственно, из вражды к противникам сторонники чистого искусства идут против самих себя, против своих же принципов, а именно — уничтожают свободу в выборе вдохновения. А за эту свободу они-то бы и должны стоять.

С другой стороны, утилитаристы, не посягая явно на художественность, в то же время совершенно не признают ее необходимости. «Была бы видна идея, была бы только видна цель, для которой произведение написано, — и довольно; а художественность дело пустое, третьестепенное, почти ненужное». Вот как думают утилитаристы. А так как произведение нехудожественное никогда и ни под каким видом не достигает своей цели; мало того: более вредит делу, чем приносит пользы, то, стало быть, утилитаристы, не признавая художественности, сами же более всех вредят делу, а следственно, идут прямо против самих себя, потому что они ищут не вреда, а пользы.

Нам скажут, что мы это всё выдумали, что утилитаристы никогда не шли против художественности. Напротив, не только шли, но мы заметили, что им даже особенно приятно позлиться на иное литературное произведение, если в нем главное достоинство — художественность. Они, например, ненавидят Пушкина, называют все его вдохновения вычурами, кривляниями, фокусами и фиоритурами, а стихотворения его — альбомными побрякушками. Даже самое появление Пушкина в нашей литературе они считают как будто чем-то незаконным. Мы вовсе не преувеличиваем. Все это почти ясно выражено г-ном —бовым в некоторых критических статьях его прошлого года. Заметно еще,

что г-н —бов начинает высказываться с каким-то особенным нерасположением о г-не Тургеневе, самом художественном из всех современных русских писателей. В статье же своей «Черты для характеристики русского простонародья» («Современник», 1860, № IX), при разборе сочинений Марка Вовчка, г-н —бов почти прямо выказывает, что художественность он считает ничем, нулем, и выказывает именно тем, что не умеет понять, к чему полезна художественность. При разборе одной повести Марка Вовчка г-н —бов прямо признает, что автор написал эту повесть нехудожественно, и тут же, сейчас же после этих слов, утверждает, что автор достиг вполне этой повестью своей цели, а именно: вполне доказал, что такой-то факт существует в русском простонародье. Между тем этот факт (очень важный) не только не доказывается этой повестью, но даже вполне подвергается сомнению именно потому, что по нехудожественности автора действующие лица повести, выставленные автором для доказательства его главной идеи, утратили под пером его всякое русское значение, и читатель скорее согласится назвать их шотландцами, итальянцами, североамериканцами, чем русским простонародьем. Как же в таком случае могли бы они доказать собою, что такой-то факт существует в русском простонародье, когда сами они, действующие лица, не похожи на русское простонародье? Но г-ну —бову до этого решительно нет дела; была бы видна идея, цель, хотя бы все нитки и пружины грубо выглядывали наружу; к чему же после этого художественность? Да и к чему, наконец, писать повести? просто-запросто написать бы, что вот такой-то факт существует в русском простонародье — потому-то и потому-то, — и короче, и яснее, и солиднее! «А тут еще сказки рассказывать! Вот людям-то нечего делать!»

Кстати сделаем еще одно нотабене. Чем познается художественность в произведении искусства? Тем, если мы видим согласие, по возможности полное, художественной идеи с той формой, в которую она воплощена. Скажем еще яснее: художественность, например, хоть бы в романисте, есть способность до того ясно выразить в лицах и образах романа свою мысль, что читатель, прочтя роман, совершенно так же понимает мысль писателя, как сам писатель понимал ее, создавая свое произведение. Следственно, попросту: художественность в писателе есть способность писать хорошо. Следственно, те, которые ни во что не ставят художественность, допускают, что позволительно писать нехорошо. А уж если согласятся, что *позволительно,* то ведь отсюда недалеко и до того, когда просто скажут: что *надо* писать нехорошо. Да чуть ли уж и не говорят.

В этой статье нашей мы намерены проследить этот критический разбор сочинений Марка Вовчка, помещенный г-ном —бовым в IX № «Современника» за прошлый год. Мы делаем это особенно потому, что в этом разборе довольно ярко выказывается характер литературных убеждений г-на —бова, а вместе и взгляд его

на искусство. А г-н —бов есть, как мы уже сказали, один из предводителей утилитаризма. Следственно, изучив хоть отчасти г-на —бова, мы поймем и то, как поставлен в настоящую минуту вопрос об искусстве в нашей литературе.

Известно всей читающей русской публике, что Марко Вовчок написал две книги рассказов из народного малороссийского и из народного великорусского быта. Г-н —бов разбирает одни великорусские рассказы, вышедшие в переводе на русский язык. Все рассказы разобраны им с необыкновенною подробностию, с лишком на пяти печатных листах мелкой печати. Этот разбор особенно любопытен тем, что в нем, с одной стороны, выясняется, как понимает г-н —бов назначение и цель литературы, чего от нее требует и какие свойства, средства и силы признает за ней относительно влияния на общество. Мы, впрочем, ограничимся только разбором одного первого рассказа; и этого довольно, чтоб ясно понять убеждения г-на —бова. О самом же Марке Вовчке мы в настоящей статье не намерены говорить подробно. Скажем только, что признаем за автором большой ум и превосходные побуждения, в сильном же литературном таланте его сомневаемся. Мы особенно жалеем, что высказываем такое мнение, не доказав его. Жалеем еще более, что как нарочно принуждены взять именно разбор первого рассказа: «Маша», — надо признаться, — может быть, самого слабого из всех рассказов автора. Но г-н —бов при разборе этого рассказа наиболее высказался именно с той стороны, на которую мы хотим обратить внимание наших читателей.

Разумеется, мы не намерены разбирать *все убеждения* г-на —бова, хотя г-н —бов, по нашему мнению, стоит подробного разбора. Мы во многом совершенно с ним не согласны и прямые его противники; но уж одно то, что он заставил публику читать себя, что критические статьи «Современника», с тех пор как г-н —бов в нем сотрудничает, разрезываются из первых, в то время когда почти никто не читает критик, — уже одно это ясно свидетельствует о литературном таланте г-на —бова. В его таланте есть сила, происходящая от убеждения. Г-н —бов не столько критик, сколько публицист. Основное начало убеждений его справедливо и возбуждает симпатию публики; но идеи, которыми выражается это основное начало, часто бывают парадоксальны и отличаются одним важным недостатком — кабинетностью. Г-н —бов — теоретик, иногда даже мечтатель и во многих случаях плохо знает действительность; с действительностью он обходится подчас даже уж слишком бесцеремонно: нагибает ее в ту и другую сторону, как захочет, только б поставить ее так, чтоб она доказывала его идею. Пишет г-н —бов простым, ясным языком, хоть и говорят про него, что он уж слишком жует фразу, прежде чем положить ее в рот читателю. Ему всё как будто кажется, что его не понимают. Впрочем, это еще небольшой недостаток. Ясность и простота языка его заслуживают особенного внимания и по-

хвалы в наше время, когда в иных журналах вменяют даже себе в особую честь неясность, тяжелизну и кудреватость слога, вероятно думая, что всё это способствует глубокомыслию. Кто-то уверял нас, что если теперь иному критику захочется пить, то он не скажет прямо и просто: принеси воды, а скажет, наверно, что-нибудь в таком роде:

— Привнеси то существенное начало овлажнения, которое послужит к размягчению более твердых элементов, осложнившихся в моем желудке.

Эта шутка отчасти похожа на правду.

Но обратимся к делу. Почти в самом начале своего разбора г-н —бов говорит:

«В малороссийских рассказах мы видели злоупотребления помещичьей власти, и злоупотребления нередко довольно крутые. Это даже подало, говорят, повод одному известному русскому критику объявить произведения Марка Вовчка „*мерзостно-отвратительными картинками*" и, причисливши их к обличительной литературе, *вследствие этого отвергнуть в авторе их всякий талант литературный.* Мы не читали статейки строгого критика, потому что давно уже перестали интересоваться его литературными приговорами, но тем не менее *мы понимаем процесс,* посредством которого он составил свое заключение. *Он — приверженец теории „искусства для искусства"*; рассказы Марка Вовчка нашли себе хвалителей тоже в числе приверженцев этой теории. *Можете себе представить, что именно нравилось в этих рассказах таким хвалителям.* Мы сами слышали, как двое художественных ценителей восхищались необыкновенною прелестью и поэтичностью одного места, которое, кажется, так читается: „геть, геть, далеко в поле крест над его могилой виднеется". Строгий критик, осудивший Марка Вовчка, *оказался даже несколько благоразумнее подобных ценителей,* понявши, что „геть, геть, далеко в поле" еще не есть чрезвычайная высота художественности. *А что он ничего другого не в состоянии был понять в „Народных рассказах", так это опять совершенно естественно, и весьма странен был бы тот, кто стал бы ожидать от него такого пониманья. Тогда он сделался бы отступником теории „искусства для искусства";* а может ли он отступить от нее? *Без нее что бы он стал делать на свете, куда бы годился он?*»

Остановимся здесь. Это место в статье г-на —бова как нельзя лучше оправдывает наши предыдущие замечания о взаимных сладких отношениях обеих литературных партий, то есть утилитаристов и приверженцев искусства для искусства. Вражда, преднамеренные недоразумения, крайность обвинений — вот что мы видим из этой выписки. Прежде всего г-н —бов обвиняет *художественного* критика, что он вследствие полезного направления рассказов Марка Вовчка назвал их *мерзостно-отвратительными картинками* и, причисливши их к обличительной литературе, вследствие этого отвергнул в авторе всякий талант литературный. Хоть это обвинение и очень резкое, но мы в этом случае почти решаемся верить г-ну —бову *на слово,* потому что и мы не читали статейки *художественного* критика. Правда, что этот критик мог отвергнуть литературный талант в авторе рассказов и не по одному только поводу, что эти рассказы обличительные; мы признаем, что в настоящем случае он мог основываться и на других

данных. Но г-н —бов прямо подтверждает наши слова, что приверженцы искусства для искусства, из ненависти к утилитарному направлению, не только отвергают обличительную литературу, всю без изъятия, но даже отвергают возможность появления таланта в обличительной литературе. Повторяем, что этому можно поверить. Зато сам г-н —бов впадает, с своей стороны, в грубейшую крайность: он говорит, что если б художественный критик мог понять хоть что-нибудь в рассказах Марка Вовчка, то изменил бы себе, потому что тотчас же стал бы отступником *теории искусства для искусства.*

В ослеплении, в озлоблении, а потому и в несправедливости еще, можно обвинить некоторых приверженцев теории искусства для искусства. Но чтоб сама теория искусства для искусства обладала каким-то природным свойством делать из своих приверженцев каких-то недоумков, умных людей обращать в отупевших и ограниченных — это уж несправедливо. Мало ли куда может зайти теория, партия, учение в какой-нибудь данный момент! Не принимать же всякое уклонение за общее правило!

Но будем продолжать наши выписки.

«Но дело не в приговорах художественного критика: бог с ним — ведь его никто не принимает серьезно, стало быть, художественные потехи его остаются совершенно безвредными. Мы имеем в виду другие толки, другие мнения, о которых считаем удобным поговорить теперь, по поводу книжки Марка Вовчка. Мнения эти довольно распространены в известной части нашего общества, называющей себя образованною, и между тем они обнаруживают непонимание дела и легкомыслие. Мнения, о которых мы говорим, касаются характеристики крестьянина и его отношений к крепостному праву. Крепостное право приходит к своему концу. Но факты, существовавшие в течение столетий, не проходят даром, не остаются без всякого следа. Какое-нибудь местничество держится в нравах спустя два столетия после его уничтожения законом; можно ли ожидать, чтобы внезапно пересоздались все отношения, бывшие следствием крепостного права? Нет, еще долго будет оно отзываться нам — и в книжках, и в гостинных разговорах, и в целом устройстве наших житейских отношений. Понятия не только отживающего поколения, не только того, которое теперь действует, но и того, которое еще только готовится выступить на общественную деятельность, — сложились если не прямо на основании крепостного устройства, то во всяком случае не без сильного его влияния. Крепостное начало было узаконено и принято государством. Теперь это начало отвергнуто, и, стало быть, понятия и требования, им порожденные и воспитанные, находят себе осуждение в том самом, что прежде служило им оградою. Теперь дело литературы — преследовать остатки крепостного права в общественной жизни и добивать порожденные им понятия. Марко Вовчок, в своих простых и *правдивых* рассказах, является почти первым и *весьма искусным борцом на этом поприще.* В последних своих рассказах он даже не старается, как в прежних, выставлять перед нами преимущественно то, что называется обыкновенно „злоупотреблением помещичьей власти“. Что уж толковать о злоупотреблении того, что само по себе дурно! Что уж говорить о таких явлениях, к которым подавало повод крепостное право, но без которых оно могло иногда и обходиться! Нет, автор берет теперь нормальное положение крестьянина у помещика, *не* злоупотребляющего своим правом, — и кротко, без гнева, без горечи рисует нам это положение. И из этих очерков, *в которых каждый, кто хоть немного имел дело с русским народом, узнает знакомые черты, — из этих очерков восстает перед нами характер русского простолюдина,* сохранив-

ший основные черты свои посреди всех обезличивающих, давящих отношений, которым он был подчинен в течение нескольких столетий. На некоторые черты этого характера мы и хотим теперь обратить внимание».

Эту выписку мы сделали потому, что она служит предисловием и введением г-на —бова в его разбор Марка Вовчка. Здесь он отчасти излагает свой взгляд на Марка Вовчка. Обратите внимание на строчки, отмеченные нами курсивом. Г-н —бов признает, что рассказы Марка Вовчка *просты* и *правдивы,* что Марко Вовчок является в них *весьма искусным борцом на этом поприще* и что из этих очерков, в которых каждый, *кто хоть немного имел дело с русским народом, узнает знакомые черты, — из этих очерков восстает перед нами характер русского простолюдина.* Заметьте эти слова г-на —бова. Из них видно, что он признает за Марком Вовчком, *кроме ума и знания дела,* и *уменье излагать свои знания* и *наблюдения* — одним словом, признает за ним талант литературный.

Затем у г-на —бова следует несколько превосходных страниц, в которых излагаются разные теории и воззрения, существующие в настоящее время между некоторыми господами насчет русского простонародья. Это великолепное место (впрочем, еще не лучшее в статье г-на —бова) могло бы дать тем из читателей наших, которые незнакомы с талантом г-на —бова, понятие о том, чем, как и почему этот писатель заставил публику читать себя. Не выписываем этого места (хотя бы нам очень хотелось выписать его целиком), потому что не разбираем теперь всего г-на —бова, а только взгляд его на искусство. Посторонние же выписки нарушили бы единство нашей статьи. Но на следующую выписку просим обратить особенное внимание. В ней г-н —бов рассматривает Марка Вовчка отчасти и как художника, не признает в авторе решительного художественного таланта, но тут же говорит, что в нем заметна широта пониманья той жизни, которую он изображает, и что тем-то эти рассказы и нравятся ему, г-ну —бову. Мало того, г-н —бов даже увлекается: как умный человек, он мог увидать пружины, заметить намеки и намерения автора; мог даже по некоторым запутанным и бессвязным черточкам заключить, что автор говорит или желает говорить о том-то и том-то, и вот, от радости, что заговорили о том-то и о том-то, он до того благодарен автору, что готов находить в его рассказах и присутствие русского духа, и знакомые образы (простонародья) и проч., и проч., а это уже есть признаки художественности, которой он сам не признает в авторе. Главное дело, что г-н —бов доволен и без художественности; только чтоб говорили о деле. Последнее желание, конечно, похвальное, но приятнее было бы, если б и о деле говорили хорошо, а не как-нибудь. *

---

* Спешим оговориться. Отзываясь таким образом о сочинениях Марка Вовчка, мы имеем в виду только первую повесть в его рассказах из великорусского быта — «Маша». Мы не можем не согласиться, что в других его

Но вот это место его статьи.

«Надо заметить прежде всего, что характеры эти не воспроизведены со всей художественною полнотою, а только лишь намечены в коротеньких рассказцах Марка Вовчка. Мы не можем искать у него эпопеи нашей народной жизни, — это было бы уж слишком много. Такой эпопеи мы можем ожидать в будущем, а теперь покамест нечего еще и думать о ней. Сознание народа далеко еще не вошло у нас в тот период, в котором оно должно выразить всё себя поэтическим образом; писатели из образованного класса до сих пор почти все занимались народом, как любопытной игрушкой, вовсе не думая смотреть на него серьезно. Сознание значения народа едва начинается у нас, и рядом с этим смутным сознанием появляются серьезные, искренно и с любовью сделанные наблюдения народного быта и характера. В числе этих наблюдений едва ли не самое почетное место принадлежит очеркам Марка Вовчка. В них много отрывочного, недосказанного, иногда факт берется случайный, частный, рассказывается без пояснения его внутренних или внешних причин, не связывается необходимым образом с обычным строем жизни. Но строгой оконченности и всесторонности, повторяем, невозможно еще требовать от наших рассказов из крестьянской жизни, она еще не открывает нам себя во всей полноте, да и то, что открыто нам, мы не всегда умеем или не всегда можем хорошо выразить. *Для нас довольно и того,* что в рассказах Марка Вовчка мы видим желание и уменье прислушиваться к народной жизни: *мы чуем в них присутствие русского духа, встречаем знакомые образы,* узнаем ту логику, те чувства, которые мы и сами замечали когда-то, но пропускали без внимания. *Вот чем и дороги для нас эти рассказы; вот почему и ценим мы так высоко их автора.* В нем видим мы глубокое внимание и живое сочувствие, в нем находим мы широкое понимание той жизни, на которую смотрят так легко и которую понимают так узко и убого многие из образованнейших наших экономистов, славянистов, юристов, нувеллистов и проч., и проч.».

А теперь, после этой выписки, мы перейдем к самому разбору г-ном —бовым первого рассказа Марка Вовчка — «Маша». Мы решаемся выписать этот разбор целиком. Нам хочется, чтоб читатель сам познакомился с этим рассказом, несмотря на то что передает этот рассказ и делает из него выписки сам г-н —бов — сторонник, любитель и заступник таланта Марка Вовчка.

«Мы помним первое появление этого рассказа, — говорит г-н — бов. — Люди, еще верующие в неприкосновенность крепостного права, пришли от него в ужас. А в рассказе раскрывается естественное и ничем не заглушимое развитие в крестьянской девочке любви к самостоятельности и отвращения к рабству. Ничего преступного тут нет, как видите; но на приверженцев крепостных отношений подобный рассказ действительно должен был произвести потрясающее действие. Он залетал в их последнее убежище, которое они считали неприступным. Видите ли, они, как люди гуманные и просвещенные, согласились, что крепостное право в основании своем несообразно с успехами современного просвещения. Но вслед за тем они говорили, что ведь мужик еще не созрел до настоящей самостоятельности, что он о ней и не думает, и не желает ее, и вовсе не тяготится своим положением — разве уж только где барщина очень тяжела и приказчик крут...

рассказах есть много чрезвычайно талантливых страниц, хотя в целом ни один рассказ не выдержан. Действительность часто идеализирована, представлена неправдоподобно, а между тем вы сами знаете, что все это, представленное неправдоподобным, действительно может быть в жизни, и досадуете, что оно не оправдано. Мы, впрочем, говорим об одних великорусских рассказах и не трогаем рассказов из малороссийского быта.

„Да и помилуйте, откуда заберется мужику в голову мысль о свободе? Книг он не читает вовсе никаких; с литераторами незнаком; дела у него довольно, так что утопий сочинять и недосуг... Живет он себе, как жили отцы и деды, и если его теперь хотят освобождать, так это чисто по милости, по великодушию... И поверьте, что мужик не скоро еще очнется, не скоро в толк возьмет, что такое и зачем дают ему... Многие, очень многие еще всплачутся по прежней жизни“. Так уверяли умные и просвещенные люди и считали невозможным всякое возражение. И вдруг, представьте себе, прямо оспаривается действительность факта, на который они ссылаются. Им рассказывают случай, доказывающий, что и в крестьянском сословии естественна любовь к свободному труду и независимой жизни и что развитие этого чувства не нуждается даже в пособии литературы. Вот какой *простой* случай им рассказывают.

У крестьянской старушки воспитываются две сироты: племянница ее Маша и племянник Федя. Федя — как быть мальчик, веселый, смирный, покорный; а Маша с малолетства выказывает большую своеобычливость. Она не довольствуется тем, чтобы выслушать приказание, а непременно требует, чтобы сказали ей зачем и почему; ко всему она прислушивается и присматривается и чрезвычайно рано обнаруживает наклонность иметь свое суждение. Будь бы девочка у строгого отца с матерью, у нее эту дурь, разумеется, мигом бы выбили из головы, как обыкновенно и делается у нас с сотнями и тысячами девочек и мальчиков, обнаруживающих в детстве излишнюю пытливость и неуместную претензию на преждевременную деятельность рассудка. Но, к счастью или несчастью Маши, тетка ее была добрая и простая женщина, которая не только не карала Машу за ее юркость, но даже и сама-то ей поддавалась и очень конфузилась, когда не могла удовлетворить расспросам племянницы или переспорить ее. Таким образом, Маша получила убеждение, что она имеет право думать, спрашивать, возражать. Этого уж было довольно. На седьмом году случилось с ней происшествие, которое дало особенный оборот всем ее мыслям. Тетка с Федей поехала в город; Маша осталась одна караулить избу. Сидит она на заваленке и играет с ребятишками. Вдруг проходит мимо барыня; остановилась, посмотрела и говорит Маше: „Что это так расшумелась? Свою барыню знаешь? А? чья ты?“ Маша оробела, что ли, не ответила, а барыня-то ее и выбранила: „Дура растешь, не умеешь говорить“. Маша в слезы. Барыне жалко стало. „Ну, поди, говорит, ко мне, дурочка“. Маша нейдет: барыня приказывает ребятишкам подвести к ней Машу. Маша ударилась бежать, да так и не пришла домой. Воротилась тетка с Федей из города — нет Маши: пошли искать, искали-искали, не нашли; уж на возвратном пути она сама к ним вышла из чьего-то конопляника. Тетка хотела ее домой вести — нейдет. „Меня, говорит, барыня возьмет, не пойду я“. Кое-как тетка ее успокоила и тут же ей наставление дала, что надо барыню слушаться, хоть она и сурово прикажет.

„— А если не послушаешься? — промолвила Маша.

— Тогда горя не оберешься, голубчик, говорю. * Любо разве кару-то принимать?..

А Федя даже смутился, смотрит на сестру во все глаза.

— Убежать можно, — говорит Маша, — убежать далеко... Вот Тростянские летось бегали.

— Ну, и поймали их, Маша... А которые на дороге померли.

— А пойманных-то в острог посадили, распинали всячески, — говорит Федя.

— Натерпелись они и стыда, и горя, дитятко, — я говорю; а Маша всё свое: «да чего все за барыню так стоят?»

— Она барыня, — толкуем ей, — ей права даны, у ней казна есть... так уж ведется.

— Вот что, — сказала девочка. — А за нас-то кто ж стоит?

---

* Рассказ веден от лица тетки.

Мы с Федей переглянулись: что это на нее нашло?
— Неразумная ты головка, дитятко, — говорю.
— Да кто ж за нас? — твердит.
— Сами мы за себя, да бог за нас, — отвечаю ей“ (стр. 29).

И с той поры у Маши только и речей, что про барыню. „И кто ей отдал нас? и как? и зачем? и когда? Барыня одна, говорит, а нас-то сколько! Пошли бы себе от нее куда захотели: что она сделает?“ Старушка тетка, разумеется, не могла удовлетворить Машу, и девочка должна была сама доходить до разрешения своих вопросов. Между тем скоро пришлось ей применить и на практике свой образ мыслей. Барыня вспомнила про Машу и велела старосте посылать ее на работу в барский сад. Маша уперлась: „Не пойду“, говорит, да и только. Тетке стало жалко девочку: сказала старосте, что больна Маша. За эту отговорку и ухватилась девчонка: как только господская работа, она больна. Уж барыня и к себе ее требовала и допрашивала: „Чем больна?“ — „Всё болит“, — отвечает Маша. Барыня побранит, погрозит и прогонит ее. А на другой раз опять то же.

Сколько ни уговаривал Машу брат ее, сколько ни просила тетка — ничто не помогало. Маша не только не хотела работать, да еще при этом и держала себя так, как будто бы она была в полном праве, как будто бы то, что она делала, так и должно было делать ей. Она не хотела, например, попросить у барыни, чтоб освободила ее от работы. „Стоило только поклониться, попроситься, — рассуждает тетка, — барыня ее отпустила бы сама; да не такая была Маша наша. Она, бывало, и глаз-то на барыню не поднимет, и голос-то глухо звучит... А ведь известен нрав барский: ты обмани — да поклонись низко, ты злой человек — да почтителен будь, просися, молися: ваша, мол, власть казнить и миловать — простите! и всё тебе простится; а чуть возмутился сердцем, слово горькое сорвалось, — будь ты и правдив и честен, — милости над тобой не будет: ты грубиян! Барыня наша за добрую, за жалостливую слыла, а ведь как она Машу донимала! «Погодите, — бывало на нас грозится, — я вас всех проучу!» Хоть она и не карала еще, да с такими посулками время не весело шло“.

А в Маше отвращение от барской работы дошло до какого-то ожесточения, вызывало ее на *бессознательный, безумный героизм*. Раз брат упрекнул ее, что она от работы отговаривается болезнью, а в плясках да играх перед всей деревней отличается. „Разве, — говорит, — ты думаешь, до барыни не дойдет? Нехорошо, что ты нас под барский гнев подводишь“. После этого Маша перестала ходить на улицу. Скучно ей, тоскливо смотрит она из окошка на игры подруг, слеза бежит у ней по щеке, а не выйдет из избы. Тетка стала посылать ее к подругам, брат стал упрашивать, чтобы она перестала сердиться на его попрек. „Я, — говорит, — Федя, не сердита, а только ты не упрашивай меня понапрасну — не пойду“. Так и не ходила, а по ночам не спала да по огороду всё гуляла, одна-одинешенька; и никому того не сказывала, — да раз невзначай тетка ее подстерегла... „Бог с тобой, Маша, — говорит ей тетка. — Жить бы тебе, как люди живут. Отбыла барщину, да и не боишься ничего... А то вот по ночам бродишь, а днем показаться за ворота не смеешь“. — „Не могу, — шепчет, — не могу! Вы хоть убейте меня — не хочу“. Так и оставили ее.

Между тем Маша выросла, стала невестой, красавицей. Старуха тетка начинает ей загадывать о замужней жизни и пророчить счастье замужем. Но Маше и то не по нраву: „Что ж замужем-то, одинаково, — говорит. — Какое счастье!..“ Тетка толкует, что не всё горе на свете, есть и счастье. „Есть, да не про нашу честь“, — отвечает Маша. Слушая такие речи, и Федя начинает задумываться. Но Федя не может предаваться своим думам: он отбывает барщину. Маша же продолжает упорно отказываться от всякой работы. Все на деревне стали дивиться и роптать на безделье Маши, а барыня однажды так рассердилась, что велела немедленно силою привести к себе Машу. Привели ее. Барыня бросилась к ней, бранится и серп ей в руки сует: „Выжни мне траву в цветнике“. Да и стала над нею: „жни!“ Маша как взмахнула серпом — прямо себе по руке угодила. Кровь брызнула, барыня перепугалась: „Ведите ее домой скорее! вот платочек —

руку перевязать!“ Тем дело и кончилось; Маша не оценила даже барской милости: как пришла домой, так сорвала с руки барынин платочек и далеко от себя бросила...

Упрямое сопротивление Маши всякому наряду на работу, ее тоска, ее странные запросы дурно подействовали на ее брата. И он закручинился, и он от работы отбился. Старуха тетушка нашла, что парня пора женить, и говорит ему раз о невестах. „Коли свои, говорит, — не по нраву, так бы в Дерновку съездил, там есть девушки хорошие“. — „Дерновские все вольные“, — отозвалась Маша. „Что ж что вольные, — вразумляет тетка. — Разве вольные не выходят за барских? Лишь бы им жених наш приглянулся“. — „Если бы я вольная была, — заговорила Маша, а сама так и задрожала; — я бы, говорит, лучше на плаху головою“. Федя очень огорчился этим отзывом. „Уж очень ты барских-то обижаешь, Маша, — проговорил он и в лице изменился; — они тоже ведь люди божии; только что бесчастные“. Да и вышел с тем словом... Тетка начала, по обычаю, уговаривать Машу, говоря, что кручиной да слезами своей судьбе не поможешь, а разве что веку не доживешь. А Маша отвечает, что оно и лучше умереть-то скорее. „Что мне тут-то, — говорит, — на свете-то?“

Так живет бедная семья, страдая от неуместно поднятых и беззаконно разросшихся вопросов и требований девочки. У дурной помещицы, у сердитого управляющего подобная блажь имела бы, конечно, очень дурной конец. Но рассказ представляет нам добрую, кроткую помещицу, да еще с либеральными наклонностями. Она решилась дать позволение своим крестьянам выкупаться на волю. Можно представить себе, как подействовало это известие на Машу и Федю. Но мы не можем удержаться, чтобы не выписать здесь вполне двух маленьких глав, составляющих заключение этого рассказа Марка Вовчка.

„А Федя всё сумрачней, да угрюмей, а Маша в глазах у меня тает... слегла. Один раз я сижу подле нее — она задумалась крепко; вдруг входит Федя — бодро так, весело: «Здравствуйте», — говорит. Я-то обрадовалась: «Здравствуй, здравствуй, голубчик». Маша только взглянула: чего, мол, веселье такое?

— Маша, — говорит Федя, — ты умирать собиралась, молода еще, видно, ты умирать-то.

Сам посмеивается. Маша молчит.

— Да ты очнись, сестрица, да прислушайся: я тебе весточку принес.

— Бог с тобой, и с весточкой, — ответила. — Ты себе веселись, Федя, а мне покой дай.

— Какая весточка, Федя? скажи мне, — спрашиваю.

— Услышь, тетушка милая! — и обнял меня крепко-крепко и поцеловал. — Очнись, Маша! — за руку Машу схватил и приподнял ее. — Барыня объявила нам: кто хочет откупаться на волю — откупайся...

Как вскрикнет Маша, как бросится брату в ноги! Целует и слезами обливает, дрожит вся, голос у ней обрывается: «Откупи меня, родной, откупи! Благослови тебя, господи! Милый мой! откупи меня! Господи! помоги же нам, помоги!..»

Федя-то сам рекою разливается, а у меня сердце покатилось — стою, смотрю на них.

— Погоди ж, Маша, — проговорил Федя, — дай опомниться-то! Обсудить, обдумать надо хорошенько.

— Не надо, Федя! Откупайся скорей... скорей, братец милый!

— Помехи еще есть, Маша, — я вступилася, — придется продать, почитай, последнее. Как, чем кормиться-то будем?

— Я буду работать... Братец, безустанно буду работать. Я выпрошу, выплачу у людей... Я закабалюсь, куды хочешь, только выкупи ты меня! Родной мой, выкупи! Я ведь изныла вся! Я дня веселого, сна спокойного не знала! Пожалей ты моей юности! Я ведь не живу — я томлюсь... Ох, выкупи меня, выкупи! Иди, иди *к ней*...

Одевает его, торопит, сама молит-рыдает... Я и не опомнилась, как она его выпроводила... Сама по избе ходит, руки ломает... И мое сердце трепещет,

словно в молодости, — вот что затевается! Трудно мне было сообразиться, еще трудней успокоиться...

Ждем мы Федю, ждем не дождемся! Как завидела его Маша, горько заплакала, а он нам еще издали кричит: «Слава богу!» Маша так и упала на лавку, долго, долго еще плакала... Мы унимать: «Пускай поплачу, — говорит, — не тревожьте; сладко мне и любо, словно я на свет божий нарождаюсь сызнову! Теперь мне работу давайте. Я здорова... Я сильная какая; если бы вы знали!...»

Вот и откупились мы. Избу, всё спродали... Жалко мне было покидать, и Феде сгрустнулось: садил, растил — всё прощай! Только Маша веселая и бодрая — слезки она не выронила. Какое! Словно она из живой воды вышла — в глазах блеск, на лице румянец; кажется, что каждая жилка радостью дрожит... Дело так и кипит у нее... «Отдохни, Маша!» — «Отдыхать? я работать хочу!» — и засмеется весело. Тогда я впервые узнала, что за смех у нее звонкий! Тогда Маша белоручкой слыла, а теперь Машу первой рукодельницей, первой работницей величают. И женихи к нам толпой... А барыня-то гневалась — боже мой! Соседи смеются: «Холопка глупая вас отуманила! Она нарочно больною притворилась... Ведь вы небось даром почти ее отпустили?» Барыня и вправду Машей не дорожилась.

Поселились мы в избушке ветхой, в городе, да трудиться стали. Бог нам помогал, мы и новую избу срубили... Федя женился. Маша замуж пошла... Свекровь в ней души не слышит: «Она меня словно дочь родная утешает; что это за веселая! что это за работящая! больна с той поры не бывала»“».

К этому первому рассказу г-н —бов делает небольшое вступление. Но вы уже прочли его. Г-н —бов утверждает, что при появлении этого рассказа люди, еще верующие в неприкосновенность крепостного права, пришли от него в ужас и что «в рассказе рассказывается естественное и ничем не заглушимое развитие в крестьянской девочке любви к самостоятельности и отвращения к рабству». Нам как-то странно слышать про ужас людей, еще веровавших в неприкосновенность крепостного права и проч. Не понимаем, про каких это людей говорит г-н —бов и много ли он их видел? И хотя наше замечание не касается прямо литературного вопроса, о котором идет наша статья, но мы не можем удержаться, чтоб не сделать его. Кто хоть сколько-нибудь знает русскую действительность, тот согласится тотчас же, что у нас все, решительно все, и цивилизованные и нецивилизованные, и образованные и необразованные, за немногими, быть может, исключениями, давным давно и отлично хорошо знают о степени того развития, о котором говорит автор. Не говорим уже о некотором комизме предположения, что маленький рассказ мог так потрясти такую огромную массу людей; мало того: привести их в ужас. «Им рассказывается случай, — говорит г-н —бов, — доказывающий, что и в крестьянском сословии естественна любовь к свободному труду и независимой жизни и что развитие этого чувства не нуждается даже в пособии литературы. Вот какой простой случай им рассказывают».

Рассказывать такие случаи и рассказывать с талантом, умеючи, с знанием дела, — всегда полезно, несмотря на то, что такие случаи давным-давно известны. На то и талант у писателя, чтоб произвести впечатление. Можно знать факт, видеть его самолично

сто раз и все-таки не получить такого впечатления, как если кто-нибудь другой, человек особенный, станет подле вас и укажет вам тот же самый факт, но только по-своему, объяснит вам его своими словами, заставит вас смотреть на него своим взглядом. Этим-то влиянием и познается настоящий талант. Но если рассказывать теперь, в настоящую минуту, о любви к свободному труду и рассказывать для того, чтоб доказать, что такой факт существует, так ведь это всё равно, как если б кто стал доказывать, что человеку надобно пить и есть. Теперь просим читателя обратить внимание на этот самый рассказ, на этот *простой* случай, как выражается г-н —бов. Скажите: читали ли вы когда-нибудь что-нибудь более неправдоподобное, более уродливое, более бестолковое, как этот рассказ? Что это за люди? Люди ли это, наконец? Где это происходит: в Швеции, в Индии, на Сандвичевых островах, в Шотландии, на Луне? Говорят и действуют сначала как будто в России; героиня — крестьянская девушка; есть тетка, есть барыня, есть брат Федя. Но что это такое? Эта героиня, эта Маша, — ведь это какой-то Христофор Колумб, которому не дают открыть Америку. Вся почва, вся действительность выхвачена у вас из-под ног. Нелюбовь к крепостному состоянию, конечно, может развиться в крестьянской девушке, да разве так она проявится? Ведь это какая-то балаганная героиня, какая-то книжная, кабинетная строка, а не женщина? Всё это до того искусственно, до того подсочинено, до того манерно, что в иных местах (особенно, когда Маша бросается к брату и кричит: «Откупи меня!») мы, например, не могли удержаться от самого веселого хохота. А разве такое впечатление должно производить это место в повести? Вы скажете, что надо уважать иные положения и за идею простить некоторую неудачу в ее выражении. Согласны и уверяем вас, что мы не смеемся над вещами священными, но и вы согласитесь сами, что нет такой идеи, такого факта, которого бы нельзя было опошлить и представить в смешном виде. Можно долго крепиться, но наконец и расхохочешься, не утерпишь. Теперь предположим, что все защитники настоящего крестьянского быта, действительно, как уверяет г-н —бов, не верят, что крестьянин желает выйти на волю. Убедит ли хоть кого-нибудь из них рассказ в том, что они ошибаются? «Да это неправдоподобно!» — закричат они... Но послушаем самого г-на —бова.

«„Фантазия! Идиллия! Мечты золотого века! — закричали после этого рассказа практические люди с гуманными взглядами, но с тайною симпатиею к крепостным отношениям. — Где это видано, чтобы в простой мужицкой натуре могло в такой степени развиться сознание личности? Если когда-нибудь и бывало что-нибудь подобное, так это эксцентрический случай, обязанный своим происхождением каким-нибудь особенным обстоятельствам... Рассказ о Маше вовсе не представляет картины из русского быта; он есть просто заоблачная выдумка. Автор взял не тип русской простой женщины, а явление исключительное, и потому рассказ его фальшив и лишен художественного достоинства. Требование художественности состоит в том, чтобы воплощать...“ и проч.

Тут почтенные ораторы пускались в рассуждения о художественности и чувствовали себя совершенно в своей тарелке.

Но людям, не заинтересованным в деле, и в голову не пришло возражать против естественности такого факта, какой рассказан в „Маше". Напротив, он казался нормальным для всякого, знакомого с крестьянской жизнью. В самом деле, неужели возможно отвергать в крестьянине присутствие того, что мы считаем необходимой принадлежностью человеческого смысла у каждого из людей? Это уж было бы слишком...

Но, пожалуй, рассуждайте как угодно, факты докажут вам, что такие лица, как Маша и Федя, далеко не составляют исключения в массе русского народа».

Пусть почтенный автор пускается в рассуждения и в доказательства того, что крестьянин действительно может чувствовать потребность самостоятельности и сознать, что свободное состояние лучше крепостного (в чем ровно никто не сомневается), пусть тратит на эти доказательства необыкновенное красноречие, как будто действительно нужно кому-нибудь доказывать, что крестьянин может мыслить, и пусть, в восторге своем, даже доказывает, что явление Маши нормально, и доказывает на том основании,что она могла замечать, рассуждать, мечтать, чувствовать и, наконец, сознать свое положение. Всё это справедливо, г-н —бов; мы вам и без красноречия на слово верим, что всё это справедливо, потому что сами знаем уже давно, что всё это справедливо: крестьянская девушка, действительно, может и рассуждать, и догадываться, и сознавать, и чувствовать отвращение и проч., и проч. Но разве так всё это должно проявиться, как представлено в повести? разве в ней не представлено всё так, что вероятное сделано невероятным, что всё это происходит на Сандвичевых островах, а не в России. Вы говорите:

«Да, мы находим, что в „Маше" рассказан не исключительный случай, как претендуют землевладельцы и художественные критики. Напротив, в личности Маши схвачено и воплощено стремление, общее всей массе русского народа. А если потребность восстановить независимость своей личности существует, то, во всяком случае, она проявится в фактах народной жизни».

Позвольте, г-н —бов. Если мы решились сделать такие длинные выписки из вашей критики, то это вовсе не для того, чтоб говорить о Марке Вовчке и о вопросах, которые он затрагивает в своих рассказах. Мы заметили в самом начале нашей статьи, что нигде так ярко вы, предводитель утилитаризма в искусстве, не высказываете ваших идей об искусстве, как в этом разборе. Теперь мы именно пришли к той цели, для которой делали наши длинные выписки. Мы хотели показать, что утилитаристы, презирая искусством и художественностью и не ставя их на первый план в деле литературы, идут прямехонько против самих себя. Мало того: вредят делу, которому сами служат, и мы вам это докажем.

Посмотрите: вы утверждаете, что искусство для искусства делает человека даже неспособным понимать необходимость дельного направления в литературе; вы сами говорили это художественному критику. Мало того: передразнивая художников, кото-

рых вы ставите всех (заметьте: всех) на одну доску с плантаторами, вы кричите, будто бы ихними словами после прочтения рассказа «Маша»: «Фантазия, идиллия! мечты золотого века! Где это видано, чтобы в простой мужицкой натуре могло в такой степени развиться сознание своей личности?» Отвечаем: в простой мужицкой натуре развивались и не такие вещи, да и не в виде исключения, а чуть не сподряд; всё это мы знаем и всему этому верим. Но ведь видим же мы, что вы сами чувствуете всю нелепость того, как представлено дело в рассказе Вовчка, иначе не стали бы вы пускаться в такую горячую защиту рассказа, в передразнивание художников, которых вы выругали плантаторами. Выслушайте-ка теперь нас — не советы, не приговоры наши, а просто наши соображения при настоящем случае. Мы в старинном споре об искусстве не участвовали, к литературным партиям доселе не принадлежали, пришли с ветру и люди свежие, по крайней мере беспристрастные. Благоволите же выслушать.

Во-первых, прежде всего уверяем вас, что, несмотря на любовь к художественности и к чистому искусству, мы сами алчем, жаждем хорошего направления и высоко его ценим. И потому поймите наше главное: мы на Марка Вовчка нападаем вовсе не потому, что он пишет с направлением; напротив, мы его слишком хвалим за это и готовы бы радоваться его деятельности. Но мы именно за то нападаем на автора народных рассказов, что он не умел *хорошо* сделать свое дело, сделал его дурно и тем повредил делу, а не принес ему пользу. Поймите же нас — мы не хотим быть дурно понятыми и оклеветанными. Чему вы сами радуетесь в этих рассказах? Что в них дельные мысли; виден ум, хороший, правдивый взгляд на вещи? так? Но предположив только, что ваша идея справедлива, то есть что защитники настоящего крестьянского быта, как говорите вы, не веруют, что мужику хочется на свободу, повторяем: неужели вы убедите их этим рассказом? Вы прямо говорите, что этот рассказ «залетает в их последнее убежище», следовательно, верите в его *полезность*. А между тем ваши противники прямо ответят вам: «Вы утверждаете, что это случай повсеместный, и выходите из себя, чтоб доказать это; то-то и есть, что он рассказан так, что мы ясно видим его исключительность, доходящую до нелепости, почти невозможную. Уж если вы, для доказательства вашей идеи, не нашли способа выразить ее в русском духе и русскими лицами, то, согласитесь сами, ведь позволительно заключить, что и факта такого нет в русском духе и невозможен он в русской действительности». Вот что вам ответят, а следственно, рассказ, вместо серьезного, дельного впечатления, возбудит только смех и напомнит басню «Медведь и Пустынник». «Вы даже не могли представить себе русского человека с вашей идеей! — прибавят ваши противники. — Когда надо было указать, как осуществляется ваша мысль на деле, в жизни, русский человек ускользнул от вас. Вы принуждены были одеть в русские кафтаны и сарафаны каких-то швейцарцев из балета; это пейзане и пей-

занки, а не крестьяне и крестьянки. У вас почва выскользнула из-под ног, только что вы шаг первый ступили для доказательства вашего нелепого парадокса. И после этого вы хотите, чтоб мы вам поверили, когда вы сами, защитники дела, не в состоянии представить себе такого дела между русскими людьми? Нет, обманывайте себя, кабинетные мечтатели, а нас оставьте в покое». Вот что вам скажут и по-своему будут правы. А между тем ведь мысль-то автора рассказов верна. Представьте же себе, что вместо этой балаганной шутихи, вместо этой строки, Маши, вышло бы у автора рассказов яркое, верное лицо, так что вы бы сразу, наяву, увидали то в действительности, о чем так горячо спорите, — неужели вы бы отвергли такой рассказ за то только, что он художествен? Ведь такой рассказ был бы в тысячу раз полезнее. В сущности вы презираете поэзию и художественность; вам нужно прежде всего дело, вы люди деловые. То-то и есть, что художественность есть самый лучший, самый убедительный, самый бесспорный и наиболее понятный для массы способ представления в образах именно того самого дела, о котором вы хлопочете, самый *деловой,* если хотите вы, деловой человек. Следственно, художественность в высочайшей степени полезна именно с *вашей* точки зрения. Что же вы ее презираете и преследуете, когда ее именно нужно поставить на первый план, прежде всяких требований? «Прежде всяких требований нельзя, — говорите вы, — потому что прежде всего нужно дело»; но ведь и о деле нужно говорить дельно, умеючи. Ведь и в дельном человеке немного пользы, если он не умеет высказаться. Это все равно, если у вас, например, под командой куча солдат, народ надежный, хороший; вдруг тревога: все вскакивают, надевают ранцы, амуницию, хватаются за оружие; «Скорее! скорее! — командуете вы, — бросайте ранцы, патроны, не нужно: только опоздаем со всеми лишними сборами; и оружия не нужно, — кто что успел захватить, с тем и марш!» Вы действительно поспеваете вовремя на место, занимаете его, но ведь ваши солдаты без оружия и без амуниции, куда они годятся? Дело-то сделано, да ведь нехорошо сделано. Или, например, перед вами крепость; вам нужно ее атаковать, и вот вы требуете непременным условием, чтоб ваши солдаты все до одного были хромые. Писатель без таланта, тот же хромой солдат. Неужели же вы предпочтете для выражения вашей мысли заику?

Но вы улыбаетесь, вам смешно, что вас же как будто учат тому, что вы сами не только отлично знаете, но давным-давно уже в своем месте высказали. В одной из ваших статей вы говорите: «*пожалуй, пусть будет* произведение художественное, но будь оно и современное». И в другой статье: «Если вы хотите живым образом действовать на меня, хотите заставить меня полюбить красоту, — то умейте уловить в ней этот общий смысл, это веяние жизни, умейте указать и растолковать его мне; тогда только вы достигнете вашей цели». Коротко и ясно; вы не отвергаете художественности, но требуете, чтоб художник говорил о деле,

служил общей пользе, был верен современной действительности, ее потребностям, ее идеалам. Желание прекрасное. Но такое желание, *переходящее в требование,* по-нашему, есть уже непонимание основных законов искусства и его главной сущности — свободы вдохновения. Это значит просто не признавать искусства как органического целого. В том-то вся и ошибка в этом сбивчивом вопросе, которая привела нас к недоумениям, несогласиям и, что всего хуже, к крайностям. Вы как будто думаете, что искусство не имеет само по себе никакой нормы, никаких своих законов, что им можно помыкать по произволу, что вдохновение у всякого в кармане по первому востребованию, что оно может служить тому-то и тому-то и пойти по такой дороге, по которой вы захотите. А мы верим, что у искусства собственная, цельная, органическая жизнь и, следовательно, основные и неизменимые законы для этой жизни. Искусство есть такая же потребность для человека, как есть и пить. Потребность красоты и творчества, воплощающего ее, — неразлучна с человеком, и без нее человек, может быть, не захотел бы жить на свете. Человек жаждет ее, находит и принимает красоту *без всяких условий,* а так, потому только, что она красота, и с благоговением преклоняется перед нею, не спрашивая, к чему она полезна и что можно на нее купить? И, может быть, в этом-то и заключается величайшая тайна художественного творчества, что образ красоты, созданный им, становится тотчас кумиром, *без всяких условий.* А почему он становится кумиром? Потому что потребность красоты развивается наиболее тогда, когда человек в разладе с действительностью, в негармонии, в борьбе, то есть когда *наиболее живет,* потому что человек наиболее живет именно в то время, когда чего-нибудь ищет и добивается; тогда в нем и проявляется наиболее естественное желание всего гармонического, спокойствия, а в красоте есть и гармония и спокойствие. Когда же находит то, чего добивается, то на время для него как бы замедляется жизнь, и мы видели даже примеры, что человек, достигнув идеала своих желаний, не зная куда более стремиться, удовлетворенный по горло, впадал в какую-то тоску, даже сам растравлял в себе эту тоску, искал другого идеала в своей жизни и, от усиленного пресыщения, не только не ценил того, чем наслаждался, но даже сознательно уклонялся от прямого пути, раздражая в себе посторонние вкусы, нездоровые, острые, негармонические, иногда чудовищные, теряя такт и эстетическое чутье здоровой красоты и требуя вместо нее исключений. И потому красота присуща всему здоровому, то есть наиболее живущему, и есть необходимая потребность организма человеческого. Она есть гармония; в ней залог успокоения; она воплощает человеку и человечеству его идеалы. «Но позвольте, — скажут нам, — про какие идеалы вы говорите? Мы хотим действительности, жизни, веяния жизни. У нас всё общество, например, разрешает какой-нибудь современный вопрос, оно стремится к выходу, к идеалу, который оно само себе поставило. К этому-то идеалу и поэты долж-

ны стремиться. Чем бы воплощать и уяснять перед обществом этот идеал, вы вдруг воспеваете нам Диану-охотницу или Лауру у клавира». Всё это бесспорно и справедливо. Но прежде чем мы ответим на это возражение, позвольте нам сделать одно постороннее, побочное замечание, так, чтоб уж разом, окончив со всем посторонним, перейти к главному ответу на ваше прекрасное и чрезвычайно справедливое замечание.

Мы уже сказали в начале нашей статьи, что нормальные, естественные пути полезного нам не совсем известны, по крайней мере не исчислены до последней точности. Как, в самом деле, определить, ясно и бесспорно, что именно надо делать, чтоб дойти до идеала всех наших желаний и до всего того, чего желает и к чему стремится всё человечество? Можно угадывать, изобретать, предполагать, изучать, мечтать и рассчитывать, но невозможно рассчитать каждый будущий шаг всего человечества, вроде календаря. Поэтому, как и определить *совершенно верно,* что́ вредно и полезно? Но не только о будущем, мы даже не можем иметь точных и положительных сведений о всех путях и уклонениях, одним словом, о всем нормальном ходе полезного даже и в прошедшем нашем. Мы изучаем этот путь, догадываемся, строим системы, выводим следствия, но все-таки календаря и тут не составим, и история до сих пор не может считаться *точной* наукой, несмотря на то, что факты почти все перед нами. И потому, как, например, вы определите, вымеряете и взвесите, какую пользу принесла всему человечеству «Илиада»? Где, когда, в каких случаях она была полезна, чем, наконец, какое именно влияние она имела на такие-то народы, в такой-то момент их развития и сколько именно было этого влияния (ну, хоть фунтов, пудов, аршин, километров, градусов и проч., и проч.)? А ведь если мы этого не можем определить, то очень возможно, что можем ошибиться и теперь, когда будем строго и решительно определять людям занятия и указывать искусству нормальные пути полезности и настоящего его назначения. А только согласитесь, что можно ошибиться, вот уже и неизвестно станет: может быть, Лаура-то у клавира и окажется на что-нибудь полезна? Правда, красота всегда полезна; но мы об ней теперь умолчим, а вот что мы скажем (впрочем, заранее предуведомляем, — может быть, мы скажем неслыханную, бесстыднейшую дерзость, но пусть не смущаются нашими словами; мы ведь говорим только одно предположение), что, скажем мы, а ну-ка, если «Илиада»-то полезнее сочинений Марка Вовчка, да не только прежде, а даже теперь, при современных вопросах; полезнее как способ достижения известных целей, этих же самых вопросов, разрешения настольных задач? Ведь и теперь от «Илиады» проходит трепет по душе человека. Ведь это эпопея такой мощной, полной жизни, такого высокого момента народной жизни и, заметим еще, жизни такого великого племени, что в наше время, — время стремлений, борьбы, колебаний и веры (потому что наше время есть время веры), одним словом,

в наше время наибольшей жизни, эта вековечная гармония, которая воплощена в «Илиаде», может слишком решительно подействовать на душу. Наш дух теперь наиболее восприимчив, влияние красоты, гармонии и силы может величаво и благодетельно подействовать на него, *полезно* подействовать, влить энергию, поддержать наши силы. Сильное любит силу; кто верует, тот силен, а мы веруем и, главное, хотим веровать. Ведь чем гнусно занятие «Илиадой» и подражание ей в искусстве в наше время, по взгляду противников чистого искусства? Тем, что мы, точно мертвецы, точно всё пережившие, или точно трусы, боящиеся нашей будущей жизни, наконец — точно равнодушные изменники тех из нас, в которых еще осталась жизненная сила и которые стремятся вперед, точно энервированные до отупения, до непонимания, что и у нас есть жизнь, — в каком-то отчаянии, бросаемся в эпоху «Илиады» и создаем себе таким образом искусственную действительность, жизнь, которую не мы создавали и не мы проживали, мечту, пустую и соблазнительную, — и, как низкие люди, заимствуем, воруем нашу жизнь у давно прошедшего времени и прокисаем в наслаждении искусством, как никуда негодные подражатели! Согласитесь сами, что направление утилитаристов, с точки зрения подобных упреков, в высшей степени благородно и возвышенно. Оттого-то мы им так сочувствуем; оттого-то их и хотим уважать. Беда только в том, что это направление и эти упреки неверны. Не говоря уже о том, что мы говорили о потребности красоты, и о том, что у человечества уже определились отчасти ее вековечные идеалы (так что всё это уже стало всемирной историей и связано общечеловечностью с настоящим и с будущим, навеки и неразрывно), — не говоря уже о том, заметим утилитаристам, что ведь можно относиться к прошедшей жизни и к прошедшим идеалам и не наивно, а исторически. При отыскании красоты человек жил и мучился. Если мы поймем его прошедший идеал и то, чего этот идеал ему стоил, то, во-первых, мы выкажем чрезвычайное уважение ко всему человечеству, облагородим себя сочувствием к нему, поймем, что это сочувствие и понимание прошедшего гарантирует нам же, в нас же присутствие гуманности, жизненной силы и способность прогресса и развития. Кроме того, можно относиться к прошедшему и (так сказать) байронически. В муках жизни и творчества бывают минуты не то чтоб отчаяния, но беспредельной тоски, какого-то безотчетного позыва, колебания, недоверия и вместе с тем умиления перед прошедшими, могущественно и величаво законченными судьбами исчезнувшего человечества. В этом энтузиазме (байроническом, как называем мы его), перед идеалами красоты, созданными прошедшим и оставленными нам в вековечное наследство, мы изливаем часто всю тоску о настоящем, и не от бессилия перед нашею собственною жизнью, а, напротив, от пламенной жажды жизни и от тоски по идеалу, которого в муках добиваемся. Мы знаем одно стихотворение, которое можно почесть воплоще-

нием этого энтузиазма, страстным зовом, молением перед совершенством прошедшей красоты и скрытой внутренней тоской по такому же совершенству, которого ищет душа, но должна еще долго искать и долго мучиться в муках рождения, чтоб отыскать его. Это стихотворение называется «Диана», вот оно:

ДИАНА

Богини девственной округлые черты,
Во всем величии блестящей наготы,
Я видел меж дерев над ясными водами.
С продолговатыми, бесцветными очами...
Высоко поднялось открытое чело,
Его недвижностью вниманье облегло, —
И дев молению в тяжелых муках чрева
Внимала чуткая и каменная дева.
Но ветер на заре между листов проник;
Качнулся на воде богини ясный лик;
Я ждал, — она пойдет с колчаном и стрелами,
Молочной белизной мелькая меж древами,
Взирать на сонный Рим, на вечный славы град,
На желтоводный Тибр, на группы колоннад,
На стогны длинные... Но мрамор недвижимый
Белел передо мной красой непостижимой.

Последние две строки этого стихотворения полны такой страстной жизненности, такой тоски, такого значения, что мы ничего не знаем более сильного, более жизненного во всей нашей русской поэзии. Это отжившее прежнее, воскресающее через две тысячи лет в душе поэта, воскресающее с такою силою, что он ждет и верит, в молении и энтузиазме, что богиня сейчас сойдет с пьедестала и пойдет перед ним,

Молочной белизной мелькая меж древами...

Но богиня не воскресает, и ей не надо воскресать, ей не надо жить; она уже дошла до высочайшего момента жизни; она уже в вечности, для нее время остановилась; это высший момент жизни, после которого она прекращается, — настает олимпийское спокойствие. Бесконечно только одно будущее, вечно зовущее, вечно новое, и там тоже есть свой высший момент, которого нужно искать и вечно искать, и это вечное искание и называется жизнию, и сколько мучительной грусти скрывается в энтузиазме поэта! Какой бесконечный зов, какая тоска о настоящем в этом энтузиазме к прошедшему!

Конечно, мы согласны, может существовать и такой гаденький, антологический червячок, который действительно потерял всё чутье действительности, который не понимает, что у него тоже есть жизнь, который перебрался в прошедшее и поселился там, где-нибудь в антологии, не подозревая ни себя, ни вопросов, ни жизненных мук, ни здешнего прихода. Но, во-первых, ведь и червячку надо жить, а во-вторых: лучше что ли его эти бесчисленные толпы

грошовых прогрессистов, с убеждениями напрокат, с совестью напрокат, с осклаблением над тем, чьего они праха не стоят, с жалким умишком, вскочившим на фразу и выезжающим на ней подбоченясь? Что ж делать! И тем и этим жить надо. Действительность слишком разнообразна. Что ж делать!

Теперь приступим к нашему главному и окончательному ответу на ваш справедливый вопрос о том, почему искусство не всегда совпадает своими идеалами с идеалом всеобщим и современным; яснее: почему искусство не всегда верно действительности?

Ответ на этот вопрос у нас готов.

Мы сказали уже, что вопрос об искусстве, по нашему мнению, не так поставлен в настоящее время, дошел до крайности и запутался от взаимного ожесточения обеих партий. То же самое повторяем мы и теперь. Да, вопрос не так поставлен и по-настоящему спорить не о чем, потому что:

Искусство всегда современно и действительно, никогда не существовало иначе и, главное, не может иначе существовать.

Теперь постараемся ответить на все возражения.

Во-первых, если нам иногда кажется, что искусство уклоняется от действительности и не служит полезным целям, то это только потому, что мы не знаем наверно путей полезности искусства (о чем уже мы говорили) и, кроме того, от излишнего жара в наших желаниях немедленной, прямой и непосредственной пользы; то есть, в сущности, от горячего сочувствия к общему благу. Такие желания, конечно, похвальны, но иногда неразумны и похожи на то, как если б дитя, увидя солнце, потребовал, чтобы ему сейчас его сняли с неба и дали.

Во-вторых, потому нам иногда кажется, что искусство уклоняется от действительности, что действительно есть сумасшедшие поэты и прозаики, которые прерывают всякое сношение с действительностью, действительно умирают для настоящего, обращаются в каких-то древних греков или в средневековых рыцарей и прокисают в антологии или в средневековых легендах.

Такое превращение возможно; но поэт, художник, поступивший таким образом, есть сумасшедший вполне. Таких немного.

В-третьих, наши поэты и художники действительно могут уклоняться с настоящего пути или вследствие непонимания своих гражданских обязанностей, или вследствие неимения общественного чутья, или от разрозненности общественных интересов, от несозрелости, от непонимания действительности, от некоторых исторических причин, от не совсем еще сформировавшегося общества, оттого, что многие — кто в лес, кто по дрова, и потому с этой стороны призывы, укоры и разъяснения г-на —бова в высочайшей степени почтенны. Но г-н —бов идет уже слишком далеко. То, что он называет погремушками и альбомными побрякушками, мы, с другой точки зренья, признаем и нормальным и полезным,

и, таким образом, антологические поэты не все до единого сумасшедшие (как признает г-н —бов), а только те из них, которые совсем отрешились от современной действительности, вроде иных наших барынь, проживающих всю жизнь в Париже и потерявших употребление русского языка (на что, впрочем, их добрая воля). *«Побрякушки»* же тем полезны, что, по нашему мнению, мы связаны и исторической и внутренней духовной нашей жизнью и с историческим прошедшим и с общечеловечностью. Что ж делать? без того ведь нельзя; ведь это закон природы. Мы даже думаем, что чем более человек способен откликаться на историческое и общечеловеческое, тем шире его природа, тем богаче его жизнь и тем способнее такой человек к прогрессу и развитию. Нельзя же так обстричь человека, что вот, дескать, это твоя потребность, так вот нет же, не хочу, живи так, а не этак! И какие ни представляйте резоны — никто не послушается. И знаете еще что: мы уверены, что в русском обществе этот позыв к общечеловечности, а следовательно, и отклик его творческих способностей на всё историческое и общечеловеческое и вообще на все эти разнообразные темы — был даже наиболее нормальным состоянием этого общества, по крайней мере до сих пор, и, может быть, в нем вековечно останется. Мало того: нам кажется, что этот всечеловеческий отклик в русском народе даже сильнее, чем во всех других народах, и составляет его высшую и лучшую характерность. Вследствие Петровской реформы, вследствие нашего усиленного переживания вдруг многих разнообразных жизней, вследствие инстинкта всежизненности, и творчество наше должно было проявиться у нас так характерно, так особенно, как ни в каком народе. Ведь вы восстаете почти против нормального нашего состояния. Ведь литературы европейских народов были нам почти родные, почти наши собственные, отразились в русской жизни вполне, как у себя дома. Вспомните: ведь и вы так воспитаны, г-н —бов. Как вы думаете, ведь явление Жуковского невозможно, например, у французов, а Пушкина и подавно. Откликнется ли кто-нибудь из европейских самых великих поэтов на всё общечеловеческое так родственно, в такой полноте, как откликнулся представитель нашей поэзии — Пушкин? Поэтому-то отчасти мы и называем Пушкина величайшим национальным поэтом (а в будущем и народным, в буквальном смысле слова), потому именно называем, что он есть полнейшее выражение направления, инстинктов и потребностей русского духа в данный исторический момент. Ведь это отчасти современный тип всего русского человека, по крайней мере в историческом и общечеловеческом стремлении его. Нельзя же говорить (потому что так задалось в кабинете), что все эти стремления всего русского духа и бесполезны, и глупы, и незаконны. И неужели вы, например, думаете, что маркиз Поза, Фауст и проч., и проч. были бесполезны нашему русскому обществу в его развитии и не будут полезны еще? Ведь не за облака же мы с ними пришли, а дошли до современных вопросов, и,

кто знает, может быть, они тому много способствовали. Вот почему хоть бы, например, все эти антологии, «Илиады», Дианы-охотницы, Венеры и Юпитеры, Мадонны и Данте, Шекспир, Венеция, Париж и Лондон — может быть, всё это законно существовало у нас и должно у нас существовать — во-первых, по законам общечеловеческой жизни, с которою мы все нераздельны, а во-вторых, и по законам русской жизни в особенности.

— Но что вы нас учите! — скажут нам утилитаристы. — Мы очень хорошо и без вас знаем, насколько всё это нам было полезно, как связь с Европой, когда мы вдвигались в общечеловечество; знаем очень хорошо, потому что мы сами из всего этого вышли. Но теперь нам покамест не надо никакого общечеловечества и никаких исторических законов. У нас теперь своя домашняя стирка, черное белье выполаскивается, набело переделывается; теперь у нас повсюду корыта, плеск воды, запах мыла, брызги и замоченный пол. Теперь надо писать не про маркиза Позу, а про свои дела, про известные вопросы, про гласность, про полезность, про Крутогорск, про темное царство.

Мы ответим на это так: во-первых, определить, что именно надо и что не надо, на вес или цифрами, довольно трудно; можно загадывать, можно рассчитывать, позволительно и законно пробовать на деле: так ли выйдет по расчету? желать, убеждать и увещевать других к общей деятельности — всё это законно и в высшей степени полезно. Но писать в «Современнике» указы, но требовать, но предписывать — пиши, дескать, вот непременно об этом, а не об этом — и ошибочно и бесполезно (хотя уж потому одному, что ведь не послушаются. Конечно, робкого народу у нас много; беда как иные боятся критики! да и самолюбие: отстать от передовых не хочется — вот и пишут с направлением, да так как пишут-то не по своему вдохновению, то и выходит всё почти дрянь; но деспотизм нашей критики пройдет; станут писать по охоте, будут более сами по себе и, может быть, и в обличительном роде напишут что-нибудь прекрасное. Давай-то бог!). К тому же ведь можно ошибиться. Ведь, может быть, именно то, что наши прогрессивные умы считают несовременным и неполезным, и есть современное и полезное. Больной не может быть в одно и то же время и больным и врачом. Можно сознавать себя больным, сознавать, что мне нужно лекарство, даже вообще можно знать, какое именно нужно лекарство, но рецепта до последней точности себе самому прописать нельзя. А если поэзия, слово, литература есть тоже лекарство, то ведь отчасти есть и мерка: что именно в поэзии хорошо, а что неподходяще? Эта мерка в том: чем более симпатии возбуждает в массе поэт, тем, стало быть, он наиболее оправдывает свое явление. Конечно, тут могут быть большие ошибки, капитальные уклонения; примеры были: масса иногда в данный момент и не знает, чего ей нужно, что именно надо любить, чему симпатизировать. Но эти уклонения сами собою скоро проходят, и общество всегда само отыскивает потерянный путь. А

главное в том, что искусство всегда в высшей степени верно действительности, — уклонения его мимолетные, скоропроходящие; оно не только всегда верно действительности, но и не может быть неверно современной действительности. Иначе оно не настоящее искусство. В том-то и признак настоящего искусства, что оно всегда современно, насущно-полезно. Если оно занимается антологией, *стало быть, еще нужна антология;* уклонения и ошибки могут быть, но, повторяем, они преходящи. Искусства же несовременного, не соответствующего современным потребностям, и совсем быть не может. Если оно и есть, то оно не искусство; оно мельчает, вырождается, теряет силу и всякую художественность. В этом смысле мы идем даже дальше г-на —бова, в его же идее: он еще признает, что существует бесполезное искусство, чистое искусство, не современное и не насущное, и ополчается на него. А мы не признаем совсем такого искусства, и спокойны — незачем ополчаться; а если и будут уклонения, то беспокоиться нечего: сами собою пройдут, и скоро пройдут.

— Но позвольте, — спросят нас, — на чем же вы основываетесь, из чего именно вы заключаете, что настоящее искусство никак и не может быть несовременным и неверным насущной действительности?

Отвечаем:

Во-первых, по всем вместе взятым историческим фактам, начиная с начала мира до настоящего времени, искусство никогда не оставляло человека, всегда отвечало его потребностям и его идеалу, всегда помогало ему в отыскании этого идеала, — рождалось с человеком, развивалось рядом с его исторической жизнию и умирало вместе с его исторической жизнию.

Во-вторых (и главное), творчество, основание всякого искусства живет в человеке как проявление части его организма, но живет нераздельно с человеком. А следственно, творчество и не может иметь других стремлений, кроме тех, к которым стремится весь человек. Если б оно пошло другим путем, значит, оно бы пошло в разлад с человеком, значит, разъединилось бы с ним. А следственно, изменило бы законам природы. Но человечество еще покамест здорово, не вымирает и не изменяет законам природы (говоря вообще). А следственно, и за искусство опасаться нечего — и оно не изменит своему назначению. Оно всегда будет жить с человеком его настоящею жизнию; больше оно ничего не может сделать. Следственно, оно останется навсегда верно действительности.

Конечно, в жизни своей человек может уклоняться от нормальной действительности, от законов природы; будет уклоняться за ним и искусство. Но это-то и доказывает его тесную, неразрывную связь с человеком, всегдашнюю верность человеку и его интересам.

Но все-таки искусство тогда только будет верно человеку, когда не будут стеснять его свободу развития.

И потому первое дело: не стеснять искусства разными целями, не предписывать ему законов, не сбивать его с толку, потому что у него и без того много подводных камней, много соблазнов и уклонений, неразлучных с исторической жизнию человека. Чем свободнее будет оно развиваться, тем нормальнее разовьется, тем скорее найдет настоящий и *полезный* свой путь. А так как интерес и цель его одна с целями человека, которому оно служит и с которым соединено нераздельно, то чем свободнее будет его развитие, тем более пользы принесет оно человечеству.

Поймите же нас: мы именно желаем, чтоб искусство всегда соответствовало целям человека, не разрознивалось с его интересами, и если мы и желаем наибольшей свободы искусству, то именно веруя в то, что чем свободнее оно в своем развитии, тем полезнее оно человеческим интересам. Нельзя предписывать искусству целей и симпатий. К чему предписывать, к чему сомневаться в нем, когда оно, нормально развитое, и без ваших предписаний, по закону природы, не может идти в разлад потребностям человеческим? Оно не потеряется и не собьется с дороги. Оно всегда было верно действительности и всегда шло наряду с развитием и прогрессом в человеке. Идеал красоты, нормальности у здорового общества не может погибнуть; и потому оставьте искусство на своей дороге и доверьтесь тому, что оно с нее не собьется. Если и собьется, то *тотчас же воротится назад,* откликнется на первую же потребность человека. Красота есть нормальность, здоровье. Красота полезна, потому что она красота, потому что в человечестве — всегдашняя потребность красоты и высшего идеала ее. Если в народе сохраняется идеал красоты и потребность ее, значит, есть и потребность здоровья, нормы, а следственно, тем самым гарантировано и высшее развитие этого народа. Частный человек не может угадать вполне вечного, всеобщего идеала, — будь он сам Шекспир, — а следственно, не может *предписывать* ни путей, ни цели искусству. Гадайте, желайте, доказывайте, подзывайте за собой — всё это позволительно; но предписывать непозволительно; быть деспотом непозволительно; а ведь вот хоть бы с г-ном Никитиным вы, г-н —бов, обошлись почти деспотически. «Пиши про свои нужды, описывай нужды и потребности своего сословия, — долой Пушкина, не смей восхищаться им, а восхищайся вот тем-то и тем-то и описывай то-то». — «Да Пушкин был мое знамя, мой маяк, мое развитие, — восклицает г-н Никитин (или мы за г-на Никитина); я мещанин, — он протянул мне руку оттуда, где свет, где просвещение, где не гнетут оскорбительные предрассудки, по крайней мере так, как в моей среде; он был мой хлеб духовный». — «Не надо, вздор! пиши про свои нужды». — «Но ведь я сам нуждающийся, — продолжает г-н Никитин, — физический хлеб есть у меня, но мне надобен хлеб духовный. Не отнимайте же у меня этого хлеба, желая его всем. Всем-то желаете, а как к делу пришлось, у меня первого и отнимаете. Вы хотите, чтоб я описывал свой быт, свои

нужды. Да я, может, и буду описывать! Только теперь-то позвольте пожить высшей жизнью. Для вас она не высшая, вы ее уже презираете, а для меня — знаете, как она еще соблазнительна!..» — «Мы ручаемся за г-на Никитина, — прибавляем мы тут же с своей стороны, — дайте ему пожить теперь как он хочет. Пушкин для него теперь всё. Ведь и мы к современным вопросам прошли через Пушкина; ведь и для нас он был началом всего, что теперь есть у нас. А г-ну Никитину он больше чем родной. Пушкин — знамя, точка соединения всех жаждущих образования и развития; потому что он наиболее художествен, чем все наши поэты, следовательно, наиболее прост, наиболее пленителен, наиболее понятен. Тем-то он и народный поэт, что всем понятен. Перейдет г-н Никитин через Пушкина, и если у него действительно есть талант, — поверьте, г-н —бов, — дойдет, как и мы, до современных вопросов и будет писать с направлением. А требовать от него теперь, ведь это... ведь это будет... как бы это выразиться: ведь это будет кабинетный скачок...»

Но довольно! Мы не имеем чести знать г-на Никитина и социального его положения; мы знаем только, что он мещанин, о чем он сам публиковал при издании своих сочинений. Если г-н Никитин совсем не в таком положении, в котором мы его теперь представили, то просим у него извинения. В таком случае вместо него мы ставим лицо отвлеченное, сочиненное, г-на N.

ВЫПИСКИ И ЗАМЕЧАНИЯ

1. В стремлении к образованию дух человеческий увлекается в одно из противуположных направлений — *либо прелестью привычки, либо прелестью новизны...* Это различие существовало и должно существовать всегда... Не только в политике, но даже и в литературе, во всех искусствах, во всякой науке, в хирургии, в механике, в мореплавании, в земледелии, даже в математике — мы находим эти два противуположные направления... *Везде есть люди, с восторгом прилепляющиеся ко всему, что древне... Везде есть другого рода люди, имеющие способность быстро находить недостатки во всем существующем... и принимающие всякую новизну за усовершенствование.* Отчасти и то и другое направление похвальны. Лучшие люди обеих партий находятся недалеко от средней черты. Крайние же люди одной партии — это ханжи и дряхлые болтуны; крайние люди другой партии — это мелкие пустозвоны и беззаботные недоучки (цитата [1] из Macaulay — The History of England, vol. I, pag. 96, 97. Выписана здесь из статьи Оптухина (Павлова) в «Московском вестнике», 1859, «Восток и запад в русской литературе». NB В этой статье замечательны слова о славянофильстве, о коммунизме, о Петре Великом и о крестьянском общинном владении землею).

P. S. *О Маколее.* След⟨овательно⟩, по выше приведенной цитате Маколея, *между прочим,* выходит, что, с одной стороны, *ханжи и дряхлые болтуны,* а с другой — *мелкие пустозвоны и беззаботные недоучки — необходимы* по законам природы и не только *не могут не быть,* но даже и не *должны не быть.*

ЗАМЕЧАНИЯ НА СТАТЬЮ СЕМЕВСКОГО О КНИГЕ УСТРЯЛОВА «ЦАРЕВИЧ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ», «РУССКОЕ СЛОВО», 1860, № 1

Страница 8. Слово Стефана Яворского, митрополита Рязанского. До того *вольнодумное, дерзкое,* что, взяв в соображение *проповеди* тех же пастырей при воцарении хоть бы Елизаветы

[1] *Было:* выписка

(угодничество, ласкательство, жертва совестью), удивляешься, как могли эти люди говорить такие речи при «*грозном кровопийце*» (как Петр), пред которым, по выражению того же Семевского, Иван Грозный романтик. Значит, *могли* же говорить при Петре, во всеуслышание, про Петра такие дерзости. [1] Почему же могли? Была же причина! Какая? Или Петр позволял высказывать правду, или Стефан Яворский опирался на что-нибудь, чтоб не бояться. На что же? На силу царевича Алексея, на партию *его*, но Семевский прямо говорит, что не было партии никакой ⟨23⟩.

В этой проповеди Стефан говорит, что бог дарует мир тем, кто любит господа, и в России мира поэтому не будет и многомятежная Россия волнуется. (*Россия была Петр*. Прямо сказано, что Петр не любил господа и закона его.) Сказано еще с глумлением: а какой закон у нас? Поставлен фискал и делает что хочет... Затем наглое, дерзкое, мятежное обращение к Алексею-угоднику, чтоб он *не забыл* тезоименинника своего (царевича), хранителя заповеди божией, «*...единую нашу надежду*».

Если говорили такие проповеди, стало быть, почему-нибудь смели говорить. Петр прогневался и *чуть было* (говорит Семевский) не подверг Стефана опале. *Чуть было!* Что-то не ладится с кровожадностью Петра ⟨9⟩.

2) Везде Семевский ужасно пристрастен к Алексею. Алексей пишет гадкое ругательное письмо ⟨27⟩, Семевский тотчас говорит, что это тогдашние нравы, пьет ⟨21, 23⟩ — тогдашние нравы, бьет кого-нибудь ⟨3, 16⟩ — тогдашние нравы. А Петр, воздержавший⟨ся⟩ от сладострастий, — с глумлением замечается, что такие случаи у Петра слишком редки... ⟨21⟩

3) Алексей и Цесарь. Царевич говорит Цесарю: «Привожу бога в свидетели, что я никогда ничего не сделал отцу или его правлению, никогда не думал о возмущении народа, *хотя* это не трудно было бы сделать, потому что народ меня любит, а *отца ненавидит* за его *недостойную царицу*, за злых любимцев, *за уничтожение старых добрых обычаев* и за *введение много⟨го⟩ дурного*, наконец, за то, что отец, не щадя ни крови, ни денег, есть *тиран и враг своего народа*» ⟨20⟩. — Слова ясные, понятно, каким образом царевич понимал и ненавидел Петра и реформу; ясно, что по воцарении он повернул бы все на старый лад.

4) В статье своей «Авдотья Федоровна Лопухина» («Русский вестник») Семевский представляет документы (переписка Досифея с Евдокией), из которых ясно [2] видно, что надеялись на смерть

---

[1] *Далее было начато:* Тут

[2] *Рядом с текстом:* стало быть ∾ из которых ясно — *вдоль полей и вверху страницы примечания:* NB Для чего Семевский с такою любовью считает удары кнутьев? ⟨45—46⟩ Для чего с такою любовью помещает рассказы, которые сам считает не совсем верными, н⟨а⟩пример «*Леди Рондо*», [Для че⟨го⟩] или Плеера о Кикине ⟨46—49⟩ (о котором, впрочем, сам же рассказывает иначе в статье «Авдотья Федоровна Лопухина». NB В выноске на странице 49 приведено замечательное мнение поэта А. С. Х⟨омякова⟩ о царевиче (из частного письма Семевскому).

Петра, на воцарение Алексея, на *уничтожение реформы* и даже искали случай для заговора (разговоры царевича с *теткой* [1] Марьей Алексеевной).

5) Показания Евфросиньи.

«Письма писал царевич по собственному желанию по-русски из неаполитанской крепости; также сам писал жалобы на отца к Цесарю; *ждал случая, когда можно с радостью возвратиться в Россию и говорил то, получая из ведомостей ложные известия о разных волнениях в русских войсках*. Наследство желал прилежно, надежду имел на поддержку сената; *старых перевести хотел всех, по воцарении*, а *завести новых; Петербург хотел бросить*, а поселиться в Москве, кораблей *не строить*, войны не вести, *лето проводить в Ярославле*, довольствоваться владениями старыми. На случай воцарения своей мачехи говорил, что будет бабье царство» ⟨38⟩.

Показание это писала Евфросинья *собственноручно*. Между тем Семевский говорит, что они писаны из угрозы и нельзя принимать их на веру ⟨37—38⟩. Почему же? Почему же? Из того, что мы знаем о характере Алексея, видно, что это действительно его мысли. Почему всё, что говорится против Алексея, — даже самое вероятное — ложно, а все против Петра — справедливо?

6) Семевский приводит как пример бесчеловечия Петра, что, [2] в день заключения сына в Преображенском, он издал указ о нерубке дубов, и потом, в день пыток, — *о монстрах* ⟨36—37⟩. Это, может быть, идет к величию Петра.

«На троне вечный был работник».

Без него никто ничего не делал, следовательно, ему надо было делать. Это был железный человек, жестокий — положим.

Но ведь этот родной сын шел против него. Петр [3] как гений видел одну цель — реформу и новый порядок. Ему беспрерывно были преграды, его раздражали преградами...

7) Семевский говорит, что не было ни одного факта, говорящего о том, чтобы царевич хотел вооруженною рукою похитить корону у отца ⟨23—24, 65⟩.

Положим так. Но сношения с матерью, Досифей, Глебов, видения, предсказания, бегство к Цесарю, надежды на будущее и на Цесаря показывают, что если б только была [4] хоть малейшая возможность, он восстал бы на отца. *Но не в том дело,* а вот в чем *главное:* не за бунт вооруженный казнил Петр Алексея, а за то, что ужасался передать свое царство ему и погубить все свое дело. Реформа была Петру дороже сына, и он казнил его. В том, что Алексей погубит ее, он не ошибался. Никто не вливает вина молодого в мехи старые. (NB Оригинально, что Семевский вос-

---

[1] *Было:* сестрой
[2] *Далее было начато:* по з⟨аключении?⟩
[3] *Было:* Он
[4] *В рукописи:* было

стает с ненавистью на разврат и грубость двора Петрова ⟨6—7⟩ (N3₂ похожего на все дворы тогдашние). Но ничего не говорит о разврате и слепой ханжеской гадости *двора* Авдотьи Федоровны. Досифей, Глебов; всему этому сочувствовал Алексей и, кажется, Семевский).

8) Бассевич говорит, что Екатерина ходатайствовала за царевича [1] ⟨40⟩.

9) Семевский говорит: г-н Устрялов думает, что царевич умер от пыток, спустя *десять* часов после третьей виски (ссылается на записку, виденную кем-то в государств⟨енном⟩ архиве).

Семевский говорит: Устрялов может верить этому лицу, а почему же мы *должны* следовать его примеру? ⟨49—50⟩.

Дело в том, что Семевскому *очень хочется* бросить еще тень на Петра, что он велел задушить сына. Он смотрит на Петра как на личного своего врага. Это уже возмутительно; так нельзя писать историку.

Ответ же Семевскому вот какой: сам Семевский *собственноручно* писал, что царевич был измучен пытками до того, что на 2-й *виске* бредил, а после третьей *едва ли мог* и говорить ⟨39—40⟩. Очень возможно, что после такой пытки и умер, 10 часов спустя, [2] от истощения сил. Вот почему и верить можно.

10) На странице 39 Семевский подробно, ясно и отчетливо говорит о всех *трех висках* царевича, о том, как он бредил, помешался, не мог говорить и проч. (говорит как очевидец), а на странице 57 он сам говорит: «Положим, все обстоятельства *этого вопроса* (о письме Румянцева) мелочны: не все ли равно, засечен ли Алексей кнутом на 3-й виске, о которой, *заметьте,* есть только *изустное известие какого-то таинственного лица;* итак, под кнутом ли умер царевич, или под подушками — по-видимому, для потомства всё равно, но историк должен ли упускать эти *мелочи*?

Это говорит Семевский про Устрялова. А мы скажем про Семевского: историк может ли так сознательно себе противуречить?

---

[1] *Далее на следующей странице заголовок:* О царевиче Алексее (Семевский)

[2] *Вместо:* 10 часов спустя — *было:* после 10 часов

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Коллективное

ВСТУПЛЕНИЕ ⟨К АЛЬМАНАХУ «1 АПРЕЛЯ»⟩

Первое апреля!?. — «Тьфу ты пропасть, что за дьявольщина?» — воскликнут гуляющие по Невскому, увидев с изумлением объявление о нашей книжке.—«Гм!.. Первое апреля! уж, верно, что-нибудь да уж не спроста...» — «Пустячки, побасенки, так себе, — ничего, вздорец», — скажут те господа, которые читают одни только интересные страницы французских романов и занимательные объявления о дрожках, лошадях и собаках. «Первое апреля?.. чего не задирают эти сочинители, чего не затрогивают... Месяца даже не оставили в покое, э! хе-хе...» — вымолвит *иной,* душевно радуясь, что по крайней мере на этот раз дело не касается его чести и амбиции. — «Ручаюсь, что тут обман, непременно обман — посмотрите, ведь само заглавие свидетельствует, que c'est tout bonnement un poisson d'avril».[1] «Надувательная системка в ходу-с...», — примолвит шутник, желая посмешить остановившегося тут же начальника своего. Словом, толкам и пересудам не будет конца.

Уверяю вас, однако, почтеннейшие господа, что все вы крепко ошиблись, ошибаетесь и будете ошибаться, если таким образом станете отзываться о представляемой на суд ваш книжице.

Конечно, спора нет, само ее заглавие невольно как-то наводит на разные дурные, неблагоприятные толки и клеветы; сами мы не раз об этом думали, да делать было нечего, такие обстоятельства встретились, что нельзя было дать другого имени.

Но вникните-ка хорошенько, почтеннейшие господа, в сущность дела; ну какое может тут быть надуванье? оно так, всё так, мы сами соглашаемся, что с первым апреля тотчас вкрадывается в душу недоверчивость, но ведь тут совсем другое: вы входите в лавку, отдаете деньги и получаете — книгу; да, ни более ни менее, как книгу, приятное и полезное, так сказать, развлечение

[1] что это попросту первоапрельская шутка *(франц.)*.

для ума и сердца. — Какое же тут надуванье? Чистосердечно вас спрашиваем, какой тут обман? — Нет, м⟨илостивые⟩ г⟨осудари⟩, нет... Да положим даже, если бы и действительно оно было так, если б и в самом деле мы решились бы выкинуть вам какую-нибудь штуку, да знаете, м⟨илостивые⟩ г⟨осудари⟩, что и тогда не имели бы вы решительно никакого права обвинять нас. — Разве вы ни во что ставите дедовские обычаи? Разве вы позабыли их? Разве вам не ведомо, м⟨илостивые⟩ г⟨осудари⟩, что у честных людей искони еще ведется обыкновение обманывать и надувать друг друга в первое апреля? — Уж, знать, такой месяц надувательный в году пришелся, и пенять не на кого.

Кроме этого, сами видите вы, что вся просвещенная Европа пользуется таким обыкновением и почему же нам не следовать ее примеру? Впрочем, кажется, и за нами дело не стало; посмотрите-ка в 1-е апреля...

— Чем волнуется душа всех и каждого?.. а?.. чем она волнуется?.. Обманом, одним только обманом, а в Петербурге-то, в Петербурге — просто любо смотреть...

Взгляните, например, на Семена Ивановича, посмотрите-ка, с какою самодовольною улыбкою пробирается он к другу своему Петру Петровичу, живущему на Петербургской стороне. Вот скрипнула дверь в комнате Петра Петровича — входит Семен Иванович и весь впопыхах бросается к нему на шею. Жена, теща, дети Петра Петровича стоят на пороге, недоумевая о причине восторга Семена Ивановича.

— Друг, дружище, — говорит он наконец. — Поздравляю, от чистого сердца поздравляю, я думаю, ты, брат, и не ожидал такого благополучия?

— Что, что такое? — робко и едва внятно произносит изумленный Петр Петрович.

— Как! да ты разве не знаешь? — продолжает его приятель, — ведь его превосходительство назначил тебе награждение, да еще приказал написать благодарность...

— Что ты...

— Ей-богу, провались я сквозь землю, если это не правда...

— Петр Петрович, его жена, дети бросаются друг к другу в объятия; раздается крик, визг, писк. На это Семен Иванович, подпершись в бока, отвечает сначала неистовым хохотом, а потом словами:

— Полноте, полноте! ведь я вас надул, разве не знаете, что сегодня первое апреля?..

Полюбуйтесь, например, хоть вот этим юношею, который только что получил по городской почте раздушенную записку от хорошенькой аристократки, назначающей ему свидание, и доступ к которой считал он прежде несбыточною мечтою. Он будоражит весь свой гардероб, несется к лучшему парикмахеру, душится, завивается, прихорашивается, летит наконец к назначенному месту, позабывая, что всё это случается первого апреля, и никак

не соображая, что раздушенная записка не что иное, как изделие приятелей, сговорившихся лихо надуть его.

А посмотрите-ка, что делается на Песках и в Коломне.

Там Ивану Кузьмичу, владетелю порядочного дома с мезонинчиком, вдруг послышались крики: «Пожар! пожар!» Он в ужасе вскакивает с места, в чем был, то есть в одной сорочке, выбегает на двор, невзирая на то, что окна облеплены жильцами, бегает и суетится вокруг своего жилища. Волнение и беспокойство Ивана Кузьмича продолжаются до тех пор, пока главный жилец, какой-нибудь шутник, не прокричит ему: «Иван Кузьмич! ведь сегодня первое апреля!»

А на улицах просто уже комедии выходят — рассказать почти невозможно. Обратите внимание на этого господина горделивой осанки, который вдруг остановился, изменился весь в лице, кинулся, наконец, на середину переулка, несмотря на грязь и лужи, нагнулся и поднял тщательно завернутый и запечатанный пакет. Он долго рассматривает его, переворачивает то на одну, то на другую сторону, сердце его сильно бьется. «Клад, клад», — думает он и дрожащими руками принимается развертывать пакет. Господин не успел вскрикнуть, не успел с каким-то особенным остервенением отбросить найденное, как вдруг форточка напротив отворилась, выглянуло смазливое личико и пискливый голос кричит уже ему: «Первое апреля!»

Не станем распространяться более о всех возможных способах надуванья, употребляемых первого апреля, скажем только, что обычай этот находит всегда много-премного поклонников, таких даже, которые не довольствуются одним днем, а продолжают следовать ему во все остальные дни и месяцы года.

Просим вас, однако, любезнейший читатель, не думать, что всё сказанное нами сколько-нибудь касается нашей книги; нет! оно так только к слову пришлось. Мы не интриганты и, смеем уверить, гордимся этим. Скажем более, труд наш добросовестен, до того добросовестен, что мы решились даже посвятить несколько страниц одним пуфам, разным лживым анекдотам и совершенно невероятным историям с тою только целию, чтобы заглавие книги «Первое апреля» имело какое-нибудь значение, смысл; хоть сколько-нибудь бы относилось к содержанию и не показалось бы публике одною пустою обманчивою вывескою, выставленною так только, для приманки. Если же благосклонному читателю некоторые страницы, те или другие, придутся не по вкусу, то да простит он нас великодушно или — что еще лучше — пусть вырвет их вовсе вон из книги. Бог с ними, мимо их! Пусть предаст их даже пламени, закурит ими трубку, обернет что-нибудь, словом, распорядится этою дрянью по благоусмотрению. Мы заранее на всё соглашаемся и утешаемся тем только, что ведь «един бог без греха».

ПЕТЕРБУРГСКАЯ ЛЕТОПИСЬ

⟨13 апреля 1847 г.⟩

Говорят, что в Петербурге весна. Полно, правда ли? Впрочем, оно, может быть, и так. Действительно, все признаки весны. Полгорода больна гриппом, у другой — по крайней мере насморк. Такие дары природы вполне убеждают нас в ее возрождении. Итак, весна! Классическая пора любви! Но пора любви и пора стихов приходят не одновременно, говорит поэт, то и слава богу. Прощайте, стихи; прощай, проза; прощайте, толстые журналы, с направлением и без направления; прощайте, газеты, *взгляды, нечто,* прощай и прости нас, литература! Прости нас, в чем мы пред тобой согрешили, как мы прощаем твои согрешения!

Но каким образом заговорили мы о литературе прежде другого чего! Я не отвечаю вам, господа. Тяжелое прежде всего; самое тяжелое с плеч. Кое-как дотащили книжный сезон — и правы! Хотя и говорят, что это очень натуральная ноша. Мы скоро, может быть через месяц, свяжем наши журналы и книги в одну кипу и развернем ее не прежде, как в сентябре. Вот, должно быть, будет чего почитать, наперекор пословицы: хорошего понемножку. Закроются скоро салоны, уничтожатся *вечера;* дни сделаются длиннее, и мы уже не будем так мило зевать в душных оградах, возле щегольских каминов, слушая повесть, которую вам тут же прочтут или расскажут, воспользовавшись вашей невинностью; не будем слушать графа де Сюзора, который поехал в Москву смягчать нравы славянофилов; и за ним, вероятно с тою же целью, отправляется Гверра. Да! мы многого лишимся вместе с зимою, многого не будем иметь, многого не будем делать; мы собираемся на лето ничего не делать. Мы устали; нам пора отдохнуть. Недаром говорят, что Петербург такой европейский, такой деловой город. Он так много сделал; дайте же ему успокоиться, дайте же ему отдохнуть на его дачах, в его лесах; ему нужен лес, по крайней мере на лето. Это только в Москве *«отдыхают перед делом».* Петербург отдыхает после дела. Каждое лето он, гуляя, собирается с мыслями; может быть, он и теперь уже надумывается, что бы ему сделать на будущую зиму. Он очень похож в этом отношении на одного литератора, который сам, правда, ничего не написал, но у которого брат всю жизнь собирался писать роман. Однако, собираясь в новый путь, нужно оглянуться на старое, на пройденное, и по крайней мере проститься с чем-нибудь; по крайней мере взглянуть еще раз на то, что мы сделали, что нам особенно мило. Посмотрим, что вам особенно мило, вам, благосклонный читатель? Я говорю «благосклонный», потому что на вашем месте давно бы бросил читать фельетон вообще и этот в особенности. И потому еще бросил бы, что мне самому, да кажется и вам тоже, ничего не мило в прошедшем. Мы все как будто работники, которые несут на себе какую-то ношу, добровольно взваленную на плеча,

и рады-рады, что европейски и с надлежащим приличием донесут ее хоть до летнего сезона. Каких-каких занятий не задаем мы себе так, из подражания! Я, например, знал одного господина, который никак не мог решиться надеть галош, какая бы ни была грязь на улице, равно как и шубу, какой бы ни был мороз: у этого господина было пальто, которое так хорошо обрисовывало его талию, давало ему такой парижский вид, что никак нельзя было решиться надеть шубу, равно как и уродовать панталоны галошами. Правда, у этого господина весь европеизм состоял в хорошо сшитом платье, он оттого и Европу любил за просвещение; но он пал жертвою своего европеизма, завещав похоронить себя в лучших своих панталонах. Когда на улицах начали продавать печеных жаворонков, его похоронили.

У нас, например, была превосходная Итальянская опера, на следующий год будет нельзя сказать лучше, а богаче. Но, не знаю отчего, — мне всё кажется, что мы держим Итальянскую оперу для тону, как будто по обязанности. Если мы не зевали (мне кажется даже, что немножко зевали), то по крайней мере вели себя так благовоспитанно и чинно, так умно не выказывались, так не навязывали своего восторга другим, что право, как будто скучали и чем-то очень тяготились. Далеко от меня мысль порицать наше уменье жить в свете; опера принесла в этом отношении публике большую пользу, естественно рассортировав меломанов на энтузиастов и просто любителей музыки; одни убрались вверх, отчего там сделалось так жарко, как будто в Италии; другие сидели в креслах и, поняв свое значение, значение образованной публики, значение тысячеглавой гидры, имеющей свой вес, свой характер, свой приговор, ничему не удивлялись, зная уже заранее, что это главная добродетель благовоспитанного, светского человека. Что до нас касается, мы совершенно разделяем мнение последней части публики; мы должны любить искусство тихо, не увлекаясь и не забывая обязанностей. Мы — народ деловой; нам иногда в театр и некогда. Нам еще так много предстоит сделать. И потому мне очень досадны те господа, которые думают, что они в свой черед *должны* выходить из себя; что на них как будто возложена какая-то особенная обязанность уравновесить мнение публики своим энтузиазмом *по принципу*. Как бы то ни было, и как сладко ни выпевали наши Борси, Гуаско и Сальви свои рондо, каватины и прочее; но мы оперу дотащили, как дрова; устали, потратились и если бросали под конец сезона букеты, то будто благодаря, что опера подходит к концу. Потом был Эрнст... Насилу на третий концерт съехался Петербург. Сегодня мы с ним прощаемся, будут ли букеты — не знаем!

Но будто одна опера была у нас удовольствием; у нас было более. Хорошие балы. Были маскарады. Но дивный артист рассказал нам недавно на скрыпке, что такое южный маскарад, и я, удовольствовавшись этим рассказом, и не ездил в наши много-

чинные северные маскерадные балы. Цирки удались. Слышно, что и на будущий год удадутся. Замечали ли вы, господа, как веселится простой народ наш на своих праздниках? Положим, дело в Летнем саду. Сплошная, огромная толпа движется чинно и мерно; все в новых платьях. Изредка жены лавочников и девушки позволяют себе пощелкать орешков. В стороне гремит уединенная музыка, и главный характер всего: все чего-то ждут, у всех на лице весьма наивный вопрос: что же далее? Только? Разве разгуляется где-нибудь пьяный сапожник-немец; но и то ненадолго. И как будто досадно этой толпе на новые нравы, на столичные забавы свои. Ей мерещится трепак, балалайка; нараспашку сибирка; вино через край и не в меру; одним словом, всё, в чем бы можно было развернуться, распоясаться по-родному, по-своему. Но мешает приличие, несвоевременность, и толпа чинно расходится по домам; не без того разумеется, чтобы не завернуть в «заведение».

Мне кажется, есть что-то похожее тут на нас, господа. Мы, конечно, не выкажем наивно нашего удивления, мы не спросим: только-то? мы не потребуем чего-нибудь больше; мы очень хорошо знаем, что мы за наши 15 р⟨ублей⟩ получили европейское наслаждение; и с нас довольно. И к тому же к нам ездят такие патентованные знаменитости, что роптать мы не можем. Мы же научились ничему не удивляться. Если уж не Рубини, так нам певец нипочем; не Шекспир писатель, так на что ж время терять, читать его? Пусть Италия образует артистов, Париж пускает их в ход. Есть ли нам время голубить, образовывать, ободрять и пускать в ход новый талант; певца, например? Уж оттуда присылают их совсем готовыми, со славою. Как часто случается, что писатель не понят и отвергнут у нас одним поколением; через десятилетия, через два, три последующие поколения, признают его, и добросовестнейшие из стариков только качают головами. Мы уж знаем наш норов; мы часто недовольны собою; часто сердиты на себя самих и на взваленные на нас Европой обязанности. Мы скептики; нам очень хочется быть скептиками. И ворчливо и дико сторонимся от энтузиазма, бережем от него свою скептическую, славянскую душу. Оно бы иной раз и порадовался, да ну как не тому, чему нужно; ну как промахнешься; что тогда скажут об нас? Недаром мы так полюбили приличия.

Впрочем, оставим всё это; лучше пожелаем себе хорошего лета; мы бы так погуляли, так отдохнули. Куда мы поедем, господа? В Ревель, в Гельсингфорс, на юг, за границу или просто на дачи? Что мы будем там делать? Удить рыбу, танцевать (летние балы так хороши!), немного скучать, не покидать служебных занятий в городе и вообще соединять полезное с приятным. Ежели вам захочется читать, возьмите два тома «Современника» за март и апрель; там есть, как вам известно, роман «Обыкновенная история», прочтите, если вы не успели прочитать его в городе. Роман хорош. В молодом авторе есть наблюдательность, много ума;

идея кажется нам немного запоздалою, книжною; но проведена ловко. Впрочем, особенное желание автора сохранить свою идею и растолковать ее как можно подробнее придало роману какой-то особенный догматизм и сухость, даже растянуло его. Этого недостатка не выкупает и легкий, почти летучий слог г-на Гончарова. Автор верит действительности, изображает людей как они есть. Петербургские женщины вышли очень удачны.

Роман г-на Гончарова весьма интересен; но отчет Общества посещения бедных еще интереснее. Мы особенно порадовались этому призыву к целой массе публики; мы рады всякому соединению, особенно соединению на доброе дело. В этом отчете много интересных фактов. Самым интереснейшим фактом была для нас необыкновенная бедность кассы общества; но терять надежду не надобно: благородных людей много. Укажем на того денщика, который прислал 20 р⟨ублей⟩ серебром; по его достатку, это, вероятно, сумма огромная. Что, если бы все прислали пропорционально? Распоряжения Общества при раздаче вспоможений превосходны и показывают необязанную филантропию, глубоко понявшую свое назначение. Кстати, об обязанной филантропии. На днях мы проходили мимо книжного магазина и видели за стеклом последнюю «Ералаш». Там очень верно и популярно изображен филантроп по обязанности, тот самый, который:

Старого Гаврило
За измятое жабо
Хлещет в ус да в рыло,

на улице же вдруг проникается искренним состраданием к ближнему. Об остальных не скажем ни слова, хотя тут много меткого, современного. Не хочет ли г-н Невахович, мы расскажем ему, по поводу филантропии, анекдот.

Один помещик с большим жаром рассказывал, как он чувствует любовь к человечеству и как он проникнут потребностью века.

— Вот, сударь мой, у меня дворня разделена на три разряда, — рассказывал он, — слуги старые, почтенные, служившие отцу и деду моему беспорочно и верно, составляют первый разряд. Они живут в светлых комнатах, чистых, с удобствами, и едят с барского стола. Другой разряд — слуги не почтенные, не заслуженные, но так себе, хорошие люди; их я держу в общей светлой комнате, и по праздникам им пекут пироги. Третий разряд — мерзавцы, мошенники и всякие воры; им не даю пирогов и *учу* по субботам нравственности. Собакам и житье собачье! Это мошенники!

— А много ли у вас в первых разрядах? — спросили помещика.

— Да по правде сказать... — отвечал он с небольшим замешательством... — еще ни одного... народ разбойник и вор... всё такой, что не стоит совсем филантропии.

ОТ РЕДАКЦИИ

Первый номер нашего журнала явился перед публикой. Мы не могли еще в нем разъяснить вполне основную мысль нашу. Осветить все ее стороны, оправдать в обществе ее потребность и жизненность можно только целым годом или даже годами издания журнала. Мы веруем только в одно — что наша мысль отзывается на потребности общества. Да и не мы первые провозгласили ее. Она давно уже вырывалась наружу и искала заявить себя: и в горячем слове, и в надеждах на будущее, и в охлаждении к обеим старинным партиям, еще так недавно разделявшим всю мыслящую часть нашего общества. Но общество поняло, что с западничеством мы упрямо натягивали на себя чужой кафтан, несмотря на то, что он уже давно трещал по всем швам, а с славянофильством разделяли поэтическую грезу воссоздать Россию по идеальному взгляду на древний быт, взгляду, составившему вместо настоящего понятия о России какую-то балетную декорацию, красивую, но несправедливую и отвлеченную. И хотя в славянофилах было много любви к родине, но чутье русского духа они потеряли. Они также ошиблись, как ошибаются те господа, большею частию чистые и наивные сердцем, которые, надев на себя древний кафтан, бархатную поддевку и шелковую рубашку с золотыми галунами, воображают, что они соединились с народным началом. Общество смотрит на них с недоумением, а народ равнодушно. Но теперь мы хотим жить и действовать, а не фантазировать. Общество ищет деятельности и всеми силами своими стремится угадать и определить ее.

Мы особенно будем обращать внимание в нашем журнале на все современные явления, которыми хоть сколько-нибудь можем оправдать и доказать нашу мысль. Кроме того, мы усиленно будем следить за движением всех современных идей. С будущих номеров нашего журнала мы надеемся открыть в нем отдел для разбора и беспристрастной оценки, по возможности, всех тех ходячих идей, современных предположений и вопросов, которые появятся в других русских журналах.

«Ряд статей о русской литературе» (в первой книге мы напечатали лишь введение) будет следовать, по возможности, непрерывно. Со второго же номера мы обратимся к одному из самых современных вопросов нашей литературы, вопросу о *значении искусства и о настоящем отношении его к действительной жизни*. Это самый горячий из современных литературных вопросов, который настоятельно требует разрешения. Вообще наш журнал употребит все усилия, чтоб не быть отвлеченным, и, повторяем, будет преимущественно заниматься тем, что относится к самым современным явлениям жизни. Он не отказывается от споров, от возражений. Кроме того, он сторонник гласности и понимает скандал только

в умышленном намерении оскорбить личность, в заносчивости авторитетов, в бесстыдной лжи перед публикой, в обличении не для пользы общества, а единственно для личного оскорбления обличаемого. Такие действия, если они будут совершаться в литературе, мы будем сами обличать всеми нашими силами.

Особенное внимание обратим мы на отделы Внутренних новостей и Политического обозрения. Последний отдел особенно для нас важен.

ПРИЛОЖЕНИЕ II

1. ОБЪЯСНЕНИЯ И ПОКАЗАНИЯ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО ПО ДЕЛУ ПЕТРАШЕВЦЕВ

⟨ОБЪЯСНЕНИЕ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО⟩ [1]

От меня требуют, чтоб я передал всё, что знаю о Петрашевском и о тех людях, которые у него бывали по пятницам, то есть [2] показания фактов и личного мнения моего об этих фактах. Соображаясь с первым допросом моим, я заключаю, что от меня требуют отчетливого ответа на следующие пункты:

1) О том, каков характер Петрашевского как человека вообще и как политического человека в особенности?

2) Что бывало на тех вечерах у Петрашевского, на которых я присутствовал, и мое мнение о тех вечерах?

3) Не было ли какой тайной, скрытой цели в обществе Петрашевского? Вредный ли человек сам Петрашевский и до какой степени он вреден для общества?

Я никогда не был в очень коротких отношениях с Петрашевским, хотя и езжал к нему по пятницам, а он, в свою очередь, отдавал мне визиты. [3] Это одно из таких знакомств моих, которым я не дорожил слишком много, не имея сходства ни в характере, ни во многих понятиях с Петрашевским. И потому я поддерживал знакомство [4] с ним ровно настолько, насколько того требовала учтивость, то есть [5] посещал его из месяца в месяц, а иногда и реже. Оставить же его совсем я не имел никакой причины. Да к тому же мне бывало иногда любопытно ходить на его пятницы. [6]

---

[1] *Перед текстом помета Достоевского:* Лист 1.

[2] *Далее было:* требуют

[3] *Было:* мои визиты

[4] *Было:* это знакомство

[5] *Далее было:* ⟨*неск. нрзб.*⟩

[6] *Вместо:* Да к тому же ∾ пятницы. — *было:* Да к тому же мне было иногда любопытно бывать на его пятницах,

Меня всегда поражало много эксцентричности и странности в характере Петрашевского. Даже знакомство наше началось тем, что он с первого разу поразил мое любопытство своими странностями. Но езжал я к нему нечасто. Случалось, что я не бывал у него иногда более полугода. В последнюю же зиму, начиная с сентября месяца, я был у него не более восьми раз. Мы никогда не были коротки друг с другом, я думаю, что во всё время нашего знакомства мы никогда не оставались вместе, одни, глаз на глаз, более получаса. Я даже заметил положительно, что он, заезжая ко мне, как будто исполняет долг учтивости; но что, например, вести со мной долгой разговор ему тягостно.[1] Да и со мной было то же самое; потому что, повторяю, у нас мало было пунктов соединения и в идеях и в характерах. Мы оба опасались [2] долго заговариваться друг с другом; потому что с десятого слова мы бы заспорили, а это нам обоим надоело. Мне кажется, что взаимные впечатления наши друг о друге одинаковы. По крайней мере, я знаю, что я очень часто езжал к нему по пятницам не столько для него и для самих пятниц, сколько для того, чтоб встретить некоторых людей, с которыми я хотя и был знаком, но виделся чрезвычайно редко и которые мне нравились. Впрочем, я всегда уважал Петрашевского как человека честного [3] и благородного.

Об эксцентричностях и странностях его говорят очень многие, почти все, кто знают или слышали о Петрашевском, и даже по ним делают свое о нем заключение. Я слышал несколько раз мнение, что у Петрашевского больше ума, чем благоразумия. Действительно, очень трудно было бы объяснить многие из его странностей.[4] Нередко при встрече с ним на улице спросишь: куда он и зачем? — и он ответит какую-нибудь такую странность, расскажет такой странный план, который он только что шел исполнить, что не знаешь, что подумать о плане и о самом Петрашевском. Из-за такого дела, которое нуля не стоит, он иногда хлопочет так, как будто дело идет обо всем его имении. Другой раз спешит куда-нибудь на полчаса кончить маленькое дельце, а кончить это маленькое дельце можно разве только в два года. Человек он вечно суетящийся и движущийся, вечно чем-нибудь занят. Читает много; уважает систему Фурье и изучил ее в подробности. Кроме того, особенно занимается законоведением. Вот всё, что я знаю о нем как о частном лице, по данным весьма неполным для совершенно точного определения характера,[5] потому что, повторяю еще раз, в слишком коротких сношениях с ним я никогда не находился.

---

[1] *Далее было начато:* И я и он, мы
[2] *Было:* кажется, опасались
[3] *Далее было:* ⟨*неск. нрзб.*⟩
[4] *Далее было:* ⟨*неск. нрзб.*⟩
[5] Для совершенно ∾ характера *вписано.*

Трудно сказать, чтоб Петрашевский (наблюдаемый как политический человек) имел какую-нибудь свою определенную систему в суждении, какой-нибудь определенный взгляд на политические события. Я заметил в нем последовательность только одной системе; да и та не его, а Фурье. Мне кажется, что именно Фурье и мешает ему смотреть самобытным взглядом на вещи. Впрочем, могу утвердительно сказать, что Петрашевский слишком далек от идеи возможности немедленного применения системы Фурье к нашему общественному быту. В этом я всегда был уверен.

Общество, которое у него собиралось по пятницам, почти всё состояло из его коротких приятелей или давних знакомых; так, по крайней мере, я думаю.[1] Впрочем, являлись и новые лица, но, сколько я мог заметить, довольно редко.[2] Из этих людей я знаю хорошо только очень малую часть. Других знаю только [3] потому, что раза три-четыре [4] в год случалось говорить с ними, и, наконец, многих из гостей Петрашевского почти совсем не знаю, хотя схожусь с ними по пятницам уже год или два.[5] Но хотя я и не знаю хорошо всех лиц, однако же прислушался к иным [6] мнениям. Все эти мнения большею частию — разноголосица, и одно противуречит другому. Я не встретил никакого единства в обществе Петрашевского, никакого направлен⟨ия⟩, никакой общей цели. Положительно можно сказать, нельзя найти [7] трех человек, согласных в каком-нибудь пункте, на любую заданную тему. Оттого вечные споры друг с другом; вечные противуречия и несогласия в мнениях. В некоторых [8] из этих споров брал участие и я.

Но прежде чем я скажу, по какой причине я участвовал в этих спорах [9] и на какую именно тему я говорил, я скажу несколько слов об том, в чем меня обвиняют. В сущности, я еще не знаю доселе, в чем обвиняют меня. Мне объявили только, что я брал участие в общих разговорах у Петрашевского, говорил *вольнодумно* и что, наконец, прочел вслух литературную статью: «Переписку [10] Белинского с Гоголем». Скажу от чистого сердца, что [11] до сих пор для меня было всего на свете труднее — определить

---

[1] *Вместо:* Общество ∾ я думаю. — *было:* Общество, которое собиралось у Петрашевского, почти всё состоит из его коротких друзей и знакомых; так, по крайней мере, мне казалось.

[2] Впрочем, являлись ∾ редко. *вписано.*

[3] знаю только *вписано.*

[4] *Было:* два-три

[5] *Вместо:* случалось ∾ или два. — *было:* поговорю с ними, и, наконец, большую часть почти совсем не знаю, хотя схожусь с ними у Петрашевского уже год или два.

[6] *Было: а.* ко всем; *б.* к многим ⟨?⟩

[7] *Далее было:* ⟨*неск. нрзб.*⟩

[8] *Было:* В многих

[9] *Вместо:* Но прежде ∾ спорах.— *было:* Но прежде чем я скажу об том, почему я участвовал в некоторых общих спорах у Петрашевского

[10] *Было:* «Переписка

[11] *Далее было начато:* самое трудное определение

слово:[1] *вольнодумец, либерал.* Что разуметь под этим словом? Человека, который говорит противузаконно? Но я видал таких людей, для которых признаться в том, что у них болит голова, — значит поступить противузаконно, и знаю, что есть и такие, которые готовы [2] говорить на каждом перекрестке всё, что только в состоянии перемолоть их язык.[3] Кто видел в моей душе? [4] Кто определил ту степень вероломства, вреда и бунта, в котором меня обвиняют? По какому масштабу сделано это определение? [5] Может быть, судят по нескольким словам, сказанным мною у Петрашевского.[6] Я говорил три раза: два раза я говорил о *литературе* и один раз о предмете вовсе неполитическом: *об личности* и *об человеческом эгоизме.* Не припомню, чтоб было что-нибудь политического и вольнодумного в словах моих. Не припомню, чтоб я когда-нибудь высказался *весь, каков я на самом деле,* у Петрашевского. Но я знаю себя, и если основывают обвинение [7] на нескольких словах, схваченных налету и записанных на клочке бумаги, то я не боюсь даже [8] и такого обвинения, хотя оно самое опасное; ибо ничего нет губительнее, сбивчивее и несправедливее [9] нескольких слов, вырванных бог знает откудова, относящихся бог знает к чему, подслушанных наскоро, понятых наскоро, а всего чаще вовсе [10] непонятых, записанных наскоро. Но повторяю, я знаю себя и не боюсь даже и такого обвинения.

Да, если *желать лучшего* есть либерализм, *вольнодумство,* то в этом смысле, может быть, я вольнодумец. Я вольнодумец в том же смысле, в котором может быть назван вольнодумцем и[11] каждый человек, который в глубине сердца своего чувствует себя вправе быть гражданином, чувствует себя вправе желать добра своему отечеству, потому что находит в сердце своем и любовь к отечеству, [12] и сознание, что никогда ничем не повредил ему. Но это *желание лучшего* [13] было в возможном или в невозможном? Пусть уличат меня, что я желал перемен и переворотов насильственно, революционерно, возбуждая желчь и ненависть! Но я не боюсь улики; ибо никакой донос в свете не отнимет от меня и не прибавит мне ничего; никакой донос не заставит меня быть другим, чем я на самом деле. В том ли проявилось мое вольнодумство, что я

---

[1] *Было:* слова
[2] *Было начато:* готовят
[3] *Далее было:* ⟨*неск. нрзб.*⟩
[4] *Было:* Кто ⟨*нрзб.*⟩ в мою душу?
[5] По какому ∾ определение? *вписано.*
[6] *Вместо:* Может быть ∾ у Петрашевского. — *было начато: а.* Если судят по нескольким словам, которы⟨е⟩ *б.* Если судят но нескольким словам, сказанным мною у Петрашевского, — то судят ⟨*неск. нрзб.*⟩
[7] *Было начато: а.* обвинении на ме⟨ня⟩ *б.* обвинение меня
[8] даже *вписано.*
[9] *Вместо:* губительнее, сбивчивее и несправедливее — *было:* опаснее
[10] вовсе *вписано.*
[11] *Вместо:* может быть назван вольнодумцем и — *было:* вольнодумец
[12] *Было:* отчизне
[13] *Далее помета Достоевского:* Лист 2

говорил вслух о таких предметах, о которых другие считают долгом молчать, не потому, чтобы опасались сказать что-нибудь против правительства (этого и в мысли не может быть!), но потому, что, по их мнению, предмет такой, о котором уже принято не говорить громко? В этом ли? Но меня всегда даже оскорбляла эта боязнь слова, скорее способная быть [1] обидой правительству, чем быть ему приятною. И в самом деле: зачем правому человеку опасаться за себя и за свое слово? Это значит полагать, что законы недостаточно ограждают личность и что можно погибнуть из-за пустого слова, из-за неосторожной фразы. Но зачем же мы сами так настроили всех, что на громкое, откровенное слово, сколько-нибудь похожее на мнение, высказанное прямо без утайки, уже смотрят как на эксцентричность! Мое мнение, что если бы мы все были откровеннее с правительством, то было бы гораздо лучше для нас самих. Мне всегда было грустно видеть, что мы все как будто инстинктивно боимся чего-то; что сойдемся ли мы, например, толпой в публичном месте, — мы смотрим друг на друга недоверчиво, исподлобья, косимся по сторонам, подозреваем кого-то. Заговорит ли кто-нибудь, наприм⟨ер⟩, о политике, то заговорит непременно шепотом и с самым таинственным видом, хотя бы республика была так же далека от его идей, как и Франция. Скажут: «Оно и лучше, что у нас не кричат на перекрестках». Без сомнения, никто и слова не скажет против этого; но излишнее умолчание, излишний страх наводят какой-то мрачный колорит на нашу обыденную жизнь, который кажет всё в безрадостном, неприветливом свете, и, что всего обиднее, колорит этот ложный; ибо весь этот страх беспредметен,[2] напрасен (я верю в то), все эти опасения больше ничего как наша выдумка, и мы сами только напрасно беспокоим правительство своею таинственностию и недоверчивостию. Ибо из этого натянутого положения часто выходит много шуму из пустяков. Самое обыкновенное слово, сказанное громко, получает гораздо более весу, а самый факт по своей эксцентричности принимает размеры иногда [3] колоссальные и, наверно, припишется посторонним (необыкновенным), а не настоящим (обыкновенным) причинам. Я всегда был уверен, что сознательное убеждение лучше, крепче бессознательного,[4] неустойчивого, колеблющегося, способного пошатнуться от первого ветра, который подует. А сознания не высидишь и не выживешь молча. Сами мы бежим обобщения, дробимся на кружки или черствеем в уединении. А кто виноват в этом положении? Мы, мы сами и более никто, — я так всегда думал.

Хотя я и привел для примера наши общественные разговоры, а между тем я сам далеко не крикун, и то же самое скажет про

---

[1] *Было:* послужить
[2] беспредметен *вписано*.
[3] *Далее было:* почти
[4] бессознательного *вписано*.

меня всякой, кто меня знает. Я не люблю говорить громко и много даже с приятелями,[1] которых у меня очень немного, а тем более в обществе, где я слыву за человека неразговорчивого, молчаливого, несветского. Знакомств у меня очень мало. Половина моего времени занята работой, которая кормит меня; другая половина занята постоянно болезнию, ипохондрическими припадками, которыми я страдаю уже скоро три года. Едва остается немного времени на чтение и на то, чтоб узнать, что на свете делается. Для приятелей и знакомых остается очень немного времени. А потому, если я и написал теперь [2] против системы всеобщего, как будто систематического умолчания и скрытности, то это потому, что мне хотелось высказать свое убеждение, а вовсе не защищать себя. Но [3] в чем же обвиняют меня? В том, что я говорил о политике, о Западе, о цензуре? и проч.[4] Но кто же не говорил и не думал в наше время об этих вопросах? Зачем же я учился, зачем наукой во мне возбуждена любознательность, если я не имею права сказать моего личного мнения или не согласиться с таким мнением, которое само по себе авторитетно? На Западе происходит зрелище страшное, разыгрывается драма беспримерная. Трещит и сокрушается вековой порядок вещей. Самые основные начала общества грозят каждую минуту рухнуть и увлечь [5] в своем падении всю нацию. Тридцать шесть миллионов людей [6] каждый день ставят словно на карту всю свою будущность, имение, существование, свое и детей своих! И эта картина не такова, чтоб возбудить внимание, любопытство, любознательность,[7] потрясти душу? [8] Это тот самый край, который дал нам науку, образование, цивилизацию европейскую; такое зрелище — урок! Это, наконец, история, а история — наука будущего. И после этого неужели обвинят нас, которым дали известную степень образования, в которых возбудили жажду знания и науки, — неужели обвинят нас в том, что мы имели столько любопытства, чтоб говорить иногда о Западе, о политических событиях, читать современные книги, приглядываться к движению западному, даже изучать его по возможности. Неужели обвинят меня в том, что я смотрю несколько серьезно на кризис, от которого ноет и ломится надвое несчастная [9] Франция, что я считаю, [10] может быть, этот кризис исторически необходимым в жизни этого народа, как состояние переходное (кто разрешит теперь это?) и которое приведет наконец

---

[1] много даже с приятелями *вписано вместо густо зачеркнутых слов.*

[2] *Вместо:* написал теперь — *было:* говорил

[3] *Далее было:* однако же

[4] *Вместо:* В том, что я говорил ∾ и проч. — *было:* ⟨*полторы строки зачеркнутого текста*⟩

[5] *Было начато:* за со⟨бою⟩

[6] *Было:* на⟨рода⟩

[7] *Далее было:* в уме

[8] *Далее было:* Да о чем ⟨?⟩ говорить!

[9] *Было:* больная ⟨?⟩

[10] *Далее было:* его

за собой лучшее время. Дальше этого мнения, дальше таких идей никогда не простиралось мое вольнодумство о Западе и о революции. Но если я говорил о французском перевороте, если я позволял себе судить о современных событиях, следует ли из этого, что я вольнодумец, что я республиканских идей, что я противник самодержавия, что я его подкапываю? Невозможно! Для меня никогда не было ничего нелепее идеи республиканского правления в России. Всем, кто знает меня, известны на этот счет мои идеи. Да, наконец, такое обвинение будет противно всем моим убеждениям, моему образованию.[1] Я, может быть, еще объясню себе революцию западную и *историческую необходимость* тамошнего современного кризиса. Там несколько столетий, более [2] тысячелетия, длилась упорнейшая борьба общества с авторитетом, основавшимся на чуждой цивилизации завоеванием, насилием, притеснением. А у нас? И земля-то наша сложилась не по-западному! У нас исторические примеры перед глазами: 1) падение России перед татарами от ослабления авторитета и раздробления его, 2) безобразие республики Новгородской, — республики, испробованной в продолжение нескольких веков на славянской почве, — и, наконец, 3) двукратное спасение России единственно усилением авторитета, усилением самодержавия: первый раз от татар, второй раз в реформу Петра Великого, когда только одна теплая, детская [3] вера в своего великого кормчего дала России возможность перенести такой крутой поворот в новую жизнь. Да и кто у нас думает о республике? Если и предстоят реформы, то даже для тех, кто желает их, будет ясно как день, что должны эти реформы истечь именно из авторитета, даже еще более [4] усиленного на то время; а иначе дело должно произойти революционерным образом. Не думаю, чтоб нашелся в России любитель русского бунта. Примеры известны и до сих пор памятны, хотя случились давно. В заключение я припомнил теперь слова свои, несколько раз повторявшиеся мною: [5] что всё, что только было хорошего в России, начиная с Петра Великого, всё то [6] постоянно выходило свыше, от престола, а снизу до сих пор ничего не выказывалось, кроме упорства и невежества. Это мнение мое известно многим из тех, кто меня знает.[7]

Я говорил об цензуре, об ее непомерной строгости в наше время и сетовал об этом; ибо чувствовал, что произошло какое-то недоразумение, из которого и вытекает натянутый, тяжелый для литературы порядок вещей. Мне грустно было, что звание писа-

---

[1] *Далее было начато:* Пото⟨м⟩
[2] *Вместо:* более — *было:* а может, более
[3] *Вместо:* теплая, детская — *было:* сильная
[4] еще более *вписано.*
[5] *Вместо:* слова свои ∾ мною — *было:* что я раз говорил
[6] *Вместо:* всё то — *было:* всё лишь
[7] *Вместо:* многим из тех ∾ знает. — *было начато:* всем, кто знает ⟨меня⟩

теля унижено в наше время каким-то темным подозрением и что на писателя,[1] уже заранее, прежде чем он написал что-нибудь, цензура смотрит как будто на какого-то естественного врага правительству и принимается разбирать его рукопись уже с очевидным предубеждением. Мне грустно слышать, что запрещается [2] иное произведение не потому, чтобы в нем нашли что-нибудь либерального, вольнодумного, противного нравственности, а, например, потому, что повесть или роман [3] слишком печально кончается, что выставлена слишком мрачная картина, хотя бы эта картина не обвиняла и не заподозревала никого в обществе и хотя бы самая трагедия произошла совершенно случайным и внешним образом. Пусть разберут всё, что я написал, напечатанного и ненапечатанного, пусть просмотрят [4] рукописи уже напечатанных сочинений и увидят, каковы они были до поступления к цензору,— пусть найдут в них хоть одно слово, противное нравственности и установленному порядку вещей. А между тем я именно подвергся подобному запрещению собственно за то, что картина написана была слишком мрачными красками. Но если б знали, в какое мрачное положение поставлен был автор запрещенного сочинения! Он увидел перед собой необходимость [5] просидеть хуже чем без хлеба целых три месяца, ибо работа давала мне средства к существованию. Да кроме того, среди лишений, грусти, почти отчаяния (ибо, откинув денежный вопрос, — тяжело до отчаяния [6] видеть свое произведение, которое любил, над которым потратил труд, здоровье, лучшие силы душевные, — запрещенным от *недоразумения*, от *подозрения* [7]), — итак, кроме того, среди лишений, грусти, отчаяния нужно еще найти столько легких, веселых часов,[8] чтобы написать в это время новое литературное произведение красками светлыми,[9] розовыми, приятными. А написать непременно нужно, потому что нужно существовать.[10] Если я говорил, если я немножко жаловался (а я жаловался так немного!), — то неужели я вольнодумствовал? И на что я жаловался? На *недоразумение*. Именно: я бился из всех сил, доказывая,[11] что каждый литератор уже заподозрен заране, что на него смотрят с недоумением, с недоверием, и обвинял самих же литераторов в том, что они сами не хотят изыскивать средств для разрешения пагубного

---

[1] *Вместо:* тяжелый для литературы ∾ на писателя — *было:* [нее⟨стественный⟩], [грустный] тяжелый для литературы порядок вещей. Ибо мне грустно было, что звание писателя унижено в наше время, и что на него

[2] *Далее было начато:* наприм⟨ер⟩

[3] *Вместо:* повесть или роман — *было:* произведение

[4] *Было начато:* прочтут и у⟨видят⟩

[5] *Было:* трагическую ⟨?⟩ необходимость

[6] до отчаяния *вписано.*

[7] *Далее было:* не более

[8] *Было:* минут

[9] *Далее было:* яркими

[10] А написать ∾ существовать. *вписано.*

[11] *Далее было:* доказать своим ⟨?⟩ товарищам ⟨*неск. нрзб.*⟩

недоразумения. Пагубного, потому что литературе трудно существовать при таком напряженном положении.[1] Целые роды искусства должны исчезнуть: сатира, трагедия уже не могут существовать. Уже не могут существовать при строгости нынешней цензуры такие писатели, как Грибоедов, Фонвизин и даже Пушкин. Сатира осмеивает порок, и чаще всего — порок под личиною добродетели. Как может быть теперь хоть какое-нибудь осмеяние? Цензор во всем видит намек, заподозревает, нет ли тут какой личности, нет ли желчи, не намекает ли писатель на чье-либо лицо и на какой-нибудь порядок вещей. Мне самому случалось очень часто, забывши грусть, захохотать над тем, что нашел цензор *вредным для общества* и неспособным к напечатанию в моих или чьих чужих рукописях. Смеялся я потому, что никому, кроме цензора, в настоящее время [2] не придет в голову подобных подозрений.[3] В самой [4] невиннейшей, чистейшей фразе подозревается преступнейшая мысль, которую видно, что цензор преследовал с напряжением умственных сил, как вечную, неподвижную идею, которая не может покинуть его головы, которую он сам создал, колеблемый страхом и подозрениями, сам воплотил ее в своем воображении, сам расцветил небывалыми страшными красками [5] и наконец уничтожил свой фантом [6] вместе с невинной причиной его страха — безгрешной первоначальной фразой писателя. Точно как будто скрывая порок и мрачную сторону жизни, скроешь от читателя, что есть на свете порок и мрачная сторона жизни. Нет, автор не скроет этой мрачной стороны, систематически опуская ее перед читателем,[7] а только заподозрит себя перед ним в неискренности, в неправдивости.[8] Да и можно ли [9] писать одними светлыми красками? Каким образом [10] светлая сторона картины будет видна без мрачной, может ли быть картина без света и тени вместе? О свете мы имеем понятие только потому, что есть тень. Говорят: описывай одни доблести, добродетели. Но добродетели мы и не узнаем без порока; самые понятия *добра* и *зла* произошли оттого, что добро и зло постоянно жили вместе, рядом друг с другом. Но подумай только я выставить на сцену невежество, порок, злоупотребления, спесь, насилие! Цензор тотчас же заподозрит меня и подумает, что я говорю про всё вообще без изъятия. Я не стою за изображение порока и мрачной стороны жизни! И тот

---

[1] *Далее было:* что ⟨?⟩ литература одно из важнейших дел в государстве, так ⟨?⟩ по крайней мере мне кажется ⟨?⟩.

[2] в настоящее время *вписано.*

[3] *Далее было начато:* А в насто⟨ящее время⟩

[4] *Было:* Из самой

[5] *Было:* ⟨*нрзб.*⟩

[6] свой фантом *вписано.*

[7] *Далее помета Достоевского:* Лист 3.

[8] *Вместо:* перед ним ∾ неправдивости. — *было:* в искренности и правдивости

[9] *Вместо:* Да и можно ли — *было:* Да и как можно

[10] *Было:* Как

и другая вовсе не милы мне. Но я говорю единственно только в интересах искусства.[1]

Видя, убедясь наконец,[2] что между литературой и цензурой происходит недоразумение (одно недоразумение и больше ничего!), — я сетовал, я молил, чтобы это печальное недоразумение прошло поскорее. Потому что я люблю литературу и не могу не интересоваться ею; потому что я [3] знаю, что литература есть одно из выражений жизни народа, есть зеркало общества. С образованием, с цивилизацией являются новые понятия, которые требуют определения, названия [4] русского, чтоб быть переданными народу; ибо не народ может назвать их в настоящем случае, затем что цивилизация не от него идет, а свыше;[5] назвать их может только то [6] общество, которое прежде народа приняло цивилизацию, то есть высший слой общества, класс уже образованный для принятия этих идей. Кто же формулирует новые идеи в такую форму, чтоб народ их понял, — кто же, как не литература! Реформа Петра Великого не принялась бы так легко в народе, который и не понял бы,[7] чего хотят от него. А каков был русский язык при Петре Великом? Наполовину русский, наполовину немецкий, потому что наполовину жизни немецкой, понятий немецких, нравов немецких привилось к жизни русской. Но русский народ не говорит по-немецки, и явление Ломоносова сейчас после Петра Великого было не случайное. Без литературы не может существовать общество, а я видел, что она угасала,[8] и, в десятый раз повторяю, недоразумение, возникшее между литературой и цензорами, волновало меня, мучило меня. Я говорил, — но я говорил только о согласии, о соединении, об уничтожении недоразумения. Я не поджигал кругом меня никого, *потому что я верил*. Да и говорил-то я только с самыми короткими приятелями, с своими товарищами-литераторами. Это ли вредное вольнодумство?!

Меня обвиняют в том, что я прочел статью «Переписка Белинского с Гоголем» на одном из вечеров у Петрашевского. Да, я прочел эту статью, но тот, кто донес на меня, может ли сказать, к которому из переписывавшихся лиц я был пристрастнее? Пусть он припомнит, было ли не только в суждениях моих (от которых я воздержался), — но хоть бы в интонации голоса, в жесте моем во время чтения, что-нибудь способное выказать мое пристрастие к одному лицу, преимущественно, чем к другому из переписывавшихся? Конечно, он не скажет того. Письмо Белинского [9]

---

[1] *Далее было:* ибо повторяю еще раз ⟨*неск. нрзб.*⟩

[2] *Далее было начато:* полож⟨ительно⟩

[3] *Далее полторы строки зачеркнутого текста.*

[4] *Вместо:* которые требуют определения, названия — *было:* они требуют названия

[5] *Вместо:* цивилизация ∾ свыше — *было:* цивилизация идет свыше; а

[6] только то *вписано на полях.*

[7] *Было:* не понимал бы

[8] а я ∾ угасала *вписано.*

[9] *Было начато:* Статья Бе⟨линского⟩

написано слишком странно, чтоб возбудить к себе сочувствие. Ругательства отвращают сердце, а не привлекают[1] его; а всё письмо начинено ими и желчью написано.[2] Наконец, вся статья образец бездоказательности — недостаток, от которого Белинский[3] никогда не мог избавиться в своих критических статьях и который усиливался по мере истощения нравственных и физических сил его в болезни. Письма эти написаны в последний год его жизни, во время пребывания за границею. Несколько времени я был знаком с Белинским довольно коротко. Это был превосходнейший человек как человек. Но болезнь, сведшая его в могилу, сломила в нем даже и человека. Она ожесточила, очерствила его душу и залила желчью его сердце. Воображение его, расстроенное, напряженное, увеличивало всё в колоссальных размерах и показывало ему такие вещи, которые один он и способен был видеть. В нем явились вдруг такие недостатки и пороки, которых и следа не было в здоровом состоянии. Между прочим, явилось самолюбие, крайне раздражительное и обидчивое. В журнале, в котором он числился сотрудником и где за болезнию очень мало работал, — ему связывала редакция руки и уже[4] не давала писать слишком серьезных статей. Это оскорбляло его. И вот в этом-то состоянии он написал письмо свое Гоголю. В литературном мире небезызвестно весьма многим о моей ссоре и окончательном разрыве[5] с Белинским в последний год его жизни. Известна тоже и причина нашей размолвки: она произошла из-за идей о литературе и о направлении литературы. Взгляд мой был радикально противуположный взгляду Белинского. Я упрекал его в том, что он силится дать литературе частное, недостойное ей назначение, низводя ее единственно до описания, если можно выразиться, *одних газетных фактов* или скандалезных происшествий. Я именно возражал ему, что желчью не привлечешь никого, а только надоешь смертельно всем и каждому, хватая встречного и поперечного на улице, останавливая каждого прохожего[6] за пуговицу фрака и начиная насильно проповедовать ему и учить его уму-разуму. Белинский рассердился на меня и, наконец, от охлаждения мы перешли к формальной ссоре, так что и не видались, наконец, друг с другом в продолжение всего последнего года его жизни. Я давно желал прочесть эти письма. В моих глазах эта переписка — довольно замечательный литературный памятник. И Белинский и Гоголь — лица очень замечательные. Сношения[7] их между собою весьма любопытны —

[1] *Было:* а не приближают

[2] *Вместо:* а всё ∾ написано. — *было:* а вся статья начинена ими и желчью написана

[3] *Было:* он

[4] уже *вписано.*

[5] *Вместо:* небезызвестно ∾ разрыве — *было:* небезызвестна весьма многим моя ссора и окончательный разрыв

[6] *Вместо:* каждого прохожего — *было:* его

[7] *Было:* Отношения

тем более для меня, который был знаком с Белинским. Петрашевский случайно увидал эти письма в моих руках, спросил: «Что такое?» — и я, не имея времени показать ему эти письма тотчас, обещал их привезть к нему в пятницу. Сам я вызвался и уже потом должен был сдержать слово. Я прочел эту статью [1] ни более ни менее как литературный памятник, твердо уверенный, что она никого не может привести в соблазн, хотя она и не лишена некоторого [2] литературного достоинства. Что до меня касается, я буквально не согласен ни с одним из преувеличений, находящихся в ней.[3] Теперь я прошу взять в соображение следующее обстоятельство: стал ли бы я читать статью человека, с которым был в ссоре именно за идеи (это не тайна; это очень многим известно), да еще писанную в болезни, в расстройстве умственном и душевном, — стал ли бы я читать эту статью, выставляя ее как образец, как формулу, которой нужно следовать? Я только теперь понял, что сделал ошибку и что не следовало мне читать этой статьи вслух; но тогда я не спохватился; ибо даже и не подозревал того, в чем могут обвинить меня, не подозревал [4] за собой греха. Из уважения к человеку, уже умершему, замечательному в свое время, которого многие уважают за некоторые литературно-эстетические статьи его, написанные действительно с большим знанием [5] литературного дела, — наконец, из щекотливого чувства по поводу ссоры нашей за идеи, которая многим известна, я прочел всю переписку, воздержавшись от всяких замечаний и с полным беспристрастием.

Я упомянул, что я говорил о политике, о цензуре и т. д. Но я только напрасно сказал на себя. Мне хотелось только высказать образ идей моих. Никогда я не говорил у Петрашевского об этих предметах. Говорил я у него только три раза или, лучше сказать, два раза. Раз о *литературе* [6] по поводу спора с Петрашевским из-за Крылова и другой раз *о личности* и об *эгоизме*. [7] Вообще я человек неразговорчивый и не люблю громко говорить, там где есть мне незнакомые. Образ мыслей моих и я весь известен только очень немногим моим приятелям. От больших споров я удаляюсь и люблю уступить, только бы меня оставили [8] в покое. Но я был вызван на этот литературный спор, темой которого, с моей стороны, было то, что искусство [9] не нуждается в направлении, что искусство само себе целью, что автор должен только хлопотать о худо-

---

[1] *Было:* их
[2] *Вместо:* хотя ∾ некоторого — *было:* хотя не лишена некоторого рода
[3] *Вместо:* ни с одним ∾ в ней — *было:* ни с одним из этих преувеличений
[4] *Было:* я и не подозревал
[5] *Далее было:* своего ⟨?⟩
[6] *Далее было начато:* назад тому месяц⟨а⟩
[7] *Было:* об человеческом ⟨?⟩ эгоизме
[8] *Было:* оставить
[9] *Было начато:* литератур⟨а⟩

жественности, а идея придет сама собою; ибо она необходимое условие художественности. Одним словом, *известно, что это направление диаметрально противуположно газетному* и [1] *пожарному*. Многим тоже известно, что это направление мое уже в продолжение нескольких лет.[2] Наконец, спор наш слышали все у Петрашевского; все могут засвидетельствовать то, что я говорил. Кончилось тем, что оказалось, что Петрашевский со мною одних идей о литературе;[3] но что мы не понимали друг друга. Об этом заключении тоже все слышали. И я заметил, наконец, что весь спор вышел отчасти из самолюбия; потому что я заподозрил раз Петрашевского в отчетливом знании по этому предмету. Что же касается до второй темы: о *личности* и *эгоизме*, то в ней я хотел доказать, что между нами более *амбиции*, чем настоящего человеческого достоинства, что мы сами впадаем в самоумаление, в размельчение личности от мелкого самолюбия, от эгоизма и от бесцельности занятий. Эта тема чисто психологическая.

Я сказал, что в обществе, которое собиралось у Петрашевского, не было ни малейшей целости, ни малейшего единства, ни в мыслях, ни в направлениях мыслей. Казалось, это был спор, который начался один раз, с тем чтоб никогда не кончиться. Во имя этого спора и собиралось общество — чтоб спорить и доспориться; ибо каждый почти раз расходились с тем, чтобы в следующий раз возобновить спор с новою силою, чувствуя, что не высказали и десятой части того, что хотелось сказать. Без споров у Петрашевского было бы чрезвычайно скучно, потому что одни споры и противуречия и могли соединить этих разнохарактерных людей. Говорилось обо всем и ни об чем исключительно, и говорилось так, как говорится в каждом кружке, собравшемся случайно. Я так уверен. И если я участвовал иногда в спорах у Петрашевского, если я ездил к нему и не пугался того, когда [4] слышал иное горячее слово, то это потому, что совершенно был уверен (и уверен в том до сих пор), что тут дело происходило семейственно, в кругу общих знакомых и приятелей Петрашевского, а не публично. Так и действительно было, и если теперь обратили такое исключительное внимание на то, что было у Петрашевского, то, мне кажется, это произошло оттого,[5] что Петрашевский известен почти всему Петербургу своими странностями и эксцентричностями, а поэтому и [6] вечера его известны; а я знаю положительно, что молва преувеличивала их значение, хотя в людской молве

---

[1] *Далее было начато:* вредно в

[2] *Вместо:* уже в продолжение нескольких лет — *было:* уже несколько лет

[3] о литературе *вписано.*

[4] *Было:* если

[5] *Вместо:* то, мне кажется ∾ оттого — *было:* то это, мне кажется, потому

[6] поэтому и *вписано.*

было больше насмешки к вечерам Петрашевского, чем опасения.[1] Тем, что говорилось иногда довольно откровенно (но всегда в виде сомнения и всегда то, что говорилось, подымалось на спор), я не смущался. Потому что, по моей идее, лучше пусть иной горячий парадокс, иное сомнение [2] идет на суд других (конечно, не на площадь, а в приятельский круг), чем остается внутри человека без выхода, черствеет и укореняется [3] в душе его. Общий спор полезнее уединения. Истина [4] всегда наверх всплывет, и здравый смысл одержит победу; так я смотрел на эти собрания и на основании такого взгляда ходил иногда [5] к Петрашевскому. И опыт оправдал меня. Потому что, например, о фурьеризме перестали наконец совсем говорить, ибо фурьеризм был засыпан насмешками со всех сторон, даже как учение. Но если бы решился кто-нибудь у Петрашевского говорить о применении системы Фурье к нашему общественному быту, то ему тут же бы безо всяких околичностей насмеялись в глаза. Я говорю так потому, что уверен в истине слов моих.[6]

Чтоб ответить на вопрос, не было ли какой тайной, скрытой цели в обществе Петрашевского, можно утвердительно сказать, припоминая всю разноголосицу, всё это смешение понятий, характеров, личностей, специальностей, все эти споры,[7] доходившие чуть-чуть не до вражды и которые тем не менее оставались одними [8] спорами, — смотря на всё это и сообразив, можно утвердительно сказать, что невозможно, чтоб была какая-нибудь тайная, скрытая цель во всем этом хаосе. Тут не было и тени единства и не было бы до скончания веков. И хотя я знал не всех и не всё в обществе Петрашевского, но,[9] судя по тому, что я видел, могу положительно сказать, что я не ошибаюсь.

Теперь мне приходится отвечать на последний вопрос, ответ на который составит заключение моего оправдания. Это: вредный ли человек сам Петрашевский, и до какой степени он вреден для общества? Когда мне предложили этот вопрос в первый раз, я не мог отвечать на него прямо.[10] До этого вопроса я должен был разрешить в себе целый ряд вопросов и сомнений, которые тотчас же [11] породились в уме моем, которых я разрешить не мог тут же на месте, которые требовали некоторого соображения, и потому я

---

[1] *Далее было начато:* Впрочем, так как говорились иногда такие вещи, которых ⟨*неск. нрзб.*⟩

[2] иной ∾ сомнение *вписано.*

[3] *Было:* корепеет

[4] *Было:* Правда

[5] *Было:* кое-когда

[6] *Вместо:* так я смотрел ∾ слов моих — *было:* без всяких околичностей и без ⟨*неск. нрзб.*⟩

[7] *Далее помета Достоевского:* Лист 4

[8] *Далее было:* ⟨*нрзб.*⟩

[9] *Далее было начато:* ска⟨жу⟩

[10] *Далее было начато:* Потому что

[11] *Было:* мигом

стоял, не зная, что отвечать. Теперь, сообразив всё, я представляю и предварительные соображения мои и, наконец, ответ на заданный мне вопрос как следствие этих соображений.

Во-первых, если меня спрашивали, вреден ли Петрашевский [1] для общества, то, я разумею, прежде всего как фурьерист, как последователь и распространитель [2] учения Фурье. Мне показали тетрадь, мелко исписанную, и сказали, что я, вероятно, узнаю почерк. Руки Петрашевского я не знаю, мы с ним никогда не переписывались, и я решительно не подозревал, чтобы он пускался в авторство. И я говорю утвердительно. И потому я решительно ничего не знаю о Петрашевском как о фурьеристе-распространителе. Я знаю только его научные верования. Да и то мы с ним и в научный разговор о Фурье редко вступали, почти никогда; ибо наш разговор в ту же минуту обратился бы в спор. Это он знал очень хорошо. Планов же [3] и распоряжений Петрашевский мне никаких никогда не сообщал, и я решительно не знаю, были ли они у него или не были. Кроме того, если б даже и были, чего я совершенно не знаю, то он,[4] будучи совсем не в коротких сношениях со мною и вовсе не в большой приязни, [5] наверно (я уверен в том) скрыл бы от меня всё и не объявил бы мне ни слова. Я же, с своей стороны, и в желании никогда не имел проведать его тайны. И потому я решительно ничего не могу сказать о Петрашевском как о фурьеристе, кроме как в отношении чисто научном.

Я знаю, что Петрашевский уважает систему Фурье. Как фурьерист, конечно, он не может не желать, чтоб ему сочувствовали. Но меня спрашивали: делает ли он учеников? *Не завлекает ли он к себе учителей из разных учебных заведений с тем, чтобы, обратив их, действовать через них на распространение фурьеризма в юношестве?* Отвечаю: положительно я ничего не могу сказать на этот вопрос, потому что не имею достаточных данных, решительно не зная [6] тайн Петрашевского. Мне сказали, что у Петрашевского в числе знакомых есть учителя, например Толль. Но с Толлем я [7] совершенно не знаком и узнал, что он учитель только очень недавно. Что же касается до Ястржембского, то об нем я узнал, что он [8] учитель только с тех пор, как [9] он говорил о политической экономии. Больше учителей я никого не знаю. Будучи не только не в коротких, но даже в далеких отношениях к Толлю,[10]

---

[1] *Вместо:* вреден ли Петрашевский — *было начато:* может ли быть

[2] *Вместо:* я разумею ∾ распространитель — *было:* то разумея его прежде всего как фурьериста, как последователя и распространителя.

[3] *Далее было:* своих

[4] *Было:* мы с ним

[5] *Вместо:* и вовсе ∾ приязни — *было:* совсем не в большой приязни друг к другу [ко мне]

[6] *Вместо:* решительно не зная — *было:* ибо не знаю

[7] *Далее было:* не только не

[8] *Далее было:* тоже

[9] *Вместо:* только с тех пор, как — *было:* потому что

[10] *Было начато:* Петрашев⟨скому⟩

я не знаю ни историю знакомства его с Петрашевским, ни того, когда они познакомились, ни того, в каких отношениях находились [1] друг ко другу, — одним словом, мне было вовсе не любопытно знать [2] это. Что же касается до Ястржембского, то я имел случай узнать образ экономических идей его,[3] когда два раза удалось мне его слышать. Он, сколько мне кажется, экономист [4] последней школы и допускает социализм настолько, насколько его допускают самые строгие профессора науки. Ибо социализм, в свою очередь, сделал много научной пользы критической разработкой и статистическим отделом своим. Одним словом, я полагаю, что Ястржембский далеко не фурьерист и что ему нечему учиться у Петрашевского. Но замечу, что Ястржембского как человека я не знаю совсем.[5] Я с ним [6] *никогда* не вступал в разговор, и кажется, что и он находится точно в таких же ко мне отношениях. Полного образа его идей я не знаю, равно как и он моего. Итак, я могу [7] судить о Петрашевском как о распространителе учения только по одним догадкам, по соображению.

Но по догадкам я ничего не могу сказать. Я знаю, что мое показание не возьмется [8] за окончательное, за основное, но все-таки оно останется показанием. Что же, если я ошибусь? Ошибка ляжет на моей совести. Мне показали рукопись, о существовании которой я не знал прежде. Я прочел одну фразу этой рукописи. В этой фразе высказано горячее желание скорейшего торжества системы Фурье. Если вся рукопись в этом роде, если Петрашевский признал ее, то, конечно, он желал распространения системы Фурье. Но употреблял ли он действительно какие-либо меры до сих пор — я не знаю. Мне неизвестны его тайны, и я думаю, что мне можно наконец поверить. Никто не покажет, что мы были с Петрашевским когда-нибудь в отношениях очень близких. Я ездил к нему по пятницам как знакомый, не более. Я не знаю никаких [9] его планов, и я в первый раз видел эту рукопись, содержания которой, кроме одной фразы, я совершенно не знаю. Итак, делал ли он что-нибудь, употреблял ли он какие меры, об этом я сказать не могу. Но, да позволят мне изложить несколько собственных моих соображений, которые составляют во мне глубочайшее убеждение, которое я долго обдумывал, которые и прежде мне представлялись такими же, как и теперь, и вследствие которых, наконец, я при первом вопросе о виновности Петрашевского не мог отвечать положительно. Я понимаю, как важны

---

1 *Было:* находятся
2 *Далее было начато:* об их
3 *Было начато:* идей его ⟨*нрзб.*⟩ два
4 *Вместо:* сколько мне кажется, экономист — *было:* чистейший экономист
5 *Вместо:* как человека ∾ совсем — *было:* я не знаю короче этого
6 *Далее было:* кажется ⟨?⟩
7 *Далее было:* только
8 *Было начато:* не примется к⟨ак⟩
9 *Далее было начато:* особ⟨ых⟩

в глазах судей Петрашевского такие улики, как книги, рукописи и разговоры, записанные отрывками. Но так как меня спросили о Петрашевском, то да позволят мне изложить мой взгляд на всё его дело.

Петрашевский верит Фурье. Фурьеризм — система мирная; она очаровывает душу своею изящностью, обольщает сердце тою любовию [1] к человечеству, которая воодушевляла Фурье, когда он создавал свою систему,[2] и удивляет ум своею стройностию. Привлекает к себе она не желчными нападками, а воодушевляя любовью к человечеству.[3] В системе этой нет ненавистей. Реформы политической фурьеризм не полагает; его реформа — экономическая. Она не посягает ни на правительство, ни на собственность, а в одном из последних заседаний палаты Виктор Консидеран, представитель фурьеристов, торжественно отказался от всякого посягновения на фамилию. Наконец, эта система кабинетная и никогда не будет популярною. Фурьеристы, во время всего [4] февральского переворота ни разу не вышли на улицу, а остались в редакции своего журнала, где они проводят свое время уже с лишком двадцать лет в мечтах о будущей красоте фаланстеры. Но, без сомнения, эта система [5] вредна, во-первых, уже по одному тому, что она система. Во-вторых, как ни изящна она, она всё же утопия, самая несбыточная. Но вред, производимый этой утопией, если позволят мне так выразиться, более *комический,* чем приводящий в ужас. Нет системы социальной, до такой степени осмеянной, до такой степени непопулярной, освистанной, как система Фурье на Западе. Она уже давно померла, и предводители ее сами не замечают, что они только живые мертвецы и больше ничего. На Западе, во Франции, в эту минуту всякая система, всякая теория вредна для общества; ибо голодные пролетарии в отчаяньи хватаются за все средства и из всякого средства готовы сделать себе знамя. Там минута крайности. Там голод гонит на улицу. Но фурьеризм забыт из презрения к нему, и даже *кабетизм*, нелепее которого ничего не производилось на свет, возбуждает гораздо более симпатии. Что же касается до нас, до России, до Петербурга, то здесь стоит сделать двадцать шагов по улице, чтоб убедиться, что фурьеризм [6] на нашей почве может только существовать или в неразрезанных листах книги, или в мягкой, незлобивой, мечтательной [7] душе, но не иначе как в форме идиллии или подобно поэме в двадцати четырех песнях в стихах. Фурьеризм вреда нанести не может серьезного. Во-первых, если

---

[1] *Далее было начато: а.* с которою *б.* к человечеству, с которой Фурье произвел *в.* к человечеству полон ⟨*нрзб.*⟩

[2] *Далее было:* ⟨*неск. нрзб.*⟩

[3] *Было:* к человеку

[4] всего *вписано.*

[5] *Далее было:* и

[6] *Далее было:* даже

[7] мечтательной *вписано.*

бы и был вред серьезный, то самое распространение его уже утопия, ибо до невероятности медленно. Чтобы понять фурьеризм вполне, нужно его изучить; а это целая наука. Нужно прочесть до десятка томов. Может ли [1] такая система когда-либо сделаться популярною! Распространять ее с кафедр через учителей? Но это физически невозможно, уже по одному объему фурьеристической науки! Но, повторяю, вреда серьезного, по моему мнению, от системы Фурье быть не может, и если [2] фурьерист нанесет кому вред, так только разве себе, в общем мнении у тех, в которых есть здравый смысл. Ибо самый высочайший комизм для меня — *это не нужная никому* [3] *деятельность*. А фурьеризм, вместе с тем и всякая западная система, так неудобны для нашей почвы, так не по обстоятельствам нашим, так не в характере нации — а с другой стороны, до того порождение Запада, до того продукт тамошнего, западного положения вещей, среди которых разрешается во что бы то ни стало пролетарский вопрос, что фурьеризм с своею настойчивою необходимостию в настоящее время, у нас, между которыми нет пролетариев,[4] был бы уморительно смешон. Деятельность фурьериста была бы самая ненужная, след⟨ственно⟩ самая комическая. Вот почему, по *догадке* моей, я полагаю Петрашевского умнее и никогда не подозревал его *серьезно*, дальше кабинетного уважения к Фурье. Всё остальное я, *по истине*, готов был счесть за шутку.[5] Фурьерист [6] — несчастный; а не виновный человек — вот мое мнение. Наконец, по моему мнению,[7] ни один парадокс, сколько их ни было, не мог удержаться долго сам собою, своими силами. Так нас учит история. И доказательство то, что во Франции в один год пали почти все системы одна за другой, и пали сами собою, чуть только дело дошло до малейшего опыта. Сообразив это всё, если б я даже знал (чего я не знаю, повторяю еще раз) — но если б я даже знал, что Петрашевский, не боясь никакой насмешки, всё еще старается о распространении фурьеризма, то я бы все-таки удержался сказать, что он вреден,[8] что он приносит положительный вред.[9] Во-первых, каким образом мог бы быть вреден Петрашевский как пропагатор фурьеризма?[10] — свыше моих понятий. Смешон, а не вреден! Вот мое мнение,[11] и вот, что я по совести могу отвечать на заданный мне вопрос.

---

[1] *Было:* Ну может ли

[2] *Далее было:* кому

[3] никому *вписано.*

[4] между которыми нет пролетариев *вписано.*

[5] *Было:* шуткою

[6] *Было:* Иначе фурьерист

[7] мнению *вписано.*

[8] *Далее было:* или

[9] *Далее было начато:* Это было бы

[10] *Далее было:* было бы

[11] *Далее было начато:* итак, с одной стороны, даже ⟨*нрзб.*⟩ Петрашевского (его я не знаю), я был бы неуверен во вреде его — с другой стороны, я знаю так мало ⟨*неск. нрзб.*⟩

Наконец, во мне возникло еще одно соображение, о котором я не могу умолчать, соображение чисто житейское. У меня было давнее, старое убеждение, что Петрашевский [1] заражен некоторого рода самолюбием. Из самолюбия [2] он созывал к себе в пятницу и [3] из самолюбия же пятницы не надоедали ему. Из самолюбия он имел много книг, и, кажется, ему нравилось, что знают,[4] что у него есть редкие книги. Впрочем, это не более как мое наблюдение, догадка, ибо, повторяю, всё, что я знаю о Петрашевском, я знаю не полно, не совершенно,[5] а по догадкам, основанным на том,[6] что я видел и слышал.

Вот мой ответ. Я передал истину.

Федор Достоевский

⟨ФОРМАЛЬНЫЙ ДОПРОС Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО⟩

Господину Достоевскому 1⟨-му⟩

На предлагаемые здесь высочайше учрежденною Следственною комиссиею предварительные вопросные пункты имеете объяснить по сущей справедливости коротко и ясно:

1) Как ваше имя, отечество и прозвание, сколько вам от роду лет, какого вероисповедания, и исполняли ли в надлежащее время предписанные религиею обряды?

— Федор Михайлов Достоевский, двадцати семи лет от роду, вероисповедания православного, греко-российского. Обряды, предписанные религиею, исполнял в надлежащее время.

2) Кто ваши родители, и где они находятся, если живы?

— Отец мой был штаб-лекарь, коллежский советник Достоевский. Моя мать происходила из купеческого звания. Оба умерли.

3) Где вы воспитывались, на чей счет и когда окончили воспитание?

— Воспитывался в Главном инженерном училище, на собственный счет. Окончил воспитание свое по выходе из офицерских классов Главного инженерного училища в тысяча восемьсот сорок третьем году.

4) Состоите ли на службе, когда вступили в оную, какую занимаете должность и какой имеете чин; также не находились ли прежде сего под следствием или судом, и если были, то за что именно?

---

[1] *Далее было начато:* не лишен
[2] *Было начато:* Через это ⟨самолюбие⟩
[3] *Далее было начато:* наскучил своими ⟨?⟩
[4] *Вместо:* что знают — *было:* это
[5] *Далее было:* ⟨*нрзб.*⟩
[6] *Вместо:* основанным на том — *было:* потому

— Поступил на действительную службу по выходе из верхнего офицерского класса Главного инженерного училища в тысяча восемьсот сорок третьем году в чертежную Инженерного департамента. Вышел в отставку в тысяча восемьсот сорок четвертом году, с чином поручика. Под судом или следствием, до сей поры, никогда не бывал.

5) Имеете ли недвижимое имение или собственные капиталы, а если нет, то какие имели вы средства к пропитанию и содержанию себя и своего семейства, если его имеете?

— По смерти родителей наследовал вместе со всем семейством нашим,[1] оставшимся после них, недвижимым имением, числом около ста душ, состоящем в Тульской губернии. Но в тысяча восемьсот сорок пятом году, по взаимному соглашению с родственниками, отказался от следуемой мне части в имении за единовременно выплаченную мне сумму денег. В настоящее время не имею ни недвижимого имения, ни капиталов. Средства же к содержанию себя получал [2] через литературную работу, чем и существовал до сих пор.

6) С кем имели близкое и короткое знакомство и частые сношения?

— *Совершенно откровенных* [3] сношений не имел ни с кем, кроме как с братом моим, отставным инженер-подпоручиком Михайлою Достоевским. Приятельских же знакомств имел несколько; ближе всех с семейством художника Майкова, с доктором медицины Яновским, с Дуровым, с Пальмом, с Плещеевым, с Головинским и с Филипповым. Частые сношения имел с моим братом Михайлою, с доктором Яновским, у [4] которого лечусь уже два года от моей болезни, и с Андреем Александровичем Краевским по поводу близкого моего участия в издаваемом им журнале «Отечественных записках».

7) Какие были ваши сношения внутри государства и за границею?

— Кроме петербургских знакомств, сносился с родственниками моими в Москве. За границею сношений не имел никаких.

Отставной инженер-поручик Федор Михайлов Достоевский

⟨ПОКАЗАНИЯ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО⟩

⟨Вопрос.⟩ Давно ли вы знакомы с Петрашевским?

⟨Ответ.⟩ Я [5] знаком с Петрашевским ровно три года. Я увидал его в первый раз весною 1846 года.

Федор Достоевский

---

[1] *Вместо:* всем ∾ нашим — *было:* братьями

[2] *Далее было начато:* от ⟨литературной работы⟩

[3] *Далее было:* и взаимных

[4] *Было:* от

[5] *Далее было начато:* ска⟨зал⟩

необходимости настоящего переворота на Западе, но только в ожидании решения.

Социализм предлагает тысячи средств к общественному устройству, и так как все эти книги писаны умно, горячо и нередко с неподдельною любовью к человечеству, то я с любопытством читал их. Но именно оттого, что я не пристаю ни к одной социальной системе, я изучал социализм вообще, во всех его системах, и потому (хотя знания мои далеко не полны) вижу ошибки каждой социальной системы. Я уверен, что приложение каждой из них повлечет за собою неминуемую гибель... Наконец, всё это вздор, на который смотреть с остановкою. Социализм — это наука в брожении, это хаос, это алхимия прежде химии, астрология прежде астрономии; хотя, как мне кажется, из теперешнего хаоса выработается впоследствии что-нибудь стройное, благоразумное и благодетельное для общественной пользы, точно так же, как из алхимии выработалась химия, а из астрологии астрономия.

Федор Достоевский

Наоборот,

Страница показаний Ф. М. Достоевского по делу петрашевцев. 1849 г.

Центральный государственный военно-исторический архив (Москва).

⟨Вопрос.⟩ Что вас побудило познакомиться с Петрашевским?

⟨Ответ.⟩ Знакомство наше было случайное. Я был, если не ошибаюсь, вместе с Плещеевым, в кондитерской у Полицейского моста и читал газеты. Я видел, что Плещеев остановился говорить с Петрашевским, но я не разглядел лица [1] Петрашевского. Минут через пять я вышел. Не доходя Большой Морской, Петрашевский поровнялся со мною и вдруг спросил меня: «Какая идея вашей будущей повести, позвольте спросить?» Так как я не разглядел Петрашевского в кондитерской и он там не сказал со мною ни слова, то мне показалось, что Петрашевский совсем посторонний человек, попавшийся мне на улице, а не знакомый Плещеева. Подоспевший Плещеев разъяснил мое недоумение: мы сказали два слова и, дошедши до Малой Морской, расстались. Таким образом, Петрашевский с первого раза завлек мое любопытство.[2] Эта первая встреча с Петрашевским была [3] накануне моего отъезда в Ревель, и увидал я его [4] потом уже зимою. Мне показался он очень оригинальным человеком, но [5] не пустым; я заметил его начитанность, знания. Пошел я к нему в первый раз уже около поста, сорок седьмого года.

Федор Достоевский

⟨Вопрос.⟩ Часто ли вы посещали вечера его?

⟨Ответ.⟩ В первые два года знакомства я бывал у Петрашевского очень редко; иногда не бывал по три, по четыре месяца и более. В последнюю же зиму я стал ходить к нему чаще. Но тоже из месяца в месяц. Впрочем, не ровно. Иногда бывал два раза сряду; другой раз пропускал целый месяц. Так, например, в марте месяце я не был ни разу. Стал я ходить чаще из любопытства; кроме того, я встречал там некоторых знакомых. Наконец, сам принимал иногда участие в разговоре, в споре, который, оставаясь неоконченным в один вечер, невольно позывал меня идти в другой раз [6] и докончить спор.

Федор Достоевский

⟨Вопрос.⟩ Сколько бывало людей на вечерах этих и кто из них постоянно посещал эти вечера?

⟨Ответ.⟩ Десять, пятнадцать, двадцать и даже иногда двадцать пять человек.

Из знакомых Петрашевского я до сих пор [7] не знаю некоторых [8] по фамилии. Так, например, фамилии Ахшарумова, Бере-

---

[1] лица *вписано.*

[2] *Далее было:* ⟨*неск. нрзб.*⟩

[3] *Вместо:* Эта ∾ с Петрашевским была — *было:* Это первое знакомство было

[4] *Вместо:* и увидел я его — *было:* и Петрашевского увидал я

[5] *Далее было:* и

[6] *Было:* вечер

[7] до сих пор *вписано.*

[8] *Было:* многих

стова я узнал уже во время ареста.[1] Так же точно и Кропотова, которого я видел, кажется, всего только один раз у Петрашевского. Что же касается до Кашина, то я его и в лицо не знаю, и у Петрашевского никогда не видал. С иными я сошелся ближе, чем с другими. Впрочем,[2] не всякое знакомство было сделано у Петрашевского. Из ближайших мне были: Плещеев, Дуров, Пальм. Кроме того, я знал младшего Десбута, Кайданова, Львова, Момбелли, Баласогло, Филиппова. Они бывали у Петрашевского довольно часто, но помню, что бывали они не всякий раз. [3] Кайданов был раза четыре в зиму,[4] Кузьмин один раз, Плещеев раза четыре, не более. Старшего Десбута я почти не помню. Он, брат его, Кайданов, Пальм почти никогда не принимали участия в общем разговоре. Из введенных мною к Петрашевскому были Головинский и мой брат. Головинский собирался ехать в Казань. Узнавши о том от меня случайно, Петрашевский сказал, что ему бы хотелось послать письмо в Казань с Головинским, и я вызвался привести Головинского к нему.[5] Головинского же я склонил идти потому, что он уже знал прежде о Петрашевском, по слухам, и раз [6] об нем у меня спрашивал. Я повел Головинского, собственно, только затем, чтоб показать ему Петрашевского и его знакомых, зная, что ему [7] придется быть у Петрашевского не более двух раз до отъезда, то есть что я не навяжу скучного и неприятного знакомства ни тому, ни другому [8] за краткостию срока этого знакомства. Головинский был всего [9] два раза.

Брат мой, Михайло Достоевский, познакомился с Петрашевским тоже через меня, когда жил со мною вместе по приезде [10] из Ревеля. Петрашевского он увидал в первый раз у меня и был приглашен им на вечера;[11] я повел брата, чтобы доставить ему знакомство и развлечение; ибо по приезде из Ревеля он никого не знал в Петербурге и скучал по своем семействе. Но брат мой никогда не принимал никакого участия в разговорах у Петрашевского. Я не слыхал, чтобы он сказал хоть [12] два слова. Все, бывавшие у Петрашевского, знают это. Ходил он реже меня и если ходил, то ходил из любопытства и потому, что, будучи человеком семейным, весьма небогатым, трудящимся,[13] отказывающим себе почти

---

[1] *Далее было начато:* Я неско⟨лько⟩

[2] *Далее было начато:* наше зн⟨акомство⟩

[3] *Вместо:* что бывали ∾ раз — *было:* что не всякий раз встречал

[4] в зиму *вписано.*

[5] *Вместо:* вызвался ∾ к нему — *было:* сказал, что приведу его к Петрашевскому

[6] *Далее было начато:* говорил со

[7] *Было:* Головинскому

[8] ни тому, ни другому *вписано. Далее было начато:* ибо на скуку не дост⟨анет⟩ времени

[9] всего *вписано.*

[10] *Было:* во время приезда

[11] *Вместо:* им на вечера — *было начато:* и

[12] хоть *вписано.*

[13] трудящимся *вписано.*

во всех наслаждениях, он не мог отказать себе в единственном развлечении: поддерживать весьма небольшой круг знакомства, чтоб не одичать в домашнем углу совершенно. Я говорю это к тому, что брат познакомился с Петрашевским через меня, что в этом знакомстве я виноват, а вместе в несчастии брата и семейства его. Ибо, если я и другие в эти два месяца заключения вытерпели только тоску и скуку, то он выстрадал в десять раз более в сравнении с нами. Он [1] от природы сложения слабого, наклонен к чахотке и, сверх того, мучается душою о погибшем семействе своем, которое должно буквально и неизбежно погибнуть от тоски, лишений и голода в его отсутствие. И потому этот арест должен [2] быть для него буквально казнию, тогда как виновен [3] он менее всех. Я считал себя обязанным сказать это; ибо знаю, что он не виноват ни в чем [4] не только словом, но даже мыслию.

Чаще всех бывали Чириков, Деев и Мадерский, но те жили [5] в доме Петрашевского.

Федор Достоевский

⟨Вопрос.⟩ Известно, что в собрании у Петрашевского 11-го марта Толль говорил речь о происхождении религии, доказывая, между прочим, что она не только не нужна в социальном смысле, но даже вредна. Сделайте об этом объяснение.

⟨Ответ.⟩ Я слышал об речи Толля о религии от Филиппова, который сказал мне, что он на нее возражал. Самого же меня в тот вечер у Петрашевского не было.

Федор Достоевский

⟨Вопрос.⟩ На собрании у Петрашевского 18 марта Ястржембский говорил речь о науках и, между прочим, объяснил, что статистика по-настоящему должна называться не статистикою, а общественною социальною наукою, но как великий князь велел называть ее статистикою, то нечего делать, надобно ее так и называть. Сделайте об этом объяснение.

⟨Ответ.⟩ Не был и не слыхал. В марте месяце с 1-го до 25-го числа я был нездоров и выходил из дома разве по самонужнейшим надобностям.

Федор Достоевский

⟨Вопрос.⟩ Известно, что в собрании у Петрашевского 25-го марта говорено о том, каким образом должно восстановлять подведомственные лица против властей. Дуров утверждал, что всякому должно показывать зло в самом его начале, то есть в законе и государе. Напротив, Берестов, Филиппов, Кайданов и Баласогло говорили, что должно вооружать подчиненных противу ближай-

---

[1] *Было:* Ибо он

[2] *Вместо:* этот арест должен — *было:* это заключение должно

[3] *Вместо:* тогда как виновен — *было:* а виновен

[4] *Вместо:* не виноват ни в чем — *было:* не виновен

[5] *Далее было начато:* в од⟨ном⟩

шей власти и, переходя таким образом от низших к высшим, невольно как бы ощупью, довести до начала зла. Сделайте об этом объяснение.

⟨Ответ.⟩ В этот раз меня у Петрашевского не было. Слышал об этом разговоре от Филиппова.

Федор Достоевский

⟨Вопрос.⟩ При тех же разговорах Филиппов сказал: «Наша система пропаганды есть наилучшая, и отступать от нее значит отступать от возможности исполнения наших идей». Объясните эти слова.

⟨Рукою неустановленного лица.⟩ Не был в собрании и потому не спрошен.

⟨Вопрос.⟩ В собрании у Петрашевского 1-го апреля Петрашевский, говоря о цензуре, объяснял, что хотя она и стесняет возможность большего развития, но приносит и ту пользу, что, вычеркивая все нелепости из какого-нибудь сочинения, она дает этому сочинению вид дельный и порядочный; напротив, если бы цензура была уничтожена, то явилось бы множество людей, влекомых личными побуждениями и страстями, которые хотя своими талантами заслужат место в истории литературы, но за всем тем будут служить препоною к развитию человечества и к достижению цели, им всем любезной. Объясните.[1]

⟨Ответ.⟩ Слышал подобное мнение от Петрашевского.

Федор Достоевский

⟨Вопрос.⟩ На том же собрании, при разговоре об освобождении крестьян, говорено было, что идеею каждого должно быть освободить этих угнетенных страдальцев, но что правительство не может освободить их, ибо без земель освободить нельзя; освободив же с землями, должно будет вознаградить помещиков, а на это средств нет; освободив же крестьян без земель или не заплатив за землю помещикам, правительство должно будет поступить революционным образом; но каким образом приступить к освобождению крестьян без воли правительства, в этих словах не объясняется. Объясните о мерах, к тому предполагаемых.

⟨Ответ.⟩ Весь этот разговор слышал.[2] Слова Головинского припоминаю; он говорил с увлечением, но окончательного вывода, того, где сказано, что освободить нужно бунтом, не припоминаю и утверждаю, что разошлись безо всякого[3] разрешения на этот вопрос. Всё кончилось большим спором.

Ф. Достоевский

При словесном объяснении я согласился, что Головинский сознает возможность внезапного восстания крестьян самих собою,

---

[1] *Далее было:* об этой цели.
[2] *Вместо:* Весь ∾ слышал. — *было начато:* О всем разговоре сл⟨ышал⟩
[3] *Далее было начато:* ок⟨ончательного⟩ разрешения

потому что они уже достаточно сознают тягость своего положения. В этом и заключался вопрос, мне предложенный, но я его не понял вначале. Но считаю себя обязанным прибавить, что Головинский выражал эту идею как факт, а не как желание свое; ибо, допуская возможность освобождения крестьян, он далек от бунта и от революционного образа действий. Так мне всегда казалось из разговоров с Головинским.

Ф. Достоевский

⟨Вопрос.⟩ В опровержение сказанного Головинским Петрашевский говорил, что при освобождении крестьян должно непременно произойти столкновение сословий, которое, будучи бедственно уже само по себе, может быть еще бедственнее, породив военный деспотизм или, что еще хуже, — деспотизм духовный. Объясните, что подразумевалось под военным деспотизмом и деспотизмом духовным?

⟨Ответ.⟩ Помню, что Петрашевский опровергал Головинского. Ответа Головинского ясно не припоминаю, хотя помню, что он пустился в довольно длинное развитие. Может быть, я был развлечен в эту минуту посторонним разговором. Не [1] припоминая совершенно, как было дело,[2] я не могу отвечать ясно на этот вопрос, а потому принужден оставить его без ответа.

Федор Достоевский

Что же касается до Петрашевского, то припоминаю, что он говорил о необходимости реформ: юридической и цензурной прежде крестьянской и даже вычислял преимущества крепостного сословия крестьян перед вольным при нынешнем состоянии судопроизводства. Но не упомню хорошо, что означали слова: военный и духовный деспотизм. К тому же и Петрашевский говорил [3] иногда темно и бессвязно,[4] так что его трудно понять.

Федор Достоевский

⟨Вопрос.⟩ На том же собрании Петрашевский, говоря о судопроизводстве, объяснял, что в нашем запутанном, многосложном и с предубеждениями судопроизводстве справедливость не может быть достигнута, и если из тысячи примеров и явится один, где она достигается, то это происходит как-то ненарочно, случайно; что одно судопроизводство возможно, в котором достигалась бы цель его, то есть справедливость, — это судопроизводство публичное — juri.[5] Сделайте о сем объяснение.

⟨Ответ.⟩ Было сказано.

Федор Достоевский

---

[1] *Далее было начато:* име⟨я⟩
[2] *Вместо:* как было дело — *было:* вопроса
[3] *Было:* говорит
[4] *Было начато:* не связано
[5] суд присяжных (*франц.*).

⟨Вопрос.⟩ В том же разговоре Петрашевский объяснил, что не следует требовать перемены в судопроизводстве, а всеподданнейше просить об этом, потому что правительство, и отказавши, и удовлетворивши просьбе, поставит себя в худшее положение. Отказавши просьбе сословию, оно вооружит его противу себя, и идея наша идет вперед. Исполнивши просьбу, оно и ослабит себя и даст возможность требовать большего, и все-таки идея наша идет вперед. Объясните об этом.

⟨Ответ.⟩ Это было говорено. Смысл, по-моему, ясен сам по себе, без объяснения.

Федор Достоевский

⟨Вопрос.⟩ В этом же собрании Головинский говорил, что перемена правительства не может произойти вдруг, но что прежде надо утвердить диктатуру. Дайте об этом объяснение.

⟨Ответ.⟩ Несмотря на отдаленность времени, я старался собрать все мои воспоминания об этом вечере и, припомнив многие из разговоров, никак не мог припомнить, чтоб были сказаны такие слова о нашем правительстве.[1]

Головинский принимался говорить во всеуслышание два раза. Первый раз он говорил о насущности крепостного вопроса, о том, что все заняты этим вопросом [2] и что действительно участь крестьянина достойна внимания. Во второй же раз, отвечая Петрашевскому,[3] он поддерживал свое мнение о том, что разрешение вопроса о крестьянах важнее требования юридической и цензурной реформы. В оба раза он говорил довольно коротко, первый раз не более 10 минут и во второй не более четверти часа; об этом воспоминания мои точны, и в оба раза начал и кончил только разговором о крестьянах, не вдаваясь в другие темы.[4] В такой краткий срок он не мог бы коснуться ни до чего другого, кроме вышеприведенных [5] тем, на которые он говорил. Но чтоб заговорить о таком пункте, как перемена правительства, да еще вдаваться в подробности (ибо если он говорил, что не вдруг может измениться [6] правительство, то необходимо должен был сказать хоть несколько слов в объяснение своего мнения,[7] уже по самой важности темы; да к тому же, как изложено в предложенном мне вопросе, он и действительно вдался в подробности, потому что, как приводится в вопросе, предложил меру, то есть сказал, *«что надо утвердить диктатуру»*, и необходимо, естественно,[8] должен был сказать хоть два слова о том: какую диктатуру), то, повторяю,

---

[1] *Вместо:* были сказаны ∾ правительстве — *было: а.* было сказано что-нибудь подобное *б.* были сказаны такие ⟨*нрзб.*⟩ слова

[2] *Вместо:* все заняты этим вопросом — *было:* все им заняты

[3] отвечая Петрашевскому *вписано.*

[4] и в оба раза ∾ темы. *вписано.*

[5] *Было начато:* вышеуп⟨омянутых⟩

[6] *Вместо:* может измениться — *было:* перемениться

[7] своего мнения *вписано.*

[8] естественно *вписано.*

заговоря на эту тему и необходимо вдаваясь в подробности, он вдруг перескочил бы от своей прежней темы к совершенно другой; кроме того, заговорил бы о таком пункте, о котором и слова не было до его речи; в-третьих, сделал бы это по какому-нибудь поводу, а повода ему дано не было;[1] наконец, должен бы был проговорить гораздо более четверти часа или, положим, 20-ти минут. (Насчет времени продолжения речи[2] Головинского я надеюсь на точность моих воспоминаний и надеюсь тоже, что никто не покажет противного.) Следственно, *если даже и было сказано что-нибудь подобное*, то оно было сказано, по всем вышеизложенным мною причинам, до того вскользь, мимолетом, между словами, и с таким незначительным смыслом,[3] что не удивительно, если я не только позабыл теперь об этих словах, но даже пропустил их и тогда, в минуту самого разговора. Кроме того, и сказаны были, по моему мнению, не эти слова, а только что-нибудь подобное этим словам, например, что так бывает *вообще* при перемене какого-либо правительства, а не нашего правительства.[4]

Я написал выше «*если даже и было сказано*». Этими словами я вовсе не хотел утверждать,[5] что показание на Головинского было сделано неверно. Но я только хотел сказать, что этим словам Головинского (если даже они и были сказаны), очевидно, придан преувеличенный смысл, и желал[6] доказать это уже одной физическою невозможностию, недостатком времени для разговора на такую важную, новую тему, не упоминая уже о неожиданности перескока с прежней темы на новую, которая уж неизвестно мне, как и по какому поводу, вышла. Итак, может быть, он и сказал это, хорошо не упомню, но вскользь и *вообще*, а вовсе не как желание перемены нашего правительства.[7] В одном из ответов моих на вопрос, предложенный мне о Головинском, я сказал, что знаю Головинского лично, знаю идеи его и никогда не слыхал от него о желании исполнения идей его бунтом и вообще всяким насильственным образом. Подтверждаю и теперь, что[8] о перемене правительства я никогда не слыхал от него ни слова. Головинский всего чаще[9] говорил о положении крестьян, потому что увлекался этим вопросом, и, помнится, даже и не говорил никогда[10] на какую-нибудь другую тему, если только разговор начинался в таком роде. По крайней мере я не слыхал ничего подобного.[11]

Федор Достоевский

---

1 а повода ∾ не было *вписано. Далее было начато*: в-четвер⟨тых⟩
2 *Вместо*: речи Головинского — *было:* разговора
3 и с таким незначительным смыслом *вписано.*
4 Кроме того ∾ правительства. *вписано.*
5 *Было:* сказать утвердительно
6 желал *вписано.*
7 *Было:* в нашем правительстве; Итак, ∾ правительства. *вписано.*
8 Подтверждаю и теперь, что *вписано.*
9 *Далее было начато:* да ⟨*нрзб.*⟩
10 никогда *вписано.*
11 *Далее было:* ⟨*2 строки нрзб.*⟩

Сейчас только я припомнил, что в одном из разговоров моих с Головинским, один на один, у меня на квартире, мы заговорили о крестьянах и о возможности их освобождения. Так как я очень интересовался этим вопросом, то и спросил Головинского, каким образом он полагает возможность освобождения крестьян, не разорив помещиков, то есть при вознаграждении помещиков, представляя ему, что иначе вопроса и нельзя разрешить; ибо нашего времени помещик не сам поработил крестьян, а случилось это до него за два столетия, то есть в этом он нисколько не виноват,[1] а теряя право на крестьянина, он теряет работника, след⟨ственно⟩, капитал? Я очень хорошо помню, что Головинский не только согласился с этим, но даже сказал мне, что, по его идее, нет прямой невозможности освободить крестьянина с вознаграждением, что, напротив,[2] вознаграждение возможно, и даже сказал несколько слов о какой-то финансовой мере, по которой бы можно было, рассрочив на несколько лет платеж, выплатить всё сполна. Но о мере [3] этой, так как она изложена была очень вскользь и мы были прерваны, я не упомню.[4]

Я привел это воспоминание к тому, чтоб показать, что Головинский не желает революционного и всякого [5] насильственного образа действия, что, по моему *окончательному* мнению, он только занят сильно крестьянским [6] вопросом, потому что этот вопрос интересен [7] сам по себе и достоин внимания, и останавливается на мерах мирных,[8] возможных, а не сокрушающих. Вот с какой стороны я знаю Головинского.

Федор Достоевский

⟨Вопрос.⟩ Известно, что на собрании у Петрашевского, 15 апреля, Петрашевский читал речь по поводу отдания первенства вопросу о судопроизводстве и, между прочим, говорил, что переменою судопроизводства откроются и все прочие недостатки и что восстания нельзя предпринимать без уверенности в совершенном успехе, что перемены судопроизводства можно достигнуть законным образом, требуя от правительства таких вещей, в которых оно не может отказать, сознавая их справедливость, и что, достигнувши перемены в судопроизводстве, можно будет требовать у правительства и других перемен. Дайте о сем объяснение и покажите, по какому случаю вы читали на этом собрании письмо Белинского к Гоголю.

---

[1] то есть в этом ∾ не виноват *вписано.*
[2] *Вместо:* напротив — *было начато:* это сделать ⟨возможно⟩
[3] *Было:* и о мере
[4] *Далее было:* Помню только, что он в ⟨*неск. нрзб.*⟩
[5] всякого *вписано.*
[6] *Было:* этим
[7] *Вместо:* потому ∾ интересен — *было:* так как он очень интересен
[8] *Вместо:* и останавливается на мерах мирных — *было:* и ищет мер мирных

⟨Ответ.⟩ Так как это в[1] идее Петрашевского, то оно могло быть сказано.* Я же после чтения находился в другой комнате, кажется, с Кайдановым и Пальмом.

Я прочел письмо Белинского Гоголю, вызвавшись сам, при свидании с Петрашевским у Дурова.[2] Я дал обещание и уже не мог отказаться от него. Петрашевский напомнил мне об этом обещании уже у себя на вечере.[3] Впрочем, он не знал и не мог знать содержания письма. Я его прочел, стараясь не выказывать пристрастия ни к тому, ни к другому из переписывавшихся. По прочтении письма я не говорил об нем ни с кем из бывших у Петрашевского.[4] Мнений об этой переписке тоже не слыхал. При чтении слышны были иногда отрывочные восклицания, иногда смех, смотря по впечатлению, но из этого я не мог заметить чего-нибудь целого. К тому же, быв занят[5] чтением, я не могу даже сказать теперь, чьи были восклицания и смех,[6] которые были слышны.

Сознаюсь, что я поступил неосторожно.

Ф. Достоевский

* По более зрелом обсуждении вопроса я нахожусь вынужденным дать некоторое объяснение на мой ответ. В вопросе приведена следующая фраза, в которой обвиняется Петрашевский: «... и что восстания нельзя предпринимать без уверенности в совершенном успехе...» Я отвечал выше, что всё, что предложено в вопросе, в идее Петрашевского. Этими словами я подразумевал только известное желание Петрашевского о переменах и улучшениях в судопроизводстве, — желание, исполнения которого он ожидает[7] прежде всего. Что же касается до слов о восстании, то долгом считаю сказать, что я никогда не слыхал от Петрашевского никаких проектов о восстании, ни наедине, ни среди общего разговора, что с этой стороны Петрашевского не знаю[8] и потому[9] не могу сказать, чтоб и эти слова были в его идее. Находясь во время речи в другой комнате, не могу ничего сказать об этих словах положительного, но догадываюсь и предполагаю, что они были сказаны не в виде проекта насущного и необходимого, а только фактически, как дока-

---

[1] *Вместо:* Так как это в — *было начато:* *а.* Так как это вообще в ид⟨ее⟩ *б.* Так как это вообще мо⟨гло⟩ *в.* Так как эта мысль вообще

[2] *Было начато:* [у Дурова] во время сви⟨дания с Петрашевским⟩

[3] *Вместо:* у себя на вечере — *было:* в пятницу

[4] *Вместо:* из бывших у Петрашевского — *было начато:* с слушате⟨лями⟩

[5] *Было:* занятый

[6] *Вместо:* сказать теперь ∾ смех — *было:* сказать, чьи слы⟨шны⟩ были восклицания, смех, отдельные слова

[7] *Было:* желает

[8] что с этой стороны Петрашевского не знаю *вписано.*

[9] *Было:* ибо

зательство невозможности [1] всякого восстания вооруженной рукой. Убежден же я потому, что сам заметил неоднократно, что Петрашевскому очень не нравилось,[2] когда кто, не удержавшись, говорил у него на вечерах слишком резко и неосторожно.[3] Я заметил тоже, что он всегда старался как-нибудь замять подобный промах и чье-нибудь неблагоразумное слово.[4]

Но этим объяснением моим я не могу и отнюдь не желаю ручаться в чем-нибудь за Петрашевского, за его тайные намерения, если они есть у него (которых [5] я никогда не знал), за его сокровенный образ мыслей. Может быть, мне действительно придется сознаться, что я знал его еще менее того, чем [6] предполагал знать. Не хочу тоже и оправдывать словами моими и его уже известный мне образ мыслей. Нет; но я привожу мое объяснение, единственно [7] побуждаемый чувством справедливости. Я должен сказать истину. И потому, повторяю, что излишне резкого слова, так, наприм⟨ер⟩, о бунте, о восстании вооруженной рукой, Петрашевский не мог сказать в *виде желания у себя на вечере*,[8] то есть таким образом, как будто бы эта фраза, взятая отдельно, в виде трактата [9] о средствах к восстанию и к бунту, могла, в свою очередь, послужить темою для разговора в другую [10] пятницу. Подтверждаю и повторяю еще, что собрания Петрашевского вовсе не были такого [11] рода, на которых бы толковалось о средствах к бунту.[12] В воспоминаниях моих я не нахожу ни одной подобной речи или мысли, изложенной или самим Петрашевским, или кем-нибудь из его посетителей на его вечерах. Наконец, я твердо уверен, что если б Петрашевский и позволил себе такие темы для разговора или допустил бы другого кого-нибудь развивать подобную идею, то в следующую пятницу у него не было бы посетите-

---

[1] *Вместо:* догадываюсь и предполагаю ∾ невозможности — *было:* убежден, что они были сказаны не в виде проекта ⟨*неск. нрзб.*⟩ [а в виде невозможности] только фактически доказывая необходимость ⟨*неск. нрзб.*⟩

[2] *Вместо:* заметил неоднократно ∾ не нравилось — *было начато:* слышал несколько раз от Петрашевского, что ему бы очень не нравилось, если б кто стал то⟨гда⟩

[3] *Вместо:* на вечерах ∾ неосторожно — *было:* «в пятницу» слишком резкое и неосторожное слово

[4] *Вместо:* Я заметил ∾ неблагоразумное слово. — *было:* Он всегда старался замять подобный промах и неблагоразумное слово. *Далее было начато:* Кро⟨ме⟩

[5] *Было:* *а.* о чем *б.* и которых

[6] *Было:* как

[7] *Далее было начато:* потому что

[8] у себя на вечере *вписано.*

[9] *Вместо:* в виде трактата — *было:* то есть трактат

[10] *Было:* в какую-нибудь

[11] *Было:* подобного

[12] *Далее было:* в виде настоятельной необходимости

лей. По крайней мере, я могу поручиться за тех, кого я знаю. Не говоря уже о тайных побуждениях и сокровеннейших планах Петрашевского и каждого из его посетителей (предполагая только возможность существования этих планов),[1] не говоря об них и нисколько [2] не оправдывая отрицанием их вечера Петрашевского, я хочу только сказать, чтобы заключить мое объяснение, что Петрашевский и гости его [3] не могли быть так неблагоразумны, чтобы делать *заговор*, если б даже и хотели (о чем опять [4] говорю, отнюдь не утверждая, но в виде предположения),[5] таким открытым, неосторожным и безрассудным образом.

Я должен был дать это объяснение и для [6] того, чтобы сказать истину, и для того, чтобы не бросить предшествовавшим ответом моим [7] опасной и несправедливой тени подозрения на многих [8] из бывавших у Петрашевского, которых мнения я знаю близко и за которых даже могу поручиться.[9]

Федор Достоевский

⟨Вопрос.⟩ Кроме указанных вам разговоров, происходивших на собраниях у Петрашевского, не было ли там говорено еще чего-нибудь особенного в отношении правительства и кто именно говорил?

⟨Ответ.⟩ Я не упомню ни одного из разговоров, особенно замечательных, кроме тех, на которые имел честь дать объяснение и которые заняли [10] прошедшей зимой почти все пятницы Петрашевского, начиная с октября месяца. Впрочем, говорю только за те вечера, на которых я сам лично присутствовал. Речь Тимковского занимала два или три вечера (я был на двух); Ястржембский говорил вечеров пять (я был раза три). Наконец, я знаю по слухам, что говорили Толль, Филиппов, и еще был спор [11] о чиновниках. Потом я был лично на двух вечерах, [12] на которых толковалось о литературе. Потом, когда говорилось о вопросах: крестьянском, цензурном и судебном. В эти два раза я присутствовал — и вот все речи и разговоры, которые я знаю, кроме не политических и не серьезных: так, например, было

---

[1] *Вместо:* (предполагая ∾ планов) — *было: а.* предполагая только их возможность *б.* предполагая только возможность их существования

[2] нисколько *вписано.*

[3] *Было:* что ни Петрашевский, ни гости его

[4] опять *вписано.*

[5] *Далее было начато:* так ч⟨то⟩

[6] *Было начато:* особенно в интер⟨есах⟩

[7] предшествовавшим ответом моим *вписано.*

[8] *Далее было начато:* п⟨етрашевцев⟩

[9] *Было:* ручаться

[10] *Далее было начато:* почти всю ны⟨нешнюю⟩

[11] *Вместо:* еще был спор — *было:* спорили

[12] *Далее было начато:* посвящен⟨ных⟩

несколько слов, сказанных Момбелли о вреде карт и о растлении нравов из-за игры. По его идее, карты, доставляя ложное и обманчивое занятие [1] уму, отвлекают его от истинных потребностей, от образования и полезных занятий.

У Петрашевского не всегда говорились (как уже назвали их) *речи:* слово давалось *по большей части тем,* которые говорили против убеждений большинства присутствующих, для того чтобы не всякий из несогласных [2] возражал в одно время и тем не затягивал и не сбивал [3] напрасно разговора. Но большею частию, особенно после речей, тотчас же разбивались на кучки, и разговор шел перекрестный, о котором упомнить нельзя, да и уловить всего было невозможно. Очень многое из того, что предлагалось [4] мне для ответа, по-видимому, было [5] сказано во время этих шумных [6] отдельных разговоров. Но да позволят мне сказать *вообще* несколько слов об этих речах и разговорах.

Так как говорить речей у нас никто не привык и не умеет, то обычай говорить речь, введенный на вечерах Петрашевского [7] единственно во избежание излишнего шума, смущал говоривших своею новостию и непривычкою. И я заметил неоднократно, что часто говорящий, [8] чтоб ободрить себя, как бы нарочно прибегал [9] к некоторым уловкам, которые и [10] не в характере, и не в привычке его. Одна из таких уловок есть острое словцо, слово для смеха, слово пасквильное, насмешка, резкая выходка. Раздающийся кругом смех уже ободряет говорящего; он по естественному чувству увлекается, удваивает резкость, заговаривается, впадает в ложную горячность, в негодование, даже в озлобление, которых нет в его душе; потому что, как мне было известно, часто говоривший бывал из самых незлобивых [11] и смиренных людей. Тут и тщеславие явится на подмогу и разжигает говорящего, [12] и желание угодить всем и каждому, заставляющее иногда для вида [13] согласиться с чужою идеей, которой вовсе [14] не разделяет ораторствующий, но соглашается в надежде, что зато не тронут и его какой-нибудь задушевной идеи. Наконец, само-

---

[1] *Вместо:* доставляя ∾ занятие — *было начато: а.* доставляя ложну⟨ю⟩ *б.* доставляют ложное и обманчивое упражнен⟨ие⟩

[2] *Было:* этих несогласных

[3] и не сбивал *вписано.*

[4] *Было:* предполагалось

[5] *Вместо:* по-видимому, было — *было:* должно было быть

[6] *Далее было начато:* возб⟨ужденных⟩

[7] *Далее было начато:* во из⟨бежание⟩

[8] *Далее было начато:* как бы нарочно пр⟨ибегает⟩

[9] *Было:* прибегает

[10] *Вместо:* которые и — *было:* которые иногда

[11] *Вместо:* бывал из самых незлобивых — *было:* был самый незлобивый

[12] *Далее было начато:* и потому многие

[13] *Далее было: а.* для того, чтобы прошла своя задушевная мысль *б.* для того: чтобы дали ход иной задушевной мысли *в. начато:* в надежде, что за⟨душевная мысль⟩

[14] вовсе *вписано.*

любие, разжигающее человека и заставляющее его [1] по нескольку раз требовать слова и с нетерпением ожидать следующего вечера, чтобы опровергнуть своих возражателей, — одним словом, для многих (для очень многих, по моему искреннему убеждению) эти вечера, эти речи, эти разговоры были настолько же серьезным занятием, насколько серьезны карты, шахматная игра и т. п., в свою очередь неотразимо [2] увлекающие человека, действуя точно таким же образом [3] на те же страсти и страстишки его. Очень многие, по моему мнению, самих себя обманывали и опутывали в этой игре у Петрашевского, [4] принимая игру за серьезное дело. Так же точно разговоры в кучках. Всё, что накопится недосказанного, что накипит [5] в уме в противуречиях на иную длинную речь, которую должно [6] выслушать, не возражая ни слова, [7] всё это изливается разом по окончании речи, тем с большею силою, чем длиннее была речь, чем больше [8] согласных с нею и чем больше явилось [9] собственных противуречий. В это время трудно удержаться от резкого слова, от иной мысли, до того неосторожной, до того не в обыкновенном, нормальном характере того, кто высказывает ее, [10] что, наверно, высказавший [11] на завтра же или, может быть, тут же, через час, отказался бы [12] от нее, спохватившись, но поздно. К тому же вечера Петрашевского [13] слыли всегда за приятельские, за кружок знакомых, а вовсе не были клубом или нарочно устроенным политическим сборищем.

Я говорю это утвердительно, рассуждая так: [14] что если бы (говоря в виде предположения) и был кто-нибудь желающий участвовать в политическом собрании, в тайном обществе, в клубе, то, наверно, он не принял бы за тайное общество вечеров Петрашевского, где была одна только болтовня, иногда [15] резкая оттого, что хозяин ручался, что она приятельская, *семейная,* и где вместо всего регламента и всех гарантий был только один колокольчик, в который звонили, чтобы [16] потребовать кому-нибудь слова. Но уже по одному тому, что эти вечера были *приятельские, семейные,* если можно так выразиться, уже по одному этому не остерегались

---

[1] *Далее было начато:* для
[2] *Далее было начато:* и го⟨рячо⟩
[3] точно таким же образом *вписано.*
[4] у Петрашевского *вписано.*
[5] *Далее было начато:* про⟨тивуречащего⟩
[6] *Было:* должен
[7] *Далее было начато:* согл⟨асившись⟩
[8] *Далее было начато:* про⟨тивуречий⟩
[9] *Было:* явившихся
[10] *Вместо:* того, кто высказывает ее — *было:* ее высказавшего
[11] *Было:* он
[12] *Было:* отказывается
[13] *Было:* эти
[14] *Было:* потому
[15] иногда *вписано.*
[16] *Было начато:* когд⟨а⟩

иные и говорили неосторожно. Говорили так, как бы они не стали говорить публично. Кто не будет [1] виноват, если судить всякого за сокровеннейшие мысли его или даже за то, что сказано в кружке близком, тесном, приятельском, чуть не наедине? [2] Но семейный и публичный человек — лица разные. Я был серьезно удивлен, когда мне на первом же допросе представлена [3] была от высочайше утвержденной комиссии фраза, сказанная Дуровым, для подания на нее объяснений, смысл которой был тот, «что нужно посредством литературы показывать чиновникам самый корень зла, или иначе [4] — высшее начальство». Я лично знаю Дурова. Я очень хорошо помню, что он горячо поддерживал меня во время двукратного моего спора у Петрашевского о литературе, — спора, в котором я доказывал, что [5] литературе *не нужно никакого направления, кроме чисто художественного,* а след⟨ственно⟩, и подавно не нужно такого, [6] по которому выказывается, как сказано в обвинении, в словах, приписываемых Дурову, — *корень зла* (не нужно же [7] потому, что навязывается писателю направление, стесняющее его свободу, и вдобавок направление желчное, ругательное, от которого гибнет художественность *). [8]

В тот вечер, в который происходил разговор о чиновниках, [9] меня не было у Петрашевского, как уже я имел честь донести; о споре слышал я на другой или на третий день (хорошо не помню когда) вскользь; слов Дурова не знаю. Но зная его образ мыслей, я уверен, что слова эти или не поняты передавшим их, или сказаны в припадке, в досаде от противуречий, в горячке. Я знаю Дурова как за самого незлобивого человека; но вместе с тем он болезненно раздражителен, раздражителен до припадков, горяч, не удерживается на слова, забывается и даже [10] из противуречия говорит иногда против себя, против своих задушевных убеждений, когда раздражен на кого-нибудь. Близкие Дурова: Щелков и Пальм — еще лучше меня [11] знают его несчастный характер, и я уверен, что и они скажут со мной в одно слово, одно мнение о Дурове. Что случилось с Дуровым, то могло быть в большей или меньшей силе со всеми. Представляю эти наблюдения и замечания мои по долгу справедливости, по естественному чувству, убежденный, что я не вправе скрыть их теперь, при этом ответе моем.

Федор Достоевский

---

[1] будет *вписано.*
[2] *Вместо:* чуть не наедине — *было:* задушевном
[3] *Было начато:* сдел⟨али⟩
[4] *Вместо:* или иначе — *было:* то есть
[5] *Далее было:* ⟨*нрзб.*⟩
[6] *Вместо:* след⟨ственно⟩ ∾ такого — *было:* ста⟨ло быть⟩
[7] *Было:* и не нужно
[8] *Далее было начато:* Как уже я имел честь донести
[9] в который ∾ о чиновниках *вписано.*
[10] *Далее было начато:* подстрека⟨емый⟩
[11] еще лучше меня *вписано.*

* С чем Петрашевский совершенно согласился. Оказалось, что мы спорили из-за недоразумения. Свидетели — все гости Петрашевского.

⟨Вопрос.⟩ Объясните, что и в каком духе читал Тимковский на собрании у Петрашевского.

⟨Ответ.⟩ Тимковский бывал [1] у Петрашевского в начале зимы, всего на четырех или на пяти вечерах. Это, как показалось мне, один из тех исключительных умов, которые если принимают какую-нибудь идею, то принимают ее так, что она первенствует над всеми другими, [2] в ущерб другим. Его поразила только одна изящная сторона системы Фурье, и он не заметил других сторон, которые бы могли охладить его излишнее увлечение Фурье. [3] Кроме того, он недавно только ознакомился с его системой [4] и еще не успел переработать ее собственной критикой. Это по всему было видно. А известно, какое обаяние делает система Фурье с первого раза.

Во всех других отношениях Тимковский показался мне совершенно консерватором и вовсе не вольнодумцем. Он религиозен и в идеях самодержавия. [5] Известно, что система Фурье не отрицает самодержавного образа правления. Что же касается до личного характера Тимковского, [6] мимо политических убеждений, то я могу сказать одно: он показался мне очень самолюбивым.

Сколько я могу припомнить, за отдаленностию срока, речь его заключалась в следующем,

Во-первых, он благодарил всех за то, [7] что его хорошо приняли, хотя три четверти лиц, бывших в то время в зале, едва знали его по фамилии, то есть вступление было сделано немного напыщенно, да и вся речь мне показалась в том же духе. [8] Потом он объявлял, что скоро уезжает из Петербурга и уносит в душе утешение, что его поняли. Затем он говорил о Фурье с большим уважением, помнится, коснулся многих выгод его системы и желал ее успеха. Впрочем, Тимковский постигнул невозможность немедленного применения системы. Потом [9] увещевал быть согласными в идеях, кто бы какой социальной системы не держался, оговариваясь тут же, что он зовет не на бунт и не желает тайного общества; наконец, [10] просил изъявить ему симпатию нашу, если он заслужил ее, пожатием руки. Речь была написана горячо;

---

[1] *Было:* был
[2] *Далее было:* нередко
[3] *Было:* к системе
[4] *Было:* системой Фурье
[5] *Вместо:* и в идеях самодержавия — *было:* и [верит] в идеях полного самодержавия
[6] *Было:* своего
[7] *Было начато*: хороший ⟨прием⟩
[8] *Было:* такою же
[9] *Было:* Затем
[10] *Было:* затем

видно, что Тимковский работал над слогом и старался угодить на все вкусы. Но направление Тимковского, по моему мнению, несерьезно. Несмотря на свои лета, он еще в первом периоде своего фурьеризма, который случайно попал на его дорогу в глуши провинциальной жизни. Недостаток внешней жизни, избыток внутреннего жара, врожденное чувство изящного, требовавшее пищи, и, главное, недостаток прочного, серьезного образования, вот, по моему мнению, [1] что сделало его фурьеристом. В его же летах всё принимается несколько глубже, чем в первой молодости. На мой взгляд, он может отказаться от многих из своих фурьеристических убеждений, так что от системы Фурье ему останется только то, что в ней полезного. Ибо ум его, жаждущий познаний, беспрерывно требует пищи, а образование самое лучшее лекарство против всех заблуждений. [2] Вот мой собственный взгляд на Тимковского.

Что же касается до впечатления, произведенного им у Петрашевского, то, как показалось мне, оно было очень двусмысленно. Некоторые смотрели на Тимковского с насмешливым любопытством; некоторые скептически не верили его искренности. [3] Некоторые принимали его за истинный, дагерротипно верный снимок с Дон-Кихота и, может быть, не ошибались. Впрочем, все обошлись с ним весьма учтиво и приветливо.

Федор Достоевский

⟨Вопрос.⟩ Бывали ли вы на собраниях у Спешнева, Кашкина, Кузьмина, Дурова, Данилевского и не было ли подобных собраний и у других лиц?

⟨Ответ.⟩ Со Спешневым я был знаком лично, езжал к нему, но на собраниях у него не бывал и почти в каждый приезд мой к нему [4] я заставал его одного.

С господами Кашкиным и Кузьминым я совсем не знаком.

Данилевского я встречал прошлого года раза два или три в разных домах. Был с ним знаком отдаленно; но на вечерах у него не бывал; сверх того, с мая месяца 1848 года я его совсем [5] не видал, кроме одной минуты, после его возвращения, да и то не успел с ним сказать двух слов.

На вечерах у Дурова я бывал.

Знакомство мое с Дуровым и Пальмом началось с прошедшей зимы. Нас сблизило сходство мыслей и вкусов; оба они, Дуров и особенно Пальм, произвели на меня самое приятное впечатление. Не имея большого круга знакомых, я дорожил этим новым зна-

---

[1] *Вместо:* врожденное чувство ∾ мнению — *было:* чувство изящного, требование утешения ⟨?⟩ и недостаток прочного серьезного образования, вот

[2] против всех заблуждений *вписано.*

[3] *Далее было:* Многие объявляли, что сочувствуют ⟨?⟩. Другие же считали его горячим, но [очень] совершенно искренним человеком.

[4] *Вместо:* и почти ∾ к нему — *было:* [и во] [да] почти всякой раз

[5] совсем *вписано.*

комством и не хотел терять его. Кружок знакомых Дурова чисто артистический и литературный. Скоро мы, то есть я, брат мой, Дуров, Пальм и Плещеев, согласились издать в свет литературный сборник и поэтому стали видеться чаще. [1] Брат написал проект издания; начались рассуждения о редакции издания. [2] Так как редакцию мы хотели составлять сами, [3] все, сообща, и решать о достоинстве романов и повестей, назначенных для печати, должны были мы же, [4] то, естественно, родилась в нас потребность взаимного обобщения наших литературных идей и окончательного согласия в некоторых пунктах, касательно издания, [5] в которых мы всё еще не соглашались. Сходились же мы всего чаще на квартиру Дурова, где нам было всего удобнее; [6] ибо каждый из нас был стеснен у себя дома — брат семейством, я и Плещеев теснотою квартиры, а след⟨ственно⟩, мы и не могли принимать гостей в свою очередь. Скоро наши сходки обратились в литературные вечера, к которым примешивалась и музыка. Дуров приглашал самых близких из своих знакомых, [7] мы ввели к Дурову своих; наконец эти сходки стали повторяться [8] каждую неделю, и всего чаще бывали они в субботу. Впрочем, дней постоянных не было.

Вечера эти пребывали чисто литературно-музыкальными, приятельскими, короткими, потому что все [9] мы уже успели перезнакомиться довольно коротко, — и всё это продолжалось в таком виде до тех пор, покамест одно несчастное предложение не изменило на мгновение характера этих сходок. [10]

Возникла мысль, что наши сходки бесплодны даже для нас самих; что многие из нас [11] специальнее других [12] в некоторых познаниях и науках; что у каждого свой ум, свой взгляд, свои наблюдения, и если мы будем делиться друг с другом нашими наблюдениями и познаниями, то для всех будет польза и выгода. Эта мысль могла бы найти [13] сочувствие, но Филиппов, первый ее выразивший, примешал к ней другое предложение, совершенно

---

[1] *Вместо:* и поэтому стали видеться чаще — *было: а.* по этому делу мы начали видеться чаще *б.* и, следственно, стали сходиться чаще

[2] *Было начато:* сб⟨орника⟩

[3] *Вместо:* редакцию ∾ сами — *было:* редакторами мы хотели быть

[4] *Вместо:* назначенных ∾ мы же — *было:* которые собирались печатать, должны были сами

[5] *Вместо:* окончательного ∾ издания — *было:* окончательно установиться на некоторых пунктах

[6] *Вместо:* где ∾ удобнее — *было начато: а.* ибо у него было в⟨сего удобнее⟩ *б.* как н⟨аиболее удобную⟩ *в.* где нам было удобнее

[7] *Далее было начато:* а через н⟨ас⟩

[8] *Было начато:* обратились

[9] все *вписано.*

[10] *Далее было начато:* Я говорил ⟨?⟩ потому ⟨*нрзб.*⟩

[11] *Вместо:* многие из нас — *было начато:* всякой из нас человек заме⟨чательный⟩

[12] *Далее было:* знают

[13] *Далее было:* ⟨*нрзб.*⟩

изменившее ее характер и набросившее весьма неприятную тень на наши сходки. Именно: ему вздумалось предложить литографировать [1] сочинения, которые бы могли быть сделаны кем-нибудь из нашего кружка мимо цензуры. [2]

⟨Вопрос.⟩ Кто еще посещал эти собрания и чем там занимались?

⟨Ответ.⟩ Я познакомился с Филипповым прошедшего лета на даче, в Парголове. Он еще очень молодой человек, горячий и чрезвычайно неопытный; готов на первое сумасбродство и одумается только тогда, когда уже беды наделает. Но в нем много очень хороших качеств, за которые я его полюбил; именно — честность, изящная вежливость, правдивость, неустрашимость и прямодушие. Кроме того, я заметил в нем еще одно превосходное качество: он слушается чужих [3] советов, чьи бы они ни были, если только сознает их справедливость, и тотчас же готов сознаться в своей ошибке и раскаяться в ней, если в том убедят его. Но горячий [4] темперамент его и сверх того [5] ранняя молодость [6] часто опережают в нем рассудок; [7] да кроме того, есть в нем и еще одно несчастное качество, это — самолюбие, или, лучше сказать, *славолюбие,* доходящее в нем до странности. [8] Он иногда ведет себя так, как будто думает, что все в мире подозревают его храбрость, и я думаю, что он решился бы соскочить с Исаакиевского собора, если б случился кто-нибудь подле, чьим мнением [9] он бы дорожил и который бы стал сомневаться в том, что он бросится [10] вниз, а ⟨не⟩ струсит. Я говорю это по факту. Я боялся холеры в первые дни ее появления. [11] Ничего не могло быть приятнее для Филиппова, как показывать мне каждый день и каждый час, что он нимало не боится холеры. Единственно для того, чтоб удивить меня, он не остерегался в пище, ел зелень, пил молоко и однажды, когда я, из любопытства, что будет, указал ему на ветку рябинных ягод, [12] совершенно зеленых, только что вышедших из цветка, и сказал, что если б съесть эти ягоды, [13] то, по-моему, холера придет через пять минут,

---

1 *Далее было начато:* ⟨*2 нрзб.*⟩ по записи ⟨?⟩ любого

2 *Вместо:* мимо цензуры — *было:* хотя, если б даже они могли быть и нецензурные

3 чужих *вписано.*

4 *Было:* страстный ⟨?⟩

5 *Далее было:* слишком

6 *Далее было начато:* иногда подталкивают его

7 *Далее было начато:* и как

8 *Далее было начато:* Ему, как я заметил

9 *Было:* мнением которого

10 *Вместо:* в том ∾ бросится — *было:* что он не бросится

11 *Вместо:* в первые ∾ появления — *было начато:* в бытность в Петербур⟨ге⟩

12 *Было:* рябины

13 *Вместо:* съесть эти ягоды — *было:* это съесть

Филиппов сорвал всю кисть и съел половину в глазах моих, прежде чем я успел остановить его. Эта детская безрассудная страсть, достойная сожаления, к несчастью, главная черта его характера. [1] Из того же самолюбия он чрезвычайный спорщик, и любит спорить обо всем, хотя бы того, об чем спорят, он никогда не знал. Несмотря на то что он образован [2] и вдобавок специалист по физико-математическим предметам, у него мало серьезно выработанных убеждений, за недостатком действительной жизни. Взамен его молодость щедро наделена всякими увлечениями, нередко самыми разнородными и даже противуречащими друг другу. Вот каковым кажется мне характер Филиппова.

Почти все приняли предложение его весьма дурно. Все чувствовали, что зашли далеко и ждали, как каждый выскажется. Не знаю, может быть, я ошибся, [3] но мне показалось, что половина присутствующих только оттого тут же не высказали противного Филиппову мнения, что боялись, что другая половина заподозрит их в трусости, и хотели отвергнуть предложение не прямо, а как-нибудь косвенным образом. К тому же хотя все были довольно коротки друг с другом, однако прежние знакомые Дурова и Пальма знали новых знакомых, то есть нас, еще очень недавно и не совсем [4] доверяли нам. [5] Я забыл сказать, что самые короткие и старые знакомые Дурова и Пальма — Щелков, братья Ламанские и Кашевский. Филиппов же был введен мною; я же пригласил и Спешнева. Впрочем, и Филиппов и Спешнев были уже довольно знакомы с Дуровым и Пальмом, сходясь иногда у Петрашевского. Начались толки; всякий представлял неудобства; многие сидели и молчали, другие говорили, больше всех Момбелли и Филиппов, но не помню, поддерживал ли Момбелли Филиппова. Мало-помалу приятельский тон нашего кружка расстроился. Дуров ходил по комнате и начинал хандрить; я уже замечал скорый припадок. Кашевский и Щелков, [6] *вполне равнодушные ко всему, что выходит* [7] *из их артистического круга,* чтобы замять дело, [8] сели за свои инструменты. Некоторые уехали ранее, тотчас после ужина. Наконец досада Дурова на Филиппова излилась [9] в припадке. Он завел его в другую комнату, придрался к какому-то слову его и наговорил ему дерзостей. Филиппов вел

---

[1] *Вместо:* Эта детская ∾ его характера. — *было:* Это детское безрассудство чрезвычайно вредит Филиппову. *Далее было начато:* Если он хорошо ⟨?⟩ ⟨*неск. нрзб.*⟩

[2] *Было:* человек образованный

[3] *Было:* грубо ошибся

[4] совсем *вписано.*

[5] *Далее было начато:* Из знакомых

[6] *Было начато:* [Наконец Пальм] Наконец Кашевский и Щелков, реш⟨ившие⟩

[7] *Было:* не выходит

[8] *Далее было начато:* нач⟨али⟩

[9] *Было:* прорвалась

себя благоразумно, понял, в чем дело, и не отвечал запальчиво.[1] Я уехал в тот вечер[2] раньше обыкновенного.

На другой день брат объявил мне, что он не будет ходить к Дурову, если Филлипов не возьмет назад своего предложения; то же самое, помнится, он объявил и Филиппову, встретив его, кажется,[3] дня через два. По наблюдениям моим, я заметил, что многие поступили бы так же, как и мой брат.[4] По крайней мере, я положительно знаю, что Дуров хотел уничтожить свои вечера как можно скорее. Наконец, когда собрались в другой раз, я попросил, чтоб меня выслушали, и отговорил всех, стараясь действовать в моей речи * легкой насмешкой, но по возможности щадя щекотливость каждого. Мне удалось, и, как мне показалось, все как будто ждали этого, и тотчас же предложение Филиппова было откинуто. После того собрались всего только один раз. Это было уже после святой недели. В это время я был очень занят у себя дома литературной работой моей, виделся с очень немногими из моих знакомых, да и то мельком,[5] но знаю, что по болезни Пальма вечера совсем прекратились.

Вот всё, что я имею сказать о собраниях у Дурова.

Федор Достоевский

* Впрочем, речей у Дурова не говорилось. Я сказал первую и последнюю, и всего была одна.

⟨Вопрос.⟩ Вы были на обеде у Спешнева. Объясните, что происходило замечательного за этим обедом?

⟨Ответ.⟩ На обеде у Спешнева были толки[6] о предложении Филиппова. Впрочем, утро было самое скучное и вялое, потому что между Спешневым и Дуровым, как мне показалось, были недоумения. Эти недоумения, сколько я знаю,[7] возникли из-за предложения филипповского. Дуров, рассерженный на Филиппова,[8] поссорился с Момбелли и объявил, что он не хочет делать вечеров, говоря,[9] что зачем же другие не делают? Момбелли предложил собраться у Спешнева, и Спешневу навязали сделать утро. Дуров сказал это, желая во что бы то ни стало кончить с предложением Филиппова и придрался хоть к чему-нибудь, Спешнев решительно объявил некоторым, что ему навязали этот обед и что[10] ему неудобно звать в другой раз. Толковали и ничего

---

1 *Далее было начато:* Дуров
2 в тот вечер *вписано.*
3 кажется *вписано.*
4 *Вместо:* так же, как и мой брат — *было:* одинаково с моим братом
5 *Далее было начато:* и потому
6 *Далее было начато:* продолжать или нет
7 *Вместо:* сколько я знаю — *было начато:* как мне по⟨казалось⟩
8 рассерженный на Филиппова *вписано.*
9 *Было:* потому
10 *Далее было начато:* он

не решили. Григорьев же прочел [1] «Солдатскую сказку», но, кто автор ее, сказано не было, и я не знал, хотя и подозревал. Впрочем, я не любопытствовал знать. Впечатление было очень слабое, потому что все были под [2] различными влияниями и почти все не хотели подобных чтений. После обеда разошлись тотчас же.

В первом показании моем я умолчал об этом обеде, во-первых, потому, что это [3] было продолжением того же спора, во-вторых, чтобы не обнаруживать неприятной ссоры Момбелли и Дурова. Я не показал тоже на Григорьева, потому что действительно наверно не знаю, кто автор [4] «Солдатской сказки».

Федор Достоевский

⟨Вопрос.⟩ Известно, что на вечерах у Дурова читали: Милюков — перевод свой из «Paroles d'un croyant», [5] вы — переписку Белинского с Гоголем, а Григорьев — «Солдатскую беседу». Имеете дать об этом объяснение.

⟨Ответ.⟩ Милюков действительно читал свой перевод. Еще прежде он как-то сказал, что у него он есть; и его просили принести прочесть — из любопытства.

Которого числа и месяца, не помню (кажется, в марте), я зашел к Дурову, в третьем часу пополудни, и нашел присланную мне переписку Белинского с Гоголем. Я тут же [6] прочел ее Дурову и Пальму. Меня пригласили остаться обедать. Я остался. В шестом часу заехал Петрашевский и просидел четверть часа. Он спросил: «Что это за тетрадь?» Я сказал, что это переписка Белинского с Гоголем и обещал, неосторожным образом, прочесть ее у него. Это сделал я под влиянием первого впечатления. Тут, по уходе Петрашевского, пришли еще кто-то, и я остался пить чай. [7] Естественно, зашел разговор о статье (Белинского), и я прочел ее в другой раз. Но слушающих, кроме Дурова и Пальма, было не более шести человек; только [8] и было гостей. Помню, что были: Момбелли, Львов, братья Ламанские. Кто еще? — позабыл. Всё это сделалось *в первый же день* получения статьи, когда еще я был под влиянием *первого* впечатления.

О статье Григорьева «Солдатская беседа» я уже дал объяснение, что она была прочитана, [9] но не у Дурова и не на вечере, а на обеде у Спешнева. [10] Чтение началось так нечаянно (то есть без предварительных объяснений), [11] что я даже не знал, кто автор

---

[1] *Далее было:* свою
[2] *Было:* заняты
[3] *Было начато:* он
[4] *Далее было начато:* этой
[5] «Слова верующего» *(франц.)*.
[6] тут же *вписано.*
[7] *Далее было начато:* Когда я стал читать ст⟨атью⟩
[8] *Было:* ибо только
[9] *Было:* читана
[10] *Далее было начато:* который
[11] (то есть без предварительных объяснений) *вписано.*

и что такое читается. Об этой статье я с Григорьевым не говорил никогда. Впечатление было ничтожное. [1] Может быть, кто-нибудь из бывших возле Григорьева сказал несколько одобрительных слов, но разве только [2] из учтивости. Но я этого не заметил, сидя всех далее во время чтения.

Федор Достоевский

⟨Вопрос.⟩ На тех же вечерах Момбелли сделал предложение о тесном сближении между посетителями, дабы под влиянием друг друга тверже укрепиться в направлении и успешнее поддерживать свои идеи в общественном мнении. Сделайте об этом объяснение.

⟨Ответ.⟩ Это было еще в самом начале вечеров у Дурова, кажется, даже в первый вечер. Момбелли [3] действительно начал говорить что-то подобное, но всех его слов не упомню. [4] Но помню, что он не докончил; потому что его прервали на половине и занялись музыкой. Момбелли засмеялся, не обиделся за невнимание, согласился тут же, что он начал говорить некстати, [5] и о словах его уже никогда более не было помину, и общество надолго осталось чисто [6] литературно-музыкальным.

Федор Достоевский

⟨Вопрос.⟩ На тех же вечерах студент Филиппов предлагал заняться общими силами разработыванием статей в либеральном духе, относящихся к вопросам, которые касаются до современного состояния России в юридическом и административном отношении, и печатать их в домашней типографии. Имеете дать об этом объяснение.

⟨Ответ.⟩ Не студент, а бывший студентом Павел Филиппов. Что же касается до студента Филиппова, его брата, то он ни с Дуровым, ни с Петрашевским и, кажется, ни с кем из нас не был знаком; я его знаю, потому что видел раза три, когда заходил к его брату, Павлу Филиппову. [7]

Павел Филиппов сделал такое предложение. Но в вопросе сказано *о домашней типографии. О печатании* никогда и ничего я не слыхал у Дурова; да и нигде. Об этом и помину не было. Филиппов же предложил *литографию.* Это мне совершенно памятно.

---

[1] *Вместо:* Впечатление было ничтожное. — *было:* Впечатления после чтения почти не было.

[2] но разве только *вписано.*

[3] *Было начато:* Он ск⟨азал⟩

[4] *Далее было начато:* Его остановили и сказали, что незачем этого гово⟨рить⟩

[5] не обиделся ∾ некстати *вписано.*

[6] чисто *вписано.*

[7] *Вместо:* когда ∾ Филиппову. — *было начато:* бывши у Павла ⟨Филиппова⟩

Я уже [1] дал объяснение об этом предложении в одном из предыдущих вопросов. Это предложение сделано было вдруг, то есть в обществе, которое было чисто литературно-музыкальным, и с первого раза оно [2] завлекло многих как новость. Впрочем, я не помню, чтоб Филиппов произнес слов: *в либеральном духе,* [3] а просто приглашал заняться разработкой статей о России. Некоторые одобряли [4] это предложение вначале, чисто из любознательности, но остановились, когда дело дошло до литографии. Тут бо́льшая половина, а может быть и все (ибо неизвестно, что каждый думает про себя), не захотели этого предложения. Но толки об этом предложении [5] продолжались еще два собрания (из которых одно было на обеде у Спешнева). Эти толки тянулись через силу; ибо всем видимо хотелось отстать. [6] Но наконец оно [7] было отвергнуто, [8] и тогда все объявили себя против него. Каким образом было [9] отвергнуто, я уже имел честь дать объяснение в одном из предыдущих вопросов.

Федор Достоевский

Я припомнил, что вначале, когда еще не было вечеров у Дурова, когда они были только в проекте и только [10] рассуждалось об их установлении, я и Дуров, как первые согласившиеся на эти вечера, [11] имели случай неоднократно повторить, *что вечера устанавливаются чисто с литературно-музыкальною целью и что другой какой цели, тайной, подразумеваемой, — не было, нет и не будет.* Приглашались в это собрание другие, открыто, прямо, безо всякого соблазна; никто не был завлечен приманкой посторонней цели, и всякому сказано было (и не один раз даже), *что общество чисто литературно-музыкальное, и только литературно-музыкальное.*

Федор Достоевский

⟨Вопрос.⟩ На тех же вечерах говорено было, что учители в учебных заведениях должны стараться читать сколько возможно в либеральном духе. Сделайте об этом объяснение.

⟨Ответ.⟩ Этого совсем не припомню.

Федор Достоевский

---

[1] *Далее было начато:* имел чес⟨ть⟩

[2] *Вместо:* Это предложение ∾ оно — *было:* Такое предложение сделано было вдруг и показалось решитель⟨ным⟩ с первого раза

[3] *Далее было начато:* Да не предложил он

[4] *Было:* одобрили было

[5] предложили *вписано.*

[6] Эти толки ∾ отстать, *вписано.*

[7] *Вместо:* наконец оно — *было:* предложение

[8] *Далее было начато:* дру⟨зьями⟩

[9] *Было:* это было

[10] только *вписано.*

[11] *Вместо:* согласившиеся ∾ вчера — *было:* которые, согласившись на это

⟨Вопрос.⟩ Если вам что-либо известно в отношении к злоумышлению, которое бы существовало и вне обозначенных собраний, то обязываетесь всё то показать, с полною откровенностию.

⟨Ответ.⟩ Ни о чем подобном не знаю.

Федор Достоевский

⟨Вопрос.⟩ Что вы знаете об учителе Белецком?

⟨Ответ.⟩ Об учителе Белецком я ничего не знаю.

Федор Достоевский

⟨Вопрос.⟩ Объясните, с которых пор и по какому случаю проявилось в вас либеральное или социальное направление?

⟨Ответ.⟩ Со всею искренностию говорю еще однажды, что весь либерализм мой состоял в желании всего лучшего моему Отечеству, в желании безостановочного движения его к усовершенствованию. Это желание началось с тех пор, как я стал понимать себя, росло во мне всё более и более, но никогда не переходило за черту невозможного. Я всегда верил в правительство [1] и самодержавие. Не осмелюсь сказать, что [2] я никогда не заблуждался в желаниях моих, то есть что все они [3] были правильны. Может быть, я и очень ошибался в моих желаниях усовершенствования и общей пользы, так что исполнение их [4] послужило бы ко всеобщему вреду, а не к пользе. Но я совестливо смотрел за собою и очень часто поправлял свое мнение. Может быть, мне удавалось иногда выражать это мнение с излишнею горячностию или даже горечью; но это было минутами. *Злобы и желчи во мне никогда не было.* К тому же меня всегда руководила самая *искренняя* любовь к Отечеству, которая подсказывала мне добрый путь и (я верю в то) оберегала меня от [5] пагубных заблуждений.

Я желал многих улучшений и перемен. Я сетовал о многих злоупотреблениях. Но вся основа моей политической мысли была — ожидать этих перемен от самодержавия. Всё, чего хотел я, это — чтоб не был заглушен ничей голос и чтобы [6] выслушана была по возможности всякая нужда. Я знаю, что законы охраняют всех и каждого; верую в то, но есть злоупотребления и, к несчастию, их много. И потому я изучал, обдумывал сам и любил слушать разговор, в котором бы знающие более меня говорили [7] о возможности некоторых перемен и улучшений. Но во мне, повторяю, никогда желание лучшего не превышало возможного. [8]

---

[1] *Было:* правительству
[2] *Было:* чтобы
[3] *Было:* желания мои
[4] *Было:* моих желаний
[5] *Далее было начато:* оши⟨бок⟩
[6] *Далее было начато:* возм⟨ожно⟩
[7] *Было:* говорили бы
[8] *Было начато:* возможности и законно⟨го?⟩, я благодарю судьбу, давшую мне образование

Что же касается до социального направления, то я никогда и не был социалистом, хотя и любил читать и изучать социальные вопросы. Во-первых, социализм есть та же политическая экономия, но в другой форме. А политико-экономические вопросы я люблю изучать. К тому же я страстно люблю исторические науки. Вот почему я с большим любопытством следил за переворотами западными. Вся эта ужасная драма сильно занимала меня, во-первых, как драма, во-вторых, как важный факт, по крайней мере могущий возбудить любопытство. В-третьих, как история, в-четвертых, во имя человеколюбия, [1] ибо настоящее положение Запада крайне бедственно. [2] Я говорил иногда [3] о политических вопросах, но — редко вслух, почти никогда. [4] Я допускал *историческую* необходимость настоящего переворота на Западе, но — *только в ожидании лучшего.*

Социализм предлагает тысячи мер к устройству общественному, [5] и так как все эти книги писаны умно, горячо и нередко с неподдельною любовью к человечеству, то я с любопытством читал их. Но именно оттого, что я не принадлежу ни к какой социальной системе, а изучал социализм вообще, во всех системах его, [6] именно потому я (хотя мои познания далеко не окончательные) вижу ошибки каждой социальной системы. Я уверен, что применение хотя [7] которой-нибудь из них поведет за собою неминуемую гибель. [8] Я уже не говорю у нас, но даже во Франции. Это мнение было не раз выражаемо мною. [9] Наконец, вот вывод, на котором я остановился. Социализм — это наука в брожении, это хаос, это алхимия прежде химии, астрология прежде астрономии; хотя, как мне кажется, из теперешнего хаоса выработается впоследствии что-нибудь стройное, благоразумное и благодетельное для общественной пользы точно так же, как из алхимии выработалась химия, а из астрологии — астрономия.

Федор Достоевский

Во всех сих ответах моих на предложенные мне вопросные пункты написал я сущую истину и ничего более прибавить не имею, в чем и подписуюсь.

Отставной инженер-поручик Достоевский

⟨Вопрос.⟩ Объясните, когда и каким образом вы познакомились с Черносвитовым.

---

[1] *Было начато:* лю⟨бви⟩

[2] *Вместо:* положение ∾ бедственно. — *было:* положение Запада бедственное, и я с нетерпением ожидал разрешения.

[3] иногда *вписано.*

[4] но — редко вслух, почти никогда *вписано.*

[5] *Было:* государственному

[6] а изучал ∾ его *вписано.*

[7] *Было начато:* эти⟨х⟩

[8] *Далее было начато:* Не толь⟨ко⟩

[9] Я уже ∾ мною. *вписано.*

⟨Ответ.⟩ Я встретил Черносвитова [1] в первый раз у Петрашевского, никогда не видав его прежде, и видел его не более двух раз.

Федор Достоевский

⟨Вопрос.⟩ Известно, что Черносвитов на одном собрании у Петрашевского старался внушить мысль, что либерализм и социализм одно и то же. О содержании и направлении этого разговора имеете дать положительное объяснение?

⟨Ответ.⟩ Разговора о [2] тождественности либерализма и социализма и мнения Черносвитова не расслышал.

Федор Достоевский

⟨Вопрос.⟩ Известно, что на том же собрании у Петрашевского Черносвитов в разговорах своих старался всех вызвать на резкость и, действительно, разговор в этот вечер был резче, чем когда-либо, причем и Львов рецитировал какую-то басню. Имеете дать положительное о сем объяснение?

⟨Ответ.⟩ Вызова на резкость я не заметил; но говорил он бойко, остро и часто словами своими порождал смех. О рассказанной басне действительно припоминаю.

Федор Достоевский

⟨Вопрос.⟩ Известно, что на том же собрании Черносвитов между прочим говорил: «Да вот, господа, беда нам, русским, к палке-то мы очень привыкли — она нам нипочем»; на возражение же Спешнева, что палка о двух концах, Черносвитов сказал: «Да другого-то конца мы сыскать не умеем». Имеете сделать и по этому предмету положительное объяснение?

⟨Ответ.⟩ Не слыхал.

Ф. Достоевский

⟨Вопрос.⟩ В том же собрании Черносвитов говорил, что Восточная Сибирь есть отдельная страна от России и что ей суждено быть отдельною империею, причем звал всех в Сибирь, говоря: «А знаете что, господа, поедемте все в Сибирь — славная страна, славные люди». Объясните о подробностях и цели этого разговора.

⟨Ответ.⟩ Слова эти припоминаю; но только не помню, чтобы Черносвитов давал им подобный смысл. Он говорил, что восточный край Сибири действительно страна как бы отдельная от России, но, сколько я припомню, в смысле климатическом и по особенной оригинальности жителей. Такого же резкого суждения, что Сибири суждено быть отдельною империей, — я решительно не слыхал от Черносвитова, и такого смысла в словах его, по моему мнению,[3] не заключалось.

Федор Достоевский

---

[1] *Было:* его

[2] *Далее было начато:* либера⟨лизме⟩

[3] по моему мнению *вписано.*

Причем на словесный спрос [1] об рассказе Черносвитова про оригинальность жителей отвечаю, что слышал, [2] как он рассказал свой разговор с каким-то, помнится, рабочим, [3] про Китай, куда, по мнению рабочего, можно прелегко забраться.

Федор Достоевский

⟨Вопрос.⟩ Говоря про Черносвитова на дороге с Спешневым, вы сказали: «Черт знает, этот человек говорит по-русски, точно как Гоголь пишет». После сего, подойдя ближе к Спешневу, вы сказали: «Мне кажется, что Черносвитов просто шпион». Объясните, какие разговоры Черносвитова внушили Вам мысль, что он шпион.

⟨Ответ.⟩ Не особенное что-нибудь из разговора Черносвитова, но всё в разговоре Черносвитова внушило мне эту, впрочем *мгновенную*, мысль. [4] Мне показалось, что в его разговоре есть что-то увертливое, как будто, как говорится, *себе на уме*. Видев Черносвитова после того всего [5] один раз, я даже позабыл мое замечание теперь, когда позван был отвечать [6] на вопрос.

Федор Достоевский

⟨Вопрос.⟩ В бумагах ваших найдена записка от Белинского, заключающая в себе приглашение вас в собрание у одного лица, с которым вы еще не были знакомы. Объясните, какое это собрание, были ль вы на оном, и сколько именно раз.

⟨Ответ.⟩ О записке Белинского решительно ничего не могу припомнить, не знаю, какого она содержания, и теперь только в первый раз узнаю, что у меня была записка от Белинского. Но этими словами я вовсе не хочу отречься от моего знакомства с Белинским. Я был с ним знаком в первый год знакомства довольно коротко, во второй год очень отдаленно, а в третий год был с ним в ссоре и не виделся с ним ни разу.

Если [7] записка эта пригласительная, то, вероятно, она была написана еще в первые дни нашего знакомства, и если он куда-нибудь [8] приглашал меня, то просто в гости, а не в собрание. Круг знакомства Белинского, сколько я знаю, был очень тесен и ограничивался литературным кружком. В собрания большие он не ходил и терпеть их не мог, потому что был нелюдим, хвор и сидень. [9] Вероятно, он хотел познакомить меня с кем-нибудь

[1] *Было:* смысл

[2] *Вместо:* об рассказе ∾ слышал — *было:* об оригинальности жителей слышал

[3] *Далее было начато:* что

[4] *Далее было:* потом ⟨?⟩

[5] всего *вписано.*

[6] *Вместо:* позван был отвечать — *было начато:* отв⟨ечаю⟩

[7] *Далее было начато:* Белинский

[8] *Вместо:* и если он куда-нибудь — *было начато:* ⟨*нрзб.*⟩ потому что Белинский

[9] потому что ∾ сидень *вписано.*

из литераторов. Тогда, то есть в первые дни нашего знакомства, он очень интересовался мною; ибо первый роман мой ему очень понравился и он смотрел на меня, несколько преувеличивая и мое дарование и значение мое. Через роман мой я с ним и познакомился. [1] Сколько помню, мы только и говорили тогда об одной литературе, и несколько месяцев велся у нас жаркой спор о некоторых мнениях чисто литературных. Итак, повторяю, что если я был приглашен куда-нибудь, то не в собрание, а *в гости*, к какому-нибудь литератору. Но куда? как? — припомнить ничего не могу, потому что о записке совершенно забыл и не знаю ее. Собраний же постоянных [2] ни у кого [3] не бывало.

Федор Достоевский

⟨Вопрос.⟩ В числе книг ваших оказались две запрещенные, под заглавиями: одна — «Le Berger de Kravan», а другая — «La célébration du Dimanche». Объясните, от кого и каким образом вы приобрели эти книги.

⟨Ответ.⟩ Накануне ареста, 22 апреля, я заходил вечером к Григорьеву и взял у него со стола «Le Berger de Kravan». [4] Я не [5] успел прочесть в этой [6] книге ни строчки и потому содержания ее не знаю. Другую же [7] «La célébration du Dimanche» — взял я, кажется, за неделю до ареста, у Головинского. Я прочел в ней только несколько страниц еще в бытность у Головинского, и так как она показалась мне занимательною, то я и взял ее с собою. Впрочем, не могу сказать, знает ли об том Головинский, потому что я, помнится, и позабыл спросить [8] его.

Федор Достоевский

⟨Вопрос.⟩ Известно, что вы посещали вечера Плещеева, на которых была читана юмористическая статья под заглавием «Петербург и Москва», сочиненная Гернцем.[9] Объясните, часто ли вы бывали на вечерах этих и какое они имели направление?

⟨Ответ.⟩ У Плещеева никогда не было постоянных вечеров. Он только очень изредка звал [10] к себе на чай. По воспоминаниям моим, во всю зиму не более трех раз. На этих вечерах говорилось обо всем и ни о чем особенно; то есть это были обыкновенные приятельские собрания, не более; и так как не было особенной цели, то не было и особого направления; тут всякий был точно таков же, как и у себя дома, как и в другом месте: особенности

---

[1] Через роман ∾ познакомился. *вписано.*
[2] *Было начато:* переоди⟨ческих⟩
[3] *Далее было начато:* из ⟨них⟩
[4] *Было:* эту книгу
[5] *Далее было начато:* чи⟨тал⟩
[6] *Было:* в ней
[7] *Было начато:* Что же касается до другой
[8] *Вместо:* помнится ∾ спросить *было:* кажется, и не спросился
[9] *Так в подлиннике.*
[10] *Было:* просил

никакой не было. Гости были, сколько я знаю, из коротких приятелей. Вот всё, по моим воспоминаниям. Статья «Петербург и Москва» была действительно один раз прочитана; но вовсе не для возмутительных целей и без предварительного намерения; а случайно, кажется потому, что под руку попалась как легкая фельетонная статья, в которой много остроумия, хотя и бездна парадоксов; на нее смотрели с точки зрения чисто литературной. [1] Так, по крайней мере, по воспоминаниям моим. [2]

Федор Достоевский

⟨Вопрос.⟩ Из показаний Спешнева и Данилевского видно, что на вечерах Плещеева рассуждалось о возможности печатать за границею запрещенные книги. Дайте об этом объяснение.

⟨Ответ.⟩ На вечерах Плещеева, о которых я говорил в предыдущем вопросе, никогда, ни одного слова не было произнесено о подобном предмете. Но я помню, что один раз, когда именно — позабыл, но только очень давно, с лишком год назад, я зашел поздно вечером, часов в 11-ть, к Плещееву и встретил у него Данилевского и Спешнева. И помню, тогда действительно сказано было несколько слов [3] о возможности печатать за границею. Мне тогда же показалось это невозможным по многим причинам. [4] Разговор об этом предмете [5] в последующее время никогда не возобновлялся, — одним словом,[6] остался без всяких последствий.

Федор Достоевский

⟨ПОКАЗАНИЯ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО ИЗ ДЕЛА О В. Р. ЗОТОВЕ⟩.

⟨Вопрос.⟩ Объясните: как имя и отчество издателя литературной газеты Зотова, какого он звания, где служит, где живет, а также какое он имел сношение с Петрашевским и, бывая на собраниях, какое принимал в них участие?

⟨Ответ.⟩ Его [7] имя, если не ошибаюсь, Владимир Рафаилович. Где служит и живет — не знаю; ибо никогда не имел с ним никакого знакомства. О знакомстве его с Петрашевским я и не знал и теперь только в первый раз слышу об этом. На вечерах Петрашевского я никогда не встречал его.

Федор Достоевский

---

[1] *Вместо:* а случайно ∾ чисто литературной. — *было:* а как легкая фельетонная статья, в которой много остроумия — следственно, об ней судили с точки зрения чисто литературной.

[2] *Вместо:* Так ∾ по воспоминаниям моим. — *было:* Так, по крайней мере, я уверен.

[3] *Вместо:* И помню ∾ слов — *было:* И между прочим ⟨?⟩ действительно шел разговор

[4] *Вместо:* по многим причинам — *было:* ⟨*неск. нрзб.*⟩

[5] об этом предмете *вписано.*

[6] *Вместо:* одним словом — *было:* и

[7] *Далее было:* зовут

№ 108 Г. Достоевскому

42

Не известно ли Его имя: Владимиръ Рафаило-
Вам: имя, отчество чинъ. О степени служебнаго и литературнаго
звание издателя Лит— Я не знаю.

тературной газеты Г. Федоръ Достоевскій
Зотова, а также где
он служит и имеет
жительство?

Аудиторъ [illegible]

Страница показаний Ф. М. Достоевского из следственного дела о В. Р. Зотове. 1849 г.

Центральный государственный военно-исторический архив (Москва).

⟨Вопрос.⟩ Не известно ли вам: имя, отчество и звание издателя литературной газеты г-на Зотова, а также где он служит и имеет жительство?

⟨Ответ.⟩ Его [1] имя: Владимир Рафаилович. О месте службы его и жительстве я не знаю.

Федор Достоевский

⟨ПОКАЗАНИЯ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО ИЗ ДЕЛА ОБ А. Н. МАЙКОВЕ⟩

⟨Вопрос.⟩ Как отчество Валериана *Майкова,* который, по показанию вашему, посещал собрания *Петрашевского,* а также какого он звания, где служит и где живет?

Не умер ли он?

⟨Ответ.⟩ Вероятно, в этом вопросе сделана ошибка. Я никогда, ни одного слова не показывал о Валериане Майкове и о том, что он [2] знал Петрашевского. Мои воспоминания на этот счет точны.

Валериан Николаевич Майков умер ровно два года назад 13 июля 1847 года. Я был с ним знаком всего один год, как с литератором. Он был в Университете, кончил курс и потом служил — но где? — не могу припомнить. У Петрашевского я его не видал ни разу. * Он знал Петрашевского, но не любил ни его, ни его собраний и старался с ним видеться как можно реже. Я два раза был свидетелем, как он не сказался дома, когда Петрашевский приезжал к нему с визитом. Он называл его сумасбродным человеком, и я помню, как он говорил, что он не будет у Петрашевского никогда по пятницам и что это общество ему нисколько не нравится.

Вот всё, что я имею сказать о Валериане Николаевиче Майкове.

Федор Достоевский

* Кроме одного раза, в именины Петрашевского, в *званый* вечер.

⟨ПОКАЗАНИЯ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО ИЗ ДЕЛА ОБ А. П. МИЛЮКОВЕ⟩

⟨Вопрос.⟩ Какое участие г-н Милюков принимал на собраниях у Дурова и часто ли посещал он эти собрания?

⟨Ответ.⟩ Г-н Милюков на вечерах Дурова был как и все гости. Так как он сам литератор, то знакомство его с Дуровым и с обществом, которое собиралось у Дурова, было литературным знакомством. Милюкова, [3] казалось [4] мне, все любили за веселый и добродушный характер; сверх того, он мастер рассказывать анекдоты — и вот его главные особенности. Раз он как-то сказал, — не помню,

---

[1] *Далее было начато:* зову⟨т⟩

[2] *Далее было начато:* бы⟨вал⟩

[3] *Далее было:* все лю⟨били⟩

[4] *Было:* кажется

к какому разговору, — что у него есть [1] переложение известной статьи Ламене на славянский язык. [2] Это показалось странным и любопытным, и его просили показать. Милюков наконец принес ее и прочел. Когда Филиппов сделал свое предложение, Милюков хотя сначала и принимал участие в общих толках, по живости своего характера; но, как показалось мне, испугался второго предложения: о литографии. Это я заключаю из двух воспоминаний. 1-е) то, что он совсем перестал говорить об этом, тогда как еще продолжались толки, и даже не был в один из этих [3] вечеров у Дурова; равно как и на обеде у Спешнева, несмотря на приглашение. Последнее обстоятельство мне памятно потому, что я помню, как все спрашивали: «Где Милюков и отчего не пришел?» 2-е) то, что я слышал, и кажется, через достоверных людей, как [4] сам Милюков говорил, что он отстает от предложения Филиппова [5] и что оно ему не нравится. Все это было еще до моего предложения (против Филиппова). Мне кажется, что Милюков хотел тоже [6] совсем перестать ездить на вечера Дурова. Это по всему было видно, а главное из того, [7] что он перестал являться в последнее время. [8] Но тут нас арестовали, и я не имел случая поверить [9] моих наблюдений.

Федор Достоевский

⟨Вопрос.⟩ Какое г-н Милюков принимал участие на собраниях у Дурова и Плещеева?

⟨Ответ.⟩ Милюков на собраниях у Плещеева не выказался ни с какой особенной стороны, кроме того, что он человек веселый, умеет хорошо рассказывать и заставить себя слушать. У Дурова, как известно, он прочел свой перевод Ламене.

Федор Достоевский

⟨ПОКАЗАНИЯ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО ИЗ ДЕЛА О Н. А. МОРДВИНОВЕ⟩

⟨Вопрос.⟩ Объясните, какое Николай Мордвинов принимал участие в собраниях у Плещеева.

⟨Ответ.⟩ Николай Мордвинов, как мне известно, старый знакомый Плещееву и товарищ его по Университету; он приезжал к нему как близкий знакомый. Но он всегда был молчалив. Я ничего не заметил особенного.

Федор Достоевский

---

[1] *Далее было:* ⟨*нрзб.*⟩
[2] *Далее было:* ибо и ⟨*неск. нрзб.*⟩
[3] *Далее было:* ⟨*нрзб.*⟩
[4] *Было:* будто
[5] *Далее было:* мне кажется
[6] *Далее было:* ⟨*3 нрзб.*⟩
[7] *Вместо:* из того — *было:* тем
[8] *Вместо:* что он ∾ время — *было:* что он стал не являться на вечера
[9] *Было:* докончить

⟨ПОКАЗАНИЯ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО ИЗ ДЕЛА О РОМАШОВЕ, САЛТЫКОВЕ, БЕРДЯЕВЕ, ЯШВИЛЕ, ИЗВОЗЧИКАХ: ФЕДОТЕ И МИХАИЛЕ ЯКОВЛЕВЫХ И БЛЮМ⟩

⟨Вопрос.⟩ С которого времени титулярный советник Михаил Салтыков начал посещать собрания Петрашевского, когда прекратил посещения этих собраний и какое принимал в них участие?

⟨Ответ.⟩ Я не помню, чтобы я когда-нибудь встретил г-на Салтыкова у Петрашевского. Бывши очень мало знакомым с г-ном Салтыковым, я ничего не знаю [1] и об отношениях его к Петрашевскому. От Петрашевского же я тоже не слыхал ни слова о г-не Салтыкове.

Федор Достоевский

⟨Вопрос.⟩ Не известно ли вам, в каких сношениях был с Петрашевским участвовавший в заговоре, бывшем в Киевском университете, Яшвиль, где он ныне находится и в каком звании?

⟨Ответ.⟩ Я совершенно ничего не знаю о г-не Яшвиле, первый раз слышу о нем, равно как и о заговоре, бывшем в Киевской губернии. Ничего не знаю об отношениях к нему Петрашевского.

Федор Достоевский

⟨ПОКАЗАНИЯ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО ИЗ ДЕЛА О ПРИКОСНОВЕННЫХ ЛИЦАХ⟩

⟨Вопрос.⟩ Часто ли господа Безобразов и Пальчиков посещали собрания у Плещеева и какое они принимали на них участие?

⟨Ответ.⟩ Господина Пальчикова я не встречал ни разу у Плещеева. А господин Безобразов был один раз. [2] Он оставался с полчаса и принимал такое же участие, как и все [3] приглашенные на чай. Он ничем не кинулся мне в глаза, и потому я не могу сказать о нем ничего необыкновенного.

Федор Достоевский

⟨Вопрос.⟩ Как имя и отчество господина Витковского, посещавшего собрания Петрашевского, какого звания, где служит и имеет жительство, а также не известно ли вам, с которых пор он начал посещать эти собрания и когда посещения прекратил?

⟨Ответ.⟩ Я никогда не знал господина Витковского, ничего не слыхал о нем и теперь только в первый раз о нем слышу. По этому случаю не могу сказать, бывал ли он у Петрашевского.

---

[1] *Далее было:* ибо
[2] *Далее было:* ⟨*нрзб.*⟩
[3] *Далее было начато:* то есть, был только

Мне помнится, что я сказал в одном из моих ответов, что несколько лиц, бывавших у Петрашевского, были мне совсем незнакомы, так что я даже не знаю их фамилии. [1] Может быть, и господин Витковский принадлежит к числу этих лиц? Впрочем, повторяю, о господине Витковском я решительно ничего не знаю.

Федор Достоевский

⟨Вопрос.⟩ Какой имеет чин Владимир Кайданов, где он служит и имеет жительство; а также часто ли он посещал собрания Петрашевского и Дурова и какое принимал участие в этих собраниях?

⟨Ответ.⟩ Я знаю одного господина Кайданова, которого встречал у Петрашевского, но не знаю, как его имя, равно как ни его чина, ни места его службы. Он, кажется, воспитывался вместе с Петрашевским в Лицее и знаком с ним как товарищ. У Петрашевского он бывал не часто, много что один раз в месяц; так, по крайней мере, мне помнится. В общих разговорах он не принимал никогда участия и всегда сидел в другой комнате за книгой или с кем-нибудь из коротких знакомых своих, тогда как в зале говорили. [2] У Дурова он никогда не был ни на одном вечере, и я думаю, [3] что они совсем незнакомы.

Федор Достоевский

⟨Вопрос.⟩ Объясните, часто ли посещали собрания Петрашевского и с которого времени нижепоименованные лица; а также имена, отчества и звания их, где служат и имеют жительства: Вернацкий.

⟨Ответ.⟩ Никогда не слыхал об этой фамилии у Петрашевского и никогда не встречал у него господина Вернацкого.

⟨Вопрос.⟩ Авдеев.

⟨Ответ.⟩ Такого лица совсем не знаю; [4] также не знаю, был ли он знаком с Петрашевским.

⟨Вопрос.⟩ Стальницкий.

⟨Ответ.⟩ Не знаю ни господина Стальницкого, ни о том, был ли он знаком с Петрашевским.

⟨Вопрос.⟩ Григорьев.

⟨Ответ.⟩ Имени и отчества не припомню. Чина тоже. Служит, кажется, в лейб-гвардии драгунском полку. [5] Видел я его у Петрашевского всего раза четыре. Он знаком с Петрашевским, [6] помнится, [7] с января месяца 1849 года. Живет в Гороховой, близ Семеновского моста, в доме Севастьянова.

---

[1] *Далее было начато:* не принадлежит и

[2] *Далее было начато: а.* Что же ка⟨сается⟩ *б.* Но

[3] *Было:* ⟨*нрзб.*⟩

[4] *Далее было:* а

[5] *Далее было начато:* Бывал у

[6] *Было:* с ним

[7] *Было:* кажется

⟨Вопрос.⟩ Ратовский.

⟨Ответ.⟩ Ничего не знаю ни о господине Ратовском, ни о том, был ли он знаком с Петрашевским.

⟨Вопрос.⟩ Степанов.

⟨Ответ.⟩ Никогда не знал ни господина Степанова, ни о том, был ли он знаком с Петрашевским.

⟨Вопрос.⟩ Аслан.

⟨Ответ.⟩ Не знаю господина Аслана. Не знаю, был ли он знаком с Петрашевским.

⟨Вопрос.⟩ Гренков.

⟨Ответ.⟩ Не знаю господина Гренкова. Не знаю, был ли он знаком с Петрашевским.

⟨Вопрос.⟩ Полянский.

⟨Ответ.⟩ Не знаю господина Полянского. Не знаю, был ли он знаком с Петрашевским.

⟨Вопрос.⟩ Мотрашенко.

⟨Ответ.⟩ Не знаю господина Мотрашенко. Не знаю, был ли он знаком с Петрашевским.

⟨Вопрос.⟩ Михайлов.

⟨Ответ.⟩ Знаю господина Михайлова только по фамилии; ни чина, ни имени не помню. Не знаю ничего о времени знакомства [1] с Петрашевским, но, кажется, видел его у Петрашевского один раз прошлого года. Впрочем, наверно не помню. Где живет, не знаю.

⟨Вопрос.⟩ Макеев.

⟨Ответ.⟩ Не знаю господина Макеева. Не знаю, был ли он знаком с Петрашевским.

⟨Вопрос.⟩ Стасов 1-й.

⟨Ответ.⟩ Никогда не слыхал о знакомстве господина Стасова 1-го с Петрашевским и не видал его у Петрашевского. Ни чина, ни имени, ни места жительства не знаю.

⟨Вопрос.⟩ Стасов 2-й.

⟨Ответ.⟩ Никогда не слыхал о знакомстве господина Стасова 2-го с Петрашевским и не видал его у Петрашевского. Ни чина, ни имени, ни места жительства не знаю.

⟨Вопрос.⟩ Сипко.

⟨Ответ.⟩ Не знаю господина Сипко; не знаю, был ли он знаком с Петрашевским.

⟨Вопрос.⟩ Сундуков 1-й.

⟨Ответ.⟩ Не знаю господина Сундукова 1-го. Не знаю, был ли он знаком с Петрашевским.

---

[1] *Вместо:* Не знаю ничего ∾ знакомства — *было:* Не знаю ничего о временном его знакомстве

⟨Вопрос.⟩ Сундуков 2-й.
⟨Ответ.⟩ Не знаю господина Сундукова 2-го. Не знаю, был ли он знаком с Петрашевским.

⟨Вопрос.⟩ Назаров.
⟨Ответ.⟩ Не знаю господина Назарова. Не знаю, был ли он знаком с Петрашевским.

⟨Вопрос.⟩ Петров.
⟨Ответ.⟩ Не знаю господина Петрова. Не знаю, был ли он знаком с Петрашевским.

⟨Вопрос.⟩ Взметнев.
⟨Ответ.⟩ Не знаю господина Взметнева. Не знаю, был ли он знаком с Петрашевским.

⟨Вопрос.⟩ Бурнашев.
⟨Ответ.⟩ Не знаю господина Бурнашева. Не знаю, был ли он знаком с Петрашевским.

⟨Вопрос.⟩ Петр Петрович Семенов.
⟨Ответ.⟩ Не знаю господина Семенова. Не знаю, был ли он знаком с Петрашевским.

⟨Вопрос.⟩ Лукин (учитель) Василий Васильевич.
⟨Ответ.⟩ Не знаю господина Лукина. Не знаю, был ли он знаком с Петрашевским.

Федор Достоевский

⟨ПОДПИСКА Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО В ВОЕННО-СУДНОЙ КОМИССИИ⟩

Г-ну отставному инженер-поручику Достоевскому.

Высочайше утвержденная для суждения Вас по полевым военным законам Военно-судная комиссия предлагает Вам объяснить: не имеете ли Вы, в дополнение данных уже Вами при следствии показаний, еще чего-либо к оправданию своей вины представить?

К оправданию своему не имею представить ничего нового, кроме разве того, что я никогда не действовал с злым и преднамеренным умыслом против правительства. Что я сделал, было сделано мною необдуманно и [1] многое почти нечаянно, так, например, чтение письма Белинского. Если же когда-нибудь я что сказал свободно, то разве в кругу близких людей, которые могли понять меня и знали, в каком смысле я говорю. Но распространения моих сомнений [2] я всегда убегал.

Федор Достоевский

20 октября 1849 г.

[1] *Далее было:* почти
[2] *Было:* мыслей

⟨МЕМУАРНАЯ ЗАПИСЬ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО В АЛЬБОМ О. А. МИЛЮКОВОЙ ОБ ЕГО АРЕСТЕ⟩

Двадцать второго или, лучше сказать, двадцать третьего апреля (1849 год.) я воротился домой часу в четвертом от Григорьева, лег спать и тотчас же заснул. Не более как через час я, сквозь сон, заметил, что в мою комнату [1] вошли какие-то подозрительные и необыкновенные люди. Брякнула сабля, нечаянно за что-то задевшая. Что за странность? С усилием открываю глаза и слышу мягкий, симпатический голос: «Вставайте!»

Смотрю: квартальный или частный пристав, с красивыми бакенбардами. Но говорил не он; говорил [2] господин, одетый в голубое, с подполковничьими эполетами.

— Что случилось? — спросил я, привстав с кровати.

— По повелению...

Смотрю: действительно «по повелению». В дверях стоял солдат, тоже голубой. У него-то и звякнула сабля... «Эге! да это вот что!» — подумал я.

— Позвольте ж мне... — начал было я...

— Ничего, ничего! одевайтесь... Мы подождем-с, — прибавил подполковник еще более симпатическим голосом.

Пока я одевался, они потребовали все книги и стали рыться; не много нашли, но всё перерыли. Бумаги и письма мои аккуратно связали веревочкой. Пристав обнаружил при этом много [3] предусмотрительности: он полез в печку и пошарил моим чубуком в старой золе. Жандармский унтер-офицер, по его приглашению, стал на стул и полез на печь, но оборвался с карниза и громко упал на стул, а потом со стулом на пол. Тогда прозорливые господа убедились, что на печи ничего не было.

На столе лежал пятиалтынный, старый и согнутый. Пристав внимательно разглядывал его и наконец кивнул подполковнику.

— Уж не фальшивый ли? — спросил я...

— Гм... Это, однако же, надо исследовать... — бормотал пристав и кончил тем, что присоединил и его к делу.

Мы вышли. Нас провожала испуганная хозяйка и человек ее, Иван, [4] хотя и очень испуганный, но глядевший с какою-то тупою торжественностью, приличною событию, впрочем, торжественностью не праздничною. У подъезда стояла карета; в карету сел [5] солдат, я, пристав и полковник; мы [6] отправились на Фонтанку, к Цепному мосту у Летнего сада.

Там было много ходьбы и народу. Я встретил многих знакомых. Все были заспанные и молчаливые. Какой-то господин, статский,

---

[1] *Вместо:* что в мою комнату — *было:* в моей комнате
[2] *Далее начато:* од⟨етый⟩
[3] *Далее начато:* хит⟨рости⟩
[4] *Далее было:* глядевший
[5] *Далее начато:* полк⟨овник⟩
[6] *Было:* и все

но в большом чине, принимал... беспрерывно входили голубые господа с разными жертвами.

— Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! — сказал мне кто-то на ухо.

23 апреля был действительно Юрьев день.

Мы мало-помалу окружили статского господина со списком в руках. [1] В списке перед именем господина Антонелли написано было карандашом: «агент по найденному делу».

«Так это Антонелли!» — подумали мы...

Нас разместили по разным углам, в ожидании окончательного решения, куда кого девать. В так называемой белой зале нас собралось человек семнадцать...

Вошел Леонтий Васильевич...

Но здесь я прерываю мой рассказ. Долго рассказывать. Но уверяю, что Леонтий Васильевич был преприятный человек...

Ф. Достоевский

24 мая 1860

---

[1] *Далее начато:* Там были в

2. ДОКУМЕНТЫ

⟨СЕКРЕТНОЕ ПРЕДПИСАНИЕ III ОТДЕЛЕНИЯ ОБ АРЕСТЕ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО⟩

Секретно

III Отделение собственной
его императорского величества
канцелярии I экспедиция
Санкт-Петербург
22 апреля 1849 г.
№ 675

Господину майору Санктпетербургского жандармского дивизиона Чудинову

По высочайшему повелению предписываю вашему высокоблагородию завтра, в 4 часа пополуночи, арестовать отставного инженер-поручика и литератора Федора Михайловича Достоевского, живущего на углу Малой Морской и Вознесенского проспекта, в доме Шиля, в 3-м этаже, в квартире Бремера, опечатать все его бумаги и книги и оные, вместе с Достоевским, доставить в 3-е отделение собственной его императорского величества канцелярии.

При сем случае вы должны строго наблюдать, чтобы из бумаг Достоевского ничего не было скрыто.

Случиться может, что вы найдете у Достоевского большое количество бумаг и книг, так что будет невозможно сей час их доставить в 3-е отделение; в таком случае вы обязаны и то и другое сложить в одной или в двух комнатах, смотря как укажет необходимость, и комнаты те запечатать, а самого Достоевского немедленно представить в 3-е отделение.

Ежели при опечатании бумаг Достоевского он будет указывать, что некоторые из оных принадлежат другому какому-либо лицу, то не обращать на таковое указание внимания и оные также опечатать.

При возлагаемом на вас поручении вы обязаны употребить наистрожайшую бдительность и осторожность под личною вашею ответственностию.

Господин начальник Штаба корпуса жандармов генерал-лейтенант Дубельт сделает распоряжение, чтобы при вас находились офицер Санктпетербургской полиции и необходимое число жандармов.

Генерал-адъютант граф Орлов

⟨ВЫПИСКА ИЗ «СПИСКА ЛИЦАМ, ПОСЕЩАВШИМ С 11 МАРТА СЕГО ⟨1849⟩ ГОДА СОБРАНИЯ ПЕТРАШЕВСКОГО ПО ПЯТНИЦАМ»⟩

Совершенно секретно

Имя, звание, и где служит	Жительство	Примечание
Достоевский 1-й Федор Михайлов: отставной инженер-поручик — литератор. Один из важнейших.	1-й части, 2-й кварт⟨ал⟩ на углу Малой Морской и Вознесенского проспекта в д⟨оме⟩ Шиля, в 3-м этаже, в квартире Бремера.	11-го, 25 марта и 1-го апреля был на собраниях и принимал участие 1-го апреля в прениях о трех вопросах: свобода книгопечатания, освобождение крестьян и преобразование судопроизводства, соглашаясь с мнением Головинского. ⟨...⟩ 15 апреля был на собрании и читал в заседании письмо Белинского в ответ Гоголю. Письмо это в самых дерзких и преступных выражениях и проч. Оно принадлежит Филиппову. ⟨...⟩ По словам Петрашевского, братья Достоевские и Майковы разыгрывают первую роль в обществе литераторов.

⟨ОТНОШЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ ПО РАЗБОРУ БУМАГ АРЕСТОВАННЫХ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СЕКРЕТНОЙ СЛЕДСТВЕННОЙ КОМИССИИ⟩

16 мая 1849 года

Копия
Секретно

Милостивый государь Иван Александрович

По рассмотрении бумаг поручика *Достоевского* не оказалось в них ничего непосредственно относящегося к настоящему делу, но найдены: записка к нему от *Белинского,* заключающая в себе приглашение в собрание у одного лица, с которым он еще не знаком, и письмо из Москвы, писанное *Плещеевым,* в коем он упоминает о впечатлении, произведенном пребыванием императорской фамилии в Москве, и поручает Достоевскому передать поклон тем лицам, кои прикосновенны к известному обществу. Эти бумаги и найденные еще у Достоевского две запрещенные книги под заглавиями: 1. «Le Berger de Kravan» и 2. «La célébration du Dimanche» — имею честь препроводить при сем к вашему высокопревосходительству, покорнейше прося принять уверение в совершенном моем почтении и преданности.

Подписал князь Александр Голицын

Верно: ст⟨атский⟩ сов⟨етник⟩ Шмаков

№ 49
16 мая 1849 года
его высокопре⟨восходительст⟩ву
И. А. Набокову

ДОНЕСЕНИЕ ⟨П. Д.⟩ АНТОНЕЛЛИ

Достоевский 1-й, по донесениям Антонелли; был в собраниях у Петрашевского 11, 18, 25 марта, 1 и 15 апреля.

В собрании 11 ⟨...⟩ марта Толль говорил речь о происхождении религии и развивал вопрос, существует ли в людях религиозное чувство, доказывая, что религия не только не нужна в социальном смысле, но даже вредна, потому что подавляет развитие ума и проч. Речь Толля произвела всеобщее одобрение.

В собрании 18 ⟨...⟩ марта Ястржембский говорил речь о науках, объясняя, что все науки, и в особенности статистика, показывают прямо на социальное правление как наилучшее. В речи своей Ястржембский часто ссылался на Прудона и восставал не только на сановников, но и на государя.

В собрании 25 ⟨...⟩ марта говорено, каким образом должно восстановлять подведомственные лица против властей. Дуров утверждал, что всякому должно показывать зло в самом его начале, то есть в законе и государе, и вооружать подчиненных не противу начальников, а противу самого корня, начала зла. Баласогло, Берестов, Филиппов, Кайданов и еще кто-то возражали, что, напротив, должно вооружить подчиненных противу ближайшей власти и, переходя от низших к высшим, невольно, ощупью, довести и до самого начала зла. При этом Филиппов сказал: «Наша система пропаганды есть наилучшая, и отступать от нее значит отступать от возможности исполнения наших идей». Засим Толль читал статью о началах религии, написанную им в том же духе, как и прежде; а Баласогло читал предисловие к сочинениям Хмельницкого, написанное Дуровым и заключающее в себе много либеральных идей; причем Петрашевский, благодаря сочинителя, прибавил, что все должны стараться писать в подобном духе, потому что хотя цензура вымарает десять, двадцать мыслей и идей, но пять все-таки останутся.

В собрании 1-го апреля ⟨...⟩ говорено о свободе книгопечатания, перемене судопроизводства и освобождении крестьян. Головинский утверждал, что освобождение крестьян должно занимать первое место; а Петрашевский доказывал, что гораздо безопаснее и ближе достижение улучшений судопроизводства. Между этими разговорами Головинский сказал, что перемена правительства не может произойти вдруг и что сперва должно утвердить диктатуру. Петрашевский сильно восставал против этого и в заключение сказал, что он первый подымет руку на диктатора. Момбелли говорил, что если нельзя думать в эту минуту об освобождении крестьян, то по крайней мере священною обязанностию каждого помещика должна быть заботливость об образовании крестьян, заведении у них школ и внушении им о собственном их достоинстве. С мнением Момбелли согласилось и *всё собрание,* кроме Григорьева 1-го.

В собрании 15 апреля ⟨...⟩ *Достоевский* читал переписку Гоголя с Белинским, и в особенности письмо Белинского к Гоголю. В этом письме Белинский, разбирая положение России и народа, сперва говорил о православной религии в неприличных и дерзких выражениях, а потом о судопроизводстве, законах и властях. Письмо это вызвало множество восторженных одобрений общества, в особенности у Баласоглу и Ястржембского, преимущественно там, где Белинский говорит, что у русского народа нет религии. Положено было распустить это письмо в нескольких экземплярах. Засим Петрашевский говорил, что нельзя предпринимать никакого восстания без уверенности в совершенном успехе, и предлагал поэтому свое мнение к достижению цели. После сего перешли к трем главным вопросам, 1-го апреля разбиравшимся; говорили: Петрашевский, Ахшарумов и Головинский; последний более прочих развивал этот предмет, обещаясь в следующие две пятницы развить оный положительно.

Ястржембский, принимавший также участие в беседе, вызвался и с своей стороны развить этот предмет.

Примеч. 1. Петрашевский, как доносит Антонелли, говорил, что в пятницу (4 марта) были у него, между прочими, братья *Достоевские,* с которыми

Петрашевский поспорил, упрекая их в манере писания, которая будто бы не ведет ни к какому развитию идей в публике.

Примеч. 2. Антонелли доносит, что Петрашевский между прочим говорил, что здесь существует какое-то общество, составленное из литераторов, в котором главную роль разыгрывают братья Майковы и братья *Достоевские.*

ПОКАЗАНИЯ СВИДЕТЕЛЕЙ

Ахшарумов, Тимковский, Ястржембский и Филиппов показали: что *Достоевский* на собрании у Петрашевского читал рукопись «Переписка Гоголя с Белинским», что рукопись эту из них Филиппов списал с рукописи его, Достоевского, который впоследствии обе взял себе; получил же он ее из Москвы, кажется, от Плещеева. Филиппов к этому прибавил, что Достоевский читал еще «Переписку Гоголя с Белинским» на одном из вечеров у Дурова.

Из показаний Спешнева, Момбелли и Ахшарумова видно, что *Достоевский* был и на том вечере у Петрашевского (в декабре прошлого 1848 г.), когда Тимковский читал речь о социализме.

В этой речи (как показывает Момбелли) Тимковский рассуждал о прогрессе, фурьеризме, о коммунизме и о пропаганде, потом предлагал[1] разделить мир на две части, отдав одну часть на опыт фурьеристам, а другую коммунистам, и кончил советом устроить кружки, на которых занимались бы исключительно вопросами коммунизма, и чтобы хозяева тех кружков собирались в свой кружок для рассуждения о вопросах спорных и труднее решаемых. Впечатление, произведенное чтением Тимковского, было самое грустное.

В бумагах Достоевского 1-го, по уведомлению статс-секретаря князя Голицына, не оказалось ничего непосредственно относящегося к делу, но найдены: записка к нему от Белинского, заключающая в себе приглашение в собрание у одного лица, с которым он еще не знаком, и письмо из Москвы от *Плещеева,* в коем он упоминает о впечатлении, произведенном пребыванием императорской фамилии в Москве, в следующих выражениях:

«Царь и двор встречают здесь очень мало симпатии. Все, исключая разве лиц, принадлежащих ко двору, — желают, чтобы они скорее уехали. Даже народ как-то не изъявляет особенной симпатии» и т. д.

В этом же письме, между прочим, Плещеев поручает Достоевскому передать поклон всем, кто бывает по субботам у Дурова, Пальма и Щелкова, а им трем в особенности.

ПОКАЗАНИЯ ОБВИНЯЕМОГО

Достоевский 1-й объяснил, что он никогда не был в коротких отношениях с Петрашевским, хотя и бывал у него по пятницам, равно как и Петрашевский, в свою очередь, отдавал ему визиты. Это одно из таких его знакомств, которым он не дорожил слишком много, не имея сходства ни в характере, ни во многих понятиях с Петрашевским, и, посещая его весьма редко, поддерживал это знакомство лишь настолько, сколько требовала учтивость, оставить же его совсем не имел никакой причины, к тому же ему бывало иногда любопытно ходить к Петрашевскому на его пятницы не столько для него, сколько для встречи с некоторыми людьми, коих он видел чрезвычайно редко и которые нравились ему.

В последнюю зиму, начиная с сентября месяца, он, *Достоевский,* был у Петрашевского не более восьми раз. Его всегда поражали странности в характере Петрашевского, и он, Достоевский, слышал несколько раз мнение, что у Петрашевского больше ума, меньше благоразумия. Человек он

[1] *В рукописи ошибочно:* предлагали.

вечно суетящийся, читает много, уважает систему Фурье, которую изучил в подробности, и, кроме того, особенно занимается законоведением. Впрочем, он, Достоевский, всегда уважал Петрашевского как человека честного и благородного. Трудно сказать, чтобы Петрашевский, наблюдаемый как политический человек, имел какую-нибудь свою определенную систему в суждении или определенный взгляд на политические события. Он, Достоевский, заметил в нем последовательность только одной системе Фурье. и это именно, как он полагает, мешает ему смотреть на вещи самобытным взглядом. Впрочем, он, Достоевский, может утвердительно сказать, что Петрашевский слишком далек от идеи возможности немедленного применения системы Фурье к нашему общественному быту.

Общество, собиравшееся у Петрашевского по пятницам, почти всё состояло, как думает он, *Достоевский,* из коротких его приятелей или давних знакомых; иногда же являлись и новые лица, но, сколько он мог заметить, довольно редко. В обществе Петрашевского он, Достоевский, не встретил никакого единства, никакого направления или общей цели и положительно может сказать, что нельзя найти там трех человек, согласных в каком-нибудь пункте на любую заданную тему. От этого происходили споры друг с другом, вечные противуречия и несогласия в мнениях; в некоторых из этих споров принимал участие и он, Достоевский. Он говорил у Петрашевского три раза: два о литературе и один раз о предмете вовсе неполитическом: о личности и человеческом эгоизме, и не припомнит, чтоб было в словах его что-нибудь политическое или вольнодумное. Если же желать лучшего есть либерализм, то в этом смысле он, Достоевский, может быть вольнодумец, точно так же, как и всякий человек, который чувствует себя вправе быть гражданином и желать добра своему отечеству, потому что находит в себе и любовь к отечеству и сознание, что никогда ничем не повредил ему.

«Если меня обвиняют, — изъясняет Достоевский, — в том, что я говорил о политике, о Западе, о цензуре и проч., то кто же не говорил и не думал в наше время об этих вопросах? Зачем же я учился, зачем наукою во мне возбуждена любознательность, если я не имею права сказать моего личного мнения или не согласиться с таким мнением, которое само по себе авторитетно? Нельзя выводить из этого, что я вольнодумец и противник самодержавия, напротив, для меня никогда не было ничего нелепее идеи республиканского правления в России, и всем, кто знает меня, известны об этом мои мысли. Говоря о цензуре, об ее непомерной строгости в наше время, я сетовал об этом, ибо чувствовал, что произошло какое-то недоразумение, из которого и вытекает натянутый, тяжелый для литературы порядок вещей. Мне грустно было, что звание писателя унижено в наше время каким-то темным подозрением и что на писателя уже заранее, прежде чем он написал что-нибудь, цензура смотрит как будто на какого-то естественного врага правительству и принимается разбирать его рукопись уже с очевидным предубеждением».

Статью «Переписка Белинского с Гоголем» он, Достоевский, читал на одном из вечеров у Петрашевского, но при этом не только в суждениях его, но даже в интонации голоса или жесте во время чтения не было ничего способного выказать пристрастие к которому-либо из переписывавшихся. Письмо Белинского написано слишком странно, чтобы возбудить к себе сочувствие; оно наполнено ругательствами, написано желчью и потому отвращает сердце. Он, Достоевский, был довольно коротко знаком с Белинским, и потому переписка его с Гоголем для него довольно замечательный литературный памятник. Что же касается до него, Достоевского, то он буквально не согласен ни с одним из преувеличений, находящихся в этой статье, и никогда не стал бы читать, выставляя ее как образец, которому нужно следовать; но теперь только он понял, что сделал ошибку и что не следовало ему читать этой статьи вслух.

Что касается до того, не было ли какой тайной, скрытой цели в обществе Петрашевского, то, припоминая всё смешение понятий, характеров в обществе Петрашевского и споров, доходивших чуть не до вражды, может утвердительно сказать, что невозможно, чтоб была подобная цель во всем этом хаосе.

В заключение Достоевский присовокупил, что он решительно ничего не может сказать о Петрашевском как о фурьеристе-распространителе и что ему в этом отношении известны только научные его верования; планов же и распоряжений своих Петрашевский ему никогда никаких не сообщал, и он, Достоевский, решительно не знает, были ли они у него или не были.

ВЫПИСКА ИЗ ДЕЛА ОБ ОТСТАВНОМ ИНЖЕНЕР-ПОРУЧИКЕ ФЕДОРЕ ДОСТОЕВСКОМ

По донесениям агента Достоевский обвинялся в том, что был на вечерах у титулярного советника Буташевича-Петрашевского 1 и 15 апреля сего 1849 года, на которых рассуждалось о свободе книгопечатания, перемене судопроизводства, об освобождении крестьян и читана им, Достоевским, переписка Гоголя с Белинским, из коей письмо последнего к Гоголю исполнено дерзкого вольнодумства.

Из обвиняемых лиц показали:

Момбелли и Ахшарумов — что Достоевский был и на том вечере у Петрашевского (в декабре 1848 года), когда Тимковский читал речь, в которой (как показывает Момбелли) Тимковский рассуждал о прогрессе, фурьеризме, коммунизме и пропаганде; потом предполагал разделить мир на две части, отдав одну часть на опыт фурьеристам, а другую коммунистам, и кончил советом устроить кружки, на которых занимались бы исключительно вопросами коммунизма, и чтобы хозяева тех кружков собирались в свой кружок для рассуждения о вопросах спорных и труднее решаемых. Впечатление, произведенное чтением Тимковского, было самое грустное.

Студент Филиппов — что Достоевский в числе других посещал вечера Дурова, на которых разговоры, с марта 1849 года, начали принимать политический характер, чему начало положили: Момбелли — чтением рассуждения о том, что все они, более или менее с одинаковым направлением и образом мыслей, должны теснее сближаться между собою, дабы под влиянием друг друга тверже укрепиться в этом направлении и успешнее поддерживать свои идеи в общественном мнении, и сам он, Филиппов, — тем, что предлагал заняться общими силами разработыванием статей в либеральном духе, вменив себе в обязанность распространять свои мнения и представлять в разоблаченном виде все несправедливости законов, все злоупотребления и недостатки в организации нашей администрации. Когда же, в другой раз, у Дурова, он, Филиппов, прочел рукопись из «Слова верующего» соч⟨инения⟩ Ламене, а Достоевский переписку Гоголя с Белинским и присутствовавшие пожелали иметь с этой рукописи списки, то предложено было завесть домашнюю литографию, но Достоевский убедил всех, что мысль эта безрассудна. Сверх того, у него же, Дурова, говорили, что учители в учебных заведениях должны стараться читать, сколько возможно, в либеральном духе.

Помещик Спешнев — что на обеде у него в то время, когда Григорьев читал статью преступного содержания под названием «Солдатская беседа», в числе прочих был и Достоевский.

Сверх того, Спешнев показал, что Достоевский посещал и вечера Плещеева, на которых была читана юмористическая статья под заглавием «Петербург и Москва» и рассуждалось о возможности печатать за границею запрещенные книги.

В бумагах Достоевского найдены: 1) письмо к нему от Плещеева, присланное из Москвы, в котором Плещеев поручает Достоевскому передать поклон всем, кто бывает по субботам у Дурова, Пальма и Щелкова, а им трем — в особенности, и упоминает о впечатлении, произведенном пребыванием императорской фамилии в Москве, в следующих выражениях: «Царь и двор встречают здесь очень мало симпатии. Все, исключая разве лиц, принадлежащих ко двору, желают, чтобы они скорее уехали. Даже народ как-то не изъявляет особенной симпатии» и т. д.; 2) записка от Белинского, заключающая в себе

приглашение Достоевского в собрание у одного лица, с которым он не был еще знаком, и 3) две запрещенные книги под заглавием: одна — «Le Berger de Kravan», а другая — «La célébration du Dimanche».

Достоевский показал, что он знаком с Петрашевским три года и сначала бывал у него редко, а в последнюю зиму стал ходить к нему чаще и принимал участие в разговорах и споре. Если обвиняют его, Достоевского, в том, что он говорил о политике, о Западе, о литературе и проч., то кто же не говорил и не думал в наше время об этих вопросах? Зачем же он учился, зачем наукою в нем возбуждена любознательность, если он не имеет права сказать своего личного мнения или не согласиться с таким мнением, которое само по себе авторитетно? Но из этого нельзя выводить, что он, Достоевский, вольнодумец и противник самодержавия, — напротив, для него никогда не было ничего нелепее идеи республиканского правления в России. Говоря о цензуре и ее непомерной строгости в наше время, он, Достоевский, сетовал об этом, ибо чувствовал, что произошло какое-то недоразумение, из которого вытекает натянутый, тяжелый для литературы порядок вещей. Ему грустно было, что звание писателя в наше время унижено каким-то темным подозрением и что на писателя уже заранее, прежде чем он написал что-нибудь, цензура смотрит как будто на какого-то естественного врага правительству и принимается разбирать его рукопись уже с очевидным предубеждением. Однако он, Достоевский, никогда не говорил об этом у Петрашевского и теперь хотел только высказать образ своих идей. Письмо Белинского к Гоголю он прочел на собрании у Петрашевского как литературный памятник, замечательный для него, Достоевского, по короткому знакомству с Белинским, вызвавшись на это сам при свидании с Петрашевским у Дурова, от чего он после уже не мог отказаться. Но он твердо был уверен, что это письмо, наполненное ругательствами, написанное желчью и потому отвращающее сердце, никого в соблазн привести не может. Впрочем, теперь понимает, что сделал ошибку, прочитав эту статью вслух, чего делать ему не следовало.

На вечерах у Петрашевского он, Достоевский, слышал, что Петрашевский говорил о пользе, которую приносит цензура, вычеркивая из сочинений всю нелепость, и о том, что если бы цензура была уничтожена, то явилось бы множество людей, влекомых личными страстями, которые будут служить препоною к развитию человечества и к достижению цели, им всем любезной; он же, Достоевский, доказывал, что литературе не нужно никакого направления, кроме чисто художественного. Головинский с увлечением говорил, что идеею каждого должно быть освобождение крестьян, этих угнетенных страдальцев; но что правительство не может этого сделать потому, что освободить их без земель нельзя, и что он, Головинский, признает возможность внезапного восстания крестьян самих собою, потому что они уже достаточно сознают тягость своего положения, — но это он выражал как факт, а не как желание свое, ибо, допуская возможность освобождения крестьян, он далек от бунта и от революционного образа действий. В опровержение Головинского Петрашевский объяснял, что при освобождении крестьян непременно должно произойти столкновение сословий, которое, будучи бедственно уже само по себе, может быть еще бедственнее, породив военный деспотизм или, что еще хуже, деспотизм духовный; что реформы юридическая и цензурная необходимы прежде крестьянской, и вычислял даже преимущества крепостного сословия пред вольным при нынешнем состоянии судопроизводства, объясняя, что в нашем запутанном, многосложном и с предубеждениями судопроизводстве справедливость не может быть достигнута и что одно судопроизводство возможно, в котором достигалась бы цель его, то есть справедливость, это судопроизводство публичное — juri; но требовать перемены в судопроизводстве не следует, а должно всеподданнейше просить об этом, потому что правительство, и отказавши и удовлетворивши в просьбе сословию, поставит себя в худшее положение: отказавши в просьбе, оно вооружит его противу себя, и идея наша идет вперед; исполнивши просьбу, оно ослабит и себя и даст возможность требовать большего, и все-таки идея наша идет вперед,

О речи, читанной Тимковским на собраниях у Петрашевского, Достоевский показал, что она написана горячо, и видно было, что Тимковский старался угодить на все вкусы. Она занимала два или три вечера, но он, Достоевский, был только на двух из этих вечеров. Тимковский говорил о Фурье с большим уважением, коснулся многих выгод его системы и желал ее успеха, убеждаясь, впрочем, в невозможности применения оной немедленно; увещевал быть согласными в идеях, кто бы какой социальной системы ни держался, и в то же время оговаривал, что он зовет не на бунт и не желает тайного общества; наконец, просил присутствовавших изъявить ему симпатию, если он заслужил ее. Впечатление, произведенное Тимковским, было двусмысленно: некоторые смотрели на него с насмешливым любопытством, а некоторые скептически, не верили его искренности; впрочем, все обошлись с ним весьма учтиво.

О вечерах Дурова Достоевский объяснил, что, посещая их сам, он ввел туда Филиппова и Спешнева. Эти вечера были сначала литературные, а потом изменили свой характер, когда Филиппов сделал предложение литографировать мимо цензуры сочинения, которые могли быть написаны кем-нибудь из их кружка. Но предложение это почти все приняли весьма дурно, и все, сознавая, что зашли далеко, хотели отвергнуть оное, только не прямо, а как-нибудь косвенным образом; сам же Дуров хотел уничтожить свои вечера как можно скорее. Наконец, когда собрались в другой раз, он, Достоевский, попросив, чтоб его выслушали, отговорил всех, стараясь действовать в своей речи легкою насмешкою, и все как будто ожидали этого, и тотчас же предложение Филиппова было отвергнуто. После того собирались к Дурову только один раз, после Святой недели, а затем вечера его вовсе были прекращены. Речей на этих вечерах, кроме его, Достоевского, никто не говорил, и он сказал только одну речь, а читали: Милюков — перевод свой из «Paroles d'un croyant»; а он, Достоевский, по получении переписки Белинского с Гоголем, прочитал ее сначала Дурову и Пальму, до обеда; а потом, оставшись пить чай, по приезде к Дурову Момбелли, Львова и братьев Ламанских прочел ее в другой раз, будучи под влиянием первого впечатления.

На вопрос о том, что Момбелли предложил о теснейшем сближении между посетителями, дабы под влиянием друг друга тверже укрепиться в направлении и успешнее поддерживать свои идеи в общественном мнении, Достоевский показал, что в начале вечеров Дурова Момбелли действительно стал говорить что-то подобное, но не докончил, потому что его прервали на половине и занялись музыкою. Момбелли засмеялся и тут же согласился, что начал говорить некстати. После этого о словах его не было уже помину, и общество надолго осталось чисто литературно-музыкальным.

Об обеде Спешнева Достоевский показал, что он был на этом обеде и слышал чтение Григорьевым статьи преступного содержания под названием «Солдатская беседа»; но впечатление, произведенное ею, было очень слабое, потому что все почти не желали подобных чтений, и Спешнев, которому навязали сделать этот обед, по предложению Момбелли, решительно объявил, что ему неудобно звать к себе в другой раз.

На вопрос о вечерах Плещеева Достоевский показал, что у него постоянных вечеров никогда не было, а только изредка он звал к себе на чай. На этих вечерах был он, Достоевский, в продолжение зимы не более 3-х раз, и как они были обыкновенными приятельскими собраниями и особенной цели не имели, то не было и особого направления их. Статья «Петербург и Москва» действительно один раз была прочитана, но не для возмутительных целей и без предварительного намерения, а случайно, кажется, потому, что попалась под руку как легкая фельетонная статья, в которой много остроумия, хотя бездна и парадоксов; смотрели же на нее с точки зрения чисто литературной. Сверх того, один раз, за год с лишком пред этим, он, Достоевский, зашел к Плещееву в 11 часов вечера и встретил у него Данилевского и Спешнева. В это время действительно было сказано несколько слов о возможности печатать за границею, но ему, Достоевскому, тогда же показалось это невозможным по многим причинам, и затем разговор об этом предмете остался без всяких последствий и никогда уже не возобновлялся.

Относительно найденных в бумагах его, Достоевского, записки от Белинского, заключающей в себе приглашение его в собрание у одного лица, с которым он не был еще знаком, и двух запрещенных книг — он, Достоевский, объяснил, что о записке он решительно ничего не может припомнить, а вероятно, она написана была в первые дни знакомства его с Белинским, который если и приглашал его куда-нибудь, но не на собрание, а в гости к какому-нибудь литератору. Запрещенные же книги взяты им, Достоевским: одна у Григорьева, а другая у Головинского.

На вопрос, с которых пор и по какому случаю проявилось в нем, Достоевском, либеральное или социальное направление, он показал, что весь либерализм его состоял в желании всего лучшего своему отечеству. Это желание началось с тех пор, как он стал понимать себя, и росло в нем более и более; но никогда не переходило за черту невозможного. Он всегда верил в правительство и самодержавие; однако же не осмеливается сказать, что никогда не заблуждался в своих желаниях, которые, в отношении усовершенствования и общей пользы, быть может, очень ошибочны, так что исполнение их послужило бы ко всеобщему вреду, а не к пользе. Может быть, ему удавалось иногда выражать свое мнение с излишнею горячностию или даже горечью, но это было минутами. Злобы и желчи в нем никогда не было, и к тому же им всегда руководила самая искренняя любовь к отечеству, которая подсказывала ему добрый путь и сберегала его от пагубных заблуждений. Он желал улучшений и перемен и сетовал о многих злоупотреблениях; но вся основа его политической мысли была — ожидать этих перемен от самодержавия. Он хотел, чтобы не был заглушен ничей голос и чтобы выслушана была по возможности всякая нужда, и потому изучал, обдумывал сам и любил слушать разговор, в котором знающие более объясняли о возможности некоторых перемен и улучшений. Что касается до социального направления, то он никогда не был социалистом, хотя и любил читать и изучать социальные вопросы и с большим любопытством следил за переворотами западными. Вся эта ужасная драма сильно занимала его, во-1-х, как драма; во-2-х, как важный факт, могущий возбудить любопытство, в-3-х, как история и, в-4-х, во имя человеколюбия; ибо настоящее положение Запада крайне бедственное. Он говорил иногда о политических вопросах, но редко или почти никогда вслух и допускал историческую необходимость настоящего переворота на Западе, в ожидании лучшего. Социализм предлагает тысячи мер к устройству общественному, и так как все (социальные) книги написаны умно, горячо и нередко с неподдельною любовию к человечеству, то он, Достоевский, читал их с любопытством; но от этого он не принадлежит ни к какой социальной системе, будучи уверен, что применение их не только в России, но даже во Франции поведет за собою неминуемую гибель.

Достоевский, по показанию его, 27 лет; воспитывался в Главном инженерном училище на собственный счет; поступил на службу в 1843 году в чертежную Инженерного департамента; вышел в отставку в 1844 году, с чином поручика.

Статский советник Шмаков

⟨ЗАКЛЮЧЕНИЕ ВОЕННО-СУДНОЙ КОМИССИИ ОБ ОТСТАВНОМ ИНЖЕНЕР-ПОРУЧИКЕ Ф. М. ДОСТОЕВСКОМ⟩

Подсудимый Достоевский, 27 лет, из дворян; поступил в кондукторскую роту Главного инженерного училища кондуктором в январе 1838 года, произведен в офицеры в августе 1841 года, с оставлением в училище для продолжения наук в офицерских классах, произведен по экзамену в подпоручики в августе 1842 года, выпущен из училища с назначением в чертежную Инженерного департамента в августе 1843 года, а в октябре 1844 года уволен от службы в отставку с чином поручика. По показанию Достоевского, он занимался литературою, участвуя в некоторых журналах.

По донесению агента, подсудимый Достоевский был на собраниях у Петрашевского 1 и 15 апреля. На первом собрании рассуждалось о свободе книгопечатания, перемене судопроизводства и освобождении крестьян, а на собрании 15 апреля сам Достоевский читал переписку литераторов Гоголя и Белинского, где Белинский, разбирая положение России и народа, говорит в неприличных и дерзких выражениях о православной религии, о судопроизводстве, законах и властях. Письмо это заслужило восторженное одобрение общества, и положено было распространить оное в нескольких экземплярах. *

Из лиц, спрошенных по сему предмету, подсудимые Ахшарумов, Тимковский, Ястржембский и Филиппов показали, что Достоевский действительно читал на собрании у Петрашевского означенную переписку Белинского и Гоголя; причем из них Филиппов присовокупил, что эту переписку он писал с рукописи Достоевского, который дал ее ему за несколько времени пред тем и просил хранить в секрете, а впоследствии взял обе рукописи себе.

Кроме того, подсудимые Момбелли и Ахшарумов показали, что Достоевский был и на том вечере у Петрашевского (в декабре 1848 года), когда подсудимый Тимковский читал речь, в которой, по показанию Момбелли, рассуждал о прогрессе, фурьеризме, коммунизме и пропаганде, потом предлагал разделить мир на две части, отдав одну часть на опыт фурьеристам, а другую коммунистам, и кончил советом устроить кружки, на которых занимались бы исключительно вопросами коммунизма и чтобы хозяева тех кружков собирались в свой кружок для рассуждения о вопросах спорных и труднее решаемых.

Подсудимый Достоевский при первоначальном расспросе Следственною комиссиею показал, что он никогда не был в коротких отношениях с Петрашевским, хотя и бывал у него по пятницам, равно и Петрашевский, в свою очередь, делал ему визиты. Впрочем, он, Достоевский, бывал на вечерах Петрашевского не столько для него, сколько для встречи с некоторыми людьми, которых видел очень редко и которые нравились ему. В последнюю же зиму, начиная с сентября месяца, он, Достоевский, был у Петрашевского не более восьми раз. Его всегда поражали странности в характере Петрашевского, и он, Достоевский, слышал несколько раз мнение, что у Петрашевского больше ума, нежели благоразумия. Рассматривая Петрашевского с политической стороны, трудно сказать, чтобы он имел какую-нибудь свою определенную систему в суждении или определенный взгляд на политические события. Он, Достоевский, заметил в нем последовательность только одной системе Фурье, и это именно, как полагает, мешает ему смотреть на вещи самобытным взглядом. Что касается общества, собиравшегося у Петрашевского по пятницам, то в нем он, Достоевский, не встретил никакого единства, никакого направления или общей цели и положительно может сказать, что нельзя было найти там трех человек, согласных в каком-нибудь пункте на любую заданную тему. От этого происходили споры друг с другом, вечные противоречия и несогласия в мнениях, причем в некоторых из этих споров принимал участие и он, Достоевский. Он говорил у Петрашевского три раза, два — о литературе и один раз — о предмете, вовсе не политическом: «О личности и человеческом эгоизме», и не припомнит, чтоб было в словах его что-нибудь политическое и вольнодумное. Если же желать лучшего есть либерализм, то в этом смысле он, Достоевский, может быть, вольнодумец точно так же, как и всякий человек, который чувствует себя вправе быть гражданином и желать добра своему отечеству, потому что находит в себе и любовь к отечеству, и сознание, что никогда ничем не повредил ему. Далее Достоевский объяснил, что если его обвиняют в том, что он говорил о политике, о Западе, о цензуре и проч., то кто же не говорил и не думал в наше время об этих вопросах? Зачем же он учился, зачем наукою в нем возбуждали любознательность, если не имеет права сказать своего личного мнения или не согласиться с таким мнением, которое само

---

* Письмо Белинского подробно изложено при объяснении действий подсудимого Плещеева.

по себе авторитетно? Но из этого нельзя выводить, что он вольнодумец и противник самодержавия; напротив, для него, Достоевского, никогда не было ничего нелепее идеи республиканского правления в России, и всем, кто знает его, известны об этом мысли его. Говоря о цензуре, об ее непомерной строгости в наше время, он, Достоевский, сетовал об этом, ибо чувствовал, что произошло какое-то недоразумение, из которого и вытекает натянутый, тяжелый для литературы порядок вещей. Ему грустно было, что звание писателя унижено в наше время каким-то темным подозрением и что на писателя уже заранее, прежде чем он написал что-нибудь, цензура смотрит как будто на какого-то естественного врага правительству и принимается разбирать его рукописи уже с очевидным предубеждением. Однако он, Достоевский, никогда не говорил об этом у Петрашевского.

Относительно статьи — переписка Белинского с Гоголем — подсудимый Достоевский объясняет, что, точно, читал ее на одном из вечеров Петрашевского, но при этом не только в суждениях его, но даже в интонации голоса или жесте во время чтения не было ничего способного выказать пристрастие к которому-либо из переписывавшихся. Письмо Белинского написано слишком странно, чтобы возбудить к себе сочувствие; оно наполнено ругательствами, написано желчно и потому отвращает сердце; читал же оное, как замечательнейший литературный памятник, будучи уверен, что письмо то не может привести никого в соблазн.

На предложенные Следственной комиссией письменные вопросы подсудимый Достоевский объяснил, что он знаком с Петрашевским три года и сначала бывал у него редко, а в последнюю зиму стал ходить чаще и принимал участие в разговорах и споре и что означенную переписку Белинского с Гоголем прочел у Петрашевского, сам вызвавшись на это при свидании с Петрашевским у Дурова, отчего впоследствии не мог отказаться.

Кроме того, подсудимый Достоевский, на спрос Следственной комиссии противу вышеизложенных донесений агента и свидетельских показаний, объяснил, что на вечерах у Петрашевского он, Достоевский, слышал, что Петрашевский говорил о пользе, которую приносит цензура, вычеркивая из сочинений всю нелепость, и о том, что если бы цензура была уничтожена, что явилось бы множество людей, влекомых личными страстями, которые будут служить препоною к развитию человечества и к достижению цели; он же, Достоевский, доказывал, что литературе не нужно никакого направления, кроме чисто художественного. Подсудимый Головинский с увлечением говорил, что идеею каждого должно быть освобождение крестьян, этих угнетенных страдальцев, но что правительство не может этого сделать, потому что освободить их без земель нельзя, и что он, Головинский, признает возможность внезапного восстания крестьян самих собою, потому что они уже достаточно сознают тягость своего положения; впрочем, он выражал это как факт, а не как желание свое, ибо, допуская возможность освобождения крестьян, он далек от бунта и от революционного образа действий. В опровержение Головинского, Петрашевский объяснял, что при освобождении крестьян непременно должно произойти столкновение сословий, которое, будучи бедственно уже само по себе, может быть еще бедственнее, породив военный деспотизм или, что еще хуже, деспотизм духовный; что реформы юридическая и цензурная необходимы прежде крестьянской, и вычислял даже преимущество крестьянского сословия пред вольным, при нынешнем состоянии судопроизводства, объясняя, что в нашем запутанном, многосложном и с предубеждениями судопроизводстве справедливость не может быть достигнута и что одно судопроизводство возможно, в котором достигалась бы справедливость, это судопроизводство публичное — jury; но требовать перемены в судопроизводстве не следует, а должно всеподданнейше просить об этом потому, что правительство, и отказавши и удовлетворивши в просьбе сословию, поставит себя в худшее положение: отказавши в просьбе, оно вооружит его противу себя, и идея наша идет вперед; исполнивши просьбу, оно ослабит себя и даст возможность требовать большего, и все-таки идея наша идет вперед.

О речи, читанной Тимковским на собраниях у Петрашевского, в которой, как выше изложено, Тимковский рассуждал о прогрессе, фурьеризме, коммунизме и пропаганде и предлагал учредить фурьеристические кружки, подсудимый Достоевский показал, что она написана горячо, и видно было, что Тимковский старался угодить на все вкусы. Она занимала два или три вечера, но он, Достоевский, был только на двух из этих вечеров. Тимковский говорил о Фурье с большим уважением, коснулся многих выгод его системы и желал ее успеха, убеждаясь, впрочем, в невозможности применения оной немедленно; увещевал быть согласными в идеях, кто бы какой социальной системы ни держался, и в то же время оговаривал, что он зовет не на бунт и не желает тайного общества.

Сверх того из числа подсудимых в отношении действий Достоевского показали:

Студент Филиппов — что подсудимый Достоевский посещал вечера коллежского асессора Дурова, из коих на одном Момбелли читал рассуждение о том, что все они, более или менее с одинаковым направлением и образом мыслей, должны теснее сближаться между собою, дабы под влиянием друг друга тверже укрепиться в этом направлении и успешнее поддерживать свои идеи в общественном мнении, а сам он, Филиппов, предлагал заняться общими силами разрабатыванием статей в либеральном духе, вменив себе в обязанность распространение своих мнений, и представлять в разоблаченном виде все несправедливости законов, все злоупотребления и недостатки в организации нашей администрации. В другой же раз он, Филиппов, прочел рукопись из «Слова верующего», сочинение Ламене, а Достоевский — переписку Гоголя с Белинским, и когда присутствовавшие пожелали иметь с этой рукописи списки, то предложено было завесть домашнюю литографию; но Достоевский убедил всех, что мысль эта безрассудна.

Помещик Спешнев — что на обеде у него, в то время когда Григорьев читал статью преступного содержания под названием «Солдатская беседа», в числе прочих был и Достоевский и что, кроме того, Достоевский посещал и вечера подсудимого Плещеева, на которых была читана юмористическая статья под заглавием «Петербург и Москва» и рассуждалось о возможности печатать за границею запрещенные книги.

Коллежский асессор Дуров и поручик Пальм — что Достоевский, в бытность на вечерах Дурова, читал переписку Белинского и Гоголя, о других же действиях его они не объясняют.

При допросе противу сего подсудимый Достоевский показал, что действительно он посещал вечера Дурова и ввел туда подсудимых Филиппова и Спешнева. Эти вечера сначала были чисто литературные и музыкальные, а потом изменили свой характер, когда Филиппов сделал предложение литографировать мимо цензуры сочинения, которые могли быть написаны кем-нибудь из их кружка. Но предложение это почти все приняли весьма дурно, и все, сознавая, что зашли далеко, хотели отвергнуть оное, только не прямо, а как-нибудь косвенным образом, сам же Дуров хотел уничтожить свои вечера как можно скорее. Наконец, когда собрались в другой раз, он, Достоевский, попросив, чтоб его выслушали, отговорил всех, стараясь действовать в своей речи легкою насмешкою, и все как будто ожидали этого, и тотчас же предложение Филиппова было отвергнуто. После того собирались к Дурову только один раз, после Святой недели, а затем вечера его вовсе были прекращены. Речей на этих вечерах, кроме его, Достоевского, никто не говорил, и он сказал только одну речь, а читали: Милюков — перевод свой из «Paroles d'un croyant»; и он, Достоевский, по получении переписки Белинского с Гоголем, прочитал ее сначала Дурову и Пальму до обеда, а потом, оставшись пить чай, по приезде к Дурову Момбелли, Львова и других, прочел ее в другой раз, будучи под влиянием первого впечатления.

На вопрос о том, точно ли из подсудимых Момбелли на вечере у коллежского асессора Дурова предложил о теснейшем сближении между посетителями, дабы под влиянием друг друга тверже укрепиться в направлении и успешнее поддерживать свои идеи в общественном мнении, Достоевский показал, что в начале вечеров Дурова Момбелли действительно стал

говорить что-то подобное, но не докончил, потому что его прервали на половине и занялись музыкою. Момбелли засмеялся и тут же согласился, что начал говорить некстати. После этого о словах его не было уже помину, и общество надолго осталось чисто литературным.

Об обеде Спешнева Достоевский показал, что он, точно, был на этом обеде и слышал чтение Григорьевым статьи преступного содержания под названием «Солдатская беседа»; но впечатление, произведенное ею, было очень слабое, потому что все почти не желали подобных чтений, и Спешнев, которому навязывали сделать этот обед, по предложению Момбелли, решительно объявил, что ему неудобно звать к себе в другой раз.

В отношении вечеров Плещеева Достоевский показал, что у него постоянных вечеров никогда не было, а только изредка он звал к себе на чай. На этих вечерах был он, Достоевский, в продолжение зимы не более трех раз, и как они были обыкновенными приятельскими собраниями и особенной цели не имели, то не было и особого направления их. Статья «Петербург и Москва» действительно один раз была прочитана, но не для возмутительных целей и без предварительного намерения, а случайно, кажется, потому, что попалась под руку, как легкая фельетонная статья, в которой много остроумия, хотя бездна и парадоксов; смотрели же на нее с точки зрения чисто литературной. Сверх того, один раз, за год с лишком пред этим, он, Достоевский, зашел к Плещееву в 11 часов вечера и встретил у него Данилевского и Спешнева. В это время действительно было сказано несколько слов о возможности печатать за границею; но ему, Достоевскому, тогда же показалось это невозможным по многим причинам, и затем разговор об этом предмете остался без всяких последствий и никогда уже не возобновлялся.

При арестовании подсудимого Достоевского в бумагах его были найдены:

1) Письмо к нему от Плещеева, присланное из Москвы, в котором Плещеев поручает Достоевскому передать поклон всем, кто бывает по субботам у Дурова, и упоминает о впечатлении, произведенном пребыванием императорской фамилии в Москве.

2) Записка от Белинского, заключающая в себе приглашение Достоевского в собрание у одного лица, с которым он не был еще знаком.

3) Две запрещенные книги под заглавием: одна — «Le Berger de Kravan» и другая — «La célébration du Dimanche».

Подсудимый Достоевский показал, что о записке от Белинского, заключающей в себе приглашение его в собрание у одного лица, с которым он не был еще знаком, он решительно ничего не может припомнить, а вероятно, она написана была в первые дни знакомства с Белинским, который если и приглашал его куда-нибудь, то не на собрание, а в гости к какому-нибудь литератору. Запрещенные же книги взяты им, Достоевским, от знакомых.

В заключение своих показаний в Следственной комиссии подсудимый Достоевский объяснил, что весь либерализм его состоял в желании всего лучшего своему отечеству. Это желание началось с тех пор, как он стал понимать себя, и росло в нем более и более, но никогда не переходило за черту невозможного. Он всегда верил в правительство и самодержавие; однако же не осмеливается сказать, что никогда не заблуждался в своих желаниях, которые в отношении усовершенствования и общей пользы, быть может, очень ошибочны, так что исполнение их послужило бы к всеобщему вреду, а не к пользе. Может быть, ему удавалось иногда выражать свое мнение с излишнею горячностью или даже горечью, но это было минутами. Злобы и желчи в нем никогда не было, и к тому же им всегда руководила самая искренняя любовь к отечеству, которая подсказывала ему добрый путь и сберегала его от пагубных заблуждений. Он желал улучшений и перемен и сетовал о многих злоупотреблениях, но вся основа его политической мысли была ожидать этих перемен от самодержавия. Он хотел, чтобы не был заглушен ничей голос и чтобы выслушана была по возможности всякая нужда, и потому изучал, обдумывал сам и любил слушать разговор, в котором знающие более объясняли о возможности некоторых перемен и улучшений. Социа-

листом же никогда не был, хотя и любил читать и изучать социальные вопросы и с большим любопытством следил за переворотами западными.

В военном суде подсудимый Достоевский, подтверждая прежние свои показания, к оправданию своему присовокупил, что он никогда не действовал с злым и преднамеренным умыслом против правительства, что всё сделанное им было необдуманно, а многое сделано почти нечаянно, как например чтение письма Белинского, что если он когда-нибудь сказал что-либо свободно, то разве в кругу близких людей, которые могли понять его и знали, в каком смысле он говорил, и что распространения своих мнений он всегда избегал.

ПРИГОВОР ⟨ВОЕННО-СУДНОЙ КОМИССИИ⟩

Военный суд находит подсудимого Достоевского виновным в том, что он, получив в марте месяце сего года из Москвы от дворянина Плещеева ⟨подсудимого⟩ копию с преступного письма литератора Белинского, — читал это письмо в собраниях: сначала у подсудимого Дурова, потом у подсудимого Петрашевского и, наконец, передал его для списания копий подсудимому Момбелли. Достоевский был у подсудимого Спешнева во время чтения возмутительного сочинения поручика Григорьева под названием «Солдатская беседа». А потому военный суд приговорил его, отставного инженер-поручика Достоевского, за недонесение о распространении преступного о религии и правительстве письма литератора Белинского и злоумышленного сочинения поручика Григорьева, — лишить на основании Свода военных постановлений ч. V, кн. 1, ст. 142, 144, 169, 170, 172, 174, 176, 177 и 178, чинов, всех прав состояния и подвергнуть смертной казни расстрелянием.

⟨ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛ-АУДИТОРИАТА О Ф. М. ДОСТОЕВСКОМ⟩

⟨...⟩ Действия каждого из подсудимых заключаются в следующем: ⟨...⟩

13. Об отставном инженер-поручике Федоре Достоевском (27 лет).

Поручик Достоевский, по собственному сознанию, посещая собрания Петрашевского три года, слышал происходившие там преступные суждения, между прочим, об освобождении крестьян, об изменении порядка судопроизводства, и сам принимал участие при разговорах о строгости цензуры, а на одном собрании, в марте сего 1849 года, прочел полученное им из Москвы от подсудимого Плещеева письмо литератора Белинского к Гоголю, наполненное дерзкими выражениями против православной церкви и верховной власти. После того, встретив одобрение этому письму, Достоевский читал оное на собраниях Дурова и потом передал его для списания копии подсудимому Момбелли. На тех же собраниях Дурова он слышал чтение других либеральных статей, знал о предположении завести домашнюю литографию для распространения статей против правительства и, наконец, был на обеде у подсудимого Спешнева в то время, когда подсудимый Григорьев читал возмутительное свое сочинение под названием «Солдатская беседа».

При следствии Достоевский, сознаваясь, что он, точно, участвовал в разговорах о возможности некоторых перемен и улучшений, отозвался, что предполагал ожидать этого от правительства; письмо же Белинского читал на собраниях как литературный памятник, будучи уверен, что он не может никого привести в соблазн ⟨...⟩

Обвинения каждого из подсудимых основываются на собственных их показаниях, на письменных актах, у них найденных, и на других более или менее положительных сведениях.

Степень виновности их, по обнаруженным личным действиям в преступных замыслах, заключается в следующем: ⟨...⟩

10. Отставной инженер-поручик Достоевский ⟨литератор⟩ посещал собрания Петрашевского и принимал участие в происходивших там преступных разговорах, а в марте месяце сего года, получив из Москвы от подсуди-

мого Плещеева копию с преступного письма литератора Белинского, наполненного дерзкими выражениями против верховной власти и православной церкви, читал это письмо в собраниях у Дурова и Петрашевского и, наконец, передал его для списания копии подсудимому Момбелли, на собраниях у Дурова участвовал в совещаниях о том, чтобы писать статьи против правительства и распространять их посредством домашней литографии, наконец, был у подсудимого Спешнева на обеде, когда там читана была статья возмутительного содержания поручика Григорьева под заглавием: «Солдатская беседа» ⟨...⟩

Генерал-аудиториат, объяснив существо вины каждого из подсудимых, заключает, что хотя степень их виновности различна, ибо одни из них более, другие менее принимали участие в злоумышлении, но, как все они суждены по Полевому уголовному уложению, в преступлениях же государственных, по точной силе наших законов, не постановлено различия между главными виновниками и соучастниками, то, на основании сего Уложения, генерал-аудиториат полагает: всех подсудимых, а именно, титулярного советника Буташевича-Петрашевского, неслужащего дворянина Спешнева, поручиков Момбелли и Григорьева, штабс-капитана Львова 2-го, студента Филиппова, кандидата Ахшарумова, студента Ханыкова, коллежского асессора Дурова, отставного поручика Достоевского, коллежского советника Дебу 1-го, коллежского секретаря Дебу 2-го, учителя Толля, титулярного советника Ястржембского, неслужащего дворянина Плещеева, титулярного советника Кашкина и Головинского, поручика Пальма, титулярного советника Тимковского, коллежского секретаря Европеуса и мещанина Шапошникова подвергнуть смертной казни расстрелянием ⟨...⟩

Генерал-аудиториат, определив меру наказания подсудимых на основании полевых военных законов, не мог, однако ж, не принять в уважение тех облегчительных обстоятельств, которые представляются по делу к смягчению участи подсудимых, именно, признаки раскаяния многих из них, добровольное сознание при следствии в поступках, кои, без их откровенности, могли бы остаться неизвестными, юность лет при увлечении в злонамеренные замыслы и, наконец, то, что преступные их начинания не достигли вредных последствий, быв своевременно предупреждены мерами со стороны правительства.

Посему, повергая участь подсудимых монаршему милосердию вашего императорского величества, генерал-аудиториат, на основании правил, в руководство ему данных, осмеливается всеподданнейше ходатайствовать об определении им, вместо смертной казни, наказаний по мере вины, в следующей постепенности ⟨...⟩

7. Отставного поручика Достоевского, за такое же участие в преступных замыслах, распространение письма литератора Белинского, наполненного дерзкими выражениями против православной церкви и верховной власти, и за покушение, вместе с прочими, к распространению сочинений против правительства, посредством домашней литографии, лишить всех прав состояния и сослать в каторжную работу в крепостях на 8 лет.

Резолюция Николая I: «На 4 года и потом рядовым».

⟨ПРЕДПИСАНИЕ О ВЫСЫЛКЕ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО⟩

Коменданту Санктпетербургской крепости

декабря 24 дня 1849 г.
№ 523

Господину смотрителю Алексеевского равелина

В исполнение высочайшей его императорского величества конфирмации предлагаю Вашему высокоблагородию содержащихся в Алексеевском равелине преступников Дурова, Достоевского и Ястржембского, назначенных

к отправлению сего числа вечером в Тобольск, закованными, выдать их назначенному для сопровождения поручику фельдъегерского корпуса Прокофьеву и из списков об арестованных по равелину исключить.

⟨РАПОРТ ОБ ОТПРАВКЕ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО В СИБИРЬ⟩

Копия

№ 448

31 января 1850 г.

Господину генерал-адъютанту графу Орлову

Коменданта Санктпетербургской крепости

Рапорт

Содержавшиеся в Санктпетербургской крепости преступники во исполнение высочайшей его императорского величества конфирмации, по исключении их из списков об арестантах, сего числа вечером отправлены: Дуров, Достоевский и Ястржембский — в Тобольск, закованные, с поручиком фельдъегерского корпуса Прокофьевым при 3-х жандармах, Плещеев — в Оренбург, с прапорщиком фельдъегерского корпуса Лейтером, и Ахшарумов — в Херсон, с прапорщиком фельдъегерского корпуса Вирандером при жандарме; о чем вашему сиятельству донести честь имею.

Подписал: генерал-адъютант Набоков
Верно: коллежский секретарь Васильев

⟨ПИСЬМО А. Н. МАЙКОВА К П. А. ВИСКОВАТОВУ⟩ (1885 г.)

К делу Петраш⟨евского⟩ действительно я был прикосновен, но скажу с достоверностью, что этого дела никто до сих пор путно не знает; что видно из «дела», из показаний — всё вздор; главное, что в нем было серьезного, до Комиссии и не дошло. Да я Вам, кажется, рассказывал. С Петрашевским я познакомился в университете и потом изредка ходили к нему, во-1-х, потому, что были всё юноши знакомые, а потом — еще и потому, что было забавно. По смерти же брата (1847 г. летом), глубоко меня потрясшей, да притом тогда же был в самой горячей завязке мой роман с Анной Ивановной — я был у Петраш⟨евского⟩ всего раз, в декабре 1847 ⟨г.⟩. Брат еще раньше тоже отвлекся от кружка Петраш⟨евского⟩, приняв критику в «Отеч⟨ественных⟩ зап⟨исках⟩», и около него составился его кружок: Влад⟨имир⟩ Милютин, Стасов, еще человека три-четыре. Я же, занятый своим романом, а именно тем, что в него входило — как бы побольше добыть денег, то я сидел, писал итальянские рассказы, а потом критики в «Отеч⟨ественные⟩ зап⟨иски⟩», ото всех был в стороне. Раз, кажется в январе 1848 г., приходит ко мне Ф. М. Достоевский, остается ночевать — я жил один на своей квартире — моя кровать у стены, напротив диван, где постлано б⟨ыло⟩ Дост⟨оевско⟩му. И вот он начинает мне говорить, что ему поручено сделать мне предложение: Петрашевский, мол, дурак, актер и болтун; у него не выйдет ничего путного, а что люди подельнее из его посетителей задумали дело, которое Петр⟨ашевско⟩му неизвестно, и его туда не примут, а именно: Спешнев, Пав⟨ел⟩ Филиппов (эти умерли, так я их называю, другие, кажется, еще живы, потому об них все-таки умолчу, как молчал до сих пор целые 37 лет обо всем этом эпизоде) и еще пять или шесть, не помню, в том числе Достоевский. И они решили пригласить еще седьмого или восьмого, то есть меня. А решили они завести тайную типографию и печатать и т. д. Я дока-

зывал легкомыслие и беспокойность такого дела и что они идут на явную гибель. Да притом — это мой главный аргумент — мы с вами (с Ф. М.) поэты, след⟨овательно⟩, люди непрактические, и своих дел не справим, тогда как политическая деятельность есть в высшей степени практическая способность и пр. И помню я — Д⟨остоевск⟩ий, сидя как умирающий Сократ перед друзьями, в ночной рубашке с незастегнутым воротом, напрягал всё свое красноречие о святости этого дела, о нашем долге спасти отечество, и пр. — так что я наконец стал смеяться и шутить. «Итак, — нет?» — заключил он. «Нет, нет и нет». Утром после чая, уходя: «Не нужно говорить, что об этом ни слова». — «Само собою». Впоследствии я узнал, что типографский ручной станок был заказан по рисунку Филиппова в разных частях города и за день, за два до ареста был снесен и собран в квартире одного из участников, М⟨ордвино⟩ва, которого я, кажется, и не знал, когда его арестовали и делали у него обыск, на этот станок не обратили внимания, у него стояли в кабинете разные физические и другие инструменты и аппараты, но дверь опечатали. По уходе Комиссии и по уводе М⟨ордвино⟩ва домашние его сумели, не повредив печатей, снять двери с петель и выкрали станок. Таким образом, улика была уничтожена. Обо всем этом деле Комиссия ничего не знала, не знал и Петрашевский, и изо всех избегших ареста только я один и знал. И если что меня тяготило в ожидании, когда меня арестуют (а этого я ждал по близким связям с Дост⟨оевски⟩ми и Плещеевым), а потом чего более я боялся уже на допросе в крепости — это именно этой тайны посещения Дост⟨оевско⟩го и того, что он мне сообщил. Но на допросе об этом не спрашивали, и я весьма свободно и развязно отвечал об теории Фурье и фаланстериях, даже не без юмора, члены смеялись, когда я рисовал, какие это будут казарменные жилища, где будет и мой нумер, и вся жизнь будет на глазах и никаких амуров не останется в тайне. Распространялся о неуживчивости Дост⟨оевско⟩го, который перессорился со всеми, кроме меня, но, наконец, в последнее время охладел и ко мне и мы видались реже. С Петраш⟨евским⟩ поддерживал знакомство из учтивости, да и забавно было. Когда же наконец мне сказали «можете идти — вы свободны», я наконец вздохнул легко, мне стало ужасно весело именно оттого, что не спросили ничего о «той ночи». Помню, когда я вышел из светлой комнаты, где сидела Комиссия, в темный коридор, я вдруг очутился один в темноте, пошел наудачу и думал уж назад вернуться к генералам, попросить, чтобы указали мне, как выйти, но вдруг наткнулся на идущего человека и рукой, которую держал вперед, ощупал что-то металлическое вроде звезды, и вдруг слышу строгий голос: «Кто такой? куда?» Явилась откуда-то свеча — я вижу, что прошел мимо часового, а передо мной генерал в мундире — то был, я узнал после, комендант Набоков: «Я из Комиссии, мне сказали, я свободен, — я и пошел, но не знаю, куда идти». Он указал, и я очутился на крепостном дворе, ярко озаренном луной, — и ни души! Опять не знаю, куда направляться. Постоял, посмотрел на собор. Тихо, а кругом в стенах — знакомые, — и что с ними? Я все-таки ничего не знал, что они наделали. Слава богу, что не спрашивали о типографии: что бы я сказал? Надо сказать, в моих ответах не было никакой лжи, и ничего бросающего на кого-нибудь обвиняющую тень. Сразу Дубельт меня поставил так, что я почувствовал себя развязно, а первая его улыбка развязала мой юмор — о Петрашевском, напр⟨имер⟩, я говорил, как он нас всегда смешил: раз явился на дачу ночью в грозу — мы уж раздевались — в испанском плаще и в бандитской шляпе. О Дост⟨оевско⟩м говорил с чувством и сожалением, что разошелся с ним, что расходился он вообще из огромного самолюбия и неуживчивости. Наконец, в крепости-то, увидел того же жандармского офицера, из простых, который меня привез из 3-го отд⟨еления⟩ в крепость и который до призыва меня в Комиссию караулил меня в комендантской комнате и, когда я там, смотря на висящие на стенах виды Венеции, стал ему рассказывать, что вот, мол, чудно́й город, лошадей нет, улиц нет, а только каналы, и кухарки за провизией или ездят на лодках, или купцы подъезжают на лодках, а к ним спускают корзины с деньгами, и они накладывают провизию, — смотрел на меня как на враля, и, может быть, опасного. «Ну вот, вы меня сюда привезли, покажите теперь,

как выйти» — сказал я ему. Он обрадовался как родной: «Пойдемте, пойдемте!» У него был извозчик. «Ну что, — говорю, — везли, думали бог знает какого преступника, а вот теперь сами рады». — «Должность такая — везешь, не знаешь, боишься, а теперь другое дело. Не хотите ли ко мне — чайку и закусить, время позднее». — «Нет, покорнейше благодарю, — дойдем до извозчика, а там надо успокоить родителей». И разумеется, сейчас к родителям, а чем свет — записку к Анне Ивановне.

Однако, садясь Вам писать письмо, я совсем и не думал, что наткнусь на это повествование. Меня всё еще как будто связывает слово, данное в «ту ночь» Дост⟨оевско⟩му. Впрочем, когда-нибудь это опишу всё порядочнее и подробнее.

⟨УСТНЫЙ РАССКАЗ А. Н. МАЙКОВА О Ф. М. ДОСТОЕВСКОМ И ПЕТРАШЕВЦАХ В ЗАПИСИ А. А. ГОЛЕНИЩЕВА-КУТУЗОВА⟩

Был у Майкова (Ап⟨оллона⟩ Ник⟨олаевича⟩) и слышал от него рассказ об его участии в деле Петрашевского (1849 ⟨г.⟩).

Вот этог рассказ.

«Лежу я утром в постели. Является жандармский офицер и штатский какой-то. Спрашивает: „Вы А. Н. Майков?“

— Я.

— Извольте одеться. Мы сделаем сперва обыск, а затем попросим вас ехать с нами. Avez-vous des livres défendus?

— Probablement.

— Oú sont-ils?

— Mais voilà toute ma bibliothèque, cherchez,[1] и проч.

Напились чаю; перебрали книги, забрали тетради и бумаги и отправили⟨сь⟩ в карете в III Отделение. Там отвели комнату, очень любезно обращались, подали обед. Затем я преспокойно заснул. А в десять часов вечера меня разбудили и повезли в крепость под охран⟨ой⟩. Вез какой-то офицер из бурбонов и всё время молчал. Привезли в крепость, повели по темным коридорам, наконец ввели в просторную освещенную комнату со столом, покрытым красным или зеленым сукном (не помню), за которым сидели генералы. Дубельт очень любезно предложил сесть и предложил вопросные пункты:

— Были ли знакомы с Петрашевским?

— Был. Он кончал курс в университете вместе со мной, и я его знал, как и всех прочих студентов-товарищей.

— Так и пишите — да покороче, например, *знаком по университету*. Продолжали ли знакомство потом?

— Сначала нет, ибо уезжал из Петерб⟨урга⟩, был за границей, а по возвращении мы встретились, и он меня пригласил на свои пятницы. Я не имел никакого повода уклоняться. У Петрашевского собиралось разнородное общество; было довольно приятно и даже подчас забавно, ибо Петрашевский vive forceur [2] придавал своим пятницам вид каких-то заседаний.

— И даже председательствовал с колокольчиком?

— Да. Мы с братом там бывали и часто смеялись над ними, но продолжали ходить из любопытства и чтобы не обидеть старого товарища.

— Так и напишите коротко. *Продолжали знакомство из вежливости.* Знаете ли вы учение Фурье и одобряете ли его?

— Конечно, знаю, но больше понаслышке. А одобряю ли? — конечно, нет. Фаланстеры представляются мне чем-то весьма скучным, некрасивым

---

[1] — Имеются ли у Вас запрещенные книги?
— Вероятно.
— Где они?
— Вот вся моя библиотека, ищите *(франц.)*.

[2] усиленно, настойчиво *(франц.)*.

и неудобным. Во-первых, жаль было уничтожать города, а затем жить в казарме, в коридоре, в номере — нет, покорно благодарю; не иметь своего дома — да это всё равно, что жить на улице! Молодому человеку весьма неприятно, чтобы все знали, кто у него бывает!

Общий смех, и, очевидно, все симпатизируют мне.

Но затем мне предложен был самый трудный, тяжелый и щекотливый для меня вопрос.

— Знакомы ли были с Достоевским (Фед⟨ором⟩ Мих⟨айловичем⟩) и какие имели с ним сношения?

Вопрос был тяжел потому, что я решительно не знал, до какой степени он компрометирован, что он показал, а между тем с Достоевским был у меня один очень важный разговор.

Приходит ко мне однажды вечером Достоевский на мою квартиру в дом Аничкова, — приходит в возбужденном состоянии и говорит, что имеет ко мне важное поручение.

— Вы, конечно, понимаете, — говорит он. — что Петрашевский болтун, несерьезный человек и что из его затей никакого толка выйти не может. А потому из его кружка несколько серьезных людей решились выделиться (но тайно и ничего другим не сообщая) и образовать особое тайное общество с тайной типографией, для печатания разных книг и даже журналов, если это будет возможно. В вас мы сомневались, ибо вы слишком самолюбивы... (это Федор-то Михайлович меня упрекал в самолюбии!)

— Как так?

— А вы не признаете авторитетов, вы, например, не соглашаетесь со Спешневым (проповедовавшим фурьеризм).

— Полит⟨ической⟩ эконом⟨ией⟩ особенно не интересуюсь. Но, действительно, мне кажется, что Спешнев говорит вздор; но что же из этого?

— Надо для общего дела уметь себя сдерживать. Вот нас семь человек: Спешнев, Мордвинов, Момбелли, Павел Филиппов, Григорьев, Владимир Милютин и я — мы осьмым выбрали вас; хотите ли вы вступить в общество?

— Но с какой целью?

— Конечно, с целью произвести переворот в России. Мы уже имеем типографский станок; его заказывали по частям в разных местах, по рисункам Мордвинова; всё готово.

— Я не только не желаю вступить в общество, но и вам советую от него отстать. Какие мы политические деятели? Мы поэты, художники, не практики, и без гроша. Разве мы годимся в революционеры?

Достоевский стал горячо и долго проповедовать, размахивая руками в своей красной рубашке с расстегнутым воротом.

Мы спорили долго, наконец устали и легли спать.

Поутру Достоевский спрашивал:

— Ну, что же?

— Да то же самое, что и вчера. Я раньше вас проснулся и думал. Сам не вступлю, и, повторяю, — если есть еще возможность, — бросьте их и уходите.

— Ну, это уж мое дело. А вы знайте. Обо всем вчера ⟨сказанном⟩ знают только семь человек. Вы восьмой — девятого не должно быть!

— Что до этого касается, то вот вам моя рука! Буду молчать.

Вот какой у нас был разговор, и вот почему мне трудно было отвечать.

Я сказал, что знаю Достоевского и очень его люблю, что он человек и товарищ хороший, но страшно самолюбив и неуживчив, что он перессорился со всеми ⟨после⟩ успеха своих „Бедных людей“ и — что единственно со мною не было положительно ссоры, но что в последние годы (я нарочно распространил несколько время, ибо, действительно, после этого разговора мы почти не видались) Достоевский ко мне охладел и мы почти не видались.

После этого мне предложили еще несколько незначительных вопросов и объявили, что я свободен и могу идти домой. Я вышел в темный коридор и, заблудившись, наткнулся на кого-то, который вдруг грозно спросил: „Кто тут?“ Отворилась какая-то дверь, и появился генерал Набоков (добрый, но суровый старик).

— Вы зачем здесь?

Я объяснил, и меня вывели на улицу. Там я встретил провожавшего меня бурбона, который, узнав, что меня освободили, оказался очень разговорчивым и добродушным человеком, искренно радующимся моему освобождению. Я вернулся на квартиру, и вскоре мне вернули мои бумаги и книги.

Знала ли Следственная комиссия об этой фракции общества Петрашевского — не знаю. В приговоре Достоевского было сказано, между прочим: „за намерение открыть тайную типографию". При обыске у Мордвинова, у которого стоял станок, на него не обратили внимания, ибо он стоял в физическом его кабинете, где были разные машины, реторты и проч. Комнату просто запечатали, и родные сумели, не лом⟨ая⟩ печати, снять дверь и вынести злополучный станок.

Эпилог. В 1855 году, после вступления на престол Александра II-го, в один прекрасный день являет⟨ся⟩ ко мне какая-то странная и довольно неблаговидная личность и с чем-то меня поздравляет.

— Кто вы и с чем поздравляете?

— Я агент тайной полиции и поздравляю вас со снятием с вас полицейского надзора.

— Разве я был под надзором?

— Конечно-с: мы об вас всё писали.

— Да что же вы писали?

— Да всё-с, изо дня в день, нам всё было известно.

— И вы были довольны мною?

— Помилуйте-с, уж чего же довольнее?

Я дал ему рубль; он скрылся, и тем окончилось всё дело о прикосновенности моей к заговору Петрашевского».

27 I 1887, СПб.

Литературныя странности.

I

Господинъ —бовъ и художественность.

Мы мечтали было написать подробный отчетъ о критической дѣятельности русскихъ журналовъ въ прошломъ году, но, размысливъ, ужаснулись такого подвига. Мы прямо говоримъ: *подвига* и убедительно просимъ нашихъ читателей позволить намъ не объяснять почему мы считаемъ такой трудъ подвигомъ. Конечно ~~нам~~ въ отношеніи предполагавшагося отчета нашего пришлось бы указать и на нѣсколько пріятныхъ явленій въ прошлогодней критикѣ, а если и не

«Ряд статей о русской литературе». Черновой набросок статьи «Г-н —бов и вопрос об искусстве». 1861 г.

Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина (Москва).

ДРУГИЕ РЕДАКЦИИ

РЯД СТАТЕЙ О РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ. Г-Н —БОВ И ВОПРОС ОБ ИСКУССТВЕ

(Стр. 70)

Черновой набросок начала статьи (ЧН)

ЛИТЕРАТУРНЫЕ СТРАННОСТИ

1

ГОСПОДИН —БОВ И ХУДОЖЕСТВЕННОСТЬ

Мы мечтали было написать подробный отчет о критической деятельности русских журналов в прошлом году, но, размыслив, ужаснулись такого подвига. Мы [прямо] говорим: *подвига* и убедительно просим наших читателей позволить нам не объяснять, почему мы считаем такой труд подвигом. Конечно, [нам] в этом предполагавшемся отчете нам пришлось бы указать и на несколько приятных явлений в прошлогодней критике, а если и не совсем приятных, то по крайней мере очень любопытных. Мы думаем, что за [такое мнение] такой отзыв нас не обвинят в противуречии с нашим же мнением, высказанным нами в объявлении о нашем журнале. Мы грустно сказали тогда ⟨*не закончено. Далее на полях продолжено:*⟩ Но хотя мы и не беремся за наш подвиг, мы видим, что нам придется в этой статье говорить отчасти о нашей прошлогодней критической деятельности в русской литературе, по крайней мере говорить об одном из важнейших деятелей тепере⟨шней⟩ русской критики, которого — надо сказать откровенно — которого только одного у нас теперь и читают. В самом деле, исключая трех-четырех критических статей ⟨?⟩ в разных журналах за прошлый год, несколько замеченных (все остальные прошли, почти не оставив по себе следа), публика читает одного г-на —бова, который сам заставил-таки читать себя, и уж за это одно он стоит большого внимания. Но вот по какому случаю мы хотим говорить в этот раз о г-не —бове.



ПРИМЕЧАНИЯ

1

В восемнадцатый том Полного собрания сочинений Ф. М. Достоевского, которым открывается издание его публицистического наследия (тома XVIII—XXVI), вошли статьи, заметки и фельетоны 1845—1860 гг. и две первые статьи («Введение» и «Г-н —бов и вопрос об искусстве») из цикла «Ряд статей о русской литературе» (1861), продолжение которого помещено в томе XIX. Кроме них, в томе помещены впервые публикуемые рукописные выписки и замечания 1859—1860 гг., а также черновой набросок начала статьи «Г-н —бов и вопрос об искусстве». Записная тетрадь Достоевского 1860—1862 гг., куда входит и ряд записей публицистического характера, сделанных в 1860—1861 гг. (т. е. хронологически относящихся к тому же периоду, что и другие материалы данного тома), публикуется вместе с тремя другими записными книжками и тетрадями первой половины 1860-х годов, с которыми она тесно связана по содержанию, в томе XX, а отдельные заметки из нее, важные для освещения творческой истории «Ряда статей о русской литературе», приводятся и анализируются в примечаниях к этому циклу.

В разделе «Приложения» помещены: *I* — статьи, написанные Достоевским совместно с другими лицами — Д. В. Григоровичем и А. Н. Плещеевым; *II* — показания Достоевского по делу петрашевцев, часть которых печатается впервые; вслед за показаниями писателя по делу петрашевцев помещаются все остальные официальные документы из того же дела, относящиеся к Достоевскому, а также дополняющие показания писателя воспоминания А. Н. Майкова об устных рассказах Достоевского 1848—1849 гг. В преамбуле (стр. 306—335), предваряющей комментарий к документам Достоевского-петрашевца, сделана попытка свести воедино остальные устные и печатные разрозненные свидетельства Достоевского разных лет, освещающие его понимание исторического места движения петрашевцев и собственной его роли в этом движении. Включена в настоящий том и запись Достоевского в альбом О. А. Милюковой (1860) с воспоминаниями об обстоятельствах его ареста.

Достоевский при жизни ни разу не предпринял попытки собрать и переиздать отдельно свои журнальные и газетные статьи и фельетоны. 15 апреля 1876 г. он писал о них библиографу П. В. Быкову в ответ на просьбу последнего сообщить уточненные данные для его биографии и списка его сочинений: «Неподписанные статьи мои хотя и были (критические во «Времени»), но я от них отрекаюсь». Из числа произведений, приближающихся по жанру к художественной публицистике, писатель сделал исключение лишь для «Зимних заметок о летних впечатлениях», которые ввел во второй том собрания сочи-

нений 1865—1870 гг. (см. об этом: наст. изд., т. V), что свидетельствует об особом идейно-художественном значении, которое он придавал этому произведению, действительно во многом ключевому для понимания основных идей писателя и наиболее общих вопросов его мировоззрения. Поскольку издание Ф. Т. Стелловского 1865—1870 гг. было последним собранием сочинений Достоевского, вышедшим при его жизни, за пределами прижизненных собраний сочинений остались не только статьи и фельетоны 1845—1865 гг., но и статьи и заметки в «Гражданине» 1870-х годов, а равно весь «Дневник писателя».

Лишь после смерти писателя его вдова, А. Г. Достоевская, выпустила в 1882—1883 гг. первое издание его сочинений, куда наряду с художественными произведениями в качестве томов X—XII вошли «Дневник писателя» за 1873—1881 гг., «Ряд статей о русской литературе», статьи об иностранных событиях из «Гражданина» и «Маленькие картинки. (В дороге)» (1874), а также объявления об издании «Времени» и «Эпохи» (1860—1864) и фельетон «Из дачных прогулок К. Пруткова и его друга» (1878; т. I). В связи с подготовкой названного издания А. Г. Достоевская попросила Н. Н. Страхова, как живого свидетеля, составить для нее список статей Достоевского во «Времени» и «Эпохе», дошедший до нас и являющийся и сейчас надежным источником для определения основного корпуса журнальных статей Достоевского 1860-х годов (все они печатались в журналах «Время» и «Эпоха» без подписи, так же как статьи многих других сотрудников обоих журналов; это делает определение авторства таких материалов «Времени» особой, еще не решенной сегодня до конца исследовательской задачей). В дальнейшем, уже в XX в., начатая А. Г. Достоевской работа по выявлению статей и фельетонов писателя в периодике 1840—1870-х годов была продолжена В. К. Астровым-Савеловым, В. Л. Комаровичем, Л. П. Гроссманом, О. фон Шульцем, К. И. Чуковским, В. С. Нечаевой, Б. В. Томашевским, В. В. Виноградовым и редакцией «Литературного наследства».

Достоевский охарактеризовал себя как писателя, «одержимого тоской по текущему» (наст. изд., т. XIII, стр. 455). В известной эпистолярной полемике с И. А. Гончаровым (1874) он отстаивал право литератора на обращение к типам и ситуациям, не только прочно отстоявшимся в жизни, отлившимся в ясные и законченные формы, но и еще только нарождающимся, находящимся в движении и изменении. Отсюда постоянный, органический интерес писателя к фельетону, газетной хронике, публицистике, которые служили для него, по собственному признанию, постоянно необходимым, неоценимым материалом и стимулом для творческой работы. И отсюда же — раннее обращение самого Достоевского к жанру фельетона из петербургской жизни (1845—1847), а в дальнейшем — его выступление в 1860-е годы как соредактора «Времени» и «Эпохи», а в 1870-е — как автора и издателя «Дневника писателя». Дополняя художественные произведения Достоевского, его статьи, заметки и фельетоны, неразрывно связанные с ними по проблематике, образам и стилю, представляют важнейший источник для понимания его как человека и писателя.

Из статей Достоевского 1840-х годов особенно важна «Петербургская летопись» 1847 г., где впервые проявилось его блестящее дарование полемиста. С еще большей силой публицистический темперамент Достоевского отразился в его письменных объяснениях и показаниях по делу петрашевцев, страницы которых, посвященные критике николаевской цензуры, анализу революции

1848 г. на Западе и критической оценке утопического социализма 1840-х годов, относятся к числу самых выдающихся документов революционной публицистики петрашевцев. Как и более ранние фельетоны «Петербургской летописи», показания Достоевского Следственной комиссии свидетельствуют, что с самого начала творческого пути он испытывал потребность в выступлении на поприще публициста. Эта потребность привела писателя по возвращении в Петербург в 1860-х годах к организации вместе с братом журналов «Время» и «Эпоха», идейным вдохновителем которых был Ф. М. Достоевский и программа которых отразила новую фазу в его идейной эволюции. [1]

2

Замысел журнала, по-видимому, возник у М. М. Достоевского в конце 1857—начале 1858 года: из письма Ф. М. Достоевского к брату от 18 января 1858 г. явствует, что М. М. Достоевский обратился к нему с просьбой прислать «к будущему году» повесть, которая, несомненно, нужна была для проектируемого журнала. Повесть Ф. М. Достоевский дать обещал, а насчет задуманного издания спрашивал: «Очень пеняю тебе, зачем ты не пишешь подробно, т. е. что́ ты хочешь издавать, с кем и как?» 19 июня 1858 г. М. М. Достоевский обратился с прошением в С.-Петербургский цензурный комитет, где он писал: «Желая издавать политический и литературный журнал под названием „Время“ по прилагаемой программе, имею честь просить С.-Петербургский цензурный комитет об исходатайствовании мне дозволения на это издание. При сем прилагаю: 1) Указ об отставке и 2) Свидетельство в удостоверении моей способности быть редактором журнала.

Отставной инженер-подпоручик М. Достоевский»
(*Сб. Достоевский, II*, стр. 562).

Петербургский цензурный комитет, не встречая, с своей стороны, препятствий к удовлетворению этой просьбы, обратился 26 июня 1858 г. с запросом в Главное управление цензуры, и прошение М. М. Достоевского было удовлетворено, о чем сообщил ему 31 октября 1858 г. министр народного просвещения Е. П. Ковалевский (там же, стр. 563). Однако разрешением на издание журнала братья Достоевские воспользовались только через два года, после возвращения Федора Достоевского в Петербург.

Программа журнала (еженедельника), представленная М. М. Достоевским в цензуру вместе с цитированным обращением, в основном совпадает с программой будущего «Времени», с той разницей, что «Время» стало не «тонким» (еженедельным), а «толстым» (ежемесячным) журналом. Вот эта первоначальная программа, составленная М. М. Достоевским в 1858 г. и тогда же представленная им для утверждения:

«Программа журнала
„Время“
Политическое и литературное обозрение.

---

[1] Еще 3 ноября 1857 г. Достоевский писал брату из Семипалатинска о желании начать «ряд сочинений о современной литературе» под рубрикой «писем из провинции». Ср. ниже, стр. 270.

Журнал сей имеет выходить один раз в неделю и издаваться по следующей программе:

1. Внутренние новости: распоряжения правительства, события в отечестве, письма из губерний и проч.

2. Новости иностранные: политическое обозрение, известия последней почты, политические слухи, письма иностранных корреспондентов.

3. Отдел литературный:
   a) Повести, рассказы, мемуары и т. п.
   b) Фельетон.
   c) Критики и библиографические заметки как о русских книгах, так и об иностранных. Сюда же относятся разборы новых пьес, поставленных на наши сцены.
   d) Статьи ученого содержания.

4. Смесь.

5. Статьи юмористического содержания, с политипажами.

6. Приложения, состоящие из переводных романов, эстампов и проч.

Каждый номер журнала будет заключать от трех до четырех печатных листов» (там же, стр. 564).

Ф. М. Достоевский узнал о намерении брата издавать журнал осенью 1858 г. и встретил его с энтузиазмом, но и с тревогой за будущее дело. Он писал брату 13 сентября 1858 г.: «Твоя газета, о которой ты мне писал, вещь премилая. У меня давно уже вертелась в голове мысль о подобном издании, но только чисто литературной газеты. Главное: литературный фельетон, разборы журналов, разборы хорошего и ошибок, вражда к кумовству, так теперь распространившемуся, больше энергии, жару, остроумия, стойкость — вот чего теперь надо! ⟨...⟩ Но только вот что: неужели ты будешь издавать газету? Ведь это дело нелегкое при фабрике-то? Смотри, брат.

Второе дело: в Петербурге я жить никогда не буду, а потому трудно будет мне помогать тебе! Но уж, разумеется, я буду тебе помогать — если только сам того захочешь».

Разговоры о будущем издании возобновились по возвращении Ф. М. Достоевского в Тверь. Об этом свидетельствует письмо А. Н. Плещеева Ф. М. Достоевскому от 27 октября 1859 г.: «Вы говорите, что будете с братом издавать газету. Это дело; но если вы теперь не пустите программу и начнете газету после января, это будет величайший промах» (*ЛА*, т. 6, стр. 262). Письмо Ф. М. Достоевского к брату от 12 ноября 1859 г. говорит о том, что замысел издания еще не оформился, оставалось немало сомнений и невыясненных вопросов. Первоначальному скромному проекту «газеты» (т. е. еженедельника) Ф. М. Достоевский противопоставил замысел журнала, способного конкурировать с «Отечественными записками» и «Современником»: «Я уверен, например, что у нас с тобой гораздо больше и ловкости, и способностей, и знания дела (sic!), чем у Краевских и Некрасовых. ⟨...⟩ Нет, брат, надо подумать, да еще и серьезно; надо рискнуть и взяться за какое-нибудь литературное предприятие — журнал, например... Впрочем, об этом подумаем и поговорим вместе. Дело еще не ушло».

Окончательно вопрос был обсужден братьями в Петербурге, куда Ф. М. Достоевский переехал во второй половине декабря 1859 г. после десятилетнего отсутствия. Достоевский в первые месяцы жизни в Петербурге стремительно приобщался к столичной литературной жизни; программа и позиция журнала «Время» в общих чертах созрела и выкристаллизовалась уже в первое полугодие 1860 г., чему во многом способствовало частое посещение Ф. М. Достоевским кружка А. П. Милюкова, в прошлом — старого знакомца по петрашевским связям Достоевских, ныне — главного идеолога и в сущности руководителя журнала «Светоч».

Журнал «Светоч», который с 1860 г. начал издаваться Д. И. Калиновским,[1] выступил с умеренно либеральной программой, претендовавшей на примирение и синтез идей «западников» и «славянофилов». Журнал хотел избежать политических крайностей, уповал на мирное и постепенное решение всех наболевших русских проблем, в первую очередь — крестьянского вопроса, на пропаганду культуры, грамотности и гласности. Этот умеренный и примиряющий тон был характерен как для редакционных объявлений, подписанных Д. И. Калиновским, но скорее всего принадлежащих Милюкову, так и для программных статей, среди которых следует особо выделить статью М. М. Достоевского о «Грозе» А. Н. Островского (*Св*, 1860, № 3, стр. 1—37) и А. Милюкова «Заключительное слово „Русской беседы"» (там же, № 2, отд. III, стр. 1—29). В редакционных объявлениях «Светоч» писал о том, что славянофилы «нам близки как деятели, на знамени которых начертано: любовь к народу и внутренняя связь с ним», а западники — «как жаждущие прогресса, а потому и соединения нашего с просвещенным Западом». Такой же примирительный тон господствует и в статье Милюкова, хладнокровно взвешивающего достоинства и недостатки обеих партий.

Как выяснил Г. М. Фридлендер, программа и редакционные объявления «Светоча» оказали влияние на формирование программных положений «Времени», куда вскоре перешли и основные сотрудники журнала Калиновского. Ближе всего журналу «Время» в программе «Светоча» было утверждение об окончании споров «западников» и «славянофилов», потерявших не только свою злободневность, но и смысл в свете новой общественно-политической обстановки. В объявлении об издании «Времени» на 1861 г. был отчетливо сформулирован этот тезис, восходящий к программе «Светоча»: «...перед этим-то вступлением в новую жизнь, примирение последователей реформы Петра с народным началом стало необходимостью. Мы говорим здесь не о славянофилах и не о западниках. К их домашним раздорам наше время совершенно равнодушно. Мы говорим о примирении цивилизации с народным началом» (см. выше, стр. 37). Примечательно, что в этом первом своем объявлении журнал «Время» решительней и бескомпромиссней, чем его предшественник по «почвенничеству», отделял свою положительную программу от славянофильской.

Еще более близкой к объявлению и будущим программным заявлениям «Времени» была названная статья М. М. Достоевского о «Грозе» А. Н. Островского. Здесь говорится: «В русском человеке есть способность прямо подходить к истине и понять ее со всех сторон. Вместе с этой способностью он соеди-

[1] См. подробнее: *Фридлендер, У истоков «почвенничества»*, стр. 400—410.

няет и всепримиряемость, то есть способность простить даже злую, враждебную обстановку, если только в ней заключается истина. Это качество, присущее русскому народу, оправдывается всей его историей, начиная с Петра и до Петра. Оно составляет принадлежность славянского племени, весь залог его будущего развития; и это свойство русского человека, главного представителя славянского племени, впервые выражено у нас в искусстве г-ном Островским...» (*Св*, 1860, № 3, стр. 8—9).[1] Так прозвучало понятие «всепримиряемость» как особенное, отличительное свойство, присущее только славянскому племени и более всего русскому человеку. В объявлении об издании «Времени» на 1861 г. эта мысль будет повторена: «...способность же примирительного взгляда на чужое есть высочайший и благороднейший дар природы, который дается очень немногим национальностям» (см. выше, стр. 37). Впоследствии тезис о «всепримиряемости», соединившись с другими (всеотзывчивость, всепонимаемость), станет девизом журнала «Время» и центральным пунктом программы Ф. М. Достоевского, связывавшего, однако, открытие этой отличительной черты русской народности и высшее, конкретное ее подтверждение не с драматургией Островского, а с личностью и творчеством Пушкина.

3

Получив разрешение жить в Петербурге, Достоевский в декабре 1859 г. переезжает в столицу. Почти не имея здесь — кроме брата, А. Н. Майкова и А. П. Милюкова — близких знакомых, писатель вскоре становится постоянным посетителем литературных «вторников» Милюкова. Таким образом, он входит в круг редакции и сотрудников «Светоча», связи с которым возникли у него, еще когда он жил в Твери.

О собиравшемся в 1860 г. у Милюкова кружке, его настроениях, а также о месте, которое Достоевский сразу же по приезде занял в этом кружке, мы располагаем воспоминаниями Н. Н. Страхова, знакомство которого с Достоевским состоялось именно здесь в конце 1859 или в самом начале 1860 г.

«Мое знакомство с Федором Михайловичем, — пишет Страхов, — началось именно на журнальном поприще, притом еще раньше, чем стало выходить „Время“. В конце 1859 года было объявлено об издании в следующем году нового ежемесячного журнала „Светоч“ под редакцией Д. И. Калиновского. Главным сотрудником в этом журнале был А. П. Милюков, в то время мой сослуживец по одному из учебных заведений. Я предложил ему для первого же номера свою статью, первую большую статью, с которою я вступал на петербургское журнальное поприще.[2] К великой радости, статья была одобрена, и А. П. пригласил меня в свой литературный кружок, на свои вторники, в Офицерской улице, в доме Якобса. С первого вторника, когда я явился в этот кружок, я считал себя как будто принятым наконец в общество настоящих литераторов и очень всем интересовался. Главными гостями А. П. оказались братья Достоевские, Федор Михайлович и Михаил Михайлович, дав-

[1] См. также: Н. И. Тотубалин. Добролюбов о «Грозе» Островского и ее критиках. В кн.: Н. А. Добролюбов — критик и историк русской литературы. Изд. ЛГУ, Л., 1963, стр. 66—68.

[2] Страхов имеет в виду свою статью «Значение гегелевской философии в настоящее время» (*Св*, 1860, № 1, стр. 3—51).

нишние друзья хозяина, очень привязанные друг к другу, так что бывали обыкновенно вместе. Кроме их, часто являлись А. Н. Майков, Вс. Вл. Крестовский, Д. Д. Минаев, доктор С. Д. Яновский, А. А. Чумиков, Вл. Д. Яковлев и другие. Первое место в кружке занимал, конечно, Федор Михайлович; он был у всех на счету крупного писателя и первенствовал не только по своей известности, но и по обилию мыслей и горячности, с которою их высказывал» (*Биография*, стр. 171—172).

Кроме Страхова и перечисленных им в качестве постоянных посетителей «вторников» Милюкова А. Н. Майкова, В. В. Крестовского, Д. Д. Минаева, наиболее активными сотрудниками «Светоча» в 1860 г. были А. А. Григорьев, Л. А. Мей, А. Н. Плещеев, А. Е. Разин, Н. М. Соколовский. За исключением Д. Д. Минаева, все они с 1861 г., так же как сам Страхов, перешли работать во «Время». Д. Д. Минаев, как мы знаем, также был привлечен Достоевским к сотрудничеству во «Времени», но написанный им для первого номера фельетон не удовлетворил Достоевского (видимо, вследствие обнаружившегося в нем расхождения взглядов демократа-«искровца» Минаева и позиций «Времени») и был заменен написанным самим Достоевским фельетоном «Петербургские сновидения в стихах и прозе» с сохранением стихотворных вставок Минаева. Таким образом, именно из основных, наиболее видных сотрудников «Светоча» 1860 г. составился круг постоянных участников «Времени» 1861 г. Став «душой» «вторников» Милюкова, Достоевский пригласил тех лиц, сотрудничавших в «Светоче», которых он воспринимал как своих единомышленников и качество работы которых его удовлетворяло, участвовать во «Времени», — и большинство из них приняли его предложение (*Биография*, стр. 213).

После основания журнала некоторые из приглашенных Достоевским сотрудников — Страхов, Ап. Григорьев, Майков, Плещеев, Крестовский, Минаев — еще продолжали в 1860 г. некоторое время участвовать в «Светоче», но постепенно участие их сходит на нет.[1] Это нанесло удар «Светочу». Сколько-нибудь яркие и оригинальные художественные произведения и статьи становятся в журнале редким явлением, и редакторы вынуждены заполнять его страницы переводной беллетристикой, различного рода компиляциями или статьями, имевшими узкоспециальный интерес, но лишенными живого литературного и общественного значения.

Как уже отмечалось выше, основным программным тезисом «Светоча», изложенным в объявлении о его издании и в первой книжке журнала, была идея примирения «западных» и народных начал, призыв к объединению в общей работе в условиях предстоящих реформ «западников» и «восточников». Этот пункт программы «Светоча» был воспринят и развит дальше Достоевским в программных материалах «Времени».

4

Идея издания ежемесячного журнала возникла, вероятно, сразу после переезда Ф. М. Достоевского в Петербург (декабрь 1859 г.). Для этого воспользовались разрешением на издание еженедельника, которое брат Федора Михай-

---

[1] Григорьев еще раньше, в начале 1860 г., сделал попытку уйти в «Русский вестник», но затем, разойдясь с Катковым, вернулся в Петербург.

ловича Михаил Михайлович получил еще в 1858 г., но которое до этого времени оставалось без употребления. Прошение об издании ежемесячника вместо еженедельника М. М. Достоевский подал в Цензурный комитет 18 июня 1860 г., и уже в сентябре в газетах появилось объявление о журнале. Федор Михайлович, как лицо, находящееся под надзором полиции, не мог быть официально редактором журнала, а поэтому в качестве редактора всегда выступал его брат, бывший издателем «Времени». Тем не менее первое место в фактическом руководстве журнала принадлежит Ф. М. Достоевскому. Об этом свидетельствует Н. Н. Страхов: «...все материальные хлопоты принял на себя Михайло Михайлович, а умственное руководство принадлежало Федору Михайловичу». В «Дневнике писателя» за 1876 г. (апрель, глава вторая, § IV) Достоевский говорит: «Сотрудничая брату по редакции „Времени“, я не касался ни до каких денежных расчетов». О своей доле участия в редакции Достоевский писал в письме А. Врангелю 31 марта 1865 г.: «„Время“ я начал, а не брат, я его направлял и я редактировал». Понятно, известная доля участия в редактировании журнала принадлежала и Михаилу Михайловичу, на что указывают, например, «Несколько слов о М. М. Достоевском», дошедшие до нас письма М. М. Достоевского («Искусство», 1927, т. III, вып. 1, стр. 137—141). Кроме братьев Достоевских, близкое участие в журнале принимал Н. Н. Страхов, помещавший там свои статьи как за полной подписью, так и под псевдонимом «Н. Косица» и без подписи. Начиная со второго номера одним из главных сотрудников журнала становится А. Григорьев (писавший также за подписью и без подписи). Впрочем, в июне 1861 г. Аполлон Григорьев, расходившийся в некоторых взглядах с редакцией, уехал в Оренбург и на некоторое время прекратил участие в журнале. Возобновил он его статьей о Л. Толстом, присланной им из Оренбурга и напечатанной в январской книге 1862 г. По возвращении в Петербург летом 1862 г. Григорьев снова становится постоянным и ближайшим сотрудником «Времени», а затем «Эпохи» до самой своей смерти (25 сентября 1864 г.).

Кроме того, в журнале принимали участие многие молодые писатели.

Ф. Достоевский поместил в журнале свои произведения «Униженные и оскорбленные» и «Записки из Мертвого дома». Кроме того, напечатаны во «Времени» «Скверный анекдот», «Зимние заметки о летних впечатлениях». Кроме того, он принимал деятельное участие в критическом отделе журнала, где поместил много статей без подписи. Вообще в журнале анонимные статьи занимали много места. Помимо обязательно анонимных отделов — «Политическое обозрение» и «Внутренние новости» (этот отдел позднее, начиная с июня 1861 г., назывался «Наши домашние дела»), в критическом отделе преобладали преимущественно анонимные статьи, принадлежавшие разным авторам. Установить точный круг сотрудников, печатавшихся в журналах Достоевского анонимно, за скудостью сведений до сих пор не во всех случаях представляется возможным. Известно, что обозрения составлялись в разное время А. У. Порецким, А. Е. Разиным, может быть, Филипповым и др Среди анонимных авторов других отделов, кроме главных сотрудников, были Пл. Кусков, М Владиславлев, Д. Минаев (в первых номерах), Долгомостьев, Моллер, Де-Пуле, Щеглов, Юрьин и др. Выделить из числа анонимных статей принадлежащие Ф. М. Достоевскому, не располагая документальными данными, весьма затруднительно. Основным источником установления

авторства Достоевского являются указания Страхова, заключающиеся в его «Воспоминаниях» и в списке, переданном им А. Г. Достоевской. Список этот содержит следующие произведения Достоевского:

«Время», 1861. Январь. «Ряд статей о русской литературе. Введение» (34 стр.). — «Петербургские сновидения в стихах и прозе». Февраль. «Ряд статей о русской литературе. Г-н —бов и вопрос об искусстве» (41 стр.). Март. «Образцы чистосердечия». — «„Свисток“ и „Русский вестник“». Май. «Ответ „Русскому вестнику“». Июль. «Ряд статей о русской литературе. Книжность и грамотность» (17, $^1/_2$ стр.). Статья I. Август. То же, статья II (40 стр.). Октябрь. «По поводу элегической заметки „Русского вестника“». Ноябрь. Объявление об издании «Времени» на 1862. — «Ряд статей о русской литературе. Статья 5-я. Последние литературные явления. Газета „День“» (12 стр.).

«Время», 1862. Сентябрь. «Славянофилы, черногорцы и западники...». Октябрь. «Щекотливый вопрос».

«Время», 1863. Январь. «Журнальная заметка о новых литературных органах...». Февраль. «Журнальные заметки. I. Ответ Свистуну (?). II. Молодое перо». Март. «Опять молодое перо».

«Эпоха», 1864. Май. «Господин Щедрин...». Июнь. «Несколько слов о М. М. Достоевском». Июль. «Необходимое заявление». Август. Объявление о подписке на 1865. Сентябрь. Примечание (к статье Н. Страхова об Ап. Григорьеве). — «Чтобы кончить...». Октябрь. «Каламбуры в жизни и литературе».

Автограф списка Страхова хранится в Музее-квартире Ф. М. Достоевского в Москве (факсимиле — *ЛН,* т. 86, стр. 591).

Данные этого списка занесены А. Г. Достоевской в библиографический список произведений Достоевского (Музей памяти Ф. М. Достоевского, СПб., 1906, стр. 35—39), причем каждое из упоминаемых здесь произведений, кроме статей, подписанных Достоевским, сопровождено примечанием: «По мнению Н. Н. Страхова, статьи написаны Ф. М. Достоевским». При этом имеются отступления от списка. «Ряд статей» не имеет ссылки на Страхова. Статья «Чтобы кончить» вовсе пропущена, зато внесена статья «Записки летописца» («Эпоха», 1865, январь) тоже со ссылкой на Страхова. Между тем последнее указание, вероятно, ошибочно. Указанная статья находится в сборнике статей Страхова «Из истории литературного нигилизма» (СПб., 1890), вышедшем при жизни Страхова.

Список Страхова сопровожден запиской А. Г. Достоевской, помеченной декабрем 1901 г., удостоверяющей, что составлен он для издания 1881 г. и заключает статьи, безусловно принадлежащие Ф. М. Достоевскому. Впрочем, такой категоричности утверждения противоречит вопросительный знак, которым Страхов сопроводил статью «Ответ Свистуну».

До известной степени могут содействовать установлению принадлежности Достоевскому статей «Времени» и «Эпохи» конторские книги журналов (приходо-расходная и книга расписок в получении), хранящиеся в Библиотеке им. В. И. Ленина.

О большом количестве статей, напечатанных Ф. Достоевским во «Времени», свидетельствует одна фраза письма его брату Андрею Михайловичу от 2 июня 1862 г.: «Хоть я и написал в эти два года до ста печатных листов, но

брат Миша, взявший на себя все денежные и редакционные заботы о журнале, еще больше трудился». Между тем все напечатанное Достоевским за это время, считая «Униженных и оскорбленных», «Записки из Мертвого дома» и статьи, указанные Страховым, составляют около 825 стр., т. е. менее 52 листов. Впрочем, свидетельство Ф. М. Достоевского следует считать преувеличенным.

Действительно, если считать все те анонимные статьи, помещенные во «Времени», авторы которых нам неизвестны и которые по теме не выходят за пределы литературных интересов Достоевского, то за указанный период их наберется не более 550 стр., т. е. менее 34 листов; между тем заведомо известно, что среди авторов этих статей находятся М. М. Достоевский, А. А. Григорьев и несколько второстепенных сотрудников журнала, случайных и постоянных. Таким образом, исходить из цифры 100 листов не представляется возможным. Не будет преувеличением сказать, что возможные пропуски в списке Страхова в количественном отношении невелики.

Журнал Достоевского сразу получил сравнительно большое распространение. По сообщению Страхова, «в первом, 1861 году, было 2300 подписчиков, и Михайло Михайлович говорил, что он в денежных счетах успел свести концы с концами. На второй год было 4302 подписчика; список их по губерниям был напечатан во „Времени“ 1863 г., январь, стр. 189—210. На третий год издания в апреле месяце было уже до четырех тысяч, и Михайло Михайлович говорил, что остальные триста должны непременно набраться к концу года. Таким образом, дело сразу стало прочно, стало со второго же года давать большой доход, так как 2500 подписчиков вполне покрывали издержки издания» (*Биография,* стр. 221). Упоминаемый здесь «Список экземплярам, разосланным по губерниям», составленный по образцу, заимствованному у «Современника», был предварен следующим заявлением редакции:

«Список экземплярам,
разосланным по губерниям в 1862 году

До сих пор один „Современник“ ежегодно объявлял о числе своих подписчиков. Враги его, и в особенности те журналы, у которых число подписчиков уменьшалось с каждым годом, находили это дурным, неуместным, хвастливым. На самом же деле, что же тут дурного. Если б все наши журналы за несколько лет заявляли таким образом свои списки, то можно было бы сделать весьма любопытные выводы. Наша читающая публика для нас такое же темное царство, как и другие сферы нашей жизни. Одним лучом больше не мешает. Да и кроме этих соображений, подобные отчеты всех журналов были бы необходимы для тех, кто припечатывает и рассылает объявления при наших журналах. В прошлом году „Книжный вестник“ поднял этот вопрос, даже напечатал число подписчиков каждого журнала. Где почерпал он приведенные им цифры, мы не знаем, но глядя по тому, что он печатал о нашем журнале, сведения его должны быть неверны.

Мы печатаем предлагаемый список, потому что находим это нелишним». (Следует подробный список подписчиков, по местам, куда выписывается журнал, содержащий всего 4302 экземпляра) (*Вр*, 1863, № 1, стр. 189).

Успеху журнала много содействовало разнообразие содержания первых книжек, вполне соответствовавшее запросам читателей.

«Время» выходило в свет обычно в начале месяца, следующего за означенным на книге. Сроки выхода в свет книжек проставлялись на обложках начиная с 1862 г. (ранее они иногда указывались в газетных объявлениях). Время составления номеров до известной степени определяется датами цензурных разрешений. При этом следует заметить, что до марта 1862 г. две книжки составляли том. Цензурные пометы ставились на титульных листах тома, находящихся в начале номеров каждого нечетного месяца, и на содержании, помещавшемся в конце номеров четных месяцев. Таким образом, даты цензурных разрешений для четных месяцев обозначают конец составления книг, а для нечетных месяцев относятся к начальной стадии печатания. Более показательны даты газетных объявлений, появляющиеся дней через 5 после выхода книги. Вот эти даты: 1861, январь — ценз. разр. — 1 декабря (объявление о выходе появилось 8 января), февраль — 9 февраля (объявл. 11 февраля), март — 21 февраля (вышел 19 марта), апрель — 19 апреля (объявл. 26 апреля), май — 4 мая (объявл. 2 июня), июнь — 22 июня (вышел 23 июня), июль — 3 июля (объявл. 30 июля), август — 23 августа (объявл. 29 августа), сентябрь — 1 сентября (объявл. 29 сентября), октябрь — 27 октября (объявл. 1 ноября), ноябрь — 7 ноября (вышел 30 ноября), декабрь — 28 декабря (объявл. 6 января); 1862, январь — 8 января (объявл. 1 февраля), февраль — 26 февраля (вышел 27 февраля), март — 7 марта (вышел 28 марта), апрель — 6 апреля (вышел 29 апреля), май — 6 мая (вышел 3 июня), июнь — 8 июня (вышел 2 июля), июль — 11 июля (вышел 2 августа), август — 14 августа (вышел 5 сентября), сентябрь — 14 сентября (вышел 2 октября), октябрь — 11 октября (вышел 6 ноября), ноябрь — 12 ноября (вышел 4 декабря), декабрь — 7 декабря (вышел 3 января 1863); 1863, январь — 11 января (вышел 30 января), февраль — 6 февраля (вышел 3 марта), март — 8 марта (вышел 3 апреля), апрель — 10 апреля (вышел 4 мая). До мая цензурные разрешения подписывал Е. Волков, с июня 1861 г. до июля 1862 г. — Ф. Веселаго, далее разрешения печатались без подписи цензора. Из письма Достоевского к Веселаго 23 августа 1864 г. следует, что Веселаго продолжал цензуровать журнал Достоевского, вероятно, до самого конца издания. Во время издания «Времени» Достоевский уезжал за границу (с июня до сентября 1862 г.). В эти месяцы его участие в журнале, естественно, было минимальное.

Издание «Времени» продолжалось до выхода апрельской книжки 1863 г. В этой книжке была помещена статья Н. Страхова (за подписью «Русский») «Роковой вопрос» по поводу польского восстания. Статья эта вызвала резкое возражение в катковской газете «Московские ведомости», что в свою очередь обратило внимание правительства на журнал. Достоевский пытался разъяснить истинный смысл статьи Страхова, но его ответ «Московским ведомостям» не был разрешен к напечатанию, а 26 мая, по докладу министра внутренних дел П. Валуева, журнал «Время» был запрещен «за помещение статьи, под заглавием „Роковой вопрос“, в высшей степени неприличного и даже возмутительного содержания по предмету польских дел, идущей прямо наперекор всем действиям правительства и всем патриотическим чувствам и заявлениям, вызванным внешними обстоятельствами, и оскорбляющей народное чувство,

а также за вредное направление этого журнала» (*Сб. Достоевский, II*, стр. 566).[1]

Текст статей и фельетонов подготовили Е. И. Кийко («Зубоскал», «Петербургская летопись», «Вступление ⟨к альманаху «Первое апреля»⟩»), В. А. Туниманов («Объявление об издании журнала „Время“», «Ряд статей о русской литературе»), Т. И. Орнатская (рукописные материалы), А. Л. Осповат (материалы и документы Достоевского-петрашевца).

Примечания составили В. А. Туниманов (вводная заметка, § 2; «Объявление о подписке на журнал „Время“ на 1861 год»; «Ряд статей о русской литературе»; «Выписки и замечания»; «От редакции»); Г. М. Фридлендер (вводная заметка, §§ 1, 3; «Петербургская летопись», § 2; преамбула к материалам Достоевского-петрашевца, §§ 1, 2, 4, 5); Б. В. Томашевский (вводная заметка, § 4); Е. И. Кийко («Зубоскал», «Петербургская летопись» (кроме § 2), «Вступление ⟨к альманаху „Первое апреля“⟩»); А. Л. Осповат (преамбула к материалам Достоевского-петрашевца, § 3, и реальные примечания к ним); В. П. Степанов (Замечания на статью М. И. Семевского).

Редакционно-техническая работа осуществлена Г. В. Степановой

---

[1] Журналу «Время», истории его издания и сотрудникам посвящена книга: В. С. Нечаева. Журнал М. М. и Ф. М. Достоевских «Время». 1861—1863. Изд. «Наука», М., 1972. Кроме того, о журнале «Время» см.: В. С. Спиридонов. Направление «Времени» и «Эпохи». Достоевский. Однодневная газета русского библиологического общества, 1921, стр. 2—9; А. С. Долинин. К цензурной истории первых двух журналов Достоевского. В кн.: *Сб. Достоевский, II*, стр. 559—577; Б. В. Томашевский. Достоевский — редактор. *1926*, т. XIII, стр. 559—580; *Кирпотин, Достоевский в шестидесятые годы,* стр. 9—254; *РЛ,* 1973, № 3, стр. 238—242 (остальную научную литературу см.: *Нечаева*, «*Время*»). В. С. Нечаевой составлены хронологическая роспись журнала «Время» (с попыткой установления авторов анонимных статей) и список сотрудников «Времени». См.: В. С. Нечаева. Журнал М. М. и Ф. М. Достоевских «Эпоха». Изд. «Наука», М., 1975, стр. 233—254, 272—275.

«ЗУБОСКАЛ»

(Стр. 5)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: *ОЗ*, 1845, № 11, отд. VI, стр. 43—48, с подписью Зубоскал (ценз. разр. — 31 октября 1845 г.).

В собрание сочинений впервые включено в издании: *1918*, т. XXII, стр. 161—172.

Печатается по тексту первой публикации.

В «Отечественных записках» заметке Достоевского было предпослано редакционное предисловие: «Некоторые из наших литераторов предприняли составить из трудов своих юмористический альманах и просили нас напечатать об их книге, начало которой должно появиться в ноябре нынешнего года, следующее объявление». Принадлежность «объявления» Достоевскому установил в 1914 г. К. И. Чуковский, перепечатавший его текст в газете «Речь» (1914, № 94). Авторство Достоевского подтверждается собственным свидетельством писателя, сообщившего старшему брату 16 ноября 1845 г.: «Некрасов между тем затеял „Зубоскала“ — прелестный юмористический альманах, к которому объявление написал я. Объявление наделало шуму; ибо это первое явление такой легкости и такого юмору в подобного рода вещах. Мне это напомнило 1-й фельетон Lucien de Rubempre». Достоевский не случайно вспомнил здесь о герое «Утраченных иллюзий» (1837—1839) Бальзака, творчеством которого он в это время увлекался. Как это делали многие другие писатели натуральной школы (см.: Русская повесть XIX в. Изд. «Наука», Л., 1973, стр. 282—296), он воспользовался некоторыми стилистическими приемами французского «физиологического» очерка — неотъемлемой части большинства фельетонов. В том же романе «Утраченные иллюзии» Бальзак дал характеристику жанра: «... Люсьен прочел одну из тех прелестных статей, создавших благоденствие газетки, где он на двух столбцах описывал какую-нибудь подробность парижской жизни, рисовал какой-либо портрет, тип, обычное явление или курьез. Эта проба пера, озаглавленная *Парижские прохожие*, была выполнена в новой и своеобразной манере, где мысль рождалась от звучания слов и блеск наречий и прилагательных возбуждал внимание» (О. Бальзак. Собрание сочинений, т. 9. Изд. «Правда», М., 1960, стр. 199).

В более раннем письме к М. М. Достоевскому от 8 октября 1845 г. Достоевский писал о «Зубоскале»: Некрасов «подал проект *летучему маленькому альманаху*, который будет созидаться посильно всем литературным народом, но главными его редакторами будем я, Григорович и Некрасов. ⟨...⟩ Название его „Зубоскал“; дело в том, чтобы острить и смеяться над всем, не щадить никого, цепляться за театр, за журналы, за общество, за литературу, за происшествия на улицах, за Выставку, за газетные известия, за иностранные известия, словом за всё, всё это в одном духе и в одном направлении».

Задуманный Некрасовым альманах был запрещен цензурой (см.: наст. изд., т. I, стр. 460, 500). О причине запрещения «Зубоскала» пишет в своих воспоминаниях Д. В. Григорович: «Одна неосторожная фраза в объявлении: „«Зубоскал» будет смеяться над всем, что достойно смеха“, — послужила поводом к остановке издания» (*Григорович*, стр. 81—82). Григорович имел в виду объявление, написанное Достоевским, но фразы, приведенной Григоровичем, в печатном тексте нет, хотя она точно передает общий смысл заметки: автор ее писал, что «Зубоскал» «видит изнанку кулис», в то время как другие видят «лишь одну их сторону лицевую», поэтому «Зубоскала» можно будет увидеть «в самых дальнейших закоулках и углах Петербурга». Из слов: «первое дело и главнейшее дело у него — правда. Правда прежде всего. „Зубоскал“ будет отголоском правды, трубою правды, будет стоять день и ночь за правду» (стр. 7—8) — очевидно, что издание было задумано как социально-обличительное и сатирическое по направлению.

В объявлении о «Зубоскале» Достоевский воспользовался рядом «сквозных» мотивов, характерных для его ранних произведений 1840-х годов. Таков мотив болезненной «амбиции», свойственной современному человеку («он вас не толкнет, не заденет, не затронет ничьей амбиции» — стр. 6), — мотив, проанализированный в «Бедных людях» и «Двойнике»; сопоставление характерных черт москвича и жителя Петербурга (см. о «петербургской» теме у Достоевского в примечаниях к «Петербургской летописи» на стр. 217); темы «канцелярий», петербургского «фланера» и т. д. (см.: наст. изд., т. I, стр. 487, 502, 504, 511). Особенно тесно связано в стилистическом отношении «Объявление» с писавшимся одновременно «Двойником» («Впрочем, он иногда и приврет; отчего же не приврать? Он и приврет иногда, — но только умеренно» — стр. 8; ср.: наст. изд., т. I, стр. 117 и др.).

После запрещения «Зубоскала» часть приготовленных для него произведений была напечатана Н. А. Некрасовым в юмористическом иллюстрированном альманахе «Первое апреля» (1846). Об этом Н. А. Некрасов сообщил Н. Х. Кетчеру 2 декабря 1845 г.: «„Зубоскал“, о котором я писал, выходить не будет; почему? — *по обстоятельствам, не зависящим от редакции*. Впрочем, оригинал, для него приготовленный, напечатается под другим заглавием и выйдет не выпусками (чего нельзя), а вдруг целой книгой» (*Некрасов*, т. X, стр. 49).

Перечисляя в письме к М. М. Достоевскому от 8 октября 1845 г. статьи, которые должны были появиться в первом номере «Зубоскала», Достоевский сообщал: «Я буду писать: „Записки лакея о своем барине“». Замысел этот остался неосуществленным. Кроме него и «Романа в девяти письмах» (см.: наст. изд., т. I, стр. 230—239, 500) для «Зубоскала» предназначался рассказ «Как опасно предаваться честолюбивым снам», одним из авторов которого был и Достоевский (см.: там же, стр. 321, 460, 512—513).

К жанру фельетона Достоевский вернулся в «Петербургской летописи» (1847), в «Петербургских сновидениях в стихах и в прозе» (1861), а позднее — в «Дневнике писателя» (1873, 1876, 1877).

Стр. 5. *Да и над чем* ∾ *над кем смеяться прикажете нам?* — Ср. у Гоголя в «Ревизоре» (1836): «Чему смеетесь? Над собою смеетесь!» (*Гоголь*, т. IV, стр. 94).

Стр. 5. ... *когда „Филатку“ дают...* — «Филатка и Мирошка — соперники, или Четыре жениха и одна невеста» — водевиль П. Г. Григорьева II (1807—1854); «Филатка с детьми» — водевиль П. И. Григорьева I (1806—1871 (1872?)). Оба водевиля шли на сцене Александринского театра с 1831 г. Очевидно, Достоевский имеет в виду первый водевиль, который пользовался наибольшей популярностью. В статье «Александринский театр» (1845) Белинский писал, что среди публики этого театра «вы найдете людей, для которых и „Филатка с Мирошкою“ — пьеса забавная и интересная» (*Белинский*, т. VIII, стр. 534—535). На каторге Достоевский присутствовал на представлении этого водевиля, сыгранного арестантами (см.: наст. изд., т. IV, стр. 116—130).

С т р. 7. ... *на Васильевский остров, в 4-ю линию...* — Здесь находилась Академия художеств (ныне — Институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина при АХ СССР; см. примеч. к стр. 24).

С т р. 7. *Он, может быть, единственный фланер, уродившийся на петербургской почве.* — О понятии «фланер» у молодого Достоевского см.: наст. изд., т. I, стр. 266. Ср.: Ch. Paul de K o c k. Sanscravate. T. I, Bruxelles, 1844, ch. I. Les flaneurs. — Le boulevard des Italiens (указано Г. М. Фридлендером).

С т р. 7. ... *Петербург, с его блеском и роскошью, громом и стуком...* — Образ, восходящий к повести Н. В. Гоголя «Невский проспект» (1835; ср.: «... весь город превратится в гром и блеск...» — *Гоголь*, т. III, стр. 46).

С т р. 7. ... *глыбами грязи, как говорит Державин, позлащенной и не позлащенной...* — Достоевский имеет в виду третью строфу оды «Вельможа» (1794), где сказано:

Кумир, поставленный в позор,
Несмысленную чернь прельщает;
Но коль художника в нем взор
Прямых красот не ощущает:
Сей образ ложные молвы,
Се глыба грязи позлащенной!
И вы, без благости душевной,
Не все ль, вельможи, таковы?

С т р. 7—8. ... *его так затормошили* ∾ *в иных романах, журналах, альманахах, фельетонах, газетах...* — По-видимому, Достоевский имеет здесь в виду в первую очередь романы, альманахи и фельетоны противников «натуральной школы» 1840-х годов Ф. В. Булгарина и О. И. Сенковского, а также булгаринскую «Северную пчелу» и «Библиотеку для чтения» Сенковского (см.: наст. изд., т. I, стр. 480, 481 и др.).

С т р. 8. ... *произвести индижестию...* — Т. е. пресыщение, несварение желудка (от франц. indigestion).

С т р. 8. ... *Иван Петрович* ∾ *Петр Иванович...* — Оба эти имени встречаются в предназначавшемся для «Зубоскала» и писавшемся вскоре вслед за текстом «Объявления», в ноябре 1845 г. «Романе в девяти письмах», а второе из них также в коллективном рассказе-фельетоне «Как опасно предаваться честолюбивым снам» (см.: наст. изд., т. I, стр. 230—239, 321—333, 500).

С т р. 9—10. ... *давать книгу даром в наш век* ∾ *положительный, меркантильный, железный, денежный?..* — В стихотворении Пушкина «Разговор книгопродавца с поэтом» (1824) книгопродавец говорит поэту:

Наш век — торгаш, в сей век железный
Без денег и свободы нет.

Ср. у Е. А. Баратынского в стихотворении «Последний поэт» (1834—1835):

Век шествует путем своим железным,
В сердцах корысть, и общая мечта
Час от часу насущным и полезным
Отчетливей, бесстыдней занята.

Достоевский следует за Пушкиным, Гоголем и Белинским, отстаивавшими право писателя получать вознаграждение за свой труд. Пушкин касался, в частности, этой проблемы в цитированном стихотворении («Не продается вдохновенье, но можно рукопись продать»), Гоголь и Белинский — полемизируя с С. П. Шевыревым, автором статьи «Словесность и торговля» («Московский наблюдатель», 1835, ч. I, март, кн. 1, стр. 5—29). Гоголь в связи с этим писал: «Литература должна была обратиться в торговлю, потому что читатели и потребность чтения увеличилась» (*Гоголь*, т. VIII, стр. 168). Белинский, отмечая, что литературой получили возможность

заниматься «истинно талантливые» люди, вне зависимости от их общественного положения и материальной обеспеченности, восклицал: «Будем радоваться ⟨...⟩ что теперь талант и трудолюбие дают (хотя и не всем) честный кусок хлеба» (*Белинский*, т. II, стр. 128).

Стр. 10. ... *магазинах М. Ольхина* ∾ *А. Сорокина...* — Матвей Дмитриевич Ольхин (1806—1853) — петербургский книгопродавец и издатель. Андрей Иванович Иванов — петербургский книгопродавец и до 1847 г. управляющий конторой «Отечественных записок» (см.: Материалы для истории русской книжной торговли. СПб., 1879, стр. 24—25). Петр Алексеевич Ратьков — петербургский книгопродавец и издатель. С ним в 1846 г. Достоевский вел переговоры об издании «томика» своих сочинений (см. письмо М. М. Достоевскому от 7 октября 1846 г.). При его же содействии печатались «Бедные люди», вышедшие в Петербурге в 1847 г. отдельным изданием (см. письмо Ф. М. Достоевского к М. М. Достоевскому, конец октября 1846 г.). А. Сорокин — петербургский книгоиздатель.

ПЕТЕРБУРГСКАЯ ЛЕТОПИСЬ

(Стр. 11)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: *СПбВед*, 1847, 27 апреля, № 93; 11 мая, № 104; 1 июня, № 121; 15 июня, № 133, с подписью: Ф. Д.

В собрание сочинений впервые включено в издании: *1926*, т. XIII, стр. 8—32.

Печатается по тексту первой публикации со следующим исправлением:

Стр. 29, строка 40: «зимних квартирах» вместо «знатных квартирах» (по контексту).

1

На принадлежность фельетонов Достоевскому указала В. С. Нечаева, опубликовавшая три из них в кн.: Ф. М. Достоевский. Петербургская летопись. Четыре статьи 1847 г. (Из неизданных произведений). С предисл. В. С. Нечаевой. Изд. «Эпоха», Пб. — Берлин, 1922. В. С. Нечаева приписала Достоевскому также фельетон из «С.-Петербургских ведомостей» (1847, 13 апреля, № 81), появившийся за подписью: Н. Н. (см. выше, стр. 111—114). Фельетон Достоевского от 1 июня за подписью: Ф. Д. — был опубликован и авторство Достоевского определено А. С. Долининым в вечернем выпуске «Красной газеты» (1927, 6 декабря, № 328).

Упоминание о раннем участии Ф. М. Достоевского в одном из русских периодических изданий в качестве фельетониста содержится в статье П. В. Быкова «Памяти проникновенного сердцеведа (из личных воспоминаний)» («Вестник литературы», 1921, № 2, стр. 5). Ссылаясь на устный рассказ Ф. М. Достоевского, автор статьи пишет: «Между прочим, я узнал, что Ф⟨едор⟩ М⟨ихайлович⟩ одно время печатал свои фельетоны из общественной жизни в таком издании, о котором никто не догадается, и что они не вошли и не войдут в собрания его сочинений...» Это сообщение после выхода в свет книги В. С. Нечаевой было П. В. Быковым дополнено. В заметке «Выдержки из автобиографии Ф. М. Достоевского» он писал, что Достоевский, проверив список собственных сочинений, составленный Быковым, отметил в нем «пробел: четыре пропущенных фельетона о петербургской жизни, помещенных в одной газете 40 годов...» («Красная газета», вечерний выпуск, 1925, 24 февраля, № 47).

То, что за инициалами Ф. Д., которыми подписаны четыре названных фельетона «Петербургской летописи», скрывался Ф. М. Достоевский, подтверждается редакционной заметкой «О продолжении „С.-Петербургских ведомостей“ в 1848 году» (*СПбВед*, 1847, 9 октября, № 230). Здесь, в перечне статей, напечатанных в газете в текущем году до 1-го октября, среди других

имен отмечены «несколько нумеров „Петербургской летописи“ Ф. М. Достоевского».

В. С. Нечаева высказала предположение, что к участию в «С.-Петербургских ведомостях» Достоевского привлек В. А. Соллогуб, пользовавшийся особым уважением редакции газеты и сам печатавший фельетоны в «Петербургской летописи». Как известно, Соллогуб был поклонником таланта молодого Достоевского и в 1846—1847 гг. стремился с ним сблизиться (см.: *Нечаева,* стр. 8—9; ср. письмо писателя М. М. Достоевскому от 16 ноября 1845 г.).

2

«Петербургская летопись» — постоянное название воскресного фельетона, помещавшегося периодически в обновленной и преобразованной в 1847 г. «газете политической и литературной» «С.-Петербургские ведомости» (выходила с 1728 по 1917 г.). В 1847 г., кроме Достоевского и Плещеева, авторами фельетонов «Петербургской летописи» за этот год были В. А. Соллогуб (№№ 1, 9, 15, 55, 98, 110; подпись: С., № 157 — Соллогуб); [1] Э. И. Губер (№№ 31, 37, 43, 49, 61, 69, 75; подпись: К. Д. С.) и Ф. Ф. Корф (№№ 203, 209, 215, 221, 227; подпись: К.; ср.: *1926,* т. XIII, стр. 609).

Наряду с повестями 1840-х годов (о связи с ними, в особенности с «сентиментальным романом» «Белые ночи», данных фельетонов см.: наст. изд., т. II, стр. 485—486) «Петербургская летопись» — самое раннее обращение Достоевского к важнейшей в философском и идеологическом плане для всего его творчества теме Петербурга. Тема эта в русской литературе XIX в., начиная с К. Н. Батюшкова («Прогулка в Академию художеств», 1814) и в особенности Пушкина («Пиковая дама», 1834; «Медный всадник», 1833; опубл. — 1837; ряд стихотворений), насытилась широкими философско-историческими ассоциациями, так как с нею тесно связана была историческая оценка деятельности Петра I и вообще всего нового периода русской истории начиная с XVIII в. В 1830—1840-х годах эта же тема получила сложное и разностороннее философско-историческое отражение в петербургских повестях Гоголя и его «Петербургских записках 1836 года», в статьях А. И. Герцена и В. Г. Белинского. Особое значение темы Петербурга и «петербургского» периода русской истории приобрели в годы полемики западников и славянофилов. В отличие от позднейшего времени, когда тема Петербурга окрашивается у Достоевского обычно трагически (ср.: «Униженные и оскорбленные», 1861; «Записки из подполья», 1864; «Преступление и наказание», 1866; «Подросток», 1875, и др.), в «Петербургской летописи» господствуют скорее мажорные, утверждающие тона в изображении Петербурга и отчетливо звучит глубокая вера молодого Достоевского в «современный момент и идею настоящего момента» (см. выше, стр. 26). Достоевский заявляет — в согласии с Белинским и в отличие от славянофилов 1840-х годов — о «силе и благе направления Петрова» (стр. 26). Он пишет о Петербурге: «... будущее его еще в идее; но идея эта принадлежит Петру I, она воплощается, растет и укореняется с каждым днем не в одном петербургском болоте, но во всей России, которая вся живет одним Петербургом» (стр. 26). О полемике молодого Достоевского со славянофилами см.: История русской литературы, т. IX, ч. 2. Изд. АН СССР, М.—Л., 1956, стр. 24—26; о теме Петербурга в русской литературе XIX в. и о преломлении ее в творчестве Достоевского ср.: Н. П. Анциферов. 1) Душа Петербурга. Пб., 1922; 2) Петербург Достоевского. Пб., 1923; В. Шкловский. За и против. Изд. «Советский писатель», М., 1957; Е. А. Саруханян. Достоевский в Петербурге. Лениздат, Л., 1972.

---

[1] Фельетоны В. А. Соллогуба из «С.-Петербургских ведомостей» опубликованы в т. III собрания его сочинений (изд. А. Смирдина, СПб., 1856, стр. 16—106) под названием «Черты из петербургской жизни».

3

В объявлении о комическом альманахе «Зубоскал» (1846) Достоевский писал, что рассказчик, от лица которого будет вестись в нем повествование, «единственный фланер, уродившийся на петербургской почве», познакомит своих читателей с Петербургом (см. выше, стр. 7). Произведения, которые должны были печататься в «Зубоскале», характеризовались Достоевским как серия зарисовок с натуры, серия бытовых сцен и нравоописательных очерков, композиционно объединенных фигурой вымышленного автора — «фланера и зубоскала».

Аналогичные задачи ставил перед собою Достоевский и как автор «Петербургской летописи» с той разницей, что, помещая свои заметки в газете в качестве фельетона, он должен был связывать их тематику с текущими событиями городской жизни. Изменился самый тип повествования. Вместо «фланера-зубоскала», подвергающего всё увиденное осмеянию, повествователем «Петербургской летописи» стал «фланер-мечтатель». Принятая Достоевским художественная структура «Петербургской летописи» была характерна для фельетонов, авторами которых были представители «натуральной школы». В близкой манере, перемежая рассказ о событиях общественной и культурной жизни Петербурга «физиологическими очерками» и «типами», писали свои фельетоны для газет или журналов А. Н. Плещеев, И. С. Тургенев, И. А. Гончаров, В. А. Соллогуб, И. И. Панаев и др. Трансформация жанра фельетона в русской литературе 1840-х годов, органическое включение в него как равноправной составной части «физиологического очерка» продолжала тенденции, наметившиеся уже во французской литературе 1830-х годов (см.: В. Л. Комарович. Фельетоны Достоевского. В кн.: *Фельетоны*, стр. 90—101).

Несмотря на устойчивую общность структуры фельетона, сложившуюся в рамках «натуральной школы», каждый из названных авторов придавал ему индивидуальный характер. Особенно относится это к фельетонам, написанным Достоевским. Они отличаются от других фигурой повествователя — человека с определенной системой общественных, историко-философских и литературных взглядов, тонко чувствующего музыку и разбирающегося в искусстве. Созданный Достоевским образ «фланера-мечтателя» был близок повествователю в фельетонах «Петербургской летописи», написанных А. Н. Плещеевым (на основании этого В. С. Нечаева и приписала один из них Достоевскому. См.: *Нечаева*, стр. 10—13; ср. ниже, стр. 302—304). В. Л. Комарович объясняет родство фельетонов А. Н. Плещеева и Достоевского, под рукой которых газетная хроника «перерождалась в литературный жанр с характером исповеди», тесной дружбой писателей, близостью их общественно-литературных интересов той поры: оба они были участниками кружка Петрашевского (см.: *Фельетоны*, стр. 100, 123—124).

«Фланер-мечтатель» из «Петербургской летописи» — идеологический двойник молодого Достоевского и людей его круга. Некоторые размышления автора фельетонов имеют автобиографическую основу. Это относится прежде всего к характеристике кружков (см. выше, стр. 12). Помимо известных кружков 1830—1840-х годов Н. В. Станкевича, А. И. Герцена и Н. П. Огарева, западников и славянофилов, В. Г. Белинского, М. В. Петрашевского, деятельность которых оказала существенное воздействие на развитие философско-эстетической и общественно-политической мысли в России, было множество других. Явление это приняло широкий бытовой характер (о чем здесь пишет Достоевский) и нашло отражение в литературе. В начале 1847 г. появилась повесть И. И. Панаева «Родственники», в которой значительную роль играет описание одного московского «исключительного кружка».[1] Этой же проблемы коснулся И. А. Гончаров в «Обыкновенной истории» (1847). И. С. Тургенев, отразив в повести «Андрей Колосов» (1845), понравившейся Достоевскому (см. его письмо от 16 ноября 1845 г. М. М. Достоевскому),

[1] См.: Русская повесть XIX века. Изд. «Наука», Л., 1973, стр. 272—275.

некоторые черты из жизни членов кружка Станкевича, в 1849 г. посвятил изображению кружковой интеллигенции рассказ «Гамлет Щигровского уезда». Наконец в рассказе самого Достоевского «Маленький герой» (1849) один из персонажей сопоставлен, и скорее всего по личным впечатлениям автора (см.: *Биография*, стр. 111), с характерными представителями «иных кружков», от которых «поминутно слышишь, что им нечего делать вследствие каких-то очень запутанных, враждебных обстоятельств, которые „утомляют их гений“...» (наст. изд., т. II, стр. 275; ср. выше, стр. 13).

Автобиографическими ассоциациями пронизан также анализ повести П. Н. Кудрявцева «Сбоев» (1847). Так, фельетонист рассказывает, что эта повесть, в которой «описывалось одно московское семейство среднего, темного круга», пробудила в нем воспоминания детства: «И я как будто перенесся в Москву, в далекую родину. ⟨...⟩ Я как будто видел еще в моем детстве эту бедную Анну Ивановну, мать семейства, да и Ивана Кирилыча знаю» (стр. 17). Несомненно, что «Сбоев» Кудрявцева напомнил Достоевскому детские годы, семейный быт, сложные взаимоотношения, связывавшие его родителей (см. также примеч. к стр. 17).

В «С.-Петербургских ведомостях» Достоевский участвовал с 27 апреля по 15 июня 1847 г. Это был период нарастания критического отношения писателя к окружающей действительности. В одном из писем брату (январь-февраль 1847 г.) Достоевский высказал суждение: «... чем больше в нас самих духа и внутреннего содержания, тем краше наш угол в жизни». И тут же он добавил, что «страшен диссонанс, страшно неравновесие, которое представляет нам общество. *Вне* должно быть уравновешено с *внутренним*». Достоевский не считал возможным смириться с существующим общественным порядком. Он с негодованием отзывался в том же письме о «седобородых мудрецах», которые «вечно проповедуют довольство судьбой, веру во что-то, ограничение в жизни и довольство своим местом, не вникнув в сущность слов этих, — довольство, похожее на монастырское истязание и ограничение». Отмечая сытую самоуспокоенность таких «знатоков, фарисеев жизни, *гордящихся* опытностью», Достоевский восклицал: «Подлецы они с их водевильным, земным счастьем».

Остро критическое отношение Достоевского к России 1840-х годов проявилось в первом же его фельетоне (от 27 апреля 1847 г.). Он сетует здесь на отсутствие в Петербурге «общественной жизни», «публичных интересов». «...то есть публичные интересы у нас есть, не спорим, — пишет далее с сарказмом фельетонист. — Мы все пламенно любим отечество, любим наш родной Петербург, любим поиграть, коль случится: одним словом, много публичных интересов» (см. выше, стр. 12). В том же фельетоне автор обнажил и причины отсутствия в Петербурге «общественной жизни», намекая на то, что социальное устройство русского общества исключает возможность свободного обмена мнениями. Для «общественной жизни, — писал он, — нужно искусство, *нужно подготовить так много условий*» (там же, курсив наш, — *ред.*). Проблему несоответствия, «страшного диссонанса» между внутренними устремлениями человеческой личности и реальными условиями общественного бытия николаевской эпохи Достоевский затронул и в последнем фельетоне «Петербургской летописи» (15 июня 1847 г.).

Отмечая складывающееся в умах передовых представителей русского общества сознание, что «счастие не в том, чтоб иметь социальную возможность сидеть сложа руки и разве для разнообразия побогатырствовать, коль выпадет случай, а в вечной неутомимой деятельности и в развитии на практике всех наших наклонностей и способностей» (стр. 31), Достоевский тут же отмечает невозможность реализации этого стремления. Он пишет, что желание «сделать добро, принесть пользу» наталкивается в русском обществе на отсутствие побудительных стимулов к такой деятельности, то есть на отсутствие социальной гарантии, что эта деятельность в рамках существующих условий жизни действительно будет полезна, увлечет за собой всех тех, кто стремится к активности на благо ближнего.

Знаменательно, что Достоевский в «Петербургской летописи» отдал предпочтение серьезной общественно полезной деятельности, необходимость

которой была бы подсказана русской жизнью, противопоставив ее возможности эпизодически «побогатырствовать». Это словечко было заимствовано из только что вышедших «Выбранных мест из переписки с друзьями» Гоголя и означало в понимании последнего самоотверженный поступок, подвиг, совершенный во имя высокого идеала (см.: *Гоголь*, т. VIII, стр. 291—292, и др.).[1] Впоследствии понятие «богатырство» в интерпретации, близкой к гоголевской, встречается в «Подростке» и «Дневнике писателя». Так, Версилов, полемизируя с пословицей, говорит: «... богатырство выше всякого счастья, и одна уж способность к нему составляет счастье» (см.: наст. изд., т. XIII, стр. 174 и примеч. к ней: т. XVII, стр. 378—379).[2]

Знакомство Достоевского с Белинским состоялось в июне 1845 г. в пору печатания «Бедных людей» (см.: наст. изд., т. I, стр. 465—466). «В последний год его жизни я уже не ходил к нему. Он меня невзлюбил, но я страстно принял тогда всё учение его», — рассказывал Достоевский в 1873 г. (*ДП*, «Старые люди»).

Разойдясь с Белинским и его кругом, Достоевский оставался под влиянием идей критика-демократа, что ощущается в «Петербургской летописи». Как было отмечено А. С. Долининым, замечания Достоевского в фельетоне от 1 июня 1847 г. о славянофилах и о «натуральной школе» находят аналогии в статьях Белинского (см.: «Красная газета», вечерний выпуск, 1927, 6 декабря, № 328). В. Я. Кирпотин считает, что «глубина и сила влияния Белинского на Достоевского с особенной наглядностью обнаружилась в усвоении писателем в сороковых годах взгляда великого критика на соотношение идеала и действительности» (см.: В. Кирпотин. Достоевский и Белинский. Изд. «Художественная литература», М., 1976, стр. 30 и сл.).

Помимо уже выявленных аналогий между мыслями Достоевского, изложенными в «Петербургской летописи», и суждениями Белинского, следует отметить еще характерную для них обоих общность оценки исторической роли Петербурга, противопоставленную тем и другим рассуждениям на эту же тему в книге Кюстина «Россия в 1839 г.» (La Russie en 1839. Par Le Marquis de Custine, Paris, 1841). В фельетоне Достоевского содержится полемика с французским путешественником по поводу данной им сравнительной характеристики Петербурга и Москвы и истолкования роли этих городов в историческом прогрессе России (см. выше, стр. 24—25). На эту же тему и в связи с книгой Кюстина писал Белинский в статье «Петербург и Москва» (1844). Белинский возражал Кюстину, отрицавшему органичность для русской жизни реформ Петра I (об этом см.: примеч. к стр. 24 и 25; Е. И. Кийко. Белинский и Достоевский о книге Кюстина «Россия в 1839». — В кн.: *Материалы и исследования*, т. I, стр. 189—199). Опровергая Кюстина, Достоевский, как и Белинский в указанной выше статье, одновременно полемизировал и с русскими славянофилами, к которым в оценке Москвы и Петербурга примыкал Ап. Григорьев (см. его статью «Москва и Петербург» в «Московском городском листке», 1847, № 88), а также с А. И. Герценом. Отношение Герцена к Петербургу отразилось в рассказе «Станция Едрово» («Московский городской листок», 1847, №№ 57—58), однако Достоевский мог знать еще и его фельетон «Москва и Петербург», распространявшийся в начале 1840-х годов в многочисленных списках. В конце 1840-х годов, т. е. когда писалась «Петербургская летопись», этот фельетон был популярен среди петрашевцев (об этом см.: выше, стр. 165—166; *Белинский*, т. VIII, стр. 691—692; *Герцен*, т. II, стр. 439—440; 458—459). Герцен видел в Петербурге цитадель русского самодержавия,

---

[1] Иное толкование этого понятия было дано в романе Ф. В. Булгарина и Н. П. Полевого «Счастье лучше богатырства», печатавшегося в «Библиотеке для чтения» в 1845 и 1847 гг. Этот роман, название которого повторяло пословицу (см.: В. Даль. Пословицы русского народа. Гослитиздат, М., 1957, стр. 70), неоднократно высмеивался Белинским (см., например: *Белинский*, т. X, стр. 181—182).

[2] Ср.: *Фридлендер*, стр. 319: *Кирпотин, Достоевский — художник*, стр. 63—64.

но, с другой стороны, и утверждал, что полюбил Петербург, так как именно этот город «тысячу раз заставит всякого честного человека проклясть этот Вавилон» (*Герцен*, т. II, стр. 41). Считая, в отличие от Достоевского, что «жизнь Петербурга только в настоящем», что у «него нет истории, да нет и будущего», Герцен признавал, что основание новой столицы было неизбежным шагом для Петра I, после того как он решился двинуть Россию «во всемирную историю» (там же, стр. 34—35).

Книга Кюстина вновь привлекла внимание Достоевского в начале 1860-х годов, но тогда он оценил ее уже с иных общественно-философских позиций (см. выше, стр. 239).

Как уже отмечалось, в «Петербургской летописи» размышления «фланера-мечтателя» по поводу обстоятельств общественной жизни Петербурга, его роли в истории России и пр., носившие публицистический характер, перемежались бытовыми зарисовками и очерками, ставшими как бы предварительными набросками характеров героев, некоторых эпизодов, пейзажей и пр. будущих повестей Достоевского: «Ползунков» (1848), «Слабое сердце» (1848), «Елка и свадьба» (1848), «Белые ночи» (1848), «Неточка Незванова» (1849), «Маленький герой» (1849). Все эти повести в той или иной степени были подготовлены «Петербургской летописью» (об этом см.: наст. изд., т. II, примеч. к указанным произведениям»). [1] Образ Юлиана Мастаковича, впервые возникший на страницах «Петербургской летописи», вышел за пределы повестей Достоевского 1840-х годов. В. С. Нечаева справедливо отмечает, что нити «от фельетонного Юлиана Мастаковича, ездящего „нравиться“ девочке-невесте с букетом, конфектами и слоеной улыбочкой на губах», ведут к героям позднейших романов — Трусоцкому в «Вечном муже» и Свидригайлову в «Преступлении и наказании» (*Нечаева*, стр. 17—18).

К сказанному В. С. Нечаевой следует прибавить, что образ этот в какой-то степени преломился и в князе Валковском в «Униженных и оскорбленных» (1861), который, так же как Юлиан Мастакович, собирается жениться на девочке, генеральской дочери с большим приданым, ставшей его нареченной невестой в четырнадцать лет (наст. изд., т. III, стр. 439). Рассказ об Юлиане Мастаковиче проникнут мыслью о том, что в современном обществе отсутствуют высокие нравственные идеалы, а понятия о добре и зле, благородстве и низменности человеческой натуры искажены. О чиновном Юлиане Мастаковиче, сластолюбце, развратнике и стяжателе, фельетонист иронически говорит как о человеке «очень доброго сердца», которого он склонен считать своим «доброжелателем и даже немножко покровителем» (см. выше, стр.14—15). В близкой иронической манере обрисованы «прекрасный человек» в одноименной повести И. И. Панаева (1840) и «добрый человек» в повести Е. П. Гребенки «Иван Иванович» (1844).

Трагическое несоответствие интересов и потребностей «естественного человека» нравственным принципам, сложившимся в условиях неразумного государственного устройства, привело доктора Крупова в повести Герцена (1847) к пессимистическому заключению, что все человечество охвачено повальным сумасшествием, ибо «вместо действительных интересов всем заправляют мнимые, фантастические интересы» (*Герцен*, т. IV, стр.263). [2] Белинский в связи с этим считал важнейшими задачами писателей «натуральной школы» формирование у своих читателей «верного взгляда» на действительность и пробуждение в душах «униженных бедняков» чувства собственного достоинства. Разбирая «Бедных людей» Достоевского, Белинский писал: трагический элемент в этом романе «тем поразительнее, что он передается

---

[1] Сопоставление описанного в «Петербургской летописи» прохожего, идущего «в темный вечер домой, бездумно и уныло посматривая по сторонам», и вдруг останавливающегося перед ярко освещенным домом, из окон которого льются звуки музыки (стр. 22), с Ефимовым в «Неточке Незвановой» см.: *Гозенпуд*, стр. 36.

[2] Об этом см. в кн.: Русская повесть XIX века. Изд. «Наука», Л., 1973, стр. 277—278.

читателю не только словами, но и понятиями Макара Алексеевича!» (*Белинский,* т. IX, стр. 554).

В беседе с автором «Бедных людей» Белинский разъяснил смысл замечания о трагизме «понятий» Макара Девушкина, о чем Достоевский рассказал в «Дневнике писателя» за 1877 г. (январь, гл.2, § IV, «Старые воспоминания»), следующим образом передав слова критика: «Да ведь этот ваш несчастный чиновник — ведь он до того заслужился и до того довел себя уже сам, что даже и несчастным-то себя не смеет почесть от приниженности и почти за вольнодумство считает малейшую жалобу, даже права на несчастье за собой не смеет признать...» Подобный аспект в анализе социального самосознания «бедных людей» содержится и в «Петербургской летописи». Прячась за фигуру фельетониста, Достоевский пишет, что злодеев «старинных мелодрам и романов» можно было узнать по одной их фамилии: «... по одной фамилии вы слышали, что этот человек ходит с ножом и режет людей...» В современной же литературе, с его точки зрения, все смешалось: «Теперь, вдруг, как-то так выходит, что самый добродетельный человек, да еще какой, самый неспособный к злодейству, вдруг выходит совершенным злодеем, да еще сам не замечая того. И что досаднее всего, некому ⟨...⟩ того рассказать ему ...» (см. выше, стр. 14 и примеч. к ней).

«Петербургская летопись» явилась для молодого Достоевского своеобразной творческой лабораторией. В ней вырабатывались принципы создания художественного образа, не однозначного по своей нравственно-психологической характеристике (ср., например, рассуждения фельетониста о «доморощенных занимателях, прихлебателях и забавниках» — стр. 19). Здесь складывалось и характерное для Достоевского-художника аналитическое отношение к действительности. Пробуя свои силы в жанре газетного фельетона, он стремился проникнуть за внешнюю, часто обманчивую оболочку явлений, добраться до их сущности (ср. примеч. к стр. 27). О значении «Петербургской летописи» для разработки структуры повествования не только фельетонов, но и романов Достоевского 1860—1870-х годов см. в вышеназванной статье В. Л. Комаровича (*Фельетоны,* стр. 114—120).

Стр. 11. ... не *уступает в сладости древнему дыму отечественных очагов...* — Перефразировка строки из стихотворения Г. Р. Державина «Арфа» (1798) «Отечества и дым нам сладок и приятен», повторенной в измененном виде А. С. Грибоедовым в «Горе от ума» и восходящей к латинской пословице «Dulcis fumus patriae» ⟨Сладок дым отечества (*лат.*)⟩.

Стр. 13. *Всё, всё, какая ни есть внутри дрянь, как говорит Гоголь ...* — В третьем из «Четырех писем к разным лицам по поводу „Мертвых душ“» («Выбранные места из переписки с друзьями», 1847) Гоголь пояснял, что, желая избавиться от «дурных качеств» своей натуры, начал «передавать» их своим героям: «Я стал наделять своих героев, — писал он, — сверх их собственных гадостей, моей собственной дрянью» (*Гоголь,* т. VIII, стр. 294).

Стр. 14. *Куда это девались старинные злодеи старинных мелодрам и романов ∾ под боком, был самый добродетельный человек, который, наконец, защищал невинность и наказывал зло.* — Мелодрама, генетически связанная в европейской литературе с «мещанской драмой», появилась на рубеже XVIII и XIX вв. Наиболее характерными ее представителями были Г. Пиксерекур (1773—1844), Л. Кенье (1762—1842), В. Дюканж (1783—1833) и др. Мелодрама — эстетический эквивалент романа «ужасов» или «готического», авторами которых были А. Радклиф (1764—1823), Ч. Мэтьюрин (1782—1824), Ф. Г. Дюкре-Дюмениль (1761—1819), Т. де Квинси (1785—1859) и др. Литературой этого рода Достоевский увлекался в детстве (см.: Л. П. Гроссман. Поэтика Достоевского. Изд. ГАХН, М., 1925, стр. 22—36). Иронически характеризуя «старинные мелодрамы и романы», Достоевский выступал как союзник Гоголя и Белинского в их борьбе за реализм. Так, Гоголь, имея в виду мелодрамы, пользовавшиеся особым успехом у русской публики в 1830-х годах, восклицал: «Где же жизнь наша? где мы со всеми современ-

ными страстями и странностями? Хотя бы какое-нибудь отражение ее видели мы в нашей мелодраме! Но лжет самым бессовестным образом наша мелодрама ⟨...⟩ Я воображаю, в каком странном недоумении будет потомок наш, вздумающий искать нашего общества в наших мелодрамах» (*Гоголь,* т. VIII, стр. 182—183). На эту же тему незадолго до выступления Достоевского в «Петербургской летописи» писал Белинский, разбирая в статье «Тереза Дюнойе» (*С*, 1847, № 3, стр. 41—62) романы, авторов которых, по его мнению, следует назвать «шайкой сказочных потешников», ибо они сознательно искажают истину, придумывают нелепости и гоняются за эффектами, чтобы угодить читателям (*Белинский,* т. X, стр. 109 и 114). Итог борьбы с защитниками «старой пиитики», которая «позволяет изображать всё, что вам угодно, но только предписывает при этом изображаемый предмет так украсить, чтобы не было никакой возможности узнать, что вы хотели изобразить», Белинский подвел в 1848 г. Обосновывая эстетические принципы нового литературного направления, критик писал: «Натуральная школа следует совершенно противному правилу: возможно близкое сходство изображаемых ею лиц с их образцами в действительности» (там же, стр. 296 и 297).

Стр. 14. *И уж по одной фамилии вы слышали, что этот человек ходит с ножом и режет людей...* — Эту особенность русских нравоописательных и нравственно-сатирических романов высмеивал еще Пушкин, который в 1831 г. в статье «Торжество дружбы, или Оправданный Александр Анфимович Орлов» (подпись: Феофилакт Косичкин) писал: «... что может быть нравственнее сочинений г-на Булгарина? Из них мы ясно узнаем: сколь не похвально лгать, красть, предаваться пьянству, картежной игре и тому подобное. Г-н Булгарин наказует лица разными затейливыми именами: убийца назван у него Ножовым, взяточник Взяткиным, дурак — Глаздуриным и проч.» (*Пушкин,* т. 11, стр. 207. См. также: *Белинский,* т. VI, стр. 37—39).

Стр. 15. ... *Женни Линд едет в Лондон.* — Линд (Lind) Женни (1820—1887), шведская певица (меццо-сопрано), выступала с неизменным успехом на оперных сценах Европы и Америки с 1843 г. В 1847 г. Женни Линд отправилась на гастроли в Лондон.

Стр. 16. ... *не стоять более в Ингерманландском суровом болоте.* — Ингерманландия — старинное название С.-Петербургской губернии, в которую входили земли по берегам Невы и Финского залива.

Стр. 16. *Шляпа с плюмажем, помещенная на гробе, этикетно гласила прохожим о чине сановника.* — Шляпу с плюмажем носили чиновники в ранге статского советника (см.: Высочайше утвержденное положение о гражданских мундирах. 1834).

Стр. 16. *Плёрезы* — траурные нашивки на платье.

Стр. 17. *В этой повести...* — Речь идет о повести П. Н. Кудрявцева (Нестерова) «Сбоев», напечатанной в «Отечественных записках» (1847, № 3, стр. 1—60). В статье «Взгляд на русскую литературу 1847 г.» (1848) Белинский отметил, что в повести «с большим искусством обрисован внутренний семейный быт одного московского чиновника. Особенно оригинально и тонко обрисован, — по мнению критика, — характер бедной жены Ивана Кирилловича, Анны Ивановны» (*Белинский,* т. X, стр. 349). Любовная коллизия «Сбоева» показалась Белинскому неудачной. «Личность героя и героини, — писал он там же, — как-то неестественны, не то чтобы такие люди не могли существовать в природе, они только не удались автору повести».

Стр. 18. ... *явилось несколько новых газет и журналов.* — В 1847 г. начали выходить несколько ежемесячных журналов, среди них «Журнал общеполезных сведений» (СПб., редактор Э. П. Перцов), «Музыкальный свет» (СПб.), «Новая библиотека для воспитания» (М., издатель Петр Редкин), «Магазин женского рукоделия» (М., издатель Мария Кошелевская) и одна газета: «Московский городской листок» (издатель-редактор Владимир Драшусов).

Стр. 18. *Правда, книга Гоголя ∞ отзыв о ней почти всех газет и журналов...* — Речь идет о «Выбранных местах из переписки с друзьями» (СПб., 1847). Впоследствии в Зальцбруннском письме к Гоголю Белинский писал:

«Я не в состоянии дать Вам ни малейшего понятия о том негодовании, которое возбудила Ваша книга во всех благородных сердцах, ни о том вопле дикой радости, который издали, при появлении ее, все враги Ваши ⟨...⟩ Вы сами видите хорошо, что от Вашей книги отступились даже люди, повидимому, одного духа с ее духом» (*Белинский*, т. X, стр. 212). «Выбранные места из переписки с друзьями» вызвали резкое осуждение не только Белинского (см. его рецензию: *С*, 1847, № 2, отд. III, стр. 103—124), но и А. И. Герцена, В. П. Боткина, Т. Н. Грановского, П. В. Анненкова. С критикой этой книги выступили газеты «С.-Петербургские ведомости» (1847, 15 февраля, № 35, статья Э. И. Губера) и «Московские ведомости» (1847, 6 и 29 марта, 17 апреля, № 28, 38, 46, статьи Н. Ф. Павлова). Хвалебные отзывы о «Выбранных местах...» поместили Ф. В. Булгарин (*СП*, 1847, 11 января, № 8) и О. И. Сенковский (*БдЧт*, 1847, № 2, стр. 42—50). Особенно характерно отношение к книге Гоголя в семье Аксаковых. С. Т. Аксаков писал младшему сыну — славянофилу: «Мы не можем молчать о Гоголе, мы должны публично порицать его» (*РА*, 1890, № 8, стр. 163).

В показаниях по делу петрашевцев Достоевский подчеркивал свое беспристрастное будто бы отношение к книге Гоголя и к осуждающему ее письму Белинского, которое Достоевский читал на собраниях петрашевцев (см. выше, стр. 126—128). Но то, что сказано Достоевским в настоящем фельетоне, как и другие свидетельства, доказывают его сочувственное отношение к единодушному отрицательному отзыву об этой книге «почти всех газет и журналов». Автор фельетона особо подчеркнул, что в данном случае критиковали Гоголя газеты и журналы различных общественных лагерей, обычно «противоречащих друг другу в своем направлении». Что Достоевский относился отрицательно к основным идеям книги Гоголя, можно судить по его отзыву о не напечатанном тогда еще «Завещании» Гоголя в письме к брату от 5 сентября 1846 г. Там сказано: «Я тебе ничего не говорю о Гоголе, но вот тебе факт. В „Современнике" в следующем месяце будет напечатана статья Гоголя — его духовное завещание, в котором он отрекается от всех своих сочинений и признает их бесполезными и даже более. Говорит, что не возьмется во всю жизнь за перо, ибо дело его молиться. Соглашается со всеми отзывами своих противников. Приказывает напечатать свой портрет в огромнейшем количестве экземпляров и выручку за него определить на вспомоществование путешествующим в Иерусалим и проч. Вот. — Заключай сам».

Настоящий фельетон напечатан в «С.-Петербургских ведомостях» 27 апреля 1847 г., письмо же Белинского к Гоголю Достоевский читал в собрании у Петрашевского через два года, 15 апреля 1849 г. Достоевский сохранил отрицательное отношение к «Выбранным местам из переписки с друзьями» и в послекаторжный период: в повести «Село Степанчиково и его обитатели» (1859) пародируется и это произведение, и настроения его автора (см. наст. изд., т. III).

Стр. 18. *Эрнст дает еще концерт...* — Генрих Вильгельм Эрнст (1814—1865), композитор и скрипач, бóльшую часть жизни проводил в гастрольных поездках. В 1847 г. Эрнст давал концерты в Петербурге в течение марта, апреля и мая. О впечатлении, произведенном Эрнстом на русскую публику в этот приезд, писал в «Обозрении концертов» Б. Дамке. Он утверждал, что «Эрнст — художник par la grâce de Dieu ⟨милостью божией (*франц.*)⟩ » (*СПбВед*, 1847, 24 мая, № 114). О том же, что некоторые эпизоды «Неточки Незвановой» (1849) были, возможно, написаны под впечатлением виртуозного исполнения Эрнстом пьесы «Элегия» его собственного сочинения, см.: *Гозенпуд*, стр. 46—47; наст. изд., т. II, стр. 500—501. В данном фельетоне идет речь об утреннем благотворительном концерте, который скрипач дал 26 апреля 1847 г. Подробности об этом же концерте Достоевский сообщал в фельетоне от 11 мая (см. стр. 22 и примеч. к ней).

Стр. 19. ... *совсем не похожи на ту почтенную светскую даму* ∾ *с приятностию выслушала анекдот, как жена, учившая детей по-английски, высекла мужа.* — Этот анекдот рассказывает Марье Александровне Собачкин в «Отрывке» (1842) Гоголя. В ответ на реплику Марьи Александровны, что она всегда подозревала Наталью Андреевну в пристрастии сечь розгами, Собач-

кин говорит: «Натурально. Я это говорил всему свету. Толкуют: „Примерная жена, сидит дома, занимается воспитанием детей, сама учит по-аглицки!“ Какое воспитание! Сечет всякий день мужа, как кошку!..» (*Гоголь*, т. V, стр. 130).

Стр. 19. *Вы, конечно, Регул честности, по крайней мере Аристид...* — Регул — легендарный римский политический деятель III в. до н. э.; за самоотверженный поступок во имя блага родины заплатил мученической смертью. Аристид (около 540—477 г. до н. э.) — афинский полководец и государственный деятель. Будучи изгнанным из Афин в результате интриг Фемистокла, предупредил своего соперника о нападении персов на греческий флот, благодаря чему греки одержали над врагом победу. Корнелий Непот и Плутарх, составившие жизнеописание Аристида, изобразили его человеком высокой честности.

Стр. 22. ... *относить к концерту Эрнста* ∾ *решились прогуляться в Летнем саду...* — Речь идет о концерте Эрнста, который он дал утром 26 апреля 1847 г. (см. примеч. к стр. 18). Этот же концерт в фельетоне «С.-Петербургских ведомостей» от 4 мая (№ 98), напечатанном за подписью «С» (В. А.Соллогуб), был описан несколько иначе. Автор отмечал малочисленность слушателей только в партере и первом ярусе, объясняя это тем, что публика этого рода любит «искусство по временам года, по принятому обыкновению, по условиям моды, любят не искусство 〈...〉 а модное нарядное препровождение времени». Верхние же ярусы и раек были переполнены. Именно там, по словам автора фельетона, собрались истинные ценители прекрасного. «Там — наверху, — писал он, — на высотах баснословных, нанизанные, нагроможденные, сколоченные в густую массу, кивают радостно несчетные головы, рукоплещут бесчисленные руки».

Стр. 22. ... *все будто говорят о каких-то серьезных предметах* ∾ *никак не узнаете об чем именно...* — Противоречие между внешней, часто обманчивой оболочкой явлений повседневной жизни Петербурга и их сущностью — лейтмотив повести «Невский проспект» (1835) (см.: *Гоголь*, т. III, стр. 45—46).

Стр. 22. ... *как в Берлиозовом бале у Капулетов.* — 24 мая 1847 г. в «Обозрении концертов» Б. Дамке сообщил читателям «С.-Петербургских ведомостей», что Берлиоз «по возвращении из Москвы, дал два концерта». Один из них состоялся 23 апреля 1847 г., а другой — 30 апреля в помещении «Большого театра»; под управлением Берлиоза были исполнены две первые части симфонии «Гарольд» и драматическая симфония «Ромео и Джульетта». Впечатление Достоевского от драматической симфонии «Ромео и Джульетта» совпадает с отзывом о ней В. Ф. Одоевского, который особо выделил то место сочинения, где «меланхолический напев Ромео, повторенный в широких нотах медными инструментами, сливается с блестящими, игривыми фразами бальной музыки в доме Капулетти» (*СПбВед*, 1847, 5 марта, № 51). Об отношении Достоевского к музыке Берлиоза см.: *Гозенпуд*, стр. 35—37.

Стр. 22—23. *Тоска и сомнение* ∾ *саратовские степи...* — Достоевский приводит здесь строфу из седьмой главы «были» А. Н. Майкова «Две судьбы» (СПб., 1845, стр. 71) без ее последней строки: «Нужда, да грусть, да думушка...» Возможно, что усечение строфы было вызвано цензурными соображениями. Достоевскому, близкому другу А. Н. Майкова, несомненно, было известно, что строка эта, придававшая поэтическому образу острый социальный смысл, была напечатана уже с цензурным изъятием ее заключительных слов: «... да цепи» (см.: И. Г. Ямпольский. Из архива А. Н. Майкова. В кн.: Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома. Л., 1976, стр. 31). О «бездне трагических элементов» в русских песнях, в которых отразилась «грусть русской души», обусловленная «дурной общественностью», неоднократно писал Белинский (см.: *Белинский*, т. V, стр. 446, 442, 439 и др.). «Быль» Ап. Майкова «Две судьбы» получила положительный отзыв критика (см.: *Белинский*, т. VIII, стр. 635—542; т. IX, стр. 391).

Стр. 23. *На днях был семик.* — Народный праздник, сохранивший пережитки языческих верований. Приходится на седьмой четверг после пасхи. Описание обрядов, связанных с ним, см.: И. Снегирев. Русские простонародные праздники и суеверные обряды, вып. III. М., 1838, стр. 99—116.

Стр. 23. *Кажется мне, что прохожим на улице не до праздников и общественных интересов ∾ Одним словом, нехорошо, господа!..* — Это рассуждение навеяно заключительным абзацем повести Гоголя «Как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» (1834), заканчивающимся словами: «Скучно на этом свете, господа». Повесть эту Достоевский хорошо знал, а приведенную фразу цитировал в письме к М. М. Достоевскому (конец августа — начало сентября 1845 г.).

Стр. 24. ... *не были ни в Эрмитаже ∾ не ездили по железной дороге.*— До 1866 г. Эрмитаж считался частью Зимнего дворца; чтобы попасть в него, надо было получить входной билет из придворной конторы и явиться в вицмундире или во фраке при шляпе и перчатках. Ботанический сад в Петербурге ведет свое начало от Аптекарского огорода, учрежденного в 1714 г. по велению Петра I. В Академии художеств в Петербурге, основанной в 1757 г., устраивались выставки картин, там же имелся постоянно открытый для публики художественный музей. В 1837 г. была построена и открыта железная дорога между Петербургом и Царским Селом с продолжением до Павловска, пользовавшаяся у публики большой популярностью. Описанию поездок по железной дороге посвящались специальные очерки (см., например: Петр Медведовский. Прогулка в Колпино по Московской железной дороге. — *СПбВед*, 1847, 20 мая, № 110). В. А. Соллогуб в 1842 г. в альманахе «Утренняя заря» напечатал рассказ «Приключение на железной дороге».

Стр. 24. ... *когда-то случилось нам прочитать одну французскую книгу...* — Речь идет о книге Кюстина (1790—1857) «Россия в 1839 г.» (La Russie en 1839. Par Le Marquis de Custine, t. 1—4, Paris, 1841). Широкую известность книга Кюстина приобрела после ее второго, исправленного и дополненного издания в 1843 г., в этом же году она была нелегально привезена и в Россию. Путевые заметки Кюстина изложены в эпистолярной форме — в тридцати шести письмах. П. В. Анненков отмечал, что, «несмотря на строгое запрещение», книга эта «читалась у нас повсеместно и возбуждала характеристикой некоторых лиц и событий саркастические толки втихомолку, очень невинные, но очень беспокоившие, однако же, административных людей эпохи» (*Анненков,* стр. 256—257). Обзор откликов на книгу Кюстина во Франции, Англии, Германии, Польше и России см. в кн.: Michel Cadot. La Russie dans la vie intellectuelle française (1839—1856), Paris, 1967, p. 223—278; см. также: Мих. Лемке. Николаевские жандармы и литература 1825—1855 гг. Изд. 2-е, СПб., 1909, стр. 141—152.

Стр. 24. *В ней, между прочим, сказано было, что нет ничего бесхарактернее петербургской архитектуры ∾ весь город — одна смешная карикатура некоторых европейских столиц...* — Архитектуру Петербурга Кюстин характеризовал в восьмом, девятом, четырнадцатом, двадцать четвертом и других письмах. О бесхарактерности архитектуры Петербурга см. в четырнадцатом письме; о том, что Петербург — копия других столиц цивилизованных государств, — в девятом. О смешении архитектурных стилей в Петербурге Кюстин писал в двадцать четвертом письме, сравнивая русскую столицу с Москвой. Возражая по этому поводу Кюстину, Белинский писал в статье «Петербург и Москва»: «Говорят еще, что Петербург не имеет в себе ничего оригинального, самобытного, что он есть какое-то будто бы общее воплощение идеи столичного города и как две капли воды похож на все столичные города в мире. Но на какие же именно? На старые, каковы, например, Рим, Париж, Лондон, он походить никак не может; стало быть, это сущая неправда» (*Белинский,* т. VIII, стр. 394).

Стр. 24. ... *говорит по случаю Кремля несколько риторических, витиеватых фраз...* — Здесь и ниже Достоевский пересказывает двадцать четвертое письмо Кюстина (см.: La Russie en 1839. Par Le Marquis de Custine, seconde edition, t. III. Paris, 1843, p. 138—156).

Стр. 25. ... *стакнулся француз с некоторыми, не скажем русскими, но досужными, кабинетными идеями нашими.* — В рассуждениях Кюстина о том, что русские, отказываясь от некоторых древних патриархальных обычаев, утрачивают национальные черты, Достоевский справедливо уловил аналогию со славянофильскими теориями. Возражая Кюстину, а заодно и

русским славянофилам, Достоевский в данном случае следовал за Белинским. Иронизируя по поводу славянофилов, которые сводили определение характерных национальных черт русского народа к атрибутам быта, Белинский писал еще в 1843 г.: «Пожалуй, иной субстанцию русского народа запрячет в горшок со щами и кашею или вместо белужины запечет ее в кулебяке. Можно любить тяжелую, грубую, хотя и вкусную русскую кухню и, однако ж, не в ней ощущать себя в лоне русской национальности» (*Белинский*, т. VI, стр. 430).

Стр. 25. ... *знает ли он историю московских святителей, св⟨ятых⟩ Петра и Филиппа?* — Петр — митрополит всея Руси, родился на Волыни во второй половине XIII в. В борьбе Александра Михайловича Тверского с Иваном Даниловичем (Калитой), князем Московским, принял сторону последнего и поселился в Москве, чем способствовал возвышению Московского княжества. Умер в 1326 г. Филипп — митрополит Московский и всея Руси, в мире Федор Степанович Колычев (1507—1569), выступал с обличением опричнины и кровопролития, обращался к Ивану IV с ходатайством о помиловании опальных, был сослан, затем заключен в тверской Отрочь монастырь. Во время похода Ивана Грозного в Новгород Малюта Скуратов по повелению царя задушил Филиппа. При Алексее Михайловиче мощи Филиппа были перенесены в Москву и захоронены в серебряной раке в большом Успенском соборе в Кремле. Достоевский мог прочитать о Филиппе в статье историка Д. А. Валуева в «Библиотеке для воспитания» на 1845 г.

Стр. 25. ... *старинных царей и князей земли русской, погребенных в московском Архангельском соборе.* — Архангельский собор, выстроенный на месте прежней деревянной церкви Иваном Калитой в 1333 г.; впоследствии неоднократно реконструировался. Здесь находятся гробницы великих князей и царей московских, начиная от Ивана Калиты и кончая царем Иваном Алексеевичем (1666—1696).

Стр. 25. ... *знает трех по имени: Дмитрия Донского, Иоанна Грозного и Бориса Годунова (прах последнего лежит в С⟨вято-⟩ Троицкой лавре).* — Дмитрий Донской (1350—1389) — великий князь московский с 1359 г. В 1380 г. под его предводительством объединенные русские войска одержали победу над войском Золотой Орды. Победа эта определила решающий поворот в борьбе русского народа против татарского ига. Иван IV, Васильевич (Грозный) (1530—1584) — первый русский царь; его деятельность была направлена на укрепление Русского централизованного государства. Борис Федорович Годунов (1551—1605) — боярин, фактический правитель государства в царствование Федора Ивановича, царь с 1598 по 1605 г. Троице-Сергиевская лавра, где он похоронен, — крупнейший русский монастырь, основан между 1337 и 1340 гг. Сергием Радонежским, в 71 км к северу от Москвы, ныне историко-художественный музей-заповедник.

Стр. 25. ... *выстроил «Ивана Великого»...* — Речь идет о колокольне, названной «Иваном Великим» в честь Ивана Калиты и Ивана III. Это первая каменная колокольня, основание которой было заложено еще в 1329 г. при Иване Калите. Борис Годунов, став царем, в 1600 г. приказал надстроить ее, после чего высота колокольни с крестом достигла 81 м.

Стр. 25. *Редкости Грановитой палаты...* — Грановитая палата в московском Кремле построена по повелению великого князя Ивана III в 1487—1491 гг., сложена была из граненых камней, что и определило ее название. Главное место в Грановитой палате занимает «красный угол» с царским троном. Здесь происходили приемы иностранных послов и другие важнейшие дворцовые церемонии. Серебряная посуда и прочие дары русским царям от иноземных властителей хранятся в Грановитой палате на специальном большом поставце.

Стр. 25. ... *история в настоящее время* ∾ *кабинетное дело, удел ученых, которые спорят, обсуживают, сравнивают...* — В России в 1840-е годы наиболее значительными представителями исторической науки были в области всеобщей истории — Т. Н. Грановский, в области отечественной — С. М. Соловьев. В первом номере «Современника» за 1847 г., т. е. незадолго перед тем, как Достоевский начал печатать фельетоны «Петербургской летописи», появи-

лась также статья К. Д. Кавелина «Взгляд на юридический быт Древней России», в которой были сформулированы взгляды на исторический процесс, послужившие основанием для создания «государственной школы» в русской исторической науке. В том же номере «Современника» К. Д. Кавелин напечатал обзор исторических работ, вышедших в России в 1846 г. В этом обзоре, включенном в качестве особого раздела в статью Белинского «Взгляд на русскую литературу 1846 года», К. Д. Кавелин, как и Достоевский, отмечал, что русская историческая наука в то время представляла «какое-то переходное состояние. Видно, — писал он далее, — что прежние источники творчества, созидания иссякли; но в то же время очень заметно, что в глубине современной жизни зарождается новое историческое сознание, ищущее формы и выражения» (*С*, 1847, № 1, стр. 41).

Стр. 27. *Почти всякий начинает разбирать, анализировать и свет, и друг друга, и себя самого.* — Еще в начале своей литературно-критической деятельности, в 1835 г., Белинский писал, что «отличительный характер новейших произведений вообще состоит в беспощадной откровенности», «в них жизнь является как бы на позор, во всей наготе, во всем ее ужасающем безобразии и во всей ее торжественной красоте», «в них как будто вскрывают ее анатомическим ножом» (*Белинский*, т. I, стр. 267). О том, что «дух анализа, неукротимое стремление исследования» (*Белинский*, т. VII, 344) является знамением времени, писал он и в последние годы жизни. В 1846 г. критик утверждал, что заслуга «гоголевского направления» в русской литературе состоит в том, что «от высших идеалов человеческой природы и жизни она обратилась к так называемой „толпе“ 〈...〉 изучает ее с глубоким вниманием и знакомит ее с нею же самою» (*Белинский*, т. IX, стр. 388). Одним из писателей, руководствующихся в своем творчестве именно этим принципом, был сам Достоевский, о чем писал Белинский, характеризуя «Бедных людей» и «Двойника» (см.: там же, стр. 554; т. X, стр. 40—41). На это же свойство таланта Достоевского указывал и В. Н. Майков, который в статье 1847 г. (*ОЗ*, № 1) отмечал, что в произведениях Достоевского находят отражение черты «глубоко анализированной действительности» (В. Н. Майков. Критические опыты (1845—1847). СПб., 1891, стр. 327).

Стр. 28. *Несколько новых повестей и романов, появившихся в разных периодических изданиях, увенчались полным успехом.* — Говоря здесь о достижениях русской литературы за «прошлый сезон», Достоевский, очевидно, имел в виду время от осени 1846 г. до июня 1847 г., когда писался этот фельетон. В этот период были напечатаны в «Отечественных записках» за 1846 г. повести Достоевского «Господин Прохарчин» (№ 10) и Григоровича «Деревня» (№ 12), а в 1847 г. — повесть П. Н. Кудрявцева «Сбоев» (№ 3), о которой Достоевский уже упоминал в фельетоне от 27 апреля (см. выше, стр. 17). В «Современнике» в 1846 г. закончилось печатание романа А. И. Герцена «Кто виноват?» и была опубликована повесть А. В. Дружинина «Полинька Сакс» (№ 12). В 1847 г. в том же журнале появились роман И. А. Гончарова «Обыкновенная история» (№№ 3— 4) и повесть П. Н. Кудрявцева «Без рассвета» (№ 2).

Стр. 28. *Появилось в журналах несколько замечательных статей 〈...〉 исторических и статистических книг и брошюр.* — Говоря о замечательных литературно-критических статьях прошлого сезона, Достоевский должен был иметь в виду в первую очередь статьи В. Г. Белинского «Взгляд на русскую литературу 1846 г.» (*С*, 1847, № 1), «Тереза Дюнойе» (там же, № 3) и В. Н. Майкова «Стихотворения Кольцова» (*ОЗ*, 1846, № 11—12), «Нечто о русской литературе в 1846 году» (*ОЗ*, 1847, № 1). Характеристики наиболее значительных статей, брошюр и книг, посвященных разнообразным областям науки, содержатся в указанных выше обзорах русской литературы за 1846 г. Белинского и Вл. Майкова и частично в статье Белинского «Взгляд на русскую литературу 1847 года» (см.: *Белинский*, т. X, стр. 354—355).

Стр. 28. ... *издание русских классиков Смирдина...* — Смирдин Александр Филиппович (1795—1857), книгопродавец, предпринял издание сочинений русских классиков. В конце 1846 г. вышли в свет сочинения В. А. Озерова и Д. И. Фонвизина, получившие высокую оценку критики, в том числе В. Г. Белинского (см. его статью «Полное собрание сочинений русских авто-

ров». *С*, 1847, № 1) и В. Н. Майкова («Полное собрание сочинений русских авторов». *ОЗ*, 1846, № 11). Вслед за сочинениями Озерова и Фонвизина в начале 1847 г. вышли три тома сочинений М. В. Ломоносова.

Стр. 28. ... *полное собрание сочинений Крылова.* — Речь идет о «Полном собрании сочинений И. Крылова, с биографиею, писанною П. А. Плетневым. Три тома, СПб., 1847».

Стр. 28. ... *иллюстрация «Мертвых душ»...* — Речь идет об альбоме: Сто рисунков из сочинений Н. В. Гоголя: «Мертвые души». Издание Е. Е. Вернадского и А. Г. Рисовал А. Агин, гравировал на дереве Е. Вернадский. СПб., 1846. Подробный разбор достоинств и недостатков этого издания содержится в статьях В. Н. Майкова «Сто рисунков из сочинений Н. В. Гоголя, „Мертвые души“» (*ОЗ*, 1847, № 1), по этому же поводу писал и И. С. Тургенев в «Современных заметках» в № 1 «Современника» за 1847 г. И тот и другой критики пожелали авторам этого издания успешного продолжения их работы.

Стр. 28. *М. Невахович ∾ продолжает свой «Ералаш».* — Михаил Львович Невахович (1817—1850) — карикатурист; издаваемый им альбом карикатур «Ералаш» выходил в 1846—1849 гг. отдельными выпусками, по четыре тетради в год. Во второй тетради за 1847 г. был изображен автор повести «Деревня» (1846) Григорович в крестьянской избе, в момент, когда на него вылили ушат помоев. Под карикатурой была подпись: «Литератор натуральной школы изучает не совсем удачно нравы и сердце Акулины в деревне», что дало повод Ф. Булгарину насмехаться над темами и сюжетами «натуральной школы» (см.: *СП*, 1847, 25 января, № 20).

Стр. 29. ... *подробнее поговорим в другой раз о карикатурах г-на Неваховича...* — Это намерение Достоевского не было им осуществлено.

Стр. 31. ... *готовы обвинить своего же собрата, может быть, и потому только, что он не очень кусается, как уже заметил раз Гоголь.* — У Гоголя в «Шинели» (1842) сказано: «... он был то, что называют вечный титулярный советник, над которым, как известно, натрунились и наострились вдоволь разные писатели, имеющие похвальное обыкновение налегать на тех, которые не могут кусаться. Фамилия чиновника была Башмачкин» (*Гоголь,* т. III, стр. 141—142).

Стр. 31. ... *пустится ∾ в бретерство...* — На эту тему был написан рассказ Тургенева «Бретер» (*ОЗ*, 1847, № 1).

Стр. 31. ... *с ума сойдет от амбиции...* — Этот мотив был развит в «Двойнике» (1846). См.: наст. изд., т. I, стр. 109—229.

⟨ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПОДПИСКЕ НА ЖУРНАЛ «ВРЕМЯ» НА 1861 ГОД⟩

(Стр. 35)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано в сентябре 1860 г. в газетах: «Сын отечества», «Северная пчела», «Санкт-Петербургские ведомости», «Русский инвалид», «Искра», «Journal de St.-Pétersbourg», «Афиши», с подписью: Редактор М. Достоевский (ценз. разр. — 6 сентября 1860 г.).

В собрание сочинений впервые включено в издании: *1883*, т. I, отд. I, стр. 177—183.

Печатается по тексту первой публикации.

Н. Н. Страхов указал в «Воспоминаниях», что «это объявление несомненно писано Федором Михайловичем» и «представляет изложение самых важных пунктов его тогдашнего образа мыслей» (*Биография,* стр. 177).

О предыстории журнала «Время» см. выше, стр. 203—208.

Сохранилось немного воспоминаний о жизни Ф. М. Достоевского в Петербурге в первый год после его возвращения из ссылки, причем самое ценное из них Н. Н. Страхова — тенденциозно и пристрастно. Последний с нескрываемой антипатией пишет о политических и литературных симпа-

тиях братьев Достоевских, с которыми он познакомился в кружке Милюкова, упрекая их (особенно М. М. Достоевского) в настороженном, предубежденном отношении к славянофилам и не без злорадства, во всяком случае не без удовлетворения, — о неудаче планов Ф. М. Достоевского основать новое направление, призванное сменить отжившие свой век западничество и славянофильство: «По его предположению, это было совершенно новое, особенное направление, соответствующее той новой жизни, которая, видимо, начиналась в России, и долженствующее упразднить или превзойти прежние партии западников и славянофилов. Неопределенность самой мысли не пугала его, потому что он твердо надеялся на ее развитие. Но что всего замечательнее — в тогдашнем состоянии литературы были странные черты, которые позволяли ему думать, что давнишние литературные течения, западническое и славянофильское, иссякли или готовы иссякнуть и что готово возникнуть что-то новое. Дело в том, что тогда партии не выделялись ясно и вся литература сливалась во что-то единое. ⟨...⟩ В сущности, это был хаос, бесформенный и многообразный, и потому легко могло возникнуть желание — дать ему форму или, по крайней мере, выделить из него некоторое более определенное течение. Что касается прямо до Федора Михайловича, то, взглянув на всю его журнальную деятельность, нельзя не сказать, что он успел в своем желании» (*Биография*, стр. 199—200).

К лету 1860 г. план и программа издания — журнала, а не первоначально задуманной еженедельной газеты — в общих чертах были обсуждены, в кружке Милюкова «завербованы» почти все главные будущие сотрудники «Времени». 18 июня М. М. Достоевский обратился в С.-Петербургский цензурный комитет с «Прошением», которое и было вскоре, 3 июля, удовлетворено. В ближайшие после разрешения месяцы написан текст первого программного «Объявления», появившегося несколько позднее объявлений других ведущих петербургских литературных журналов, — текст, тщательно продуманный и полемически заостренный против деклараций журналов-соперников, особенно против программы «Отечественных записок», более всех задетых новым литературным органом. «Мы не выставляем имен писателей, принимающих участие в нашем издании. Этот способ привлечения внимания публики оказался в последнее время совершенно несостоятельным. Мы видели не одно издание, дававшее громкие имена только в своем объявлении», — гордо писали редакторы «Времени». Это был прямой вызов «Отечественным запискам», объявление которых о подписке на 1861 г. стало мишенью для многочисленных насмешек петербургской журналистики. Так, А. В. Дружинин в «Новых заметках петербургского туриста» (1861) иронизировал по поводу «бардов» «С.-Петербургских ведомостей», у которых «была лишь одна страсть, одна дума, одно горячее стремление — воспевать достоинства „Отечественных записок“, журнала старинного, толстого, почтенного и именно потому-то нисколько не нуждающегося в газетных хвалениях. ⟨...⟩ „Поздравляем читателя с выходом второй книжки «Отечественных записок» — давно не читали мы ничего столь увлекательного!“ „Третий номер «Отечественных записок» читается с жадностью — поспешим же дать краткий отчет о превосходных статьях, в нем заключенных!“ О всех других повременных изданиях барды академических „Ведомостей“ отзывались как-то глухо или с озлоблением, а если статья сотрудника „Отечественных записок“ появлялась, например, в „Современнике“, ее тотчас же объявляли прегнусною, да и автора отделывали как следует. ⟨...⟩ Так как арфы бардов особенно звучно играли в декабре и январе месяцах, то публика распустила слухи, что в эти месяцы идет подписка на журналы! Вот до чего доходит злоязычие в человечестве» (*Дружинин*, т. VIII, стр. 588—589).

Встревоженные падением популярности некогда лучшего русского литературного журнала и слухами о новых серьезных конкурентах, руководители «Отечественных записок» А. А. Краевский и С. С. Дудышкин в «Объявлении» подчеркивали, что «„Отечественные записки“ никогда до сих пор не затруднялись недостатком статей и, конечно, вперед не затруднятся, потому что нами обеспечено для будущего года сотрудничество следующих ученых и литераторов: *Н. В. Альбертини, П. Е. Басистова, Ф. А. Бата-*

лина, И. П. Березина, К. Н. Бестужева-Рюмина, Н. Х. Бунге, Ф. И. Буслаева, Весеньева (псевдоним), *Марко Вовчка* (псевдоним), *А. Д. Галахова, Н. П. Грекова, С. В. Ешевского, И. Е. Забелина, К. Д. Кавелина, Е. П. Карновича, М. Я. Киттары, Е. П. Ковалевского, П. М. Ковалевского, Н. И. Костомарова, А. А. Котляревского, Кохановского* (псевдоним), *Крестовского* (псевдоним), *П. Л. Лаврова, А. Н. Майкова, С. В. Максимова, Н. А. Мельгунова, Н. В. Павлова, М. М. Стасюлевича, С. М. Соловьева, З. В. Тура, И. С. Тургенева, И. П. Шишкина, П. К. Щебальского* и др.» (*СП*, 1860, 8 октября, № 233).

Журнал «Время» высмеивал в «Объявлении» реестр громких имен, заключавший программу «Отечественных записок». Но обвинение в нечестной погоне за читателями задевало и журнал «Век», выставивший на обложке немало имен, а также, вероятно, «Библиотеку для чтения»: ее объявление вызвало насмешки в статье «Времени» «Письмо Постороннего критика в редакцию нашего журнала по поводу книг г-на Панаева и „Нового Поэта“». Здесь мы читаем: «Нам посчастливилось, говорит г-н Писемский в своем объявлении, да еще подписывается под ним, — посчастливилось совокупить три лучшие произведения русской литературы за 60-й год, и в том числе называет свою драму» (*Вр*, 1861, № 1, стр. 49).

Тщательно обдумывая «Объявление», редакция сознавала всю важность и ответственность этого «первого шага». Достоевские безусловно помнили скептический прием в петербургском журнальном мире «Светоча». Характерен отзыв А. Н. Плещеева в письме к Ф. М. Достоевскому от 27 октября 1859 г.; поэт иронизировал по поводу рекламного списка литераторов и ученых, согласившихся участвовать в «Светоче», выражая сомнение в способностях Милюкова возглавить журнал и дать ему направление: «Вчера получил программу „Светоча“. Черт знает каких имен наставили. И чина такого нет. А наши с вами переврали; вас с фертом поставили, а меня с двумя азами. Говорят, Милюков взял на себя там отдел критики. Он человек хороший, умный; но в какой степени способен дать тон журналу, воодушевить его живым, новым словом — это еще вопрос» (*ЛА*, т. 6, стр. 261). Недоверчиво встретил Плещеев и саму идею «примирения», ключевую и центральную в объявлении «Светоча», о чем писал 16 октября 1859 г. Н. А. Добролюбову (*РМ*, 1913, № 1, стр. 137). Мнение Плещеева несомненно отражало общую реакцию литературных кругов. Многие из объявленных в программе «Светоча» литераторов, в том числе и Ф. М. Достоевский, не приняли никакого участия в журнале, встреченном чрезвычайно прохладно и за весь первый год своего существования ни на гран не преуспевшего в деле «примирения», о чем в самом начале 1861 г. писала со злорадством реакционнейшая «Домашняя беседа»: «Читаете ли вы... да, впрочем, что я! — легко быть может, что вы и не знаете и не слышали о том, что в славном городе Питере издается некий „Светоч“, вроде погребального факела, с таким же пламенем, с такою же копотью и дымом» (*ДБ*, 1861, вып. 2, 14 января, стр. 53, «Блестки и изгарь»). Слова «Домашней беседы» запомнились, они действительно довольно точно характеризовали положение «Светоча» в петербургском журнальном мире, и не случайно через два года бывший сотрудник «Светоча» Д. И. Минаев вспомнит сравнение Аскоченского в стихотворном памфлете «Последние славянофилы (Еще свежее преданье)» (1862):

И только «Светоча» фонарь
Чадил, кого-то примиряя
(*И*, 1862, № 21, стр. 300).

«Объявление» делится на две равные по объему части. В первой уясняется «главная передовая мысль» журнала — отношение редакции «Времени» к злободневным современным проблемам. Выдвигается как первостепенная задача необходимость «создать себе новую форму, нашу собственную, родную, взятую из почвы нашей, взятую из народного духа и из народных начал». Здесь же дается краткий исторический очерк русского развития от Петровской реформы до современного момента, оцениваемого как переворот,

равный по значению петровским преобразованиям. Но, как утопически верует редакция журнала, в отличие от насильственных и деспотических петровских мер на этот раз все совершится «мирно и согласно во всем нашем отечестве». Эта вера в мирное и согласное решение русских проблем станет центральным убеждением, проповедуемым «Временем» и «Эпохой», и в преображенном виде сохранится и в позднем творчестве Достоевского, в частности перейдет в «Дневник писателя». Соединение, слияние, синтез — вот общественно-политическая программа «Времени», его утопический курс. Идее примирения «Время» в отличие от «Светоча» придает не только частный, узконациональный смысл («примирение последователей реформы Петра с народным началом»), но и универсальный: «Мы предугадываем с благоговением, что характер нашей будущей деятельности должен быть в высшей степени общечеловеческий, что русская идея, может быть, будет синтезом всех тех идей, которые с таким упорством, с таким мужеством развивает Европа в отдельных своих национальностях; что, может быть, все враждебное в этих идеях найдет свое примирение и дальнейшее развитие в русской народности». Эта мысль, впервые сформулированная в «Объявлении», будет многократно развиваться в художественных произведениях и публицистике Достоевского, вплоть до Пушкинской речи. В сравнении с подобными далеко идущими прогнозами и пророчествами конкретные, практические задачи, пропагандируемые руководителями «Времени», выглядели особенно умеренными и робкими; первым шагом, ведущим к торжеству идей синтеза, примирения, соединения, согласия, провозглашались в «Объявлении» «грамотность и образование».

Бегло и не очень определенно говорится в «Объявлении» о перемене во взглядах руководителей «Времени», в прошлом (в 1840-е годы) разделявших полностью западнические идеалы («Когда-то мы сами укоряли себя за неспособность к европеизму. Теперь мы думаем иначе»), а ныне возвратившихся «на родную почву». Но одновременно и несомненно для того, чтобы их позицию не спутали со славянофильской и не обвинили в измене прежним идеям, в «Объявлении» разъяснялась оригинальность и независимость убеждений редакции: «Мы не отказываемся от нашего прошедшего: мы сознаем и разумность его. Мы сознаем, что реформа раздвинула наш кругозор, что через нее мы осмыслили будущее значение наше в великой семье народов».

Значительно острее, ярче, темпераментнее «литературная» часть программы, многих задевшая и, соответственно, вызвавшая темпераментную реакцию в журналистских кругах. Здесь и речи нет о «примирении» и согласии. Журнал заявлял свое отрицательное отношение к литературным авторитетам и мещанско-торгашеским веяниям в русской журналистике, выступал против «литературного рабства» и «спекулятивного духа»: «Мы решились основать журнал, вполне независимый от литературных авторитетов — несмотря на наше уважение к ним — с полным и самым смелым обличением всех литературных странностей нашего времени». Говоря о своей неприязни к литературным авторитетам, предводителям, чинам, столпам и «золотой посредственности», трепещущей перед ними, руководители «Времени» имели в виду то распространенное на рубеже 50—60-х годов явление, которое вызвало острую критику И. Панаева в «Петербургской жизни. Заметки Нового Поэта» (*С*, 1860, № 2, стр. 365—373). Видимо, этот фельетон И. Панаева и послужил основным литературным источником для филиппик «Времени». И. Панаев так сатирически рисовал литературный климат Петербурга: «Около литературных статс-секретарей, кроме литературных чиновников особых поручений и мелких литературных чиновников, образуется всегда особый класс несколько тупоумных поклонников, составляется маленький штат из людей разных классов, офицеров и статских, великосветских и совсем несветских господ, чувствующих некоторое поползновение к литературе и некоторую потребность к раболепству перед всяким успехом и славою. ⟨...⟩ Достигнув высоты величия, сделавшись литературным сановником, аристократом, самый энергический, самый живой, самый талантливый человек нередко успокаивается в своем величии, закуряется благоуханием лести и начинает уже не просто смотреть на все явления, а снисходительно *взи-*

рать на них с своего пьедестала. Он требует уже себе поклонений, морщится от малейших противоречий, как-то неохотно и боязливо подвигается вперед или вовсе останавливается, замирая в своих убеждениях, словом, превращается в доктринера, в консерватора, и на молодых, независимых, смелых и энергических деятелей начинает посматривать враждебно и даже называть (это грустно) *мальчишками*, так, как некогда, во дни его молодости, свежести и силы, называли его авторитеты того времени! (...) В настоящую минуту, когда гласность и проч., вдруг возникло у нас множество молодых слав, знаменитостей, авторитетов, авторитетиков — особенно ученых ... Они выскочили из-под земли незаметно, как грибы после дождя ... и мы, люди малоученые, добродушные, в изумлении от гениальности русской натуры, так быстро производящей гениальных людей, не замедлили преклониться перед ними» (*С*, 1860, стр. 366—367). Редакция «Времени», конечно, прекрасно понимала, что фельетон И. Панаева более всего задевает М. Н. Каткова и его «Русский вестник», а также значительно менее влиятельные и бесцветные в тот период «Отечественные записки» Краевского и Дудышкина, и вполне солидаризировалась с позицией «Современника».

И. И. Панаев сочувственно реагировал на слухи об организации нового журнала: «...носятся слухи, что гг. Достоевские будут издавать журнал под названием „Время"; кроме того, в 1861 году появится много новых листков и журналов (...) Что ж? все это благо (...) чем более будет журналов, тем лучше, если только они будут вести дело свое честно и способствовать, каждый по мере сил своих, нашему общественному развитию. Нам остается только повторять слова поэта: „Да здравствует разум, да скроется тьма!"» (*С*, 1860, № 9, стр. 143).

Еще более сочувственно встретил И. Панаев «Объявление», выделив курсивом главные принципы нового журнала: «Из объявления о „Времени" г-на М. Достоевского мы узнаем, что передовая мысль и девиз этого журнала: *примирить цивилизацию с народным началом и поставить себя в совершенно независимое положение от литературных авторитетов*. „Мы не побоимся, — говорит редактор в своей программе, — *иногда немного* и «поддразнить» литературных гусей; гусиный крик иногда полезен: *он предвещает погоду, хоть и не всегда спасает Капитолий*". Объявление это вообще отличается большою смелостию. Что же? И прекрасно. „Смелость города берет", — говорит пословица; „смелым бог владеет", — говорит другая пословица...» (*С*, 1860, № 10, стр. 406—407). Вызов, брошенный авторитетам новым журналом, доброжелательно воспринял Некрасов:

Что ты задумал, несчастный?
Что ты дерзнул обещать?..
Помысел самый опасный —
Авторитеты карать!

(Н. А. Некрасов. Мысли журналиста при чтении программы, обещающей не щадить литературных авторитетов. — *С*, 1861, № 1, «Свисток», № 7, стр. 45).

В том же номере «Свистка» Некрасов выступил с «Гимном „Времени"», шуточным, но в то же время и сердечным обращением к новому журнальному «товарищу»:

Явленье нового журнала
Внезапно потрясло умы:
В нем слышны громы Ювенала,
В нем незаметно духа тьмы,
Отважен тон его суровый,
Его программа широка...
(. . . . .)
Привет тебе, товарищ новый!
Явил ты мудрость старика.
Неси своей задачи бремя,
Не уставая и любя!

Объективной и доброжелательной критике в том же номере «Современника» подверглось «Объявление» и содержание первого номера «Времени» в статье Н. Г. Чернышевского. Смелое отношение «Времени» к авторитетам встретило сочувствие Чернышевского, хотя далеко и не такое горячее, как у Некрасова, что объяснялось остро подмеченными критиком полемическими выпадами нового журнала против Добролюбова и других сотрудников «Современника»: «В объявлении о своем журнале редакция „Времени" говорила довольно бесцеремонным образом, что не намерена церемониться с авторитетами. Этим обещанием она возбуждала хорошие надежды, но вместе с тем возбуждала во многих и некоторое сомнение. (...) В первой книжке оно («Время», — *ред.*) выдерживает свою программу: тут полная независимость от всех прежних литературных кружков, одинаковая прямота мнений о всех и обо всем. В числе других порядком достается и нам; если бы была у нас наклонность претендовать, когда кто судит о нас так же резко, как мы часто судим о других, мы могли бы обидеться (как, без всякого сомнения, уже обиделись многие иные). Но это обстоятельство нисколько не уменьшает нашей наклонности поддержать „Время" на том пути прямых и смелых суждений, которым думает оно идти. Если бы вздумалось нам поспорить с „Временем", мы заметили бы, что ошибается оно, когда говорит о статьях, подписанных буквами *—бов*, как будто об имеющих притязание на авторитетность» (*Чернышевский,* т. VII, стр. 950, 952). Заканчивает статью Чернышевский пожеланием успеха журналу, не затушевывая, однако, несогласия «Современника» с критическими статьями, появившимися в первом номере «Времени»: «Сколько мы можем судить по первому нумеру, „Время" расходится с „Современником" в понятиях о многих из числа тех вопросов, по которым может быть разница мнений в хорошей части общества. Если мы не ошибаемся, „Время" так же мало намерено быть сколком с „Современника", как и с „Русского вестника". Стало быть, наш отзыв о нем не продиктован пристрастием. Мы желаем ему успеха потому, что всегда с радостью приветствовали появление каждого нового журнала, который обещал быть представителем честного и независимого мнения, как бы ни различествовало оно от нашего образа мыслей» (там же, стр. 956). В целом заметками, статьями и стихотворными посланиями своих ведущих сотрудников «Современник» засвидетельствовал свою симпатию благородному и независимому тону, сказавшемуся как в «Объявлении», так и во всем содержании первого номера нового журнала. Чернышевский оказался прав, предсказав обиду на «Время» других солидных и толстых русских журналов. И если «Русский вестник» ненадолго сдержал свое раздражение, то «Отечественные записки» в феврале выступили с очень резкой статьей, в которой подвергли пристрастному обсуждению «Объявление» и первую статью Достоевского из цикла «Ряд статей о русской литературе». Не оставил без внимания С. С. Дудышкин в обзоре «Русская литература» и мнения «Времени» о литературных авторитетах, восприняв филиппики «Объявления» в основном на свой счет: «... ежемесячный журнал „Время" объявил гонение на авторитеты, которыми будто бы обилует наша литература (...) у нас, если понимать слова в настоящем их значении, нет авторитетов (...) Но как бы то ни было, журнал, объявивший в своей программе желание (...) уничтожить все литературные авторитеты, или литературных генералов, как он выражается, сделал нам честь обратить первое внимание на нас. Новый журнал ополчился на нас всеми своими стрелами остроумия и глубокомыслия в первой же книжке. Что же это значит? Что мы авторитет? Вероятно, *фальшивый*. Все-таки лучше хоть какой-нибудь, да авторитет» (*ОЗ,* 1861, № 2, стр. 76—77).[1]

Поэт-петрашевец, близкий друг братьев Достоевских А. Н. Плещеев в целом сочувственно воспринял объявление «Времени», но выразил свое несогласие с некоторыми программными положениями нового журнала:

---

[1] М. П. Погодин в письме к С. П. Шевыреву от 20 октября 1860 г. утверждал, что программа «Времени» «списана как будто с программы „Москвитянина"» (см.: В. И. Кулешов. Славянофилы и русская литература. Изд. «Художественная литература», М., 1976, стр. 229).

«Вполне убежденные в том, что г-ном Достоевским руководит желание честно служить литературному делу, мы в то же время никак не можем согласиться с теми словами его программы, где говорится, что „у нас развиты подобострастие, добровольное рабство перед мнениями, установленными столпами литературы, особенно если эти мнения смело, дерзко и нахально высказаны“, и далее, что „только эта нахальность и дерзость доставляет иногда звание столпа и авторитета писателю, получающему таким образом влияние на массу“. Нам кажется, напротив, что в публике нашей начинает развиваться некоторая самостоятельность в суждениях о литературных явлениях. Одним нахальством взять трудно. Если большинство увлекается каким-нибудь писателем, то, значит, он отзывается на потребности, живущие в массе, затрагивает ее живые струны. ⟨...⟩ Что же касается до явлений уродливых, которых не чужда наша, как и всякая другая, литература, то они постоянно встречают и встречали энергический протест со стороны каждого честного литературного деятеля» (*МВед*, 1860, № 254, 23 ноября, «Литературные заметки»).

«Объявление» (наряду с циклом «Ряд статей о русской литературе») стало программой «Времени», в соответствии с которой журнал и строил свою тактику. Характерно повторение, разжевывание идей «Объявления» в первых номерах «Времени». Так, в рецензии на книгу И. Генслера «Гаванские чиновники в домашнем быту» повторяются принципы литературной критики, изложенные в «Объявлении»: «Что касается до нас, то мы будем останавливаться на каждом замечательном произведении, в каком бы журнале оно ни явилось, точно так же, как на каждой спорной статье, и будем спорить со всеми и обо всем. Читатели наши увидят, что мы не придерживаемся никаких партий, никаких личностей. За немногими исключениями мы уважаем все серьезные издания, потому что все они или по крайней мере бо́льшая часть их стремится к одной цели: к прогрессу нашего общества. И именно потому, что уважаем их, и будем спорить с ними: с противником, которого не уважаешь, нечего и связываться» (*Вр*, 1861, № 2, стр. 145). К тезисам «Объявления» часты обращения и в более поздних номерах журнала. Показательна статья «Противоречия и увлечения „Времени“» (*Вр*, 1861, № 8), скорее всего написанная Ф. М. Достоевским или при его активном участии. Здесь вспоминается «Объявление»: «С самого начала мы хотели полемики. В самом объявлении об издании нашего журнала мы сказали, что на критику и на полемику обратим особенное внимание. Скажем более: мы и не можем не быть полемическим журналом. Наши убеждения, и литературные, и политические, и общественные, идут вразрез с убеждениями многих наших журналов. Мы должны отстаивать то, во что верим, и потому и спорим и полемизируем. Прочтите наше объявление об издании нашего журнала на 1861 год, и вы увидите, что мы поступаем совершенно последовательно и что иначе мы и поступать не можем» (стр. 141—142).

Стр. 36. *Мы не Европа, и у нас не будет и не должно быть победителей и побежденных.* — Согласно теории французского историка О. Тьерри (1795—1856), классовое расслоение общества на Западе явилось следствием первоначального покорения одной нации другой (англосаксов — норманнами, галлов — франками). Идеи Тьерри получили распространение и в России. Своеобразие русского исторического пути славянофилы связывали не в последнюю очередь с отсутствием в прошлом России «завоевания»: об этом писали А. С. Хомяков в статье «О возможности Русской художественной школы» (1847), И. В. Киреевский в статье «О характере просвещения Европы и о его отношении к просвещению России» (1852), М. П. Погодин и другие видные славянофилы. Достоевский ставил славянофилам в заслугу противопоставление «завоевательного» западного государственного начала мирному русскому в письме от 20 марта 1868 г. А. Н. Майкову: «Да, любовное, а не завоевательное начало государства нашего (которое открыли, кажется, первые славянофилы) есть величайшая мысль, на которой много созиждется. Эту мысль мы скажем Европе, которая в ней ровно ничего не пони-

мает». Среди историков «западнического» направления славянофильское понимание истории вызвало скептическое отношение. С точки зрения истории, утверждал, в частности, С. М. Соловьев, это были «старые толки о различии наших и западных общественных отношений» (*РВ*, 1858, т. XV, № 5, стр. 216). Однако не все «западники» склонны были считать этот славянофильский тезис «старыми толками». И. С. Тургенев в незаконченной статье «Несколько мыслей о современном значении русского дворянства» (1859) писал: «Наши дворяне не завоеватели ⟨...⟩ русское дворянство никогда не составляло особой касты ⟨...⟩ Укрепленных замков оно не имело ни в каком смысле — ни в физическом, ни в нравственном; оно не имело власти — оно служило ей» (*Тургенев, Сочинения,* т. XIV, стр. 302). Еще охотнее писал о коренном отличии Запада и России А. И. Герцен в статьях «Русское крепостничество» (1852), «Крещеная собственность» (1853) и в других своих программных работах: «В России не было потомства завоевателей, и поэтому не могло быть настоящей аристократии»; «У нас нет потомства победителей, завоевавших нас, ни раздробления полей в частную собственность; ни сельского пролетариата...» (*Герцен,* т. XII, стр. 36, 98).

Стр. 36. *Петровская реформа ∾ вся пройдена.* — В оценке Петровской реформы Достоевский близок не к славянофилам, а скорее к В. Г. Белинскому, писавшему в статье «Взгляд на русскую литературу 1846 года»: «Неужели славянофилы правы и реформа Петра Великого только лишила нас народности и сделала междоумками? ⟨...⟩ Нет, это означает совсем другое, а именно то, что Россия вполне исчерпала, изжила эпоху преобразования, что реформа совершила в ней свое дело, сделала для нее все, что могла и должна была сделать, и что настало для России время развиваться самобытно, из самой себя» (*Белинский,* т. X, стр. 19). Об отношении Достоевского к Петру и петровским реформам см. также выше, стр. 104—107.

Стр. 39. *Мы не побоимся иногда немного и «пораздразнить» литературных гусей ∾ спасает Капитолий.* — Достоевский полемически переосмысляет строки из басни И. А. Крылова «Гуси» (1811):

Баснь эту можно было бы и боле пояснить,
Да чтоб гусей не раздразнить.

Капитолий — один из холмов, на которых был расположен древний Рим. По преданию, гуси своим гоготаньем разбудили стражу в минуту, когда войско галлов ночью взбиралось на стены Капитолия, и тем спасли Рим.

РЯД СТАТЕЙ О РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

I. ВВЕДЕНИЕ

(Стр. 41)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: *Вр*, 1861, № 1, отд. II, стр. 1—34, без подписи (ценз. разр. — 1 декабря 1860 г.).

В собрание сочинений впервые включено в издании: *1883*, т. X, отд. I, стр. 1—36.

Печатается по тексту первой публикации.

На принадлежность Достоевскому «Введения», как и других статей цикла («Г-н —бов и вопрос об искусстве», «Книжность и грамотность», «Последние литературные явления. Газета „День“»), указал Н. Н. Страхов в списке, переданном им А. Г. Достоевской (см. выше, стр. 209—210). В тексте всех статей цикла есть много мест автобиографического характера — воспоминаний о 40-х годах и о периоде каторги и ссылки, прямых и косвенных реминисценций из других произведений Достоевского.

Достоевский, как об этом свидетельствует письмо его от 13 апреля 1856 г. к А. Е. Врангелю, еще тогда собирался обратиться к публицистической деятельности и даже выступить со статьей остро политической: «Я говорил Вам о статье об России. Но это выходил чисто политический памфлет. Из статьи моей я слова не захотел бы выкинуть. Но вряд ли позволили бы мне начать мое печатание с памфлета, несмотря на самые патриотические идеи». Отказавшись от замысла памфлета с патриотическими идеями, Достоевский принялся за статью «Письма об искусстве»: «Статья моя плод десятилетних обдумываний ⟨...⟩ Будет много оригинального, горячего ⟨...⟩ В некоторых главах целиком будут страницы из памфлета. Это собственно о назначении христианства в искусстве».

Замысел «Писем об искусстве» с включением памфлетных глав из другой статьи, «политической», — отдаленное предвестие «Ряда статей о русской литературе». Здесь была осуществлена и идея сращения политического памфлета с письмами эстетическими, правда, не «о назначении христианства в искусстве», а о социальном и эстетическом назначении литературы. Ценно и свидетельство о давнем стремлении выступить с литературно-критическими статьями: фактическим подтверждением этого признания является объяснение Ф. М. Достоевского Следственной комиссии (см. выше, стр. 154).

О замысле цикла статей, но с несколько измененным заглавием, сообщает Достоевский и брату в письме от 3 ноября 1857 г.: «Хотел было я, под рубрикой „Писем из провинции", начать ряд сочинений о современной литературе. У меня много созревшего на этот счет, много записанного, и знаю, что я обратил бы на себя внимание. И что же: за недостатком материалов, то есть журналов за последнее десятилетие, — остановился». Идея цикла стала конкретнее: это уже статьи не вообще об искусстве, а о современной литературе. Еще конкретнее и злободневнее становится контур будущего цикла осенью 1858 г.; Достоевский сообщал 13 сентября брату о том, что им «записано и набросано несколько литературных статей ⟨...⟩ *о современных поэтах, о статистическом* направлении *литературы,* о бесполезности *направлений* в искусстве, — статьи, которые писаны задорно и даже остро, а главное легко».

Возвращение в Петербург, дискуссии в кружке А. П. Милюкова способствовали уяснению содержания «Ряда статей о русской литературе». После разрешения издания «Времени», в сентябре—ноябре 1860 г. была окончательно обдумана и написана первая статья — «Введение». Тогда же в общих чертах была продумана и вторая, уже всецело и непосредственно литературная, — «Г-н —бов и вопрос об искусстве». Первоначально предполагалось, что цикл будет большим и статьи под этой рубрикой будут появляться регулярно, в каждом номере «Времени» (см. выше, стр. 115). Достоевский не смог выполнить данного читателям обещания: работа над «Униженными и оскорбленными», «Записками из Мертвого дома», писание полемических статей, требовавшихся срочно и всё в большем числе, огромный редакторский труд — не позволили ему осуществить замысел «Ряда статей о русской литературе» в первоначально намечавшемся объеме; в марте цикл прерывается надолго — до июля; затем после августа — вновь перерыв на два месяца — до ноября; в декабре — статьи опять нет, а в 1862 г., как и в последующие годы, цикл уже не возобновляется.

В «Ряде статей о русской литературе», в сущности, нет единой скрепляющей идеи. Но это и не просто статьи, написанные по различным поводам: во всех статьях цикла на первом плане — русская литература, ее социальные, воспитательные, эстетические функции, история ее развития и развития русской критики, которая, по мнению Достоевского, есть «повесть ⟨...⟩ нашего роста». Именно под таким углом зрения рассматривает Достоевский творчество Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Островского, Щедрина, Толстого во «Введении»; деятельность Белинского и В. Н. Майкова — в следующей статье об искусстве. Поэтому-то он и полемизирует так остро с критиками других направлений, будь то С. С. Дудышкин, Н. А. Добролюбов, М. Н. Катков, славянофилы, упрекая их всех в утилитарном подходе к ярким и знаменательным фактам русской духовной жизни, что равносильно было,

по Достоевскому, утрате чувства реальности, теоретической слепоте, одностороннему «доктринерству». В этом смысле все статьи, очень различные по тематике, по объектам полемики и жанру, едины, целенаправленны и программны. Они определили не только отношение журнала к русской литературе и критике прошлого и 1860-х годов, но и общественно-политическую ориентацию «Времени». Объединяет статьи цикла также и то, что они по смыслу и тону строго выдержаны в духе «Объявления». Заявленная в нем вражда к литературному «кумовству», борьба с литературными авторитетами ведется в них неуклонно и беспрестанно. Литературные и общественно-политические мнения «Отечественных записок», «Современника», «Русского вестника», «Дня» подвергнуты строгому, темпераментному, в то же время деловому разбору, продемонстрировавшему отсутствие пристрастия Ф. М. Достоевского к какой-либо одной, определенной из существовавших литературных партий. «Ряд статей о русской литературе» представляет собой в более широком смысле развитие главных тезисов «Объявления об издании „Времени“», развертывание и уточнение основных пунктов намеченной там программы; именно здесь, особенно во «Введении» и «Книжности и грамотности», формулируются центральные положения «почвенничества». А в статье «Г-н —бов и вопрос об искусстве» содержится эстетическая и литературная программа журнала. К «Ряду статей о русской литературе» в разной степени тяготеют почти все другие материалы в критических и общественно-политических отделах «Времени»: статьи данного цикла — как бы главный ориентир и идейно-эстетическая доминанта журнала, допускающая отклонения и в сторону радикально-демократической, и в сторону славянофильской линии. Такого рода колебания и довольно широкая свобода мнений (корректировавшаяся, правда, редакционными примечаниями) были предусмотрены исследовательским, «недогматическим», открытым духом журнала.

В записной книжке (не позднее июня 1861 г.) Достоевский планировал ряд тем очередных статей цикла:

«Непременно разборы

„Читальник“

По поводу одной рецензии

Авторитеты (к Чернышевск⟨ому⟩)

Кузьма Прутков

Поэты. Всеволод Крестовск⟨ий⟩, Д. Минаев, Николай Курочкин и проч.

Кохановская

Гончаров».

Из этих замыслов был осуществлен только один: разбор «Читальника» Н. Ф. Щербины («Книжность и грамотность»).

«Введение» открывает «Ряд статей о русской литературе» и в большей степени, чем последующие статьи, носит обобщающе-теоретический характер, давая углубленное развитие почти всех сжато изложенных в объявлении о подписке общественно-политических и идеологических положений. «Введение» по праву может быть определено как манифест «почвенничества». Именно так оно и было воспринято журналистикой 1860-х годов.

Выше говорилось, что в «Объявлении» могли найти отражение идеи политического памфлета, о котором Достоевский сообщал А. Е. Врангелю в 1856 г. Памфлет Достоевского, по-видимому, был задуман как ответ на антирусскую кампанию в Англии и Франции в период Крымской войны; подтверждением такому предположению служит следующая фраза из «Введения»: «Последние нелепые возгласы о нас иностранцев были большею частию произнесены в состоянии неспокойном, во время недавних раздоров, теперь уже, слава богу, поконченных надолго, если не навсегда, во время войны, среди яростных боевых криков». К 1850-м годам возвращает нас и язвительное ответное замечание на разглагольствования иностранцев о качествах русского солдата: «... полагают, что русский солдат — совершенная механика, сделан из дерева, ходит на пружинах, не мыслит и не чувствует и потому довольно стоек в сражениях, но не имеет никакой самостоятельности и во всех отношениях уступает французу» (см. выше, стр. 42).

В какой-то степени о тональности незавершенной и не дошедшей до нас памфлетно-патриотической статьи 1856 г. о России дает представление стихотворение «На европейские события в 1854 году», построенное в форме обращения к западным политикам и публицистам:

Не вам судьбы России разбирать!
Неясны вам ее предназначенья!

(см.: наст. изд., т. II, стр. 405). «Введение» Достоевский строит как диалог с воображаемыми собеседниками-европейцами. Статья 1856 г. получилась бы, вероятно, горячее и почти целиком явилась бы ответом на пристрастные и враждебные памфлеты английских и французских публицистов, появившиеся в период Крымской войны. Е. В. Тарле так характеризует поток западных книг о России тех лет: «Война 1853—55 гг. породила довольно много книг и памфлетов о России — либо справочного характера, либо враждебно-шовинистического» (Е. В. Тарле. Самодержавие Николая I и французское общественное мнение. «Былое», 1906, № 10, стр. 148). [1]

Во «Введении» Достоевский из памфлетной литературы периода Крымской войны непосредственно коснулся лишь суждений западных публицистов о русском солдате. Зато Достоевский возвращается к книге А. де Кюстина «Россия в 1839.» (La Russie en 1839. Par Le Marquis de Custine), с которой он полемизировал еще в «Петербургской летописи» (см. выше, стр. 24—25 и примеч. к ним). Во «Введении» автор прямо повторил некоторые из прежних иронических замечаний, но значительно расширил круг объектов полемики. Она носит обобщенный характер, мнение европейцев о России берется в суммарном виде: при всех существенных различиях воззрения немцев и французов оказываются одинаково неверными и ложными, «европейскими», под эти мерки явно не подходит самобытная Россия. Достоевский анализирует (хотя изложение ведется в первых главах в легком фельетонном стиле, но эта легкость обманчива) общественное мнение Европы о России на разных уровнях и в разные времена: тут и политические враждебные памфлеты периода Крымской войны, и книги «заезжих путешественников, баронов» и «преимущественно» маркизов (намек на Кюстина), и «знаменитые сочинения» немцев, посвятивших много лет изучению России, и мнения «рядовых» представителей французской и германской наций — булочников, колбасников, управителей имений, парикмахеров, гувернеров и писателей, пытавшихся создать произведения на материале русской истории и жизни.

Первый параграф «Введения» посвящен теме, суть которой сжато выражена в заглавии статьи А. С. Хомякова — «Мнение иностранцев о России» (1845); большая часть второго параграфа соответствует заголовку другой статьи Хомякова — «Мнение русских об иностранцах» (1846). Частично мысль Достоевского соприкасается и по существу с тезисами и выводами Хомякова, так суммировавшего западные мнения о России: «Мнение Запада о России выражается в целой физиономии его литературы, а не в отдельных

---

[1] Среди тенденциозных западных книг и памфлетов 50-х годов наиболее значительны: Жермена де Ланьи «Кнут и русские» (Germaine de Lagny. Le Knout et les russes. Mœurs et Organisation de la Russie. Paris, 1853); Луи Люрэна «Русский манекен» (Lous Lurin. Le Mannequin Russe. Paris, 1854); Фредерика Лакруа «Русские тайны» (M. Frederic Lacroix. Le Mystères de la Russie. Tableau politique et moral de l'empire russe. Paris, 1854); Луи Дюссье «Сила и слабость России с военной точки зрения» (Louis Dussieux. Force et faiblesse de la Russie en point de vue militaire. Paris, 1854); Огюста Роллана «Политическая и анекдотическая история России при царе Николае I, императоре русских» (Auguste Rolland Histoire politique et anecdotique du czar Nicolas I, empereur des russes, Paris, 1855); анонимные, из которых получила большое распространение иллюстрированная Гюставом Доре «Драматическая, живописная и карикатурная история святой Руси» (Histoire dramatique, pittoresque et caricaturale de la Sainte Russie. Paris, 1854).

и никем не замечаемых явлениях. Оно выражается в громадном успехе всех тех книг, которых единственное содержание есть ругательство над Россией, а единственное достоинство — явно высказанная ненависть к ней; оно выражается в тоне и в отзывах всех европейских журналов, верно отражающих общественное мнение Запада» (*Хомяков,* т. I, стр. 32). Развивает Достоевский и другой тезис Хомякова — о незнании и непонимании друг друга главными странами Европы и об особом, более выгодном в сравнении с ними положении России: «В примере Англии можно видеть, что западные народы не вполне еще познали друг друга. Еще менее могли они познать себя в своей совокупности; ибо, несмотря на разницу племен, наречий и общественных форм, они все выросли на одной почве и из одних начал. Мы, вышедшие из начал других, можем удобнее узнать и оценить Запад и его историю, чем он сам...» (там же, стр. 10). Эти и другие частные совпадения в постановке вопроса у Достоевского и Хомякова не дают основания говорить, однако, о близости идей «Введения» к славянофильским концепциям 1840—1850-х годов. Неоспоримо, что многие идеи Хомякова, высказанные в вышеупомянутых статьях, неприемлемы для Достоевского: резкая критика социалистических теорий, негативное отношение к реформам Петра I и идиллическое представление о временах Алексея Михайловича и Елизаветы Петровны, осуждение иронии и «всеразлагающего» анализа в науке, литературе и жизни, характерное для славянофилов принижение личности, домостроевский взгляд на назначение женщины и т. д.

Гораздо больше оснований говорить о моментах, сближающих позицию Достоевского с позицией Белинского [1] и Герцена. Достоевский развивает, усиливая его, тезис Белинского из статьи «Взгляд на русскую литературу 1846 года» о способности русского человека перенимать и воспринимать с необыкновенной чуткостью всё европейское: «Известно, что французы, англичане, немцы так национальны каждый по-своему, что не в состоянии понимать друг друга, — тогда как русскому равно доступны и социальность француза, и практическая деятельность англичанина, и туманная философия немца. Одни видят в этом наше превосходство перед всеми другими народами; другие выводят из этого весьма печальные заключения насчет бесхарактерности, которую воспитала в нас реформа Петра ⟨...⟩ Не любя гаданий и мечтаний и пуще всего боясь произвольных выводов, имеющих только субъективное значение, мы не утверждаем за непреложное, что русскому народу предназначено выразить в своей национальности наиболее богатое и многостороннее содержание и что в этом заключается причина его удивительной способности воспринимать и усваивать себе всё чуждое ему; но смеем думать, что подобная мысль, как предположение, высказываемое без самохвальства и фанатизма, не лишена основания...» (*Белинский,* т. X, стр. 20—22). [2] Даже небольшие рецензии Белинского остаются в поле внимания Достоевского 1860-х годов. Запомнился писателю, в частности, язвительный отзыв критика о романе Ипполита Оже «Петруша» (Hippolyte Auger. Petroucha. Moeurs russe. СПб., 1845), разрекламированном «Северной пчелой»

---

[1] В. Я. Кирпотин приходит к заключению: «В сознание Достоевского врезалась статья Белинского „Взгляд на русскую литературу 1846 года“, в которой великий критик развил свои мысли о назначении России и русского народа в семье других народов» (*Кирпотин, Достоевский в шестидесятые годы,* стр. 160).

[2] Белинский развивает мысль, ранее высказанную во второй статье о Пушкине: «... свойство удачно применяться ко всякому народу, ко всякой стране отнюдь не есть свойство только образованных сословий в России, но свойство всего русского племени, всей северной Руси. Этим свойством русский человек отличается и от всех других славянских племен и, может быть, ему-то и обязан он своим превосходством над ними. Известно, что наши русские солдаты — удивительные природные философы и политики, и нигде ничему не удивляются, но всё находят очень естественным, как бы это *всё* ни было противоположно их понятиям и привычкам» (*Белинский,* т. VII, стр. 437).

(*СП*, 1845, 25 мая, № 116, стр. 461; 23 июня, № 140, стр. 559). Белинский писал здесь: «... нельзя изображать нравов народа, о котором мы имеем только легкое и поверхностное понятие. ⟨...⟩ В романе г-на Оже так же нет русских нравов, как нет характеров и лиц; а если что в нем есть, так что разве общие места, бледные описания, реторика и скука, да еще русские имена...» (*Белинский*, т. IX, стр. 240). Иронические слова Достоевского о французе, создателе «истинной» повести «Petroucha» «из русских нравов», восходят к этой оценке Белинского.

К произведениям Герцена Достоевский обращается еще чаще. По свидетельству Страхова, Достоевский в начале 1860-х годов относился к творчеству Герцена «очень мягко» (*Биография*, стр. 240). Таким же, видимо, было и отношение к Герцену М. М. Достоевского. Косвенные подтверждения доброжелательной позиции Достоевских содержатся в письмах и произведениях А. Григорьева, который выражал Страхову свое неудовольствие осторожной политикой «Времени», жаловался на М. М. Достоевского, требовал полного разрыва с «Современником», удаления из журнала А. Е. Разина. Григорьев утверждал свое право на независимый курс, свое нежелание быть «рабом» какого бы то ни было направления, в том числе направления братьев Достоевских. Он заявлял Страхову в письме от 18 июня 1861 г.: «Лучше я буду киргизов обучать русской грамоте — чем обязательно писать в такой литературе, в которой нельзя подать смело руку хоть бы даже Аскоченскому в том, в чем он прав, и смело же спорить — *хотя бы даже с Герценом* (курсив наш, — *ред.*), в чем он неправ» (*Григорьев, Воспоминания*, стр. 441). Слова о Герцене свидетельствуют о высоком авторитете издателя «Колокола» для редакции «Времени». Неизменно уважительны, кстати, были и почти все отзывы о Герцене самого А. Григорьева: «один великий писатель», «гениально остроумный автор писем о дилетантизме в науке» (там же, стр. 25, 139); к образам «Былого и дум» обращается Григорьев в своих воспоминаниях «Мои литературные и нравственные скитальчества» и в статье «Стихотворения Некрасова». Григорьев с вполне понятной симпатией встретил некролог Герцена, посвященный А. С. Хомякову, и полемику «Колокола» с «Современником».[1]

Появлялись в журнале Достоевских и настоящие панегирики Герцену вроде статьи «По поводу одной драмы», смысл и заголовок которой (повторяющий название известной статьи Герцена) говорят сами за себя: «По поводу драмы, по поводу *одной* драмы!.. не переносят ли вас, читатель, эти слова в то далекое прошлое время, когда в „Отечественных записках", в прежних „Отечественных записках" появилась небольшая статья, носящая то же название?» — читаем в этой статье (*Вр*, № 5, стр. 36). Здесь об эпохе 1840-х годов — Белинского, Герцена, Петрашевского — восторженно пишет человек, сознательный жизненный путь которого начался в те годы и на кого так мощно и благодатно влияла мысль Белинского и Герцена: «То было время, право, замечательное — эпоха разогнания всяческих общественных туманов; и утренних и полдневных и вечерних ⟨...⟩ правда, скопившихся потом в густые, мрачные тучи, заволокшие наш общественный горизонт, но все-таки разогнания и, стало быть, просветления. Русская литература вправе гордиться этим временем» (там же, стр. 37—38). Автор статьи с исторической точки зрения отдает явное предпочтение в 1840-е годы западничеству: «Явившись как необходимое противодействие известному общественному направлению, образовавшемуся вследствие какого-то насильственного отчуждения от остального образованного мира, западничество выступило с знаменем прогресса, ни разу ему не изменяло и даже *никому не дало повода заподозрить его в измене* (чем не может похвалиться славянофильство, хотя мы *теперь* и не заподозреваем его во мраке). Западничество энергически взялось за дело, начатое, но не оконченное Карамзиным, вытекающее из всей литера-

---

[1] Браня «тушинцев» и их вожака Добролюбова, Григорьев откровенно радовался статье Герцена «Very dangerous!!!», называя ее автора «лондонским консерватором» (там же, стр. 212).

турной деятельности Пушкина; борьба его с мраком была сильна и благородна: могучий боец его пал с мужеством трагического героя; самые ошибки западников, для указания которых, конечно, потребовалось славянофильство, были поучительны и от времени прошли бы сами собою» (там же, стр. 43).

Достоевский во «Введении» по цензурным соображениям ни разу не упоминает имени Герцена, но несомненно вводит в текст статьи слегка завуалированные цитаты из его произведений. «Введение» начинается вариацией на характерную герценовскую тему: «Никто не знает как следует, что же собой представляют *эти русские, эти варвары, эти казаки*; Европа знает этот народ лишь по борьбе, из коей он вышел победителем. Цезарь знал галлов лучше, чем современная Европа знает Россию» (*Герцен,* т. VII, стр. 149). Говоря о каких-то немцах вообще, потративших много сил на изучение русского языка и литературы и решающихся «перевести „Россияду“ Хераскова на санскритский язык», Достоевский безусловно вспоминает Д. П. Голохвастова, племянника отца Герцена, и одну его отроческую причуду, о которой рассказывается в «Былом и думах»: «Четырнадцати лет он не только участвовал в управлении именьем, но перевел на французский язык в прозе *всю* „Россияду“ Хераскова для упражнения в стиле» (*Герцен,* т. IX, стр. 185).

Достоевскому была дорога вера в возможность для России иного, «немещанского», неевропейского пути, — вера, пропагандируемая Герценом в статьях «Россия» (1849), «Русский народ и социализм» (1851), «Русское крепостничество» (1852), «Русские немцы и немецкие русские» (1859). Герценовская критика западных книг о России всецело разделялась Достоевским. «Западные публицисты, — писал Герцен в «Русских немцах и немецких русских», — с тем несокрушимым упрямством, которое им дает ненависть к России и невежество, смеются, когда мы говорим о великом историческом значении нашего освобождения крестьян с землею. А нам кажется вопрос этот до того важным, что одно постановление его ставит нас совсем на другую ногу с Европой...» (*Герцен,* т. XIV, стр. 179). На такую точку зрения, в сущности, становился и Достоевский. Он был убежден, что все русские недоразумения разрешатся. Достоевский пишет: «... наше цивилизованное общество достигнет наконец того, что поймет народ — этого неразгаданного сфинкса, как выразился недавно один из наших поэтов». «Поэт» — это А. И. Герцен, писавший в «Былом и думах» (ч. IV, гл. XXX «Не наши»): «Чаадаев и славяне равно стояли перед неразгаданным сфинксом русской жизни, — сфинксом, спящим под солдатской шинелью и под царским надзором; они равно спрашивали: „Что же из этого будет? Так жить невозможно: тягость и нелепость настоящего очевидны, невыносимы — где же выход?“» (*Герцен,* т.IX, стр. 147). Скорее всего именно эту главу «Былого и дум» имеет в виду Достоевский, вопрошая: «Разве славянофилы не задавали загадок западникам, а западники славянофилам?» Герцен приложил к главе некролог К. С. Аксакова, содержащий вывод, особенно близкий Достоевскому, стремящемуся к синтетической программе: «Много воды утекло с тех пор, и мы встретили *горный дух,* остановивший наш бег, и они, вместо мира мощей, натолкнулись на живые русские вопросы. Считаться нам странно, патентов на пониманье нет; время, история, опыт сблизили нас, не потому, чтоб они нас перетянули к себе или мы их, а потому, что и они и мы ближе к историческому воззрению теперь, чем были тогда, когда беспощадно терзали друг друга в журнальных статьях...» (*Герцен,* т. IX, стр. 170—171). Критика у Герцена крайностей славянофильских воззрений не только не могла смутить Достоевского, но, вероятно, даже казалась мягкой.

Иронически отзываясь о русских путешественниках в Европу и их сочинениях, Достоевский, конечно, помнил герценовские оценки в «Письмах из Франции и Италии»: «С легкой руки Фонвизина, и особенно с карамзинских „Писем русского путешественника“, у нас всё рассказали о Европе в замечательных письмах русского офицера, сухопутного офицера, морского офицера, обер-офицера и унтер-офицера; наконец, гражданские *деловые* письма его превосходительства Н. И. Греча и приходо-расходный дневник М. П. Погодина договорили последнее слово» (*Герцен,* т. V, стр. 16). Греча упомянет и Достоевский, характеризуя русских, представлявших «целых полтора века

сряду» в Европе родину. Писатель вспоминает рассказ Греча в «Парижских письмах» о беседе с Гюго и Сент-Бёвом. Делает это Достоевский по следам фельетона Герцена «Генералы от ценсуры и Виктор Гюго на батарее Сальванди» (1859), высмеивающего газетную заметку Греча (*СП*, 1858, 27 октября, № 236, стр. 997—998), в которой автор повторил ранее помещенный в «Путевых письмах» разговор с французскими писателями о пользе русской цензуры и вреде свободного слова. Герцен иронизирует над банальными фразами Греча: «...сказал „напрямки", что „только тот литератор достоин уважения, который возвышает достоинство человека". Вы видите, что, если Греч пойдет резать правду, его не остановишь, и он *напрямки*, стоя на батарее, скажет, что дважды два — четыре» (*Герцен*, т. XIV, стр. 65).

Сочувственное и доброжелательное отношение Достоевского к Герцену долго оставалось неизменным, о чем говорят и его встречи с Герценом в Лондоне. Мнение Герцена для Достоевского в начале 60-х годов было особенно авторитетным, а независимость и известная «промежуточность» позиции импонировала: нечто близкое в понимании писателя герценовскому «русскому социализму» он стремился сформулировать в своей почвеннической программе. Сильное впечатление произвели на Достоевского полемические статьи Герцена «Very dangerous!!!» и «Лишние люди и желчевики»: он охотно использует герценовскую защиту «лишних людей» от «желчевиков», иронические портреты «Невских Даниилов», полностью разделяет мысль Герцена о недопустимом тоне статей руководителей «Современника» против либералов. Перелом наступил позже, когда политическая публицистика Герцена, вызванная польскими событиями, отшатнула от него славянофильские и либеральные круги России и поколебала необыкновенно высокую до этого в глазах Достоевского репутацию лондонского «пропагандиста». Первое свидетельство происшедших изменений датируется 1864 г.; растерянная запись Достоевского, нигде не находящего руководителей современного общества: «Кумиры западнические разбились (Герц⟨ен⟩), но внутри у нас только Катков. Но общество требует нравственной приманки, требует любить, уважать и идолопоклоняться. А нравственной приманки у г-на Каткова нет никакой. Остается Акс⟨аков⟩». В 1860 г., когда создавалось «Введение», до такого пессимистического подведения итогов было еще очень далеко.

Начиная со второго параграфа, Достоевский переходит к изложению позитивной программы. Отходя от фельетонной манеры повествования, он аргументирует необходимость другого тона — «патетического». В 3-м, 4-м и 5-м параграфах развертывается общественно-политическая программа журнала. Развиваются основные тезисы «Объявления» (см. выше, стр. 35—37): говорится о необходимости обращения высших слоев, оторванных от народа реформами Петра, к «почве», причем первый шаг к сближению, «новой деятельности» обязано сделать образованное меньшинство. Выражается убеждение, что все современные разногласия — плод недоразумения и молодости общества. По сравнению с объявлением усилен тезис о несхожести русского пути развития с западным, говорится даже о «физическом» различии. «Кровь», «дух», «почва», «инстинкт», «характер», «природа», «идеал народный» — вот понятия, которыми оперирует Достоевский, определяя коренное отличие русского «типа культуры» от западного и провозглашая на этом основании мирный, согласный, «любовный» путь развития России. Достоевский утопически верует в то, что «последние фактические ⟨...⟩ препятствия» к сближению сословий устранил манифест Александра II о крестьянской реформе.

Достоевский полагает, что образованное сословие России должно принести народу науку, представив ее «как результат своего длинного и долгого путешествия от родной почвы в немецкие земли, как оправдание свое перед ним...» Здесь мысль Достоевского вновь ближе всего соприкасается с герценовскими тезисами, далекими от крайностей воззрений «западнической» и «славянской» партий, и — что для Достоевского очень существенно — центральной задачей века объявлявшими свободу личности: «Не допетровская Русь должна быть воскрешенной, оставим ее в ее иконописном склепе. Не

петербургский период должен продолжаться в своем немецком мундире; он не может идти далее, не изменив себе; его граница обозначена тем же забором, перед которым остановилась Европа. ⟨...⟩ Задача новой эпохи, в которую мы входим, состоит в том, чтоб на основаниях науки сознательно развить элемент нашего общинного самоуправления до полной свободы лица, минуя те промежуточные формы, которыми по необходимости шло, плутая по неизвестным путям, развитие Запада. Новая жизнь наша должна так заткать в одну ткань эти два наследства, чтоб у свободной личности *земля осталась под ногами* и чтобы общинник был совершенно *свободное лицо*» (*Герцен*, т. XIV, стр. 183). Безусловное сочувствие Достоевского вызывали рассуждения Герцена о желательности и преимуществах мирного пути развития событий в России. Но в отличие от Герцена Достоевский не просто предпочитал мирное решение революционному, он принципиально отвергал насилие как путь решения исторических противоречий, ему были чужды и призывы к «топору», раздававшиеся порой также из Лондона.

Этико-психологическая точка зрения, доминирующая во «Введении», определяет содержание конечного итогового вывода Достоевского, не ограничивающегося констатацией коренных отличий России от Европы, но идущего в утверждении ее исторической миссии значительно дальше, чем Герцен: «И кто знает, господа иноземцы, может быть, России именно предназначено ждать, пока вы кончите; тем временем проникнуться вашей идеей, понять ваши идеалы, цели, характер стремлений ваших; согласить ваши идеи, возвысить их до общечеловеческого значения и, наконец, свободной духом, свободной от всяких посторонних, сословных и почвенных интересов, двинуться в новую, широкую, еще неведомую в истории деятельность, начав с того, чем вы кончите, и увлечь вас всех за собою» (стр. 56). Веру в то, что в русском характере есть резкая особенность, отличающая его от европейского, — «способность высокосинтетическая, способность всепримиримости, всечеловечности», — сохранит Достоевский и позднее, повторив мысли «Введения» в Пушкинской речи.

Практическая позитивная программа «Введения» согласуется с тезисами «Объявления»: грамотность и образование — народу. В этой связи во «Введении» писателем с удовлетворением отмечается успех воскресных школ и ведется полемика с теми, кто, подобно В. И. Далю и И. С. Беллюстину (см. о них ниже, стр. 268), выступали со статьями о вреде грамотности для простонародья. Задаче распространения грамотности в народе редакцией придается первостепенное значение; это главное, на чем должно сосредоточить свои усилия образованное сословие. Отсюда призыв Достоевского снизойти до крестьянского мальчика, оставив отвлеченные теоретические споры и рассуждения о всечеловеческом благе.

Достоевский остался верен во «Введении» принципу независимости обсуждения любых «авторитетных» мнений, провозглашенному им в программе журнала (см. выше, стр. 38—39). Он в равной степени задевает здесь «Русский вестник» и «Современник», но более всего — «Отечественные записки». Чаще всего, однако, полемика Достоевского не имеет вполне точного, строго определенного адреса. Писатель преднамеренно обобщает свои наблюдения над явлениями современной журналистики и типизирует их, говоря о «крикунах», «фразерах», «теоретиках». Характерный пример: тирада о «золотых», открывающая четвертый параграф. Она может быть отнесена к журналистам всех направлений, ко всем рутинерам и посредственностям, которые «опошливают всякую новую идею и тотчас же обращают ее в модную фразу». Достоевский считает существование различных мнений и теорий естественным, неотъемлемым последствием «благодетельной гласности», прямо высказывает свою симпатию «мальчишкам» и «свистунам» (так именовала либеральная и консервативная пресса публицистов «Современника», «Искры», а с 1861 г. и «Русского слова», причем особенно усердствовал в этом смысле М. Н. Катков), не находит ничего ужасного даже в самых резких статьях и фельетонах радикально-демократической прессы. Главный враг, по убеждению Достоевского, — «золотая посредственность, претендующая на первенство», самолюбивые и высокомерные ординарности, имеющиеся

в каждой литературной партии. Они мешают устранению многочисленных недоразумений, раздирающих общество. Против них, в первую очередь, и обращена критика Достоевского, в них он видит главное препятствие для сближения и соединения различных групп образованного сословия. По отношению же к господствующим мнениям в обществе Достоевский занимает подчеркнуто нейтральную, независимую позицию. При этом Достоевский высказывает мысли, уже опробованные ранее, проверенные действительностью 40-х годов: тирада Достоевского, так же как и размышления о «байронических» и «талантливых» натурах, во многом восходят к публицистическому отступлению в «Маленьком герое» о породе умных людей, к которым принадлежит m-r M* (см.: наст. изд., т. II, стр. 276—277). Развивая авторские мысли из «Маленького героя», тирада о «золотых» во «Введении» подготавливает позднейшее отступление об «ординарных» людях в «Идиоте» и еще в большей степени рассуждения писателя об идее, «попавшей на улицу».

Многие тезисы «Введения» восходят к «Петербургской летописи». Помимо перенесенной во «Введение» критики книги Кюстина, Достоевский заимствует и призыв к «первому шагу»: «... попробуйте сами ступить первый шаг, господа, на *лучшую и полезную деятельность*, и представьте ее нам опять в какой-нибудь форме; покажите нам *дело*, а главное, *заинтересуйте* нас к этому делу, дайте нам сделать его *самим*, и пустите в ход наше собственное индивидуальное творчество» (стр. 31).

Литературные проблемы во «Введении» специально не затрагиваются, хотя по ходу изложения главных мыслей Достоевский постоянно обращается к мотивам и образам Лермонтова, Григоровича, Салтыкова-Щедрина, Л. Толстого, Герцена и других, спускается на литературное «дно», задевая мимоходом фигуру третьестепенного писателя Н. В. Сушкова, мельком упоминая различных литературных знаменитостей времени — Случевского, Розенгейма, Панаева. Достоевский, однако, вовсе не ограничивается чисто иллюстративным использованием литературы для образного подтверждения своих публицистических идей. В третьей главке «Введения», рассказывая «нашу *собственную* повесть, повесть нашего развития, нашего роста», Достоевский строит ее на литературном материале, начинает с 1840-х годов, с «натуральной школы» и «Отечественных записок», характеризует различные социально-психологические типы тех лет и двух «демонов», формировавших дух и направление эпохи — Гоголя и Лермонтова. Заканчивает Достоевский духовную историю людей своего поколения современной минутой — «обличительной» литературой, Щедриным, Островским. Творчество Островского во «Введении» интерпретируется очень близко по смыслу к тезисам статьи М. М. Достоевского о «Грозе» в «Светоче» (см. выше, стр. 205—206). Одно из мест «Введения» прямо отсылает читателя к статье М. М. Достоевского: «Мы уже говорили не раз, что веруем в его (Островского, — *ред.*) новое слово и знаем, что он, как художник, угадал то, что нам снилось еще даже в эпоху демонических начал и самоуличений, даже тогда, когда мы читали бессмертные похождения Чичикова» (стр. 60). В том же «почвенническом» духе Достоевский выделяет в «Губернских очерках» лично близкий и многознаменательный ему пласт идей, образов, мотивов. Замечание о благотворности для другого бывшего петрашевца — Щедрина временного отрыва от петербургской жизни автобиографично, соотнесено с собственной судьбой Достоевского. Народных героев «Губернских очерков» и лирические размышления Щедрина Достоевский, по-видимому, воспринял как близкий аналог своим каторжным наблюдениям, запечатленным в «Записках из Мертвого дома». Это относится к матушке Мавре Кузьмовне и старцу-скитнику, напомнившим Достоевскому раскольников-начетчиков каторги, и особенно — к Палагее Ивановне, чья «благотворительная» деятельность вызвала следующее размышление Щедрина: «Есть люди, которые думают, что Палагея Ивановна благотворит по тщеславию, а не по внутреннему побуждению своей совести, и указывают в особенности на гласность, которая сопровождает ее добрые дела. Я, с своей стороны, искренно убежден, что это мнение самое неосновательное, потому что достаточно взглянуть на ее милое,

сияющее добродушием и искренностью лицо, чтоб убедиться, что этой свежей и светлой натуре противна всякая ложь, всякое притворство. Если все ее поступки гласны, то это потому, что в провинции вообще сохранение тайны — вещь материально невозможная, да и притом потребность благотворения не есть ли такая же присущая нам потребность, как и те движения сердца, которые мы всегда привыкли считать законными? Следовательно, и она так же, как эти последние, должна удовлетворяться совершенно естественно, без натяжек, без приготовлений, без задней мысли, по мере того как представляется случай, и Палагея Ивановна, по моему мнению, совершенно права, делая добро и тайно и открыто, как придется» (*Салтыков-Щедрин*, т. II, стр. 114).

Авторское отступление в «Губернских очерках», посвященное Палагее Ивановне, действительно предваряет страницы «Записок из Мертвого дома»: «„Несчастненькими“ она называет арестантов и, кажется, всю жизнь свою посвятила на то, чтоб как-нибудь усладить тесноту и суровость их заключения. Она не спрашивает, кто этот арестант, которому рука ее подает милостыню Христовым именем: разбойник ли он, вор, или просто „прикосновенный“. В глазах ее все они просто „несчастненькие“, и вот каждый воскресный день отправляются из ее дома целые вязки калачей, пуды говядины или рыбы, и „несчастненькие“ благословляют имя Палагеи Ивановны, зовут ее „матушкой“ и „кормилицей“... И я того мнения, что если кто-нибудь на сем свете заслужил царствие небесное, то, конечно, Палагея Ивановна больше всех» (там же, стр. 242). [1]

Свои идеологические построения Достоевский во многом строит, следуя «типологии» Салтыкова-Щедрина, использует его образы и классификации для обозначения идейно-психологических процессов русской жизни: талантливые и байронические натуры, озорники, живоглоты, губернские и департаментские Мефистофели, Печорины и Гамлеты. Ироническая повесть о судьбе байронических натур в третьей главке «Введения» — параллель рассуждениям Щедрина о печоринстве и губернских Мефистофелях: «В провинции печоринство приняло совершенно своеобразные формы; оно утратило свой демонический характер, свою прозрачность и нежность, которыми в особенности привлекает к себе симпатии дам, и облеклось в свой будничный, плотяный наряд 〈...〉 Провинциальных Печориных такое множество разных сортов и видов, что весьма трудно исчерпать этот предмет подробно. Одни из них занимаются тем, что ходят в халате по комнате и от нечего делать посвистывают; другие проникаются желчью и делаются губернскими Мефистофелями; третьи барышничают лошадьми или передергивают в карты; четвертые выпивают огромное количество водки; пятые переваривают на досуге свое прошедшее и с горя протестуют против настоящего... Общее у всех этих господ: во-первых, „червяк“, во-вторых, то, что на „жизненном пире“ для них не случилось места, а в-третьих, необыкновенная размашистость натуры» (там же, стр. 277).

Для Достоевского «Губернские очерки» — пример того, как злободневность произведения счастливо сочетается с высокими художественными достоинствами, поэтому нападки сторонников «чистого» искусства на Щедрина он вскоре оценил в статье «Г-н —бов и вопрос об искусстве» как выражение доктринерской точки зрения. Достоевский, справедливо замечает С. А. Макашин, был первым, «кто во весь голос заявил, что „Губернские очерки“ засвидетельствовали рождение в русской литературе нового, большого художника, — художника в искусстве социальной критики и обличения...» (*Макашин*, стр. 139). Щедрин, по мнению Достоевского, высказанному в статье «Два лагеря теоретиков» (1862), — выразитель народной черты, которую он называл способностью к самоосуждению, преемник Гоголя. Оба они представители той «отрицательной» литературы, «которая гораздо живучее, жизненнее, чем положительнейшая литература времен очаковских и покоренья Крыма».

---

[1] Ср.: «Записки из Мертвого дома» (наст. изд., т. IV, стр. 67—68).

Достоевский завершает «повесть нашего развития», нарушая хронологическую последовательность рассказа, небольшим «словом» о Пушкине, личность и творчество которого в глазах его являются самым ярким, неотразимым аргументом, подтверждающим реальность и справедливость его пророчеств и упований: «Мы поняли в нем, что русский идеал — всецелость, всепримиримость, всечеловечность. В явлении Пушкина уясняется нам даже будущая наша деятельность» (стр.69). Этими словами логично замыкается круг проблем, поднятых во «Введении».

«Введение» в целом встретило в прессе хороший прием. «Северная пчела» выразила удовлетворение объективным и «внепартийным» духом как статей Достоевского, так и вообще содержанием январского и февральского номеров «Времени»: «... редакция высказала много честных, благородных, широких взглядов, чуждых мелкого педантизма, грубой нетерпимости и всего того, что отличает фанатизм партии или деспотизм авторитета, всегда неприятно действующие на самостоятельного человека, который дорожит свободою мнений не только своих, но и чужих» (*СП,* 1861, 9 марта, № 54, стр. 214).

А. Н. Плещеев в весьма сочувственном обзоре содержания январского номера «Времени» особенно выделил литературный отдел журнала. По поводу «Введения», открывающего цикл «Ряд статей о русской литературе», он писал: «Нетерпеливо ждем продолжения статей о современной литературе. В первой статье, если хотите, не заключается ничего особенно нового; но ведь и старые вещи, высказанные умно и талантливо, читаются с удовольствием, иногда даже бывают полезны» (*МВед,* 1861, 17 января, № 13, «Литературные заметки»). Благосклонно, хотя и сдержанно отозвался о первом номере «Времени» в «Современнике» Н. Г. Чернышевский (см. выше, стр. 234). Только значительно позднее, в период ожесточенной полемики «Времени» и «Современника» М. А. Антонович даст общую резкую оценку «почвенничества» и деятельности журнала Достоевских, не выделяя особо и «Введения». Так, в статье Антоновича «Стрижам (послание обер-стрижу, господину Достоевскому)» (*С,* 1864, № 7) критик в уста «беллетриста Сысоевского» вкладывает набор цитат из объявлений «Времени», «Введения», «Книжности и грамотности».

«Русский вестник» вступил в полемику с «Временем» не сразу, обойдя сначала молчанием содержание «Введения». Идеи «почвенничества» были враждебно встречены М. Н. Катковым. Откровеннее всего на этот счет Катков высказался в 1863 г., уже после закрытия «Времени»: «Народные начала! Коренные основы! А что такое эти начала? Что такое эти основы? Представляется ли вам, господа, что-нибудь совершенно ясное при этих словах? Коль скоро вы, по совести, должны сознаться, что при этих и подобных словах в голове вашей не рождается столь же ясных и определенных понятий, как при имени хорошо известного вам предмета, то бросьте эти слова, не употребляйте их и заткните уши, когда вас будут потчевать ими» (*РВ,* 1863, № 5, стр. 404).

Единственный печатный орган, в котором «Введение» было подвергнуто придирчивому разбору, были «Отечественные записки». С. С. Дудышкин имел все основания быть недовольным содержанием и объявлением об издании «Времени» и «Введением», как и всем первым номером журнала. Ведь почти все выступления в критическом его отделе так или иначе задевали «Отечественные записки» и, естественно, руководителей журнала — А. А. Краевского и С. С. Дудышкина. «Отечественные записки» были особо выделены и во «Введении» ироническим предупреждением Достоевского читателю: «Ради бога, пуще всего не верьте „Отечественным запискам“, которые смешивают гласность с литературой скандалов. Это только показывает, что у нас еще много господ точно с ободранной кожей, около которых только пахнёт ветром, так уж им и больно; что у нас еще много господ, которые любят читать про других и боятся, когда другие прочтут что-нибудь и про них» (стр.61). В февральском номере «Отечественных записок» (обзор «Русская литература») С. С. Дудышкин в ответ уделил видное место журналу «Время», преимущественно остановившись на «Объявлении» и «Введении», которые

он подверг тщательному и пристрастному анализу буквально по всем пунктам. Коротко изложив содержание «Введения», Дудышкин сопроводил это изложение ироническими комментариями, упирая на эклектичность и несамостоятельность теоретических построений Достоевского, произвольное соединение в программе «Времени» западнических и славянофильских концепций: «Если читать это рассуждение сверху вниз, то выйдет нечто похожее на прежнее славянофильство сороковых годов: оригинальность русской жизни, русский дух, русская истина, всепримиряющая любовь, предназначение русской цивилизации поглотить все цивилизации мира, потому что русский человек говорит на всех языках и безличность составляет его лучший характер. Если читать то же, только снизу вверх, то выйдет благодетельность западной науки и цивилизации со времен Петра до нашего времени, очищение этой наукой русского духа и русской истины, огрубевшей в древней Руси, — это уже принадлежит западникам. Отсутствие сословной вражды на Руси — мнение славянофилов, которое они допускали в древней Руси, но не в новой, давшей другое направление этому вопросу. „Время“, приняв мнение славянофилов, сделало ошибку, которой те не делали, потому что допускали в новой Руси только извращение чисто русских начал. Приняв от славянофилов таинственное слово *любовь*, „Время“ дало ему опять непонятное значение ⟨...⟩ „Время“ понимает любовь как истинное, неподдельное стремление выучить народ на западный манер и поставить его наряду с классами образованными. Здесь *любовь* является как субъективное желание редакции журнала „Время“ ⟨...⟩ Если же смотреть на статью и снизу вверх и сверху вниз разом, то выйдет маскированное желание, высказанное прежде другими, примирить западную науку с народностью — задача, которую не раз высказывали прежде „Времени“. ⟨...⟩ Вы взяли от славянофилов всё то, что у них было фразой, упустили из виду смысл, и зато одели эти фразы тою развязностью, которою владеют господа, читающие одни введения в книги» (*ОЗ*, 1861, № 2, отд. 3, стр. 82—83). Дудышкин возвращает редакции журнала ее иронические замечания об «Отечественных записках» и оценивает позицию Достоевского как промежуточную и неопределенную.

Стр. 42. ...*женевец Лефорт воспитал его*... — Ф. Я. Лефорт (1656—1699) — ближайший соратник Петра I. Родился в Женеве, в богатой купеческой семье. Девятнадцати лет отправился в Россию, где завоевал любовь и признание молодого Петра. О Лефорте было написано уже в конце XVIII — начале XIX в. несколько монографий, в том числе книга Базевиля «Краткая история жизни Лефорта» (Basseville. Précis historique sur la vie de Leforte, 1784). Влияние Лефорта на Петра I в книге Базевиля, как и в других европейских исследованиях по новой истории России, было сильно преувеличено. Но скорее всего Достоевский имеет в виду не западных историков и публицистов, а очень популярную рукопись «Записки о древней и новой России» Н. М. Карамзина, особенно следующее место, процитированное Н. А. Добролюбовым в статье «Первые годы царствования Петра Великого» (1858): «К несчастию, сей государь, худо воспитанный, окруженный людьми молодыми, узнал и полюбил женевца Лефорта, который от бедности заехал в Москву и, весьма естественно, находя русские обычаи для него странными, говорил ему об них с презрением, а все европейское возвышал до небес; вольные общества Немецкой слободы, приятные для необузданной молодости, довершили Лефортово дело, и пылкий монарх с разгоряченным воображением, увидев Европу, захотел сделать Россию Голландией» (*Добролюбов*, т. III, стр. 40). В оценке как дела Петра, так и влияния на него Лефорта Достоевский был близок к точке зрения Добролюбова, изложенной в названной статье: «Лефорт мог воспламенять любознательность Петра, мог возбуждать в нем новые стремления, мог сообщать некоторые понятия, до того неизвестные царю. Но едва ли мог удовлетворить пытливости Петра, едва ли мог всегда разрешать вопросы, рождавшиеся в его уме, едва ли мог сообщить особенную определительность самым его стремлениям. ⟨...⟩ Очевидно, что для всякой другой натуры общество людей, подобных тем, кото-

рые окружали Петра, мало принесло бы пользы. Очевидно, что в самом Петре заключались условия, необходимые для развития и направления той силы, которую умел он выказать впоследствии» (там же, стр. 48, 50).

Стр. 42. ... *заезжими виконтами, баронами и преимущественно маркизами...* — Достоевский, полемически пародируя штампы и нелепости, свойственные западным книгам о России, выделяет получившие большое распространение многотомные путевые впечатления маркиза А. де Кюстина «Россия в 1839 г.» (о них см. примеч. к «Петербургской летописи» — стр. 226, а также к «Зимним заметкам о летних впечатлениях» — наст. изд., т. V, стр. 373) и барона А. Гакстгаузена (Haxthausen, 1792—1866), в 1843—1844 гг. путешествовавшего по России, автора «Исследования внутренних отношений народной жизни и в особенности сельских учреждений России» (1847—1852).

Стр. 42. ... *есть свой король в Швабии...* — Достоевский несколько видоизменяет ставшую поговоркой реплику Гофмана, героя повести Гоголя «Невский проспект» (1835) (ее часто использовал также Герцен): «Я швабский немец; у меня есть король в Германии» (*Гоголь*, т. III, стр. 38).

Стр. 43. ... *печь булки и коптить колбасы...* — В России, особенно в Петербурге, было много колбасников и булочников — немцев, как парикмахеров и гувернеров — французов. Это нашло отражение и в литературе. См., например: В. И. Даль «Колбасники и бородачи» (1844), П. Каратыгин «Булочная, или Петербургский немец, водевиль в одном действии» (1843).

Стр. 43. ... *Веберы и Людекенсы.* — К. Вебер — булочник и петербургский домовладелец. «Людекенс» — известная петербургская колбасная.

Стр. 43. ... *с великанами и великаншами...* — И. И. Панаев писал в «Современнике» (1860, № 10, стр. 407) об одном из таких предприимчивых дельцов — Гебгарде, привезшем в Петербург «Голиафа XIX столетия». «Диковинками» удивлял русского зрителя американский антрепренер Барнум Финеас Тейлор, показывавший «морскую женщину» и карлика Тома Пуса.

Стр. 43. ... *с ученым сурком...* — С учеными сурками выступали в России шарманщики, преимущественно савояры. В период расцвета «натуральной школы» савояры наряду с чиновниками и дворниками — характерные герои физиологических очерков; наиболее известный из очерков — «Петербургские шарманщики» Д. В. Григоровича (1845).

Стр. 43. ... *обезьяною, нарочно выдуманною немцами для русского удовольствия...* — В. И. Даль приводит в «Толковом словаре», как повсеместно распространенное в русском народе, изречение: «Хитер немец: обезьяну выдумал!» (*Даль*, т. II, стр. 578). Ироническое описание Достоевским развлечений, просвещающих русскую публику, возможно, навеяно строками из стихотворного фельетона Н. А. Некрасова «Говорун» (1843—1845), героя которого, Белопяткина, упоминает писатель в «Зимних заметках о летних впечатлениях» (1863):

Прикрыв одеждой шкурочку
Для смеха и красы,
С мартышками мазурочку
Выплясывают псы,
И сам в минуту пьяную,
По страсти иль нужде,
Шарманщик с обезьяною
Танцуют падеде.
Все скачет, все волнуется,
Как будто маскарад.
А русский люд любуется:
«Как немцы-то хитрят!»
Да, сильны их познания,
Их ловкость мудрена...
Действительно, Германия —
Ученая страна!

Вспомнит Достоевский немцев с обезьянами и в набросках к «Крокодилу» (наст. изд., т. V, стр. 330).

Стр. 43. ... *совершенная неспособность* ∾ *на свой аршин*... Это дальнейшее развитие мыслей, высказанных в «Петербургской летописи» (1847): «Конечно, уже известно, что такое взгляды иностранцев на современное состояние России; как-то упорно не поддаемся мы до сих пор па обмерку нас европейским аршином!» (см. выше, стр. 24).

Стр. 43. ... *служить у помещиков Буеракиных* ... — Управитель Федор Карлыч в «Губернских очерках» (отдел «Талантливые натуры», третий очерк «Владимир Константинович Буеракин», 1857 — *Салтыков-Щедрин*, т. II, стр. 299—315), неточно называемый дальше Достоевским Иваном Карлычем (см. выше, стр. 51). Стиль управления Федора Карлыча имением так живописует староста Буеракина: «А ведь мизерный-то какой! Я раз, знаете, собственными глазами из окна видел, как он там распоряжаться изволил... Привели к нему мужика чуть не в сажень ростом; так он достать-то его не может, так даже подпрыгивает от злости. „Нагибайся!“ — кричит. Насилу его уняли!..» (*Салтыков-Щедрин*, т. II, стр. 312). Очерк «Владимир Константинович Буеракин» Достоевский вспоминает также в «Зимних заметках о летних впечатлениях» (см.: наст. изд., т. V, стр. 54, 365).

Стр. 43. ... *другие являются в виде естествоиспытателей* ∾ *каких-нибудь заседателей.* — Иронические намеки Достоевского здесь, как и в дальнейшем, обобщены и с трудом поддаются конкретизации; они с разной степенью справедливости могут быть отнесены и к знаменитому немецкому естествоиспытателю Петру-Симону Палласу (1741—1811), свыше сорока лет изучавшему природу и население России, автору трехтомного научного труда «Reise durch verschiedene Provinzen des russischen Reiches» (СПб., 1771—1776), и к ботанику Ф. Кону (1828—1898), очерк которого «Роза» (*РВ*, 1860, № 4) вызвал иронические реплики в петербургских журналах. Ясна памфлетная направленность сарказмов Достоевского — «немецкая» наука и Академия — главный объект иронии писателя. Журнал «Время» считал создание национальной науки одним из главных условий успехов просвещения в России. Именно так формулировалась задача в статье «Жрецы науки для науки»: «Мы предпочитаем успехи образованности на нашей родине всем успехам науки на Западе 〈...〉 требуем, чтобы русским было дано право смотреть на западную науку с точки зрения русской образованности и заимствовать оттуда то, что при настоящем ее состоянии благотворно и применимо» (см.: *Вр*, 1863, № 1, стр. 148).

Стр. 43. ... *будущего памятника тысячелетию России.* — Споры и толки вокруг прошедшего по конкурсу проекта памятника М. О. Микешина (1836—1896) в 1860 г. оживленно обсуждались журналистикой. И. И. Панаев в «Петербургской жизни» солидаризовался с автором двух статей о проекте в «Русском вестнике» («Один из проектов для памятника тысячелетия России» — *РВ*, 1859, № 11, стр. 156—163; «Еще два слова о проекте памятника тысячелетия России» — *РВ*, 1860, № 2, стр. 157—162): «В художественных кружках много толковали о памятнике по случаю приближающегося тысячелетия России. Для этого, как известно, открыт был конкурс и утвержден, если мы не ошибаемся, проект молодого, талантливого художника г-на Микешина. Проект этот был довольно подробно рассмотрен в „Русском вестнике“. „Русский вестник“ не находит его удачным; нам — мы откровенно признаемся — он также кажется неудовлетворительным. Задача, конечно, очень трудная — и если мы не решимся винить художника в отсутствии мысли, то по крайней мере позволим себе заметить, что мысль его проекта весьма неопределенна. Вообще такого рода громадные художественные проекты требуют, кроме большого таланта, серьезной обдуманности. Шутка сказать: памятник тысячелетию России! В памятнике г-на Микешина мы видим разных знаменитых лиц нашей истории, но не видим ни России, ни русского народа» (*С*, 1860, № 2, стр. 374—375). В спорах принял участие и фельетонист «Светоча» А. Н. Сниткин (Амос Шишкин), иронизировавший по поводу статьи Готье, наполненной самыми вздорными суждениями о России: «О проекте Микешина русская публика узнала в первый раз из „Journal

de St. Pétersbourg", где *француз* Теофиль Готье-сын рассыпался в красноречии о народности русской и решил утвердительно, что 26 августа 1862 года России минет ровно тысяча лет. Русские журналы *не сподобились* получить никакого известия о результате конкурса. 〈...〉 Теофиль Готье, вероятно ослепленный честью, что он первый известит русских о их народном памятнике, восторгается проектом г-на Микешина и не замечает в нем промахов; мало того, сгоряча он даже берется судить о прошлой судьбе нашего народа и, как говорится, *попадает пальцем в небо*» (*Св*, 1860, № 3, стр. 96). Памятник, сооруженный по проекту Микешина, был открыт в Новгороде 8 сентября 1862 года.

Стр. 43. ... *не все переводят «Россияду» Хераскова...* — М. М. Херасков (1733—1807) — русский писатель XVIII в., создатель «Россияды, ироической поэмы» (1799). Переводы из Хераскова не на «санскритский», конечно, а на немецкий язык, действительно, существовали: известны, в частности, переводы из Хераскова немецкого писателя «бури и натиска» Я. Ленца (1751—1792).

Стр. 43. *Есть знаменитые сочинения ∾ и заключает такою нелепостью...* — Наиболее «знаменитыми» немецкими сочинениями, помимо труда Гакстгаузена, была книга Блазиуса Иоганна Генриха (1809—1870), немецкого зоолога, «Путешествие по европейской части России в 1840—1841 гг.» («Reise in europäischen Rußland in den Jahren 1840—1841»), «добросовестного ученого» (*Герцен*, т. XII, стр. 261), «который с редким умом и беспристрастием так оценил Россию, что большей части из нас, русских, можно бы было у него поучиться» (*Хомяков*, т. I, стр. 31); Кёнига Генриха Иосифа «Картины русской литературы» («Literarische Bilder aus Rußland»), написанной, в сущности, совместно с Н. А. Мельгуновым (1804—1867), и «холодные компиляции, не свободные от официального влияния», по определению Герцена (т. VI, стр. 195), Шницлера Иоганна Генриха (1802—1871) «Essai d'un statistique générale de L'empire de Russie» (Очерк общей статистики Российской империи. Париж, 1829); «La Russie, la Pologne et la Finlande» (Россия, Польша и Финляндия. Париж, 1835); «Histoire intime de la Russie sous les empereurs Alexandre et Nicolas» (Внутренняя история России в царствование императоров Александра и Николая. Париж, 1847). Достоевский, вероятно, имел в виду сочинения вроде книг Шницлера, но, возможно, и знаменитый труд Гакстгаузена, получивший высокую оценку Герцена в «России» (1849), видевшего в нем первооткрывателя русской сельской общины. Но Герцен столь же резко критиковал реакционные монархические идеи немецкого землевладельца, увидевшего в России 40-х годов патриархальные отношения между помещиками и крестьянами, прославлявшего в 3-м томе своего труда (1852) «величие повиновения» как высшую добродетель русского народа и даже телесные наказания, распространенные в русской армии (см. «Русское крепостничество» (1852) — *Герцен*, т. XII, стр. 50—55).

Стр. 44. ... *иногда даже на 28 дней...* — Достоевский иронизирует над кратковременностью путешествий по России А. де Кюстина, А. Дюма-отца и других французских авторов сочинений о России.

Стр. 44. ... *выучив мимоходом ∾ вертеть столы...* — Вместе с А. Дюма-отцом в Россию приехал американский спирит и медиум Даниель (Дуглас) Юм (Hume), выступавший неоднократно на медиумических сеансах. Юм и его сеансы стали в конце 50-х — начале 60-х годов объектом для иронии фельетонистов. См.: А. В. Дружинин. Рассказ, перед которым все вымыслы — прах и ничтожество, или Правдивое повествование медиума, состоящего в числе сотрудников «Века», о знакомстве с господином Гомом и неописанных чудесах по части столоверчения, духовидения и чернокнижия (1861; *Дружинин*, т. VIII, стр. 623—633).

Стр. 44. *В Москве он взглянет на Кремль ∾ удивительнейших приключений.* — Пародируется главным образом книга А. де Кюстина. Достоевский частично повторяет пародию на книгу Кюстина в фельетоне «Петербургская летопись» (см. стр. 24—25).

Стр. 44. ... *быт Сандвичевых островов.* — Так назвал Гавайские острова (расположены в северной части Тихого океана, ныне входят на правах

штата в состав США) в честь графа Сандвича, первого лорда Адмиралтейства, открывший их в 1778 г. капитан Джеймс Кук (1728—1779). Путешествие Кука и последовавшие за ним другие экспедиции вызвали большой интерес к жизни и быту экзотических островов Океании. Появилось много компилятивных публикаций в русских журналах («Острова Уалак, Сандвичевы и Таити, из путевых заметок Жюльен де ла Гравьера» — *Р* и *П*, 1853, № 11, стр. 41—60; «Гонолулу, резиденция короля Сандвичевых островов, описанная Андерсоном. Novellin Zeitung, 1855 — *Р* и *П*, 1855, № 5, стр. 51—52; «Об Океании и ее жителях. Чтение Т. Н. Грановского» — *РВ*, 1856, № 1, стр. 173—185). Достоевский сравнивает французские сочинения о России с книгами европейских путешественников о дальних островах Океании. К аналогичному сравнению он прибегнет в статье «Г-н —бов и вопрос об искусстве», иронизируя над народными рассказами Марка Вовчка (см. выше, стр. 90).

Стр. 44. ... *поговорит о Пушкине* ∞ *подражавший Андрею Шенье и мадам Дезульер*... — Андре Шенье (Chenier) (1762—1794) — французский поэт позднего классицизма; его творчество, действительно, вызвало большой интерес Пушкина («Андрей Шенье», 1825 и др.). Дезульер (Deshoulières), Антуанетта де Лижье де Лагард (1637—1694), французская поэтесса. Ее идиллии были популярны в XVIII—начале XIX в. в России; наиболее известны переводы А. Ф. Мерзлякова (Идиллии госпожи Дезульер, переведены А. Мерзляковым, М., 1807). Дезульеровские идиллии для Достоевского и его современников (Герцена, Добролюбова и др.) — синоним фальшиво-пасторального изображения народной жизни (см. также статью «Книжность и грамотность»). Достоевскому, конечно, хорошо было известно отрицательное отношение Пушкина к идиллическому роду поэзии, в частности эпиграмма его на В. И. Панаева (1792—1859) «Русскому Геснеру» (1817). Пересказывая в фельетонной манере суждения французов о Пушкине, Достоевский обобщает различные легковесные, но претендующие на глубокомыслие мнения, нелепые легенды и слухи, встречавшиеся даже в серьезных книгах. Среди тех, кого задевает ирония Достоевского, видимо, следует назвать А. де Кюстина, отрицавшего саму возможность появления искусства в России: «Самый воздух этой страны враждебен искусству 〈...〉 Русское искусство всегда останется оранжерейным цветком» (Кюстин. Николаевская Россия. М., 1930, стр. 61). Пушкину Кюстин предпочел другого славянского поэта — А. Мицкевича. Переводы из Пушкина его разочаровали: «Он заимствовал свои краски у новой европейской школы. Поэтому я не могу назвать его национальным русским поэтом». Весьма просто объясняет Кюстин популярность Пушкина в России: «Для того чтобы составить эпоху в жизни невежественного народа, окруженного народами просвещенными, ему достаточно переводить, не тратя умственных усилий. Подражатель прослывет созидателем» (там же, стр. 171). С мнением Кюстина о Пушкине («поэт без инициативы») полемизировал в «России» (1849) Герцен (т. VI, стр. 197). Возможно, Достоевский одновременно задевал и А. Гайе де Кюльтюра, автора антимонархической книги «Царь Николай и Святая Русь» (Achille Gallê de K u l t u r e. Le Tzar Nicolas et la Sainte Russe. Paris, 1854). Герцен назвал книгу «замечательной», но осудил как «дурной поступок» приведенную в ней сплетню о полицейской расправе над поэтом (*Герцен*, т. XII, стр. 259, 318).

Стр. 44—45. ... *похвалит Ломоносова* ∞ *«Трех мушкетеров»*... — Пародируется содержание путевых очерков А. Дюма (Impression de Voyage en Russie. Paris, 1858—1859). Достоевский, как установила В. А. Дороватовская-Любимова, «точно воспроизводит весь план путешествия Александра Дюма и затем выделяет отдельные его моменты, которые передает в пародийном освещении»; Дюма неоднократно сообщает о своем желании встретиться с Шамилем, упоминает армян и грузин, восторгавшихся «Тремя мушкетерами». Дюма, рассуждая о преждевременной смерти русских писателей, упоминает Пушкина, убитого на дуэли «сорока восьми лет», и Лермонтова — погибшего в «сорок четыре года» (см.: «Литературный критик», 1936, № 9, стр. 203—204). О вооруженных стычках с горцами Дюма рассказывает

в главах «Les abreck» и «Le secret» («Le Caucase»). Достоевский завершает памфлет на западные книги о России, открыто пародируя путевые очерки А. Дюма, но одновременно мало изменяя обобщающему характеру полемики. Дается оценка *всем* суждениям французов о литературе, старым и новым, равно отличающимся высокомерно-снисходительным тоном. Среди пародируемых книг — и откровенно враждебные, в которых о русской культуре говорится мимоходом и пренебрежительно: J. Ancelot. Six moix en Russie. Paris, 1827; E. Dupré de Sainte-Maure. L'Hermite en Russie. Paris, 1829; J.-B. May. Sainte-Pétersbourg et la Russie en 1829. Paris, 1830, и т. д., — и специальные работы, пропагандирующие русскую культуру во Франции, но весьма поверхностные, вроде статей Ш. Сен-Жюльена о Пушкине («Revue des deux Mondes», 1847, № 4) и Крылове (там же, 1852, № 3). Статьи Сен-Жюльена вызвали резкую критическую заметку «Пантеона»: «Одна из них, о графе Соллогубе, ставит этого писателя чуть ли не во главе последнего периода нашей словесности и наполнена множеством промахов, доказывающих, что автор не потрудился познакомиться основательно с предметом, о котором пишет; другая, об И. А. Крылове, превосходит первую промахами и должна была дать французам превратное понятие о литературе нашей вообще и о славном баснописце нашем, наиболее народном из наших писателей, в особенности. Мы очень благодарны г-ну де Сен-Жюльену за его желание познакомить своих соотечественников с нашею литературою, но не можем не сожалеть, что он сообщил им о ней много неверных и даже превратных сведений 〈...〉 г-н де Сен-Жюльен сравнивает Державина с Жан-Батистом Руссо (какая честь!), приписывает Карамзину литературные подвиги, которые наш историограф никогда не совершал, и т. п.» («Пантеон», 1853, № 3, стр. 53).

Стр. 44. ... *подражавший Лафонтену...* — Ж. Лафонтен (Jean de La Fontaine, 1621—1695) — знаменитый французский баснописец.

Стр. 45. *Последние нелепые возгласы* ∾ *боевых криков.* — Речь идет об антирусской кампании в Англии и Франции в период Крымской войны. Непосредственно затронула западная пропаганда И. С. Тургенева, протестовавшего против тенденциозного перевода Э. Шаррьера, приспособленного к политическим событиям, «Записок охотника» (Mémoires d'un seigneur russe ou Tableau de la situation actuelle des nobles et des paysans dans les provinces russes. Paris, Hachette, 1854). См.: *Тургенев*, *Сочинения*, т. XV, стр. 127—133.

Стр. 45. *Цицерон* (M. Tullius Cicero, 106 г. до н. э. — 43 г. до н. э.) — римский оратор, философ и государственный деятель.

Стр. 46. *Вот про господина Греча* ∾ *называться литературой.* — Н. И. Греч (1787—1867) — писатель, журналист, филолог, автор имевшего большой успех романа «Черная женщина» (1834), вместе с Ф. В. Булгариным в 1831—1859 гг. издавал «Северную пчелу». Речь идет о «Парижских письмах с заметками о Дании, Германии, Голландии и Бельгии» (СПб., 1839, чч. I и II). Греч рассказывал В. Гюго о просветительской политике русского правительства, вреде «свободы тиснения» для французской литературы и благодетельности русской цензуры, мудро опекающей искусство (ч. I, стр. 231—233). Французскому писателю Ш. О. Сент-Бёву (1804—1869) он говорил о пользе цензуры для успехов русской культуры и просвещения в присутствии Гюго, который, по уверению Греча, согласился со следующими его словами: «Я сказал, притом напрямки, что литература, которая не распространяет здравых понятий, благородных правил, не старается искоренить порока и не уважает чести и добродетели, не есть литература и что только тот писатель достоин уважения, который возвышает собою и своими творениями достоинство человека и гражданина» (ч. II, стр. 129).

Стр. 47. ... *отставные наши кавалеристы...* — Достоевский иронизирует над путевыми записками русских офицеров разных родов войск, насмешливо перечисленных Герценом в «Письмах из Франции и Италии», и над тем распространенным типом русского туриста, о котором повествовал А. В. Дружинин в очерке «Наши за границей», где фигурирует некий Ваня Ожогин, «отставной гусар, весь июль месяц таскавшийся за моими стопами

в Швейцарии, и напоследок таки занявший у меня четыреста целковых», и беспардонно лгавший немецкой публике на французском языке петербургского денди (*Дружинин*, т. VIII, стр. 517—531).

Стр. 47. ... *взбирались на башни Нотр-Дам*... — Т. е. на собор Парижской богоматери (Notre-Dame de Paris); ср. с «Зимними заметками о летних впечатлениях» (наст. изд., т. V, стр. 49).

Стр. 47. ... *enfants de bonne maison, fils de famille*. — Возможно, что Достоевский, приводя эту традиционную формулу, намекает на следующее место из цинично откровенного монолога «озорника» в «Губернских очерках» Салтыкова-Щедрина: «Когда я был очень молод, то имел на предстоявшую мне деятельность весьма наивный и оригинальный взгляд. Я мечтал о каких-то патриархальных отношениях, о каких-то детях, которых нужно иногда вразумлять, иногда на коленки ставить. Хороши дети! Согласитесь, по крайней мере, что если и есть тут дети, то, во всяком случае, ce ne sont pas des enfants de bonne maison» ⟨это не дети из хорошего дома (франц.)⟩ (*Салтыков-Щедрин*, т. II, стр. 262).

Стр. 47. ... *знавшие всю подноготную о Пальмерстоне* ∾ *«Пахатника и бархатника»*. — Достоевский частично пересказывает следующую авторскую характеристику героя повести Д. В. Григоровича «Пахатник и бархатник» (*С*, 1860, № 11) Ипатова: «Убеждения этого господина заключались в том, что он называл Россию непроходимою тундрой и отвергал в русском народе, которого величал тунгусом, всякую способность к развитию. Происходя из чисто русской фамилии ⟨...⟩ он ненавидел всё русское, и нельзя было лучше польстить ему, как сказав, что он по выговору, привычкам своим и наружности представляет совершеннейший тип француза или англичанина. Не имея понятия о самых главных, основных фактах отечественной истории, — фактах, известных почти каждому школьнику, не прочитав во всю жизнь ни одной русской книги, потому что, как сам он говорил, вся русская литература не стоила маленькой комедии Октава Фелье или пословицы Мюссе, оставаясь так же равнодушен, как какой-нибудь японец, к самым живым событиям, совершающимся в отечестве, — он в то же время с неимоверною жадностью поглощал иностранные газеты, revues и брошюры. Трудно найти человека, который был бы сильнее Ипатова, когда речь заходила об административном, политическом или финансовом вопросе Европы. Он знал имена всех замечательных деятелей континента и Британии и мог сообщать мельчайшие подробности из их биографии. Прения верхней и нижней палаты, виды английской политики, подробности касательно борьбы вигов и тори, направление наполеоновской политики, отношение французского государства к восточному и итальянскому вопросу, политическое состояние Австрии и Германии — всё это занимало Ипатова и действительно знакомо было ему в той самой степени, как мало знакома была Россия и вообще всё отечественное. ⟨...⟩ Он проводил время, читая или рыская по гостиным, где на изящнейшем французском наречии рассказывал о ходе современных европейских дел и каждый раз, как представлялся случай, проливал потоки желчи, костя на чем свет стоит Россию. ⟨...⟩ Мания его к чужеземному доходила до того, что он никогда ни с кем не хотел слова сказать по-русски; так, например, во время обеда, желая выпить стакан воды, он обращался всегда к соседу и говорил по-французски: „Сделайте милость, скажите лакею, чтобы налил мне воды!"» (Д. В. Григорович. Избранные произведения. Госиздат, М., 1954, стр. 269—270). Григорович преподносит последний факт как лично им виденный: «Я сам лично был свидетелем такого факта; хотите — верьте, хотите — нет!» (там же, стр. 270).

Пальмерстон Генри Джон Темпл, лорд (1784—1865) — премьер-министр Великобритании в 1859—1865 гг., тори, в период Крымской войны — министр иностранных дел.

Стр. 47. ... *ставили на русских сценах комедии, вроде пословиц Альфреда Мюссе*... — Альфред де Мюссе (1810—1857) популяризировал в 1830—1840 гг. жанр драматических пословиц (proverbes dramatiques), о котором так писал критик «Современника»: «Г-н Мюссе создал новый род небольших драматических разговоров, который он назвал пословицами (proverbe),

потому что они действием своим выражают смысл, заключающийся в этих пословицах. Эти драматические пьески, печатавшиеся в „Revue des deux Mondes“, в первый раз были представлены на сцене петербургского французского театра (1842—1843) и уже потом в Париже на сцене Théâtre Français. В них нет почти никакого сценического действия; главное достоинство их заключается в том неуловимо тонком и изящном светском разговоре, который может быть понят и передан только такими образованными артистами, каковы г-жа Аллан, Плесси и г-н Аллан. Пьески эти имели и на петербургской и на парижской сцене успех блистательный» (*С*, 1848, № 12, стр. 198—199). Жанр «драматических пословиц» получил в 40—50-е годы большое распространение в России и встретил решительное противодействие театральной критики. Больше всего усердствовал в борьбе с «пословицами» А. Григорьев, холодно отзывавшийся не только о многочисленных русских подражаниях Мюссе и Фелье, но и о пьесах Тургенева («Где тонко, там и рвется», «Провинциалка») и самого родоначальника жанра. А. Григорьев так описал «общие физические признаки» пословиц: «...сфера жизни в них берется по большей части великосветская, то есть в них действуют люди высшего тона, которые занимаются различными, нехитрым умам непонятными делами, или действуют иногда люди хотя и не большого света, но зато разочарованные: женские лица — тоже вообще *развитые* женщины, которые преимущественно занимаются тем, что называется технически *игрою в чувство*, делом хотя, конечно, и праздным, но дающим возможность выказывать различные натуральные, благоприобретенные и даже часто противуестественные свойства *прекрасной* и *изящно развитой личности.* 〈...〉 Главнейшая задача авторов подобных произведений — тонкость: тонкость чувствований, тонкость разговоров, тонкость стана героинь, тонкость голландского белья героев, — тонкость такая, что стан, того и гляди, переломится, — разговор как раз перейдет в нечто, *простому* здравому смыслу и *невоспитанному* чувству непонятное; чувства, того и жди, — совсем испарятся или улетучатся; тонкость голландского белья чуть что не ставится главным признаком достоинства человеческого. Кончаются тут дела обыкновенно сознанием героя и героини, что они *могут* позволить себе любить, или иногда *трагически*: герой и героиня расстаются „в безмолвном и гордом страданье“ (А. Григорьев. Литературная критика. Изд. «Художественная литература», М., 1967, стр. 49—50). О драматических пословицах также см. в обзоре Н. А. Некрасова и В. П. Боткина «Заметки о журналах за июль месяц» (*С*, 1855, № 8). К 1861 г. пословицы уже почти сошли на нет; в «Театральных заметках» некоего П. констатировалось: «Критика наша, противодействующая всему ложному, изысканному, натянутому, ополчилась на эти французские тощие растения, перенесенные на русскую почву, а известный поэт Кузьма Прутков окончательно добил их своей мастерской пародией „Блонды“» («Русская речь», 1861, № 78, 28 сентября, стр. 411). В литературе, помимо Ипатова из «Пахатника и бархатника», предпочитавшего всю русскую литературу пословицам Мюссе и Фелье, несомненно обратила внимание Достоевского и генеральша из рассказа Салтыкова-Щедрина «Зубатов» (1859), смотревшая «на жизнь как на ряд милых и грациозных сцен, вроде пословиц Альфреда Мюссе...» (*Салтыков-Щедрин*, т. III, стр. 19). Генерала Зубатова Достоевский вспомнит, набрасывая полемическую заметку против Щедрина в записной тетради 1863—1864 гг.

Стр. 47. ... *«Раканы» (название, конечно, выдуманное).* ∾ *при виде Ракана в трех лицах.* — Достоевский мистифицирует читателя, имея в виду конкретный литературный факт: пьесу Н. В. Сушкова (1796—1871) «Раканы, или Трое вместо одного. Анекдот в лицах, в одном действии, в стихах» («Раут». I Литературный сборник в пользу Александринского детского приюта. Издание Н. В. Сушкова. М., 1851; представлена в первый раз 4 октября 1850 г. в имп. Большом московском театре). Ракан Оноре (Racan Honorat de Bueil, marquis, 1589—1670) — французский поэт, наиболее известное его произведение — пасторали «Les bergeries», главным героем которых был пастух Тирсис. Анекдот о трех Раканах приводится в книге Таллемана де Рео (Tallemant des Réaux. Les Historiettes): маркизе-девственнице Гурнэ (la fille

d'alliance du grand Montaigne (названой дочери великого Монтеня (*франц.*)) поочередно являются, выдавая себя за Ракана, Этан де Бюей (Estant de Bueil), Ивранд (Ivrande) и, наконец, сам Ракан и благодарят за присланную Ракану книгу маркизы. Анекдот послужил основой для комедии Буаробе (Boisrobert) «Три Оронта» (Les Trois Oronte, 1654). В 1850 г. в Париже была играна комедия «Les Trois Racan».

Стр. 47. ... *чистить сапоги г-ну Случевскому.* — Стихи К. К. Случевского (1837—1904), опубликованные в «Современнике» и других журналах («Ходит ветер избочась...», «На кладбище», «Статуя», «Весталка», «Я видел свое погребенье...» и др.), вызвали много фельетонных насмешек и пародий (Н. А. Добролюбова, Н. Л. Ломана). Иронизировали и над статьей А. Григорьева «Беседы с Иваном Ивановичем» (1860), неумеренно восторженной по тону: в ней Случевский сравнивался с Лермонтовым. А. Н. Сниткин разбирает статью Григорьева и стихи Случевского в двух фельетонах — в марте (*Св*, 1860, № 3, стр. 51—55) и в июне, замечая, что «иной раз, действительно, мы так похвалим и ободрим какого-нибудь даровитого юношу, что не поздоровится от этаких похвал. Аполлон Григорьев уж это доказал...» (*Св*, 1860, № 6, стр. 53). Достоевский упоминает Случевского также в «Петербургских сновидениях в стихах и прозе».

Стр. 47. ... *имя им — легион.* — См.: Евангелие от Луки, гл. 8, ст. 30; Евангелие от Марка, гл. 5, ст. 9.

Стр. 48. ... *légion d'honneur'e...* Орден Почетного легиона был учрежден в 1802 г. Наполеоном I. П. Мериме, о котором пойдет речь далее в статье, был командором (одна из высших степеней) этого ордена.

Стр. 48. ... *ваш Мериме знает даже древнюю нашу историю ∽ драма «Le Faux Démétrius».* ... — П. Мериме был знатоком и пропагандистом русской литературы во Франции. Он перевел на французский язык «Пиковую даму», «Цыган», «Выстрел» Пушкина, «Ревизора» и отрывки из «Мертвых душ» Гоголя. Автор статей о Пушкине и Гоголе, исторического исследования о Запорожской Сечи и Лжедмитрии. В 1862 г. П. Мериме избрали почетным членом Общества любителей русской словесности. Упоминаемая Достоевским пьеса П. Мериме явилась плодом увлечения писателя русской историей: «Le Faux Démétrius, scenes dramatiques» («Revue des deus Mondes», 1852, 15 décembre, t. XVI, p. 1001—1047). Сцены Мериме были опубликованы на русском языке в сопровождении статьи А. Зернина в 1858 г. (А. Зернин. О самозванцах по поводу сочинения Проспера Мериме: «Episode de l'histoire de Russie — Les Faux Démétrius». *БдЧт*, 1858, т. 147, отд. 3, стр. 1—64). О драме Мериме см.: М. П. Алексеев. Борис Годунов и Дмитрий Самозванец в западноевропейской драме. В кн.: «Борис Годунов» А. С. Пушкина. Л., 1936, стр. 79—124. Достоевскому, который, по свидетельству Д. В. Аверкиева, хорошо знал Мериме (Д. В. Аверкиев. «Дневник писателя», 1886. Вып. I. СПб., 1886, стр. 37), конечно, была известна полемика в русских газетах и журналах вокруг перевода Мериме «Пиковой дамы» и статьи о Гоголе (La litterature en Russie. Nicolas Gogol. «Revue des deux Mondes», 1851, 15 Nov., p. 627—650). В 1877 г. (*ДП*, февраль, гл. I, § 1) Достоевский, сравнивая «Гузлу» и «Песни западных славян», так говорит о Мериме, совершенно в духе «Введения»: «Этот преталантливый французский писатель, впоследствии sénateur и чуть не родственник Наполеона III, теперь уже умерший, в этой „Gouzla" изобразил, под видом славян, конечно, лишь французов, да еще французов-то парижан; иначе они и не умеют: для настоящего француза, кроме Парижа, ничего на свете не существует».

Стр. 48. ... *из «Марфы Посадницы» Карамзина.* — Повесть Н. М. Карамзина «Марфа Посадница, или Покорение Новгорода» (1803) для Достоевского такой же эталон псевдоисторической литературы, как «Фрол Силин» — псевдонародной (см. «Книжность и грамотность»). Н. М. Карамзин писал в предисловии к повести: «В наших летописях мало подробностей сего великого происшествия, но случай доставил мне в руки старинный манускрипт, который сообщаю здесь любителям истории и — сказок, исправив только слог его, темный и невразумительный» (Н. М. Карамзин. Избранные сочинения в двух томах, т. I. Изд. «Художественная литература», Л., 1964,

стр. 680). Найденный манускрипт — обычная литературная мистификация, а персонажи повести, по определению Г. А. Гуковского, «античные герои, в духе классической поэтики. ⟨...⟩ Недаром рядом с „вечем“ и „посадниками“ у Карамзина фигурируют „легионы“. Карамзин, описывая республиканские доблести, восхищается ими в эстетическом плане, отвлеченная красивость героики увлекает его сама по себе» (История русской литературы, т. V. Изд. АН СССР, М.—Л., 1941, стр. 79). Пренебрежительное отношение к повести Карамзина было распространенным явлением в 60-е годы. А. П. Милюков оценивал ее как «сентиментально-напыщенную» (*Св*, 1860, № 5, стр. 2); А. Григорьев называл ее «безобразно... фальшивой» (*Вр*, 1861, № 2, стр. 100).

Стр. 48. ... *на самого Дюма, настоящего маркиза Davis de la Pailletterie.* — Отец А. Дюма был сыном чернокожей рабыни Сессеты Дюма и маркиза де ля Пайетри. Достоевский, вероятно, напоминает читателю скандальный судебный процесс А. Дюма с издателями Вероном и Жирарденом, подробно освещавшийся французской («Journal des Débats», 1847, 30 и 31 января) и русской прессой. Фельетонист «Современника» в «Современных заметках» (1847, кн. 3, март, отд. «Смесь») приводил слова Дюма из речи на процессе: «Я получил ⟨...⟩ орден Карла III, пожалованный не писателю, но человеку, мне, *Александру Дюма Деви, маркизу де ла Паллетри, другу герцога Монпансье*» — и иронически их комментировал: «Выходка громкая! И в самом деле, какая дерзость со стороны гг. Верона и Жирардена потребовать к суду маркиза де ла Паллетри, друга герцога Монпансье!» (*Фельетоны*, стр. 267).

Стр. 49. ... *всяких Сен-Жеромов и Мон-Ревешей...* — Сен-Жером (St.-Jérôme) — гувернер в автобиографической трилогии Л. Н. Толстого. О «гувернере с розгами» Достоевский писал в 1877 г., вспоминая гл. XIII—XVII «Отрочества» (*ДП*, январь, гл. II, 5, «Именинник»). Фамилия Мон-Ревеш, как установил Б. Г. Реизов («Униженные и оскорбленные» и проблемы зарубежной литературы. *РЛ*, 1972, № 2, стр. 71), навеяна романом Жорж Санд «Мон-Ревеш» («Mont Revêche», 1853). Первые две части романа печатались в приложении к «Современнику» (*С*, 1853, №№ 9 и 12); в следующем году роман был опубликован целиком. Мон-Ревеш — родовой замок героя романа — графа Флавиана де Сольж. В «Униженных и оскорбленных» Анна Андреевна Шумилова гордится тем, что получила образование «в губернском благородном пансионе у эмигрантки Мон-Ревеш...» (наст. изд., т. III, стр. 179).

Стр. 49. ... *хотя и посадили Понсара в Академию...* — Ф. Понсар (Ponsard, 1814—1867) — французский драматург школы «здравого смысла». Наибольшую известность принесла ему пьеса «Честь и деньги» (L'Honneur et l'argent, 1853; русск. перевод К. Ушакова, 1857 г.). Именно эта пьеса послужила главным основанием для избрания Понсара в 1855 г. во Французскую академию на место Баур-Лормана (Baour-Lormian). В обзоре «Парижская жизнь» журнал «Репертуар и Пантеон» так информировал читателей: «Французская академия собиралась предварительно, чтоб решить наконец, кого избрать на кресло Баур-Лормана: Понсара, поэта, или Фаллу, виконта. Прения были долгие и жаркие, потому что партия аристократов очень сильна в Академии и хочет, кажется, решительно изгнать всех литераторов; но Фаллу, поняв, что если он и одержит победу над поэтом, то она будет постыднее поражения, потому что все будут иметь право исчислять заслуги обоих соперников, удалился от кандидатства, и Понсар остался один. Стало быть, выбор будет незатруднителен» (*Р и П*, 1855, № 5, стр. 76). Отношение Достоевского как к творчеству Понсара, так и к факту избрания его в Академию, откровенно ироническое. В. Дороватовская-Любимова считает, что в «Зимних заметках о летних впечатлениях» Достоевский пародировал пьесу Понсара и другие сочинения «школы здравого смысла» («école du bon sens») (см.: «Литературный критик», 1936, № 9, стр. 208).

Стр. 49. *Вы до сих пор ∾ из двух сословий: les boyards и les serfs.* — Полемика Достоевского направлена против типичных суждений западных публицистов, видевших в России только два сословия: «бояр» и «крепостных». С западными представлениями о «фантастических boyards russes» полемизировал Герцен в статьях 1856 г.: «Вперед! Вперед!», «Из писем путешественника во внутренности Англии» (*Герцен*, т. XII, стр. 311, 320).

Стр. 50. *Нет у нас галлов и франков...* — Галлы, или кельты, — народность арийского происхождения; издавна населяли большую часть Центральной и Северо-Западной Европы. Франки — группа западногерманских племен. Достоевский имеет в виду образование государств в Западной Европе, в первую очередь франкского государства, и широко распространенную в России, особенно в кругах, близких к славянофилам, «теорию завоеваний» Огюста Тьерри в его знаменитой книге «Рассказы из времен Меровингов». См. выше комментарий к «Объявлению» на 1861 г. (стр. 235—236).

Стр. 50. ... *нет цензов, определяющих внешним образом, чего стоит человек...* — По избирательному закону июльской монархии во Франции устанавливался ценз в 200 франков прямых налогов в год; только способным уплатить его предоставлялось избирательное право. Таких избранных во Франции было около 220 000 граждан. Достоевский, говоря о цензе, вероятнее всего, вспоминал «Письма из Франции и Италии» Герцена, его ненависть к Парижу, «стоящему за *ценс*», и симпатии к Парижу, «стоящему за *ценсом*» (*Герцен*, т. V, стр. 29). По вопросу о цензе в 1861—1862 гг. развернулась дискуссия между И. С. Аксаковым и А. И. Кошелевым в еженедельнике «День» (*Д*, 1861, 23 декабря, № 11, стр. 1—3; 1862, 10 февраля, № 18, стр. 6—7; 16 февраля, № 19, стр. 5—7; 24 февраля, № 20, стр. 5—6; 17 марта, № 23, стр. 4—5). Дискуссию открыла статья И. Аксакова, отвергавшего ценз и идею ценза как западное явление, которое неуместно в современной пореформенной русской ситуации: «Под именем *ценза* разумеется в наше время на Западе — размер поземельного владения, или имущества вообще, или каких бы то ни было доходов, дающий человеку право участвовать в общественных делах своей страны посредством избрания представителей или в качестве представителя, — или же право принадлежать к известному сословию. Мы сказали: на Западе, но мы должны прибавить, что это западное начало существует и у *нас*, и именно в *дворянском сословии*: известно, что право голоса на дворянских выборах дается, на основании закона, определенным числом душ, принадлежащих помещику на крепостном праве. Теперь крепостного права уже не существует, и — *вот почему мы утверждаем, что вопрос о цензе весьма важен* в настоящую минуту...» (*Д*, 1861, 23 декабря, № 11, стр. 1). А. И. Кошелев возражал Аксакову, утверждая, что ценз не может быть отнесен к исключительно западным началам, так как существовал в России с древних времен. Кошелев, не находя в идее ценза ничего ненормального и предосудительного, занял в этом вопросе несравненно более четкую и ясную классовую позицию в сравнении с демагогическим и расплывчатым выступлением Аксакова, в конечном счете вылившемся в банальное славянофильское осуждение cens électoral ⟨избирательный ценз (*франц.*)⟩ во Франции и Англии и suffrage universel ⟨всеобщее избирательное право (*франц.*)⟩. Достоевский, развивая концепцию коренной противоположности России и Запада, шел в данном вопросе дальше славянофилов, отрицая вообще существование ценза в России.

Стр. 50. *Наука, конечно, вечна ∞ народного характера.* — Отклик Достоевского на полемику между западниками и славянофилами 50-х годов о народности в науке. Достоевский формулирует здесь среднюю, «нейтральную» точку зрения, с одной стороны соглашаясь с мнением Ю. Ф. Самарина («Народность есть существенное *условие* успешного развития науки и движения науки вперед» — *Самарин*, т. I, стр. 147), но, с другой стороны, в западническом духе подчеркивает «вечность и незыблемость» законов науки для всех.

Стр. 51. *Он заслюжиль розга и полючит розга!..* — Достоевский имеет в виду методичное повторение Федором Карлычем, управителем имения Буеракина, одних и тех же слов (*Салтыков-Щедрин*, т. II, стр. 313—314).

Стр. 52. *Одной только насмешки над умом своим он не снесет...* — Ср. у Гоголя в «Выбранных местах из переписки с друзьями»: «Всё вынесет человек века: вынесет прозванье плута, подлеца; какое хочешь дай ему названье, он снесет его — а только не снесет названье дурака. Над всем он позволит посмеяться — и только не позволит посмеяться над умом своим» (*Гоголь*, т. VIII, стр. 413).

Стр. 52. ... *ведь нынче в ходу промышленность, даже в литературе...* — Речь идет, вероятно, об А. А. Краевском, карьера которого послужила основой для фельетона И. И. Панаева «Очерк петербургского литературного промышленника» (*С*, 1857, № 12). Краевского подразумевал и А. В. Дружинин, когда писал в «Новых заметках петербургского туриста» (1861) об иных литераторах, «совершенно сходных с откупщиками» (*Дружинин*, т. VIII, стр. 664). Но возможно, что Достоевский имеет в виду также слова Пушкина из статьи «Путешествие из Москвы в Петербург» (1833—1834): «Литераторы петербургские по большей части не литераторы, но предприимчивые и смышленые литературные откупщики».

Стр. 54. *Англичанин смеется над своим соседом* ∾ *на национальные его особенности.* — Достоевский в своих суждениях опирается на распространенные мнения об английских туристах, бытовавшие в русской литературе и журналистике. Так, Н. Ливенский писал в статье «Туристы вообще и особенно русские» об англичанах: «Почти все они знают отлично свою землю; но чужие страны знают так же плохо, как и чужие языки: оттого их невежество, часто поразительное, вовсе не похоже на самодовольное и всеобнимающее невежество французов; оно sui generis, эгоистическое и наивное в своем высокомерии. ⟨...⟩ главная черта английских туристов — всё видеть и ничему не удивляться, не менее того господствует над всем прочим» (*ОЗ*, 1859, № 3, стр. 4). Национальное высокомерие как характерную черту английского характера Достоевский подчеркивал в «Дневнике писателя» за 1876 г. (март, гл. II, § 1, «Дон-Карлос и сэр Уаткин. Опять признаки начала конца»): «... в Англии все англичане и все одинаково уважают себя, может быть, единственно за то, что они англичане».

Стр. 54. ... *во времена Жанны д'Арк или крестовых походов?* — Жанна д'Арк (Jeanne D'Arc, 1412—1431) — национальная героиня Франции, сожженная 12 мая 1431 г. в Руане по приговору духовного суда в период Столетней войны между Англией и Францией. Достоевский в статье о Жорж Санд (*ДП*, 1876, июнь, гл. I, § 2) называет ее роман «Жанна» «произведением уже гениальным, представляющим собою светлое и, может быть, бесспорное разрешение исторического вопроса о Жанне д'Арк. В современной крестьянской девушке она вдруг воскрешает перед нами образ исторической Жанны д'Арк и наглядно оправдывает действительную возможность этого величавого и чудесного исторического явления...» Достоевский, напоминая известные исторические эпизоды соперничества Франции и Англии, отвергает возможность истолкования их как случайных внешних событий; причину взаимного недоверия он склонен видеть в коренной противоположности двух национальных типов культуры, «в крови, в целом духе обоих народов».

Стр. 55. *Говорят, что он хотел сделать из России только Голландию?* — Видимо, Достоевский имел в виду «Записку о древней и новой истории России» Н. М. Карамзина (см. выше, стр. 248).

Стр. 56. *Сравнил же наш поэт Лермонтов Россию с Ильей Муромцем* ∾ *богатырскую силу.* — Достоевский имеет в виду запись М. Ю. Лермонтова в альбоме В. Ф. Одоевского (1841): «У России нет прошедшего: она вся в настоящем и будущем. Сказывается и сказка: Еруслан Лазаревич сидел сиднем 20 лет и спал крепко, но на 21-м году проснулся от тяжкого сна и встал и пошел... и встретил он тридцать семь королей и *семьдесят* богатырей и побил их и сел над ними царствовать... Такова Россия». Это высказывание Лермонтова было широко известно уже в 40-е годы: впервые черновой набросок был опубликован в «Отечественных записках» (1844, т. XXXII) с некоторыми изменениями: опущены слова «У России нет прошедшего», а вместо слов «она вся в настоящем и будущем» напечатано: «Россия вся в будущем». Словами поэта «Россия вся в будущем» заканчивает А. П. Милюков «Очерк истории русской поэзии» (1847 г.: 2-е изд. — 1858). М. И. Гиллельсон в статье «Лермонтов в оценке Герцена» говорит о двоякой полемической направленности афоризма Лермонтова, как против «оптимистической» формулы шефа жандармов А. О. Бенкендорфа («прошлое России удивительно, настоящее более чем великолепно, будущее — выше всего, что может представить самое пылкое воображение», так и пессимистического вывода

П. Я. Чаадаева в первом «Философическом письме»: «Мы живем одним настоящим в самых тесных его пределах, без прошедшего и будущего, среди мертвого застоя» (Творчество М. Ю. Лермонтова. Изд. «Наука», М., 1964, стр. 378—379). Илью Муромца, который «сидит теперь сиднем в селе Карачарове», упоминает ранее в «Маленьком герое» хозяин коня Танкреда; поступок мальчика в рассказе может быть истолкован и символически. Во всяком случае реплика владельца коня («Ай да грядущее поколение») звучит косвенным напоминанием предсказания Лермонтова. Достоевский сам называл рассказ «Детской сказкой», вероятно, по ассоциации со «Сказкой для детей» Лермонтова.

Стр. 57. *... рассказы Толстого...* — Достоевский говорит о кавказских и севастопольских рассказах Л. Н. Толстого, напечатанных в журнале «Современник» в 1853—1856 гг., опираясь на почти единодушное мнение о них русской критики. Н. А. Некрасов сравнивал военные рассказы Толстого с «Записками охотника» Тургенева: «... г-н Л. Н. Т. в своей „Рубке леса“ представляет нам несколько типов русских солдат, типов, которые могут служить ключом к уразумению духа, понятий, привычек и вообще составных элементов военного сословия». — «Заметки о журналах за сентябрь 1855 года» (*Некрасов*, т. IX, стр. 332). А. В. Дружинин в «Современнике» писал в статье «Два гусара. Повести графа Л. Н. Толстого» (1856): «Для него русский солдат занимателен не в одних массах и не в одной полной парадной форме, так драгоценной английским корреспондентам: граф Толстой знает и любит солдата во всех видах и во всех случаях солдатской жизни» (*Дружинин*, т. VII, стр. 172). Он же в статье «Военные рассказы графа Л. Н. Толстого (СПб., 1856). — „Губернские очерки“ Н. Щедрина (1856)» писал, что Толстой чуть ли не единственный знаток поэзии военного быта, что после «братьев Козельцовых, Вланга совестно вспомнить о военных типах, когда-то выводимых в нашей литературе. Перед *знанием дела* совершенно разрушились все фантастические понятия о военной жизни, так, как они описывались до сих пор в литературе нашей» (там же, стр. 249).

Стр. 57. *Мы набросились на одного Жорж-Занда ∾ зачитались!* — Признание автобиографическое. О необыкновенной популярности романов Жорж Санд Достоевский рассказал в «Дневнике писателя» за 1876 г. (июнь, гл. I, § 2): «Я думаю, я не ошибусь, если скажу, что Жорж Занд, по крайней мере по моим воспоминаниям судя, заняла у нас сряду чуть не самое первое место в ряду целой плеяды новых писателей, тогда вдруг прославившихся и прогремевших по всей Европе. ⟨...⟩ я ⟨...⟩ просто-запросто припоминаю о вкусе тогдашней массы русских читателей, о непосредственном произведенном на них впечатлении».

Стр. 57. *Андрей Александрович купно с г-ном Дудышкиным ∾ на 61 год.* Объявление об «Отечественных записках» было подписано: «Редакторы и издатели А. Краевский, С. Дудышкин». Эти же имена значились и на обложке журнала. Пресса встретила «повышение» в должности Дудышкина и известие о будущих литературных занятиях А. Краевского «свистом» и насмешками. Н. Г. Чернышевский издевался в «Полемических красотах»: «Отделом критики заведуют в „Отечественных записках” г-да Дудышкин и Краевский. О миросозерцании г-на Краевского я не буду говорить, потому что считаю это напрасным. Я буду говорить только о г-не Дудышкине, или, точнее выражаясь, для г-на Дудышкина. Мне очень понятны были многие совершавшиеся на страницах „Отечественных записок“ странности в прежние времена, лет за пять и за шесть, когда на обертке журнала выставлялось имя одного только г-на Краевского. Начав после четырех или пяти лет, в которые не читал я русских журналов, пересматривать „Отечественные записки“ за нынешний год, я уже не умею объяснить себе этих странностей, потому что на обертке журнала читаю: „Издаваемый А. Краевским и *С. Дудышкиным*“» (*Чернышевский*, т. VII, стр. 751). И. Панаев в «Свистке» иронизировал: «В старые годы думали, что все критические статьи пишет сам Андрей Александрович... Необходимы подписи под статьями. Нам приятно будет познакомиться с критическим дарованием г-на Краевского, а без подписей это невозможно. — Сколько подписчиков будет у г-на

Краевского, когда появятся на обертке статьи с его подписью... Любопытно, в высшей степени любопытно!!» («На рубеже старого и нового года. Грезы и видения Нового Поэта». — *С*, 1861, № 1, «Свисток», стр. 25). «Разве не скандал само объявление об издании „Отеч⟨ественных⟩ за⟨писок⟩“ в будущем году?», — восклицал Посторонний критик во «Времени» («Письмо Постороннего критика в редакцию нашего журнала по поводу книг г-на Панаева и „Нового Поэта“» — *Вр*, 1861, № 1, стр. 49). Достоевский многократно зло и полемично затрагивает объявление «Отечественных записок» о подписке на 1861 г., в статье «Г-н — бов и вопрос об искусстве» (см. выше, стр. 70—71), а также в «Петербургских сновидениях в стихах и прозе».

Жорж Санд упоминается в объявлении «Отечественных записок» в кратком очерке истории журнала: «Тогда же (в 40-е годы, — *ред.*) „Отечественные записки“ познакомили русскую публику с Жоржем Сандом».

Стр. 58. *От нечего делать мы основали тогда натуральную школу.* — Достоевский, как известно, был в глазах критики 1840—1850-х годов одним из виднейших представителей так называемой «натуральной школы», А. Григорьев ставил его даже во главе направления — школы сентиментального натурализма. Слова Достоевского скорее всего — полемический выпад против славянофильских пренебрежительных оценок натуральной школы — К. С. Аксакова, Ю. Ф. Самарина и др. Ю. Ф. Самарин в статье «О мнениях „Современника“ исторических и литературных» («Москвитянин», 1847, № 2), в частности, пророчил: «Не поддержанная ни одним сильным талантом, она (натуральная школа, — *ред.*) должна исчезнуть так же скоро и случайно, как она возникла, как составлялись и исчезали на нашей памяти многие литературные кружки» (*Самарин*, т. I, стр. 92).

Стр. 58. *Господин надворный советник Щедрин...* — На обложке и титульном листе «Губернских очерков» (М., 1857) было обозначено: «Губернские очерки. Из записок отставного надворного советника Щедрина. Собрал и издал М. Е. Салтыков». Надворный советник — в табели о рангах — гражданский чин седьмого класса.

Стр. 58. *Родилось у нас тогда какое-то усиленное самообвинение и самоуличение...* — Ср. выше с «Петербургской летописью» (стр. 27).

Стр. 59. *Он постиг назначение поручика Пирогова...* — Герой повести «Невский проспект» (1835) Пирогов, по мнению Достоевского, один из вечных типов, созданных гением Гоголя. «Поручик Пирогов,—писал Достоевский в «Дневнике писателя» за 1873 г. (гл. XV, «Нечто о вранье»),—сорок лет тому назад высеченный в Большой Мещанской слесарем Шиллером, был страшным пророчеством, пророчеством гения, так ужасно угадавшего будущее, — ибо Пироговых оказалось безмерно много, так много, что и не пересечь!»

Стр. 59 ... *он из пропавшей у чиновника шинели сделал нам ужасную трагедию.* — Повесть Гоголя «Шинель» (1842) оказала огромное влияние на формирование художественного метода Достоевского, особенно значительное в первом произведении писателя — «Бедные люди».

Стр. 59. *Он рассказал нам в трех строках всего рязанского поручика...* — Эпизодическое лицо в «Мертвых душах»: о его приезде в город NN и остановке в шестнадцатом номере гостиницы сообщается в гл. V; в гл. VII ему, действительно, уделено несколько строк. Говорится о необыкновенной любви к сапогам: «...только в одном окошечке виден еще был свет, где жил какой-то приехавший из Рязани поручик, большой, по-видимому, охотник до сапогов, потому что заказал уже четыре пары и беспрестанно примеривал пятую. Несколько раз подходил он к постели с тем, чтобы их скинуть и лечь, но никак не мог: сапоги, точно, были хорошо сшиты, и долго еще поднимал он ногу и обсматривал бойко и на диво стачанный каблук» (*Гоголь*, т. VI, стр. 153).

Стр. 59. *Ему стоило указать на них пальцем* ∾ *как называются.* — Образ навеян повестью Гоголя «Вий» (1835).

Стр. 59. ... *сам г-н —бов посовестился бы назвать его альбомным поэтом.* — Достоевский имеет в виду слова Н. А. Добролюбова в статье «Стихотворения Ивана Никитина» (1860): «Читая такое стихотворение, так и припоминаешь себе альбомные побрякушки: „Я вас любил, любовь еще

быть может...“, или: „Нет, нет, не должен я, не смею, не могу“ и т. п.» (*Добролюбов*, т. VI, стр. 170). Добролюбов к «альбомному» роду поэзии относился пренебрежительно, принципиально отвергая любые стихи в этом роде поэзии, кому бы они ни принадлежали, хотя бы Пушкину. В статье «Стихотворения Л. Мея» (1857) он так объяснял свою позицию: «Собственные произведения г-на Мея относятся более к разряду альбомных и могут быть интересны единственно для тех, кого они касаются» (*Добролюбов*, т. II, стр. 162). Отнесение Добролюбовым к разряду «альбомных побрякушек» лирических шедевров Пушкина вызвало отповедь «Времени». А. Григорьев возражал Добролюбову в статье «О постепенном, но быстром и повсеместном распространении невежества и безграмотности в российской словесности»: «Мы ⟨...⟩ огорчаемся до глубины души, когда альбомными побрякушками называют вещи Пушкина, которыми все мы некогда душевно жили и доселе еще жить способны: а ведь огорчения кровь портят!» (*Вр*, 1861, № 3, стр. 41). Достоевский, возможно, имел в виду и явное предпочтение, оказываемое в «Современнике» Лермонтову перед Пушкиным, о чем писал автор рецензии на литературные воспоминания И. Панаева: «По его словам, *миросозерцание Лермонтова гораздо шире и глубже Пушкина.* Такой отзыв вполне согласен с тем неблагосклонным взглядом на Пушкина, которого держится „Современник“ и который проглядывает и у г-на Панаева» (*Вр*, 1861, № 3, стр. 106). С нигилистической оценкой творчества Пушкина Добролюбовым Достоевский резко полемизирует также в статье «Г-н —бов и вопрос об искусстве».

Стр. 59. *Он любил нашептывать странные сказки* ∾ *которое она получила.* — Речь идет о «Сказке для детей» (1840) М. Ю. Лермонтова.

Стр. 59. *Он рассказывал нам свою жизнь* ∾ *не то смеется над нами.* — Достоевский, как и многие современники, рассматривал творчество Лермонтова преимущественно в автобиографическом аспекте, видя в главных героях «байронических» поэм, «Штосса» и «Героя нашего времени» отражение биографии и образа мыслей их творца. Ему были хорошо известны воспоминания Е. П. Ростопчиной, писавшей о том, как Лермонтов «забавлялся тем, что сводил с ума женщин, с целью потом покидать и оставлять в тщетном ожидании; другая его забава была расстройство партий, находящихся в зачатке, и для того он представлял из себя влюбленного в продолжение нескольких дней; всем этим, как казалось, он старался доказать самому себе, что женщины могут его любить, несмотря на его малый рост и некрасивую наружность» (М. Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников. Изд. «Художественная литература», М., 1964, стр. 288). Эти слова Ростопчиной находят опору в отношении к женщинам Лугина — героя незаконченной повести «Штосс», чтение которой Лермонтов превратил в мистификационно-театральное представление, согласно тем же воспоминаниям (там же, стр. 291).

Стр. 59. *Наши чиновники знали его наизусть* ∾ *из департамента.* — По мнению В. И. Левина, в этих словах уже заключена одна из главных тем «Записок из подполья» (В. И. Левин. Достоевский, «подпольный парадоксалист» и Лермонтов. «Известия АН СССР». Серия литературы и языка, 1972, № 2, стр. 156). Достоевский развивает тему вырождения печоринства и мефистофельства на различных человеческих судьбах, продемонстрированную Салтыковым-Щедриным в «Губернских очерках» (раздел «Талантливые натуры»).

Стр. 59. ... *«насмешкой горькою обманутого сына над промотавшимся отцом»...* — Цитата из «Думы» (1838) Лермонтова.

Стр. 59. *И над вершинами Кавказа / Изгнанник рая пролетал* — Цитата из «Демона» (1841) Лермонтова.

Стр. 59. ... *он где-то погиб — бесцельно, капризно и даже смешно.* — Лермонтов был убит на дуэли с Н. С. Мартыновым 15 (27) июля 1841 г. недалеко от Пятигорска, на склоне горы Машук. О дуэли долгое время было запрещено писать (впервые печатно о гибели Лермонтова на дуэли было сообщено в мемуарах 1858 г. А. М. Меринского), что, естественно, создало благодатную почву для различных легенд и слухов, оказавших влияние и на мнение Достоевского о причинах и обстановке смерти поэта. Почти те же

слова Достоевский употребляет в статье «Книжность и грамотность», говоря о «глупой, смешной, ненужной» смерти Печорина.

Стр. 60. ... *господин Ламанский среди всего Пассажа ∾ не созрели.* — Граф Эссен Стенбок-Фермор, купив два смежных дома на Невском проспекте, построил на их месте по проекту К. А. Желязевича Пассаж, открытый 9 мая 1848 г. Здесь были торговые ряды, кондитерские, «кабинет восковых фигур», панорама. В концертном зале устраивались музыкальные вечера, пел хор цыган. Пассаж — место проведения лекций, общественных диспутов, литературно-художественных вечеров. В 1900-х годах Пассаж перестроили по проекту Н. П. Козлова: был надстроен третий этаж, появились колонны у главного входа, реконструировали театральный зал.

13 декабря 1859 г. в зале Пассажа состоялся публичный диспут о деятельности акционерного общества «Русское пароходство и торговля». Интересы правления общества защищал Смирнов; Н. П. Перозио выступал обличителем, и на его стороне было большинство публики; специалист по финансовым вопросам Е. И. Ламанский исполнял обязанности супер-арбитра. Ламанский закрыл диспут словами, получившими широкое распространение и вызвавшими многочисленные насмешки в печати: «Мы еще не созрели для публичных споров».

Стр. 60. *Господин Погодин ∾ мы совершенно созрели.* — Диспут М. П. Погодина, сторонника норманской теории происхождения государства, и ее противника — Н. И. Костомарова при большом стечении публики состоялся 19 марта 1860 г. Л. Ф. Пантелеев так описывал окончание диспута: «Погодин же в заключительном слове сказал между прочим: „Каковы бы ни были научные результаты сегодняшнего диспута, он во всяком случае доказал, что мы созрели до публичных прений“. Раздался гром рукоплесканий, и старика вместе с Костомаровым вынесли из залы на руках» (Л. Ф. Пантелеев. Воспоминания. М., 1958, стр. 233). Диспут и слова М. П. Погодина породили большое число пародий и фельетонов во многих петербургских журналах и газетах, в том числе в «Светоче», «Современнике», «Времени», «Искре» (см.: *Добролюбов*, т. VII, стр. 394—417; *Се*, 1860, № 5, «Критическая повесть о вступлении гг. Костомарова и Погодина в Орден рыцарей свистопляски», стр. 17—31; В. С. Курочкин. Дилетантизм в науке. *И*, 1860, № 24, стр. 258—259; Н. Барсуков. Жизнь и труды М. П. Погодина, кн. 17. СПб., 1903, стр. 272—323, и т. д.).

Стр. 60. *Помним мы появление г-на Щедрина ∾ что и сосчитать нельзя было...* — «Губернские очерки» Салтыкова-Щедрина были опубликованы в «Русском вестнике» (1856, № 8—12), а в начале 1857 г. вышли отдельным изданием. «Губернские очерки» — первое по значению и общественному резонансу культурное событие второй половины 50-х годов, ознаменовавшее начало новой эры русской жизни и открывшее так называемый жанр «обличительной» литературы. Критика была почти единодушна в высокой оценке «Губернских очерков» как яркого общественно-политического явления, хотя далеко не все признавали их значительными с художественной точки зрения. В необозримой критической литературе, вызванной «Губернскими очерками», резко выделяются глубиной оценки статьи Чернышевского, Добролюбова и отдельные, разбросанные по разным статьям, высказывания Достоевского. «Губернские очерки» способствовали стремительному возвышению «Русского вестника» М. Н. Каткова и росту подписчиков на журнал. Н. А. Мельгунов писал А. И. Герцену 28 февраля 1857 года: «Успех „Русского вестника“ невероятный, небывалый. В середине января у „Современника“ было около 3000 подписчиков, у „Русского вестника“ — 4500! Но знаешь ли отчего? По милости Щедрина (провинциальные очерки), Чичерина, Павлова, Бабста, Корша (его обозрения) и пр.» (*ЛН*, т. 62, стр. 346). О «Губернских очерках» см.: *Макашин*, стр. 106—147.

Стр. 60. ... *почтенный журнал ∾ о Кавуре, об английских лордах и фермерстве.* — М. Н. Катков, И. Ю. Юматов, В. К. Ржевский, Б. И. Утин, М. С. Степанов и другие публицисты «Русского вестника» ратовали за введение в России английских учреждений и порядков, что дало основание противникам Каткова для упреков его журналу в англоманстве, к которым

с большой энергией присоединился и журнал «Время»: редкое выступление Ф. М. Достоевского обходилось в 1861—1863 гг. без саркастических замечаний об «англомане» М. Н. Каткове, достигнув кульминации в статье «Щекотливый вопрос». Не менее излюбленная тема «Русского вестника» — политические события в Италии, в интерпретации которых наглядно выразились симпатии руководителей журнала, настойчиво рекламировавшего консервативный курс государственного деятеля тогдашней Италии К. Б. Кавура (1810—1861). Противоположной точки зрения придерживался «Современник»: Чернышевский в отделе «Политика» (1859—1861 гг.) и «Графе Кавуре» (1861); Добролюбов — в статьях «Два графа» (1860), «Из Турина» (1861), «Жизнь и смерть графа Камилло Бензо Кавура» (1861). Достоевский разделял иронически-отрицательное отношение Добролюбова и Чернышевского к Кавуру, не одобряя, правда, тона выступлений «Современника»: «Если кто с вами согласен, что Кавур был человек довольно дюжинный, так это мы. Если кто мог негодовать тоже вместе с вами, что такая дюжинная душа властвует над всеми, вопреки гениальным, из уменья воровски пользоваться гениальными мыслями, так это мы. Но вы уж слишком размахались» (Записная тетрадь 1860—1864 гг.). Так же негативно оценивал Достоевский, и вообще «Время», публицистику «Русского вестника» по крестьянскому вопросу, продолжая полемику журнала «Светоч», наиболее последовательно изложенную в статье А. П. Милюкова «Заключительное слово „Русской беседы“» (*Св*, 1860, № 2, стр. 1—29).

Стр. 60. ... *О Живоглотах, о поручике Живновском, о Порфирии Петровиче, об озорниках и талантливых натурах...* — Достоевский перечисляет героев и социальных типов в «Губернских очерках» Салтыкова-Щедрина. Живоглот — исправник Иван Демьяныч Маремьянкин в уездном городе Черноборске, прозванный так за чудовищный аппетит (см.: *Салтыков-Щедрин*, т. II, стр. 40). Живоглот действует или упоминается в очерках «Неприятное посещение», «Приятное семейство», «Первый шаг». Порфирий Петрович — один из чиновничьих столпов Крутогорска, *«человек, казенных денег не расточающий, свои сберегающий, чужих не желающий»* (там же, стр. 74). Помимо специально отведенного ему очерка «Порфирий Петрович», он фигурирует во «Введении», «Общей картине», «Неумелых», «Дороге», а также в рассказе «Жених» (1857, см. там же, т. IV, стр. 5—64). О Живновском — «преемнике» гоголевского Ноздрева и предтече капитана Лебядкина — см.: «Обманутый подпоручик», «Общая картина», «Просители», «Дорога». Помимо «Губернских очерков», Живновский действует в двух отрывках из «Книги об умирающих» (1858, см. там же, стр. 180—188), в «Сатирах в прозе», «Невинных рассказах», «В среде умеренности и аккуратности». «Озорник» — самый острый антикрепостнический очерк цикла, предвещающий будущую манеру сатирика; озорник — символическая фигура консерватора, отрекающегося от прежних либеральных увлечений молодости, отстаивающего «всеобщий и энергический» принцип чистой творческой администрации. «Талантливые натуры» — так в «Губернских очерках» озаглавлен раздел о провинциальных Печориных и Мефистофелях — Корепанове, Лузине, Буеракине, Горехвостове. Именно этому разделу посвятил бо́льшую часть статьи о цикле Н. А. Добролюбов.

Стр. 60 ... *едва только оставил* ∾ *Северную Пальмиру (по всегдашнему выражению г-на Булгарина...* — Пальмира — город в оазисе Сирийской пустыни, славившийся роскошью, богатством и архитектурными памятниками. Как утверждает Д. В. Григорович, название Петербурга «Северная Пальмира» современники соединяли с именем Ф. В. Булгарина, часто пользовавшегося им в «Северной пчеле» (Д. В. Григорович. Полное собрание сочинений, т. IX. СПб., 1884, стр. 74). В водевиле Н. А. Некрасова «Феоклист Онуфрич Боб, или Муж не в своей тарелке» (1841) Боб пародирует стиль булгаринской газеты: «В нашей Северной Пальмире сосредоточен элемент всякого великолепия... множество редкостей видел: Невский проспект 〈...〉 Булгарина видел» (*Некрасов*, т. IV, стр. 90). «Пальмирой Севера» Петербург называли и раньше Булгарина — еще с середины XVIII в. В журналистике 1840—1860 гг. выражение «Северная Пальмира» чаще

всего употребляется иронически, именно так его употреблял А. В. Дружинин в «Заметках петербургского туриста».

Стр. 60 ... *Аринушки, и несчастненькие с их крутогорской кормилицей, и скитник, и матушка Мавра Кузьмовна...* — Речь идет о тех очерках Салтыкова-Щедрина, в которых выведены поэтические народные типы, как «смирные», так и «хищные», — «Общая картина», «Христос воскрес!», «Аринушка», «Старец», «Матушка Мавра Кузьмовна». Крутогорская кормилица — купчиха Палагея Ивановна, самое поэтическое лицо «Губернских очерков», олицетворение подлинной человечности и истинного христианства; ее сердечной «благотворительности» автор противопоставляет игру в благотворительность крутогорской Антигоны, княжны Анны Львовны. К образу крутогорской «матушки» и «кормилицы» Салтыков-Щедрин обратился также в рассказе «Добрая душа» (1868), где она, правда, носит другое имя — Анны Марковны Главщиковой. «Матушка Мавра Кузьмовна» — повесть о раскольничьем быте, вошедшая в состав «Губернских очерков». Выделил повесть и ведущий литературный критик «Времени» А. Григорьев в статье «Западничество в русской литературе. Причины происхождения его и силы»: «...даровитый и добросовестный Щедрин повел было полемически рассказ о Марфе Кузьмовне и других прикосновенных к ее делу лицах ⟨...⟩ а закончил рассказ, может быть, помимо воли своей и желания вовсе уж не комически» (*Вр*, 1861, № 3, стр. 14).

Стр. 60. ... *громко звякнула лира Розенгейма...* — М. П. Розенгейм (1820—1887) — поэт и журналист, получил известность многословными и тяжеловесными «обличительными» стихами, в основном вошедшими в цикл «Русские элегии» (М. П. Розенгейм. Стихотворения. СПб., 1858). Как характерного представителя умеренно-либеральной обличительной литературы Розенгейма жестоко высмеял в своих статьях и пародиях Н. А. Добролюбов.

Стр. 60. ... *раздался густой и солидный голос г-на Громеки...* — С. С. Громека (1823—1877) — либеральный публицист, служил жандармом до появления своих знаменитых сенсационных статей о злоупотреблениях полиции: «Два слова о полиции», «Пределы полицейской власти», «Полицейское делопроизводство», «О полиции вне полиции», «Последнее слово о полиции» (*РВ*, 1857—1859) — эти статьи и имеет в виду Достоевский, одновременно намекая на жандармское прошлое Громеки. После 1863 г. Громека вернулся к государственной деятельности: с 1864 г. он седлецкий губернатор в Польше. Достоевский в статье «„Свисток" и „Русский вестник"» (*Вр*, 1861, № 3) вновь вспомнил Громеку и отрадное впечатление, впервые произведенное его статьями, со временем сильно потускневшими, как и другие надежды конца 50-х годов: «Я читал статьи г-на Громеки с надеждами и удовольствием ⟨...⟩ без нравственного очищения, без внутреннего развития, — никакие специальности, ни Пальмерстоны, ни Громеки, ни даже обличители посыпанья песком, не войдут настоящим образом в наше сознание: конечно, и они тоже способствуют нравственному развитию, даже очень; но вместе с этим не мешает и чего-нибудь посимпатичнее...»

Стр. 60. ... *мелькнули братья Милеанты...* — Третьестепенные публицисты 60-х годов В. и Е. Милеанты были «прославлены» статьей Добролюбова «Письмо из провинции» (*С*, 1859, № 1). История неожиданного возвышения братьев Милеантов такова. В «Иллюстрации» появилась антисемитская статья П. Я. Шпилевского (псевдоним: «Знакомый человек») «Западнорусские жиды и их современное положение» (1858, № 35), вызвавшая волну протестов в печати. Один из протестов появился в «Русском вестнике» (1858, № 11), подписанный 150 лицами, среди них, писал Добролюбов, было много таких, о которых публика не имеет никакого представления, в том числе и «сами *г-да Милеанты (В. Милеант и Е. Милеант)*» (*Добролюбов*, т. VII, стр. 332—333). Милеанты настолько запомнились современникам, что Некрасов фельетон Добролюбова называл «статьей о братьях Милеантах» (*Некрасов*, т. XII, стр. 24). М. А. Антонович, вспоминая протест в «Русском вестнике» и статью Добролюбова, писал, что «было, по крайней мере, 77 подписей лиц, не только не составлявших гордости литературы,

но совсем никому не известных, посчитавших за честь стоять рядом с гордостными именами и рассчитывавших приобрести этим путем известность и себе, чего некоторые из них и добились, например, два брата — В. Милеант и Е. Милеант, действительно получившие большую российскую известность и даже воспетые в стихах» (Шестидесятые годы в воспоминаниях М. Антоновича и Г. Елисеева. Изд. «Academia», Л., 1933, стр. 63). Братьев Милеантов Добролюбов также упоминал в «Нашем демоне (будущее стихотворение)» (1859) и «Новом назначении „Свистка“» (1860; опубликовано посмертно в 1862 г.). «Энергический протест братьев Милеантов» вызвал насмешки и в «Светоче» (Лука Вариантов (Л. П. Блюммер). Опыт окончания истории русской словесности г-на Шевырева. *Св*, 1861, № 1, стр. 45).

Стр. 60. ... *вакишели бессчетные иксы и веты...* — Речь идет о так называемой «алгебраической» или «алфавитной» гласности, о которой Добролюбов с сарказмом писал: «Под рассказом обыкновенно подписан какой-нибудь *вет* или *икс*, а чаще и ничего не подписано; местность не обозначена; к кому голос относится, неизвестно. Я долго ломал себе голову, чтобы узнать, о чем хлопочут восторженные рассказчики, и наконец остановился на предположении, которое на первый раз может вам показаться странным, но которое не лишено своей доли правдоподобия. Я полагаю, что все безыменные известия в наших газетах сочиняет один какой-нибудь шалун, желающий подурачить вас, господ редакторов» (*Добролюбов*, т. VII, стр. 349). См. также вариации на эту тему статьи Добролюбова: В. Курочкин. «Явление гласности» (1860), «Слово примирения. (Материалы для истории русского просвещения с элегиями и пляскою)» (1860); В. Богданов. «Тройка, или Краткая история нашего прогресса» (1864) и др. А. Сниткин в «Светоче» также вторил Добролюбову и фельетонистам «Искры»: «Гласность, кричат все встав на цыпочки, гласность! Ну что у нас сделали с гласностью! С храбростью пишут о возмутительных поступках гг. а, б, в, г, о взяточничестве x, z, y, о неизвестных сапожниках, обманувших тоже неизвестных господ. Так это вы называете гласностью? Ай да прогресс!» (*Св*, 1860, № 6, стр. 51—52). «Алгебраическую» гласность высмеивает Достоевский в статье «Необходимое литературное объяснение по поводу разных хлебных и нехлебных вопросов» (1863 г.).

Стр. 60. *О, не думайте, г-да европейцы ∾ но об Островском потом.* — Эти слова об А. Н. Островском, как следует из текста «Введения», прямо отсылают читателя к статье М. М. Достоевского о «Грозе» (*Св*, 1860, № 3, стр. 1—37).

Стр. 61. ... *пуще всего не верьте «Отечественным запискам», которые смешивают гласность с литературой скандалов.* — В октябрьской книжке «Отечественных записок» (1860) появилась статья П. И. Вейнберга под псевдонимом «Непризнанный поэт» — «Литература скандалов» (*ОЗ*, 1860, № 10, стр. 29—39) об издании Сочинений Ивана Панаева (СПб., 1860) и «Очерков из петербургской жизни Нового Поэта» с послесловием редакции. Статья Вейнберга в первом номере «Времени» за 1861 г. упоминается также в «Письме Постороннего критика...» (отд. II, стр. 47). Ироническая реплика Достоевского в основном направлена против редакционного послесловия (*ОЗ*, стр. 37—39).

Стр. 61. ... *«оскорбить своей насмешкой» даже самих братьев Милеантов...* — Достоевский цитирует стихотворение Добролюбова «Наш демон (будущее стихотворение)» (1859). У Добролюбова:

И даже братьев Милеантов
Своей насмешкой оскорбил

(*Добролюбов*, т. VII, стр. 348).

Стр. 61. *Это всё от здоровья, это всё молодые соки ∾ хорошие признаки!...* — Достоевский полемизирует с редакционным послесловием к статье П. И. Вейнберга «Литература скандалов»: «...люди более отважные, нежели знающие, более молодые, нежели талантливые, схватились за насмешку над наукою и литературою, которые как бы ни были ограничены своим объемом

у нас, все-таки стоят недосягаемо выше тех насмешек, которыми их потчуют. Началось насмешками над историей, над литературой, над политической экономией и публицистами Запада в то время, когда мы, по нашим познаниям, были пигмеи перед этими авторитетами, и кончилось свистом, без всяких рассуждений, над лицами, трудившимися над историей, литературой и политическими науками. ⟨...⟩ Наше общество молодо в литературном деле до степени невероятной, хотя оно в этом нисколько не виновато» (*ОЗ*, 1860, № 10, стр. 38). Достоевский в «молодости» общества как раз и видит одно из главных его преимуществ и к тому же весьма сочувствует литературному «свисту», особенно когда он задевает руководителей «Отечественных записок» и «Русского вестника».

Стр. 62—63. *Известен факт, что грамотное простонародие* ∾ *и не обрежутся.* — Достоевский полемизирует со статьями В. И. Даля (1801—1872) «Письмо к издателю» (*РБ*, 1856, кн. 3, отдел «Смесь», стр. 1—16), «О грамотности» (*СПбВед*, 1857, № 245); И. С. Беллюстина (1820—1890) «Теория и опыт» («Журнал Министерства народного просвещения», 1860, кн. X), в которых говорилось о вреде грамотности для простонародья, а также — с органами печати, поддерживавшими такую ретроградную точку зрения («Выписка из письма по поводу статей В. И. Даля» — *СП*, 1857, № 278). Достоевский отталкивается непосредственно от следующего сравнения Даля: «Нож и топор — вещи необходимые; а между тем сколько было зла от ножа и топора». Выступления Даля и Беллюстина против грамотности вызвали почти единодушную отрицательную реакцию общества и прессы. См. об этом в кн.: В. Порудоминский. Даль. Изд. «Молодая гвардия», М., 1971, стр. 324—331.

Стр. 63. *Мы расскажем вам это так* ∾ *над острожною жизнию.* — Прямое указание Достоевского на личный каторжный опыт, дающий ему право не только «теоретически» не согласиться с мнением Даля. Достоевский возражает Далю и в «Записках из Мертвого дома» (наст. изд., т. IV, стр. 12).

Стр. 64. *Взгляните на так называемых начетчиков* ∾ *своих единоверцев.* — Эти (и ниже) суждения Достоевского о раскольниках также основаны на личных наблюдениях писателя (ср.: «Записки из Мертвого дома», наст. изд., т. IV, стр. 33—34), а также возможно, навеяны «Старцем» и «Матушкой Маврой Кузьмовной» Салтыкова-Щедрина. Раскол Достоевский оценивает как явление огромной, первостепенной значительности, свидетельствующее о неисчерпаемых силах, таящихся в народной массе. Точка зрения Достоевского одинаково далека от официальной антираскольничьей пропаганды и идеалистических воззрений на староверцев. «Время» уделяло расколу и религиозным сектам исключительное внимание; в журнале было напечатано несколько больших рецензий на литературу о старообрядчестве и радикальная по политическому смыслу статья А. Ф. Щапова «Земство и раскол. Бегуны» (*Вр*, 1862, №№ 10 и 11).

Стр. 64. ... *появляются Иваны Яковлевичи, Марфуши и проч.* — Иван Яковлевич Корейша (1780—1861) — московский юродивый. Его имя часто мелькало на страницах журналов и газет 60-х годов, особенно после выхода книги И. Г. Прыжова «Житие Ивана Яковлевича, известного пророка в Москве» (СПб., 1860). Литературным Иваном Яковлевичем тогда нередко называли издателя «Домашней беседы» В. И. Аскоченского. Марфушу-юродивую также наряду с Корейшей упоминали в прессе, сравнивая со знаменитой французской гадалкой Ленорман. Иронически о девятнадцатом столетии — веке «Ивана Яковлевича и Марфуши» — писал Л. П. Блюммер в статье «Опыт окончания истории русской словесности г-на Шевырева» (*Св*, 1861, № 1, стр. 53). О популярности Марфуши свидетельствует «Светоч», упоминающий о ней в «Хронике событий в России» как о прямой предшественнице Ивана Яковлевича: «Давно ли еще в Петербурге здравствовала известная Марфуша, к которой ездили на поклон не только супруги апраксинских торговцев, но и прекрасная половина гостинодворской аристократии и даже барышни, воспитанные в разных учебных заведениях на французском и немецком языке» (*Св*, 1860, № 6, стр. 33). Корейша послужил

прототипом юродивого Семена Яковлевича в романе «Бесы» (см.: наст. изд., т. XII, стр. 234).

Стр. 65—66. *Взгляните на воскресные школы.* — Воскресные школы возникли в 1859 г. в Киеве по инициативе профессора П. В. Павлова и Н. И. Пирогова и затем стали быстро распространяться по всей России. Обучались в них главным образом солдаты и рабочие, обучали безвозмездно студенты, офицеры, чиновники, писатели. 1860 год был самым горячим временем в жизни воскресных школ в Петербурге, возникавших одна за другой в разных частях города: к 1 января 1861 г. было открыто до двадцати школ. Основными принципами воскресных школ были «бесплатное обучение, бесплатность преподавательского труда, одинаковые права всех учащихся». Революционная интеллигенция рассматривала воскресные школы как один из возможных очагов антиправительственной пропаганды, либеральная видела в них отрадные признаки мирного и постепенного приобщения народа к плодам цивилизации. Решительным сторонником воскресных школ был «Светоч». «Время» полностью унаследовало от него эту традицию и давало обширную доброжелательную информацию об этом культурном движении большого масштаба, продемонстрировавшего в равной степени энтузиазм интеллигенции и тягу народа к просвещению. Но у воскресных школ были и серьезные, облеченные властью противники. Уже 30 декабря 1860 г. министр народного просвещения (по указанию шефа жандармов) подписал циркуляр, вводивший строгое наблюдение за деятельностью воскресных школ, студенческая история и петербургские пожары подготовили почву для распоряжения Александра II о закрытии воскресных школ (июнь 1862); они были разрешены снова в 1864 г., но поставлены под строгий контроль духовенства и полиции.

Стр. 66. ... *народ — этого неразгаданного сфинкса, как выразился недавно один из наших поэтов.* — А. И. Герцен — в «Былом и думах» (ч. IV, гл. XXX, «Не наши». См. об этом выше, стр. 242). Достоевский в «Дневнике писателя» за 1876 г. (февраль, гл. I, § 2, «О любви к народу. Необходимый контакт с народом») развивает эту же мысль, оказавшуюся столь же справедливой и 15 лет спустя: «...народ для нас всех — всё еще теория и продолжает стоять загадкой. Все мы, любители народа, смотрим на него как на теорию, и, кажется, ровно никто из нас не любит его таким, каким он есть в самом деле, а лишь таким, каким мы его каждый себе представляем. И даже так, что если б народ русский оказался впоследствии не таким, каким мы каждый его представили, то, кажется, все мы, несмотря на всю любовь нашу к нему, тотчас бы отступились от него без всякого сожаления. Я говорю про всех, не исключая и славянофилов; те-то даже, может быть, пуще всех».

Стр. 66. ... *кто-то удостоверял* ∾ *берем на себя примирение цивилизации с народным началом.* — Речь идет об отклике И. Панаева (*С*, 1860, № 10, стр. 406—407) на «Объявление о подписке на журнал „Время" на 1861 год» (см. выше, стр. 233).

Стр. 67. ... *ошибку в фальшь не ставят.* — См. «Сибирскую тетрадь», № 260 (наст. изд., т. IV, стр. 242 и 319).

Стр. 67. ... *но вспомните басню — ведь не дождем, не ветром сдернуло плащ с путника, а солнцем.* — Речь идет о басне Эзопа «Борей и Солнце». Мораль басни: цели нужно достигать мягкостью и убеждением, а не силой.

Стр. 69. ... *некоторые странные литературные мнения о Пушкине, выраженные в последнее время в двух журналах...* — Как видно из следующих статей Достоевского, здесь имеются в виду статьи Добролюбова «Стихотворения Никитина» (1860) и Дудышкина «Пушкин — народный поэт» (*ОЗ*, 1860, № 4, стр. 57—74). О полемике Достоевского с Добролюбовым и Дудышкиным о значении творчества Пушкина см. ниже, стр. 280—281, 287.

Стр. 70. *Именно о знаменитом вопросе* ∾ *читать целые о нем трактаты?* — Достоевский имеет в виду критические работы Н. Г. Чернышевского («Эстетические отношения искусства к действительности», «Очерки гоголевского периода»), Н. А. Добролюбова («Темное царство», «Луч света в темном царстве») и пространные возражения сторонников «искусства для искусства» — А. В. Дружинина, А. А. Фета, П. В. Анненкова. Ранее До-

стоевский мимоходом затронул споры об искусстве 50-х годов в «Дядюшкином сне» (см.: наст. изд., т. II, стр. 318). Подробнее свою эстетическую позицию Достоевский в 1861 г. изложил в статье «Г-н —бов и вопрос об искусстве».

II. Г-Н —БОВ И ВОПРОС ОБ ИСКУССТВЕ

(Стр. 70)

Источники текста

ЧН — Черновой набросок начала статьи. 1 с. 1861 г. Хранится: *ГБЛ*, ф. 93. I. 3.2; см.: *Описание*, стр. 118. Публикуется впервые.
Вр, 1861, № 2, отд. II, стр. 165—205.

Автограф неизвестен.
Впервые напечатано: *Вр*, 1861, № 2, без подписи (ценз. разр. — 9 февраля 1861 г.).
В собрание сочинений впервые включено в издании: *1883*, т. X, отд. 1, стр. 37—74.
Печатается по тексту первой публикации.

В тексте статьи содержится прямое указание на авторство Достоевского: «В январской книжке нашего журнала, оканчивая введение в „Ряд статей о русской литературе", мы обещали...» (стр. 72). Первоначально, как видно из сохранившегося чернового наброска, статья называлась «Господин —бов и художественность» и имела общий заголовок «Литературные странности».

В статье «Г-н —бов и вопрос об искусстве» Достоевский подверг критическому анализу статьи Н. А. Добролюбова «Черты для характеристики простонародья» (1860) и «Стихотворения Ивана Никитина» (1860). Полемизируя со взглядом Добролюбова на искусство, Достоевский излагает свою эстетическую программу, в ряде пунктов восходящую к идеям, изложенным им еще в 1849 г. в «Объяснении» Следственной комиссии по делу петрашевцев (см. выше, стр. 129). Тема «литературного» спора Достоевского с Петрашевским, в котором его поддержали С. Ф. Дуров и А. И. Пальм, предваряет основные эстетические тезисы статьи 1861 г. Уже в 1849 г. Достоевский заявил, «что искусство само себе целью, что автор должен только хлопотать о художественности, а идея придет сама собою, ибо она необходимое условие художественности» (см. выше, стр. 129). Споры на близкие темы в 1840-е годы, по свидетельству Достоевского, он вел и с В. Г. Белинским (стр. 127). Упреки, высказанные в 1840-х годах Белинскому и Петрашевскому, Достоевский в 1861 г. переадресует их продолжателю — Добролюбову.

М. М. Достоевский, разделявший мнения брата, также писал, отвечая на вопросы Следственной комиссии по делу петрашевцев: «Мое мнение ⟨...⟩ состоит в том, что искусство ⟨...⟩ не должно подчиняться идеям, а в художественных образах воспроизводить действительную жизнь так, как она есть. Иначе это будет не произведение искусства, а вялые диссертации на заданную тему. Лица в них не будут живыми лицами, а какими-то бесцветными силлогизмами, сухими цифрами, которыми автор будет силиться доказать свою задачу» (*Материалы и исследования*, стр. 263). Еще ранее, вероятно не без влияния брата, М. М. Достоевский пишет статью «Петербургский телеграф. Сигналы литературные» («Пантеон», 1848, т. II, кн. 3, март, стр. 92—102). Рассуждения М. М. Достоевского в этой статье о различии *догматического* (или *временного*) и *вечного* искусства, о *средствах, цели* и *пользе* в известной степени отражали устойчивое мнение Ф. М. Достоевского. Не отрицая *полезности* искусства *догматического*, М. М. Достоевский отдавал предпочтение искусству *вечному*, противостоя тем самым «утилитарным» требованиям критики (там же, стр. 95—96; ср.: *Нечаева*, *«Время»*,

стр. 27). Весьма вероятно, что такой акцент статьи был полемически направлен против последних отзывов Белинского о произведениях Ф. М. Достоевского, отражая стремление писателя отстоять свое право на независимость от указаний критики.

13 апреля 1856 г. Достоевский сообщал А. Е. Врангелю из Семипалатинска, что занят статьей «Письма об искусстве», которую он, не имевший еще в это время права печататься, хотел, чтобы провести в печать, опубликовать без имени, посвятив президенту Академии художеств — великой княгине Марии Николаевне: «Будет много оригинального, горячего. За изложение я ручаюсь, — писал он, характеризуя свой замысел. — Может быть, во многом со мной будут не согласны многие. Но я в свои идеи верю, и того довольно ⟨...⟩ Это, собственно, о назначении христианства в искусстве». В статье Достоевский хотел использовать ряд страниц из начатого им за некоторое время до этого «политического памфлета» «об России». Л. П. Гроссман гипотетически связал замысел «Писем» с желанием Достоевского полемически отозваться на трактат Чернышевского «Эстетические отношения искусства к действительности» (1855) (см.: *Гроссман, Биография*, стр. 200—202).

В письме от 13 сентября 1858 г. к старшему брату Достоевский упоминает о замысле статей «о современных поэтах», «о статистическом направлении литературы» и «о бесполезности направлений в искусстве». Всё это — подходы к идеям будущей статьи «Г-н —бов и вопрос об искусстве».

В 1860 г. М. М. Достоевский выступил со статьей об Островском (*Св*, 1860, № 3, стр. 1—36). Не отказываясь от своих прежних убеждений о преимуществах *вечного* искусства над *догматическим*, М. Достоевский в то же время кое в чем уточняет и разъясняет свою прежнюю мысль. Он не высказывается против социальных функций искусства, не считает ненормальным или унизительным для художника поставить свое творчество на службу той или иной тенденции, но выступает против тенденциозной критики, определяющей в зависимости от общественно-политической ориентации *полезность* и *художественность* произведения: «Изображая просто жизнь или даже малейшую частицу жизни, одну капельку из этого беспредельного моря, искусство изображает и идеи, присущие этой частице, этой капле. Мы нисколько не хотим порицать произведений, созданных под влиянием известной идеи. Если идея светла и гуманна, если произведение запечатлено талантом, то оно будет не менее прекрасно и не менее долговечно» (там же, стр. 16—17). В статье об Островском М. М. Достоевский отошел от некоторых крайностей своей эстетической позиции 1840-х годов, — возможно, не без воздействия Ф. М. Достоевского, сторонника активного, действенного, аналитического искусства.

Многие положения статьи Ф. М. Достоевского, полемически направленные против утилитаристов, соприкасаются с тезисами эстетической теории Шиллера. В этом можно усмотреть результат непосредственных творческих контактов писателя со старшим братом, переводчиком и большим знатоком Шиллера и Гете. М. М. Достоевскому принадлежит перевод не только драмы «Дон-Карлос» (1787) (ее героя маркиза Позу Достоевский упоминает в статье «Г-н —бов и вопрос об искусстве»), но и эстетического трактата «О наивной и сентиментальной поэзии» (1795). Мысли Достоевского о красоте, идеале, гармонии, «пользе», неотъемлемом праве художника на независимое, свободное творчество близки к идеям, изложенным Шиллером как в упомянутом трактате, так — еще в большей степени — в «Письмах о „Дон-Карлосе“» (1788) и «Письмах об эстетическом воспитании человека» (1793—1794).[1]

Но еще гораздо больше оснований говорить о влиянии на эстетические идеи Достоевского взглядов Пушкина, к произведениям которого для под-

---

[1] См. об этом: Robert Louis J a c k s o n. Dostoevsky's Quest for Form. A Study of his Philosophy of Art. New Haven and London, Yale University Press, 1966. О более широких связях эстетических идей Достоевского с немецкой классической эстетикой см.: *Кирпотин*, стр. 246; *Фридлендер, Эстетика Достоевского*, стр. 135.

тверждения собственной мысли и для полемики Достоевский постоянно обращается, вставляя в текст статьи прямые или слегка переиначенные пушкинские цитаты. Позитивная часть статьи — своего рода импровизация на пушкинскую тему: «Поэт сам избирает предметы для своих песен; толпа не имеет права управлять его вдохновением» («Египетские ночи», 1835). Достоевский выдвигает как «первый закон в искусстве» — свободу вдохновения, следуя заветам Пушкина. Но он этим не ограничивается, оставаясь и в 1860-е годы во многом человеком 1840-х годов, разделяя характерный для петрашевцев, Герцена и Белинского интерес к социальной анатомии (или «патологии»), оперируя обычными для 1840-х годов категориями даже в тех случаях, когда речь идет о классических эстетических категориях, в том числе представлениях о красоте, идеале, назначении искусства. Эти представления нужно связывать не только с эстетикой Шиллера, но и «с идеалом „мировой гармонии“», усвоенным писателем «в молодости от социалистов, петрашевцев» (*Деркач*, стр. 129). Н. Н. Страхов, со своей стороны, говоря о преобладающих интересах и разговорах в кружке Милюкова, в котором своими людьми были братья Достоевские, вовсе не обнаружил там симпатий к теориям чистого искусства и немецкой идеалистической эстетике: «Направление кружка сложилось под влиянием французской литературы. Политические и социальные вопросы были тут на первом плане и поглощали чисто художественные интересы. Художник, по этому взгляду, должен следить за развитием общества и приводить к сознанию нарождающееся в нем добро и зло, быть поэтому наставником, обличителем, руководителем; таким образом, почти прямо заявлялось, что вечные и общие интересы должны быть подчинены временным и частным... Дело художественных писателей полагалось главным образом в том, чтобы наблюдать и рисовать различные типы людей, преимущественно низкие и жалкие, и показывать, как они сложились под влиянием *среды*, под влиянием окружающих обстоятельств» (*Биография*, стр. 172). То, что Страхов обозначает как влияние французской литературы, было эстетико-культурной программой Белинского и петрашевцев, отголоском споров 1840-х годов. В статье «Г-н —бов и вопрос об искусстве» (как и в других статьях 1860-х годов) Достоевский не только не отказывается от идеологического и литературного наследства 1840-х годов, но и заявляет себя во многих отношениях прямым продолжателем этих традиций. Не случайно статья начинается с воспоминаний о 40-х годах: о Белинском, В. Майкове, истории перехода Белинского из «Отечественных записок» в «Современник», начале критической деятельности С. С. Дудышкина.

Добролюбов в статье «Забитые люди» (1861) не без грусти писал о том «гуманическом» направлении, к которому принадлежали и писатели-петрашевцы Салтыков-Щедрин и Достоевский, обнаруживая в современной литературе явный регресс по сравнению с эпохой 40-х годов: «Видно, что тогда были другие годы, другие силы, другие идеалы. То было направление живое и действенное, направление истинно гуманическое, не сбитое и не расслабленное разными юридическими и экономическими сентенциями. Тогда к вопросу о том, отчего человек злится или ворует, относились так же, как и к вопросу, зачем он страдает и всего боится: с любовью и болью начинали приниматься за патологическое исследование подобных вопросов, и если бы продолжалось это направление, оно, без сомнения, было бы плодотворнее всех, за ним последовавших» (*Добролюбов*, т. VII, стр. 244). Не исключено, что приведенные слова — отклик критика на воспоминания Достоевского о 1840-х годах, открывающие статью «Г-н —бов и вопрос об искусстве». Композиционно статья Достоевского строго делится на несколько частей: после краткого иронического очерка истории журнала «Отечественные записки» со времен ухода в «Современник» Белинского и до объявления о подписке на 1861 г. следует предисловие, воссоздающее современную ситуацию в литературно-журнальном мире. Затем Достоевский переходит к разбору рассказов Марка Вовчка и статьи Добролюбова о них. Постепенно разбор переходит в принципиальную полемику с критиком. Параллельно Достоевский очерчивает основные пункты собственной своей эстетической

программы. В заключительной части, кратко повторив ранее заявленные тезисы, он завершает спор полемикой со статьей Добролюбова «Стихотворения Ивана Никитина».

Статья остро злободневна. Особенное внимание Достоевский уделяет трем последним крупным «литературным» скандалам: объявлению «Отечественных записок», статье Н. Н. Воскобойникова «Перестаньте бить и драться, г-да литераторы» (*СПбВед*, 1860, 30 ноября, № 261) и воспоминаниям И. И. Панаева (см. выше, стр. 230—231, 260—261). Объявление «Отечественных записок» иронически названо «историческим», как достойно венчающее богатый «литературными скандалами» 1860 г. Достоевский поэтапно восстанавливает карьеру ведущего критика журнала С. С. Дудышкина и зло комментирует напыщенные слова написанного им и Краевским объявления о достижениях литературно-критического отдела журнала после ухода из него Белинского: «Блистательная деятельность Белинского в нашем журнале всем памятна: он исчерпал все чисто литературные вопросы и свел с фальшивых пьедесталов те имена, которые противоречили его убеждениям; он же коснулся и двух других сторон нашей литературы: ее отношения *к нашей народной жизни* и *к современному обществу* — но только коснулся: дальнейшее развитие их принадлежит последующему времени.

С 1848 г. критика чисто эстетическая и философская мало-помалу начала уступать место другому направлению — историческому, в обширном смысле этого слова, совершенно нетронутому до того времени. Направление это, приложенное в широких размерах не только к литературе XVIII и XIX веков, но и допетровской, тесно связанное с разысканиями в жизни народной, показало, что в этой жизни есть многое, что литература современная должна себе усвоить, по крайней мере на что она не имеет права смотреть так презрительно, как смотрела до того времени. Наш журнал с 1848 года сделался проводником этого исторического направления в литературе, которое во многом изменило прежний отвлеченный взгляд на русское общество и на старинную литературу, так тесно связанную с обществом».

Достоевский издевается над этими словами программного объявления «Отечественных записок», оценивая их не только как саморекламу, но и как умаление значения Белинского, к деятельности которого Достоевский в 1861 г. относится благоговейно, находя, что «в двух страницах» критика «сказано больше об исторической же части русской литературы, чем во всей деятельности „Отечественных записок“ с 48 года до наших времен». Начиная со статьи «Г-н —бов и вопрос об искусстве» Достоевский активно включается в споры вокруг наследия Белинского. В статье «„Свисток“ и „Русский вестник“» Достоевский развивает подробнее мысль о значении Белинского и его эпохи: «...еще так недавно, с небольшим десятилетие, литературная деятельность была для нас так полезна, что даже вошла в нашу жизнь и быстро принесла прекрасные плоды; образовалось тогда целое новое поколение, немногочисленное, но благонадежное; оно скрепилось новыми убеждениями; эти убеждения стали органическою потребностью общества, развивались всё больше и больше... Это было в последнее время деятельности Белинского. Одним словом, литература входила органически в жизнь». Для Достоевского Белинский — та необходимая фигура, которой недостает современной России: он единственный, кто смог бы в условиях новой русской действительности объединить разрозненные, расколовшиеся на множество групп силы общества. Об этом Достоевский пишет в статье «„Свисток“ и „Русский вестник“»; таковы же и другие его высказывания о Белинском в журнале «Время». Достоевский особенно подчеркивает эффективность и важность статей Белинского в последний период деятельности критика. Тем самым он противопоставляет своей взгляд мнению пропагандиста чистого искусства А. В. Дружинина, изложенному в статье «Критика гоголевского периода русской литературы и наши к ней отношения» (1856). Дружинин, полемизируя с некрасовскими строками о Белинском («Упорствуя, *волнуясь и спеша*, ты быстро шел к одной высокой цели!»), противопоставляет им другой девиз: «без торопливости, без отдыха» и подвергает ревизии наследство Белинского, особенно его пропаганду натуральной

школы, реализма в искусстве. По Дружинину, Белинский положил начало ложному социально-дидактическому направлению литературы, стал родоначальником утилитарной критики, заполонившей все: «Реализм, сентиментальность нового покроя, дидактическая тенденция основной мысли — вот три условия, которыми стоило только ловко распоряжаться для того, чтоб явиться в печати с похвалою» (*Дружинин*, т. VII, стр. 227). Белинского Дружинин обвиняет в нетерпимости, неоправданной резкости тона, в пренебрежении к специфике искусства: «Там, где поэзию превращают в служительницу непоэтических целей (как бы благородны эти цели ни были), всякий считает себя вправе обращать форму поэтического произведения для оболочки своим идеям, своим трактатам, своим воззрениям» (там же, стр. 227—228). Дружинин целиком отвергает Белинского последнего периода, сосредотачивается на опровержении всех главных тезисов его статей о натуральной школе, знаменитого письма к Гоголю; выступает поборником свободного, чистого искусства. «Теория *артистическая*, — писал Дружинин, — проповедующая нам, что искусство служит и должно служить само себе целью, опирается на умозрения, по нашему убеждению, неопровержимые. Руководясь ею, поэт, подобно поэту, воспетому Пушкиным, признает себя созданным не для житейского волнения, но для молитв, сладких звуков и вдохновения. Твердо веруя, что интересы минуты скоропреходящи, что человечество, изменяясь непрестанно, не изменяется только в одних идеях вечной красоты, добра и правды, он, в бескорыстном служении этим идеям, видит свой вечный якорь. Песня его не имеет в себе преднамеренной житейской морали и каких-либо других выводов, применимых к выгодам его современников, она служит сама себе наградой, целью и назначением. Он изображает людей, какими их видит, не предписывая им исправляться, он не дает уроков обществу или, если дает их, то дает бессознательно. Он живет среди своего возвышенного мира и сходит на землю, как когда-то сходили на нее олимпийцы, твердо помня, что у него есть свой дом на высоком Олимпе» (там же, стр. 214). К этому кредо Дружинин иронически присовокупляет: «Мы нарочно изображаем поэта, проникнутого крайней артистической теорией искусства, так, как привыкли его изображать противники этой теории» (там же, стр. 214). Но, в сущности, этот «крайний взгляд» ничем не отличался от несколько более «умеренного» взгляда автора статьи, и не случайно, перечисляя вождей различных литературных партий, Достоевский называет Дружинина представителем «партии защитников свободы и полной неподчиненности искусства». Достоевский резко противится такой «защите» искусства, соглашаясь с И. Панаевым, в воспоминаниях, опубликованных в январском номере «Современника», писавшем о кружке почитателей чистого искусства, объединившихся вокруг Н. В. Кукольника, беспрерывно толковавших между ужином и шампанским о *«святыне искусства и вообще о высоком и прекрасном»* (*Панаев*, стр. 46). Еще язвительнее Панаев характеризует поклонников артистической теории в VII главе: «Новое поколение артистов, развивавшееся под влиянием Брюллова ⟨...⟩ пустилось в эффекты, во фразы ⟨...⟩ Это безумное возвеличение самого себя в качестве живописца, скульптора, музыканта, литератора, ученого; это отделение себя от остальных людей, которые получают презрительное название *толпы* или *черни*; это обожествление своего ума, своих знаний или своего таланта; это самопоставление себя на пьедестал — самое смешное и вместе печальное явление. В Европе оно ведет к доктринерству, у нас — просто к пьянству; оттого все наши широкие, артистические натуры кончают обыкновенно тем, что спиваются» (*Панаев*, стр. 102—103).

Достоевскому также чуждо «надзвездное искусство», отрешенное от всего текущего, насущного: от жизни, политики, общественных и нравственных вопросов. Он за искусство, вмешивающееся в жизнь, богатое идеями, социальное, гуманистическое — и в этом смысле «полезное» людям. Возражения Достоевского вызывает «поэтическое правило» А. Фета, сформулированное в статье «О стихотворениях Ф. Тютчева»: «Кто не в состоянии броситься с седьмого этажа вниз головой, с непоколебимой верой в то, что он воспарит по воздуху, тот не лирик. Но рядом с подобною дерзостью в душе

поэта должно неугасимо гореть чувство меры» (*РСл*, 1859, № 2, стр. 76). В словах поэта Достоевский видит выходку, достойную Кукольника, а в его апологии отрешенного от действительности искусства повторение старых тезисов сторонников «артистической» теории. Для Достоевского неприемлема позиция Фета, признававшегося: «Что касается до меня, то, отсылая неверующих к авторитетам таких поэтов-мыслителей, каковы Шиллер, Гете и Пушкин, ясно и тонко понимавших значение и сущность своего дела, прибавлю от себя, что вопросы о правах гражданства поэзии между прочими человеческими деятельностями, о ее нравственном значении, о современности в данную эпоху и т. п. считаю кошмарами, от которых давно и навсегда отделался» (там же, стр. 64).

Достоевский упрекает защитников «чистого искусства» в непоследовательности и узости взглядов, противоречиях, ведущих к тому, что, выступая в теории за свободу поэтического вдохновения, они, сталкиваясь в искусстве с социальными идеями, отказывают писателю в таланте, принижают художественное значение его произведений уже потому, что они хорошо встречены их противниками: «...из вражды к противникам сторонники чистого искусства идут против самих себя, против своих же принципов, а именно — уничтожают свободу в выборе вдохновения. А за эту свободу они-то бы и должны стоять». Достоевский отводит искусству важнейшую роль в формировании человеческих идеалов и всего существа человека. Поясняя, каким образом может искусство, в том числе и «антологическое», действовать на природу человека, Достоевский порою пользуется словами и терминами, вовсе не свойственными языку классической эстетики. Он говорит скорее языком читателя «Писем об изучении природы» Герцена, современника В. Н. Майкова и В. А. Милютина: «...впечатление юноши, может быть, было горячее, потрясающее нервы, холодящее эпидерму; может быть, даже — кто это знает! — может быть, даже при таких ощущениях высшей красоты, при этом сотрясении нервов, в человеке происходит какая-нибудь внутренняя перемена, какое-нибудь передвижение частиц, какой-нибудь гальванический ток, делающий в одно мгновение прежнее уже не прежним, кусок обыкновенного железа магнитом» (см. выше, стр. 78).

Достоевский совмещает в статье разные аспекты и уровни полемики. Так, он счел необходимым иронически пояснить, кто был создателем Панглоса. Это был слегка замаскированный отклик на ошибку критика «С.-Петербургских ведомостей», спутавшего Рабле с Вольтером (*СПбВед*, 1860, № 263, «Литературная летопись»). Совершивший ошибку критик выступил против очерка И. И. Панаева «Русский джентльмен-оптимист», видимо заинтересовавшего Достоевского. Новый русский Панглос Панаева убежденный сторонник чистого искусства, высокомерно поучающий юношество: «Оставьте насущные, ежедневные, преходящие интересы толпе, черни. Чернь создана для борьбы, и горе художнику, который вмешается в эту борьбу, с которой искусство не должно иметь ничего общего. Для черни горшок, в котором она варит для себя кашу, дороже Венеры Милосской. Какое дело вам, людям избранным, до этой тупой черни?.. Не слушайте ее криков, повторяю вам, не обращайте внимания на ее нелепые требования. Идите своею дорогою и помните, что одно только общечеловеческое должно занимать вас, если вы хотите прочной славы... Посмотрите на Гомеров, на Шекспиров...» (*Панаев, Сочинения,* т. V, стр. 625). Новый Панглос недоволен обличительной литературой, он против всякого вмешательства искусства в повседневную человеческую жизнь. Он более всего боится социальных потрясений, — и потому сторонник строгой административной опеки; Панаев вскрывает истинный подтекст его славословий искусству, пародируя критические статьи Дружинина, Фета, Боткина, Алмазова, Ахшарумова и многих других противников направления «Современника»: «Переделывать человечество по теориям, сударь, нельзя... Оно развивается разумно, постепенно и осторожно под направлением, надзором и влиянием высших административных и литературных умов, которые имеют законное право распоряжаться невежественною толпою и дисциплинировать ее, зная, чтó ей полезно и вредно... Чистому же искусству, во всяком случае, в эти дела вмешиваться не следует. Чистое

искусство имеет свой особенный, отдельный, замкнутый, независимый мир ⟨...⟩ В жизни, поверьте мне, всё устроено разумно и прекрасно, всему своя череда, всё улучшится понемногу и совершенствуется временем. Время умнее нас с вами. Что же касается до искусства, то, бога ради, не унижайте его до служения временным, ничтожным, общественным интересам: это — святотатство ⟨...⟩ Пора теперь расстаться нам и с этой так называемой *обличительной* литературой! Довольно с нас этих обличений! Вашими карами и изобличениями вы не сделаете вдруг людей совершенными и добродетельными. Всякое явление имеет свою причину, всё идет к лучшему, в этом нельзя сомневаться. О чем же вы беспокоитесь?...» (там же, стр. 626, 627). Достоевский не без оглядки на очерк-памфлет Панаева введет в лиссабонский парадокс доктора Панглоса, утешающего своих соотечественников все той же универсально-оптимистической фразой, за что и удостаивается пенсии и звания друга человечества.[1]

Статья Воскобойникова «Перестаньте бить и драться, г-да литераторы» задевала, хотя и весьма сдержанно, журналы «Русский вестник» и «Светоч», главным же образом была направлена против таких деятелей «Современника», как Панаев, Добролюбов, Чернышевский.

Статья принадлежала сама к разряду литературных скандалов; именно так она и запомнилась современникам. Журнал «Светоч» выделил статью Воскобойникова и «исторические» слова Ламанского как два самых шумных события прошедшего года: «„Мы не созрели“, — провозгласил публично г-н Ламанский в начале того года, и „Перестаньте драться, г-да литераторы“, — крикнул бесцеремонный и запальчивый г-н Воскобойников в декабре, — вот два характерные восклицания, могущие назваться альфой и омегой прошлого года — в его начале и заключении. На оба эти восклицания мы смотрим вовсе не с мрачной их стороны, как смотрят многие, но со стороны той общественной и литературной полемики и общего движения, которых они были выражением. Г-н Воскобойников, протестуя против литературных скандалов, в своем гонении на них сам увлекся до большого скандала и возбудил, в свою очередь, протесты против самого себя. Таков весь характер прошлого года, — года переходного, полемического, шумного, частию скандалезного (говоря о скандале в смысле г-на Воскобойникова), но постоянно деятельного. Все надежды, с которыми мы встретили новый год (а надежд у нас много) зародились еще в старом году, и потому почтим его приличной эпитафией и помянем его добрым словом» (*Св*, 1861, № 1, стр. 34).[2] Отношение самого Достоевского к статье Воскобойникова, вызвавшей восторг А. Григорьева, было весьма сдержанным. Иным оно и не могло быть: Воскобойников выступил со статьей в послушных А. Краевскому «С.-Петербургских ведомостях» и, естественно, заслужил одобрение редактора «Отечественных записок»; но, кроме того, необыкновенно грубый и резкий тон статьи претил Достоевскому; не мог согласиться он и с общей отрицательной оценкой Воскобойниковым литературной деятельности Панаева, Добролюбова, Чернышевского — как по принципиальным, так и по дипломатическим соображениям. Выступление Воскобойникова Достоевский назвал пренебрежительно «довольно забавной статейкой» и констатировал полный провал его призыва к литераторам перестать «бить» и «драться». Да и сам призыв Воскобойникова не встретил сочувствия у Достоевского: полемику и «свист» он считал явлениями законными, естественными, борьбу с литера-

---

[1] Очерк Панаева вызвал яростную полемическую реакцию Н. Н. Воскобойникова (*БдЧт*, 1860, № 11, стр. 13—14). Воскобойникову отвечал В. Курочкин в статье «Возрожденный Панглосс» (*И*, 1860, № 45, стр. 495), где отождествлял Воскобойникова с вольтеровским героем. Достоевский, конечно, знал всю эту литературную кухню.

[2] «Искра» и «Свисток» встретили статью Воскобойникова градом насмешек (см.: *И*, 1861, 6 января, стр. 6. — «Краткий календарь „Искры“ на 1861 год»; 27 января, стр. 55. — В. Курочкин. Ода на появление в «Свистке» Нового Поэта; *С*, 1861, № 1, «Свисток», стр. 10—33. — «На рубеже старого и нового года. Грезы и видения Нового Поэта»).

турными генералами совершенно необходимым делом, способствующим очистке духовно-идеологического воздуха эпохи, помогающим выработать подлинно синтетическую и реалистическую программу. Позиция Достоевского во всех смыслах иная: он отказывается «примирять и соглашать наших спорщиков», предупреждает также, что не выступает и в роли судьи, а просто излагает точку зрения журнала на существо спора, разбирая ошибки, преувеличения и причины их той и другой сторон. Главным объектом полемики выбирается деятельность Добролюбова вовсе не потому, что Достоевский более сочувствует сторонникам чистого искусства. Причина другая, подтверждающая твердость намерений «Времени» полемизировать со всеми без исключения литературными авторитетами, и особенно с теми, кто является властителями дум общества. Оставя в стороне, как более специальную, деятельность Чернышевского, Достоевский подверг тщательному и многостороннему анализу литературную критику Добролюбова потому, что «критические статьи „Современника", с тех пор как г-н —бов в нем сотрудничает, разрезываются из первых, в то время, когда почти никто не читает критик». Достоевский вступает в дискуссию с достойным и могущественным оппонентом, с воззрениями которого он во многом согласен, но решительно не разделяет его взгляд на искусство. В статье Добролюбова «Черты для характеристики русского простонародья» Достоевский обнаруживает «утилитарность» в резком, обнаженном виде. Статья Добролюбова посвящена разбору сочинения украинской писательницы М. А. Маркович, писавшей под псевдонимом Марко Вовчок (1834—1907); но это и откровенное публицистическое выступление критика, воспользовавшегося сюжетами рассказов писательницы для пропаганды революционных идей. Достоевский уловил эту особенность статьи, сосредоточив главные усилия на доказательстве нехудожественности рассказов Марка Вовчка, а следовательно, и необоснованности рассуждений и выводов критика: мнения Добролюбова могут быть верны, со многими из них Достоевский согласен, находя немало превосходных страниц в статье, но к разбираемым рассказам никакого отношения не имеют, так как они не подтверждают мысль критика.

Появившиеся в конце 1857 г. на украинском языке «Народні сповидання» Марка Вовчка вызвали широкий общественный резонанс. В 1859 г. «Украинские народные рассказы» М. Вовчка вышли на русском языке в переводе и с предисловием И. С. Тургенева (*Тургенев, Сочинения,* т. XV, стр. 80, 330—332). В том же году появилась вторая книга писательницы — «Рассказы из народного русского быта». Проникнутые сочувствием к украинскому и русскому крестьянству, сознанием общности их интересов и протестом против крепостничества, рассказы украинской писательницы были восторженно встречены передовой общественностью, получили высокую оценку Т. Г. Шевченко, И. С. Тургенева, А. И. Герцена, Н. А. Добролюбова, Н. Г. Чернышевского, Д. И. Писарева.[1]

В статье «Черты для характеристики русского простонародья» (1860), посвященной народным рассказам М. Вовчка, отразилась, пишет исследователь, свойственная Добролюбову «вера в революционные перспективы исторического развития России в ближайшие годы. Революционный кризис 1859—1861 гг. вселял в Добролюбова и его единомышленников убеждение в возможности близкого пробуждения широкой массы „русского простонародья" и ее перехода к сознательной борьбе за свои права. Рассказы Марка Вовчка и представлялись Добролюбову важным для русской литературы симптомом как исторически значительное отражение сдвига, наметившегося в народной жизни. Эта политическая позиция Добролюбова не разделялась „почвенником" Достоевским: отсюда и возник его горячий спор с Добролюбовым об оценке 〈...〉 рассказов украинской писательницы, перешедший в полемику по широкому комплексу литературно-эстетических проблем» (*Фридлендер, Эстетика Достоевского,* стр. 127—128).

---

[1] О народных рассказах Марка Вовчка и об их оценке русской критикой 1850—1860-х годов см.: Евг. Брандис. Марко Вовчок. Изд. «Молодая гвардия», М., 1968, стр. 67—177 (Жизнь замечательных людей).

Добролюбов исходил из оценки вопросов борьбы с крепостным правом как главных вопросов русской общественной жизни. Поэтому он «призывал литературу сосредоточить свое внимание, в первую очередь, на этом — решающем для русской жизни — вопросе. Остальные ее вопросы он и его единомышленники были готовы на время признать относительно более второстепенными перед лицом настоятельной необходимости для России покончить с самодержавием и крепостным гнетом. Достоевский не признал правомерности такой — революционной — постановки вопроса. Это было обусловлено не только его „почвенническими“ убеждениями, но и тем, что в творчестве самого Достоевского начиная с 1840-х годов основную роль играл иной комплекс вопросов, связанный с жизнью русского города и мучительно ощущавшимися писателем болезненными сдвигами в сознании людей, порожденными хаосом зарождающихся буржуазных отношений. Посвящая свое творчество анализу „странных“, „больных“, „фантастических“ характеров и явлений, Достоевский угадывал за ними большую (хотя еще обычно и неясную даже для наиболее передовых умов тогдашней критики) трагическую тему современности, а потому он был склонен отрицать право критики судить о том, что „полезно“ и „вредно“ и пытаться предписывать на этом основании определенные пути развития современному искусству» (там же, стр. 128).

Разбирая рассказы, Достоевский охотно воспользовался критическими отзывами о писательнице рецензентов «Светоча» за 1860 г. (*Фридлендер, У истоков «почвенничества»*, стр. 405). Уже в первом номере журнала появилась весьма прохладная рецензия на «Украинские народные рассказы» в переводе И. С. Тургенева: «Все они, обличая в авторе несомненное и очень милое дарование, отличаются в то же время чрезвычайным однообразием и утомительной монотонностью, как в содержании, так и в изложении, и кажутся одним бесконечно повторяющимся мотивом» (*Св*, 1860, № 1, стр. 71). Еще суровее пишет «Светоч» о писательнице в апреле; ее «Сказка» названа «плохою», высмеивается мнение П. А. Кулиша: «Гений народный, по словам знаменитого критика, — выносит на своих крылах фантазию Вовчка», «Гоголь в „Вечерах на хуторе“ стал наравне с Марком Вовчком» (*Св*, 1860, № 4, стр. 76). Наконец, в ноябрьской критике «Светоча» появилась пространная рецензия, предположительно М. М. Достоевского, на «Рассказы из народного русского быта», положения которой писатель использовал в своей статье, полностью согласившись с мнением рецензента, что в рассказах писательницы «все личности бледны и бесцветны, как куклы, и потому все их страдания и жалобы, несмотря на теплое чувство, согревающее рассказ, — далеки правды и не проникнуты жизненным элементом» (*Св*, 1860, № 10, стр. 42). Заимствует Достоевский из статьи многое в анализе-пересказе «Маши», как и конечный вывод автора: «Думая представить всю трагическую сторону судьбы бедной Маши под условиями крестьянского быта, она (М. Вовчок, — *ред.*) привила ей такие понятия, вложила такие мысли в голову, что нельзя не подивиться детской наивности рассказчика. От трагического до смешного — один только шаг; самая чистая теория, приложенная без уменья, без художественного такта к подставной личности, — доходит до карикатуры, делается похожей на манекен, обвернутый в цветные лохмотья. Смешно, кажется, доказывать всю ложность характера Маши, всю невозможность такой личности, уже не говорим между крестьянами, но даже в среде более развитой 〈...〉 Только одни слепые поклонники Марка Вовчка не заметят ребяческой незрелости в создании лица Маши» (там же, стр. 45). Совпадает и общая оценка творчества писательницы у рецензента «Светоча» и Достоевского — сочувствие гуманным идеям, лежащим в основе рассказов, и одновременно отрицание их художественного значения: «Некоторый успех рассказов Марка Вовчка мы объясняем себе только одним обстоятельством, которое совершенно уважаем: из числа всех русских современных писательниц Марко Вовчок первая отозвалась в своих очерках на живой вопрос нашего времени, на вопрос крестьянский, к быту которых она высказала глубокую симпатию. Но от симпатии к народу, от теплой любви к его положению — еще далеко до художественного таланта, до само-

бытного дарования, и мы, уважая вполне гуманное направление рассказов Марка Вовчка, в то же время в художественном отношении считаем их не выше посредственности» (там же, стр. 47—48). Достоевский даже еще резче отзывался о рассказе «Маша», чем критики «Светоча». Он спрашивает: «...читали ли вы когда-нибудь что-нибудь более неправдоподобное, более уродливое, более бестолковое, как этот рассказ?» Достоевский шаржирует, его изложение приобретает временами карикатурную окраску. Тем самым исподволь подготавливается ответ на следующие слова Добролюбова: «...мы встречаем штрихи, обнаруживающие руку искусного мастера и глубокое, серьезное изучение предмета. Для подтверждения этих выводов мы пускались в довольно пространные рассуждения о свойствах нашего простонародья и о русских условиях нашей общественной жизни. Теперь читателю представляется решить, верно ли, во-первых, поняли мы смысл рассказов Марка Вовчка, а во-вторых, справедливы ли и насколько справедливы наши замечания о русском народе. Решая эти два вопроса, читатель тут же решит для себя и вопрос о степени достоинства книги Марка Вовчка. Если мы исказили ее смысл или наговорили небывальщины о народной жизни, то есть если явления и лица, изображенные Вовчком, вовсе не рисуют нам нашего народа, как мы старались доказать, — а просто рассказывают исключительные, курьезные случаи, не имеющие никакого значения, то очевидно, что и литературное достоинство „Народных рассказов“ совершенно ничтожно» (*Добролюбов*, т. VI, стр. 287). Достоевский разделил «два вопроса»: высоко оценил теоретические «рассуждения» Добролюбова, не имеющие, правда, по его мнению, прямого отношения к рассказам Марка Вовчка, беспомощным, бледным с художественной точки зрения. Тем самым Добролюбов, по мнению писателя, проявил пренебрежение к художественности, воспользовавшись рассказами писательницы как всего лишь материалом для пропаганды своих идей.

«Разбирая рассказ Марка Вовчка „Маша“ (из „Рассказов из русского народного быта“), Достоевский ставит своей целью доказать, что рассказ этот противоречит критериям не только его, „почвеннической“, но и революционно-демократической эстетики. Это, по утверждению Достоевского, сознавал в известной мере и сам Добролюбов». Но в данном случае, — как и в ряде других, — оценивая явления прошлой и текущей русской литературы, критик в определенной мере жертвовал цельностью своих эстетических принципов во имя литературно-тактических соображений.

«Достоевский оговорил ⟨...⟩ свое принципиальное согласие с автором „Народных рассказов“ и с Добролюбовым в том, что „в крестьянском сословии естественна любовь к свободному труду и независимой жизни“ и что можно привести немало „фактов“, подтверждающих это ⟨...⟩ Но Марко Вовчок, по мнению Достоевского, не смогла правдиво, с тем суровым реализмом, какой отвечал художественным симпатиям романиста, обрисовать подобные факты». Углубленный психологический реализм автора «Записок из Мертвого дома» вызывал у него скептическое отношение к той трактовке народной жизни, «более близкой мягкой тургеневской манере и при этом не чуждой элементов умиления и романтической приподнятости», которая была свойственна украинской писательнице (*Фридлендер, Эстетика Достоевского*, стр. 130—131).

Полемизируя со статьей Добролюбова о Марке Вовчке, Достоевский упоминает или затрагивает также и другие работы критика: «Стихотворения Ивана Никитина», «Что такое обломовщина?», «Губернские очерки», «Когда же придет настоящий день?», «Темное царство», «Луч света в темном царстве». Отстаивая вслед за Пушкиным свободу вдохновения — «первый закон в искусстве», — понимание искусства как вечного, открытого процесса постижения идеала, красоты-гармонии, писатель выступает против эстетических требований «Современника» к литературе. Он настойчиво повторяет, что художнику нельзя предъявлять требований, что нельзя ограничивать или направлять вдохновение: человек стремится к гармонии, потому что он человек и не может не стремиться к красоте, но одновременно никогда он достичь этой красоты-гармонии не может — и в этом-то и заклю-

чается весь смысл происходящего на земле; человек стремится к недостижимому и неясному для того, чтобы уйти от чрезмерной и гнетущей земной ясности (см. выше, стр. 94). Парадокс направлен против «простого», по оценке Достоевского, взгляда Добролюбова, писавшего в статье «Стихотворения Ивана Никитина»: «Давно замечен разлад человека со всем окружающим, и давно поэзия изображала его. Но причины разлада искали прежде — то в таинственных силах природы, то в дуалистическом устройстве человеческого существа, и сообразно с этим поэзия разрабатывала внешнюю природу и психологический антагонизм человека. Теперь более простой взгляд входит в общее сознание: обращено внимание на распределение благ природы между людьми, на организацию общественных отношений. ⟨...⟩ Вслед за открытием, что человек мучится и томится, увлекается и падает, подымается и веселится — не от власти темных сил и неизбежности судьбы и не оттого, что в нем сидят два противные начала, а просто от большей или меньшей неправильности общественных условий, под которыми он живет, — вслед за этим сознанием необходимо должно был опоследовать *изучение* всех общественных неправильностей» (*Добролюбов,* т. VI, стр. 176—177).

Достоевский был не согласен с такими мыслями: они казались ему отвлеченно «теоретическим», «кабинетным» решением труднейшей проблемы, проявлением упрощенного взгляда на природу человека. Он отвергает мысль Добролюбова, что «вообще говоря, литература представляет собою силу служебную» (там же, стр. 309).[1]

Достоевский в начале статьи декларирует объективность своей позиции, даже с несомненным оттенком благожелательности в отношении Добролюбова. Но после объективного анализа причин и предмета спора «утилитаристов» и сторонников «артистической» теории Достоевский переходит к подробному специальному рассмотрению эстетических взглядов Добролюбова, беспристрастность постепенно исчезает, появляются обвинения, звучат обличительные интонации, спокойная и сдержанная критика переходит в пародирование и огрубление тезисов Добролюбова, иногда проскальзывает даже раздражение: «В сущности вы презираете поэзию и художественность; вам нужно прежде всего дело, вы люди деловые» (см. выше, стр. 93). Достоевский расширяет сферу эстетического, включая в нее вопросы о человеке и о путях истории человечества, тем самым переводя спор с Добролюбовым в широкую область идеологических и политических вопросов: «...ведь еще неизвестен в подробности нормальный исторический ход полезности искусства в человечестве» (стр. 77). «Мы уже сказали в начале нашей статьи, что нормальные, естественные пути полезного нам не совсем известны, по крайней мере, не исчислены до последней точности. Как, в самом деле, определить ясно и бесспорно, что именно надо делать, чтоб дойти до идеала всех наших желаний и до всего того, чего желает и к чему стремится всё человечество? Можно угадывать, изобретать, предполагать, изучать, мечтать и рассчитывать, но невозможно рассчитать каждый будущий шаг всего человечества, вроде календаря» (стр. 95). В этих словах содержатся мысли, предваряющие публицистические рассуждения в «Зимних заметках о летних впечатлениях» и парадоксы героя «Записок из подполья». «Нельзя же так обстричь человека, что вот, дескать, это твоя потребность, так вот нет же, не хочу, живи так, а не так! И какие не представляете резоны — никто не послушается», — совершенно в духе скептической философской диалектики «Записок из подполья» восклицает Достоевский. Он отвергает «календарь» Добролюбова, выражая сомнение в справедливости рекомендаций и прогнозов критика (см. выше, стр. 95).

Литературные суждения Добролюбова — для Достоевского показатель тех крайностей, к которым может привести строго направленный, убежденный, стройно изложенный взгляд теоретика-публициста, отвлекающегося

---

[1] «Немалую роль в требованиях Достоевского играло его профессиональное чувство художника», — пишет С. С. Деркач (см.: *Деркач,* стр. 126).

от всей реальной сложности «разнообразной», в том числе «эстетической» действительности. Отношение к искусству, по мнению Достоевского, — весьма надежный критерий, позволяющий определить истинность и жизнеспособность каждого из общественно-политических направлений. В статье «Г-н —бов и вопрос об искусстве» он полемизирует со взглядами на искусство Добролюбова с той же эстетической позиции, с какой в других — с противоположными мнениями М. Н. Каткова, С. С. Дудышкина, К. С. Аксакова. Подтверждая верность принципам литературной критики, сформулированным в «Объявлении», статья Достоевского стала литературным и философско-эстетическим кредо журнала.

Споря преимущественно с Добролюбовым, Достоевский, как было не раз замечено выше, не ограничивается полемикой с «Современником». Так, анализируя антологическое стихотворение Фета «Диана» (1850), Достоевский одновременно доказывает поэту бессмысленность и ложность его «поэтического правила», а Добролюбову — узость его ригористического взгляда на «антологическую» поэзию, как поэзию будто бы бесполезную и несовременную. Достоевский, внимательно следивший за журнальной полемикой, конечно, знал, как восторженно писали о стихотворении Фета не только Дружинин (см.: *Дружинин*, т. VII, стр. 122—123) и В. П. Боткин (*Боткин*, т. II, стр. 381—382), но и редактор «Современника» Н. А. Некрасов в «Заметках о журналах за октябрь 1855 года», целиком выписавший «Диану» для того, «чтоб не слишком резко перейти и окунуться в омут журнальной ежедневности». «Всякая похвала, — восхищался Некрасов, — немеет перед высокой поэзиею этого стихотворения, так освежительно действующего на душу...» (см.: *Некрасов*, т. IX, стр. 336).

Достоевский разделяет мнение Некрасова, выписывает, как и он, стихотворение, особенно выделяя последние две строчки. В «Диане» Достоевский видит гениальное художественное выражение тоски человека XIX столетия по идеалу, красоте, гармонии в общественной и личной жизни, не «историческое», а скорее «байроническое» отношение к прошлому, тысячами нитей связанному с настоящим. Истолкованное таким образом антологическое стихотворение Фета оказывается современнее и злободневнее благородного по намерению, но «книжного», по оценке Достоевского, рассказа Марка Вовчка: демонстративно отворачивающийся от суеты и шума современности в своих статьях Фет в стихах независимо от своего желания остается выразителем ее дум и чаяний, потому что он настоящий поэт.

Несомненный показатель измельчания современной русской критики для писателя — непонимание или прямое нигилистическое отрицание ею творчества Пушкина. Достоевский одинаково резко полемизирует, доказывая величие Пушкина, как с Катковым, Дудышкиным, Н. И. Костомаровым, так и с Добролюбовым. Трактовка Добролюбовым творчества Пушкина в глазах Достоевского — доказательство теоретического высокомерия «реальной критики», ее невнимания к живой жизни.[1]

Возмущение Достоевского вызвало полемическое замечание Добролюбова, назвавшего лирические шедевры Пушкина в статье «Стихотворения Никитина» «побрякушками».[2] Все сказанное Достоевским в статье об «антологической» «побрякушке» Фета позволяет ему обоснованно возражать критику-демократу: «„*Побрякушки*" же тем полезны, что, по нашему мнению,

---

[1] О противоречиях в оценке Пушкина революционно-демократической критикой см. статью В. Б. Сандомирской в кн.: Пушкин. Итоги и проблемы изучения. Изд. «Наука», Л., 1966, стр. 50—73.

[2] Возможно, что Достоевский полемически сближает слова Добролюбова с мнением Я. В. Толмачева, реакционного профессора, который, по рассказу Панаева, так реагировал на всякие разговоры учеников о Пушкине и декламацию стихов поэта: «Перестаньте! перестаньте! Это все пустяки и побрякушки: ничего возвышенного, ничего нравственного... и кто вам дает читать такие книги?..» (*Панаев*, стр. 11).

мы связаны и исторической и внутренней духовной нашей жизнью и с историческим прошедшим и с общечеловечностью» (стр. 99).

Добролюбов советовал Никитину освободиться от «подражательности», «пробить свою дорогу», «уберечься от ⟨...⟩ фиоритур и мировых вопросов, вовсе нейдущих к делу», обратиться к «материальным нуждам», к изображению «близких ему интересов и явлений жизни» (*Добролюбов*, т. VI, стр. 163, 176). Достоевский дает свою ироническую интерпретацию пожеланий Добролюбова: «Пиши про свои нужды, описывай нужды и потребности своего сословия, — долой Пушкина, не смей восхищаться им, а восхищайся вот тем-то и тем-то». Писатель повторяет сказанное во «Введении» о Пушкине, но с более сильным акцентом, в соответствии с темой статьи, на эстетических вопросах: «Пушкин — знамя, точка соединения всех жаждущих образования и развития; потому что он наиболее художествен, чем все наши поэты, следовательно, наиболее прост, наиболее пленителен, наиболее понятен. Тем-то он и народный поэт, что всем понятен» (см. выше, стр. 103). Этими словами о Пушкине, перекликающимися с центральной мыслью «Введения» и предваряющими главную тему следующей статьи — «Книжность и грамотность», завершается спор Достоевского с Добролюбовым.

Бóльшая часть журналов сочувственно встретила взгляд Достоевского на искусство. А. Н. Плещеев, исключительно тепло относившийся к деятельности Добролюбова, нашел справедливыми критические возражения Достоевского. Он писал к И. С. Тургеневу 28 февраля 1861 г.: «Есть еще большая статья о Добролюбове, — и о взгляде „Современника“ на искусство, — заключающая в себе разумный протест против этого взгляда» (*ЛА*, т. 6, стр. 319). К. Леонтьев в статье «По поводу рассказов Марка Вовчка» писал: «„Время“ напечатало в феврале статью „Г-н —бов и вопрос об искусстве“; там хорошо защищают искусство и критику „Современника“ отчасти доказано, что он бессознательно иногда служит ему» (*ОЗ*, 1861, № 3, стр. 10). Соглашаясь с мнением о рассказе «Маша», К. Леонтьев возражает против общей оценки Достоевским творчества писательницы, курсивом выделяет те слова в статье, которым он «никак сочувствовать не в силах...»: «*...хотя в целом ни один рассказ не выдержан. Действительность часто идеализирована, представлена неправдоподобно, а между тем вы сами знаете, что все это представленное неправдоподобным действительно может быть в жизни, и досадуете, что оно неоправдано*» (там же, стр. 12). Рецензент «Северной пчелы», сочувственно цитируя статью Достоевского, замечает, что «такой взгляд легко примирит оба крайние увлечения — эстетиков и утилитаристов» (*СП*, 1861, 9 марта, № 54, стр. 214). М. Н. Катков, намекая на близость мыслей Достоевского об искусстве к его собственным, подробно изложенным в статьях о Пушкине, писал: «Большое удовольствие доставила нам ⟨...⟩ критическая статья в № 1 „Времени“, под заглавием „Г-н —бов и вопрос об искусстве“, здесь пересказываются весьма сочувственные нам воззрения на искусство; слогом очень легким и без „нахмуренных фраз“» (*РВ*, 1861, № 3, стр. 15). В той же статье Катков подчеркнул и другую причину своего благожелательного отношения к статье Достоевского: «Нам очень приятно, что „Время“ горячо отстаивает Пушкина от господ —бова, Дудышкина и других» (там же, стр. 17). Каткова полностью устраивала обстоятельная статья, содержащая критику литературных взглядов Добролюбова, чем и следует объяснять выраженную им симпатию автору. Похвала, однако, была лукавой, заключала в себе немало яда, а согласие со взглядами Достоевского соседствовало с язвительными критическими замечаниями. Воспользовавшись в борьбе со «свистунами» статьей Достоевского, Катков пренебрежительно отозвался о «Диане» Фета и мыслях автора, рожденных стихотворением. Катков, цитируя рассуждение Достоевского и строчки «Дианы», так комментирует: «Какое прелестное место! Возьмите эти слова отдельно, что найдете вы сказать против них? Их нельзя прочесть иначе как с наслаждением, они так наркотически шевелят наш мозг и приводят в такую приятную игру целую вереницу представлений! Но сличите эти прелестные слова, „эту страстную жизненность“, это „ждет и верит“, это „моление“, „эту тоску о настоящем в этом энтузиазме к прошедшему“, сли-

чите всё это с предметом слов, сличите слово со смыслом, возьмите еще раз две последние строчки:

...Но мрамор недвижимый
Белел передо мной красой непостижимой,

и вы поймете вполне, что хотели мы сказать, говоря о статьях, которые могут быть очень хороши, если взять их отвлеченно, то есть независимо от предмета. Не сличайте мыслей с их предметом и слов с их смыслом, и вам будет легко жить на свете и приятно читать критические статьи. Это тот журчащий поток полупонятий, полуобразов и полутонов, который так непробудно усыпляет нашу маленькую русскую мысль, так одуряет наши невинные умственные движения и так неотразимо затопляет нашу скромную литературу» (там же, стр. 16). Начав с лицемерной похвалы статье, использовав ее в борьбе с главными противниками «Русского вестника» — Чернышевским и Добролюбовым, Катков затем отверг целиком, как легкомысленную болтовню, эстетические взгляды Достоевского, высказав весьма странное в устах защитника чистого искусства мнение о стихотворении Фета и абсолютно разойдясь с Достоевским в оценке значения творчества Пушкина. Резко отозвался Катков вообще о публицистике «Времени»: «...половина книги бывает занята прекрасными критическими статьями, писанными приятным слогом, где тоном самого счастливого самодовольства разбираются все фазы нашей духовной жизни, объясняется, как прежде была у нас гладь и ширь необъятная, как потом господствовал у нас французский классицизм 〈...〉 и как явился великий Белинский, и что такое Пушкин, и что такое Лермонтов, и как приезжала к нам Рашель воскресить классицизм, и как все замыкается великим Островским» (там же, стр. 14—15). М. Н. Катков резко ответил и на критику в журнале «Время» своей статьи «Несколько слов вместо современной летописи» (там же, стр. 18—21) и подверг раздраженному разбору заметку Н. Страхова «Один поступок и несколько мнений г-на Камня Виногорова в № 8 газеты „Век“» и статью Ф. Достоевского «Образцы чистосердечия» (там же, стр. 23—38). Таким образом, «Русский вестник» объявил настоящую войну журналу «Время», столь же ожесточенную, как и «Современнику», объединив оба ненавистные ему органа печати кличкой «свистуны». Начиная с апрельского номера «Времени» Достоевский почти все свои полемические выступления в 1861 г. и в первой половине 1862 г. адресует «Русскому вестнику» — непосредственно Каткову. Он подробнейшим образом, в частности («Ответ „Русскому вестнику“» (*Вр*, 1861, № 5)), остановится на статье Каткова «Наш язык и что такое свистуны».

«Отечественные записки» были особенно задеты словами Достоевского, что «в двух страницах Белинского 〈...〉 сказано больше об исторической же части русской литературы, чем во всей деятельности „Отечественных записок“ с 48 года до наших времен» (стр. 71). Это изречение Дудышкиным было названо в обзоре «Русская литература» афоризмом, достойным «по своей смелости войти в сборник изречений Ивана Яковлевича» (*ОЗ*, 1861, № 4, стр. 133). В том же обзоре Дудышкин, продолжая защищать положения своей статьи о Пушкине, обвинял руководителей журнала «Время» в невежестве и фельетонном взгляде на вещи: «...редакции журнала „Время“, должно быть ничего не читавшей после смерти Белинского, не был известен ход нашей литературы, который не только не умалил, но даже возвысил значение Белинского в критике и в то же время много сделал для науки о народности. Не зная всего этого, понятно, журнал не был знаком и с изысканиями новейших историков, так много сделавших для этого вопроса. Но всего больше обличает, что догадка наша справедлива, — та смелость, с которою приступлено было к делу, та фельетонная размашистость русского солдата времен Суворова, который на вопрос, сколько звезд на небе, отвечал: „100 000“ или что-то в этом роде, но очень определенное. Чтобы разубедиться в этой самоуверенности, мы просим журнал „Время“ прочесть сочинение г-на Буслаева и посмотреть, так ли это понятие о народности просто, как кажется суворовским смельчакам» (там же, стр. 133—134). В следующей статье цикла —

«Книжность и грамотность» Достоевский обратится к обстоятельному разбору взглядов С. С. Дудышкина и ответит, в частности, на его полемические выпады в февральском и апрельском номере «Отечественных записок».

Позднее всех ответил Достоевскому сам Добролюбов в статье «Забитые люди» (*С*, 1861, № 9, стр. 99—149), последней работе критика, ставшей его общественно-литературным завещанием. Статья Добролюбова — глубокий разбор творчества Достоевского от «Бедных людей» до «Униженных и оскорбленных». Добролюбов идет вслед за Белинским в трактовке творчества писателя, но вовсе не ограничивается повторением старого, анализирует такие произведения Достоевского, которых Белинский коснулся слегка или тенденциозно истолковал. Попутно Добролюбов ответил на обвинения Достоевского в «утилитарности» его критики. Он попытался доказать писателю, как нелепо рассматривать «Униженные и оскорбленные» с «эстетической» точки зрения, так как никакие хорошо удавшиеся частности не делают еще роман достойным «подробного эстетического разбора». В целом роман Достоевского «ниже эстетической критики», и поэтому Добролюбов и посвящает свою статью проблемам «утилитарным» и непоэтическим. Обвинения в пренебрежительном отношении к искусству, художественности Добролюбов отводит, хотя прямо он нигде не отвечает на критику Достоевского. Несколько замечаний в «Забитых людях» (помимо мирного и задушевного обращения к Достоевскому) не оставляют сомнения в том, что он внимательно читал статью своего оппонента. Так, замечания о тоне рассказа в «Униженных и оскорбленных», скорее всего, ответная реплика на приговор Достоевского рассказам Марка Вовчка: «...тон рассказа решительно фальшивый, сочиненный; и сам рассказчик, который, по сущности дела, должен бы быть действующим лицом, является нам чем-то вроде наперсника старинных трагедий» (*Добролюбов,* т. VII, стр. 232). Аналогичный полемический подтекст ощутим и в характеристике князя Валковского: «...вы найдете с любовью обрисованное сплошное безобразие, собрание злодейских и цинических черт, но вы не найдете тут человеческого лица... Того примиряющего, разрешающего начала, которое так могуче действует в искусстве, ставя перед вами полного человека и заставляя проглядывать его человеческую природу сквозь все наплывные мерзости, — этого начала нет никаких следов в изображении личности князя» (там же, стр. 235). Замечание о речи автора и героев романа («они все любят вертеться на одном и том же слове и тянуть фразу, как сам автор, — во всем виден сам сочинитель, а не лицо, которое говорило бы от себя») — это уже не только ответ на критику Достоевского рассказов Марка Вовчка, но и на его слова о языке Добролюбова: «...уж слишком жует фразу, прежде чем положить ее в рот читателю». Отказавшись от эстетического разбора творчества Достоевского и повторив в столь же резкой форме свое отношение к искусству, осужденное писателем («...автор может ничего не дать искусству, не сделать шага в истории литературы собственно и все-таки быть замечательным для нас по господствующему направлению и смыслу своих произведений»), Добролюбов выразил свое сочувствие общему характеру воззрений Достоевского, гуманистическому содержанию его произведений (о полемике Добролюбова со статьей «Г-н —бов и вопрос об искусстве» в статье «Забитые люди» ср.: *Добролюбов,* т. VI, стр. 525; т. VII, стр. 570—572).

Достоевскому не пришлось ответить на статью критика; смерть Добролюбова прервала плодотворно и интересно завязавшийся спор. В свои оценки деятельности Добролюбова после смерти критика писатель внесет лишь не много нового в сравнении со статьей «Г-н —бов и вопрос об искусстве». В основном изменения коснутся тона: он станет более уважительным и спокойным. Но хотя своего мнения о «Забитых людях» Достоевский нигде не высказал, существуют косвенные свидетельства, говорящие о благоприятной реакции руководителей «Времени» на статью критика. Н. Н. Страхов, в частности, писал: «Его последняя статья указывает на какое-то колебание, на какой-то поворот в убеждениях⟨...⟩ Если бы он остался жив, мы бы многое от него услышали» (*Вр*, 1862, № 3, «Критическое обозрение», стр. 54). Он же в воспоминаниях о Достоевском так оценивал тогдашнее восприя-

тие статьи Добролюбова сотрудниками «Времени»: «...в 9-й книжке „Современника“ роман Федора Михайловича разбирался с большими похвалами...» (*Достоевский в воспоминаниях*, т. I, стр. 287). Почти вне сомнения, что слова Страхова в данном случае отражали мнение самого автора.

В примечаниях к статье Д. Аверкиева об А. Григорьеве («Эпоха», 1864, № 8) Достоевский суммирует свои высказывания о Добролюбове, дает сравнительную характеристику двум ведущим литературным критикам 60-х годов: «Добролюбов был очень талантлив, но ум его был скуднее, чем у Григорьева, взгляд несравненно ограниченнее. Эта узость и ограниченность составляли отчасти даже силу Добролюбова. Кругозор его был у́же, видел и подмечал он меньше, след⟨овательно⟩ и передавать и разъяснять ему приходилось меньше и всё одно и то же; таким образом, он само собою, говорил понятнее и яснее Григорьева. Скорее договаривался и сговаривался со своими читателями, чем Григорьев. На читателей, мало знакомых с делом, Добролюбов действовал неотразимо. Не говорим уже о его литературном таланте, большем чем у Григорьева, и энтузиазме слова. Чем у́же глядел Добролюбов, тем, само собой, и сам менее мог видеть и встречать противуречий своим убеждениям, след⟨овательно⟩ тем убежденнее сам становился и тем все яснее и тверже становилась речь его, а сам он самоувереннее». В 60-е годы Достоевский более нигде не остановится специально и тем более так подробно на эстетических проблемах, как в статье «Г-н —бов и вопрос об искусстве». Содержание статьи ни в коей мере невозможно ограничить конкретными полемическими целями. Она явилась в подлинном смысле эстетической исповедью Достоевского. В других статьях 60-х годов он часто возвращается к ранее высказанным тезисам, не развертывая своих суждений, как бы прямо отсыла́я к «Г-ну —бову и вопросу об искусстве». Так, одну из главных мыслей статьи он повторит, упомянув о неизменности своего убеждения, в статье «„Свисток“ и „Русский вестник“: «Я ⟨...⟩ всегда верил в силу гуманного, эстетически выраженного впечатления. Впечатления малопомалу накопляются, пробивают с развитием сердечную кору, проникают в самое сердце, в самую суть и формируют человека». К эстетическим тезисам статьи непосредственно примыкают почти все публикации литературно-критического отдела «Времени», в том числе и приписываемые Достоевскому статьи «Выставка в Академии художеств за 1860—1861 год» и «Рассказы Н. В. Успенского» (*Вр*, 1861, №№ 10 и 12). А во введении к новому критическому отделу «Явления современной литературы, пропущенные нашей критикой», редакция отсылала читателя к статье Достоевского «Г-н —бов и вопрос об искусстве» как к литературному манифесту журнала: «Решаясь открыть в журнале нашем особый, хотя, конечно, не непременный отдел оценки литературных явлений, или вовсе пропущенных, или мало оцененных современною критикою, мы не имеем, кажется, нужды заявлять, что при всей нашей вере в искусство, при всех требованиях от литературных произведений художественности, мы нисколько не против современности стремлений искусства и литературы. Мы высказались насчет этого вопроса с подробностью и ясностью, достаточными, кажется, для того, чтобы не быть заподозренными в какой-либо вражде против современности, в желании противоборствовать обличительному и вообще дидактическому роду литературы, в намерениях возвышать какие-либо произведения, в которых преобладает форма, перед другими, в которых преобладает мысль» (*Вр*, 1861, № 3, отд. II, стр. 60). Несомненна связь многих идей и мотивов статьи с последующими произведениями Достоевского: «Зимние заметки о летних впечатлениях», «Записки из подполья» и др. Эстетические взгляды Достоевского, изложенные в ней, остались в основном неизменными в 1860—1870-х годах: к ним тяготеет большинство также и позднейших критических выступлений писателя по литературным вопросам. О статье «Г-н —бов и вопрос об искусстве» см. также: Г. А. Берлинер. Литературные противники Н. А. Добролюбова. В кн.: *ЛН*, т. 25—26, стр. 55—61; У. А. Гуральник. Ф. М. Достоевский в литературно-эстетической борьбе 60-х годов. В кн.: *Творчество Достоевского*, стр. 315—318; *Деркач*, стр. 123—131; *Кирпотин, Достоевский в шестидесятые годы*, стр. 210—254; *Фридлендер, Эсте-*

тика Достоевского, стр. 127—138; В. Богданов. Искусство как «новое слово» о мире и человеке. В кн.: Ф. М. Достоевский. Об искусстве. Изд. «Искусство», М., 1973, стр. 28—41; S. Linnér. Dostojevskij on Realism. Stockholm, 1967, p. 16—27.

Стр. 70. *Мы сказали в объявлении ∾ русская критика в настоящее время пошлеет и мельчает.* — Достоевский имеет в виду следующее место «Объявления»: «Критика пошлеет и мельчает. ∾ а иногда о ней и не мыслится» (см. выше, стр. 38).

Стр. 70. *Мы помним ∾ появление в «Отечественных записках» статьи г-на Дудышкина о Фонвизине.* — Белинский перешел из «Отечественных записок» в «Современник» в конце 1846 г. О переходе сообщил в печати Булгарин (*СП*, 1846, 5 октября, № 224). Краевский ответил на его фельетон брошюрой «Объяснение по нелитературному делу», вызвавшей новое выступление Булгарина. Он приглашал «бывших сотрудников „Отечественных записок“» высказаться о брошюре, сильно принижавшей роль Белинского в журнале (там же, 6 ноября, № 251). 8 ноября «Северная пчела» опубликовала объявление о подписке на «Современник»; в тот же месяц вышла листовка Белинского, Некрасова и Панаева «По поводу нелитературного объяснения». В ней о деятельности Белинского в журнале было сказано: «Г-н Белинский принимал в „Отечественных записках“ самое деятельное участие в продолжение почти семи лет; отделы критики и библиографии этого журнала преимущественно наполнялись его трудами, начиная с восьмой книжки 1839 г. и до четвертой нынешнего, когда он решительно отказался от всякого участия в журнале г-на Краевского. Но, извещая об этом, для большей ясности следовало бы прибавить, что одиннадцатая и последняя статья г-на Белинского „О сочинениях Пушкина“, доставленная в редакцию еще в *апреле,* напечатана в *октябрьской* книжке и что статья эта *последняя,* писанная им для „Отечественных записок“» (*Некрасов,* т. XII, стр. 33—34).

Достоевский в 1846 г. был особенно близок к Белинскому и рано узнал о его намерении уйти из журнала Краевского. «Белинский оставляет „Отечественные записки“», — писал он в апреле 1846 г. М. М. Достоевскому. Хорошо была известна Достоевскому история перехода Белинского в «Современник», о чем свидетельствуют его письма к брату от 26 ноября и 17 декабря 1846 г. С. С. Дудышкин, литературный критик и журналист, после ухода Белинского из «Отечественных записок» и смерти В. Майкова в 1846 г. становится ведущим критиком «Отечественных записок». Статьи его были хорошо приняты современниками. И. А. Гончаров сообщал в письме от 25 октября (6 ноября) 1847 г. к Ю. Д. Ефремовой: «Степан Семенович Дудышкин начинает входить в моду: умные и дельные его статьи в „Отечественных записках“ и частию в „Современнике“ замечены и расхвалены всеми умными и дельными людьми» (*Гончаров,* т. VIII, стр. 238). Среди «умных и дельных людей» был и В. Г. Белинский. Он в письме к В. П. Боткину от 4—8 ноября 1847 г. выделил Дудышкина как самого способного из начинающих критиков: «Есть в Питере некто г-н Дудышкин, чиновник, кончивший курс в Петербургском университете. Ему лет 30 ⟨...⟩ Покойник Майков убедил его, что он может писать, и заставил писать в „Отечественные записки“, — и что же, этот Дудышкин дебютировал статьею о Фонвизине, которая, по моему мнению, просто превосходна. ⟨...⟩ Я пришел от нее в восторг ⟨...⟩ я читаю в „Отечественных записках“ статью на книжку Григорьева о еврейских сектах. Статья прекрасная, фактов в ней больше, чем в книжке, и есть взгляд, которого нет в книжке. Чья эта статья? — Да всё Дудышкина же ⟨...⟩ Читаю в 8 № „Отечественных записок“ статью о французской литературе — статья дельная; чья? — Всё Дудышкина же. Понравились мне в „Отечественных записках“ две или три рецензии; чьи? — Дудышкина» (*Белинский,* т. XII, стр. 407). Столь же лестно отозвался Белинский о работах Дудышкина «Сочинения Фонвизина» и «„Еврейские религиозные секты в России“ г-на Григорьева» во «Взгляде на русскую литературу 1847 года»: «В статьях

г-на Дудышкина видно знание дела; он хорошо пользуется историческим изучением развития, чтобы объяснять им литературные произведения данной эпохи. Обыкновенно главный недостаток первых статей состоит в длинноте и многословии; иногда в такой статье почти ничего не говорится о книге, на которую она написана, но насказано много иногда и хорошего, но всегда некстати о предметах, вовсе чуждых разбираемой книге. Г-н Дудышкин умел избежать этих недостатков; видно, что он взялся за дело с готовым уже содержанием в голове, вполне владеет своею мыслию, не дает ей разбегаться или увлекать его то в ту, то в другую сторону, но постоянно держит ее на данном предмете и оттого начинает с начала и оканчивает в конце, говорит в меру и потому вполне знакомит читателя с предметом, о котором пишет» (там же, т. X, стр. 355). Приведшая в восторг Белинского статья С. С. Дудышкина «Сочинения Фонвизина» была опубликована в «Отечественных записках» за 1847 год (отд. V, № 8, стр. 21—41; № 9, стр. 23—47). Достоевский вслед за Белинским, как бы ссылаясь на мнение критика, называет статью о Фонвизине «довольно дельной». О С. С. Дудышкине см.: Б. Ф. Егоров. С. С. Дудышкин — критик. «Ученые записки Тартуского университета», 1962, т. V, вып. 119, стр. 195—232 (Труды по русской и славянской филологии).

Стр. 70. ...*Валериан Николаич Майков, брат* ∾ *Аполлона Николаича Майкова.* — В. Н. Майков (1823—1847) — литературный критик и социолог, сотрудник «Отечественных записок» с 1846 г., автор статей, в которых первые произведения Достоевского «Бедные люди», «Двойник» и др. нашли глубокую и вместе с тем во многом отличную от разборов Белинского оценку (см.: наст. изд., т. I, стр. 476, 492—493). Достоевский был хорошо знаком с В. Н. Майковым в 1846—1847 гг., неоднократно посещал кружок Майковых, весьма близкий по настроению к кругу идей и обществу Петрашевского: большинство участников его (В. и А. Майковы, Достоевский, Салтыков, Плещеев, Вл. Милютин) были и посетителями «пятниц» Петрашевского. По всей видимости, Достоевский и с петрашевцами сблизился во многом благодаря Плещееву и В. Н. Майкову. После ухода Белинского из «Отечественных записок» В. Н. Майков стал ведущим критиком журнала, но тяготился зависимостью от Краевского и уже в середине апреля выражает желание перейти в «Современник». Многие видели в Майкове преемника Белинского, но 15 июля 1847 г. он скоропостижно умер.

А. Н. Майков (1821—1897) — поэт, брат В. Н. Майкова, Достоевский познакомился с ним еще в 40-е годы, знакомство перешло в дружбу, продолжавшуюся вплоть до смерти Ф. М. Достоевского. О Достоевском в кружке Майковых см.: С. С. Деркач. И. А. Гончаров и кружок Майковых. «Ученые записки Ленинградского университета», 1971, № 355, серия филолог. наук, вып. 76, стр. 29—34 (Русская литература XIX—XX веков).

Стр. 71. ...*слова о Жорже Занде в объявлении «Отечественных записок» — верх совершенства...* — В объявлении «Отечественных записок» имя Жорж Санд было упомянуто в связи с общей деятельностью журнала в 40-е годы: «Общественные вопросы, явившись в нашей литературе еще в сороковых годах, были тогда же встречены в „Отечественных записках“ с полным сочувствием. Стоит просмотреть множество статей того времени о пролетариате, чтоб поверить наши слова. Тогда же „Отечественные записки“ познакомили русскую публику с Жоржем Зандом. Мы от этого прошедшего и теперь не отказываемся; но если дальнейшая разработка вопросов общественных поставила их в более тесные пределы, то это решение мы считаем только вернейшим шагом к их успеху» (*СП*, 1860, 8 октября, № 233).

Стр. 71. ...*одну статью о метле, ухвате и лопате и о значении их в древней русской мифологии.* — Статья А. Н. Афанасьева «Религиозно-языческое значение избы славянина» (*ОЗ*, 1851, № 6). Содержание статьи Афанасьева пересказывает полковник Ростанев в «Селе Степанчикове и его обитателях» (см.: наст. изд., т. III, стр. 135—136, 514—515). Статья Афанасьева была предметом частых насмешек в печати (*Добролюбов*, т. IV, стр. 90, 183; *Некрасов*, т. I, стр. 212—213).

Стр. 71. *...до чудовищной статьи о Пушкине* ∾ *русской литературы.* — Со взглядом С. С. Дудышкина на творчество Пушкина (*ОЗ*, 1860, № 4, стр. 57—74, «Пушкин — народный поэт») писатель полемизирует в статье «Книжность и грамотность» (*Вр*, 1861, № 7).

Стр. 72. *Таким образом разъединяются силы* ∾ *вражды.* — Достоевский, характеризуя положение дел в литературно-журнальном мире, опирается на суждения самих спорщиков, в частности И. Панаева, писавшего в «Петербургской жизни»: «Две партии бледно обрисовываются в петербургской литературе: несколько человек, считающих себя избранными, потому что они хранят чистоту искусства, как некогда господа Греч и Булгарин хранили чистоту языка. Это поклонники *искусства для искусства.* Другая, более многочисленная партия — это люди, убежденные, что искусство должно служить обществу, не усыпляя его одними сладкими звуками, а, напротив, пробуждая его к деятельности и самосознанию. Первые называют последних невеждами, ничего не смыслящими в искусстве и посматривают на них с презрением; последние смотрят на первых с ироническим сожалением и называют их людьми отжившими, отсталыми...» (*С*, 1860, № 3, стр. 208).

Стр. 72. *Недавно г-ну Воскобойникову* ∾ *«Перестаньте драться, г-да литераторы».* — Н. Н. Воскобойников (1838—1882) — публицист, сотрудник «Библиотеки для чтения», «Московских ведомостей», его статьи публиковались и во «Времени». Речь идет здесь о его фельетоне «Перестаньте бить и драться, г-да литераторы» (*СПбВед*, 1860, 30 ноября, № 261). Он вызвал бурную реакцию в печати (см. выше, стр. 275).

Стр. 73. *...Аскоченские, Чернокнижниковы...* — В. И. Аскоченский (1813—1879) — реакционный журналист, писатель, историк, редактор журнала «Домашняя беседа» (1858—1879). В русской журналистике 60-х годов «Домашняя беседа» по праву снискала себе геростратову славу; как представителя партии обскурантов и называет Достоевский здесь и в других статьях Аскоченского. Иван Александрович Чернокнижников — псевдоним беллетриста и критика А. В. Дружинина (1824—1864). Михаил Лонгинов рассказывает о рождении псевдонима «Чернокнижников» следующее: «Я помню, что кто-то предложил связывать все наши „imbroglio“ ⟨путаница (*итал.*)⟩ нитью длинного романа, на манер „Mémoires du diable“ или „Confession generale“ Фредерика Сулье. Рамой для этого должны были служить похождения праздных чудаков, ходящих по Петербургу покупать вещи, отыскивать попутчиков и гувернанток и т. д. по объявлениям полицейской газеты и беспрерывно натыкающихся на эксцентрические и забавные сцены. Весь этот цикл стихов, рассказов и похождений получил от Дружинина название „Чернокнижия“. Но всему этому суждено было еще довольно долго существовать лишь „für Wenige“ ⟨для немногих (*нем.*)⟩ ⟨...⟩ первые три главы „Чернокнижникова“ писаны Дружининым (особенно стихи) при деятельном сотрудничестве Н. А. Некрасова и младшего из членов нашего кружка, покойного В. А. Милютина ⟨...⟩ Главы эти писались в Парголове, где Н. Некрасов проводил лето, а Дружинин и Милютин у него нередко гостили. Тут же помещены рассказы и шутки разных других лиц, но невозможно определить теперь, что именно принадлежит кому в первоначальном „Чернокнижникове“» (*Дружинин*, т. VIII, стр. XI, XIII). Дружинин был наиболее плодовитый и популярный фельетонист 50-60-х годов, русский «Жюль Жанен». Достоевский, высоко ценивший возможности фельетона, сам неоднократно обращавшийся к этому жанру, критически относился к развлекательным сочинениям Дружинина. Он писал М. М. Достоевскому 22 февраля 1854 г.: «...от Дружинина тошнит».

Стр. 73. *...сам великолепный Кузьма Прутков...* — Козьма Прутков — литературный псевдоним, под которым выступали А. К. Толстой (1814—1875), А. М. Жемчужников (1821—1908) и В. М. Жемчужников (1830—1884). Достоевский был неизменным почитателем, а иногда и подражателем Козьмы Пруткова. Начиная с «Села Степанчикова и его обитателей» (1859) стихи и афоризмы Козьмы Пруткова прочно войдут в творчество Достоевского (см.: наст. изд., т. I, стр. 498). О создателях сатирической маски Козьмы Пруткова см.: П. Н. Берков. Козьма Прутков — директор Пробир-

ной палаты и поэт. К истории русской пародии. Л., 1933; Б. Я. Бухштаб. «Козьма Прутков». В кн.: Козьма Прутков. Полное собрание сочинений. Л., 1965, стр. 5—56 («Библиотека поэта». Большая серия).

Стр. 74. *Г-н Панаев в начале своих интересных литературных воспоминаний...* — В январской книге «Современника» были опубликованы первые четыре главы воспоминаний, в февральской — еще четыре. Достоевский имеет в виду третью главу, живописующую интересы, времяпрепровождение и эстетические вкусы в кругу почитателей талантов Кукольника, Брюллова, Глинки (*Панаев*, стр. 44—64). Подробнее об этом см. выше, стр. 273. «Время» отнеслось к «Литературным воспоминаниям» Панаева с большим интересом и встретило их как явление незаурядное и в известном смысле полезное. В журнале появились две большие рецензии (в марте и декабре), видимо принадлежащие Н. Н. Страхову. По предположению В. С. Нечаевой, в написании мартовской рецензии не исключено прямое участие редакции (*Нечаева, «Время»*, стр. 210), особенно в заключительной ее части, содержащей общую оценку: «Оканчивая разбор „Воспоминаний" г-на Панаева, мы не можем не отдать справедливости (и делаем это с величайшим удовольствием) искренности рассказов автора, непринужденности и, во всяком случае, чрезвычайной занимательности их. Но главное, мы должны быть особенно благодарны г-ну Панаеву за то, что он решился записать и опубликовать свои воспоминания. У нас так мало сочинений в этом роде; нельзя не пожелать, чтоб пример г-на Панаева соблазнил кого-нибудь из старых литераторов сделать то же самое. Мы же с нетерпением ждем продолжения „Воспоминаний"» (*Вр*, 1861, № 3, стр. 108).

Стр. 75. *Один из важнейших членов* ∾ *драмы из жизни итальянских художников.* — Н. В. Кукольник (1809—1868), автор драматических фантазий «Джулио Мости», «Джакобо Санназар» (1833), «Давид Риццио» (1839), дилогии «Доменикино» (ч. 1. «Доменикино в Риме» (1837); ч. 2. «Доменикино в Неаполе» (1838)). И. И. Панаеву принадлежит остроумная пародия на драматические фантазии Кукольника: «Два отрывка из большой драматической грезы „Доменикино Фети, или Непризнанный гений"» (1847). А согласно «Воспоминаниям Панаева» (2-я глава), одну из своих речей он завершил таким признанием: «— Сказать ли вам, господа, что смущает меня, — произнес Кукольник в заключение, — я с вами буду говорить прямо: меня смущает мысль, что русская публика еще не доросла до понимания серьезных произведений. Много ли в ней таких, как вы? Мне кажется, я брошу писать по-русски, а буду писать или по-итальянски, или по-французски» (*Панаев*, стр. 42). Достоевский пародирует произведения Кукольника в «Бедных людях» (см.: наст. изд., т. I, стр. 469) и в «Неточке Незвановой» (наст. изд., т. II, стр. 168), а позднее фигура Нестора Кукольника сопровождает, комически оттеняя, образ Степана Трофимовича Верховенского в «Бесах» (наст. изд., т. X, стр. 19).

Стр. 75. *...в день лиссабонского землетрясения.* — Знаменитое лиссабонское землетрясение произошло 1 ноября 1755 г. Вольтер откликнулся на это трагическое событие «Поэмой о гибели Лиссабона, или Проверкой аксиомы: „Всё благо"» (1756), впервые восстав против теории Лейбница о «предустановленной гармонии». Поэма Вольтера оказала сильное влияние на творчество Достоевского, с наибольшей очевидностью оно сказалось в бунте Ивана Карамазова, как на это указал еще Л. П. Гроссман в статье «Русский Кандид (к вопросу о влиянии Вольтера на Достоевского)» (*ВЕ*, 1914, № 5).

Стр. 75. *...(тогда всё издавались «Меркурии»).* — Самым известным был «Французский Меркурий» (Mercure de France) — газета, основанная в 1672 г. и просуществовавшая до начала XIX в. В России выходил «С.-Петербургский Меркурий» (1793), «Московский Меркурий», журнал, издававшийся в 1803 году П. И. Макаровым и др. Меркурий — в римской мифологии бог красноречия, покровитель торговли, вестник богов; имя его употребляется в значении: вестник, посланец.

Стр. 75. *«Шепот, робкое дыханье...»* — Цитируется стихотворение А. А. Фета (1850), воспринятое современниками как поэтическое от-

кровение партии «чистого искусства» и вызвавшее рекордное количество пародий.

Стр. 76. *Панглос* — герой философского романа Вольтера «Кандид, или Оптимизм» (1759), все происходящее в мире, в том числе и лиссабонское землетрясение (гл. 5, «Буря, кораблекрушение, землетрясение и что случилось с доктором Панглосом, Кандидом и анабаптистом Яковом», и гл. 6, «Как было устроено прекрасное аутодафе, чтобы избавиться от землетрясений, и как был Кандид высечен») и другие бедствия и несчастия считающий вполне целесообразными «в лучшем из возможных миров» (dans le meilleur des mondes possibles), утверждающий, что в конечном счете «все к лучшему» (tout est au mieux). Слова Панглоса пародируют философию Лейбница, его тезис в «Теодицее» (1710): «Бог не создал бы мира, если бы он не был лучшим из всех возможных». Помимо Панаева, воспользовавшегося вольтеровским романом в фельетоне «Русский джентльмен-оптимист» (1860), сторонником утешительной философии Панглоса выводит Салтыков-Щедрин своего «Озорника» в «Губернских очерках», универсализирующего формулу героя Вольтера: «...всё это, что ни существует, оправдывается и исторически, и физиологически, и этнографически... tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes ⟨все идет к лучшему в этом лучшем из миров (*франц.*)⟩, как удостоверяет наш общий приятель, доктор Панглосс» (*Салтыков-Щедрин*, т. II, стр. 266). На изречение Панглоса наталкивается гадающий по книге губернатор Лембке в «Бесах». Об отношении Достоевского к Вольтеру, помимо статьи Л. П. Гроссмана, см.: A. Rammelmayer. Dostojevsky und Voltaire. «Zeitschrift für slavische Philologie», 1958, Bd. XXVI, H. 2, S. 252—278.

Стр. 77. ...*Служенье муз, дескать, не терпит суеты.* — Цитата из стихотворения Пушкина «19 октября» (1825). Поэтическая формула, охотно и часто используемая защитниками «искусства для искусства». Добролюбов в статье «Стихотворения Ивана Никитина», с которой полемизирует Достоевский, писал: «...поэты наши считают почему-то нужным сторониться от общественной деятельности, повторяя вслед за Пушкиным:

Служенье муз не терпит суеты.

Критики, зараженные слухами об эстетических теориях, поддерживают их в этом убеждении, уверяя, что когда идет ломка и перестройка общественного здания, тогда поэт должен быть ни при чем, ибо он рожден не для житейского волненья и проч. ...» (*Добролюбов*, т. VI, стр. 177).

Стр. 77. *Аполлон Бельведерский* — скульптура Леохара (IV в. до н. э.); мраморная копия с утраченного оригинала хранится в Ватикане.

Стр. 78. ...*«новы все впечатленья бытия»*... — Цитата из стихотворения Пушкина «Демон» (1823).

Стр. 78. *«Мрамор сей ведь бог»*... — Цитата из стихотворения Пушкина «Поэт и толпа» (1828), продолжающая «тему» Аполлона Бельведерского. В полемике с утилитаристами Достоевский использует известные строки Пушкина:

Ты червь земли, не сын небес;
Тебе бы пользы всё — на вес
Кумир ты ценишь Бельведерский.
Ты пользы, пользы в нем не зришь.
Но мрамор ведь сей бог!.. так что же?
Печной горшок тебе дороже:
Ты пищу в нем себе варишь.

Стр. 78. ...*и вы, сколько ни плюйте на него*... — Реминисценция из стихотворения Пушкина «Поэту» (1830):

Доволен? Так пускай толпа его бранит
И плюет на алтарь, где твой огонь горит,
И в детской резвости колеблет твой треножник.

Стр. 79. ...*обвиняется сам г-н Щедрин*... — Достоевский, вероятно, имеет в виду упреки в адрес Щедрина, раздававшиеся из славянофильского

лагеря: С. П. Шевырев в статье о «Детских годах Багрова внука» С. Т. Аксакова отмечал в «Губернских очерках» «какое-то болезненное влечение к отрицательной стороне» жизни, «рано привитое не вполне, не художественно понятым Гоголем», наводящее «болезненный мрак на все его произведения..». (*РБ*, 1858, т. II, кн. 10, стр. 67—68). Отрицательно относился к «Губернским очеркам» и А. Григорьев, выговаривавший Е. К. Эдельсону в письме от 13(25) декабря за мягкий тон статьи, в которой критик кадит «идейной литературе» (*Макашин*, стр. 141). Однако «кадил» Эдельсон Щедрину весьма умеренно, утверждая, что «деятельность Щедрина не художественная» и что писателям «с такою тревожною деятельностью исключительным служителям временных социальных вопросов, некогда глубоко вникнуть в жизнь, чтобы вынести оттуда широкое поэтическое миросозерцание» (Е. Эдельсон. Н. Щедрин и новейшая сатирическая литература. В кн.: Утро. Литературный сборник. М., 1859, стр. 362—363). С подобного рода мнением и такой постановкой вопроса Достоевский был решительно не согласен. Оппозиция Щедрину откровенных сторонников «искусства для искусства», гонение ими вообще всей обличительной литературы встречало у Достоевского такое же противодействие, как и у Д. И. Писарева, писавшего в «Схоластике XIX века» (гл. VII) по поводу статьи Н. Д. Ахшарумова «Порабощение искусства» (*ОЗ*, 1857, № 7): «У нас в журнальной критике был момент, когда теория сразилась с интересами жизни и употребила все усилия, чтобы поворотить движение мысли туда, куда требовалось, согласно с буквою эстетического закона; схватка, происшедшая между теоретиками и практиками, была жаркая, и, как того следовало ожидать, теоретики не остановили течения жизни и отошли в сторону, пожимая плечами. Дело шло об обличительной литературе. Надо было решить, законное ли оно явление или нет. Собственно говоря, в решении этого вопроса никто не нуждался; публика с наслаждением читала „Губернские очерки“ Щедрина, нисколько не заботясь о том, осудит или оправдает его наша критика; но рьяные систематики, любящие систему для системы, не могли быть спокойны, пока не нашли той категории, в которую можно было включить произведения нового беллетриста. Эти систематики восстали против обличительной литературы и с фанатическим жаром вступились за отвлеченное понятие искусства. Г-н Ахшарумов поместил даже в „Отечественных записках“ 1858 года статью под громким заглавием „Порабощение искусства“. Словом, господа теоретики так горячо вступились за отвлеченное понятие, как вступаются только за живого человека, когда ему наносят тяжелое оскорбление» (*Писарев*, т. I, стр. 114). Об отношении Достоевского к «Губернским очеркам» также см. выше, стр. 245—246.

Стр. 80. *...г-н —бов начинает высказываться с каким-то особенным нерасположением и о г-не Тургеневе...* — Достоевский, видимо, полемизирует со словами Добролюбова в статье «Когда же придет настоящий день?» (1860): «Конечно, и литературный талант сам по себе много помог этому успеху. Но читатели наши знают, что талант г-на Тургенева не из тех титанических талантов, которые единственно силою поэтического представления, поражают, захватывают вас и влекут к сочувствию такому явлению или идее, которым вы вовсе не расположены сочувствовать» (*Добролюбов*, т. VI, стр. 99). Достоевскому безусловно хорошо было известно о конфликте Тургенева с руководителями «Современника» и о недовольстве писателя статьей Добролюбова.

Стр. 82. «*В малороссийских рассказах* ∾ *куда бы годился он?*» — Цитируются «Черты для характеристики русского простонародья» (*Добролюбов*, т. VI, стр. 222—223). Добролюбов выделяет курсивом только слова «мерзостно-отвратительные картины», во всех остальных случаях — курсив Достоевского. «Известный русский критик», «строгий критик» — А. В. Дружинин, над статьей которого об «Украинских народных рассказах» (*БдЧт*, 1859, № 11) иронизирует Добролюбов. Достоевский специально оговорит в статье, что его мнение не распространяется на украинские рассказы Марка Вовчка.

Стр. 83—84. «*Но дело не в приговорах* ∾ *обратить внимание*». — См.: *Добролюбов*, т. VI, стр. 222—223. Курсив Достоевского, кроме выделенной Добролюбовым отрицательной частицы «не».

Стр. 84. *...несколько превосходных страниц ∾ русского простонародья.* — См.: *Добролюбов*, т. VI, стр. 224—228. Достоевский соглашается с резко полемическими суждениями Добролюбова о статьях Н. С. Толстого «Вечера с разговором» (1859), в которых откровенно господствовала помещичье-крепостническая точка зрения и доказывалась необходимость сохранения телесного наказания для крестьянства, и со статьей славянофила В. А. Черкасского «Некоторые общие черты будущего сельского благоустройства» (1858), также писавшего о пользе розог. Достоевский полностью разделяет гнев Добролюбова, издевавшегося над теми «защитниками» народа, которые «дипломатически» проповедуют, что «существенная и отличительная черта русского простого человека — „недостаток инициативы", необходимость постороннего понуканья».

Стр. 85. «*Надо заметить ∾ нувеллистов и проч., и проч.*» — См.: *Добролюбов*, т. VI, стр. 228—229. Курсив Достоевского.

Стр. 85—89. «*Мы помним ∾ не бывала*». — См.: *Добролюбов*, т. VI, стр. 229—235. Курсив Достоевского, кроме выделенных критиком слов «к ней».

Стр. 90. *...Христофор Колумб, которому не дают открыть Америку.* — Христофор Колумб (1451—1506) — мореплаватель; после открытия островов Америки (1492—1498) — Кубы, Таити и др. — вице-король новых земель.

Стр. 90—91. «*Фантазия! Идиллия! Мечты золотого века! — закричали ∾ русского народа*». — См.: *Добролюбов*, т. VI, стр. 235.

Стр. 91. «*Да, мы находим ∾ жизни*». — См.: *Добролюбов*, т. VI, стр. 240—241.

Стр. 92. *...возбудит только смех и напомнит басню «Медведь и Пустынник».* — Речь идет об «услуге», оказанной медведем спавшему пустыннику в басне И. А. Крылова (1808). Ироническое сравнение Достоевский, возможно, заимствовал у автора статьи «Критическая повесть о вступлении г-д Костомарова и Погодина в орден рыцарей свистопляски», писавшего по поводу «Литературных мелочей прошлого года» Добролюбова: «...человек, по-видимому светлый и благонамеренный, доказывал с каким-то непонятным ослеплением, что наша литература никогда не шла впереди общественных потребностей, что она постоянно повторяла только зады, цепляясь за хвост вопросов, которые будто бы всегда задумывались и решались помимо ее. Мудрый автор этой статьи, желая дать щелчок глупому самообольщению, готовому успокоиться на каких-то розовых надеждах, поступил на этот раз с литературой, как с крыловским Пустынником, и наметил ей камнем в лоб, сгоняя с него муху» (*Св*, 1860, № 5, стр. 18). К аналогичному сравнению, хотя и по другому поводу, прибегнул И. В. Павлов, автор привлекшей внимание Достоевского статьи «Восток и запад в русской литературе» (см. выше стр. 104): «Для нас, помещиков, мужик до того terra incognita ⟨земля неведомая (*лат.*)⟩, что наши благие намерения и начинания очень часто напоминают басню „Пустынник и медведь"» (*МВ*, 1859, № 4—5, стр. 57).

Стр. 93. «*Если вы хотите ∾ вашей цели*». — Цитата из статьи «Луч света в темном царстве» (1860) (*Добролюбов*, т. VI, стр. 303).

Стр. 95. *Лауру у клавира...* — Имеется в виду стихотворение Ф. Шиллера (1759—1805) «Лаура у клавесина» («Laura am Klavier»; 1781).

Стр. 95. *Как, в самом деле ∾ факты почти все перед нами.* — Эти слова предваряют рассуждения героя «Записок из подполья» (см.: наст. изд., т. V, стр. 113).

Стр. 97. *...она уже в вечности ∾ настает олимпийское спокойствие.* — Возможно, что Достоевский имеет в виду здесь не только «Диану», но и другое антологическое стихотворение Фета «Венера Милосская» (1856), особенно заключительные строчки:

> Так, вся дыша пафосской страстью,
> Вся млея пеною морской
> И всепобедной вея властью,
> Ты смотришь в вечность пред собой.

С т р . 98. *Действительность слишком разнообразна.* — Аналогичные мысли содержатся и в «Записках из Мертвого дома» (см.: наст. изд., т. IV, стр. 197).

С т р. 99. *Маркиз Поза* — герой драмы Шиллера «Дон Карлос» (1787), переведенной М. М. Достоевским в 40-е годы (*БдЧт*, 1848, №№ 2—5). О его переводе см.: Г. Ф. К о г а н. Цензурная история «Дон-Карлоса» в переводе М. М. Достоевского. В кн.: Фридрих Шиллер. Статьи и материалы. Изд. «Наука», М., 1966, стр. 320—329. Героя Шиллера Достоевский также упоминает в «Петербургских сновидениях в стихах и прозе» (*Вр*, 1861, № 1) и статье «Два лагеря теоретиков (По поводу «Дня» и кой-чего другого)» (*Вр*, 1862, № 2).

С т р. 100. *...про Крутогорск, про темное царство.* — Крутогорск — губернский город в очерках Щедрина. Достоевский намекает на статьи Добролюбова о Салтыкове-Щедрине и Островском: «Губернские очерки» (1857), «Темное царство» (1859), «Луч света в темном царстве» (1860). Мнение Достоевского о «Губернских очерках» было очень близко к взгляду Добролюбова. Он находил анализ Добролюбова драм Островского более верным и точным, чем анализ А. Григорьева, создавшего своеобразный культ Островского. Достоевский писал Н. Н. Страхову 18 апреля 1869 г.: «Знаете ли, я убедился, что Добролюбов правее Григорьева в своем взгляде на Островского. Может быть, Островскому и действительно не приходило в ум всей идеи насчет Темного Царства, но Добролюбов *подсказал* хорошо и попал на хорошую почву». Но в начале 60-х годов Достоевский больше склонялся к точке зрения А. Григорьева и М. Достоевского, противопоставлявшим «утилитарной» трактовке Добролюбова иную, «русскую» точку зрения, считавшим мнение Добролюбова узким и односторонним. Об отношении журнала «Время» к творчеству Островского см.: *Нечаева, «Время»*, стр. 221—224.

ВЫПИСКИ И ЗАМЕЧАНИЯ

(Стр. 104)

Печатается по черновому автографу.
Хранится: *ГБЛ*, ф. 93.I.3.1; см.: *Описание*, стр. 130—131.
Публикуется и в собрание сочинений включается впервые.

Замечания Достоевского на статью И. В. Павлова (Л. Оптухина) «Восток и запад в русской литературе» (*МВ*, 1859, № 4—5, стр. 48—64, ценз. разр. — 5 марта) и выписки из нее следует датировать концом октября — ноябрем 1859 г.

О еженедельной газете «Московский вестник» (1859—1861) Достоевский, по-видимому, впервые узнал от А. Н. Плещеева, писавшего ему из Москвы в Тверь 19 октября 1859 г.: «Имеете ли Вы понятие о газете „Московский вестник“? (Ее получают в Твери многие.) Это дешевая, еженедельная газета, политическая и литературная ⟨...⟩ Если Вы не видали этой газеты — я Вам вышлю целый год. — С будущего месяца я вкладчик и участник в редакции этой газеты» (*Д, Материалы и исследования*, стр. 447). В том же письме Плещеев просил Достоевского помочь распространению «Московского вестника»: «Экземпляр газеты за год пришлю Вам на днях. Не откажитесь распространить ее — Ваш авторитет может иметь влияние на среду, в которой Вы живете» (там же, стр. 448). 26 октября Плещеев выслал Достоевскому из Москвы в Тверь «Московский вестник» за 1859 г. Это явствует из его письма к Достоевскому от 27 октября, в котором Плещеев особенно рекомендует ознакомиться со статьей Павлова: «Вчера я послал Вам год „Московского вестника“. — Скажите о нем свое мнение. Обращаю внимание Ваше — в нем — на статьи Лажечникова о Белинском, Оптухина (И. В. Павлова) „Восток и запад нашей литературы...“» (*ЛА*, т. VI, стр. 261). «Не забудьте, мой друг, сказать ваше мнение о Вестнике», — настаивал Плещеев (там же, стр. 262).

Возможно, Достоевский выполнил просьбу Плещеева, высказав свое мнение о «Московском вестнике» в одном из недошедших до нас писем к нему из Твери. Во всяком случае рекомендованная Плещеевым и тогда же прочитанная статья Павлова произвела на Достоевского сильное и благоприятное впечатление.

И. В. Павлов (1823—1904) — врач, писатель, журналист, учился вместе с М. Е. Салтыковым-Щедриным в Московском благородном пансионе и в Александровском лицее и долгое время впоследствии (до прихода писателя в «Современник») сохранял с ним дружеские отношения. С Плещеевым Павлов познакомился в Оренбурге, где служил чиновником при генерал-губернаторе В. А. Перовском. В 1853 г. Павлов переходит на службу в Орел, где завязываются личные и творческие связи между ним и Тургеневым. Перу Павлова принадлежат очерк «Из записок деревенского врача. Клехатуха», с посвящением Тургеневу, и статья «„Накануне" и „Наше время"» (*МВ*, 1860, №№ 2, 12). Павлов посвящал Тургенева и в свои творческие планы, об этом свидетельствует письмо писателя к нему от 16 октября 1858 г., в котором Тургенев сочувственно отзывается о мысли будущей статьи Павлова «Восток и запад в русской литературе»: «Мысль Вашей статьи весьма дельная — и дай бог Вас высказать ее вполне и ценсурно» (*Тургенев, Письма,* т. III, стр. 247). Из письма Тургенева к Н. А. Основскому от 30 декабря 1858 г. видно, что Тургеневу понравилась и самая статья (см.: там же, стр. 255).

Еженедельная газета «Московский вестник» начала выходить с февраля 1859 г. Ее издателем был В. Рудаков, а фактическими руководителями и совладельцами Н. А. Основский, Н. Н. Воронцов-Вельяминов, А. Н. Плещеев и И. В. Павлов, заключившие между собой домашнее письменное условие, согласно которому каждый из них являлся владельцем четвертой части издания. «Московский вестник» просуществовал до января 1861 г., когда произошло слияние газеты с «Русской речью».

И. В. Павлов регулярно выступал в газете как автор политических обзоров и небольших заметок (под псевдонимами «Л. Оптухин» и «Л. О.»). Статья Павлова «Восток и запад в русской литературе» носила программный характер, определяла направление газеты — вот почему Плещеев и просил обратить на нее особое внимание.

Судя по кратким выпискам Достоевского, ему оказались близки центральные положения статьи Павлова-Оптухина. Есть основания полагать, что статья эта в определенной мере способствовала развитию и оформлению некоторых из тезисов «почвеннической» программы журналов братьев Достоевских «Время» и «Эпоха». Павлов предпринял в статье попытку занять среднюю позицию в споре западников и славянофилов (которых предпочитает называть *восточниками*). По его словам, ему многое представлялось чуждо в воззрениях славянофилов, как прежних, так и новых. «В направлении восточников, — писал Павлов, — публика видела что-то родственное с направлением покойного „Маяка" и „Северной пчелы", как защитницы всего учрежденного ⟨...⟩ Время такого недоразумения миновалось, но — увы! — не совсем. Виною тому сами восточники. ⟨...⟩ Во-первых, никак нельзя отрицать, чтобы в направлении „крайних людей" восточной партии не было разительного сходства с блаженной памяти „Маяком". Доказательством может служить статья г-на ⟨Т. И.⟩ Филиппова, напечатанная в *первой* появившейся книжке „Русской беседы", т. е. на самом хазовом конце журнала. Во-вторых, восточники чрезвычайно несчастливы в выборе союзников! Н. И. Крылов во второй своей статье об „Областных учреждениях г-на Чичерина" утвердил многих читателей в том заблуждении, что между направлением „Русской беседы" и направлением „Северной пчелы" нет никакой существенной разницы. Еще гораздо более Н. И. Крылова повредил восточникам В. В. Григорьев своей статьей о незабвенном Тимофее Николаевиче Грановском. ⟨...⟩ Неприличная статья была достойно наказана всеобщим презрением; но негодование, возбужденное ею на первых порах, естественным образом отразилось и на самый журнал, в котором статья напечатана» (*МВ*, 1859, № 4—5, стр. 48—49).

В то же время Павлов находит в воззрениях славянофилов много жизненного и необходимого, без достаточных оснований зачеркнутого в полемике

с ними «крайними людьми» западнической партии: «Восточники защищают предания, то всесильное *вечно-вчерашнее* (das Ewig-gestrige), перед которым Шиллер заставляет содрогаться Валленштейна; то начало, на котором зиждутся государства; то начало, которое составляет неистощимую живучесть и несокрушимую мощь Англии, предохраняя ее ото всех насильственных, непрочных переворотов. Это сила и „прелесть привычки", подобно гимнастике, укрепляющей народ на предназначенном ему поприще, — привычки, которая необходима для всякого жизненного отправления организма, без помощи, без постепенного содействия которой — никакое благое начинание неосуществимо» (там же, стр. 49).

Это, с точки зрения Павлова, сильная сторона славянофильства, хотя он и вынужден констатировать, что «уважение к *вечно-вчерашнему* восточники доводят до какого-то мистического поклонения, в доисторической жизни славян видят золотой век...» Павлову претят догматизм и отсутствие скептико-критического анализа в трудах славянофилов, их упорное нежелание прислушиваться к мнениям противоположным и безапелляционная уверенность в собственной правоте. «Наше историческое самосознание не настолько развито, чтобы мы всегда ясно отличали в преданиях существенное от случайного, хорошее от дурного, полезное от вредного; даже в самой древности многих преданий можно усумниться, — полемизировал Павлов со славянофилами. — Но сомнение для восточников не существует, когда дело идет о восхвалении древней Руси; о проблематическом они говорят аподиктически; вера у них заменяет знание. Обо всем этом было много писано, но без всякой пользы. Они считают себя за единственных защитников народности; но это решительно несправедливо!» (там же).

В заслугу славянофилам Павлов ставил защиту нравственно-духовных начал, «без которых теряется человеческое достоинство, темнеет разум, слабеет воля под растлевающим влиянием чувственности». Однако он осуждает крайности этических взглядов славянофилов, отталкивающие от них «положительную молодежь»: «... защита нравственно-духовных начал в некоторых статьях „Русской беседы" переходит в простой аскетизм. Авторы подобных статей вредят более чем кто-либо тем святым истинам, которые они силятся защитить; крайности во всем пагубны» (там же, стр. 49).

Наиболее существенной в сочинениях славянофилов Павлову представлялась оценка общины и Петровских реформ — Достоевского такая точка зрения заинтересовала и показалась «замечательной».

Павлов полемизировал со взглядами «крайних» западников на общину (особенно выделяя статьи Б. Н. Чичерина, появившиеся в «Русском вестнике» 1856 г.) и стремился выявить историческое и современное значение общины как явления глубоко национального — «самый очевидный, самый осязательный результат всей русской истории». «Что существенного в нашей *поземельной* общине?» — задавал вопрос Павлов. И тут же отвечал: «Искреннее и твердое убеждение крестьян, что каждый из них имеет одинаковое право на общинную землю и что „мужик без земельки" — дело несбыточное и немыслимое» (там же, стр. 53). Противники общины, по мнению Павлова, восстают против одного из коренных институтов русской жизни, против фундаментальных основ русской жизни: «Формы общинной жизни въелись в русского человека неизгладимо; уничтожать их без страшного насилия невозможно...» (там же, стр. 56). Отрадным фактом представлялось Павлову, что сегодня уже не только «восточники», но и многие даровитые западники явились «ревностными защитниками общины»: совершенно очевидно, что он в первую очередь имеет в виду Герцена и Чернышевского.

В русской крестьянской поземельной общине Павлов обнаруживал нечто противоположное тому, что он, пользуясь эзоповским языком, называл «коммунизмом», понимая под этим ассоциации, основанные на «возможности пользоваться безвозмездно чужим трудом», начала, порожденные крепостным правом (там же, стр. 57—58). Полемические замечания Павлова по адресу сторонников примитивного, казарменного коммунизма показались «замечательными» Достоевскому, возможно, и потому, что во многом совпали

с его выраженными еще в 1849 г. взглядами на фаланстер Фурье и Икарию Кабе (см. выше, стр. 133).

Хотя отношение Павлова к реформам Петра I было двойственным, он в итоговой оценке их склонялся к славянофильской (конечно, не сочувствуя крайностям взгляда К. С. Аксакова) их трактовке. «Конечно, реформа Петра Великого породила то образованное меньшинство, которое с бескорыстным жаром сочувствует всякому прогрессу и по направлениям своим стоит наравне с передовыми людьми Европы; но меньшинство это было среди собственного своего народа как будто в чужой земле, — оно не понимало и не знало народа, и народ его не знал и ему не сочувствовал...» — писал Павлов (там же, стр. 50). Более того, Павлов сомневался в том, что «реформа Петра I есть органическое явление, к которому Россия была приготовлена», и осуждал «насильственные меры» самодержца, не находя им оправданий во внешних обстоятельствах. Полемизируя с оценкой реформ Петра «лучшими и умнейшими западниками», Павлов в своем мнении лишь частично совпадает с Достоевским, отношение которого к личности и деятельности Петра I, смыслу и значению его реформ было сложнее и диалектичнее (см. ниже, стр. 296—299).

Особо Достоевский выделил в статье Павлова привлекшие его внимание слова Маколея, которые он цитирует по статье Павлова, сохраняя его курсив, но с небольшими пропусками. У Павлова читаем: «В стремлении к образованию, как и во всяком своем стремлении, „дух человеческий", — говорит Маколей, — увлекается в одно из двух противуположных направлений — *либо прелестью привычки, либо прелестью новизны...* Это различие существовало и должно существовать всегда... Не только в политике, но и в литературе, во всех искусствах, во всякой науке, в хирургии, в механике, в мореплавании, в земледелии, даже в математике — мы находим эти два противуположные направления... *Везде есть люди, с восторгом прилепляющиеся ко всему, что древне... Везде есть другого рода люди, имеющие способность быстро находить недостатки во всем существующем... и принимающие всякую новизну за усовершенствование.* Отчасти и то и другое направление похвальны. Лучшие люди обеих партий находятся недалеко от середней черты. Крайние же люди одной партии — это ханжи и дряхлые болтуны (bigoted dotards); крайние люди другой партии — это мелкие пустозвоны (shallow) и беззаботные недоучки» (*МВ*, 1859, № 4—5, стр. 48).

Павлов цитирует (неточно) следующее издание «Истории Англии» английского либерального историка, политического деятеля Т.-Б. Маколея (T. B. Macaulay, 1800—1859): The History of England Vol. I. Tauchintz jun., Lpz., 1849, p. 96—97. Слова Маколея лейтмотивом проходят через всю статью Павлова и применяются им для характеристики позиций и сути спора западников (виги) и славянофилов (тори): «Гениальный современный историк, выражая непреложный закон человеческого духа, говорит здесь об английских ториях и вигах... Но невольно приходит в голову мысль, что его слова суть не что иное, как характеристика наших двух враждебных литературных лагерей, так называемых *востока* и *запада,* этих ториев и вигов в русской литературе» (*МВ*, 1859, № 4—5, стр. 48).

Сам Павлов полемизирует в основном с крайними представителями противоположных направлений, сочувственно относясь к «лучшим людям» обеих партий, находящимся недалеко от «середней черты».

Достоевский в публицистических статьях 1860-х годов неоднократно использует как слова Маколея, так и применение их Павловым к спору западников и славянофилов — «теоретиков» и «доктринеров», по терминологии писателя. «Закон природы», открытый Маколеем, запомнился Достоевскому. Ведь само «почвенничество» в известном смысле как раз и было попыткой преодолеть крайности западнического (теоретического) и славянофильского (доктринерского) взглядов. Эта промежуточная позиция «Времени» (с опорой на «психологические» выводы Маколея) многократно разъяснялась в статьях Ф. М. Достоевского и других ведущих публицистов журнала и вызвала сильные критические возражения и насмешки как в лагере «славянофилов», так и «западников». Так, М. А. Антонович в только что возобновившемся «Современнике», в «Кратком обзоре журналов за истекшие восемь месяцев»

следующим образом определял позицию «Времени»: «Исходная мысль ваша ложна; вы постоянно твердите: теоретики-де вдаются в крайность, они преследуют и дурные и хорошие стороны русской жизни; а мы держимся средины, отвергая дурные, открывая хорошие и указывая на них...» (*С*, 1863, № 1—2, стр. 255).

ЗАМЕЧАНИЯ НА СТАТЬЮ СЕМЕВСКОГО О КНИГЕ УСТРЯЛОВА «ЦАРЕВИЧ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ»

(Стр. 104)

Печатается по черновому автографу.

Хранится: *ГБЛ*, ф. 93. I.3.1.

Впервые частично опубликовано: *ЛГ*, 1941, 9 февраля, № 6, стр. 2; *Нечаева, «Время»*, стр. 201—202. Полностью публикуется и в собрание сочинений включается впервые.

В ломаных скобках даны отсылки к тем местам статьи Семевского (*РСл*, 1860, № 1), которые цитирует или на которые возражает Достоевский. Курсив везде принадлежит Достоевскому.

Набросок Достоевского — краткий конспект основных положений статьи историка М. И. Семевского (1837—1892) по поводу шестого тома монографии Н. Г. Устрялова (1805—1870) «История царствования Петра Великого» (тт. 1—4, 6, СПб., 1858—1864; т. 6 вышел в 1859 г.), сопровождаемый возражениями писателя. Представляя непосредственный отклик на статью Семевского, «Замечания» должны быть датированы скорее всего началом 1860 г. Обширные цитаты из работы Семевского, группировка возражений по пунктам, обращение к другой, ранее напечатанной, статье Семевского — об А. Ф. Лопухиной (*РВ*, 1859, № 5, стр. 219—265), по-видимому, свидетельствуют о неосуществившемся намерении писателя вмешаться в печатную полемику вокруг исследования Устрялова. Однако никаких других следов работы над подобной контррецензией для «Времени» не сохранилось.

Причиной отказа от возникшего замысла могло послужить то, что сходные замечания в адрес М. И. Семевского были тогда же, в 1861 г., сделаны другими его оппонентами (см.: Е. Шмурло. Петр Великий в русской литературе. Опыт историко-библиографического обзора. СПб., 1889, стр. 57—60). С другой стороны, как видно из замечаний Достоевского, его точка зрения на личность и деятельность Петра I значительно отличалась от взглядов таких «более последовательных „почвенников“, как Аполлон Григорьев и Страхов» (*Нечаева, «Время»*, стр. 203). К тому же именно в это время Семевский становится во «Времени» одним из активных авторов, в котором издатели были крайне заинтересованы (см. письма М. М. Достоевского к М. И. Семевскому за 1861 г. — *ИРЛИ*, ф. 274, оп. 1, № 145). В течение 1861—1862 гг. журнал публикует две его не менее тенденциозные работы, посвященные Петровской эпохе — «Царица Прасковья Федоровна» и «Семейство Монсов». Полемическое выступление одного из редакторов журнала против своего сотрудника было бы нетактичным.

Н. Г. Устрялов, автор послужившей предметом полемики монографии, академик и профессор С.-Петербургского университета, был первым после А. С. Пушкина историком, получившим доступ к государственным архивам Петровской эпохи. В «Истории Петра», вполне официозной по направлению, увидели свет материалы, которые документировали события, до тех пор известные лишь по противоречивым печатным свидетельствам или устным легендам. Шестой том «Истории» представлял биографию старшего сына Петра I, Алексея Петровича, с приложением многочисленных документов, связанных в основном с заключением царевича в Алексеевском равелине (где находился в заключении в 1849 г. также и Достоевский), судом над ним и его смертью. Внимание к этому эпизоду из истории царствования

Петра было подогрето недавней публикацией в «Полярной звезде» (1859) так называемого письма А. И. Румянцева к некоему Д. И. Титову — современного процессу над Алексеем малодостоверного рассказа о том, что царевич был будто бы задушен по приказу отца. Подлинность этого рассказа остается сомнительной.[1] Герцен, по-видимому, получил «письмо» для публикации именно от Семевского, остававшегося на протяжении ряда лет одним из его русских корреспондентов. В качестве подложного документа «письмо» было опубликовано и в «Приложениях» к т. VI «Истории» Устрялова. Журнальная полемика сосредоточилась в основном вокруг обстоятельств смерти царевича, непосредственно после вынесения ему Сенатом смертного приговора. Ставя под сомнение официальную версию «Розыскного дела» 1718 г., либеральные журналисты не столько преследовали выяснение исторической истины, сколько в легальной форме «научного спора» старались подчеркнуть беззаконие, личный произвол, жестокость и лицемерие, на которых основалось уже с самого начала русское самодержавие и которые маскировала официальная историография. Версия об убийстве Алексея намекала на такие темы, остававшиеся для подцензурной печати запретными, как кровавая история дворцовых переворотов XVIII в., убийство Ивана Антоновича, Петра III, Павла I (см. об этом: Н. Я. Эйдельман. Герцен против самодержавия. Секретная политическая история России XVIII—XIX веков и Вольная печать. М., 1973, стр. 55—96 и др.). Публицистические задачи полемики предопределили широкую постановку в связи с нею таких тем, как общая оценка петровских преобразований, их целей и методов осуществления, причем многие полемисты щедро пользовались славянофильской аргументацией, противопоставляя Московскую Русь послепетровской России.

«Замечания» Достоевского направлены против пристрастности Семевского в осмыслении исторических фактов. Указывая на противоречия в его аргументации, Достоевский вместе с тем отрицательно оценивает вообще всякую заранее заданную предопределенность выводов исторического исследования злобой дня: «Он ⟨Семевский⟩ смотрит на Петра как на личного своего врага... так нельзя писать историку». Затрагивает Достоевский и два других злободневных вопроса — о свободе слова и проблеме «среды». Для него проповедь Яворского — свидетельство допускавшегося Петром свободного обмена мнений между обществом и правительством, обмена, ставшего невозможным позднее. Тезис «Петр позволял высказывать правду», защищаемый Достоевским, связан прежде всего с пушкинским противопоставлением Петра, умевшего ставить интересы нации выше своих узколичных, мелочному эгоизму современности. В пушкинских «Стансах» (1826), которые цитирует Достоевский, и стихотворении «Друзьям» (1828; опубликовано впервые в издании сочинений Пушкина под редакцией П. В. Анненкова, т. 7, 1857) содержались мысли, совпадающие с замечаниями Достоевского о Яворском. Выписки и комментарии писателя к эпизоду о Яворском полемически соотносятся с заключительной частью статьи «Царевич Алексей Петрович», где Семевский в доказательство тирании Петра приводил отрывок из указа 1718 г. о преследовании тех, которые «запершись пишут», т. е. против распространения рукописных памфлетов (*Семевский*, стр. 57).

С раздражением отнесся Достоевский также к бытописательной стороне статьи Семевского, увидав в ней проявление характерной для 1860-х годов тенденции — смягчить несимпатичные черты характера Алексея Петровича ссылкой на нравы «времени», влияние которых царевич не в состоянии был преодолеть. Невнимание к изображению общества, «среды», нравственно сформировавшей Алексея и определившей его поведение, Семевский отметил в качестве наиболее серьезного недостатка работы Устрялова (*Семевский*, стр. 4). В собственном его изображении Алексей представал человеком с хорошими природными задатками, но испорченным окружением, невинной жертвой подозрительности Петра, который без реального к тому повода видел в сыне претендента на престол. Как можно предположить, эта

[1] Одновременно Семевский поместил в «Иллюстрации» (1859, №№ 64—73) биографию царевича Алексея Петровича.

тенденция Семевского особенно должна была привлечь внимание Достоевского в связи с недавней полемикой Герцена и Добролюбова о «лишних людях» (см.: А. И. Герцен. «Лишние люди и желчевики» (1860) — в кн.: *Герцен*, т. XIV, стр. 317—327, комм. Г. А. Антоновой). В ходе этой полемики Добролюбов резко нападал на тургеневскую школу беллетристики с ее особенным вниманием к теме «среда заедает человека» («Благонамеренность и деятельность». В кн.: *Добролюбов*, т. VIII, стр. 193, ср.: *Фридлендер*, стр. 204—206).

«Замечания» зафиксировали существенный момент в эволюции отношения Достоевского к Петру. Они во многом тесно связаны с его полемическим отзывом о книге А. Кюстина «Россия в 1839 году», данном в «Петербургской летописи» 1847 г., где Достоевский присоединился к антиславянофильской точке зрения Белинского (см. выше, стр. 26, а также: Е. И. Кийко. Белинский и Достоевский о книге Кюстина «Россия в 1839». *Материалы и исследования*, 1, стр. 189—200). Он писал в 1847 г., что деятельность Петра привела Россию в движение и сплотила все сословия в работе над просвещением страны. Реформа, завершение которой, по словам раннего Достоевского, еще продолжается, не только не уничтожила национальную самобытность, но явилась «торжеством национальности».

В сформировавшейся к 1860-м годам теории «почвенничества» петровские преобразования стали оцениваться Достоевским как отправная точка процесса, завершившегося освобождением крестьян. В отличие от славянофилов Достоевский рассматривал Петра как закономерное явление русской истории, различая, однако, идею преобразований как таковую и ее конкретное осуществление. Петр выступил как выразитель «созревших новых сил», его «вполне русская воля» разорвала оковы средневековья; сознательно или бессознательно, «он шел верно». Но народной была только идея преобразований; фактическое их осуществление — деспотизм приемов, конкретные формы жизни, которые насаждались взамен старого, — были несомненно антинародны (см. выше, стр. 236, а также «Книжность и грамотность», 1861 г. и «Два лагеря теоретиков», 1862). В качестве протеста против всего, что было в реформе неверного и «фанатического», «исключительного», Достоевский был склонен признать славянофильское движение положительным явлением русской мысли.

По мнению Достоевского, начатая Петром и продолжавшаяся полтора века «европеизация» исчерпала себя к началу 1860-х годов и теперь, когда наметилось слияние образованности и народного начала, интерес представляют лишь некоторые ее итоги. Поскольку результатом Петровского периода русской истории были раскол между народом и образованными сословиями, появление чиновничьей корпорации, проникновение в Россию буржуазных начал, возвышение утилитаризма в ущерб нравственным целям, Достоевский находил в Петровской реформе корни современного «отрицательного» направления. В письме к К. П. Победоносцеву от 19 мая 1879 г. он прямо назвал Петра первым «нигилистом», «нигилятиной». С другой стороны, он отмечал, что именно Петр даровал народу демократическое право на образование, поставив образованного выше породы; благодаря преобразованиям Петра расширился горизонт национального самосознания и окрепло чувство общечеловеческого единения русских с другими народами, без чего было бы невозможным осуществление всемирной миссии России и православия. Поэтому Достоевский в записных тетрадях 1876—1877 гг. говорит не только об исторических ошибках Петра, но и о широте его государственного взгляда, о «великих предчувствиях», которые скрывались за «хлопотами о ближайшей пользе», выражая уверенность, что если бы Петр «увидел славянофилов, наверно бы их понял, взял бы Хомякова и Юрия Самарина и сказал бы, вот птенцы моего гнезда, хотя, по-видимому, они и против меня говорили».

Любая однозначная оценка роли Петра в истории русского общества и государства, не учитывающая противоречий, заложенных уже в его деятельности и полностью развернувшихся позднее, представлялась Достоевскому в принципе неприемлемой. Возражая в 1860 г. на разоблачения Семевского, он не менее отрицательно отнесся через 11 лет к «Публичным чтениям о Петре Вели-

ком» (1872) С. М. Соловьева: «Ошибка историка Соловьева та, что всю историю у Петра нет ошибок. Это не история, а панегирик».

Вырванные из контекста отдельные высказывания Достоевского о Петре нередко давали возможность историкам русской общественной мысли без достаточных оснований объединять его со славянофилами (С. Р. Минцлов. Юбилей Петра Великого. Библиографический указатель литературы... СПб., 1881, стр. XIII—XVI). В действительности, как свидетельствуют данные заметки и вся совокупность его высказываний о Петре, он стремился к широкой и всесторонней оценке значения Петровской реформы, хотя на разных этапах своего развития и акцентировал по преимуществу несходные ее стороны.

Стр. 104. *Слово Стефана Яворского...*—Стефан Яворский (в мире Семен Иванович Яворский, 1658—1722) — митрополит Рязанский и Муромский, с 1700 г. — местоблюститель патриаршего престола в России. Первоначально приближенный Петром, позднее выступил против секуляризации разных сторон русского быта. Особенно энергично противодействовал попыткам Петра подчинить церковь государственному контролю и боролся с уклонениями религиозной мысли в протестантизм. Проповедь, которую имеет в виду Достоевский, была произнесена в Москве в день тезоименитства Алексея Петровича (17 марта 1712) и содержала протест против назначения в церковные суды фискалов (лиц, следивших за соблюдением законов и государственной пользы). Резкие выпады против Петра, обращение к Алексею как надежде православной России послужили причиной сенатского запрещения Яворскому произносить впредь публичные проповеди. По преданию, раздражение Петра вызвало не столько содержание проповеди, сколько отсутствие доверия к государю со стороны митрополита; на представленной ему рукописи царь будто бы написал: «Первее одному, потом же со свидетели» (С. М. Соловьев. История России, т. XVI. СПб., 1907, стр. 270). Тем не менее преследованиям Яворский за нее не подвергся.

Стр. 104. *...проповеди тех же пастырей...* — В 1859 г. в «Летописях русской литературы и древностей» (т. II, отд. III, стр. 133), издававшихся Н. С. Тихонравовым, была опубликована статья Н. А. Попова «Придворные проповеди в царствование Елизаветы Петровны», где цитировались отклики на переворот 1742 г.

Стр. 105. *Цесарь* — цесарь Карл VI (1685—1740), австрийский император, носивший титул императора Священной Римской империи; под его покровительство отдался бежавший Алексей. Цитируемый отрывок статьи Семевского представляет выдержку из записки имперского вице-канцлера графа Шёнборна (в переводе Устрялова). В ней воспроизведены ответы Алексея на предложенные ему в Вене вопросные пункты.

Стр. 105. *...(переписки Досифея с Евдокией)...* — Досифей Глебов, епископ Ростовский и Ярославский, расстрижен под именем Демида и казнен в 1718 г.; ссылаясь на вещие сны, пророчествовал Авдотье Лопухиной о близкой смерти Петра и воцарении Алексея. Евдокия — Авдотья Федоровна Лопухина (1669—1731), первая супруга Петра I, мать царевича Алексея Петровича. В 1696 г. была сослана в Суздальский Покровский монастырь и пострижена под именем инокини Елены. Как выяснилось из розыска по делу царевича, благодаря попустительству монастырского начальства она вела в монастыре мирской образ жизни и приказывала именовать себя царицей. Вокруг нее группировалось духовенство, мечтавшее о воцарении Алексея и возвращении старых порядков. Достоевский имеет в виду статью Семевского о Лопухиной в «Русском вестнике» (1859, май, кн. 2, отд. I, стр. 219—265), построенную на материалах, полученных им от Устрялова, подчеркивая, что теперь, рецензируя публикации Устрялова, он дает им новое, произвольное толкование.

Стр. 105. *«Леди Рондо»* (1699—1783) — жена английского резидента при русском дворе в 1728—1739 гг., автор «Letters from a lady who resided some years in Russia to her friend in England» (1775), которые интересны

сведениями о бытовой стороне русской жизни 1730-х годов; являясь по существу мемуарами, «Письма» изобилуют фактическими неточностями.

Стр. 105. *Плеер о Кикине...* — Имеется в виду донесение австрийского резидента при русском дворе Отто Антона Плейера в Вену о казнях в Москве по Суздальскому делу Евдокии Лопухиной в марте 1718 г. А. В. Кикин за подговор царевича на побег за границу был колесован.

Стр. 105. *...замечательное мнение поэта А. С. Х⟨омякова⟩* — Речь идет о процитированном в статье отрывке из письма А. С. Хомякова (1804—1860) к Семевскому по поводу материалов процесса царевича Алексея. Письмо относилось к середине 1859 г. и содержало общую сочувственную оценку работы Семевского, подтверждавшей точку зрения славянофилов на Петра. «Я от всей души желал бы видеть ее напечатанною и особенно в „Р⟨усской⟩ беседе", — писал Хомяков. — Очевидно, что Вы не принадлежите ни к какому исключительному мнению и что Вас нельзя обвинить в славянофильстве, как нас грешных: тем важнее Ваш рассказ и Ваше мнение, если не ошибаюсь, только вполовину высказанное» (*ИРЛИ*, ф. 274, оп. I, № 369, л. 1 об.). С точки зрения Хомякова, Алексей был намеренно оклеветан в официальном отчете о процессе, потому что Петр готовил удар против старой партии в целом. Тем не менее его вражда к сыну не питалась личными мотивами, а основывалась на государственных соображениях. Сожалеть об Алексее можно лишь как о частном человеке, но не как о государственном деятеле. Достоевский считает нужным особо подчеркнуть, что крупнейший идеолог славянофильства был вынужден признать причиной процесса Алексея не династические интриги или кровожадность Петра, но борьбу за иной путь исторического развития России.

Стр. 106. *Марья Алексеевна* (1660—1723) — царевна, сводная сестра Петра I, дочь царя Алексея Михайловича от М. И. Милославской. Имеются в виду ее разговоры с Алексеем о перемене порядков в России при встрече недалеко от Либавы, на его пути в Вену. Содержание разговоров передано в «Манифесте» от 5 марта 1718 г. о Суздальском деле, перепечатанном в статье «Евдокия Федоровна Лопухина».

Стр. 106. *Ефросинья* Федорова — дворовая девка Н. К. Вяземского, прежнего учителя Алексея; любовница царевича, сопровождавшая его в Вену и вместе с ним возвращенная в Россию П. А. Толстым и А. И. Румянцевым.

Стр. 106. *...указ о нерубке дубов ∾ о монстрах.* — Указы от 31 января и от 6 февраля 1718 г. о запрещении частным лицам рубить корабельный лес и о распоряжении закупать для Кунсткамеры всевозможные «куриозные» предметы.

Стр. 106. *«На троне вечный был работник».* — Цитата из стихотворения А. С. Пушкина «Стансы» (1826).

Стр. 106. *Глебов* Степан Богданович (ок. 1672—1718) — подполковник, ставший в 1709—1711 гг. любовником Авдотьи Лопухиной. За это, а также за найденные у него «возмутительные» письма был посажен на кол. Упоминание о казни Глебова имеется в романе «Идиот» (см.: наст. изд., т. VIII, стр. 433).

Стр. 106. *Никто не вливает вина молодого в мехи старые.* — Цитата из Евангелия от Марка, гл. 2, ст. 22.

Стр. 107. *Бассевич* Геннинг Фридрих (1680—1748) — дипломат, министр герцога Голштинского, автор записок, изданных под заглавием «Eclaircissements sur plusiers faits relatifs au règne de Pierre le Grand...» (1775).

Стр. 107. *...записку, виденную кем-то в государственном архиве.* — О существовании секретного документа, согласно которому царевич Алексей скончался во время пытки после третьего подъема на дыбу, Устрялову сообщил профессор К. И. Арсеньев, преподававший в 1830-е годы русскую историю наследнику престола, будущему императору Александру II (Н. Г. Устрялов. Воспоминания о моей жизни. «Древняя и новая Россия», 1880, № 8, стр. 680).

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Коллективное

ВСТУПЛЕНИЕ ⟨К АЛЬМАНАХУ «1 АПРЕЛЯ»⟩

(Стр. 108)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано в изданном Н. А. Некрасовым юмористическом иллюстрированном альманахе «Первое апреля» (СПб., 1846), стр. 3—10, без подписи (ценз. разр. — 5 марта 1846 г., вышел в свет 1 апреля 1846 г.).

В собрание сочинений впервые включено в издании: *1926*, т. XIII, стр. 477—479.

Печатается по тексту первой публикации.

Рассказав о запрещении альманаха «Зубоскал», объявление об издании которого было написано Достоевским (см. выше, стр. 5—10 и примеч.), Д. В. Григорович в своих воспоминаниях сообщил: «...Некрасов был человек упорный, настойчивый; запрещение „Зубоскала“ не охладило его издательскую деятельность. Вскоре придумал он новую книжку: „Первое апреля“. Я снова написал к ней предисловие и небольшой рассказ „Штука полотна“» *(Григорович*, стр. 82).

Б. В. Томашевский поставил под сомнение точность указания Григоровича и обратил внимание на следующие факты. В альманахе «Первое апреля» помещен коллективный рассказ «Как опасно предаваться честолюбивым снам», участие в котором Достоевского доказано (см.: наст. изд., т. I, стр. 512—514). В частях рассказа, написанных Достоевским, отмечены совпадения ряда фразеологических оборотов с «Двойником». Это же характерно и для «Вступления». Так, фраза: «Мы не интриганты, и смеем уверить, гордимся этим» (стр. 110) повторяет одну из «застывших» форм «Двойника» (см.: *Виноградов*, стр. 278), несколько раз встречающуюся в его тексте.[1]

Таким образом, очевидно, что в создании «Вступления» к альманаху «Первое апреля» Григоровичу помогал Достоевский (см.: *1926*, т. XIII, срт. 605).

«Вступление» композиционно распадается на три части: зачин, несколько зарисовок из петербургского быта и заключение. Достоевскому могут с наибольшей вероятностью быть приписаны первая и последняя части «Вступления»; именно здесь проявились некоторые характерные черты его языка и стиля.

Помимо отмеченного выше фразеологического совпадения, здесь идет речь об «амбиции» — психологической черте человека того времени, проанализированной уже Достоевским в «Бедных людях» и «Двойнике» (см. наст. изд., т. I). Об «амбиции» Достоевский писал также в «Зубоскале» (стр. 6) и в одном из фельетонов «Петербургской летописи» (стр. 31).

Исследователи стиля Достоевского 1840-х годов отметили часто повторяющиеся в его произведениях уменьшительные имена ласкательного или презрительного оттенка (см.: *Виноградов*, стр. 276). Аналогичные формы характерны и для «Вступления». Здесь мы читаем: «пустячки», «надувательная системка», «книжица» и проч. Встречаются во «Вступлении» также стилистические конструкции, основанные на варьировании одной и той же мысли. Этим стилистическим приемом Достоевский особенно широко пользовался в «Двойнике» (см.: *Виноградов*, стр. 275—277) и в писавшемся одновременно объявлении об издании «Зубоскала» («...чего не задирают эти сочинители, чего не затрогивают»; «Какое же тут надуванье? Чистосердечно вас спрашиваю: какой тут обман?» — см. выше, стр. 108—109; ср. стр. 5—10 наст. изд., т. I, стр. 117

---

[1] Ср., например: «Не интригант — и этим тоже горжусь»; «Не интригант— и этим горжусь», «...я не интригант и ⟨...⟩ сим ⟨...⟩ могу весьма справедливо гордиться»; «Не интригант, дескать, и этим горжусь...» (см.: наст. изд., т. I, стр. 117, 125, 152, 162, 222).

и др.). Все вышеизложенное дает основание считать Достоевского соавтором «Вступления» к альманаху «Первое апреля».

С т р. 108. ...*Пустячки, побасенки* ∾ *объявления о дрожках, лошадях и собаках.* — Высказанное здесь суждение восходит к словам Гоголя из «Театрального разъезда» (1842): «Но боже! сколько проходит ежедневно людей, для которых нет вовсе высокого в мире! Всё, что ни творилось вдохновением, для них пустяки и побасенки» (*Гоголь,* т. V, стр. 170).

С т р. 108. ...*вымолвит иной* ∾ *дело не касается его чести и амбиции.*— Ср. рассуждение Макара Девушкина в «Бедных людях» Достоевского: «И для чего же такое писать? ∾ всё напечатано, прочитано, осмеяно, пересужено!» (см.: наст. изд., т. I, стр. 63).

С т р. 109. ...*надувать друг друга в первое апреля* ... ∾ *Европа пользуется таким обыкновением.* — Некоторые исследователи считают, что этот обычай возник во Франции под влиянием средневековых религиозных мистерий, разыгрывавшихся на пасху, а уже затем распространился в других европейских странах. Существует и другое мнение, связывающее обычай обманывать в первый день апреля с изменчивой, «обманной», погодой, которой отличается этот месяц года в Европе.

С т р. 110. ...*что делается на Песках и в Коломне.* — Пески, или Рождественская часть Петербурга занимала в 1840-х годах район, прилегавший к Смольному монастырю; упоминается в рассказе «Господин Прохарчин» (1846), позднее — в романах «Преступление и наказание» (1866) и в «Идиоте» (1868). Коломна, или Коломенская часть Петербурга, — район, ограниченный Мойкой, Большой Невой, Фонтанкой и Крюковым каналом; упоминается в рассказе «Слабое сердце» (1848) и в «Идиоте». Большинство построек этих районов, населенных людьми среднего достатка и бедняками, были из дерева (см.: *Михневич,* стр. 59—60).

С т р. 110. *Пуф* — здесь: надувательство, нелепая выдумка.

С т р. 110. ...*разным лживым анекдотам и совершенно невероятным историям.* — В рецензии на альманах «Первое апреля» Белинский писал: «Забавный фарс лучше скучной трагедии, веселая шутка лучше серьезной, но пустой книги: это неоспоримая истина ⟨...⟩ Смех — тоже одно из лучших благ жизни ⟨...⟩ особенно смех от умной шутки, забавной книги. Кто любит смеяться таким смехом, для того „Первое апреля“ будет прекрасным поводом удовлетворить этой веселой и счастливой склонности» (*Белинский,* т. IX, стр. 604). В числе особенно удавшихся Белинский приводит сатирические анекдоты «Пушкин и ящерица», «Как один господин приобрел себе за бесценок дом в полтораста тысяч», «Славянофил», направленные против С. П. Шевырева, М. П. Погодина и К. С. Аксакова.

С т р. 110. ...*«един бог без греха»* — поговорка (см.: В. Д а л ь. Пословицы русского народа. ГИХЛ, М., 1957, стр. 210).

ПЕТЕРБУРГСКАЯ ЛЕТОПИСЬ

(Стр. 111)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: *СПбВед,* 1847, 13 апреля, № 81, с подписью: И. Н.

В собрание сочинений включается впервые. Печатается по тексту первой публикации.

Фельетон «Петербургской летописи» в «С.-Петербургских ведомостях» 13 апреля 1847 г. сопровождался следующим примечанием редакции: «Внезапная болезнь и потом кончина нашего даровитого, ревностного, незабвенного сотрудника *Э. И. Губера* причиною, что мы должны были обратиться на этот раз к одному из наших молодых литераторов».

Вместе с фельетонами 27 апреля, 11 мая и 15 июня этот фельетон был в 1922 г. приписан В. С. Нечаевой Достоевскому на том основании, что он

«по центральной идее, по содержанию и по стилю тесно сливается с тремя остальными фельетонами, подписанными „Ф. Д.“» (*Нечаева,* стр. 11, ср.: «Красная газета», вечерний выпуск, 1925, 24 апреля, № 57; см. также выше, стр. 216—217). Исследовательница отметила, однако, что фельетон 13 апреля отличается от названных фельетонов не только подписью (Н. Н.), но и формой построения: «Внешне он более остальных напоминает общий тип современного газетного фельетона» (*Нечаева,* стр. 10).

В редакционной заметке «О продолжении „С.-Петербургских ведомостей“ в 1848 году» (*СПбВед,* 1847, 9 октября, № 230) в перечне сотрудников газеты и их статей, напечатанных «в текущем 1847 году до 1 октября», при именах Э. И. Губера, Ф. М. Достоевского, В. А. Соллогуба и Ф. Ф. Корфа указано «по несколько нумеров „Петербургской летописи“»; при имени же А. Н. Плещеева упомянута статья: «Критика (очерки Рима) Майкова» (см.: *СпбВед,* 1847, № 95) и «Петербургская летопись», что дает основание считать, как верно заключил Б. В. Томашевский, что ему принадлежит один фельетон под этим названием.

До 1 октября 1847 г. в «С.-Петербургских ведомостях» было напечатано 24 фельетона «Петербургской летописи». Из них семь за подписью: К. Д. С. (№№ 31, 37, 43, 49, 61, 69 и 75) принадлежат Губеру (см.: *СПбВед,* 1847, 9 октября, № 230). Семь—В. А. Соллогубу, из которых шесть за подписью: С. (№№ 1, 9, 15, 55, 98 и 110) и один (№ 157), подписанный его полным именем. Пять фельетонов за подписью: К. (№№ 203, 209, 215, 221 и 227) принадлежат, очевидно, Ф. Ф. Корфу. Четыре (№№ 93, 104, 121, 133) были подписаны инициалами Достоевского: Ф. Д. (см. выше, стр. 216).

Таким образом, только последний из 24 фельетонов «Петербургской летописи» (№ 81), подписанный «Н. Н.», мог принадлежать А. Н. Плещееву (см.: *1926,* т. XIII, стр. 608—609). Так во всяком случае считала редакция.

Тем не менее соавторство Достоевского с Плещеевым при писании данного фельетона вероятно. Оно подтверждается следующими приведенными В. С. Нечаевой аргументами.

1. Иронически характеризуя жизнь «делового» Петербурга, Достоевский в фельетоне 27 апреля 1847 г. пишет: «Только один луч светлый и радостный, как будто выпросясь к людям, резво вылетел на миг из глубокой фиолетовой мглы 〈...〉 раздробился на тысячу искр в каждой капле дождя и исчез 〈...〉 как внезапный восторг, ненароком залетевший в скептическую славянскую душу, которого тотчас же и устыдится и не признает она» (см. выше, стр. 16). Близкая мысль выражена в фельетоне 13 апреля: «Мы скептики; нам очень хочется быть скептиками. И ворчливо и дико сторонимся от энтузиазма, бережем от него свою скептическую, славянскую душу. Оно бы иной раз и порадоваться, да ну как не тому, чему нужно; ну как промахнешься; что тогда скажут об нас?» (стр. 113).

2. В фельетонах Достоевского от 1 июня и в фельетоне от 13 апреля совпадает характеристика петербургского жителя. У Достоевского: «Петербургский, зимний, деловой и производящий наиболее сезон кончается только теперь, в настоящий момент, т. е. в конце мая. 〈...〉 и всякий обдумывает будущую зиму и свою будущую деятельность, каково бы оно ни было и каким бы образом ни производилось это обдумывание» (стр. 26). Ср. в фельетоне Н. Н.: «Петербург отдыхает после дела. Каждое лето он, гуляя, собирается с мыслями; может быть, он и теперь уже надумывает, что бы ему сделать на будущую зиму» (стр. 111).

3. Заканчивая фельетон 13 апреля и желая своим читателям и «себе хорошего лета», автор спрашивает: «Куда мы поедем, господа? В Ревель, в Гельсингфорс, на юг, за границу или просто на дачи?» (стр. 113). Возможно, что предположение о поездке на лето из Петербурга в Гельсингфорс связано с планами Достоевского, который предполагал навестить брата, М. М. Достоевского, служившего близ Гельсингфорса (см. письма Ф. М. Достоевского к брату от января-февраля и апреля 1847 г.).

4. Предположение об участии Достоевского в фельетоне 13 апреля подкрепляется и некоторыми стилистическими особенностями текста. Так, автор четыре раза обращается к своим читателям, называя их «господа» (см. выше,

стр. 111, 113). Это обращение — характерная примета повествовательной манеры Достоевского 1840-х годов. В фельетонах «Петербургской летописи» оно встречается около пятнадцати раз, в «Зубоскале» — четыре, в «Двойнике», только в беседе Голядкина с регистратором, более семнадцати раз (см.: наст. изд., т. I, стр. 123—125 и наст. том, стр. 5, 6, 18, 22 и др.).

В то же время произведенное В. С. Нечаевой сопоставление данного фельетона с двадцатью фельетонами Плещеева, помещенными в 1846—1848 гг. в газете «Русский инвалид», [1] показало принципиальное различие их манеры и стиля.

5. Впоследствии в «Дневнике писателя» за 1876 г. Достоевский вернулся к содержащемуся в фельетоне 13 апреля рассуждению о филантропах и привел строки из того же стихотворения Д. Давыдова (см.: В. Комарович. Литературное наследство Достоевского за годы революции. *ЛН*, т. 15, стр. 260—261 и наст. том, примеч. к стр. 114).

Таким образом, у нас есть основания считать, что Достоевский принял участие в сочинении фельетона вместе со своим другом А. Н. Плещеевым, которому и прежде помогал в литературной работе (см.: *Фельетоны*, стр. 123—124; *ЛН*, т. 15, стр. 260—261).

Возможно, после смерти Губера фельетон был предложен редакцией Плещееву. Работа была срочной, и написанный фельетон мог не удовлетворить А. Н. Плещеева, в связи с чем он дал его Достоевскому на просмотр, а тот его радикально переделал. Это может объяснить близость стиля фельетона к манере Достоевского и подпись (не «А. П.» и не «Ф. Д.», а «Н. Н.»), а также то, что впоследствии Плещеев не участвовал в «Петербургской летописи».

Стр. 111. ...*весна! Классическая пора любви...* — Ср.: «Евгений Онегин», гл. VII, строфа II: «Как грустно мне твое явленье, Весна, весна! пора любви!»

Стр. 111. ...*пора любви и пора стихов приходят не одновременно, говорит поэт...* — Ср.: «Прошла любовь, явилась муза...» («Евгений Онегин», гл. I, строфа LIX).

Стр. 111. ...*прощайте, газеты, взгляды, нечто...* — «Взгляд ...», «нечто» — характерные элементы названия обозрений, литературно-критических или публицистических статей в 1830—1840-е годы. В начале 1847 г. в «Современнике» (№ 1) появилась статья Белинского «Взгляд на русскую литературу 1846 г.», а в «Отечественных записках» (№ 1) — В. Н. Майкова «Нечто о русской литературе в 1846 г.».

Стр. 111. ...*зевать в душных оградах...* — образ, подсказанный строками из поэмы А. С. Пушкина «Цыганы» (1824):

О чем жалеть? Когда б ты знала,
Когда бы ты воображала
Неволю душных городов!
Там люди в кучах за оградой
Не дышат утренней прохладой...

Стр. 111. ...*не будем слушать графа де Сюзора* ∾ *нравы славянофилов.* — Граф Сюзор прочитал в Петербурге с 24 ноября по 11 декабря 1846 г. шесть лекций о французской литературе. Рассказывая об этом событии, И. С. Тургенев писал в «Современных заметках», появившихся в январском номере «Современника» за 1847 г.: «Граф Сюзор читал нам, северным варварам, лекции о французской литературе, о том, какие у французов были умные люди, и как эти умные люди приятно писали, и как все другие нации им подражали и должны подражать, и как это всё хорошо и приятно» (*Тургенев, Сочинения*, т. I, стр. 311).

---

[1] См. о них: Н. С. Гаранина. Литературно-критическое наследие А. Н. Плещеева. «Вестник Московского университета», 1961, № 3, стр. 42—55); Л. С. Пустильник. Атрибуция анонимных и псевдонимных критических статей и рецензий Плещеева. «Научные доклады высшей школы». Филологические науки, 1962, № 2, стр. 175—185.

С т р. 111. *...отправляется Гверра.* — Речь идет о цирке французского антрепренера Гверры, который пользовался наряду с цирком Лежара в сезон 1846/47 г. в Петербурге успехом. О них писала «Северная пчела» (1846, 6 ноября, № 251), а в «Русском инвалиде» (1846, 23 ноября, № 262) циркам Гверры и Лежара был посвящен фельетон графа Сюзора.

С т р. 112. *...наши Борси, Гуаско и Сальви...* — Тереза де Джиули Борси (Giuli Borsi; 1817—1877) — певица итальянской оперы, заменившая в Петербурге в сезон 1846/47 г. Полину Виардо и, вопреки ожиданиям, пользовавшаяся успехом. Даже Тургенев в письме к Полине Виардо от 21 октября (2 ноября) 1846 г. вынужден был признать, что «она нравится и должна нравиться, потому что это — всё же замечательная певица» (*Тургенев, Письма*, т. I, стр. 247); Борси упоминается в рассказе Достоевского «Чужая жена и муж под кроватью» (1848; наст. изд., т. II, стр. 62). Гуаско (Guasco) — певец итальянской оперы в Петербурге, драматический тенор. Сальви — певец итальянской оперы в Петербурге, тенор; Достоевский считал его «очень уж слащавым и бездушным» (см.: *Достоевский в воспоминаниях*, т. I, стр. 171).

С т р. 112. *Потом был Эрнст...* — См. примеч. к стр. 22.

С т р. 112. *Цирки удались.* — См. примеч. к стр. 111.

С т р. 113. *Ей мерещится трепак* ∾ *вино через край и не в меру.* — Возможно, эти строки написаны под впечатлением следующих стихов Пушкина:

Теперь мила мне балалайка
Да пьяный топот трепака
Перед порогом кабака.

(«Отрывки из путешествия Онегина»).

С т р. 114. *...отчет Общества посещения бедных...* — Общество посещения бедных было основано в Петербурге, в январе 1847 г. Отчет общества, составленный В. А. Соллогубом, печатался в «С.-Петербургских ведомостях» в конце февраля 1847 г. (№ 42—45).

С т р. 114. *Укажем на того денщика, который прислал 20 р⟨ублей⟩ серебром...* — В «С.-Петербургских ведомостях» (1847, 26 февраля, № 45) сообщалось, что денщик Федор Трофимов прислал в кассу Общества посещения бедных 20 рублей.

С т р. 114. *...видели за стеклом последнюю «Ералаш»* ∾ *изображен филантроп...* — Во второй тетради «Ералаша» (альбом карикатур, издававшийся М. Неваховичем в 1846—1847 гг.) был изображен филантроп в двух видах: «В публике» (подает нищему милостыню) и «Дома» (бьет лакея в зубы).

С т р. 114. *Старого Гаврило* ∾ *да в рыло...* — Строки из стихотворения Дениса Давыдова (1784—1839) «Современная песня» (1836), популярные в 1830—1840-х годах. Белинский в 1844 г. дважды цитировал их в седьмой статье о Пушкине (см.: *Белинский*, т. VII, стр. 387, 394). Предшествующую строфу из этого же стихотворения Достоевский впоследствии привел в «Дневнике писателя» за 1876 г.:

Томы Тьера и Рабо
Он на память знает
И, как ярый Мирабо,
Вольность прославляет

(Июнь, Гл. первая, § II, «Несколько слов о Жорж-Занде»).

ОТ РЕДАКЦИИ

(Стр. 115)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: *Вр*, 1861, № 1, без подписи, на задней странице обложки журнала (ценз. разр. — 1 декабря 1860 г.).

В собрание сочинений впервые включено в издании: *1883*, т. I, отд. I, стр. 200—202.

Печатается по тексту первой публикации.

Перепечатывая данную заметку, Страхов не приписал ее Достоевскому определенно, что дает основание предположить, что она написана совместно обоими братьями-редакторами «Времени». Тем не менее можно предположить на основании связи с «Объявлением о подписке...» (см. выше, стр. 35) и того, что в заметке охарактеризовано содержание статьи «Г-н —бов и вопрос об искусстве», что участие Ф. М. Достоевского было решающим.

Объявление «От редакции» по содержанию тесно примыкает к «Объявлению о подписке на журнал „Время“». Примечательная черта его — резкий акцент на разногласиях со славянофилами, утверждение, что «хотя в славянофилах было много любви к родине, но чутье русского духа они потеряли» (стр. 115). Славянофилам брошены упреки в отвлеченности, фантастичности взгляда на русский древний быт и современную действительность. Упреки эти получат в дальнейшем развитие во многих статьях «Времени», причем особенной резкостью тона выделяются статьи Ф. М. Достоевского: «Последние литературные явления. Газета „День“» и «Два лагеря теоретиков» (1862).

Стр. 115. *...как ошибаются те господа ∾ с недоумением...* — Здесь имеется в виду славянофильское отношение к старинной русской одежде, многочисленные выступления в ее защиту К. С. Аксакова и реакция общества на переодевание в простонародный костюм его и других славянофилов. Еще в альманахе «Первое апреля» (1846), в котором участвовал Достоевский, этот способ слияния с народом был высмеян в юмореске «Славянофил». Свое ироническое отношение к маскарадному переодеванию Достоевский выскажет и в статье «Последние литературные явления. Газета „День“».

Стр. 115. *Ряд статей о русской литературе ∾ будет следовать, по возможности, непрерывно.* — Статьи Достоевского из цикла «Ряд статей о русской литературе» появились в январском, февральском, июльском, августовском и ноябрьском номерах «Времени» за 1861 г.

Стр. 116. *Особенное внимание ∾ отделы Внутренних новостей и Политического обозрения.* — Редакция «Времени» сочла необходимым подчеркнуть общественно-политический характер издания. «Внутреннее обозрение» до октября 1862 г. в журнале вел А. У. Порецкий, а затем — А. Е. Разин, он же вел «Политическое обозрение».

ПРИЛОЖЕНИЕ II

1. ОБЪЯСНЕНИЯ И ПОКАЗАНИЯ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО ПО ДЕЛУ ПЕТРАШЕВЦЕВ

(Стр. 117)

1

Ф. М. Достоевский познакомился с М. В. Буташевичем-Петрашевским, по собственному свидетельству, весной 1846 г., а собрания («пятницы») у Петрашевского начал посещать с марта-апреля следующего года (см. выше, стр. 136, 138). Ко времени их встречи Петрашевский, как видно из показаний Достоевского Следственной комиссии, уже был знаком с его другом — поэтом А. Н. Плещеевым. Вероятно, Петрашевский успел прочесть недавно появившихся «Бедных людей» и «Двойника»: по словам Достоевского, встретив его вместе с Плещеевым случайно в кондитерской и узнав от Плещеева, кто его собеседник, Петрашевский сам сделал первый шаг к знакомству с Достоевским и сразу же задал ему вопрос: «Какая идея вашей будущей повести?..» (стр. 138).

Из материалов допроса Петрашевского явствует, что он считал талант Достоевского «не из маленьких в нашей литературе» (*Дело петрашевцев*, т. I, стр. 148). Это, вероятно, и побудило Петрашевского искать знакомства

с начинающим писателем, а также пригласить его участвовать в своих собраниях. Считая, что большие таланты «есть собственность общественная, достояние народное» и рассматривая литературу как важное средство пропаганды, Петрашевский стремился привлечь на свои собрания литераторов и возлагал на них обязанность «поселять свои идеи в публике» (там же, стр. 148, 331).

Посетив впервые одну из «пятниц» Петрашевского весной 1847 г., «около поста», Достоевский до второй половины года бывал у него — если верить его словам — «очень редко» — раз в три-четыре месяца (см. выше, стр. 138). Более регулярно он стал посещать собрания Петрашевского, к участию в которых он привлек и своего старшего брата М. М. Достоевского, зимой 1848/1849 года. Утром 23 апреля 1849 г. Достоевский, как и другие посетители «пятниц» Петрашевского, был арестован. Восемь месяцев он провел под следствием в Алексеевском равелине Петропавловской крепости. Признанный «одним из важнейших» среди привлеченных по делу петрашевцев, виновным «в умысле на ниспровержение существующих отечественных законов и государственного порядка» (*РИ*, 1849, № 276, 22 декабря), он был приговорен к расстрелу. По определению генерал-аудиториата смертный приговор петрашевцам был заменен ссылкой на каторжные работы на разные сроки. Достоевский по решению царя был сослан на каторгу на 4 года с лишением дворянства и определением после каторги на военную службу рядовым. Об отмене смертного приговора осужденным, однако, было объявлено лишь после того, как 22 декабря 1849 г., стоя на Семеновском плаце в Петербурге, они прошли через мучительную психологическую пытку — выслушали чтение смертного приговора и была отдана команда о приведении первой их группы к расстрелу.

Первые упоминания о деле петрашевцев появились в русской и зарубежной печати в 1850—1860-х годах, а систематическая разработка документальных материалов его началась сразу после революции 1905 г. Но известия и материалы о петрашевцах публиковались и входили в научный оборот постепенно на протяжении нескольких десятилетий. Этим, а также самим характером дошедших до нас свидетельств обусловлены довольно значительные расхождения позднейших историков в оценке многих деталей дела петрашевцев, а также — в интерпретации места Достоевского в их кругу.[1]

Основным источником для знакомства с движением петрашевцев служат для нас материалы процесса, главная часть которых опубликована в трех томах в 1937—1951 гг. (см.: *Дело петрашевцев*). Важнейшим дополнением к нему являются сочинения петрашевцев и мемуарные свидетельства.

При всем значении этих источников они не дают целостной, полной, отчетливой во всех звеньях и деталях картины. В своих показаниях наиболее осведомленные петрашевцы были заинтересованы в том, чтобы скрыть от правительства то, что не было известно посещавшему их собрания доносчику Антонелли и не привлекло внимания следствия. Каждый же из мемуаристов судил о движении и его участниках на основании того, что знал лично. Отсюда неполнота и разноречивость дошедших до нас материалов о многих этапах и обстоятельствах движения, которые — при современном состоянии источников — могут быть воссозданы лишь в той или иной мере гипотетически. Это относится и к ряду обстоятельств, связанных с участием Достоевского в деле петрашевцев.

---

[1] Из литературы о петрашевцах см.: *Петрашевцы, 1907*; *Петрашевцы*, тт. I—III; *Дело петрашевцев*, тт. I—III; *Произведения петрашевцев*; статьи В. И. Семевского (*ГМ*, 1913, №№ 10, 11; 1915, №№ 1, 3,5, 11, 12; 1916, №№ 24, 11, 12; *РЗ*, 1916, №№ 9—11); В. И. Семевский. М. В. Буташевич-Петрашевский и петрашевцы. М., 1922; *Лейкина*; В. Р. Лейкина-Свирская. Петрашевцы. Л., 1956; История русской литературы XIX века. Библиографический указатель. Под ред. К. Д. Муратовой. Изд. АН СССР. М.—Л., 1962, стр. 37—40; W. Śliwowska. Sprawa pietraszewców. Warszawa. 1964.

Дополнительные трудности при изучении петрашевцев создает несколько необычная обстановка следствия по их делу, в определенной степени повлиявшая на состав и характер его материалов. Получив в марте 1848 г. сведения об антиправительственных собраниях у М. В. Петрашевского, Николай I поручил наблюдение за ними по просьбе министра внутренних дел В. А. Перовского его доверенному лицу И. П. Липранди (см. об этом ниже, стр. 319). Между тем политические преступления после 14 декабря 1825 г. были изъяты из ведения возглавлявшегося Перовским министерства и наблюдение над ними поручено специально созданной для этого тайной полиции — III Отделению. Порученное их наблюдению дело петрашевцев Перовский и Липранди и решили, как мы можем полагать на основании показаний мемуаристов, использовать для подрыва авторитета III Отделения с тем, чтобы добиться упразднения его особого положения и подчинения его Министерству внутренних дел. Глава же III Отделения Л. В. Дубельт, зная о замыслах Перовского и Липранди, в свою очередь не был заинтересован в раздувании дела, которое возвысило бы заслуги Перовского и его агентов в глазах Николая I и уронило авторитет III Отделения. Отсюда отразившая эту борьбу пристрастность ряда следственных материалов по делу петрашевцев — еще один факт, из-за которого полная, всесторонняя характеристика деятельности последних не может быть основана только на этих материалах.

Достоевский придавал участию своему в кружках и на сходках петрашевцев исключительное значение. В «Дневнике писателя» за 1873 г., отвечая критикам «Бесов», он писал, вспоминая о себе и друзьях своей молодости: «Мы заражены были идеями тогдашнего теоретического социализма〈...〉». Мы еще задолго до парижской революции 48 года были охвачены обаятельным влиянием этих идей». И он указывал тут же, что в «*правду*... грядущего „обновления мира“ и во всю *святость* будущего коммунистического общества» он был посвящен еще в 1846 г. Белинским, закономерным, логическим следствием чего и стало его участие в кружках петрашевцев (*ДП*, 1873, XVI, «Одна из современных фальшей»).

Достоевский особо подчеркивал, что вступление в ряды петрашевцев не было результатом личного влияния на него Петрашевского (или другого отдельного лица), как не было вообще мимолетным случайным эпизодом его биографии. Оно было следствием воздействия на него «тогдашних новых идей», мощно захвативших «сердца и умы» его самого и его товарищей: «...зарождавшийся социализм сравнивался тогда, даже некоторыми из коноводов его, с христианством и принимался лишь за поправку и улучшение последнего, сообразно веку и цивилизации». Самое обозначение его и его друзей как «петрашевцев» (укоренившееся уже в это время в исторической литературе и публицистике), вызывало у писателя возражения, так как он считал, что термин этот искусственно сужает размах движения и неправильно характеризует его смысл: «...по-моему, название это неправильное; ибо чрезмерно большее число, в сравнении с стоявшими на эшафоте, но совершенно таких же, как мы, петрашевцев остались необеспокоенными. Правда, они никогда и не знали Петрашевского, но совсем не в Петрашевском было и дело, во всей этой давно прошедшей истории, вот что я хотел лишь заметить» (там же).

Из оценки Достоевским петрашевцев явствует, что движение их было в понимании писателя более широким, чем это представлялось Следственной комиссии. Посетители «пятниц» Петрашевского были, по его мнению, лишь *частью* молодежи, «зараженной» «идеями тогдашнего теоретического социализма». Имена многих ее представителей, не знавших Петрашевского лично, но разделявших убеждения осужденных, остались правительству неизвестными.

Следует заметить, что точку зрения Достоевского на кружки петрашевцев как на ответвление более широкого, но оставшегося нераскрытым правительством оппозиционного общественного движения 1840-х годов полностью разделял его первый биограф О. Ф. Миллер, лично знавший многих из петрашевцев и опиравшийся на их устные свидетельства. «В сороковых годах образовалось несколько отдельных кружков, — записал Миллер. — По свидетельству 〈петрашевца〉 И. М. Дебу, один из них завелся в Петербургском

университете 〈...〉 Стали думать о чтениях, об устройстве особой студенческой библиотеки 〈...〉 Мало-помалу студенты стали сами знакомиться с Л. Штейном и Гакстгаузеном, с одной, Л. Бланом, Фурье и Прудоном, с другой стороны. К кружку этому принадлежали (по словам участвовавшего в нем г-на Дебу) Ханыков и Фонвизин (сын декабриста, выехавший из Петербурга на юг в 1847 г.). Затем стали заводиться кружки и помимо университета...» (*Биография,* стр. 80). Петрашевский, по мнению Миллера, знал о существовании многих из подобных кружков: «Ему желательно было, чтобы таких кружков заводилось как можно более, чтобы ими с разных концов велась пропаганда — причем не только не было нужно, но не было даже желательно, чтобы кружки эти знали друг друга...» (там же). Некоторые из мемуаристов указывают на личные и общественно-идеологические связи круга посетителей «пятниц» Петрашевского и круга Белинского (см.: П. П. Соколов. Воспоминания. Изд. «Academia», Л., 1930, стр. 78—90; здесь охарактеризованы также кружок известного переводчика Диккенса Иринарха Введенского, где бывал молодой Чернышевский,[1] и многие другие кружки и тайные общества конца 1840-х годов).[2]

Достоевский утверждал не только, что те правительственные органы, которые вели расследование по делу петрашевцев, имели преуменьшенное понятие о степени распространения социалистических идей в России 1840-х годов и о круге лиц, захваченных этими идеями, из которых они выловили сравнительно небольшую часть; следствие не смогло также, по словам Достоевского, разобраться до конца в роли отдельных участников дела и, в частности, его собственной роли. Ознакомившись с изданной в Лейпциге в 1875 г. книгой «Общество пропаганды в 1849 г.» — первым изложением следственного дела петрашевцев, писатель сказал жене, по свидетельству Миллера, что книга эта «верна; но не полна. Я, — пояснил он, — не вижу в ней моей роли...» «Многие обстоятельства, — прибавляет он, — совершенно ускользнули; целый заговор пропал» (*Биография,* стр. 90). «Тут было всё, что и в последующих заговорах, которые были только списками с этого, — рассказывал Федор Михайлович, — т. е. тайная типография и литография, хотя не было, конечно, посягательств» (там же). Под словом «посягательства» Достоевский и Миллер имели в виду террористические акты революционеров 1870—1880-х годов.

О том, что воспоминание об участии в деле петрашевцев вызвало у Достоевского мысль не только о происходивших в кружках петрашевцев дискуссиях, но и о политическом заговоре, с особой очевидностью свидетельствуют строки, посвященные им в 1876 г. в «Дневнике писателя» М. М. Достоевскому. Говоря здесь о прикосновенности своего старшего брата к делу петрашевцев, Достоевский замечает: «В сорок девятом году он был арестован по делу Петрашевского и посажен в крепость, где и высидел два месяца. По прошествии двух месяцев их освободили несколько человек (довольно многих), как невинных и неприкосновенных к возникшему делу. *И действительно: брат не участвовал ни в организованном тайном обществе у Петрашевского, ни у Дурова.* Тем не менее он бывал на вечерах Петрашевского и пользовался из тайной общей библиотеки, склад которой находился в доме Петрашевского, книгами. Он был тогда фурьеристом и со страстью изучал Фурье 〈...〉 То, что он был фурьеристом и пользовался библиотекой, откры-

---

[1] Ср.: А. П. Милюков. И. И. Введенский. В кн.: А. П. Милюков. Литературные встречи и знакомства. СПб., 1890, стр. 62—81. О том, что лица, арестованные по делу Петрашевского, — лишь «случайно вырванная» часть членов тогдашних кружков, писал П. П. Семенов-Тян-Шанский, которому, однако, остались неизвестными революционные замыслы участников движения (см.: П. П. Семенов-Тян-Шанский. Мемуары. Т. I. Детство и юность (1827—1855). Пгр., 1917, стр. 194—215; ср.: *Достоевский в воспоминаниях,* т. I, стр. 202—216; П. М. Ковалевский. Стихи и воспоминания. СПб., 1912, стр. 201.

[2] Ср.: *Долинин, Достоевский среди петрашевцев,* стр. 513.

лось, и, конечно, он мог ожидать если не Сибири, то отдаленной ссылки как подозрительный человек» (*ДП*, 1876, апрель, гл. 2, IV; курсив наш, — *ред.*).

Из приведенных слов очевидно, что Достоевский проводил между собою и своим старшим братом, также арестованным по делу Петрашевского, но вскоре освобожденным из-под следствия (хотя и остававшимся, как мы теперь знаем, до конца жизни под полицейским надзором), [1] разделительную черту: М. М. Достоевский, хотя он и бывал у Петрашевского и Дурова, не участвовал, по словам брата, «в организованном тайном обществе». Себя же писатель, напротив, причислял к тем осужденным, которые участвовали в «тайном обществе» (или «заговоре»), если пользоваться собственным его определением.[2]

Совокупность приведенных не допускающих различных толкований свидетельств писателя заставляет ныне при анализе движения петрашевцев и изучении конкретных обстоятельств участия в нем Ф. М. Достоевского опираться не только на материалы следствия, но корректировать их с помощью других дошедших до нас разнообразных источников — документально-исторических, мемуарных и автобиографических.

Важнейшее значение при этом приобретают опубликованные в 1922—1956 гг. письма А. Н. Майкова к П. А. Висковатову о Достоевском-петрашевце и его устный рассказ на ту же тему, записанный поэтом А. А. Голенищевым-Кутузовым (см. выше, стр. 191—195). Свидетельства А. Н. Майкова (его старший брат, рано умерший критик Валериан Майков, был близко связан с Петрашевским и его кругом, а сам он привлекался по делу петрашевцев и хорошо знал многих участников последнего) впервые дали возможность расшифровать смысл замечания Достоевского о «заговоре», оставшемся в 1849 г. неизвестным правительству, и об участии в нем Достоевского. Следует особо подчеркнуть, что А. Н. Майков с молодых лет был близким, интимным другом Достоевского. Именно поэтому он раскрыл доверенную ему писателем тайну лишь после его смерти, да и то решился сообщить о ней частным лицам, не предназначая своих сообщений для печати.

Из материалов следствия по делу петрашевцев и из публикуемых в настоящем томе показаний на нем Достоевского видно, что кроме основных — широких и пестрых по составу участников — собраний у Петрашевского с 1848 г. начали устраиваться также более узкие и замкнутые собрания единомышленников. Так возник «литературный» (или «литературно-музыкальный») кружок С. Ф. Дурова, в который входили братья Достоевские и близкие им литераторы — А. Н. Плещеев, А. И. Пальм, А. П. Милюков, а также Н. А. Спешнев, Н. А. Момбелли, Н. П. Григорьев, П. Н. Филиппов и ряд других радикально настроенных петрашевцев. Из воспоминаний Майкова стало известно об одной, наиболее решительной «фракции общества Петрашевского», «тайном обществе с тайной типографией», организованной в январе 1849 г. Н. А. Спешневым. Конечной целью этой фракции Спешнев считал «произвести переворот в России» (см. выше, стр. 194).

Свидетельства Майкова подтверждают и разъясняют слова Достоевского о том, что петрашевцам в своих показаниях удалось скрыть от Следственной комиссии ряд обстоятельств дела, которые еще больше отяготили бы их вину. Вместе с тем только с учетом раскрытых Майковым обстоятельств могут быть верно оценены тогдашние настроения Достоевского и его место среди петрашевцев.

Комментированный критический свод материалов о Достоевском-петрашевце (куда вошла основная часть полностью печатаемых в данном томе показаний Достоевского на следствии) см.: *Бельчиков*. Ср. также о Достоевском и петрашевцах: *Биография*, стр. 75—127; *Достоевский в воспоминаниях*, т. I,

---

[1] См. об участии М. М. Достоевского в процессе петрашевцев, об его аресте и освобождении публикацию: Следственное дело М. М. Достоевского-петрашевца. *Материалы и исследования*, т. 1, стр. 254—265.

[2] О том, что Достоевский главное в деле петрашевцев квалифицировал как «политический заговор» пишет и его дочь, — очевидно, со слов А. Г. Достоевской и Миллера. См.: *Достоевская, Л. Ф.*, стр. 23,

стр. 179—234; Е. Покровская. Достоевский и петрашевцы. В кн: *Сб. Достоевский, I*, стр. 257—272; *Долинин, Достоевский среди петрашевцев*, стр. 512—545; *Кирпотин, Достоевский и Белинский*, стр. 201—226, 409—442.

В общих чертах эволюция взглядов Достоевского в 1847—1849 гг., когда он посещал кружки петрашевцев, рисуется в следующем виде. Уже до знакомства с Петрашевским и посещения его собраний Достоевский, увлекавшийся еще с конца 1830-х годов романами Ж. Санд и внимательно следивший за новинками французской литературы и журналистики, познакомился с идеями французских утопических социалистов. Особое значение для приобщения Достоевского к идеям тех направлений европейской общественной мысли, которые идеологически подготовили революцию 1848 г. на Западе, сыграло сближение с Белинским, знакомство с Валерианом Майковым и участие в 1846 г. в кружке братьев Бекетовых, организовавших под влиянием идей тогдашних социалистов род своеобразной бытовой «ассоциации» (коммуны), в которой участвовал и Достоевский (коммуна эта распалась в начале 1847 г. в связи с отъездом Бекетовых в Казань).

Идейная атмосфера второй половины 1840-х годов, общение с Белинским, В. Н. Майковым, А. Н. и Н. Н. Бекетовыми, А. Н. Плещеевым, Д. В. Григоровичем, чтение французских газет и журналов, Шиллера, Ж. Санд, Э. Сю, Бальзака, Гюго, Герцена, знакомство с идеями Сен-Симона, Фурье, Консидерана, Ламенне, Л. Блана, Б. Бауэра, М. Штирнера, Л. Фейербаха, вокруг имен которых в кругу знакомых писателя постоянно вспыхивали острые дискуссии (на которых он часто присутствовал), — всё это подготовило Достоевского к участию в кружках петрашевцев.

Познакомившись с Петрашевским, Достоевский, как мы уже знаем, первые два года редко бывал на его собраниях. Это объясняется, однако, не отсутствием у него общих интересов с Петрашевским и его кругом или идейными расхождениями с ними, но другими причинами: несмотря на охлаждение с начала 1847 г. отношений с Белинским (об отношениях Достоевского с Белинским более подробно см. ниже, стр. 338), вскоре после чего Достоевский и посетил впервые «пятницу» Петрашевского, он продолжал бывать у Белинского и в 1847 г. Напряженная литературная работа, длительная поездка на лето к брату в Ревель в 1846 г. и жизнь на даче в Парголове в 1847—1848 гг., замкнутость Достоевского, болезненный для него конфликт с литераторами из круга Белинского (Тургеневым, Некрасовым), дружеское общение с А. Н. Плещеевым, Я. П. Бутковым, В. Н. и А. Н. Майковыми — причины, достаточные для объяснения редких посещений Достоевским в 1847 и первой половине 1848 г. «пятниц» Петрашевского.

Вероятны, однако, еще и другие мотивы: обнаружившаяся вскоре после знакомства личная антипатия Достоевского к Петрашевскому, а также сложившееся у него к этому времени общее скептическое отношение к различного рода идеологически пестрым и многочисленным петербургским «кружкам» (об этом см. выше, стр. 12 и 121).

О личной антипатии Достоевского к Петрашевскому говорят не только показания Достоевского, но и свидетельства мемуаристов, а также психологическое сближение Достоевским Петрашевского (как и Нечаева) с Петром Верховенским на определенном этапе творческой работы над «Бесами» (см. об этом: наст. изд., т. XI, стр. 106; т. XII, стр. 218—219).[1]

Во время процесса петрашевцев в центре внимания Следственной комиссии находился последний период в жизни кружков, освещенный в показаниях Антонелли и самих обвиняемых. Поэтому мы не можем точно перечислить всех «пятниц» Петрашевского, которые Достоевский посетил в 1847—1848 гг., и восстановить полностью содержание происходивших на них споров. Но со-

---

[1] Об отрицательном впечатлении, которое Петрашевский своим «чудачеством» и вообще (вероятно, искусно разыгранным) внешним поведением произвел не на одного Достоевского, но и на многих других современников, отказывавшихся признать в нем «серьезного и основательного человека», см. *Лейкина*; *Достоевский в воспоминаниях*, т. I, стр. 204—206.

чинения и показания петрашевцев свидетельствуют о том, что споры эти затрагивали едва ли не всю совокупность философских, социально-экономических, политических, моральных и литературно-идеологических вопросов эпохи. В то время как декабристы были политическими революционерами по преимуществу и их занимали в первую очередь вопросы революционной тактики и подготовка будущей конституции, петрашевцы, опираясь на философскую критику, политико-экономические учения и социалистические системы 1840-х годов, стремились соединить обсуждение программы политических преобразований с всесторонним анализом традиционной философии, религии, морали и всей системы сложившихся в России и на Западе социально-экономических и политических институтов. В этом — значение для Достоевского философской «школы», которую он прошел в кругу петрашевцев.

Из показаний Достоевского видно, что он слышал у Петрашевского речь К. И. Тимковского, в которой последний призывал перестать бесплодно толковать «о превосходстве одной социальной системы перед другою», но действовать каждому «в своем кружке» для «торжества новых идей», пока реакция не задавила «социального движения» (*ЛН*, т. 63, стр. 172). Достоевский присутствовал также, как мы знаем, на одной из лекций И. Л. Ястржембского по политической экономии (стр. 132). Наряду со спорами по социальным вопросам писатель был в курсе происходивших у Петрашевского философских дискуссий о религии и атеизме. Выступал Достоевский на собраниях Петрашевского и сам — на близкие ему темы о цензуре, положении литературы и писателя в николаевской России и о соотношении в литературе общественного и художественного содержания (см. выше, стр. 124—126, 128—129). При обсуждении вопроса о том, какое из трех преобразований—освобождение крестьян, свобода печати и судебная реформа — является для России наиболее насущным, Достоевский, как и докладчик В. А. Головинский, высказался за первоочередность уничтожения крепостного права, разойдясь с М. В. Петрашевским, отстаивавшим приоритет судебной реформы (см. выше, стр. 142). Громадное впечатление на присутствующих произвело чтение Достоевским на «пятнице» Петрашевского 15 апреля 1849 г. антикрепостнического письма Белинского к Гоголю, — чтение, исполненное страстного пафоса и повторенное на собрании дуровского кружка. Одна из тем, на которые, как мы знаем, Достоевский говорил у Петрашевского, — «о личности и об эгоизме» — связана с основной философской проблематикой его творчества как 1840-х годов, так и позднейшего времени. Достоевский охарактеризовал в этом выступлении, по собственному признанию, вредные последствия эгоизма и ложной «амбиции» (ведущих к «размельчению личности») и противопоставил им свое понимание «настоящего человеческого достоинства» (стр. 129).

При скептическом, как мы уже знаем, отношении к Петрашевскому лично Достоевский ценил его собрания прежде всего именно за широту обсуждавшихся вопросов, свободу и резкость столкновения мнений. «Это был спор, который начался один раз с тем, чтобы никогда не кончиться, — читаем мы в его объяснении Следственной комиссии. — Во имя этого спора и собиралось общество, — чтобы спорить и доспориться; ибо каждый почти раз расходились с тем, чтобы в следующий раз возобновить спор с новою силою...» (стр. 129). Приведенные слова крайне знаменательны для будущего автора «Преступления и наказания», «Бесов» и «Братьев Карамазовых» — романов, в каждом из которых никогда не заканчивающийся спор по основным моральным, социальным и философским вопросам составляет его сердцевину.

Достоевский способствовал привлечению на собрания Петрашевского новых участников — В. А. Головинского и своего старшего брата М. М. Достоевского. Это свидетельствует о том, что антипатия к Петрашевскому (критическую сводку свидетельств об их отношениях см. ниже, стр. 336), как и скептическое отношение писателя к «кружкам», выраженное в апреле 1847 г. в «Петербургской летописи» (т. е. в момент раннего знакомства Достоевского с петрашевцами), не помешали ему в 1847—1849 гг. продолжать посещение собраний петрашевцев, причем именно в конце этого периода, в последние месяцы перед арестом участников собраний, посещения эти становятся более регулярными, а участие в них Достоевского — более активным.

Этому можно дать лишь одно объяснение: под влиянием событий революции 1848 г. на Западе и усилившейся в связи с ними реакции в России Достоевский в конце 1848—начале 1849 г. испытывает растущее острое недовольство русской самодержавно-крепостнической государственностью. И так как аналогичную эволюцию переживают одновременно многие другие участники собраний Петрашевского, их сближение и совместные усилия кладут начало общему новому периоду деятельности петрашевцев.

В конце 1848 г. группа петрашевцев организует кружок С. Ф. Дурова, куда вошел и Достоевский. Первый биограф Достоевского писал, что «в кружке Дурова были, по-видимому, самые пылкие люди, и эта пылкость доводила их до неосторожности, которую вовсе не одобрял Петрашевский» (*Биография*, стр. 85).

Петрашевский — «дурак, актер и болтун; у него не выйдет ничего путного, а ⟨...⟩ люди подельнее из его посетителей задумали дело, которое Петр⟨ашевско⟩му неизвестно, и его туда не примут...» — так передает тогдашние слова Достоевского А. Н. Майков (см. выше, стр. 191). Воспоминания его в данном случае совпадают с рассказом Миллера, и это подтверждает их достоверность.

Из рассказа Миллера и воспоминаний Майкова не следует делать вывода, что кружок С. Ф. Дурова состоял из одних «пылких людей». Ни сам Дуров, ни его друг А. И. Пальм, ни М. М. Достоевский, да и ряд других посетителей собраний Дурова не принадлежали к числу наиболее решительных петрашевцев и даже не знали о задуманном «деле» (а тем более не были его участниками). С другой стороны, Петрашевский, как явствует из слов Миллера, не одобрял «неосторожности» «самых пылких» из дуровцев не потому, что не сочувствовал их конечным целям, а потому, что в наличных условиях считал их действия «неосторожными» в точном смысле слова, т. е. опасными с полицейской точки зрения, в условиях глубокой реакции 1848—1849 гг. и не соответствующими задачам момента, как он их понимал.

Петрашевский считал, «что русское общество не может быть пересоздано силами узкой конспиративной организации небольшого числа романтически настроенных молодых людей ⟨...⟩ В условиях России 40-х годов заговорщицкая тактика Спешнева была более романтической, „пылкой“, но и менее реалистической», — верно пишет исследователь (*Бельчиков*, стр. 75; ср.: *Биография*, стр. 85; *Семевский*, *Петрашевский*, стр. 68).

В официальной сводке-докладе генерал-аудиториата о кружке Дурова говорится: «Собрания у литераторов Дурова и Пальма, живших вместе на одной квартире, были немногочисленны и существовали с первых чисел марта до половины апреля сего года (1849, — *ред.*), по одному разу в неделю. Они заведены были сначала с целью музыкально-литературною ⟨...⟩ но после четырех или пяти вечеров вместо музыки и чисто литературных статей начали читать статьи в либеральном духе, именно: коллежский секретарь Милюков прочел свой перевод из «Paroles d'un croyant» ⟨Слова верующего *(франц.)*⟩ (Ф. Ламенне, — *ред.*) под названием «Новое откровение митрополиту Антонию»,[1] подсудимый Достоевский читал переписку Белинского с Гоголем, дерзкого и преступного содержания, а подсудимый Дуров — два письма от литератора Плещеева к нему и Достоевскому ⟨...⟩ На вечерах Дурова и Пальма, кроме самих их, бывали из подсудимых Спешнев, ⟨Ф. М.⟩ Достоевский, Плещеев, Момбелли, Львов, Григорьев, Филиппов и Головинский и другие пять человек из знакомых» (*Петрашевцы*, т. III, стр. 10).[2]

Из приведенной сводки видно, что за короткое время кружок Дурова пережил два этапа. Это подтверждают и другие материалы. На первом из них, по крайней мере внешне, на его собраниях преобладали музыкально-литературные темы и интересы. Но уже на одном из первых вечеров у Дурова

---

[1] См. выше, стр. 158.

[2] Кроме перечисленных лиц, нам известны имена и других посетителей собраний Дурова: М. М. Достоевский, Н. А. Кашевский, Е. И. и П. И. Ламанские, А. П. Милюков, Н. А. Мордвинов, А. Д. Щелков.

Н. А. Момбелли выступил с призывом к тесному сплочению людей с «одинаковым настроением и образом мыслей» (там же, стр. 85). Что кружок организовывался с самого начала с политическими целями, причем одним из инициаторов создания его был Достоевский, свидетельствует Спешнев, показавший на допросе, что «в ноябре или в конце октября 1848 г. 〈...〉 пришли к нему Плещеев и Достоевский и сказали, что им хотелось бы сходиться со своими знакомыми в другом месте, а не у Петрашевского», мотивируя это, между прочим, боязнью шпионов, что и положило начало собраниям кружка (там же, стр. 59). Сам Спешнев, как свидетельствует найденный в его бумагах проект обязательной подписки для членов тайного «Русского общества», еще с 1845 г. носился с идеей вооруженного восстания, признавая необходимым создание для этой цели строго законспирированной революционной организации (*Дело петрашевцев*, т. III, стр. 445—446). Вскоре политические цели кружка вышли на поверхность. После чтения Достоевским письма Белинского к Гоголю П. Н. Филиппов предложил «заняться общими силами разрабатыванием статей в либеральном духе, относящихся до современного состояния России в юридическом и административном отношении...» (*Петрашевцы*, т. III, стр. 202). Тогда же Филиппов предложил завести для печатания антиправительственных статей домашнюю литографию. Это новое предложение повело к расколу кружка, так как М. М. Достоевский, А. Д. Щелков, Н. А. Кашевский и некоторые другие его члены, испуганные предложением Филиппова и не сочувствовавшие ему, выступили с резким протестом против него. Но идейный раскол кружка и последовавшее в результате этого официальное прекращение собраний у Дурова с середины апреля 1849 г. не означали ликвидации возникшего в его недрах «заговора».

Как мы уже знаем, некоторые из петрашевцев — Н. А. Момбелли, Н. А. Спешнев, Ф. Н. Львов — уже давно склонялись к созданию узкого тайного общества заговорщицкого типа, составленного из наиболее решительно настроенных петрашевцев, которые бы смело взяли на себя инициативу и сразу приступили к началу организованных практических действий. Такое именно «особое тайное общество» и возникло, как рассказывает Майков, в конце 1848—начале 1849 г. под руководством Н. А. Спешнева. В него вошли Н. А. Мордвинов, Момбелли, П. Н. Филиппов, Н. П. Григорьев, В. А. Милютин, Ф. М. Достоевский и, возможно, неизвестное пока нам восьмое лицо (Достоевский предлагал в качестве восьмого члена А. Н. Майкова, но он отказался, и его место мог занять кто-то другой — см. выше, стр. 191 и 194). Ставя своей конечной целью «произвести переворот в России» (то есть выдвигая на первый план политическую задачу борьбы с самодержавием и, видимо, полагая, что решение более широкого комплекса вопросов о будущем социально-экономическом устройстве России, которые усиленно обсуждались в 1847—1848 гг. другими кружками петрашевцев, должно не столько предшествовать ей, сколько явиться ее результатом), участники спешневского заговора начали свою практическую деятельность с заведения типографского станка (так как первоначальный проект заведения литографии оказался дорогим и малоэффективным) «для печатания разных книг и даже журналов». Тем самым они пошли по пути, который еще в XVIII в. был предуказан Радищевым, и в какой-то мере предварили в своих планах идею создания вольной русской печати, осуществленную через несколько лет в Лондоне А. И. Герценом. Арест петрашевцев, за которыми к этому времени уже в течение нескольких месяцев велась слежка, в том числе членов спешневского кружка (хотя правительственному агенту Антонелли и не удалось проникнуть в их тайну), помешал претворению этого плана в жизнь: заказанный по частям и находившийся на квартире Н. А. Мордвинова станок был уничтожен после ареста Мордвинова его родными.[1]

[1] В. Р. Лейкина-Свирская полагает, что операция по изъятию станка была проведена близкими Спешнева, которые, возможно, переправили его к Мордвинову (см.: В. Р. Лейкина-Свирская. Революционная практика петрашевцев. *ИЗ*, т. 47, 1954, стр. 217). В ходе следствия на определенном этапе Комиссии стал известен проект устройства типографии, но она

Косвенное подтверждение свидетельства Миллера и Майкова об участии писателя в созданном под руководством Спешнева «заговоре» дает рассказ мало посвященного в умственную жизнь и идейные интересы Достоевского 1840-х годов врача С. Д. Яновского о непонятной для него «перемене», происшедшей «во внешности» Достоевского в конце 1848 г. Полемизируя с только что вышедшей тогда биографией О. Ф. Миллера (свои мемуары Яновский опубликовал в 1885 г.) и категорически отказываясь, вопреки изложенным Миллером фактам, видеть в молодом Достоевском «заговорщика», консервативно настроенный Яновский вынужден был все же признать, что зимой 1848 г. Достоевский «поддался видимым образом авторитету» Спешнева, который, «как говорили тогда все, был безусловный социалист». Отвечая на расспросы Яновского о причинах происшедшей с Достоевским перемены (которая «заключалась в том, что он сделался каким-то скучным, более раздражительным, более обидчивым и готовым придираться к самым ничтожным мелочам» и часто спорил с братом по политическим вопросам, критикуя утопизм Фурье и противопоставляя взглядам последнего «какое-то сочинение» Луи Блана), писатель скрыл от последнего истинную причину этой «перемены», объяснив ее тем, что взял у Спешнева в долг 500 рублей и не может да, вероятно, и никогда не сможет их отдать. «Понимаете ли вы, что у меня с этого времени есть свой Мефистофель», — сказал при этом Достоевский Яновскому, подчеркнув, что он сознавал опасность взятого им на себя по побуждению Спешнева обязательства, необходимость хранить которое в тайне, как и мысль о сопряженной с ним опасности, очевидно, психологически тяготили его (*Достоевский в воспоминаниях,* т. I, стр. 171—173).

О степени непосредственного знакомства Достоевского с социалистической литературой 1840-х годов и ее различными направлениями и современниками, и биографами писателя высказывались противоречивые взгляды. На своей последней «пятнице» перед арестом, 22 апреля 1849 г., Петрашевский упрекал литераторов, посещавших его собрания, в том числе Достоевского, что им недостает образования (*Дело петрашевцев,* т. II, стр. 163—164). Его друг А. П. Баласогло добавил, что «Достоевский и Дуров, посещающие собрания Петрашевского уже три года, могли бы, кажется, пользоваться от него и книгами и хоть наслышкой образоваться», они же не читали «ни одной порядочной книги: ни Фурье, ни Прудона, ни даже Гельвеция» (*Семевский, Петрашевский,* стр. 165). Лично далекий от Достоевского И. М. Дебу позднее говорил Миллеру также, что Достоевский, по-видимому, труды социалистов «не изучал, но познакомился с ними через Ханыкова» (*Биография,* стр. 91). Иначе судил более близкий к Достоевскому А. П. Милюков, вспоминающий: «В дуровском кружке было несколько жарких социалистов ⟨...⟩ Всё, что являлось нового по этому предмету во французской литературе, постоянно получалось, распространялось и обсуживалось на наших сходках. Толки о «Нью-Ламарке» Роберта Оуэна и об «Икарии» Кабе, а в особенности о фаланстере Фурье и теории прогрессивного налога Прудона занимали значительную часть вечера. Все мы изучали этих социалистов, но далеко не все верили в возможность практического осуществления их планов. В числе последних был Ф. М. Достоевский. Он читал социальных писателей, но относился к ним критически». С. Д. Яновский также удостоверяет, что Достоевский в это время «знал ⟨...⟩ то, что писалось и говорилось о социализме...» (*Милюков,* стр. 181; *Достоевский в воспоминаниях,* т. I, стр. 165, 185; ср. аналогичное свидетельство П. П. Семенова-Тян-Шанского и комментарий к нему там же, стр. 209, 413). Эти свидетельства Милюкова и Яновского несомненно заслуживают большего доверия не только потому, что исходят от людей, ближе наблюдавших Достоевского, но и в силу того, что подтверждаются показаниями на следствии самого Достоевского и позднейшими его признаниями, не говоря уже о его

не разобралась в нем и не придала ему значения. В качестве материалов, специально подготовленных для печатания в будущей типографии Спешнева—Мордвинова, мы можем рассматривать обращенную к солдатам «Солдатскую беседу» Н. П. Григорьева и предназначенные для пропаганды в народе «Десять заповедей» П. Н. Филиппова.

повестях и романах 40-х и последующих годов. Об известных нам книгах из библиотеки Петрашевского, которые брал Достоевский, см. ниже, примеч. к стр. 165.

То, что мы узнаем о Достоевском-петрашевце из его показаний, из воспоминаний Майкова и Милюкова, дополняет рассказы некоторых других петрашевцев — И. М. Дебу, А. И. Пальма, П. П. Семенова-Тян-Шанского,[1] а также позднейшие припоминания самого писателя.

«По внешнему виду, как заметил один из знакомых Спешнева, — рассказывает Миллер, — истый тип заговорщика сказывался в Федоре Михайловиче: он был молчалив, любил говорить один на один, был скорее скрытен, чем откровенен ⟨...⟩ Но этот самый тихий и скромный человек, как мы ⟨...⟩ слыхали от И. М. Дебу, способен был доходить в своих речах до самого потрясающего пафоса». Поэтому, по словам Дебу, «для пропаганды наиболее подходящей представлялась членам различных кружков страстная натура Достоевского, производившая на слушателей ошеломляющее действие». «Как теперь, — говорит он, — вижу я перед собою Федора Михайловича на одном из вечеров у Петрашевского, вижу и слышу его рассказывающим о том, как был прогнан сквозь строй фельдфебель Финляндского полка, отмстивший ротному командиру за варварское обращение с его товарищами,[2] или же о том, как поступают помещики со своими крепостными». «Не менее живо, — добавлял Дебу, — помню его, рассказывающего свою „Неточку Незванову“ гораздо полнее, чем была она напечатана; помню, с каким живым человеческим чувством относился он и тогда к тому общественному „проценту“, олицетворением которого у него явилась впоследствии Сонечка Мармеладова (не без влияния, конечно, учения Фурье)» (*Биография,* стр. 90—91, 95).

В романе «Алексей Слободин» (1873), по свидетельству Миллера, Пальм воспроизвел в лице самого Слободина «некоторые черты молодой поры Ф. М. Достоевского. Тут во время одного из обычных споров в описываемом в романе кружке „одни грудью стояли за гласное судопроизводство; другие видели всё спасение в свободе печатного слова; третьи провозглашали выборное начало и т. д. ... Слободин тихо и медленно сказал: „Освобождение крестьян несомненно будет первым шагом к нашей великой будущности. Эти слова, сказанные спокойным тоном давно уже воспринятого и отстоявшегося убеждения, сильно подействовали на разгоряченных спорщиков, примирили все мнения“. В том же романе выставлен другой спор по поводу политического переворота во Франции, причем Слободин замечает: „Политические вопросы меня слишком мало занимают... Мне поистине всё равно, кто у них будет — Луи-Филипп, или какой-нибудь Бурбон, или даже хоть и республика... Кому от этого будет легче? Народ выиграет несколько громких фраз, причтет несколько новых имен к своему мартирологу и пойдет на ту же самую работу, прибыльную только для одного буржуа, а стало быть, и жизнь ни на волос не будет лучше... я не верю в полезность игры в старые политические формы“[3]

---

[1] Как отмечалось выше, последнему, как и многим другим, посещавшим только собрания у Петрашевского, споры в кружке Дурова и спешневский заговор остались неизвестными, а потому воспоминания его дают неполное представление о движении петрашевцев и о роли в нем Достоевского.

[2] П. П. Семенов, видевший в Достоевском в отличие от Петрашевского не «революционера», а «человека чувства» и также слышавший этот рассказ, вспоминает: «... в минуты таких порывов Достоевский был способен выйти на площадь с красным знаменем, о чем, впрочем, почти никто из кружка Петрашевского и не помышлял» (*Достоевский в воспоминаниях,* т. I, стр. 211).

[3] Из этого свидетельства Пальма не следует делать вывода, что молодой Достоевский, как многие социалисты 1840-х годов, был равнодушен к политике. «Я ⟨...⟩ между прочим, пострадал за свои слова о том, что Россия служит политике Меттерниха», — вспоминал он, рассказывая о деле петрашевцев (*Биография,* стр. 94). В словах этих отразились не столько «славянофильские задатки Достоевского», как ошибочно полагал Миллер, сколько устойчивое отрицательное отношение его к политическому режиму Николая I и к его внешней политике, разделявшееся и другими петрашевцами.

⟨...⟩ Слободин в романе г-на Пальма заводит сношения с раскольниками ⟨...⟩ Ф⟨едор⟩ М⟨ихайлович⟩, действительно, думал о сближении с раскольниками» (*Биография*, стр. 85—87; данные фрагменты из романа см.: А. Пальм. Алексей Слободин. СПб., 1873, стр. 338—339, 354). «... А. И. Пальму помнится, что когда однажды спор сошел на вопрос: „Ну а если бы освободить крестьян оказалось невозможным иначе как через восстание?“, то Достоевский с своею обычною впечатлительностью воскликнул: „Так хотя бы чрез восстание!“». (*Биография*, стр. 85: ср. там же, стр. 87, аналогичное свидетельство о другом члене «семерки» (или «восьмерки») Спешнева — Головинском).

2

В. И. Ленин отметил в 1903 г., что социалистическая интеллигенция в России представляла к началу XIX в. «полувековое создание» и что историю ее нужно начинать «от кружка петрашевцев, примерно».[1] Петрашевцы были преемниками декабристов. Но в отличие от последних задачу борьбы с царской монархией и крепостным правом они стремились связать воедино с проблемами, поставленными западноевропейской социалистической мыслью 1840-х годов.

По свидетельству первого биографа Достоевского, петрашевцы — в том числе сам писатель — не раз обращались к параллели между собственным их движением и движением декабристов. «„Преступления тех были важнее, — рассуждали они в крепости, — так как они проникли в войско и располагали пушками и оружием“ (рассказывал Ф. М. Достоевский). „Декабристы дрались на площади, в народе, а мы только говорили в комнате“, — заметил А. Г. Достоевской покойный Спешнев» (*Биография*, стр. 99). Но Достоевский подчеркивал и то, что петрашевцы как в смысле той конечной цели, к которой они стремились, так и в смысле практического радикализма своих требований, пошли *дальше* декабристов. «Идея декабристов была ограничить самодержавие, стать лордами, — продиктовал Достоевский жене. — Они хотели освободить крестьян, но без земли» (*Биография*, стр. 89).[2] Для самого Достоевского и его друзей по кружку Дурова освобождение крестьян с земельными наделами было, напротив, по мысли писателя, первым и важнейшим среди насущных в России политических и социально-экономических преобразований. «„Социалисты, — передает Миллер слова Достоевского, — произошли от петрашевцев. Петрашевцы посеяли много семян“ ⟨...⟩ Они (петрашевцы) точно так же верили, что народ с ними ⟨...⟩ „и имели основание, так как народ был крепостной“» (*Биография*, стр. 80, 83).

Уже А. И. Герцен и Н. П. Огарев в 1830-х годах поняли, критически изучая опыт Великой французской революции в свете идей Сен-Симона и его учеников, что для установления нового общественного строя было недостаточно замены монархии республикой, но нужны были более глубокие социально-экономические преобразования. Однако насколько отвечают искомому идеалу будущего несходные между собой планы социалистического устройства общества, предлагавшиеся разными представителями европейского социализма? Какое из них наиболее разумно и в наибольшей степени отвечает потребностям человеческого общежития? И каковы те конкретные пути, которые могли бы создать необходимые исходные предпосылки для осуществления социалистических требований в России? Как слить в ней воедино борьбу за демократические и социалистические начала, утвердить в широких слоях общества

[1] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 7, стр. 438.

[2] В сохраненном вдовой Достоевского высказывании для нас важна не степень точности в оценке Достоевским программы декабристов (многие из них, как мы знаем теперь, иначе смотрели на крестьянский вопрос), но самое направление сопоставления идей декабристов и петрашевцев. Ср.: А. В. Архипова. Дворянская революционность в восприятии Ф. М. Достоевского. В кн.: Литературное наследие декабристов. Изд. «Наука», Л., 1975, стр. 219—246.

и в народе сознание их необходимости? Вопросы эти горячо занимали умы петрашевцев. Исходя из идей современного им утопического социализма, прежде всего из учения Фурье, петрашевцы первые из русских революционеров постарались осмыслить исторический опыт их развития на Западе, сопоставить детально различные их системы и связать борьбу против крепостнического и самодержавного гнета с программой не одних лишь демократических, но и социалистических преобразований.

Важнейшее значение кружки петрашевцев имели для развития русского искусства, науки и литературы. Через них прошли, испытав в различные годы их идейное воздействие, наряду с Ф. М. Достоевским, критик В. Н. Майков, М. Е. Салтыков-Щедрин, поэты А. Н. Плещеев и С. Ф. Дуров, романист и драматург А. И. Пальм, автор «России и Европы» Н. Я. Данилевский. В среде петрашевцев бывали будущий географ П. П. Семенов-Тян-Шанский, юный А. Г. Рубинштейн, а собрание одного из их кружка в 1849 г. посетил М. И. Глинка. Первый переводчик «Сущности христианства» Л. Фейербаха на русский язык петрашевец А. В. Ханыков, а позднее близкие к кругу Петрашевского И. И. Введенский и И. Д. Минаев (отец поэта-«искровца» Д. И. Минаева) были знакомы с юношей Чернышевским и способствовали формированию его убеждений.

Петрашевцы стремились установить связь с революционными кружками вне Петербурга (в Прибалтике и Сибири), искали поддержки среди различных разрядов населения, недовольных царской монархией (в том числе раскольников), среди крестьян и солдат. Часть из них, возглавляемая Спешневым, как мы уже знаем, хотела осуществить печатание в Петербурге нелегальной антиправительственной литературы. Но все эти попытки перейти к практической революционной работе в условиях России 1840-х годов натолкнулись на огромные, зачастую непреодолимые трудности. Трудности эти усугублялись тем, что, несмотря на гениальные догадки и критические прозрения, скрытые в учениях Фурье и других ранних социалистов, на идеи которых опирались петрашевцы (догадки и прозрения, по достоинству оцененные ими), учения эти имели утопический характер и оставались более или менее оторванными от реальной действительности. Связать их с насущными, первоочередными практическими нуждами жизни крепостной России было нелегко, а порою и просто невозможно. Если же учесть, что основная масса крестьянства в России 40-х годов по-прежнему оставалась неподвижной, круг же участников освободительного движения — весьма узок, станет понятным, почему осведомленный современник назвал собрания петрашевцев «заговором идей», несмотря на горячее стремление многих из его участников (свойственное также молодому Достоевскому) энергически содействовать общественным преобразованиям путем практических мер.

Историческая обстановка, в которой действовали петрашевцы, не позволила им претворить свои практические планы в жизнь: из-за трудностей этой обстановки процесс формирования революционной организации у них затянулся, фактически не закончился ко времени их ареста, вследствие чего их общество к этому времени оставалось распыленным на несколько разнородных по настроениям кружков.

Тем не менее полиция Николая I и сам царь не были обмануты «мирной» внешностью кружков петрашевцев. Даже не сумев раскрыть все звенья движения и проникнуть в тайну спешневского кружка, они верно почувствовали опасность, какую представляло для крепостнической монархии внесение в русское освободительное движение идей уже тогдашнего — утопического еще — социализма. Именно этим, по-видимому, объясняется надолго поразившая умы современников особая жестокость расправы Николая I с петрашевцами, жертвой которой стал молодой Достоевский.

3

Внимание правительства к деятельности петрашевцев было привлечено распространенной М. В. Буташевичем-Петрашевским в феврале 1848 г. в Петербурге литографированной программой, предназначенной для обсу-

ждения в столичном дворянском собрании (см.: М. В. Петрашевский. О способах увеличения ценности дворянских или населенных имений. В кн.: *Петрашевцы*, т. II, стр. 82—84; краткое изложение основных пунктов программы — в «Записке о деле петрашевцев» Ф. Н. Львова (составленной при участии Петрашевского и хранившейся в архиве герценовского «Колокола») — *ЛН*, т. 63, стр. 180).

Министр внутренних дел Л. А. Перовский, которому его подчиненный чиновник особых поручений И. П. Липранди доставил экземпляр проекта Петрашевского, снесся по этому поводу с шефом жандармов графом А. Ф. Орловым (см.: *Липранди, Записки*, стр. 11; ср.: *Липранди, Мнение*, стр. 17). Перовский и Орлов «равномерно усмотрели важность содержания» этого документа, «и оба они заметили, что это должно быть плодом тайного, обдуманного предначертания» (*Липранди, Мнение*, стр. 17). По их «обоюдному согласию» сбор сведений о Петрашевском был поручен Липранди, как первому обратившему на него внимание, причем обязанность, возложенная на него, держалась в тайне от всемогущего III Отделения (см.: *Липранди, Записки*, стр. 11).

Весьма вероятно, что беспрецедентный факт изъятия столь ответственного дела из компетенции III Отделения и передачи его соперничающему ведомству — Министерству внутренних дел — был санкционирован Николаем I, которому Перовский первым донес о плане Петрашевского; император в то время был недоволен тайной полицией (о последнем обстоятельстве см.: Н. Я. Эйдельман. Где и что Липранди. В кн.: Пути в незнаемое, вып. 9. Изд. «Советский писатель», М., 1972, стр. 147—148). Престиж III Отделения был ущемлен; информированный мемуарист писал, что граф Орлов «пообещал „согнуть в бараний рог“ всякого, кто посмеет раздуть дело, открытое Министерством внутренних дел (Перовским)...» (П. М. Ковалевский. Стихи и воспоминания. СПб., 1912, стр. 201). «Перовский, признававший отдельное существование III Отдел⟨ения⟩ ненужным, старался доказать, что и общая полиция может предупредить всякие политические перевороты и знать о зародышах таких стремлений ранее III Отдел⟨ения⟩. В этом отношении образование кружка Петрашевского представило очень удобный случай...» (Из воспоминаний А. Д. Шумахера. В кн.: *Петрашевцы*, т. I, стр. 125; ср.: *Бельчиков*, стр. 218).

Липранди взялся за розыск компрометирующих данных о Петрашевском и его кружке после 10 марта 1848 г. (см.: *Липранди, Мнение*, стр. 17—18; ср.: *Семевский, Петрашевский*, стр. 132).[1] Задача его облегчалась тем, что, по воспоминаниям современников, «о пятницах Петрашевского знал весь город» (Из воспоминаний К. Веселовского. В кн.: *Петрашевцы*, т. I, стр. 107; ср. также: Н. А. Тучкова-Огарева. Воспоминания. Изд. «Academia», Л., 1929, стр. 106; ср. собственное признание Липранди: *Липранди, Мнение*, стр. 18). Особые усилия прилагал Липранди к тому, чтобы ввести в круг Петрашевского своего агента П. Д. Антонелли, который ради этого бросил университет (см.: *Петрашевцы*, т. I, стр. 125; о подробностях знакомства Петрашевского с Антонелли и о способе, с помощью которого Антонелли вошел к нему в доверие, см.: *Семевский, Петрашевский*, стр. 132; *ЛН*, т. 63, стр. 174).

Первое донесение Антонелли, адресованное Липранди, помечено 9 января 1849 г. (см.: *Дело петрашевцев*, т. III, стр. 377). Однако на собрания Петрашевского агент долгое время не допускался. Впервые он присутствовал

---

[1] Высказывалось и противоположное предположение — что агентура Орлова одновременно с Липранди собирала информацию о кружке Петрашевского (см.: Из записок барона (впоследствии графа) М. А. Корфа. *РС*, 1900, № 4, стр. 39). Но ни одного подтверждения этой версии обнаружить не удалось; весь материал, которым располагала Следственная комиссия, приступая к своей работе, прошел через Липранди (см. журнал Следственной комиссии от 31 августа 1849 г. — *ЦГВИА*, ф. 801, оп. 84/28, д. № 55, ч. 4, лл. 331—337).

у Петрашевского на очередной «пятнице» 11 марта 1849 г.; характерно, что он явился без приглашения (см.: *Дело петрашевцев,* т. III, стр. 413—414). С этого времени Липранди получал систематическую информацию о Петрашевском и его посетителях от Антонелли и двух других агентов — Н. Ф. Наумова и В. М. Шапошникова, снявших в апреле 1849 г. помещение в доме Петрашевского под табачную лавку.

В донесении от 1 марта 1849 г. Антонелли впервые называет имя Ф. М. Достоевского: «Перед обедом сегодня в Hôtel de princes известное лицо [1] заходило к Достоевскому (сочинителю), и при моем вопросе — давно ли оно знакомо с ним, оно сказало, что знакомство уже давнишнее и что он очень дружен с обоими братьями». В следующем донесении сообщалось о посещении братьями Достоевскими «пятницы» Петрашевского и о споре между ними и хозяином о «манере писания». Вскоре Липранди узнает о некоем «обществе, составленном из литераторов, в котором главную роль разыгрывают братья Майковы и Достоевские». Наконец, 16 апреля 1849 г. агент донес о том, что днем ранее, в собрании у Петрашевского, Достоевский [2] читал письмо Белинского Гоголю. Имя Ф. М. Достоевского фигурировало и в других донесениях Антонелли. См.: *Дело петрашевцев,* т. III, стр. 411, 412, 416, 433, 437, 442.

Таким образом, к моменту ареста петрашевцев Липранди собрал сведения, в достаточной мере компрометировавшие Достоевского. О ходе розысков Липранди регулярно ставил в известность своего непосредственного начальника — Перовского.

Вечером 20 апреля 1849 г. Орлов пригласил к себе Липранди и в присутствии начальника штаба корпуса жандармов Л. В. Дубельта объявил ему, что по воле императора Липранди должен был прекратить дальнейшее расследование и передать все материалы Дубельту. Последний был возмущен: важнейшее и прямо к нему относящееся дело скрывали от III Отделения и его шеф, и его старинный друг (см.: *Липранди, Записки,* стр. 11; о «негодовании» и «оскорбленном самолюбии» Дубельта сообщал Липранди в донесениях Перовскому — см.: В. Г. Н е ч а е в а. Петрашевцы и Т. Г. Шевченко. В кн.: Записки Отдела рукописей Всесоюзной библиотеки им. В. И. Ленина, вып. 5. Соцэкгиз, М., 1939, стр. 22; *Бельчиков,* стр. 218).

21 апреля 1849 г. Орлов представил Николаю I свое резюме, списки петрашевцев, составленные на основании донесений Антонелли, и план их ареста, а через несколько часов доложил императору о готовности III Отделения к производству арестов. На этом документе Николай I наложил резолюцию: «Я всё прочел; дело важно, ибо ежели было только одно вранье, то и оно в высшей степени преступно и нестерпимо. Приступить к арестованию, как ты полагаешь; точно лучше, ежели только не будет разгласки от такого большого числа лиц на то нужных» («Былое», 1906, № 2, стр. 245).

22 апреля 1849 г. Орлов подписал предписание об аресте петрашевцев. Вечером того же дня состоялась последняя «пятница» у Петрашевского, на которой присутствовал Достоевский.

В пятом часу утра 23 апреля 1849 г. был произведен арест большинства петрашевцев, в том числе Ф. М. Достоевского (одновременно был арестован по ошибке его младший брат Андрей вместо старшего — М. М. Достоевского). Арест сопровождался обыском. Все арестованные, а равно отобранные у них бумаги и книги были доставлены в III Отделение. (Помимо Ф. М. Достоевского воспоминания об этой ночи оставили и некоторые другие петрашевцы. См., например: Мемуары И. Л. Ястржембского — *Петрашевцы,* т. I, стр. 147—148; ср.: *Достоевский, А. М.,* стр. 188—192).

---

[1] Формула, принятая в донесениях Антонелли для обозначения Петрашевского.

[2] В донесениях агент часто ошибочно именовал Ф. М. Достоевского «Петром Михайловичем»; в данном случае Липранди собственноручно исправил имя «Петр» на «Федор».

Сразу же после ареста, еще в III Отделении, арестованные узнали о том, что доносчиком был Антонелли (см.: *Ахшарумов*, стр. 8). «Беспечность» чиновников III Отделения, допустивших это, подтверждает неприязнь Дубельта и его жандармов к соперничающему ведомству и желание их свести на нет успехи Липранди. Утром Орлов донес царю, что «в III Отделение привезено 34 человека» и что «всё совершено с большой тишиной, без всякой огласки и с наивеличайшей аккуратностью» («Былое», 1906, № 2, стр. 245). Около 11 часов вечера арестованные были отправлены в Петропавловскую крепость; Ф. М. Достоевский был помещен сначала в № 7, затем в № 9 Алексеевского равелина. Сводку данных о пребывании Достоевского в равелине см.: *Бельчиков*, стр. 241—246; ср.: *Биография*, стр. 109—110. Аресты остальных петрашевцев продолжались в следующие дни.

23 апреля же Николай I назначил «Секретную следственную комиссию, высочайше учрежденную в Петербургской крепости над злоумышленниками» в составе: комендант Петропавловской крепости генерал-адъютант И. А. Набоков (председатель), член Государственного совета князь П. П. Гагарин, товарищ военного министра генерал-адъютант князь В. А. Долгоруков, начальник штаба Управления военно-учебных заведений Я. И. Ростовцев и Л. В. Дубельт. Военный министр А. И. Чернышев передал Комиссии директиву императора о немедленном и самом тщательном производстве следствия (см. отношение Чернышева Набокову от 23 апреля 1849 г. — *ЦГВИА*, ф. 801, оп. 84/28, д. № 55, ч. 1, лл. 5—6. Характеристику отдельных членов Комиссии см.: *Бельчиков*, стр. 215—218). 25 апреля 1849 г. А. Ф. Орлов сообщал в секретном отношении на имя московского генерал-губернатора А. А. Закревского: «Находившийся в С.-Петербурге титулярный советник Буташевич-Петрашевский питал большую наклонность к коммунизму и другим западным идеям, с дерзостью провозглашая свои правила.

Характер собраний у Петрашевского был чисто учено-политический; цель же их была: перемена ныне существующего в России порядка вещей, образовать людей, совершенно сходных в своих идеях и взглядах на предметы, чтобы, в случае какой-либо перемены в правлении или мятежа, тотчас нашлись люди, согласные в своих началах, готовые в первом случае занять правительственные места, а во втором — начальствовать над массами. Действовал Петрашевский и его соучастники: во-первых, на будущее поколение через учителей; во-вторых, на массы через служащих лиц, которые обязывались представить все действия администрации в черном виде, подлыми и неправильными, и таким образом приучая массу ненавидеть лиц, имеющих в руках какую-либо административную власть, и вооружать ее против самой власти...» (*Бельчиков*, стр. 201—202).

Комиссия начала свои заседания 26 апреля (см.: *Записка о действиях*, стр. 121). В тот же день была учреждена вспомогательная «Особенная Комиссия для разбора всех бумаг арестованных лиц» (см.: Отношение Чернышева Набокову от 26 апреля 1849 г. — *ЦГВИА*, ф. 801, оп. 84/28, д. № 55, ч. 1, л. 7—7 об.). В ее задачу входили «разбор громадного количества бумаг (и частью книг), взятых у арестованных лиц, и отобрание для препровождения в Следственную комиссию тех из оных, которые более или менее относились к рассматриваемому делу» (*Липранди, Записки*, стр. 12). Председательствовал в этой комиссии статс-секретарь по принятию прошений князь А. Ф. Голицын, членами ее состояли: чиновник особых поручений III Отделения, тайный советник А. А. Сагтынский, секретарь шефа жандармов, действительный статский советник А. К. Гедерштерн и Липранди (о них см.: *Бельчиков*, стр. 218—219).

Не располагая достаточным материалом (только донесениями агентов), Следственная комиссия решила приступить к предварительным опросам («расспросам») посетителей «пятниц» Петрашевского. Производство формальных допросов было отложено до получения более подробных сведений, которые, с одной стороны, поступали из комиссии для разбора бумаг, а с другой стороны, сообщались на предварительных расспросах.

С 28 апреля 1849 г. петрашевцы, содержавшиеся в Петропавловской крепости, по очереди вызывались для дачи показаний, после чего они в своих

камерах должны были давать более обстоятельные письменные объяснения (см.: *Дело петрашевцев*, т. I, стр. XVII). Тем же числом помечено секретное отношение III Отделения издателю журнала «Отечественные записки» А. А. Краевскому:

«Милостивый государь Андрей Александрович!

Получив сведение, что в том № „Отечественных записок“, который будет выпущен 1-го мая, уже напечатаны две повести, соч⟨инения⟩ отставного инженер-поручика Достоевского и подпоручика лейб-гвардии егерского полка Пальма, я имел честь докладывать об этом г-ну генерал-адъютанту графу Орлову.

Его сиятельство изволил отозваться, что повести Достоевского и Пальма, уже рассмотренные и дозволенные к напечатанию цензорами, могут оставаться в упомянутом №, но с тем, чтобы под оными не были означены фамилии сочинителей.

Сообщая о сем Вам, имею честь удостоверить Вас, милостивый государь, в истинном моем почтении и преданности» (*ЦГАОР*, ф. 109, оп. 5, ч. 13, л. 3—3 об.; впервые опубликовано с незначительными сокращениями в кн.: *Гроссман, Жизнь и труды*, стр. 56).

В приведенном отношении речь идет о 3-й части романа Достоевского «Неточка Незванова» (с подзаголовком «Тайна»), которая была опубликована в майском номере «Отечественных записок» без указания автора (об этом см.: наст. изд., т. II, стр. 496). Оно является ответом на запрос Краевского о возможности публикации в его журнале произведений арестованных Достоевского и Пальма (см.: *Семевский, Петрашевский*, стр. 81).

В результате предварительных опросов обвиняемых Следственная комиссия обнаружила причастность к делу еще нескольких человек и распорядилась продолжать аресты; список арестованных на новом этапе открывали имена А. В. Ханыкова и А. И. Европеуса (см.: *Записка о действиях*, стр. 121).

4 мая 1849 г. из голицынской комиссии поступили в качестве материалов следствия первые разобранные бумаги: Петрашевского, Ястржембского и Ф. Г. Толля (см. журнал Следственной комиссии от 4 мая 1849 г. — *ЦГВИА*, ф. 801, оп. 84/28, д. № 55, ч. 4, л. 32 об.). Сам Петрашевский был вызван Следственной комиссией позднее других, после сбора у них сведений о нем.

В ночь на 6 мая 1849 г. был арестован М. М. Достоевский и в тот же день освобожден А. М. Достоевский. Невиновность последнего была доказана еще 3 мая, но его не выпускали на свободу до задержания брата (см.: *Достоевский, А. М.*, стр. 203—205).

6 мая 1849 г. был подвергнут предварительному опросу Ф. М. Достоевский (см. журнал Следственной комиссии от 6 мая 1849 г. — л. 43; ср. запись А. Г. Достоевской: «Ф. М. был допрошен 6 мая в 9 заседании Следственной комиссии и на допросе сначала решительно отвергал всякую мысль о преступности собраний у Петрашевского, а затем заявил, что на этих собраниях происходили горячие споры о теории Фурье и читалось о социализме; лично он, Ф. М. Достоевский, прочитал письмо Белинского» — *Гроссман, Жизнь и труды*, стр. 59). По возвращении в крепость Достоевский написал пространные ответы на поставленные ему предварительные вопросы (см. выше, стр. 117—135).

О. Ф. Миллер записал устный рассказ Ф. М. Достоевского о некоторых подробностях этого допроса: «Федор Михайлович припоминал, что ген⟨ерал⟩ Ростовцев предложил ему рассказать всё дело. Достоевский же на все вопросы Комиссии отвечал уклончиво. Тогда Я. И. Ростовцев обратился к нему со словами: „Я не могу поверить, чтобы человек, написавший «Бедных людей», был заодно с этими порочными людьми. Это невозможно. Вы мало замешаны, и я уполномочен от имени государя объявить вам прощение, если вы захотите рассказать всё дело“. „Я, — вспоминал Ф⟨едор⟩ М⟨ихайлович⟩, — молчал. Тогда Дубельт с улыбкой заметил: «Я ведь вам говорил». Тогда Ростовцев, вскричав: «Я не могу больше видеть Достоевского», выбежал в другую комнату и заперся на ключ, а потом оттуда спрашивал: «Вышел ли Достоевский?

Скажите мне, когда он выйдет, — я не могу его видеть»". Достоевскому это казалось напускным» (*Биография*, стр. 106—107).

Постепенно из устных и письменных показаний перед Комиссией вырисовывались три основных направления бесед у Петрашевского: «свобода книгопечатания, перемена судопроизводства и освобождение крестьян». В начальный период следствия было установлено также, что у Петрашевского обсуждали идею конституционного правления в России, рассматривали возможность сопротивления подчиненных начальству и вообще разговаривали «в духе социализма». Тем не менее до 16 мая 1849 г. — важной вехи следствия — Комиссия считала возможным констатировать то, что посетители «пятниц» Петрашевского только «клонились к изменению существующего порядка вещей». «Но принадлежали ли сии собрания к разряду тайных организованных обществ, — отмечалось в докладе, — это до сих пор не доказывается никакими положительными данными...» (*Записка о действиях*, стр. 122—123).

В ходе накопления материалов Следственной комиссии представилось возможным приступить к формальным допросам, и с этой целью делопроизводителю Шмакову 10 мая 1849 г. было поручено подготовить предварительные сводки о каждом петрашевце, которые обобщали бы полученную информацию. Шмаков должен был заготовить также вопросник «по законной форме»: о звании, происхождении, воспитании, способе существования и т. д. (см. журнал Следственной комиссии от 10 мая 1849 г. — л. 52). Заняться этими допросами Следственная комиссия предполагала с 16 мая 1849 г. (см.: *Записка о действиях*, стр. 123). Однако события следующих дней помешали немедленному исполнению этого намерения.

16 мая 1849 г. состоялся первый опрос Петрашевского, уже до этого времени по собственной инициативе обращавшегося в Следственную комиссию с требованием предъявить ему обвинение (см.: *Записка о действиях*, стр. 122). Вызванный в Комиссию Петрашевский держался весьма смело и не признавал себя виновным. От дачи письменных объяснений Петрашевский отказался, ограничившись краткой запиской, в которой повторил все сказанное им на заседании Следственной комиссии (см.: *ГМ*, 1913, № 11, стр. 74).

Однако в тот же день, 16 мая 1849 г., Комиссией было получено обстоятельное послание Д. Д. Ахшарумова. В нем потерявший присутствие духа Ахшарумов изменил принципу, которому следовал в своем первом показании. 30 апреля 1849 г. он писал, что Петрашевский «имеет в виду лучшее устройство общества; не желая, однако ж, перевернуть всё насильственным образом» (*Дело петрашевцев*, т. III, стр. 113—114). 16 мая же Ахшарумов излагает дело иначе: «Главною виною всего Петрашевский — от него всё это ⟨...⟩ Целью их [1] было — общественным мнением произвести переворот ⟨...⟩ а окончательною целью было введение в России социальной жизни ⟨...⟩ Г-н Достоевский читал письмо Белинского, которое уже известно. Еще один вечер говорил г-н Тенковский [2] о средствах действия, о влиянии на общество, предлагая именно солидарность между всеми знакомыми Петрашевского, то есть взаимное вспоможение и протекция по службе для занятий высших мест, и еще чтоб каждый давал отчет о том, что он сделал в известное время...» (*Дело петрашевцев*, т. III, стр. 115—117).[3]

[1] Имеются в виду гости Петрашевского.

[2] Имеется в виду К. И. Тимковский.

[3] Позднее Ахшарумов вспоминал о том состоянии, в котором он пребывал в момент написания этого документа: «Бумага лежала на столе — писать или не писать? Вопросы начинали всё более и чаще неотвязно преследовать меня. „Они увеличивают нашу вину; им представляется бог знает что: тайное общество, заговоры! Если бы они знали в действительности всю правду, то, может быть, и успокоились бы!" Такие мысли начинали всё чаще появляться и всё более упрочиваться в моем мышлении». И далее: «...я написал, по правде сказать, о себе много лишнего, чего бы вовсе не следовало бы писать, но я был очень упавши духом и испуган смертною казнью» (*Ахшарумов*, стр. 35 и 37). «Много лишнего» Ахшарумов — увы! — сказал не только о себе.

Как видно из доклада Комиссии, до признания Ахшарумова факт существования тайного общества не был для нее очевиден. Но теперь Комиссия, «имея столь вредные внушения в виду» (*Записка о действиях*, стр. 123), активизировала поиски заговора.

Между тем 16 мая 1849 г. вспомогательная голицынская комиссия дала свое заключение о характере бумаг, найденных при аресте Достоевского, и о двух запрещенных книгах, у него хранившихся (см. выше, стр. 176). На следующий день, 17 мая, Голицын препроводил в Следственную комиссию указ об отставке Достоевского, изъятый у него вместе с бумагами и книгами (см.: *Бельчиков*, стр. 114—115, 224).

20 мая 1849 г. в Следственную комиссию, которая на основании показаний Ахшарумова уже распорядилась об аресте К. И. Тимковского, поступили бумаги Спешнева, изрядно обеспокоившие Дубельта и его коллег: среди них были обнаружены письма Тимковского об учреждении им в Ревеле двух революционных кружков; проект «обязательной подписки для вступающего в тайное „Русское общество“», составленный Спешневым, и рукопись «Солдатской беседы» Н. П. Григорьева (см.: *Дело петрашевцев*, т. III, стр. 233—237, 455).

На заседании Следственной комиссии в этот день присутствовал Липранди; немедленному расспросу был подвергнут Спешнев. Он «клялся» Комиссии, что давно забыл о существовании своего проекта и что никогда его никому не показывал (*Записка о действиях*, стр. 124). Тем не менее у Комиссии укрепилось впечатление о «зловредном направлении мыслей Спешнева». По мнению Дубельта, деятельность Спешнева представала «далеко преступнее бывшего прежде в виду преступления Петрашевского» (*Дело петрашевцев*, т. I, стр. XVIII). Поэтому, «дабы побудить» подследственного, ранее остававшегося в тени, «к откровенным показаниям», Комиссия ходатайствовала о разрешении заковать его в кандалы (*Записка о действиях*, стр. 124).

На следующий день, 21 мая 1849 г., в Следственную комиссию поступил дневник П. Н. Филиппова, в котором упоминалось об организованном «некоторыми лицами каком-то обществе» (*РЗ*, 1916, № 10, стр. 29). Отныне Следственная комиссия должна была считаться с реальной возможностью существования заговора. В связи с этим Комиссии представлялось неосуществимым исполнить повеление государя о скорейшем окончании следствия (см.: *Записка о действиях*, стр. 125).

24 и 25 мая 1849 г. на заседаниях Комиссии были подробно расспрошены доставленные из Ревеля К. И. Тимковский и А. П. Беклемишев. Тимковский заявил, что он «разумел взаимное вспоможение друг другу не в политическом смысле, а по развитию науки», а также что он лишь предполагал устройство кружков, а не занимался их организацией; последнее обстоятельство подтвердил и Беклемишев; расспрошенный в эти же дни Спешнев, видимо, убедительнее, чем прежде, изъяснил, что «размышления» о бунте остались только размышлениями, «без применения к делу» (*Записка о действиях*, стр. 125).

26 мая на заседании Комиссии рассматривалось обширное показание Петрашевского, который, после ряда проволочек, решил подробно истолковать свои поступки и обосновать свой образ мыслей (см.: *Дело петрашевцев*, т. I, стр. 7—36). Подозрения в умысле восстания Петрашевский решительно отвергал (ср.: *ГМ*, 1913, № 11, стр. 84). Вместе с тем он выразил желание довести до сведения государя свои предложения, затрагивающие различные области общественной жизни. 27 мая 1849 г. Петрашевский был вызван в Следственную комиссию, где его допрашивали по поводу бумаг, найденных у Спешнева. 28 мая 1849 г. Петрашевский представил письменное объяснение, в котором твердо заявил, что ничего не знает «о Русском обществе или проекте о нем», и пояснил, что «под словом *солидарность* надо разуметь ничего иного, как ту *нравственную связь*, которая существует между людьми... имеющими одинаковое мнение...» (*Дело петрашевцев*, т. I, стр. 47—48).

Сообразуясь с данными, полученными от этих лиц, а также со сведениями, поступившими от других арестованных, Следственная комиссия 30 мая 1849 г. вновь заключила о малой вероятности существования тайного общества (см.: *Записка о действиях*, стр. 125—126).

31 мая 1849 г. Следственная комиссия вернулась к рассмотрению выборок о каждом из арестованных, на основании которых возможно было производить формальные допросы. В окончательный вариант этих сводок вошёл материал «добросовестного», по мнению Комиссии (*Записка о действиях,* стр. 117), признания Спешнева, представленного 2 июня 1849 г. О содержании этого документа можно судить лишь по неполному и беглому пересказу членов Комиссии, с одной стороны, и по свидетельствам, сохранившимся в их делах, с другой стороны; подлинник же утерян вместе со всем делом Спешнева. Комиссию более всего заинтересовало сообщение Спешнева о том, что на Петрашевского оказывал сильное воздействие Р. А. Черносвитов, появившийся на пятницах с конца 1848 г. Он был столь откровенен, что, по мнению Спешнева, мог быть принятым за шпиона. Черносвитов расспрашивал Спешнева о плане восстания в Москве (на существование там мнимого заговора Спешнев, по его словам, указал сам, чтобы разведать замыслы Черносвитова) и настойчиво намекал на необходимость создания тайной организации в Петербурге с целью переворота. Далее в показании говорилось, что сам Спешнев написал план тайного общества, который он вскоре сжег; идея, которая легла в основу плана, состояла в том, чтобы объединить все пути антиправительственных действий: «иезуитский, пропагандный и восстание» (*Записка о действиях,* стр. 128).

Сведения о Черносвитове подтвердил и Петрашевский (см.: *Дело петрашевцев,* т. I, стр. 98—106). На основании полученной информации Комиссия распорядилась принять неотложные меры к аресту Черносвитова, уехавшего, согласно показаниям Спешнева и Петрашевского, в Москву и Ярославль (см.: *Записка о действиях,* стр. 128).

В связи с объяснениями Спешнева на его квартире был сделан обыск в поисках типографского станка, но 9 июня 1849 г. Дубельт доложил Комиссии, что ни чугунной доски, ни оловянных букв там обнаружить не удалось (см. журнал Следственной комиссии от 9 июня 1849 г. — *ЦГВИА*, ф. 801, оп. 84/28, д. № 55, л. 126—126 об.).

8 июня 1849 г. Следственная комиссия произвела формальный допрос Ф. М. Достоевского (см. журнал Следственной комиссии от 8 июня 1849 г. — л. 125; ср.: *РЗ*, 1916, № 10, стр. 32).[1] Ответами на общие вопросы о происхождении, вероисповедании и проч. (см. выше, стр. 135—136) открывается бо́льшая часть дела Достоевского, в которую входят его показания по конкретным обстоятельствам (см. выше, стр. 136—166). Точно датировать каждое из них не представляется возможным. Известно лишь, что Ф. М. Достоевский вызывался в июне на допросы еще 11, 17 и 20 (см. журналы Следственной комиссии от 11, 17 и 20 июня 1849 г. — лл. 130 об., 145 и 149). О последнем допросе А. Г. Достоевская записала: «На 42⟨-м⟩ заседании комиссии, 20 июня читалось письменное показание Ф. М. Достоевского, в котором он высказывался (подтверждая уже известные комиссии факты, — *ред.*), что бо́льшая часть показаний обвиняемых относительно крайнего направления Петрашевского справедливы, что в собраниях у Петрашевского говорилось (Головинским) о необходимости бунта для освобождения крестьян, а на собраниях у Дурова обсуждался вопрос об устройстве тайной типографии, отвергнутый, однако, собранием. В общем, по мнению Ф. М. Достоевского, собрания у Петрашевского были скорее сборище приятелей, чем устроенное политическое общество» (*Гроссман, Жизнь и труды,* стр. 59).

В тот же день Ф. М. Достоевский в письме к младшему брату просил выслать ему 10 рублей и майский номер «Отечественных записок» с 3-й частью «Неточки Незвановой». О себе он писал, что «далек от уныния» (*Достоевский, А. М.,* стр. 398—399). 24 июня 1849 г. в дневнике Следственной комиссии была

---

[1] Предположительная датировка формального допроса Ф. М. Достоевского 16 мая 1849 г., предложенная Н. Ф. Бельчиковым (*Бельчиков,* стр. 230), неверна: подлинная дата допроса содержится в журнале Следственной комиссии.

сделана запись об освобождении М. М. Достоевского (см. журнал Следственной комиссии от 24 июня 1849 г. — л. 156).[1]

В период с 13 по 20 июня 1849 г. Комиссия разбирала выяснившиеся из расспросов «новые частности» о кружке Дурова (*Записка о действиях*, стр. 131). Комиссии стало известно, что собрания у Дурова, первоначальный характер которых был чисто литературный, позднее приобретали политическую окраску и что на этих собраниях было даже предложено распространять противоправительственную литературу путем литографирования. Но в то же время она удовлетворилась показаниями о скором прекращении вечеров у Дурова вследствие недовольства большинства участников изменившимся направлением этих вечеров. О Черносвитове дуровцы ничего конкретного не сообщили (см.: *Записка о действиях*, стр. 131).

9 июля 1849 г. уже находящийся на свободе М. М. Достоевский писал брату в крепость, уведомляя его о посылке 25 рублей и майской книжки «Отечественных записок» (см.: В. Нечаева. Неизданные письма Ф. М. и М. М. Достоевских 1847—1880 гг. «Искусство», 1927, № 1, стр. 109). Как явствует из ответного письма Ф. М. Достоевского от 18 июля 1849 г., весточку от брата он получил 11 июля. О себе Достоевский писал: «Вообще мое время идет чрезвычайно неровно — то слишком скоро, то тянется. Другой раз даже чувствуешь, как будто уже привык к такой жизни и что всё равно. Я, конечно, гоню все соблазны от воображения, но другой раз с ним не справишься, и прежняя жизнь так и ломится в душу с прежними впечатлениями, и прошлое переживается снова... Теперь ясные дни, большею частию по крайней мере, и немножко веселее стало... У меня есть и занятия. Я времени даром не потерял: выдумал три повести и два романа; один из них пишу теперь, но боюсь работать много.

Эта работа, особенно если она делается с охотою (а я никогда не работал так con amore,[2] как теперь), всегда изнуряла меня, действуя на нервы. Когда я работал на свободе, мне нужно было беспрерывно прерывать себя развлечениями, а здесь волнение после письма должно проходить само собою... Сплю я часов пять в сутки и раза по четыре в ночь просыпаюсь... О времени окончания нашего дела ничего сказать не могу, потому что всякий расчет потерял, и только веду календарь, в котором пассивно отмечаю ежедневно прошедший день — с плеч долой!».

23 июля 1849 г. М. М. Достоевский послал брату в крепость ответное письмо, в котором сообщал о житейских и литературных новостях (см.: «Искусство», 1927, № 1, стр. 111—112). В тот же день Следственная комиссия получила извещение, что 22 июля в крепость был доставлен Черносвитов, арестованный в Омском округе (см.: *Записка о действиях*, стр. 134; ср.: *РЗ*, 1916, № 10, стр. 37). При первом расспросе новый подследственный «показал, что он действительно был знаком с Петрашевским и Спешневым, но ничего преступного у них не слыхал и ни о каком тайном обществе не знает» (*Записка о действиях*, стр. 134).

С 24 июля по 6 августа 1849 г. основное внимание Следственной комиссии было приковано к устным и письменным показаниям Черносвитова, с личностью которого было связано предположение об организованном обществе, покушавшемся на бунт. Подобные предположения относительно Петрашевского и Спешнева Комиссией ранее были отвергнуты; дуровский кружок как возможная основа такого общества также в расчет не принимался. Таким образом, Черносвитов был последней загадкой для Следственной комиссии, вновь склонявшейся к мысли, что преступные разговоры петрашевцев так и остались разговорами и что их дерзкие планы и намерения не были реализованы.

---

[1] В апрельском выпуске «Дневника писателя» за 1876 г. Достоевский писал, что об освобождении М. М. Достоевского ему сообщил «князь Гагарин, нарочно вызвав... для того из каземата в комендантский дом, в котором производилось дело».

[2] с любовью (*итал.*).

Черносвитов в своих пространных объяснениях сумел убедить Комиссию в трех пунктах: 1) «об изменении в формах нашего правления он никогда не помышлял» (*Записка о действиях*, стр. 137); 2) «об образовании тайного общества он не говорил, но, действительно, выражал свои подозрения, а не убеждение, насчет общества поджигателей вследствие свирепствовавших в России пожаров» (*Записка о действиях*, стр. 135) и 3) «если бы этот план и созрел в его голове, то он, Черносвитов, не мог бы предлагать его Спешневу и Петрашевскому, так как, по его понятиям, подобное предложение делается только вследствие убеждения в людях, и притом людям, которые в состоянии действовать или по положению служебному — высокому, или по влиянию на общество в моральном или даже социальном отношении; в Петрашевском же и Спешневе он ничего этого не подозревал» (*Записка о действиях*, стр. 135). Приняв к сведению сказанное Черносвитовым, Следственная комиссия, уже с начала июля выпускавшая невиновных или маловиновных, начала готовиться к составлению общей записки о результатах следствия. Впрочем, допросы прикосновенных к делу лиц продолжались до последних дней функционирования Комиссии.

18 августа 1849 г. М. М. Достоевский вместе с письмом отправил брату несколько номеров «Отечественных записок» и «Историю тридцатилетней войны» Шиллера (см.: «Искусство», 1927, № 1, стр. 112—113). Ф. М. Достоевский откликнулся письмом от 27 августа 1849 г., где, в частности, говорил: «Насчет себя ничего не могу сказать определенного. Всё та же неизвестность касательно нашего дела... О здоровье моем ничего не могу сказать хорошего...»

Между тем 25 августа 1849 г. Следственная комиссия «совершала проект подробной записки из произведенного ею следственного дела» (см. журнал Следственной комиссии от 25 августа 1849 г. — л. 320). 31 августа 1849 г. Комиссия «слушала записку Липранди» (см. журнал Следственной комиссии от 31 августа 1849 г. — л. 333), оконченную автором 17 августа. В своей записке Липранди предпринял попытку убедить Комиссию в существовании «организованного общества пропаганды» (*Липранди, Мнение*, стр. 13). Однако Комиссия сочла аргументацию Липранди неосновательной и сформулировала свое суждение следующим образом: «Отдавая полную справедливость оказанной г-ном Липранди важной заслуге — продолжительным наблюдением за Петрашевским и прочими лицами для передачи настоящего дела в Комиссию, при самом внимательном рассмотрении сделанных им суждений, Комиссия не могла с ним согласиться по следующим причинам:

⟨...⟩ по самом тщательном исследовании, имеют ли связь между собою лица разных сословий, которые в первоначальной записке представлены как бы членами существующих тайных обществ, Комиссия не нашла к тому ни доказательств, ни даже достоверных улик, тогда как в ее обязанности было руководствоваться положительными фактами, а не гадательными предположениями ⟨...⟩

Организованного общества пропаганды не обнаружено, и хотя были к тому *неудачные* попытки, хотя отдельные лица желали быть пропагаторами, даже и были таковые, но ни благоразумное, прозорливое годичное наблюдение г-на Липранди за всеми действиями Петрашевского ⟨...⟩ ни многократные допросы, учиненные арестованным лицам ⟨...⟩ ни четырехмесячное заключение их в казематах ⟨...⟩ ниже искреннее раскаяние многих не довели ни одного к подобному открытию» (см. журнал Следственной комиссии от 31 августа 1849 г. — лл. 333—334; ср.: *РЗ*, 1916, № 11, стр. 18—19; подробнее о несогласии и полемике Комиссии с Липранди см.: *Бельчиков*, стр. 222—223).

17 сентября Следственная комиссия рассмотрела составленную из настоящего дела записку и обвинительные статьи (см. журнал Следственной комиссии от 17 сентября 1849 г. — л. 377). Представлением военному министру этих материалов, а также списка из 28 лиц, обвиняемых по данному делу, и списка тех, на чье освобождение без судебного приговора испрашивалось высочайшее соизволение, — Следственная комиссия закончила свою работу.

Главный вывод Следственной комиссии заключался в том, что «все сии собрания, отличавшиеся вообще духом, противным правительству, и стремлением к изменению существующего порядка вещей, не обнаруживают, од-

нако ж, ни единства действий, ни взаимного согласия, к разряду тайных организованных обществ они тоже не принадлежали, и чтоб имели какие-либо сношения внутри России, не доказывается никакими положительными данными» (цит. по: *РЗ*, 1916, № 11, стр. 26). Члены Следственной комиссии, по воспоминаниям барона Корфа, «называли это дело — заговор идей» (*РС*, 1900, № 5, стр. 279).

10 сентября М. М. Достоевский вновь посылает брату в крепость письмо и книги (см.: «Искусство», 1927, № 1, стр. 113—114). 14 сентября Ф. М. Достоевский отвечает брату: «Еще раз благодарю за книги. Это всё хоть развлечение. Вот уже пять месяцев, без малого, как я живу своими средствами, то есть одной своей головой и больше ничем. Покамест еще машина не развинтилась и действует. Впрочем, вечное думанье и одно только думанье, без всяких внешних впечатлений, чтоб возрождать и поддерживать думу, — тяжело! Я весь как будто под воздушным насосом, из-под которого воздух вытягивают. Всё из меня ушло в голову, а из головы в мысль, всё, решительно всё, и, несмотря на то, эта работа с каждым днем увеличивается».

Ознакомившись с материалом следствия, Николай I повелел подвергнуть обвиняемых необычному суду: дело петрашевцев слушалось в смешанной Военно-судной комиссии, учрежденной 25 сентября 1849 г. (см. отношение Чернышева В. А. Перовскому от 25 сентября 1849 г. — *ЦГВИА*, ф. 801, оп. 84/28, № 55, ч. 120, лл. 1—2; ср.: *РЗ*, 1916, № 11, стр. 29). Ее председателем был член Государственного совета генерал-адъютант граф В. А. Перовский (брат министра внутренних дел), членами состояли: генерал-адъютант А. Г. Строганов, член Государственного совета, генерал-адъютант Н. Н. Анненков 2-й, генерал-адъютант А. П. Толстой, сенаторы, тайные советники князь И. А. Лобанов-Ростовский, А. Р. Веймарн, Ф. А. Дурасов.

Военно-судная комиссия начала свою работу 30 сентября. Вскоре она поручила делопроизводителю составить краткие выписки о степени виновности каждого обвиняемого, так как следственное дело занимало более 9 тысяч листов, и прочитать их сплошь Комиссия не имела ни возможности, ни желания (см.: *РЗ*, 1916, № 11, стр. 30). С 18 октября Комиссия приступила к опросу подсудимых, чтобы заслушать их возможные оправдания. Каждый подсудимый оставил в Комиссии подписку о даче этих последних показаний (подписку Ф. М. Достоевского см. выше, стр. 173).

Не производя дополнительного расследования, Военно-судная комиссия согласилась в своем заключении с мнением Следственной комиссии о том, что существование тайного общества не обнаружено (см. доклад генерал-аудиториата — *Петрашевцы*, т. III). Член Военно-судной комиссии Ф. А. Дурасов говорил сенатору Лебедеву: «... дело не имеет придаваемой ему важности, но важность оно имеет как по букве закона, так и по современной язве века» (*Петрашевцы*, т. I, стр. 129).

Военно-судная комиссия приговорила 15 человек (в том числе Достоевского) к расстрелу (см. выше, стр. 189). После этого 13 ноября дело поступило в генерал-аудиториат.[1] 19 ноября 1849 г. заключением генерал-аудиториата

---

[1] Передача дела после Военно-судной комиссии на окончательное решение в генерал-аудиториат была необычной, а потому вызвала различные слухи и предположения. О. Ф. Миллер писал: «По словам (петрашевца, — *ред.*) И. Л. Ястржембского, он из верного источника слышал, что Судная комиссия решила по недостаточности доказательств всех их освободить ⟨...⟩ Дело было передано в генерал-аудиториат, хотя, по замечанию г-на Ястржембского, на это не имелось никакого юридического основания, так как особая, по именному высочайшему повелению назначенная Судная комиссия иерархически стояла выше генерал-аудиториата» (*Биография*, стр. 112—113). В действительности все обстояло иначе: именно генерал-аудиториат пересмотрел смертный приговор, вынесенный Судной комиссией (ввиду несоответствия его вине осужденных), заменив его каторгой, Николай I же, на словах афишировавший свою мнимую милость к осужденным, утвердил текст приговора, подготовленный генерал-аудиториатом, усилив при этом наказание для некоторых из петрашевцев.

всем обвиняемым смертная казнь была заменена различными сроками каторжных работ. Последние коррективы в приговор внес при его утверждении Николай I. В частности, предложенный генерал-аудиториатом восьмилетний срок каторги Достоевскому и Дурову он заменил четырехлетним с последующей военной службой рядовыми, что возвращало им обоим, по замечанию Достоевского, гражданские права, которые по закону навсегда терял всякий приговоренный в каторгу (*Биография,* стр. 115).

О личном участии Николая I в разработке всех деталей церемонии исполнения «высочайшей конфирмации» и инсценировки обряда смертной казни над петрашевцами см.: *ЛН*, т. 22—24, стр. 698—703; *Бельчиков,* стр. 253—259; свод воспоминаний петрашевцев о самой казни — там же, стр. 259—262; *Биография,* стр. 117—123.

4

Достоевский писал о показаниях своего старшего брата Следственной комиссии по делу петрашевцев: «... он не дал *никаких показаний*, которые бы могли компрометировать других, с целью облегчить тем собственную участь, тогда как мог бы кое-что сказать, ибо ⟨...⟩ *знал о многом.* Я спрошу: многие ли так поступили бы на его месте? Я твердо ставлю такой вопрос, потому что знаю — о чем говорю. Я знал и видел: какими оказываются люди в подобных несчастьях, и не отвлеченно об этом сужу. ⟨...⟩ он не захотел, даже для своего спасения, сделать то, что считал противным своему убеждению» (*ДП*, 1876, апрель, глава вторая, § IV).

То же самое Достоевский мог сказать о себе.

Исходя из донесений Антонелли «Комиссия была заранее убеждена, что тайное общество организовано *Петрашевским*; — верно писал, анализируя ход следствия по делу петрашевцев, А. С. Долинин, — она искала следов преимущественно возле *него,* и это заблуждение, о котором подсудимые должны были догадаться из вопросов, им предлагаемых, многих спасло ⟨...⟩ Дуровцы фигурировали на процессе не столько как члены своего кружка, сколько как участники „пятниц" *Петрашевского*» (*Долинин, Достоевский среди петрашевцев,* стр. 539). В своем объяснении и позднейших ответах Комиссии Достоевский, как и остальные участники спешневского кружка, сумел искусно использовать оба эти обстоятельства.

Как свидетельствует анализ показаний Достоевского, он держался во время следствия с большой осторожностью, руководствуясь каждый раз определенными, достаточно хорошо обдуманными тактическими соображениями.

В первом объяснении Комиссии (см. выше, стр. 117—135) Достоевский сам точно определил круг вопросов, ответами на которые он решил ограничиться, умалчивая обо всех других, не известных Комиссии обстоятельствах. Это вопросы о самом Петрашевском, о характере его вечеров и о том, не имело ли его общество «скрытой», т. е. революционной цели.

Отвечая на эти вопросы, Достоевский — как отчетливо видно из его объяснений — всячески стремился подчеркнуть, что Петрашевский был отвлеченным теоретиком, страстным «мечтателем»-фурьеристом и притом весьма самолюбивой и «эксцентрической» личностью, что и объясняет его увлечение Фурье и другие «странности» его поведения. Никакой тайной, революционной цели собрания Петрашевского не имели, да и вся его деятельность была скорее смешной, чем вредной. К тому же самое учение Фурье, которое пропагандировал Петрашевский, во-первых, имело мирный, а не революционный характер, а во-вторых, давно устарело и не применимо к России. Сам Достоевский никогда не был короток с Петрашевским. На вечерах его он бывал, но говорил почти исключительно на литературные (или близкие литературе: о цензуре, о письме Белинского к Гоголю) и нравственно-психологические темы. Горячо желая добра отечеству, Достоевский участвовал в «спорах» у Петрашевского, но всегда оставался чужд «республиканских идей» и ждал реформ сверху. О кружке Дурова, пока не известном Комиссии, Достоевский не упомянул ни одним словом, а из имен лиц, близких к Петрашевскому, назвал

лишь имена тех двух лиц, — Толля и Ястржембского, — о которых его специально спрашивали в связи с возникшим подозрением об организованной пропаганде идей петрашевцев в учебных заведениях. При этом ничего конкретного о них Достоевский не сказал, сославшись на слабое знакомство с обоими, а вопрос о «распространении фурьеризма в юношестве» отвел ссылкой на свое незнание и на нежелание вдаваться в произвольные «догадки».

В последующих своих ответах и показаниях Достоевский точно так же каждый раз стремился строго придерживаться ответов на задаваемые ему Комиссией вопросы. В первых коротких ответах на допросе 8 июня 1849 г. в качестве своих друзей Достоевский, кроме нескольких лиц из среды петрашевцев, арестованных, как ему было известно, одновременно с ним, назвал лишь семейство Майковых и весьма далекого от всякой политики, притом консервативно настроенного С. Д. Яновского, но не упомянул ни о братьях Бекетовых, ни о Григоровиче и других знакомых литераторах. Из лиц, с которыми он имел близкие «сношения», Достоевский, кроме Яновского, назвал второе лицо, которое также было вне подозрений, — издателя «Отечественных записок» Краевского. В дальнейшем, когда Следственной комиссии стало известно о вечерах у Дурова, Достоевский строго придерживался версии, что кружок знакомых Дурова «был „чисто артистический и литературный“» (см. выше, стр. 154). О себе Достоевский продолжал утверждать, что он не принадлежал «ни к какой социальной системе» и хотя с волнением следил за событиями революции 1848 г. на Западе, но в России ожидал «перемен от самодержавия» (стр. 161). Несколько раз вызванный после окончания следствия по своему делу в Комиссию вновь по делам других обвиняемых или заподозренных лиц, Достоевский каждый раз либо заявлял, что не знаком с ними и ничего не может о них сказать, либо ограничивался сообщениями таких сведений о них, которые не могли служить поводом для их обвинения или привлечения к делу.

Таким образом, в показаниях Достоевского правда соседствует в одних случаях с умолчанием о известных ему в действительности обстоятельствах дела, а во многих других — с сознательным стремлением придать намерениям и поступкам своим и остальных обвиняемых другой смысл, чем они имели на самом деле. В связи с этим различными исследователями многократно поднимался вопрос о том, насколько искренен был Достоевский в своих ответах и насколько они заслуживают доверия как биографический источник. По этому вопросу в научной литературе, естественно, высказывались различные, порою несходные мнения. Сопоставление показаний Достоевского на разных стадиях процесса, а равно сравнение его свидетельств с фактами, известными нам из показаний других петрашевцев и из мемуарных источников, приводят к выводу, что хотя Достоевский не говорил на следствии всего, что знал, тщательно оберегая известные ему, но упущенные следствием обстоятельства дела, а также стремился везде, где это было возможно, отвести подозрения от других обвиняемых или смягчить свою и их вину, в остальном он был, как правило, точен, а потому показания его — если учитывать оба отмеченных момента — могут рассматриваться как надежный и важный для понимания его идейной эволюции, реконструкции многих моментов жизни писателя и подлинных его взглядов биографический материал.[1]

Показания Достоевского позволяют высоко оценить присутствие духа, проявленное им во время заключения в Петропавловской крепости, и его гражданское мужество.

Особенно примечательно то, что, проводя последовательно во время следствия линию защиты самого себя и своих товарищей от обвинения в посягательстве на устои самодержавного государства, отвергая версию о существо-

---

[1] «Достоевский в своих показаниях о многом умолчал вовсе, о многом недосказал того, что ему было известно как участнику кружков, — справедливо пишет Н. Ф. Бельчиков. — Поэтому его показания требуют дополнений и коррективов. В них нет неверных, ложных сообщений, но в них многого недостает» (см.: *Бельчиков*, стр. 82—86, где проанализировано, о чем и в какой мере Достоевский умолчал во время следствия).

вании у петрашевцев тайных революционных намерений, Достоевский не скрыл от членов Комиссии существа своих воззрений. Достоевский нарисовал перед своими обвинителями картину современной Европы, где «трещит и сокрушается вековой порядок вещей». Он признал историческую неизбежность революции 1848 г., как и возникновения на Западе социалистических учений, проницательно отметив в то же время утопический характер известных ему форм социализма 1840-х годов, которые, по его трезвой и глубокой оценке, представляли не науку социализма, а всего лишь преддверие к ней — «алхимию прежде химии». Достоевский защищал необходимость изучения всяким мыслящим человеком — в том числе в России — вопросов социализма, который, по его словам, «есть та же политическая экономия, но в иной форме». «Эти книги писаны умно, горячо и нередко с неподдельной любовью к человечеству», — писал он в своих показаниях Следственной комиссии о социалистической литературе 1840-х годов (см. выше, стр. 133, 162). Легко можно представить себе негодование, в которое должны были ввергнуть Комиссию самые уже эти слова, несмотря на заверения обвиняемого в том, что социально-революционные чаянья его и других петрашевцев не мешали им терпеливо ожидать в России реформ сверху, не торопя естественного хода вещей. Тем более что хотя писателю и другим осужденным удалось скрыть на следствии программу спешневского кружка и практическую подготовку его к печатанию пропагандистской литературы, из материалов следствия была очевидной антикрепостническая настроенность Достоевского, его неудовлетворенность существующим порядком вещей и страстное стремление к общественным преобразованиям.

Особого внимания заслуживает вопрос о тех элементах мировоззрения Достоевского-петрашевца, которые подготовили в последующие годы его переход к «почвенничеству».

При сопоставлении с «Петербургской летописью» (1847), где Достоевский, полемизируя вслед за Белинским со славянофилами, защищал значение петровских преобразований и выражал свою горячую веру в будущее созданной Петром новой России (см. выше, стр. 26), показания его на следствии позволяют говорить об изменившемся, более сложном отношении его к проблемам, находившимся в центре борьбы западников и славянофилов 1840-х годов. Достоевский характеризует в своих показаниях фурьеризм как продукт «западного положения вещей», противопоставляя Запад, где «разрешается ⟨...⟩ пролетарский вопрос», России, где «нет пролетариев». «И земля-то наша сложилась не по-западному», — замечает он. И в то же время в отличие от славянофилов Достоевский по-прежнему положительно отзывается о Петре I и именно на пример Петра ссылается в доказательство возможности для России при условии верного понимания правительством нужд общества и народа и сочувственном отношении к ним избежать «русского бунта» (см. выше, стр. 123, 126). Все эти утверждения в известной мере подготовляют позднейшие идеи писателя периода «Времени» и «Эпохи».

По свидетельству А. П. Милюкова, Достоевский говорил уже в 1848—1849 гг., что «народ наш не пойдет по стопам европейских революционеров»: «Мы должны искать источников для развития русского общества не в учениях западных социалистов, а в жизни и вековом историческом строе нашего народа; в общине, артели и круговой поруке давно уже существуют основы, более прочные и нормальные, чем в мечтаниях Сен-Симона и его школы» (*Милюков*, стр. 175, 181; *Достоевский в воспоминаниях*, т. I, стр. 185).

Точность свидетельства Милюкова не раз вызывала сомнения у части исследователей (в том числе А. С. Долинина). Им представлялось, что консервативный в конце жизни Милюков стремился в данном случае, как и в других, взгляды раннего Достоевского привести в соответствие с его более поздними, «почвенническими» убеждениями (*Долинин, Достоевский среди петрашевцев*, стр. 529). Однако дело, по-видимому, обстоит сложнее.

«По словам И. М. Дебу, — записал первый биограф Достоевского О. Ф. Миллер, — и у „фурьеристов“ (имеется в виду кружок социалистов-теоретиков, созданный рядом участников „пятниц“ Петрашевского, — *ред.*) обращено было внимание на русскую общину, с которою познакомил их, как

и многих у нас, Гакстгаузен» (*Биография*, стр. 92). Достоевский не принадлежал к кружку «фурьеристов» (в который входили И. М. Дебу и Н. Я. Данилевский). Но он мог уже в 1840-х годах разделять отношение этого кружка к русской крестьянской общине. В таком случае в его словах, сохраненных Милюковым, как и в содержащихся в показаниях Достоевского на следствии о коренной противоположности общественного строя России и Запада, следует видеть аналог не столько взглядов славянофилов 1840-х годов, сколько учения об общине Герцена и позднейших народников, т. е. один из ранних зачатков теории русского общинного социализма.[1] Позднее, в пореформенных условиях, вера молодого Достоевского в «общину, артель и круговую поруку», подготовившая «почвеннические» элементы его мировоззрения, вошла в него в трансформированном виде. Именно здесь, по-видимому, — источник частичных совпадений между теми местами показаний Достоевского на следствии, где говорится о своеобразии путей развития России по сравнению с Западом, и его высказываниями 1860—1870-х годов на ту же тему. [2]

Другой момент в показаниях Достоевского, который, несомненно, генетически связан с его позднейшими высказываниями и может быть верно понят лишь при сопоставлении с ними — это его эстетическая позиция конца 1840-х годов. Достоевский настойчиво подчеркивает в объяснении и ответах Комиссии особый, самостоятельный характер своего понимания задач литературы, не совпадавшего вполне ни со взглядами Белинского, ни с требованиями Петрашевского (см. выше, стр. 126—129, 151). О расхождениях Достоевского с Петрашевским, Ф. Г. Толлем и другими петрашевцами в понимании соотношения в литературе «художественности» и «направления», а также о критическом отношении Петрашевского к «Неточке Незвановой» и другим произведениям молодого Достоевского свидетельствуют и другие показания (см. выше, стр. 128—129, 151).[3] Близость тезиса молодого Достоевского: «автор должен 〈...〉 хлопотать о художественности, а идея придет сама собою, ибо она *необходимое условие художественности*» (курсив наш, — *ред.*) с позднейшими размышлениями на ту же тему в статье «Г-н —бов и вопрос об искусстве» (см. выше, стр. 128—129; ср. стр. 91—98) показывает, что уже в 1849 г. Достоевский занимал в названном вопросе позицию, близкую к позднейшей его позиции в споре с Добролюбовым. Защищая мысль, что идея — «необходимое условие художественности», без которого нет и не может быть искусства (и в то же время отстаивая, как и в 1861 г., художественное значение трагедии и сатиры, право писателя рисовать не одни «доблести, добродетели», но и «порок», «мрачную сторону жизни» — стр. 125), молодой Достоевский полагал, что подлинный талант имеет право идти в выборе и художественной разработке жизненного материала своим путем, хотя бы путь этот не был вполне понятен критике, казался ей уклонением от должного «направления».

В соответствии с официальным назначением и общей тенденцией своих показаний, Достоевский стремился представить Следственной комиссии эту свою точку зрения как совпадающую с традиционной точкой зрения сторонников «чистого» искусства. Однако протест против строгостей николаевской цензуры, при которой «целые роды искусства должны исчезнуть», «уже не могут существовать 〈...〉 Грибоедов, Фонвизин и даже Пушкин»; защита права литературы рисовать «мрачные стороны» и «пороки» современного общества; указания на уважение к литературно-эстетическим идеям Белинского и несколько неожиданное заключение в конце рассказа о споре с Петрашевским, что спор этот был основан на недоразумении, ибо, как выяснилось, они с Петрашевским

[1] О том, что Достоевский-петрашевец не только интересовался расколом, но уже в то время был близок «к крестьянам, их быту и всему нравственному облику русского народа» вспоминает в своих мемуарах П. П. Семенов-Тян-Шанский (*Достоевский в воспоминаниях*, т. I, стр. 209—210).

[2] О несходном поведении на следствии и суде разных петрашевцев ср.: *Биография*, стр. 107—110; *Долинин, Достоевский среди петрашевцев*, стр. 541; *Бельчиков*, стр. 87.

[3] Ср. также близкие высказывания на следствии М. М. Достоевского: *Материалы и исследования*, т. 1, стр. 262—264.

«одних идей о литературе» (см. выше, стр 128—129), — свидетельствуют, что расхождения Достоевского с Белинским и Петрашевским (как сознавал сам писатель) не касались главного: ориентируясь на Крылова, Грибоедова, Фонвизина, Пушкина, Достоевский твердо отстаивал необходимость для современной литературы следовать по их пути и творчески развивать их реалистическую традицию.

5

Как воспринял Достоевский осуждение по делу петрашевцев? Из воспоминаний писателя видно, что он не считал себя пострадавшим безвинно. Достоевский заявлял позднее, что, осудив его и других петрашевцев, «государство ⟨...⟩ защищало себя» и «с своей точки зрения было право». «...если их сторона взяла, то делать нечего и следует нести наказание» — в таких словах передал он свое состояние после вынесения приговора (*Биография*, стр. 83, 110).

«Мы, петрашевцы, — писал по тому же поводу Достоевский в «Дневнике писателя» за 1873 г., — стояли на эшафоте и выслушивали наш приговор без малейшего раскаяния. Без сомнения, я не могу свидетельствовать обо всех; но думаю, что не ошибусь, сказав, что тогда, в ту минуту, если не всякий, то по крайней мере чрезвычайное большинство из нас почло бы за бесчестие отрекаться от своих убеждений ⟨...⟩ Приговор смертной казни расстрелянием, прочитанный нам всем предварительно, прочтен был вовсе не в шутку; почти все приговоренные были уверены, что он будет исполнен, и вынесли, по крайней мере, десять ужасных, безмерно страшных минут ожидания смерти. В эти последние минуты некоторые из нас (я знаю положительно), инстинктивно углубляясь в себя и проверяя мгновенно всю свою столь юную еще жизнь, — может быть, и раскаивались в иных тяжелых делах своих (из тех, которые у каждого человека всю жизнь лежат втайне на совести); но то дело, за которое нас осудили, те мысли, те понятия, которые владели нашим духом, — представлялись нам не только не требующими раскаяния, но даже чем-то нас очищающим, мученичеством, за которое многое нам простится! И так продолжалось долго. Не годы ссылки, не страдания сломили нас. Напротив, ничто не сломило нас, и наши убеждения лишь поддерживали наш дух сознанием исполненного долга» (*ДП*, 1873, гл. XVI, «Одна из современных фальшей»).

«Я был виновен, я сознаю это вполне, — писал Достоевский еще раньше, 24 марта 1856 г., Э. И. Тотлебену. — Я был уличен в намерении (но не более) *действовать против правительства* ⟨...⟩ долгий опыт, тяжелый и мучительный, протрезвил меня и *во многом* переменил мои мысли. Но тогда я был слеп, *верил в теории и утопии...*» (курсив наш, — *ред.*). Здесь примечательна оговорка «во многом» (т. е. *не во всем*).

Но и после того, как совершился процесс «перерождения» убеждений Достоевского, после возвращения из Сибири, личный опыт писателя, связанный с участием в передовом идейном движении конца 1840-х годов, продолжал постоянно служить питательным источником для его творчества. Различные стороны этого опыта получили художественное отражение и сложное философско-идеологическое переосмысление в его повестях и романах 1860—1870-х годов, начиная с «Записок из Мертвого дома» и планов неосуществленной переработки «Двойника» до «Идиота», «Бесов», «Сна смешного человека» и «Братьев Карамазовых».

Неоднократно возвращался Достоевский к воспоминаниям о своем участии в деле петрашевцев, а также ко всему тому, что было им пережито и перечувствовано в связи с этим, и в своей автобиографической и публицистической прозе. 24 мая 1860 г. писатель занес в альбом дочери своего друга А. П. Милюкова, также причастного к делу петрашевцев, подробный рассказ о своем аресте ранним утром 23 апреля 1849 г., юмористически «обыграв» в нем ряд впечатлений этого утра (см. стр. 174).

Через тринадцать лет, в «Дневнике писателя» за 1873 г., полемизируя с оценкой «Бесов» тогдашней критикой и разъясняя свое понимание романа, Достоевский дал обстоятельную оценку петрашевцев (в сопоставлении с нечаевцами). Особенно оттенил писатель три обстоятельства: 1) что и сам он,

и другие петрашевцы руководствовались в своей деятельности благородными идейными мотивами, в «святость» которых они верили, и отнюдь не заслуживали названия «фанатиков», «монстров» и «мошенников», какими стремилась представить их (а равно и позднейших революционеров) реакционная пресса; 2) что петрашевцы при иных обстоятельствах и при ином повороте событий легко «могли бы стать нечаевцами», т. е. перейти к прямой практической революционной борьбе с самодержавием, и 3) что горячо веря в справедливость своего дела, они арест и осуждение встретили «без малейшего раскаяния» (*ДП*, 1873, гл. XVI, «Одна из современных фальшей»).

После возобновления в 1876 г. «Дневника писателя» Достоевский много раз пользуется случаем, чтобы напомнить о петрашевцах и о вдохновлявших их идеях утопического социализма 1840-х годов. В апреле 1876 г. он помещает в «Дневнике» биографические сведения о М. М. Достоевском и об его участии в деле петрашевцев; в июне того же года — некролог Ж. Санд, характеризующий место ее в истории европейских социалистических идей и их восприятие русской молодежью 1840-х годов. В январе 1877 г. цензура вычеркивает из «Дневника писателя» специальный раздел, в котором Достоевский защищает память петрашевцев, полемизируя с «Петербургской газетой», ссылавшейся на их пример в доказательство тезиса о постоянном во второй половине XIX в. «измельчании» типа русского революционера по сравнению с декабристами. «Общество декабристов состояло из людей, несравненно менее образованных, чем петрашевцы, — пишет в связи с этим Достоевский. — Между петрашевцами были, в большинстве, люди, вышедшие из самых высших учебных заведений — из университетов, из Александровского лицея, из Училища правоведения и из самых высших специальных заведений. Было много преподающих и специально занимающихся наукой ⟨...⟩ Повторяю, по отношению к образованию петрашевцы представляли тип высший перед декабристами» (*ДП*, 1877, январь, гл. 1, § III). В те же годы Достоевский диктует жене заметки о петрашевцах (*Биография,* стр. 80, 90, 94, 99), причем официальной версии (преуменьшавшей, как подчеркивает писатель, исторический масштаб движения и его собственную роль) Достоевский стремится противопоставить, как мы видели выше (см. стр. 309), иную их трактовку; Достоевский указывает на широкий размах антиправительственной оппозиции в конце 1840-х годов и подчеркивает революционный характер настроений и конечных идеалов участников спешневского «заговора», в котором, по его оценке, были предвосхищены, хотя и в зародыше, все почти основные черты последующих революционных кружков 1860—1870-х годов. Это свидетельствует, что Достоевский, несмотря на пережитую им впоследствии духовную эволюцию, несмотря на критическое отношение к различным социалистическим течениям XIX в. в поздних произведениях, особенно в романе «Бесы» и «Дневнике писателя», не склонен был до последних дней жизни преуменьшать ни исторической роли петрашевцев, ни своих юношеских радикальных настроений.

Углубленное внимание к русской общественной жизни, страстные размышления над ней, анализ ее противоречий в широкой перспективе общеевропейской истории закономерно привели Достоевского в 1840-х годах — как он подчеркивал и в своих показаниях, и позднее — в круг петрашевцев, убедили в невозможности решить вопросы настоящего и будущего человечества без учета коренных проблем, поставленных социалистической мыслью. И хотя после каторги писатель на новом этапе развития разошелся с последующим поколением русских революционеров в искании путей к будущему, свойственный его мировоззрению критический заряд, определившийся в годы участия Достоевского в кружках петрашевцев, никогда не иссякал. Напротив, многие социальные, моральные и философские проблемы, которые Достоевский в видоизмененном и усложненном виде продолжал вновь и вновь остро ставить в своих романах 1860-х и 1870-х годов, впервые возникли перед ним в 1840-х годах, в период взаимодействия мысли писателя с тогдашней революционной и социалистической мыслью, его личного контакта с ее представителями. Об этом со всей очевидностью свидетельствуют не только показания Достоевского-петрашевца, но и все последующее творчество художника и публициста.

Все объяснения и показания Ф. М. Достоевского по делу петрашевцев в Собрание сочинений включаются впервые. Редакция выражает благодарность С. С. Тхоржевскому за указание непубликовавшихся до сих пор показаний Достоевского из следственных дел В. Р. Зотова и Н. А. Мордвинова. Эти показания впервые печатаются в настоящем издании.

⟨ОБЪЯСНЕНИЕ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО⟩

(Стр. 117)

Печатается по автографу.

Хранится: *ЦГВИА*, ф. 801, оп. 84/28, д. № 55, ч. 26, лл. 1—8 об.; см.: *Описание*, стр. 299. Датируется около 6 мая 1849 г. (по окончании предварительного расспроса в Следственной комиссии; см. выше, стр 322).

Впервые напечатано: «Космополис», т. IX, 1898, № 9, стр. 193—212. Ранее напечатано в переводе, на немецком языке (со многими неточностями) в «Neue Freie Press» (Вена) в 1898 г. (публикация Н. Гофман); на русском языке в переводе с немецкого: *БВ*, 1898, 8—10 августа, №№ 215—217.

Стр. 117. *От меня требуют* ∾ *бывали по пятницам...* — Буташевич-Петрашевский Михаил Васильевич (1821—1866), кандидат прав, с 1841 г. переводчик в департаменте внутренних сношений Министерства иностранных дел, — инициатор литературно-политических сходок, собиравшихся с 1845 г. на его квартире в Петербурге. Принимал деятельное участие в издании «Карманного словаря иностранных слов», формальным составителем которого считался штабс-капитан Н. С. Кириллов. Уже в статьях, написанных для «Карманного словаря» (первый выпуск вышел в 1845 г., второй — в 1846 г.), Петрашевский активно пропагандировал социалистические учения Ш. Фурье, А. Сен-Симона, Р. Оуэна. Дальнейшее издание «Карманного словаря» было приостановлено в 1846 г. министром народного просвещения С. С. Уваровым, который распорядился также об изъятии у книгопродавцев экземпляров напечатанных выпусков. После запрета «Карманного словаря» и безуспешной попытки сотрудничать в «Отечественных записках» (см.: *Семевский, Петрашевский*, стр. 81) Петрашевский решил до 30 лет (т. е. до 1851 г.) не печатать ничего «капитального» (*Дело петрашевцев*, т. I, стр. 129). Таким образом, вся энергия Петрашевского была направлена на устную агитацию в социалистическом духе; имея постоянную аудиторию на своих «пятницах», он не пропускал любой возможности проповедовать свои идеи в обществе. П. П. Семенов-Тян-Шанский писал, что Петрашевский «представлял замечательный тип прирожденного агитатора» (*Петрашевцы*, т. I, стр. 46).

Петрашевский был чрезвычайно заметной фигурой в общественной жизни Петербурга 1840-х годов. Его личность послужила прототипом образа Петушевского в пьесе Ап. А. Григорьева «Два эгоизма», опубликованной в № 12 журнала «Репертуар и Пантеон» за 1845 г. (см. письмо И. С. Аксакова родителям от 15 декабря 1845 г. в кн.: И. С. Аксаков в его письмах, ч. I, т. I. М., 1888, стр. 312; ср.: Вл. Каллаш. Аполлон Григорьев о Петрашевском. *ГМ*, 1914, № 2, стр. 199—201). Более того, И. П. Липранди свидетельствует, что Петрашевский был известен и «простолюдинам», которые говорили, что «он новые законы пишет» (*Липранди, Мнение*, стр. 18).

А. Ф. Орлов в «весьма секретном» отношении от 25 апреля 1849 г. московскому генерал-губернатору А. А. Закревскому характеризовал убеждения Петрашевского как антиправительственные, а деятельность организованного им общества как направленную на возбуждение в народных массах ненависти ко всем лицам, имеющим «в руках какую-либо административную власть, и вооружать ее против самой власти...» (см.: *Бельчиков*, стр. 201—202).

Следственная комиссия и пыталась выведать у Достоевского тайные цели общества. Но Достоевский решительно отрицал политический характер «пятниц» Петрашевского и самого организатора их пытался представить эксцентричным и самолюбивым чудаком, очарованным «мирной» и человеколюбивой системой Фурье.

Стр. 117. *...не имея сходства ни в характере, ни во многих понятиях с Петрашевским.* — Достоевский, уважая Петрашевского «как человека честного и благородного», в то же время относился к нему сдержанно. Так, в письме к М. М. Достоевскому от 22 февраля 1854 г. обронена фраза: «Петрашевский по-прежнему без здравого смысла». См. также выше, стр. 311.

Стр. 118. *Меня всегда поражало* ∾ *в характере Петрашевского.* — Об эксцентрических поступках Петрашевского в Петербурге сложились легенды. О них впоследствии, преувеличивая, недоброжелательно и тенденциозно писали лицейские «товарищи» Петрашевского. Так, А. Н. Яхонтов вспоминал, что Петрашевский еще в юности «выкидывал иногда неожиданные, эксцентрические штуки...» (*Петрашевцы*, т. I, стр. 99). И по выходе из лицея, как свидетельствует К. С. Веселовский, «он всегда и везде, где только мог, старался „не быть как все". Так, будучи чиновником такого министерства, в котором корректность в костюме считается строго обязательною, он ходил по улицам в каком-то широком плаще и шляпе с самыми широкими полями — в настоящем сомбреро, скандализуя тем своих сослуживцев-дипломатов». Тот же мемуарист передает о попытке Петрашевского обратить в социалистическую веру дворников (см.: *Петрашевцы,* т. I, стр. 101—102, 105). А. А. Краевский рассказывал в III Отделении, что в одной из комнат Петрашевского друг против друга висели два портрета: римского папы и обер-прокурора синода «в ознаменовании борьбы церквей западной и восточной» (*Семевский, Петрашевский,* стр. 87). Следует, однако, заметить, что часто Петрашевский обдуманно надевал на себя маску чудака. Теоретическое обоснование своей эпатирующей внешности он дал в статье «Мода», помещенной во 2-м выпуске «Карманного словаря» (см.: *Семевский, Петрашевский,* стр. 86—87). Достоевский столь подробно останавливается на «странностях» Петрашевского, чтобы увести разговор из опасной политической сферы в чисто психологическую, но в то же время он счел необходимым заметить, что «молва преувеличила их значение». Позднее, в «Бесах», Достоевский, создавая образ Петра Верховенского, воспользуется некоторыми чертами характера Петрашевского, художественно преломив их в резко памфлетной, шаржированной манере (см.: наст. изд., т. XII, стр. 218—219).

Стр. 118. *...я очень часто езжал* ∾ *мне нравились.* — По воспоминаниям С. Д. Яновского, Достоевский будто бы объяснял ему свои поездки к Петрашевскому так: «Сам я бываю оттого, что у Петрашевского встречаю и хороших людей, которые у других знакомых не бывают; а много народу у него „собирается" потому, что у него тепло и свободно; притом же он всегда предлагает ужин, наконец, у него можно полиберальничать, а ведь кто из нас, смертных, не любит поиграть в эту игру...» (*Достоевский в воспоминаниях,* т. I, стр. 168—169). Однако вряд ли Достоевский в разговорах с Яновским, как и в данных своих показаниях, был вполне искренен.

Стр. 118. *...уважает систему Фурье...* — Фурье Франсуа-Мари-Шарль (1772—1837), крупнейший идеолог французского утопического социализма, вместе с А. Сен-Симоном и Р. Оуэном относился к числу тех «трех мыслителей, которые, несмотря на всю фантастичность и весь утопизм их учений, принадлежат к величайшим умам всех времен...» (К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения, т. 18, стр. 498—499). Его план построения нового общества предусматривал в качестве первичной ячейки — «фалангу», располагающуюся в огромном дворце — «фаланстере». По мнению Фурье, это должно было привести к созданию поселений принципиально нового типа, в которых объединились бы все виды человеческой деятельности и преимущества как городской, так и сельской жизни. Подробнее об этом см.: И. И. Зильберфарб. Социальная философия Шарля Фурье и ее место в истории социалистической мысли первой половины XIX в. Изд. «Наука», М., 1964.

Стр. 118. *Кроме того, особенно занимается законоведением.* — Один из тех участников его собраний, с кем Петрашевский особенно сошелся в 1845—1849 гг., Ф. Н. Львов позднее писал из Сибири Д. И. Завалишину: «Fiat justitia pereat mundus ⟨Да свершится правосудие, хотя бы погиб мир (*лат.*)⟩ — его, Петрашевского, любимый девиз, хотя я и говорил ему: на что же нужна и как будет существовать справедливость, когда мир погибнет? Вследствие этого он и в Петербурге, и в ссылке везде зацеплялся за законы и старался на основании

их доказать или несправедливость, или нелепость какого-нибудь действия или постановления» (*Петрашевцы*, т. I, стр. 137—138).

Стр. 119. *Трудно сказать* ∾ *на политические события.* — Возможно, Достоевскому остались неизвестными многие статьи Петрашевского в «Карманном словаре», в которых излагалась необходимость ряда политических реформ; кроме того, Петрашевский выступил за исключение пункта об осуждении революционного движения в Западной Европе из адреса петербургского дворянства государю в 1848 г., вследствие чего император отказался принять адрес (см.: *ЛН*, т. 63. стр. 179—180).

Стр. 119. *Общество* ∾ *или давних знакомых.* — Достоевский ошибался (см. выше, стр. 335).

Стр. 119. *Из этих людей* ∾ *малую часть.* — Это сообщение не подтверждается дальнейшими показаниями Достоевского. Писатель был хорошо знаком почти со всеми будущими жертвами расправы на Семеновском плаце.

Стр. 119. *Я не встретил* ∾ *никакой общей цели.* — О том же и, видимо, с целью затушевать политический характер «пятниц» говорили многие подследственные.

Стр. 119. *...прочел вслух литературную статью: «Переписку Белинского с Гоголем».* — Письмо Белинского Гоголю (политическое завещание критика) Достоевский прочел на собрании у Петрашевского 15 апреля 1849 г. (копию с письма Белинского Достоевский получил из Москвы от А. Н. Плещеева, которому, в свою очередь, передал ее С. В. Ешевский. «Следовательно, нити от плещеевского списка ⟨...⟩ ведут к ближайшему окружению Грановского...» (К. П. Богаевская. Письмо Белинского к Гоголю. *ЛН*, т. 56. стр. 530). Это чтение явилось главным пунктом обвинения Достоевского. Комиссия в деле А. П. Балосогло квалифицировала чтение письма как серьезное политическое выступление: «...письмо Белинского к Гоголю, исполненное самых зловредных идей ⟨...⟩ вызвало множество восторженных одобрений общества ⟨...⟩ преимущественно там, где Белинский говорит, что у русского народа нет религии. Положено было распустить это письмо в нескольких экземплярах»» (*Дело петрашевцев*, т. II, стр. 100). Понимая всю серьезность такого обвинения, Достоевский в «Объяснении» (и показаниях) стремился представить чтение письма всецело литературной акцией и резко акцентировал свои разногласия с Белинским.

Стр. 120. *...и если основывают обвинение на нескольких словах* ∾ *записанных наскоро.* — Донесения Антонелли, из которых первоначально исходила Следственная комиссия, изобиловали неточностями; в частности, агент ошибся в датировках посещений Достоевским «пятниц» Петрашевского (см. примеч. к стр. 176).

Стр. 121. *Сами мы* ∾ *дробимся на кружки...* — В фельетоне «Петербургская летопись», опубликованном в «С.-Петербургских ведомостях» 27 апреля 1847 г., Достоевский дал образную характеристику петербургским кружкам (см. выше, стр. 12).

Стр. 122. *Половина моего времени занята работой, которая кормит меня...* — Достоевский имеет в виду свое положение профессионального литератора.

Стр. 122. *...другая половина* ∾ *скоро три года.* — О болезненном состоянии Достоевского в годы, предшествовавшие суду и каторге, см. воспоминания С. Д. Яновского (*Достоевский в воспоминаниях*, т. I, стр. 154—160).

Стр. 122. *На Западе происходит зрелище страшное* ∾ *такое зрелище — урок!* — Революционные события 1848 г. в Западной Европе оживленно обсуждались в русском обществе. Позиция Достоевского характеризуется прежде всего сознанием причастности России к судьбам Европы, сознанием необходимости освоить опыт «беспримерной драмы» в процессе исторического развития своей родины. Другой писатель-петрашевец, Салтыков-Щедрин, тридцать лет спустя, в цикле «За рубежом» (1881) вспоминал о французской революции 1848 г. как об одном из самых ярких впечатлений молодости, пережитом его поколением: «Я был утром в итальянской опере, как вдруг, словно электрическая искра, всю публику пронизала весть: министерство Гизо пало. Какое-то неясное, но жуткое чувство внезапно овладело всеми. ⟨...⟩ Громадность собы-

тия скрадывала фальшь отдельных побуждений и на всё набрасывала покров волшебства. Франция казалась страною чудес» (*Салтыков-Щедрин* т. XIV, стр. 113).

С т р. 123. *Я может быть ∾ завоеванием, насилием, притеснением.* — В понимании «исторической необходимости тамошнего кризиса» Достоевский следует направлению во французской историографии, представленному в первую очередь трудами О. Тьерри. Согласно воззрениям этого ученого, западноевропейская цивилизация уже на заре своей истории была расколота на две антагонистические группы: завоевателей и исконного населения. Вражда сначала рас, затем сословий и, наконец, классов является, по Тьерри, признаком и движущей силой всего исторического развития европейских наций. Таким образом, все современные Тьерри события, и в том числе революция 1848 г., предопределены изначальным насилием воинствующих пришельцев над мирными аборигенами (см. также примечания А. С. Долинина в кн.: *Д, Письма,* т. I, стр. 507).

С т р. 123. *А у нас? ∾ не по-западному.* — Тезис о мирном призвании варягов на Русь, которое обусловило в дальнейшем «полюбовную сделку» народа и власти, Достоевский впоследствии развивал в годы «почвенничества». «Да, любовное, а не завоевательное начало государства нашего (которое открыли, кажется, первые славянофилы), — писал он А. Н. Майкову 20 марта 1868 г., — есть величайшая мысль, на которой много созиждется». См.: А. Л. О с п о в а т. Достоевский и раннее славянофильство (1840-е годы). В кн.: *Материалы и исследования*, т. II, стр. 175—181.

С т р. 123. *Я говорил об цензуре ∾ порядок вещей.* — Начиная с 1848 г. царское правительство резко ужесточило цензурную политику: был учрежден (под председательством Д. П. Бутурлина) секретный комитет по делам печати, обладавший очень широкими полномочиями. Постоянный контроль над печатью осуществляло и III Отделение. Последние годы царствования Николая I в истории русской литературы и общественной мысли получили название «мрачного семилетия» и «эпохи цензурного террора» (об этом см. также: М. К. Л е м к е. Николаевские жандармы и литература 1826—1855 гг. Изд. 2-е. СПб., 1909; ср.: А. С. Н и ф о н т о в. 1848 год в России. Изд. 2-е. М., 1948).

С т р. 124. *А между тем ∾ подобному запрещению...* — О запрещении произведений Достоевского в 1845—1849 гг. мы сведениями не располагаем. По поводу своей повести «Господин Прохарчин» (*ОЗ*, 1848, № 10) Достоевский писал брату 17 сентября 1846 г.: «Прохарчин страшно обезображен в известном месте. Эти господа известного места запретили даже слово „чиновник“, и бог знает из-за чего, уж и так всё было слишком невинное, и вычеркнули его во всех местах. Всё живое исчезло. Остался только скелет того, что я читал тебе. Отступаюсь от своей повести» (ср.: наст. изд., т. I, стр. 502—504).

С т р. 127. *Наконец, вся статья образец бездоказательности...* — Как установил В. Л. Комарович (*Комарович*, стр. 23), Достоевский повторяет здесь главный упрек, высказанный Белинскому В. Н. Майковым в статье «А. В. Кольцов» (*ОЗ*, 1846, т. XLIX).

Стр. 127. *В литературном мире ∾ с Белинским в последний год его жизни.* — Ссора и последующий «разрыв» Достоевского с Белинским произошли не в 1848 г., а еще в 1847 г. Этому во многом способствовали резкие отзывы критика о «Двойнике», «Господине Прохарчине» и «Хозяйке» (см.: наст. изд., т. I, стр. 492, 504, 510). Позднее, в «Дневнике писателя» за 1873 г. («Старые люди») Достоевский «разрыв» приурочивает к 1847 г., утверждая, что «мы разошлись — от разнообразных причин, весьма, впрочем, неважных во всех отношениях 〈...〉 В последний год его жизни я уже не ходил к нему. Он меня невзлюбил; но я страстно принял тогда всё учение его». В «Объяснении» и показаниях Достоевский, напротив, стремится убедить Комиссию в обратном, сосредоточившись на имевших место литературных разногласиях между критиком и писателем. Как свидетельствуют выводы современного исследователя, «весь круг идей, волновавших молодого писателя и о которых он на следствии по вполне понятным причинам постарался умолчать, упирался прежде всего в проповедь Белинского» (*Кирпотин, Достоевский и Белинский,* стр. 199).

Стр. 128. *Раз о литературе ∾ из-за Крылова...* — Это выступление Достоевского запомнилось многим петрашевцам. «После ужина, — показал на следствии Н. П. Григорьев, — был разговор чисто литературный, в котором Петрашевский говорил, что И. А. Крылов был не великий художник, а Федор Достоевский отлично опроверг его» (*Дело петрашевцев*, т. III, стр. 244). По свидетельству Львова и Пальма, в споре о Крылове на стороне Достоевского был и Дуров (см.: там же, т. I, стр. 398; т. III, стр. 262—263). Вряд ли спор этот имел «чисто литературный» характер: по-видимому, речь шла о значении Крылова как народного писателя и о доступности его басен широкому демократическому читателю. Заявление Достоевского о том, что на литературные темы он говорил только один раз, опровергается воспоминаниями других петрашевцев. И. М. Дебу рассказывал, что Достоевский на одном из вечеров читал «Неточку Незванову» гораздо полнее, чем она была напечатана (*Биография*, стр. 91). Ф. Г. Толль показывал на следствии: «Однажды ⟨...⟩ спорил я с г-ном Дуровым и Достоевским о том, должна ли изящная литература иметь цель свою в одном осуществлении идеи прекрасного, или может иметь ее и вне этого заколдованного круга, отвлеченного германскими эстетиками, причем я держался мнения, что литература должна идти об руку с действительностью и что поэт должен быть прежде всего сыном своего отечества, ко благу которого должен клонить всю свою деятельность, между тем мои противники говорили, что она должна возводить действительность к сознанию» (*Дело петрашевцев*, т. II, стр. 164; ср. выше, стр. 128—129, 332—333).

Стр. 128. *...и другой раз о личности и об эгоизме.* — Возможно, что темой этого выступления было обсуждение книги М. Штирнера «Единственный и его собственность», вышедшей в 1844 г. (см.: Н. Отверженный (Н. Г. Булычев). Штирнер и Достоевский. М., 1925, стр. 27—28).

Стр. 131. *...Петрашевский ∾ как последователь и распространитель учения Фурье.* — В докладе генерал-аудиториата по этому поводу содержится следующее заключение: «Петрашевский подтвердил показание Антонелли о том, что он, Петрашевский, желая ввести пропаганду, старался своих приверженцев поместить учителями в разные учебные заведения и с целью распространения идей либеральных сам держал пробную лекцию» (*Петрашевцы*, т. III, стр. 25). На эту сторону деятельности петрашевцев особое внимание обращал И. П. Липранди, который писал, что «люди, принадлежавшие к наблюдаемому обществу, находились вне столицы, в разных провинциях, и об них здешние сочлены явно говорили, что им поручено везде стараться сеять идеи, составляющие основу их учения, приобретать обществу соумышленников и сотрудников и таким образом приготовлять повсюду к общему восстанию. Бумаги арестованных лиц обнаружили, что подобными миссионерами были: в Тамбове — Кузьмин, в Сибири — Черносвитов, в Ревеле — Тимковский, в Москве — Плещеев, в Ростове — Кайданов и проч... подобные миссии ведутся издавна, и потому идеи могли быть уже посеяны и принести более или менее плоды в разных местах государства» (*Липранди, Мнение*, стр. 14).

Стр. 131. *Не завлекает ли он к себе учителей ∾ в юношестве?* — См. об этом в статье В. И. Семевского «Пропаганда петрашевцев в учебных заведениях» (*ГМ*, 1917, № 2, стр. 138—169).

Стр. 131. *Толль* Феликс Густавович (1823—1867) — с 1848 г. учитель русской словесности в Главном инженерном училище и преподаватель истории в школе военных кантонистов. Убежденный атеист, в собрании у Петрашевского произнес речь о происхождении религии, в которой рассматривал различные культы с естественнонаучной точки зрения (см.: *Дело петрашевцев*, т. II, стр. 158—160). В литературных спорах на «пятницах» Петрашевского Толль был оппонентом Достоевского (см. примеч. к стр. 128). Толль был приговорен к смертной казни, замененной каторжными работами. По выходе из каторги Толль поселился в Томске, где сблизился с М. А. Бакуниным, который дал ему восторженную характеристику в письме к А. И. Герцену (см.: Письма М. А. Бакунина к А. И. Герцену и Н. П. Огареву. СПб., 1906, стр. 157—161). В 60-е годы Толль получил известность как педагог и критик детской литературы. В письмах Достоевского, написанных в 50-х годах, Толль упоминается в связи с чисто внешними обстоятельствами (см. письма брату от 22 февраля

1854 г. и от 18 января 1858 г.). О Ф. Г. Толле см. статью Б. П. Козьмина «Социальный роман петрашевца Феликса Толля» (в кн.: Б. Козьмин. Литература и история. Изд. «Художественная литература», М., 1969, стр. 184 — 225).

Стр. 132. *Что же касается до Ястржембского...* — Ястржембский Иван-Фердинанд Львович (1814—1880-е годы) — с 1843 г. преподаватель политической экономии в Технологическом институте. На «пятницах» Петрашевского прочел несколько лекций об основах своего предмета. Ястржембский был приговорен к смертной казни, замененной каторжными работами. В место заключения он был отправлен вместе с Достоевским и С. Ф. Дуровым (см. выше, стр. 190). 22 февраля 1854 г. Достоевский писал брату о том, как в рождественскую полночь 1850 г. их троих одновременно заковали и как по дороге в Сибирь «Ястржембскому виделись какие-то необыкновенные страхи в будущем». Подробная характеристика общественно-политических взглядов Ястржембского дана в статье: В. И. Семевский. Пропаганда петрашевцев в учебных заведениях. *ГМ*, 1917, № 2, стр. 138—144.

Стр. 133. *Виктор Консидеран* (1808—1893) — один из видных деятелей французского утопического социализма, ученик и последователь Ш. Фурье.

Стр. 133. *Фурьеристы во время ∾ остались в редакции своего журнала...* — Публикуя выдержки из показания Достоевского, В. И. Семевский указал, что факты реальной истории политической борьбы во Франции эпохи революции 1848 г., без сомнения известные Достоевскому, противоречат его показанию: «... 12 февраля 1848 г. орган Консидерана „Démocratie pacifique“ («Мирная демократия») прямо признал, что мирный путь для развития Франции прегражден, что упрямство правительственного большинства вызывает восстание. В следующие затем дни они приветствуют победу народа и установление всеобщего избирательного права» (*ГМ*, 1915, № 11, стр. 27).

Стр. 133. *...кабетизм...* — Учение, названное по имени Этьена Кабе (1788—1856), которого Маркс и Энгельс считали «самым популярным, хотя и самым поверхностным представителем коммунизма» во Франции 1840-х годов (К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения, т. 2, стр. 146). Кабе — автор нашумевшего утопического романа «Путешествие в Икарию», появившегося в 1847 г. В России Николая I эта книга была сразу же запрещена (см.: Ю. Оксман. Меры николаевской цензуры против фурьеризма и коммунизма. *ГМ*, 1917, № 5—6, стр. 72; об обсуждении книги Кабе в революционных кружках Петербурга см.: *Комарович*; наст. изд., т. XII, стр. 211—212).

Стр. 134. *А фурьеризм ∾ западного положения вещей...* — Достоевский аргументирует здесь непригодность фурьеризма для России, исходя из убеждения о самобытных путях ее развития (см. примеч. к стр. 123). Но А. П. Милюков свидетельствует, что Достоевский был далек и от сочувствия аскетической регламентации частной жизни в духе Фурье или Кабе — он говорил, что «жизнь в икарийской коммуне или фаланстере представляется ему ужаснее и противнее всякой каторги» (*Милюков*, стр. 181).

Стр. 135. *...он имел много книг...* — Д. Д. Ахшарумов вспоминал, что Петрашевский «имел большую библиотеку новейших сочинений, преимущественно по части истории, политической экономии и социальных наук, и охотно делился ею не только со всеми старыми своими приятелями, но и с людьми малознакомыми 〈..〉 Он давал читать всем просившим его и снабжал уезжающих книгами, которые, по его усмотрению, были полезны для умственного развития общества» (*Ахшарумов*, стр. 17). Состав библиотеки Петрашевского охарактеризован В. И. Семевским (*Семевский, Петрашевский*, стр. 165—171). Однако не все петрашевцы часто пользовались его библиотекой. В последнем донесении Антонелли (от 23 апреля 1849 г.) сообщалось об упреках А. П. Баласогло по адресу братьев Достоевских и С. Ф. Дурова, которые «не читали ни одной порядочной книги, ни Фурье, ни Прудона, ни даже Гельвециуса» (*Дело петрашевцев*, т. III, стр. 442). Что касается Достоевского, то А. П. Баласогло не совсем прав. В. И. Семевский, исследовавший этот вопрос специально, установил, что Достоевский брал из библиотеки Петрашевского следующие книги: «Историю десяти лет» Л. Блана; «Введение в изучение общественных наук» А. Паже;

«Настоящее христианство в следовании Иисусу Христу» Э. Кабе; «Жизнь Иисуса» Д. Ф. Штрауса; «Мария, или Рабство» Ф. Бомона (см.: *Семевский, Петрашевский*, стр. 169). Кроме того, во время ареста у Достоевского были изъяты две книги: «Пастух из Кравана» Э. Сю (первая часть), взятая им у Н. П. Григорьева, и «Празднование воскресения» П.-Ж. Прудона, взятая им у В. А. Головинского (см. выше, стр. 165; см. также примеч. к стр. 165).

⟨ФОРМАЛЬНЫЙ ДОПРОС Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО⟩

(Стр. 135)

Печатается по автографу.

Хранится: *ЦГВИА*, ф. 801, оп. 84/28, д. № 55, ч. 26, лл. 57—58 об.; см.: *Описание*, стр. 229. Датируется 8 июня 1849 г. (см. выше, стр. 325).

Впервые напечатано: «Красный архив», 1931, т. 2 (45), стр. 135—136 (публикация Н. Ф. Бельчикова).

Стр. 135. *Отец мой...* — Достоевский Михаил Андреевич (1789—1839), с 1813 г. штаб-лекарь, с 1821 г. лекарь Мариинской больницы для бедных (в Москве), с 1 июля 1837 г. в отставке. 8 июня 1839 г. М. А. Достоевский был убит в деревне своими крепостными, доведенными, по-видимому, до отчаяния его желчным тиранством; согласно семейному преданию, известие о трагической смерти отца вызвало у Ф. М. Достоевского первый приступ эпилепсии (см.: *Биография*, стр. 141; ср.: *Достоевская, Л. Ф.*, стр. 17). В памяти сына М. А. Достоевский сохранился как человек благородных убеждений, но тяжелый, вспыльчивый и мрачный (см. воспоминания С. Д. Яновского — *Достоевский в воспоминаниях*, т. I, стр. 157). О своих тягостных переживаниях в юношеские годы Ф. М. Достоевский вспоминает в письме А. Е. Врангелю от 9 марта 1857 г.: «Более всего беспокоят меня за Вас, друг мой, отношения Ваши с отцом. Я знаю, чрезвычайно хорошо знаю (по опыту), что подобные неприятности нетерпимы, и тем более нетерпимы, что вы оба, я знаю это, любите друг друга ⟨...⟩ Характеры, как у Вашего отца, — странная смесь подозрительности самой мрачной, болезненной чувствительности и великодушия. Не зная его лично, я так заключаю о нем; ибо знал в жизни, два раза, точно такие же отношения, как у Вас с ним».

Стр. 135. *Моя мать...* — Достоевская, урожденная Нечаева, Мария Федоровна (1800—1837), женщина добрая и кроткая; по воспоминаниям детей — одаренная художественно (см. о ней: *Достоевский, А. М.*, по указателю имен).

Стр. 135. *Воспитывался в Главном инженерном училище...* — Достоевский поступил в Инженерное училище в 1838 г. и окончил его в 1843 г.

Стр. 136. *Но в тысяча восемьсот сорок пятом году ∾ денег.* — Неточность, допущенная Достоевским: он отказался от наследства, получив в качестве возмещения от П. А. Карепина небольшую сумму, в феврале 1844 г. (см.: *Гроссман, Жизнь и труды*, стр. 39).

Стр. 136. ...*Михайлою Достоевским.* — Достоевский Михаил Михайлович (1820—1864), старший брат Ф. М. Достоевского, писатель, критик и журналист. С осени 1847 г. М. М. Достоевский посещал «пятницы» Петрашевского, с которым его познакомил брат. Имя его упоминалось в доносах Антонелли (см. выше, стр. 320), вследствие чего М. М. Достоевский вместе с другими петрашевцами подвергся аресту и следствию, но был признан невиновным и отпущен на свободу (следственное дело М. М. Достоевского см.: *Материалы и исследования*, т. 1, стр. 254—265). С конца 1840-х годов М. М. Достоевский стал известен как автор повестей, написанных в русле натуральной школы («Господин Светелкин», 1848; «Брат и сестра», 1852, и др.), и комедий; выступал также как переводчик с немецкого (Шиллер, Гете). М. М. Достоевский был автором «первого известного нам печатного выражения „почвеннических“ убеждений братьев Достоевских» (*Фридлендер, У истоков «почвенничества»*, стр. 406).

В годы юности между братьями существовала теснейшая духовная и творческая связь: они строили планы совместных литературных предприятий, обменивались жизненными и книжными впечатлениями, подбадривали и утешали друг друга «...Любить тебя это для меня вполне потребность», — писал Ф. М. Достоевский брату 19 июля 1840 г. Письма М. М. Достоевскому — главный источник для воссоздания творческой истории первых произведений Ф. М. Достоевского.

Во время следствия Ф. М. Достоевский страдал от сознания того, что он явился невольной причиной бедствий брата и его семьи. По выходе из крепости М. М. Достоевский снабжал остававшегося там брата деньгами и книгами (см. выше, стр. 326—328); накануне отправки Ф. М. Достоевского на каторгу М. М. Достоевский и А. П. Милюков получили разрешение на свидание с осужденным (см.: *Милюков,* стр. 194, 197—198). М. М. Достоевский в период ссылки брата представлял его интересы в Петербурге и выполнял его многочисленные просьбы. По возвращении в Петербург братья Достоевские издают журналы «Время» и «Эпоха». Неожиданная смерть брата (10 июля 1864 г.) была большим ударом для Федора Достоевского.

Ф. М. Достоевский посвятил памяти брата статью «Несколько слов о Михаиле Михайловиче Достоевском» («Эпоха», 1864, № 6, стр. I—VI), в которой, в частности, отметил, что покойный в молодости «был самым страстным, самым преданным фурьеристом». Характеризуя жизненный путь брата, Ф. М. Достоевский особенно подчеркнул его редакторский талант, энергию и настойчивость в ведении журнальных дел. В том же году на страницах сентябрьской книжки «Эпохи» появилась статья Н. Н. Страхова «Воспоминания об Аполлоне Александровиче Григорьеве», где цитировались письма только что скончавшегося критика Страхову. В одном из них Григорьев, характеризуя М. М. Достоевского как «человека очень честного и хорошего», тем не менее упрекает его в том, что он «загонял, как почтовую лошадь, высокое дарование Ф. Достоевского» (*Григорьев, Воспоминания,* стр. 441—442). К статье Ф. М. Достоевский поместил примечание, в котором заявлял: «Слова Григорьева ⟨...⟩ никоим образом не могут быть обращены в упрек моему брату, любившему меня, ценившему меня как литератора слишком высоко и пристрастно и гораздо более меня радовавшемуся моим успехам, когда они мне доставались. Этот благороднейший человек не мог употреблять меня в своем журнале, как почтовую лошадь».

Стр. 136. *...с семейством художника Майкова...* — Майков Николай Аполлонович (1794—1873), с 1835 г. академик живописи. Ранее, чем с другими членами его семьи, Достоевский познакомился (в 1846 г.) с сыновьями художника: А. Н. Майковым (см. о нем примеч. к стр. 168) и В. Н. Майковым (см. о нем примеч. к стр. 168). Через них он вошел в гостеприимный дом Майковых и сдружился с хозяином и его женой Евгенией Петровной (1803—1880). Сохранилось письмо Достоевского Е. П. Майковой от 14 мая 1848 г., в котором он извиняется за какой-то неприятный инцидент, произошедший в ее доме днем ранее. Очевидно, речь идет об одной из конфликтных ситуаций, возникавших в это время между Достоевским и кругом «Современника» из-за эпиграммы Некрасова и Тургенева на Достоевского «Рыцарь горестной фигуры...» (см.: *Панаева,* стр. 177—178). 22 декабря 1849 г. — в день, когда Достоевскому стал известен окончательный приговор, — он в письме брату передавал прощальный привет персонально Н. А. и Е. П. Майковым; последней он просил сказать также, что всегда будет помнить ее с благодарным уважением.

О салоне старших Майковых см.: воспоминания И. И. Панаева (*Панаев,* стр. 105—106); С. Д. Яновского (в письме А. Г. Достоевской от 8 января 1882 г. — *Сб. Достоевский, II,* стр. 385); С. С. Деркач. И. А. Гончаров и кружок Майковых. «Ученые записки Ленинградского университета», серия филологических наук, 1971, т. 355, вып. 76, стр. 18—38 (Русская литература XIX—XX веков).

Стр. 136. *...с доктором медицины Яновским...* — Яновский Степан Дмитриевич (1817—1897) — врач, с 1846 г. наблюдавший Достоевского. Познакомился с писателем через своего пациента В. Н. Майкова (см.: *Достоевский в воспоминаниях,* т. I, стр. 154). В 1846—1849 гг. Яновский был одним из частых собеседников Достоевского, но, будучи человеком наивно-консервативных

убеждений, был мало посвящен в его внутреннюю жизнь. По припоминанию Яновского, рассказывая своему врачу про «пятницы» Петрашевского, писатель говорил: «...но вы туда никогда не попадете — я вас не пущу...» Яновский прибавил от себя: «...и не пустил, за что я ему, как истинному моему другу и учителю, во всю мою жизнь был и до сих пор остаюсь душой и сердцем благодарен» (там же, стр. 169). Хотя, как писал Яновский, он «первый из близких друзей его (Достоевского, — ред.) посетил его в этом городе (Семипалатинске, — *ред.*) ...единственно с целью увидеть и обнять дорогого мне Федора Михайловича» (*НВр*, 1881, 24 февраля, № 1793), но после каторги Достоевский редко виделся со своим бывшим врачом. Этому, помимо трудного характера Достоевского, способствовал и тот факт, что в 1860 г. писатель вмешался в семейный конфликт Яновского, приняв сторону его жены, актрисы А. И. Шуберт (см.: наст. изд., т. IX, стр. 474—475). Переписка их носила случайный характер. Достоевский, по-видимому, вполне разделял оценку Яновского, которая содержится в адресованном писателю письме А. Н. Плещеева от 23 марта 1860 г.: «Я думаю, жить с Яновским скука ⟨...⟩ ведь это всё равно, что если бы кого-нибудь осудили всю жизнь не есть ничего, кроме клубничного варенья» (*Д, Материалы и исследования*, стр. 453). Для понимания генезиса образа Степана Трофимовича Верховенского из «Бесов» небезынтересен отрывок из письма А. У. Порецкого Достоевскому от 6 июня 1871 г. (см.: наст. изд., т. XII, стр. 225). Несколько ранее А. Н. Майков писал по поводу сюжета «Вечного мужа», что в Трусоцком он «узнал Яновского и его характер» (*Д, Письма,* т. II, стр. 476). В то же время Достоевский всю жизнь оставался признателен Яновскому за терпеливую доброту, с которой тот его врачевал. «Ведь Вы мой благодетель, — писал Достоевский Яновскому 4 февраля 1872 г. — Вы любили меня и возились со мной, с больным душевною болезнию (ведь я теперь сознаю это) до моей поездки в Сибирь...» В том же письме Достоевский называет своего корреспондента «одним из „незабвенных“, одним из тех, которые резко отозвались в моей жизни...». Со своей стороны, Яновский, по его словам, сохранил отношение к Достоевскому, как к «лучшему человеку из всех, с которыми судьба сводила меня в жизни» (см. его письмо А. Г. Достоевской от 22 февраля 1884 г. в кн.: *Сб. Достоевский, II*, стр. 389). Как следует из этого же письма, в 1867 г. Яновский был представлен в Москве А. Г. Достоевской как старый друг ее мужа, о котором она была уже наслышана. Яновский оставил воспоминания о Достоевском (*РВ*, 1885, № 4, стр. 769—819; *Достоевский в воспоминаниях,* т. I, стр. 154—175).

Стр. 136. *Дуров* Сергей Федорович (1816—1869) — поэт, прозаик и переводчик. С начала 1847 г. Дуров — посетитель «пятниц» Петрашевского; вскоре вокруг него создается отдельный кружок (преимущественно из лиц, навещавших Петрашевского), который представал в двух ипостасях: литературно-музыкального салона умеренных оппозиционеров (см.: *Милюков,* стр. 176—185; ср. выше показания самого Достоевского, стр. 154, 160) и серьезной организации политических радикалов (по мнению Петрашевского — см.: *Биография,* стр. 85; характеристику кружка Дурова см. выше, стр. 313—314). В кружок Дурова входили Н. А. Момбелли, А. Н. Плещеев, А. И. Пальм, П. Н. Филиппов, Н. А. Спешнев, М. М. и Ф. М. Достоевские и др. Достоевский не был близок с Дуровым и отзывался о нем как о человеке «религиозном до смешного» (*Биография,* стр. 94), «болезненно раздражительном» (см. выше, стр. 151) и т. п. Переписки между ними никогда не было. Но «врагами» они не стали (см.: наст. изд., т. IV, стр. 287).

Дуров был приговорен к смертной казни, которая была заменена четырехлетней каторгой. На эшафоте Дуров стоял вместе с Достоевским и А. Н. Плещеевым во второй тройке. Они успели обняться и проститься (см. письма Ф. М. Достоевского М. М. Достоевскому от 22 декабря 1849 г.). А. П. Милюков, навестивший вместе с М. М. Достоевским Ф. М. Достоевского и Дурова накануне их отправки в Сибирь, отметил самообладание последнего: «Если бы кто прислушался к нашему разговору (с Дуровым, — *ред.*), то подумал бы, что ⟨...⟩ у моего собеседника нет других интересов, кроме политических новостей и литературы» (*Милюков,* стр. 195). В остроге Дуров отбывал срок вместе с Достоевским — их отношения еще более охладились. Вышел он на свободу чрезвычайно

больным человеком (о его дальнейшей судьбе см.: наст. изд., т. IV, стр. 287—288; см. также в статье В. И. Семевского: *ГМ*, 1915, № 11). Достоевскому была известна судьба Дурова в 50-е—60-е годы, поселившегося в семье А. И. Пальма. Как «приживальщика» и «эстетика» писатель характеризует его в набросках к неосуществленному рассказу для журнала «Заря» (см.: наст. изд., т. IX, стр. 115, 492).

Стр. 136. *Пальм* Александр Иванович (1822—1885) — поручик лейб-гвардии егерского полка, литератор, с 1847 г. жил совместно с Дуровым. Посещал «пятницы» Петрашевского и был одним из инициаторов создания кружка Дурова. Пальм был вначале приговорен к смертной казни, но ему даровали прощение, и он тем же чином был переведен в Литовский егерский полк (Одесса). «Как теперь вижу минуту нашего прощанья в декабре сорок девятого года, — вспоминал Пальм о Достоевском. — Он, бодрый, почти веселый и какой-то светлый, верующий, обнял меня и сказал: „До свидания, Пальм, увидимся непременно, уж это непременно — увидимся! Четыре года каторги, потом солдатчина — всё вздор, пустяки, пройдет, а будущее наше!“ Глаза его сверкали, прекрасная, любящая — хоть и не без тонкого юмора — улыбка загорелась на его бледном, измученном лице...» (цит. по кн.: С. Тхоржевский. Жизнь и раздумья Александра Пальма. Изд. «Советский писатель», Л., 1971, стр. 95).

Поэтические и прозаические произведения Пальма появлялись в 40-е годы в крупнейших столичных журналах, но его центральным произведением стал роман «Алексей Слободин» (*ВЕ*, 1872, №№ 10—12; 1873, №№ 2—3), воскрешающий обстановку кружков 1845—1849 гг. и подписанный псевдонимом «П. Альминский». Главный герой, по имени которого назван роман, обладает — как свидетельствовал сам автор — многими чертами молодого Достоевского (см.: *Биография,* стр. 85). Достоевскому роман, по всей вероятности, не понравился: в «Гражданине», который в ту пору редактировал писатель, о романе появилась отрицательная рецензия Мещерского (см.: *Гр*, 1873, № 1, стр. 21—23). Через год, 4 марта 1874 г., в письме к В. П. Мещерскому Достоевский раздраженно упомянул Пальма в связи с тем, что последний был отдан под суд за растрату. Первая встреча их после тридцатилетней разлуки состоялась 16 декабря 1879 г. на литературном утреннике; последняя встреча обоих бывших петрашевцев произошла на литературном вечере в пользу Высших женских курсов 14 декабря 1880 г., где оба выступали с чтением ролей из гоголевских пьес: Пальм — Осипа из «Ревизора», Достоевский — Подколесина из «Женитьбы» (см.: *Гроссман, Жизнь и труды,* стр. 289 и 313).

1 февраля 1881 г. на похоронах Достоевского Пальм сказал первую речь (см.: А. И. Пальм. Речь, произнесенная на могиле Достоевского. *НВр*, 2 февраля, 1881, № 1772).

Стр. 136. *Плещеев* Алексей Николаевич (1825—1893) — поэт и литератор, друг молодого Достоевского. Знакомство их произошло в 1846 г. Об этом периоде Д. В. Григорович вспоминал: «Около Бекетовых мало-помалу образовался целый кружок; мы (Григорович и Достоевский, — *ред.*) вступили в него благодаря старшему из братьев А⟨лексею⟩ Н⟨иколаевичу⟩, бывшему нашему товарищу по училищу ⟨...⟩ Всякий раз встречалось здесь множество лиц, большею частью таких же молодых, как мы были сами; в числе их особенно часто являлся А. Н. Плещеев, тогда также студент...» (*Григорович,* стр. 93). В том же году Достоевский и Плещеев почти одновременно получили литературную известность: один — «Бедными людьми», другой — сборником «Стихотворения». Плещеев — один из самых ранних посетителей «пятниц» Петрашевского; исходя из показания А. В. Ханыкова о том, что с Петрашевским его познакомил Плещеев еще в 1845 г. (см.: *Дело петрашевцев,* т. III, стр. 28), можно сделать вывод о том, что последний приходил на собрания в их самую начальную пору. Плещеев же свел весной 1846 г. Достоевского и Петрашевского (см. выше, стр. 138).

Автор работы о взаимоотношениях Достоевского и Плещеева в 40-х годах констатирует их «душевную однородность» (*Комарович,* стр. 30), имея в виду общее для обоих настроение, которое Достоевский именовал «мечтательством». Наибольшую дань этому настроению Достоевский отдал в «Белых ночах» (1848) — повести, не только посвященной Плещееву, но и до известной

степени воссоздающей его облик (см.: *Комарович*, стр. 104; наст. изд., т. II, стр. 486, 491). Со своей стороны, Плещеев воспел «мечтательство» в повести «Дружеские советы» (1848) — своеобразном аналоге «Белых ночей». Характерно, что родственную Достоевскому тему Плещеев разрабатывал самостоятельно: оба произведения увидели свет почти одновременно.

Об общности литературно-эстетических воззрений Достоевского и Плещеева в конце 1840-х годов свидетельствует также и то, что они оба приняли сторону В. Н. Майкова в полемике последнего с Белинским, развернувшейся в период ноября 1846 г. — февраля 1847 г. по поводу творчества А. В. Кольцова. В показании на следствии Достоевский, вслед за Майковым, упрекнул Белинского в «бездоказательности» (см. выше, стр. 127 и примеч. к ней); это же обвинение косвенно повторил Плещеев в некрологе В. Н. Майкова, опубликованном в № 181 газеты «Русский инвалид» от 15 августа 1847 г. (см.: И. А. Щуров. Белинский и Плещеев. *РЛ*, 1969, № 2, стр. 136).

Вместе с Достоевским Плещеев входил в радикальную фракцию петрашевцев — дуровский кружок (об этом кружке см. выше, стр. 313—314; см. также: *Долинин, Достоевский среди петрашевцев*). Несколько собраний дуровцев происходило на его квартире (см. выше, стр. 165—166).

Весной 1849 г. Плещеев, находившийся в Москве, прислал оттуда своему другу предсмертное письмо Белинского Гоголю (см. показание А. И. Пальма: *Дело петрашевцев*, т. III, стр. 274). При аресте Достоевского у него обнаружили письмо к нему Плещеева от 14 марта 1849 г., которое заинтересовало комиссию по разбору бумаг арестованных, во-первых, отзывом о пребывании императорской фамилии в Москве и, во-вторых, просьбой передать привет ряду петрашевцев (см. выше, стр. 177). В этом же письме Плещеев подробнее сообщает об одном из планов Достоевского, лишь глухо упомянутом в показании последнего на следствии: «Скоро мы, то есть я, брат мой, Дуров, Пальм и Плещеев, согласились издать в свет литературный сборник...» (наст. том, стр. 154). Плещеев просит Достоевского: «Еще забыл я упомянуть о нашем проекте альманаха. Пришлите его сюда (в Москву, — *ред.*) и поскорее. Может быть, мне удастся склонить здесь Голубкова или другого капиталиста на осуществление этого проекта. Дайте мне при сем несколько приличных советов как человеку не совсем еще опытному в этих делах» (*Дело петрашевцев*, т. III, стр. 290).

Плещеев был осужден на смертную казнь (замененную солдатчиной в Оренбургском гарнизоне), и на эшафоте в день объявления приговора он стоял во второй тройке рядом с Достоевским и С. Ф. Дуровым, с которыми успел попрощаться (см. письмо Ф. М. Достоевского М. М. Достоевскому от 22 декабря 1849 г.).

В конце 1856 г. Плещеев, дослужившийся до первого офицерского чина, вышел в отставку. Прежние права состояний были возвращены ему 17 апреля 1857 г., так же как Достоевскому и ряду других петрашевцев (см.: *Гроссман, Жизнь и труды*, стр. 86). Плещеев возобновляет переписку с Достоевским. 20 января 1857 г. он предлагает Достоевскому свое посредничество в отношениях со столичными изданиями, в том числе с «Библиотекой для чтения» (см.: *Д, Материалы и исследования*, стр. 437—438). Это предложение обнадежило Достоевского, который в 1857 г. дважды рассказывал о нем Е. И. Якушкину (см. письма последнему от 1 июня и 23 ноября 1857 г.). Достоевский рассчитывал на материальную помощь от Плещеева, «в дружбе» которого он «не сомневался» (письмо М. М. Достоевскому от 19 июля 1858 г.). И действительно, в 1859 г. Плещеев одалживает Достоевскому 1000 рублей.

В начале 1859 г. Плещеев, уже вернувшийся в столицу, был одним из первых читателей рукописи (или корректуры) «Дядюшкиного сна», автор которого просил брата ознакомить со своим произведением нескольких литераторов (см.: наст. изд., т. II, стр. 514). В целом оценка Плещеева была сдержанной: «...я ждал больше... роман отзывается спешностью...» (*Д, Материалы и исследования*, стр. 442). Достоевский признал мнение Плещеева справедливым (см. письмо М. М. Достоевскому от 14 марта 1859 г.). Разочарован был Плещеев и «Селом Степанчиковым» (см.: *ЛА*, № 6, стр. 274).

В 1860 г. Плещеев содействует выходу в свет двухтомника Достоевского, изданного Н. А. Основским; в дальнейшем бывший петрашевец сотрудничает во «Времени» и «Эпохе».

С 1865 по 1875 г. Плещеев — секретарь редакции «Отечественных записок» Н. А. Некрасова и М. Е. Салтыкова-Щедрина. Однако дружба его с Достоевским сохраняется, несмотря на различие убеждений (см.: *Достоевская, А. Г., Воспоминания,* стр. 265, 454—455; ср. предисловие Л. С. Пустильник к письмам Плещеева Достоевскому: *ЛА*, № 6, стр. 252—255). Последний этап взаимоотношений Плещеева и Достоевского начинается около 1875 г. в связи с печатанием «Подростка» в «Отечественных записках» (см. письмо Достоевского Плещееву от 20-х чисел августа 1875 г.). В письмах Достоевскому 70-х годов Плещеев, занимавшийся, по собственному признанию, «мелкой, газетной» работой (*Д, Материалы и исследования,* стр. 465), просит о кратковременной ссуде, не настаивая даже на возврате одолженных им в 1859 г. 1000 рублей. «Мы с тобой редко видимся, — писал Плещеев в сентябре 1876 или 1877 г., — и как-то ни разу не приходилось мне поговорить с тобой о своем житье-бытье. Но если б ты знал, как мне живется, — то пожалел бы меня» (*Д, Материалы и исследования,* стр. 467). 31 января 1881 г. во время выноса гроба Достоевского Плещеев и Пальм первыми взялись за крышку гроба.

Стр. 136. *Головинский* Василий Андреевич (род. 1829) — правовед, чиновник Сената. В собрания у Петрашевского он был введен Достоевским. У Головинского писатель взял работу П.-Ж. Прудона «О праздновании воскресения», найденную при аресте Достоевского (см. выше, стр. 177). Головинский дважды выступал на «пятницах» с решительным осуждением крепостного права, «предполагая, — как показал Н. П. Григорьев, — одну меру только, восстание самих крестьян» (*Дело петрашевцев,* т. III, стр. 243). Обостренный интерес Головинского к крестьянской проблеме подтвердил в своих показаниях и Достоевский, прибавив, что и он сам «очень интересовался этим вопросом». Однако Достоевский, очевидно сознавая свою ответственность за Головинского, умело отвел от последнего подозрение в умысле крестьянского восстания, представляя своего собеседника как сторонника «освобождения крестьян, не разорив помещика». Обстоятельно аргументировал Достоевский и отрицательный ответ на предложенный ему Следственной комиссией вопрос о том, призывал ли Головинский к установлению диктатуры (см. выше, стр. 143—145).

По поводу того, был ли Достоевский солидарен с подлинными взглядами Головинского на крестьянскую проблему, существует два противоположных свидетельства современников. «А. И. Пальму помнится — записал О. Ф. Миллер, — что когда однажды спор сошел на вопрос „ну а если бы освободить крестьян оказалось невозможным иначе как через восстание?“, то Достоевский со своею обычною впечатлительностью воскликнул: „так хотя бы через восстание!“» (*Биография,* стр. 85). С другой стороны, А. П. Милюков, склонный ретушировать свои воспоминания, подчеркивал, что в дуровском кружке Достоевский «с особенной настойчивостью высказывался» в пользу точки зрения, согласно которой «народ наш не пойдет по следам европейских революционеров и, не веруя в новую пугачевщину, будет терпеливо ждать решения своей судьбы от верховной власти... Когда при этом кто-то выразил сомнение в возможности освобождения крестьян легальным путем, Ф. М. Достоевский резко возразил, что ни в какой иной путь он не верит» (*Милюков,* стр. 177).

Головинский был приговорен к смертной казни, замененной солдатчиной в Оренбургском линейном батальоне; с 1851 г. переведен на Кавказ, о чем упоминает Достоевский в письме к брату от 22 февраля 1854 г. В 1857 г. Головинскому были возвращены прежние права. С Достоевским Головинский встретился в Твери не позже сентября 1859 г. (см. письмо Достоевского брату от 1 октября 1859 г.). Здесь Головинский оказал Достоевскому существенную услугу — познакомил его с тверским губернатором П. Т. Барановым (см. письмо Достоевского А. И. Гейбовичу от 23 октября 1859 г.), который сочувственно отнесся к судьбе ссыльного писателя и в дальнейшем помогал в хлопотах о разрешении ему жить в столице.

В период подготовки реформы 1861 г. Головинский последовательно отстаивал интересы крестьян, чем возбудил ненависть помещиков, сочинявших о нем доносы. С 1859 г. Головинский не встречался с Достоевским.

С т р. 136. *Филиппов* Павел Николаевич (1825—1855) — к 1848 г. окончил Петербургский университет. Достоевский познакомился с ним летом 1848 г. в Парголово, очевидно, на даче Петрашевского, у которого в это время гостило много друзей (см. выше, стр. 155; *Панаева,* стр. 175). Достоевский ввел Филиппова в кружок С. Ф. Дурова, что объясняется привязанностью Достоевского к юноше, обладавшему, по словам писателя, «честностью, изящной вежливостью, правдивостью, неустрашимостью и прямодушием» (стр. 155). При этом Достоевский отмечал в его характере «самолюбие, или, лучше сказать, славолюбие, доходящее в нем до странности». Последним обстоятельством Достоевский, явно стремясь ввести в заблуждение следователей, мотивирует предложение, сделанное Филипповым на «субботе» С. Ф. Дурова, — «литографировать сочинения, которые могли быть сделаны кем-нибудь из нашего кружка мимо цензуры» (стр. 155).

В «Выписке из „Списка лицам..."», составленной по предварительным донесениям Антонелли, Филиппову ошибочно приписана принадлежность копии с письма Белинского к Гоголю (см. выше, стр. 177). В ходе следствия было установлено, что этот документ попал к Достоевскому от Плещеева (см. показание А. И. Пальма: *Дело петрашевцев,* т. III, стр. 274). Филиппов же намеревался распространять письмо Белинского — «если уж не литографировать, то переписывать и сообщать своим знакомым» (там же). Видимо, с этой целью он и взял у Достоевского письмо Белинского на несколько дней (см. его показание выше, стр. 185). А. Н. Майков, от которого исходят сведения о тайном обществе, организованном внутри общества Петрашевского во главе со Спешневым, назвал Филиппова в числе участников заговора и утверждал, что именно последний являлся автором чертежа типографского станка (см. выше, стр. 192).

Филиппов был приговорен к смертной казни, замененной военно-арестантскими ротами (первоначально в Измаиле). В 1855 г. он был отправлен в действующую армию, где в том же году скончался от ран во время штурма крепости Карса. Покидая Петербург, Филиппов подарил Достоевскому 25 рублей (он оставил деньги у коменданта Петропавловской крепости И. А. Набокова), о чем писатель долго и не подозревал. Рассказывая об этом брату в письме от 22 февраля 1854 г., Достоевский заключал: «Он думал, что у меня не будет денег. Добрая душа».

С т р. 136. *Краевский* Андрей Александрович (1810—1889) — журналист и издатель. В 1836 г. был привлечен П. А. Плетневым для помощи по изданию пушкинского «Современника». С 1839 по 1868 г. Краевский — издатель-редактор «Отечественных записок». В молодости Краевский, испытывая известное влияние писателей пушкинского круга, энергично добивался собственного журнала и проявил незаурядные редакторские и организаторские способности на посту издателя ряда газет (о его деятельности 1830-х годов см: Пушкин. Письма последних лет. 1834—1837. Изд. «Наука», Л., 1969, стр. 418; В. Н. О р л о в. Пути и судьбы. Литературные очерки. Изд. 2-е. Изд. «Советский писатель», Л., 1971, стр. 449—504). Став во главе «Отечественных записок», Краевский реорганизовал журнал по последнему слову тогдашней редакционно-издательской техники, не скупясь ни на какие расходы, лишь бы в его издании сотрудничали лучшие писатели и ученые России, лишь бы оно выходило точно в обещанные сроки, лишь бы оно было оформлено изящно и в то же время монументально. И. И. Панаев вспоминал, что «Краевский не спал ночи и проводил их за корректурой в типографии перед выходом первой книжки». Панаев передает настроение, с которым была встречена первая книжка обновленных «Отечественных записок»: «Все любители литературы с любопытством бросились смотреть на нее — и вот:

Громада двинулась и рассекает волны...» (*Панаев,* стр. 126—127).

Рассматривая журнал как коммерческое предприятие, Краевский привнес в русскую журналистику нравы беспощадной эксплуатации литературных поденщиков, одним из которых вплоть до апреля 1846 г. являлся Белинский (см.: *Белинский,* т. XII, стр. 415). В настоящую кабалу к Краевскому быстро попал и Достоевский: «А система всегдашнего долга, которую так распространяет Краевский, есть система моего рабства и зависимости литературной», — жаловался Достоевский брату 7 октября 1847 г.

За исключением «Бедных людей», «Романа в девяти письмах» и «Ползункова», все произведения Достоевского до каторги печатались в «Отечественных записках», издатель которых по отношению к их автору находился в положении антрепренера (см. письма Достоевского Краевскому от 1 февраля и от 25—26 марта 1849 г.). В 1857 г. Краевский опубликовал также рассказ «Маленький герой», написанный автором летом и осенью 1849 г. в Петропавловской крепости (см.: наст. изд., т. II, стр. 506); последним произведением Достоевского, увидевшим свет в «Отечественных записках», явилось «Село Степанчиково» (1859), которое предназначалось сначала для «Русского вестника», а затем для «Современника» (см.: наст. изд., т. III, стр. 499). В 1865 г., находясь в крайне бедственном состоянии, Достоевский предлагал Краевскому «Преступление и наказание» (см. письмо Достоевского к нему от 8 июня 1865 г.), но ввиду отсутствия у редакции средств и наличия большого запаса беллетристики Краевский от романа отказался (см.: наст. изд., т. VII, стр. 309).

В эпилоге «Униженных и оскорбленных» (1861) Достоевский воспроизвел свои отношения с Краевским, которого он вывел под именем журналиста Александра Петровича (см.: наст. изд., т. III, стр. 538). Сатирическое изображение Краевского в этом романе является прологом к беспощадному осмеянию литературного промышленника в письмах и публицистике Достоевского 60-х и 70-х годов; в этот период (с 1863 г.) Краевский редактировал «бесившую» писателя газету «Голос» (см. письмо А. Г. Достоевской от 10 августа 1879 г.). Развернутую оценку деятельности Краевского как общественного деятеля тех лет Достоевский дал в статье «Каламбуры в жизни и литературе» (1864). (подробнее см.: В. В. Виноградов. Достоевский и А. А. Краевский. В кн.: *Достоевский и его время,* стр. 17—32).

Стр. 136. ...*с родственниками моими в Москве...* — Имеются в виду: Карепина, урожденная Достоевская, Варвара Михайловна (1822—1893), старшая из сестер Достоевского; Карепин Петр Андреевич (1796—1850), ее муж; с 1837 г., после смерти М. А. Достоевского, опекун семьи последнего. Вероятно, он являлся прототипом образа Быкова в «Бедных людях» (см.: наст. изд., т. I, стр. 467). Кроме того, в Москве в ту пору жили: Куманина, урожденная Нечаева, Александра Федоровна (1796—1871), тетка Достоевского, оставившая наследство (так называемое «куманинское» наследство), которое явилось причиной семейных разногласий в 70-е годы; Куманин Александр Александрович (даты жизни неизвестны), ее муж. Семейные отношения в купеческом доме Куманиных также воспроизведены в «Бедных людях» (см.: наст. изд., т. I, стр. 467).

⟨ПОКАЗАНИЯ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО⟩

(Стр. 136)

Печатается по автографу.

Хранится: *ЦГВИА*, ф. 101, оп. 84/28, д. № 55, ч. 26, лл. 59—112. Датируется июнем 1849 г. (см. выше, стр. 325).

Впервые напечатано: «Красный архив», 1931, т. 2 (45), стр. 136—146; т. 3 (46), стр. 160—176 (публикация Н. Ф. Бельчикова). Ранее некоторые показания напечатаны в отрывках: *ГМ*, 1915, № 11, стр. 5—43; № 12, стр. 35—75; *РЗ*, 1916, № 9, стр. 40—68; № 10, стр. 29—64.

Стр. 138. ...«*Какая идея* ∾ позвольте спросить?» — В начале 1846 г. увидели свет «Бедные люди» (конец января) и «Двойник» (февраль), привлекшие к Достоевскому самое широкое читательское внимание, чему также способствовало оживленное обсуждение этих повестей в печати (см.: наст. изд., т. I, стр. 472—475; 489—491).

Стр. 138. *...накануне моего отъезда в Ревель...* — Достоевский выехал в Ревель (ныне Таллин) к старшему брату 24 мая 1846 г. (см. его записка А. М. Достоевскому от 24 мая 1846 г. — *Достоевский, А. М.*, стр. 397; ср.: *Достоевский и его время,* стр. 293). Таким образом, скорее всего Достоевский познакомился с Петрашевским в середине мая 1846 г.

Стр. 138. *Ахшарумов* Дмитрий Дмитриевич (1823—1910) — с 1847 г. служил в Ученом отделении восточных языков при Азиатском департаменте Министерства иностранных дел. Частый посетитель «пятниц» Петрашевского, Ахшарумов не выдержал тяжести заключения (о его показаниях на следствии см. выше, стр. 323—324). Он был приговорен к смертной казни, замененной арестантскими ротами. Впоследствии описал события своей молодости (см.: *Ахшарумов*).

Стр. 138—139. *Берестов* Алексей Иванович (род. 1814) — художник, служил в Комиссии по изданию Описания одежд и вооружения российских войск. Не судился. Каких-либо контактов с Достоевским не имел (подробнее о нем см.: *Петрашевцы,* т. III, стр. 346).

Стр. 139. *Кропотов* Дмитрий Андреевич (род. 1818) — с 1840 г. дежурный офицер 1-го кадетского корпуса. Участвовал в составлении «Карманного словаря иностранных слов» (см. примеч. к стр. 117). По ничем не подтвержденным словам Л. В. Дубельта, он являлся агентом последнего среди петрашевцев (см.: А. И. Арсеньев. Слово живое о неживых. *ИВ*, 1887, № 4, стр. 73). Кропотов не судился, но был отдан под секретный надзор (подробнее о нем см.: *Петрашевцы,* т. III, стр. 350).

Стр. 139. *...касается до Кашина...* — Имеется в виду Кашкин Николай Сергеевич (1829—1914), чиновник Азиатского департамента Министерства иностранных дел. Он был приговорен к каторге на 4 года, замененной солдатчиной (подробнее о нем см.: *Петрашевцы,* т. III, стр. 350). Последовательно придерживаясь осторожной тактики на следствии, Достоевский стремится сообщать как можно меньше фактов и называть только тех лиц, знакомство с которыми отрицать бессмысленно. Поэтому трудно доверять словам Достоевского, отрицавшего свое знакомство с Н. С. Кашкиным. Кашкин встречался с Ф. М. и М. М. Достоевскими в 1861 г., знаком был с первой женой Достоевского — М. Д. Исаевой, как об этом свидетельствует его письмо к Ф. М. Достоевскому от 6 августа 1861 г.: «Мне очень прискорбно, многоуважаемый Федор Михайлович, что за многими хлопотами перед отъездом я не мог найти свободного вечера, чтобы проститься с вами: надеюсь вознаградить себя в следующий приезд в Петербург. Прошу вас засвидетельствовать мое искреннее уважение супруге вашей и Михаилу Михайловичу и передать им просьбу мою — сохранить мне доброе расположение, которым я пользовался. ⟨...⟩ благодарю вас за добрые часы, проведенные в вашем обществе и поручаю себя вашей памяти» (*ГБЛ,* ф. 93. II, 5. 61).

Стр. 139. *...младшего Десбута...* — Дебу 2-й, Ипполит Матвеевич (1824—1890) — чиновник Азиатского департамента Министерства иностранных дел; посетитель собраний у Петрашевского, впоследствии рассказавший об участии в них Достоевского О. Ф. Миллеру (см. выше, стр. 316 и примеч. к стр. 128). Он был приговорен к расстрелу, замененному арестантскими ротами (подробнее о нем см.: *Петрашевцы,* т. III, стр. 348).

Стр. 139. *Кайданов* Владимир Иванович (1821—1894) — приятель Петрашевского с лицейских лет, чиновник Министерства государственных имуществ. Освобожден под надзор (подробнее о нем см.: *Петрашевцы,* т. III, стр. 349).

Стр. 139. *Львов* Федор Николаевич (1823—1885) — штабс-капитан лейб-гвардии Московского полка, с 1847 г. преподаватель химии Павловского кадетского корпуса. С осени 1848 г. посещал «пятницы» Петрашевского, затем «субботы» Дурова. Он был приговорен к расстрелу, замененному каторжными работами на 12 лет. По манифесту 1856 г. Львов вышел на поселение, сотрудничал с Н. А. Спешневым в «Иркутских губернских ведомостях». В Сибири Львов при участии Петрашевского составил «Записку о деле петрашевцев» (см.: *ЛН*, т. 63, стр. 166—190; см. также выше, стр. 319). Подробнее о нем см.: *Семевский, Петрашевский,* стр. 209—214.

С т р. 139. *Момбелли* Николай Александрович (1823—1891) — поручик лейб-гвардии Московского полка, в 1846—1847 гг. устраивал на своей квартире литературные собрания знакомых офицеров (см.: *Милюков*, стр. 174), на которых обсуждались его сочинения, трактующие широкий круг исторических, политических и религиозных проблем (см.: *Произведения петрашевцев*, стр. 609—621). С осени 1848 г. посещал «пятницы» Петрашевского, где внес проект об учреждении «Братства взаимной помощи». Момбелли принимал участие также в собраниях у Дурова и, по свидетельству А. Н. Майкова, входил в конспиративный кружок, ставивший своей целью произвести переворот в России (см. выше, стр. 194). Он был приговорен к расстрелу, замененному каторжными работами на 15 лет. По манифесту 1856 г. Момбелли вышел на поселение и вскоре определился рядовым на Кавказ. Судя по его записке Достоевскому от 20 октября 1872 г. (см.: *Гроссман, Жизнь и труды*, стр. 203), оба петрашевца встречались в Петербурге в 60-х — начале 70-х годов (подробнее о нем см.: *Семевский, Петрашевский*, стр. 204—209).

С т р. 139. *Баласогло* Александр Пантелеймонович (род. 1813) — служил в архиве Азиатского департамента Министерства иностранных дел. Один из активных посетителей «пятниц» Петрашевского, пришедший в восторг от чтения Достоевским письма Белинского к Гоголю (см. стр. 178). Не судился (подробнее о нем см.: *Петрашевцы*, т. III, стр. 345—346).

С т р. 139. ...*Кузьмин один раз*... — Кузьмин 1-й, Павел Александрович (1819—1885), штабс-капитан Генерального штаба, принимал участие в некоторых беседах, происходивших на «пятницах» Петрашевского. Не судился. Впоследствии дослужился до чина генерал-лейтенанта (подробнее о нем см.: *Петрашевцы*, т. III, стр. 350).

С т р. 139. *Старшего Десбута*... — Дебу 1-й, Константин Матвеевич (род. 1810) — старший брат И. М. Дебу, переводчик в Азиатском департаменте Министерства иностранных дел, один из посетителей «пятниц» Петрашевского. Он был приговорен к расстрелу, замененному 4 годами арестантских рот (подробнее о нем см.: *Петрашевцы*, т. III, стр. 348).

С т р. 139. *Брат мой* ∾ *из Ревеля*. — М. М. Достоевский в своих показаниях указывает, что он познакомился с Петрашевским зимой 1848 г. Однако более вероятной датой их знакомства является осень 1847 г., вскоре после переезда М. М. Достоевского в Петербург (см.: Н. Ф. Б е л ь ч и к о в. Показания Ф. М. Достоевского по делу петрашевцев. «Красный архив», 1931, т. 2 (45), стр. 138; *Материалы и исследования*, т. I, стр. 259, примеч. 5).

С т р. 140. *Я говорю это* ∾ *брата и семейства его*. — М. М. Достоевский писал брату в крепость 9 июля 1849 г.: «Милый друг мой, как бы хотелось мне, чтоб из письма этого ты мог вычитать хоть строчку утешения для себя. Я знаю, что для твоего доброго и великодушного сердца будет отрадно узнать, что я уже две недели живу в кругу своего семейства 〈...〉 Я уверен, что во всё это несчастное для нас время ты думал и скорбел более обо мне, чем о себе...» («Искусство», 1927, кн. 1, стр. 109—110).

С т р. 140. *Чириков* Михаил Николаевич (род. 1803) — чиновник особых поручений при Государственном коммерческом банке. С 1846 г. квартировал у Петрашевского. Не судился (подробнее о нем см.: *Петрашевцы*, т. III, стр. 356).

С т р. 140. *Деев* Платон Александрович (род. 1824) — студент Петербургского университета, квартирант Петрашевского. Не судился (подробнее о нем см.: *Петрашевцы*, т. III, стр. 352).

С т р. 140. *Мадерский* Александр Тимофеевич (род. 1825) — вольнослушатель Петербургского университета, учитель. По определению Следственной комиссии, он «был на всех собраниях, жил у Петрашевского и во время всех собраний хозяйничал» (*ЦГВИА*, ф. 801, оп. 84/28, д. 55, ч. 2, л. 31). Не судился (подробнее о нем см.: *Петрашевцы*, т. III, стр. 352).

С т р. 140. *Я слышал о речи Толля о религии*... — См. примеч. к стр. 131.

С т р. 140. ...*Ястржембский говорил речь о науках*... — См. примеч. к стр. 132.

С т р. 146. *Я прочел письмо Белинского к Гоголю*... — См. примеч. к стр. 119.

Стр. 148. *Речь Тимковского...* — Тимковский Константин Иванович (1814—1881) — отставной флотский офицер, чиновник особых поручений при Министерстве внутренних дел. Он жил постоянно в Ревеле и лишь изредка, приезжая в Петербург, посещал «пятницы» Петрашевского. На одном из таких вечеров он читал лекцию об учении Фурье, которую Достоевский подробно охарактеризовал в своих показаниях (см. выше, стр. 152). Личность этого человека запала в память Достоевского: в задуманную (но не завершенную) редакцию «Двойника» писатель собирался ввести эпизоды, связанные с «пятницами» Петрашевского, на которых присутствует «Тимковский как приезжий» (см.: наст. изд., т. I, стр. 435).

Тимковский был арестован в Ревеле на основании обнаруженного у Н. А. Спешнева его письма к последнему; в нем говорилось об учреждении автором двух кружков в Ревеле (см. выше, стр. 324). Однако Следственная комиссия не нашла этому доказательств, Тимковский был приговорен к ссылке, замененной арестантскими ротами (подробнее о нем см.: *Петрашевцы,* т. III, стр. 355).

Стр. 151. *...я доказывал ∾ чисто художественного...* — См. примеч. к стр. 128.

Стр. 151. *Щелков* Алексей Дмитриевич (род. 1825) — служил в канцелярии Петербургского военного генерал-губернатора; сожитель С. Ф. Дурова и А. И. Пальма, входивший в дуровский кружок. Не судился (подробнее о нем см.: *Петрашевцы,* т. III, стр. 356). Достоевский упоминает Щелкова в записных тетрадях к «Подростку» (см.: наст. изд., т. XVI, стр. 40).

Стр. 153. *Спешнев* Николай Александрович (1821—1882) — богатый помещик, наиболее значительная и загадочная (его следственное дело исчезло) фигура среди петрашевцев. С его именем прежде всего связаны революционные планы: организация тайного общества, устройство подпольной типографии, консолидация всех антиправительственных сил (см. выше, стр. 191, 194, 314—315). Имевший за плечами опыт реальной политической борьбы в Швейцарии, демонстрировавший исключительную волю, гипнотизировавший собеседников иногда парадоксальной логикой, но чаще демоническим молчанием, — Спешнев обладал безусловным авторитетом в любом обществе; в кружках же Петрашевского и Дурова его превосходство было безоговорочным. По убеждениям он был последовательным атеистом и сочувствовал утопическому коммунизму, был знаком с «Нищетой философии» К. Маркса, а может быть, и с «Коммунистическим манифестом» (см.: *Д, Письма,* т. I, стр. 506). В составленном Спешневым «Проекте обязательной подписки для членов тайного общества» (см. выше стр. 324) в качестве конечной цели недвусмысленно названо вооруженное восстание (см.: *Произведения петрашевцев,* стр. 503). Безусловно, Спешнев являлся инициатором создания тайной семерки, ставившей перед собой аналогичную цель (см. выше, стр. 191, 194).

Спешнев сблизился с Достоевским осенью 1848 г. после того, как последний и Плещеев посетили его квартиру, — тогда и возникла мысль о собраниях у С. Ф. Дурова (см.: *Гроссман, Жизнь и труды,* стр. 52). Спешнев произвел на Достоевского одно из тех впечатлений, которые остались неизгладимыми на всю жизнь писателя. Достоевский переменился: стал более раздражительным, более замкнутым, и — чего раньше совершенно не было — начались теоретические разногласия между Федором, переходившим под влиянием Спешнева на радикальные позиции, и умеренным Михаилом Достоевскими (см. воспоминания С. Д. Яновского: *Достоевский в воспоминаниях,* т. I, стр. 172—173). Этот же мемуарист свидетельствует, что, заняв у Спешнева крупную сумму, Достоевский говорил: «...я взял у Спешнева деньги... и теперь я с ним и его... Понимаете ли вы, что у меня с этого времени есть свой Мефистофель» (там же, стр. 172).

Спешнев был приговорен к расстрелу, замененному 10 годами каторжных работ, которые отбывал в Нерчинском заводе; освобожден манифестом 1856 г. До 1860 г. оставался в Сибири, редактируя «Иркутские губернские ведомости». В письме брату от 22 февраля 1854 г. Достоевский писал: «Спешнев в Иркутской губернии, приобрел всеобщую любовь и уважение. Чудная судьба

этого человека! Где и как он ни явится, люди самые непосредственные, самые непроходимые, окружают его тотчас же благоговением и уважением».

В начале 1860 г. Спешнев вернулся в Россию. В письме Н. А. Добролюбову от 12 февраля 1860 г. А. Н. Плещеев, сообщая о том, что встретил Спешнева, направляющегося в столицу, выразил, наверное, отношение к последнему всех петрашевцев: «Рекомендую Вам этого человека, который, кроме большого ума, обладает еще качеством, к несчастью слишком редким у нас: у него всегда слово шло об руку с делом. Убеждения свои он постоянно вносил в жизнь. Это в высокой степени честный характер и сильная воля. Можно сказать положительно, что из всех наших — это самая замечательная личность» (*РМ*, 1913, № 1, стр. 142). С 1861 г. Спешнев занимает должность мирового посредника Островского уезда Псковской губернии и на этом посту твердо отстаивает интересы крестьян. По свидетельству С. Д. Яновского (в письме к А. Г. Достоевской от 2 марта 1884 г.), Спешнев присутствовал на новоселье Ф. М. Достоевского, возвратившегося в начале 1860 г. в Петербург (см.: *ЛН*, т. 86, стр. 377). Подробнее о Спешневе см.: *Лейкина,* стр. 37—63.

Стр. 153. *Данилевский* Николай Яковлевич (1822—1885) — с 1847 г. кандидат ботаники, впоследствии известный естествоиспытатель и философ. Посещал собрания у Петрашевского и приобрел там репутацию лучшего знатока Фурье (так, в частности, полагал Н. А. Спешнев — см.: *Дело петрашевцев,* т. II, стр. 288). Его пространное толкование фурьеризма см.: *Петрашевцы,* т. II, стр. 118—149. Зимой 1848 г. у Плещеева Достоевский обсуждал с ним, Спешневым и Данилевским возможность печататься за границей (см.: *Гроссман, Жизнь и труды,* стр. 52). Данилевский был подвергнут аресту, но не судился, он был только выслан из столицы. С 1853 г. Данилевский путешествует по России, участвуя во многих ихтиологических экспедициях. В 1865 г. Данилевский начинает работать над книгой «Россия и Европа», в которой, в духе славянофильских теорий, отвергает преемственный характер развития всемирной истории и стремится доказать, что единственным носителем исторической жизни являются чередующиеся — и резко отличные друг от друга — «культурно-исторические типы»; хронологически последний «культурно-исторический тип» представляют, по мысли Данилевского, Россия и славянство.

В письме от 20-х чисел февраля 1868 г. А. Н. Майков напомнил Достоевскому о Данилевском: «Этот Данилевский — Вы его знаете — бесподобная голова. Он написал книгу листов в 25 под заглавием „Россия и Европа“: тут и история, начиная с арийцев, и этнография, и политика, и восточный вопрос. Представьте себе: методы естественных наук, приложенные к истории, — прелесть что такое!» (*Д, Письма,* т. II, стр. 414). В ответном письме из Женевы от 2 марта 1868 г. Достоевский писал: «Ведь это тот Данилевский, бывший фурьерист по нашему делу? Да, это сильная голова». 24 ноября того же года Н. Н. Страхов, сообщая Достоевскому об организации журнала «Заря», отмечал, что «самое капитальное произведение, намеченное для журнала, — это ряд статей Ник⟨олая⟩ Яковл⟨евича⟩ Данилевского, которого Вы, вероятно, помните по истории 47—48 годов и по ссылке в Вятку. Он... в первый раз вступает на поприще литературы с рядом статей „Россия и Европа“. Это — целое учение, славянофильство в более определенных и ясных чертах» (Шестидесятые годы. Изд. АН СССР, М.—Л., 1940, стр. 260).

Заранее расположенный в пользу Данилевского свидетельствами А. Н. Майкова и Н. Н. Страхова, Достоевский писал первому из них 11 декабря 1868 г.: «Признаюсь Вам, что о Данилевском я, с самого 49-го года, ничего не слыхал, но иногда думал о нем. Я припоминал, какой это был отчаянный фурьерист. И вот, из фурьериста обратиться к России, стать опять русским и возлюбить свою почву и сущность! Вот по чему узнается широкий человек!»

8 марта 1869 г. Достоевский в письме к С. А. Ивановой упоминает Данилевского и с похвалой отзывается о первой главе работы Данилевского, «особенно рекомендуя» племяннице прочесть ее. 30 марта того же года в письме Н. Н. Страхову Достоевский сообщал: «Статья же Данилевского,

в моих глазах, становится всё более важною и капитальною. Да ведь это — будущая настольная книга всех русских надолго; — и как много способствует тому язык и ясность его, популярность его, несмотря на строго научный прием ⟨...⟩ Она до того совпала с моими собственными выводами и убеждениями, что я даже изумляюсь, на иных страницах, сходству выводов ⟨...⟩ Каково же радостное изумление мое, когда встречаю теперь почти то же самое, что я жаждал осуществить в будущем, — уже осуществленным, — стройно, гармонически, с необыкновенной силой логики и с той же степенью научного приема». Тому же адресату Достоевский писал 6 апреля 1869 г.: «Про статью Данилевского думаю, что она должна иметь колоссальную будущность, хотя бы и не имела теперь». В «Дневнике писателя» 1876 и 1880 гг. отразились как воздействие теории «России и Европы», так и преодоление ее Достоевским.

В конце зимы 1872 г. у Н. П. Семенова Достоевский встречается с Данилевским и приглашает его на следующий день к себе (см.: *Достоевская, А. Г., Воспоминания,* стр. 237—238). Их возобновившееся знакомство продолжалось до смерти Достоевского: одну из их встреч можно датировать 18 января 1877 г. (см. записку Достоевского А. Н. Майкову от 17 января 1877 г).

Стр. 154. *Кружок знакомых Дурова чисто артистический и литературный.* — Достоевский, как и все дуровцы, на следствии отвергал предположение о каком-либо ином характере их собраний, чему Следственная комиссия отчасти поверила (о подлинном смысле дуровской организации см. выше, стр. 313—314; ср.: *Долинин, Достоевский среди петрашевцев*).

Стр. 154. *Скоро мы ∾ литературный сборник...* — См. примеч. к стр. 136.

Стр. 156. *...братья Ламанские...* — Ламанский Евгений Иванович (1824—1902), столоначальник инспекторского департамента гражданского ведомства, вместе со своим братом посещал собрания Петрашевского и С. Ф. Дурова. Не судился (подробнее о нем см.: *Петрашевцы,* т. III, стр. 351). Ламанский Порфирий Иванович (1824—1875) служил в департаменте внешней торговли Министерства иностранных дел, впоследствии видный чиновник в Министерстве путей сообщения. Не судился. В 60—70-е годы Достоевский обращался к П. И. Ламанскому по деловым вопросам (в частности, по поводу устройства на службу пасынка писателя П. А. Исаева — см. письмо Достоевского А. У. Порецкому от 8 января 1871 г.). Вследствие умственного расстройства П. И. Ламанский покончил с собой; 6 февраля 1875 г. Достоевский писал жене: «Вообрази, Порфирий Ламанский умер от того, что закололся в сердце кинжалом!» Этот факт отразился в черновиках к «Подростку»: «... у Старого Князя был припадок разжижения мозга (Ламанский)» (наст. изд., т. XVI, стр. 88).

Стр. 156. *Кашевский* Николай Адамович (род. 1820) — чиновник Морского министерства, музыкант. Посещал собрания Петрашевского и С. Ф. Дурова; не судился (подробнее о нем см.: *Петрашевцы,* т. III, стр. 350).

Стр. 157. *В это время ∾ работой моей.* — Достоевский писал «Неточку Незванову» (см. наст. изд., т. II).

Стр. 158. *Григорьев же прочел «Солдатскую сказку»...* — Григорьев Николай Петрович (1822—1886) — поручик лейб-гвардии конно-гренадерского полка, принимал активное участие в собраниях у Петрашевского, а затем и у С. Ф. Дурова. В апреле 1849 г. на обеде у Н. А. Спешнева прочел свое сочинение «Солдатская беседа» — построенную в форме диалога инвективу высшим административным и военным кругам. Григорьев, по свидетельству А. Н. Майкова, входил в тайную семерку, объединявшуюся идеей революционного переворота (см. выше, стр. 194). К нему заходил Достоевский накануне ареста, 22 апреля 1849 г., и взял у него запрещенную книгу Э. Сю «Пастух из Кравана» (см. выше, стр. 165; ср.: стр. 313). Григорьев был приговорен к расстрелу, замененному 15 годами каторжных работ, где обострилось начавшееся еще в крепости психическое заболевание (см. письмо Достоевского брату от 22 февраля 1854 г.). Он вышел на поселение по манифесту 1856 г., а в феврале 1857 г., неизлечимо больной, Григорьев был отдан под надзор семьи.

Стр. 158. *Милюков действительно читал свой перевод.* — Милюков Александр Петрович (1817—1897) — историк литературы, педагог, критик. Вращаясь в 1840-х годах в кружке И. И. Введенского, объединявшего группу радикально настроенных интеллигентов-разночинцев, Милюков приобрел ряд знакомых из числа посетителей «пятниц» Петрашевского; в частности, он близко сошелся с А. Н. Плещеевым. Однако от визитов к самому Петрашевскому предусмотрительно отказался, ограничившись посещением более умеренного по характеру, как ему казалось, кружка С. Ф. Дурова (см.: *Милюков,* стр. 174—175). В своих позднейших воспоминаниях Милюков стремился представить собрания дуровцев исключительно как литературно-музыкальный салон (см.: *Милюков,* стр. 176), что отчасти может быть объяснено консервативной ориентацией автора в конце его жизни (см. выше, стр. 331).

Вместе с М. М. Достоевским Милюков навестил Ф. М. Достоевского и С. Ф. Дурова накануне их отправки в Сибирь (см. примеч. к стр. 136). На одном из собраний у С. Ф. Дурова Милюков прочел свой перевод из книги «Слова верующего» (Paroles d'un croyant) французского христианского (католического) социалиста Ф. Ламенне: «...Ф. М. Достоевский, — вспоминал Милюков, — сказал мне, что суровая библейская речь этого сочинения вышла в моем переводе выразительнее, чем в оригинале» (*Милюков,* стр. 183). Участие Милюкова в кружке С. Ф. Дурова осталось незамеченным агентом Липранди, и Следственная комиссия Милюковым мало интересовалась.

Приятельские отношения Милюкова с Достоевским, начавшиеся в 40-х годах, продолжались и по выходе последнего из каторги. 31 мая 1858 г. Достоевский через брата передает привет Милюкову, от которого получил в дар книгу «Очерки Финляндии»; вместе с М. М. Достоевским Милюков встречает бывшего каторжанина на Николаевском вокзале Петербурга в декабре 1859 г. (см.: *Милюков*, стр. 209). Но еще до приезда Достоевского в столицу Милюков стремился привлечь писателя к участию в организуемом им журнале «Светоч»: в Тверь, где находился осенью 1859 г. Достоевский, Милюков направил с рекомендательным письмом своего ближайшего сотрудника Д. Д. Минаева (см.: *Гроссман, Жизнь и труды,* стр. 94).

«Вторники» Милюкова в начале 1860-х годов стали для Достоевского местом налаживания новых литературных связей; здесь он, в частности, познакомился с Н. Н. Страховым (см.: *Биография,* отд. II, стр. 170—171). Однако с самим Милюковым настоящей близости у Достоевского не было, хотя до 1867 г. их переписка носит дружественный характер (см.: письма Достоевского Милюкову от 20 сентября 1860 г., от июня 1866 г., от первой половины февраля 1867 г.). В октябре 1866 г. находившийся в критической ситуации Достоевский (он был обязан к 1 ноября доставить издателю Ф. Т. Стелловскому новый роман, которого еще не существовало), благодаря Милюкову нашел стенографистку А. Г. Сниткину, при помощи которой успел за месяц написать «Игрока» (см.: *Милюков,* стр. 235; ср.: *Достоевская, А. Г., Воспоминания,* стр. 59). Впрочем, узнав о появлении в газете «Сын отечества» статьи «Женитьба романиста», описывающей некоторые обстоятельства брака писателя, «Федор Михайлович выразил мысль, что, судя по пошловатому тону рассказа, дело не обошлось без А. П. Милюкова...» (*Достоевская, А. Г., Воспоминания,* стр. 112). Начиная с 1867 г., Достоевский отзывается о Милюкове иронически или отрицательно (см. письма к Э. Ф. Достоевской от 21 октября 1867 г., Н. Н. Страхову от 28 мая 1870 г.).

Стр. 161. *Белецкий* Петр Иванович (род. 1819) — учитель всеобщей истории 2-го кадетского корпуса, посетитель «пятниц» Петрашевского. Не судился; за оскорбление на улице агента Антонелли подвергся высылке в Вологду (подробнее о нем см.: *Петрашевцы,* т. III, стр. 346).

Стр. 162. *Я допускал ∾ на Западе.* . — См. примеч. к стр. 122 и 123.

Стр. 162. *Черносвитов* Рафаил Александрович (род. 1810) — отставной офицер, служил исправником в Сибири, затем был участником сибирской золотопромышленной компании. Наезжая в Петербург, посещал «пятницы» Петрашевского, где отличался чрезвычайно смелыми анти-

правительственными речами — до такой степени, что вызвал у Достоевского и других подозрения, не являлся ли он агентом III Отделения (см. выше, стр. 164; о его роли на следствии см. стр. 325—327). Черносвитов был сослан в Кексгольмскую крепость (подробнее о нем см.: *Петрашевцы*, т. III, стр. 356). Колоритный посетитель «пятниц» Петрашевского надолго запомнился Достоевскому. В романе «Идиот» он упоминал изобретенную Черносвитовым искусственную ногу (см.: наст. изд., т. VIII, стр. 411; т. IX, стр. 455). Своеобразно отразились черты личности Черносвитова в «Бесах» (см.: наст. изд., т. XII, стр. 219—220).

Стр. 164. *О записке Белинского...* — Белинский писал: «Достоевский, душа моя (бессмертная) жаждет видеть Вас. Приходите, пожалуйста, к нам. Вас проводит человек, от которого Вы получите эту записку. Вы увидите всех наших, а хозяина не дичитесь, он рад Вас видеть у себя. В. Белинский» (*Белинский*, т. XII, стр. 251).

Стр. 165. *Накануне ареста ∾ у Головинского.* — У Достоевского были изъяты две запрещенные книги: первая часть сочинения Э. Сю «Пастух из Кравана. Социалистические и демократические беседы о республике и претендентах на престол» (E. Sue. Le Berger de Kravan. Entretiens socialistes et démocratiques sur la République et les Prétendants monarchiques. Paris, 1847); работа П.-Ж. Прудона «О праздновании воскресения» (P.-J. Proudhon. La célébration du Dimanche. Paris, 1839).

Стр. 166. *Статья «Петербург и Москва»...* — Имеется в виду статья А. И. Герцена «Москва и Петербург» (см.: *Герцен*, т. II, стр. 33—48), написанная в 1842 г. Был опубликован цензурный вариант — рассказ «Станция Едрово» («Московский листок», 1847, № 57).

⟨ПОКАЗАНИЯ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО ИЗ ДЕЛА О В. Р. ЗОТОВЕ⟩

(Стр. 166)

Печатается по автографу.

Хранится: *ЦГВИА*, ф. 801, оп. 84/28, д. № 55, ч. 86, лл. 41—42. Датируется июнем — августом 1849 г.

Публикуется впервые.

Стр. 166. *Его имя ∾ Владимир Рафаилович.* — Зотов Владимир Рафаилович (1821—1896), литератор, журналист, в 1847—1849 гг. редактор «Литературной газеты»; впоследствии редактировал различные столичные повременные издания. В 1875 г. Зотов опубликовал биографию Достоевского в «Русском энциклопедическом словаре», издаваемом И. И. Березиным. В «Дневнике писателя» Достоевский резко протестовал против многочисленных фактических ошибок, допущенных Зотовым (см.: *ДП*, 1876, гл. III, § 3).

⟨ПОКАЗАНИЯ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО ИЗ ДЕЛА ОБ А. Н. МАЙКОВЕ⟩

(Стр. 168)

Печатается по автографу.

Хранится: *ЦГВИА*, ф. 801, оп. 84/28, д. № 55, ч. 92, л. 17. Датируется июнем — августом 1849 г.

Впервые напечатано: *Бельчиков, 1936*, стр. 146.

Стр. 168. *Майков* Аполлон Николаевич (1821—1897) — поэт, ближайший друг Достоевского на протяжении 30 лет. Достоевский познакомился с Майковым у Белинского в 1846 г. (см. письмо Достоевского к Майкову от 26 октября 1868 г., в котором он пишет, что впервые увидел своего

адресата 22 лет от роду (следует читать: 22 года тому назад, — *ред.*)). Их тесная связь ведет свое начало с осени 1846 г., когда оба они входили в литературно-философский кружок братьев Бекетовых, душою которого был младший брат Майкова — Валериан Николаевич (см. примеч. ниже). После охлаждения в отношениях с Белинским и кругом «Современника», произошедшего на рубеже 1846—1847 гг., Достоевский в лице Бекетовых, Майковых, Плещеева вновь обрел единомышленников; помимо деятельного ума своих новых приятелей, он находил в них «превосходное сердце» и «благородство» (письмо брату от 26 ноября 1846 г.). В конце 1846 г. Достоевский некоторое время жил вместе с Бекетовым, Залюбецким и другими членами этого кружка (см. цитированное письмо брату).

Антонелли запомнил слова Петрашевского о том, что существует некоторое общество литераторов, в котором «братья Достоевские и Майковы разыгрывают первую роль» (см. выше, стр. 179). Кружок Бекетовых к моменту ареста петрашевцев уже долгое время не существовал (в связи с отъездом Бекетовых из Петербурга и трагической кончиной В. Н. Майкова 15 июля 1847 г.), так что скорее всего Петрашевский имел в виду кружок С. Ф. Дурова, в котором встречались Достоевский и Майков. Собрания у Петрашевского Майков посещал редко, хотя устроитель «пятниц» был его однокашником по университету (см. выше, стр. 193). Однако показательно, что именно Майкову — в глазах многих петрашевцев выглядевшему политически индифферентным — Достоевский предложил вступить в тайное общество «с целью произвести переворот в России» (стр. 194). Но в отличие от Достоевского Майков скептически оценил революционные возможности заговорщиков, названных ему Достоевским. По поводу знакомства с Петрашевским и Достоевским Майков был вызван в Следственную комиссию (которая завела на него особое дело), откуда после короткого допроса был отпущен под тайный надзор (см. выше, стр. 195).

В прощальном письме из Петропавловской крепости от 22 декабря 1849 г. Достоевский просит брата «пожать руку 〈...〉 Аполлону Майкову»; когда же Достоевскому была разрешена переписка, он направляет поэту прочувственное письмо, в котором полностью солидаризируется с патриотической идеей сборника Майкова «1854» и заключает, что «Европу и ее назначение окончит Россия» (письмо Майкову от 18 января 1856 г.). 13 апреля 1856 г., сообщая А. Е. Врангелю о намерении написать и опубликовать статью «Письма об искусстве», Достоевский сообщает о своем желании предварительно ознакомить с ней Майкова. Свидетельством искреннего расположения к Майкову служит также письмо Достоевского брату от 19 сентября 1859 г.

По приезде в Петербург, 30 декабря 1859 г., Достоевский получает от Майкова его стихотворения «в знак давней и неизменной дружбы» (*Гроссман, Жизнь и труды*, стр. 100). В 1861—1864 гг. Майков сотрудничает в журналах Достоевских «Время» и «Эпоха», вполне разделяя основные «почвеннические» убеждения издателей. Осенью 1866 г., в разговоре с А. Г. Сниткиной, Достоевский отозвался о Майкове как о талантливом поэте и «умнейшем и прекраснейшем из людей» (*Достоевская, А. Г., Воспоминания*, стр. 60). В это же время Достоевский сообщал своему корреспонденту: «А. Н. Майков написал драматическую сцену, в стихах... Это произведение можно назвать без всякого колебания chef d'oeuvre'ом из всего того, что он написал. Оно называется „Странник". Три лица, все трое раскольники-бегуны. Еще в первый раз в нашей поэзии берется тема из раскольничьего быта. Как это ново и как это эффектно! и какая сила поэзии!.. Во всяком случае — это богатое приобретение в нашей поэзии» (записка Достоевского неизвестному от 16 ноября 1866 г.).

В период заграничных странствий Достоевского (1867—1871) Майков — постоянный его корреспондент, его доверенное лицо в многочисленных литературных и финансовых делах. В письме от 16 августа 1867 г. Достоевский писал Майкову: «Я Вас называю незабвенным другом и чувствую в моем сердце, что название правильно: мы с Вами такие давнишние и такие привычные, что жизнь, разлучавшая и даже разводившая нас иногда, не только

не развела, но даже, может быть, и свела нас окончательно». 10 мая 1868 г. Майков в письме другу высоко отозвался об одной из глав «Идиота», публиковавшегося в первых книжках «Русского вестника» за этот год: «Глава „Идиота“ — прекрасна! Мастерство великого художника так и видно в рисовании даже силуэтов, но исполненных характерности» (*Сб. Достоевский, II*, стр. 351). 18 мая того же года Достоевский писал Майкову: «Ваш перевод Апокалипсиса — великолепен, но жаль, что не всё». Майковский перевод Апокалипсиса (гл. IV—X) публиковался в апрельской книжке «Русского вестника» за 1868 г. — в том же номере, что и глава из «Идиота». 27 октября 1869 г. Достоевский писал о рассказах своего друга из русской истории: «Я их читал, они мне нравятся безусловно...».

По возвращении в Петербург близкие отношения Достоевского и Майкова продолжались еще несколько лет; 22 марта 1874 г. Майков навещает Достоевского на гауптвахте, где тот находился под арестом за напечатание в «Гражданине» заметки «Киргизские депутаты в Петербурге». Более чем двадцатипятилетние отношения между ними охладились в начале 1875 г. из-за печатания «Подростка» в «Отечественных записках» Н. А. Некрасова и М. Е. Салтыкова-Щедрина; Майков полагал, что этой публикацией Достоевский изменяет их общему консервативному направлению (см. письма Достоевского жене от 6 и 11 февраля 1875 г.). Впрочем, даже будучи в обиде на Майкова, Достоевский считает его «несравненно лучше» Н. Н. Страхова, высказывавшего писателю аналогичные упреки (письмо жене от 12 февраля 1875 г.).

Последний инцидент, омрачивший отношения Достоевского и консервативно настроенного Майкова, произошел на ежегодном обеде петербургских профессоров и литераторов 13 марта 1879 г., превратившемся в чествование И. С. Тургенева (см.: *Сб. Достоевский, II*, стр. 364). Достоевский объяснил здесь сотрудничество с М. Н. Катковым тем, что ему надо жить и содержать семью, а журналы, которые ему более по душе, отказываются его печатать (см. воспоминания Л. Е. Оболенского: *ИВ*, 1902, стр. 501), что вызвало недовольство Майкова.

Стр. 168. *...о Валериане Майкове...* — Майков Валериан Николаевич (1823—1847) — критик-петрашевец, идейный вдохновитель 1-го выпуска «Карманного словаря иностранных слов, вошедших в состав русского языка» (1845). По его мысли, «Словарь» был призван сыграть в России роль, аналогичную той, которая во Франции принадлежала «Энциклопедии» Вольтера. От участия во 2-м выпуске «Карманного словаря...» (1846) Майков отказался, не одобряя политическую тенденциозность, придаваемую этому изданию Петрашевским (см. примеч. к стр. 117). И на «пятницы» последнего, по свидетельствам Достоевского и А. Н. Майкова, критик ходил редко (стр. 168). В 1845 г. В. Н. Майков становится соредактором журнала «Финский вестник», выступая на его страницах за создание широкой и универсальной «философии общества», опирающейся на диалектическую взаимосвязь национального и общечеловеческого факторов. В 1846 г. Майков сменил Белинского, ушедшего в «Современник», на посту ведущего критика «Отечественных записок». В это время вокруг Майкова собирается кружок молодых приверженцев французских утопистов и Л. Фейербаха, в который входил и Достоевский.

В пору сотрудничества Майкова в «Отечественных записках» воззрения критика претерпевают эволюцию: его идеалом стала всесторонне развитая, передовая, гармоническая личность; национальные условия жизни и особенности человеческой психики, как отныне полагал Майков, затрудняют достижение этого общего идеала. Гуманно-«космополитический» идеал Майкова, изложенный в статье «Стихотворения А. В. Кольцова», был оспорен Белинским в статье «Взгляд на русскую литературу 1846 г.» (о концепции Майкова и его полемике с Белинским см.: Т. Усакина. Петрашевцы и литературно-общественное движение сороковых годов XIX века. Изд. Саратовского университета, Саратов. 1965; Ю. Манн. Русская философская эстетика. Изд. «Искусство», М., 1969, стр. 266—303). Достоев-

ский, в 1846—1849 гг. испытывавший серьезное воздействие со стороны Майкова и остро сознававший свое расхождение с Белинским по ряду принципиальных вопросов, в этом споре, по-видимому, принял сторону первого, по крайней мере это делают вероятным его показания на следствии (см. примеч. к стр. 127).

Майков внимательно и заинтересованно следил за творчеством Достоевского. В статье «Нечто о русской литературе 1846 г.» (*ОЗ*, 1847, № 1) он отметил мастерство психологического анализа в «Бедных людях» и предложил оригинальное толкование конфликта Макара Девушкина и Вареньки Доброселовой: «Варвара Алексеевна — мы в этом глубоко убеждены — томилась преданностью Макара Алексеевича больше, чем своею сокрушительною бедностью, и не могла, не должна была отказать себе в праве помучить его несколько раз лакейскою ролью, только что прочувствовала себя свободною от тягостной опеки...» (*Майков*, т. I, стр. 208; ср.: наст. изд., т. I, стр. 476). В той же статье Майков высоко отозвался и о «Двойнике», «развертывающем перед нами анатомию души, гибнущей от сознания разрозненности человеческих интересов в благоустроенном обществе»; наконец, в обзоре Майкова дана положительная оценка «Господина Прохарчина»— единственная в критике 1840-х годов (см.: *Майков*, т. I, стр. 209 и 210; ср.: наст. изд., т. I, стр. 505).

В письмах Достоевского до каторги имя В. Н. Майкова всегда упоминается в дружеском контексте (см. письма брату от 17 сентября 1846 г., от 26 ноября 1846 г.). В письме брату из Петропавловской крепости от 22 декабря 1849 г., накануне отправки в каторжные работы, Достоевский в постскриптуме просил добиться возвращения нескольких книг, изъятых у него при аресте; среди них было собрание критических статей Майкова, принадлежавшее его матери. В письме к А. Н. Майкову от 18 января 1856 г. Достоевский вспомнил об этом экземпляре трудов «незабвенного Валериана Николаевича». В статье «Г-н —бов и вопрос об искусстве» (1861) Достоевский писал: «...после Белинского занялся в „Отечественных записках“ отделом критики Валериан Николаевич Майков ⟨...⟩ Валериан Майков принялся за дело горячо, блистательно, с светлым убеждением, с первым жаром юности ⟨...⟩ Много обещала эта прекрасная личность, и, может быть, многого мы с нею лишились» (стр. 70).

⟨ПОКАЗАНИЯ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО ИЗ ДЕЛА ОБ А. П. МИЛЮКОВЕ⟩

(Стр. 168)

Печатается по автографу.
Хранится: *ЦГВИА*, ф. 801, оп. 84/28, д. № 55, ч. 101, лл. 26—27; см.: *Описание*, стр. 300. Датируются июнем—августом 1849 г.
Впервые напечатано: *Бельчиков, 1936*, стр. 148—149.

Стр. 169. *...у него ∾ на славянский язык.* — См. примеч. к стр. 158.

⟨ПОКАЗАНИЯ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО ИЗ ДЕЛА О Н. А. МОРДВИНОВЕ⟩

(Стр. 169)

Печатается по автографу.
Хранится: *ЦГВИА*, ф. 801, оп. 84/28, д. № 55, ч. 107, л. 19.
Публикуется впервые.

Стр. 169. *Мордвинов* Николай Александрович (род. 1827) — кандидат Петербургского университета, чиновник Министерства внутренних дел, посещал «пятницы» Петрашевского и «субботы» Ф. С. Дурова. По свидетельству А. Н. Майкова, Мордвинов входил в конспиративный кружок во главе с Н. А. Спешневым. Майков же писал, что изготовленный по чер-

тежам П. Н. Филиппова типографский станок хранился у Мордвинова, но его родные сумели спрятать его до обыска (об этой и другой версиях, связанных с хранением типографского станка, см. выше, стр. 192, 194, 314—315, 325). Мордвинов не подвергся суду; за ним был только учрежден секретный надзор (см.: И. В. Порох. История в человеке. Н. А. Мордвинов — деятель общественного движения в России 40—80-х годов XIX в. Саратов, 1971).

⟨ПОКАЗАНИЯ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО ИЗ ДЕЛА О РОМАШОВЕ, САЛТЫКОВЕ, БЕРДЯЕВЕ, ЯШВИЛЕ; ИЗВОЗЧИКАХ: ФЕДОТЕ И МИХАИЛЕ ЯКОВЛЕВЫХ И БЛЮМ⟩

(Стр. 170)

Печатается по автографу.

Хранится: *ЦГВИА*, ф. 801, оп. 84/28, д. № 55, ч. 98, лл. 19, 23; см.: *Описание*, стр. 300. Датируется июнем — августом 1849 г.

Впервые напечатано: *Бельчиков, 1936*, стр. 147.

Стр. 170. *...встретил г-на Салтыкова...* — Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович (1826—1889) был знаком с Петрашевским еще по лицейским годам, посещал его «пятницы» с 1845 г. «Я в то время только что оставил школьную скамью, — вспоминал писатель впоследствии, — и ⟨...⟩ примкнул ⟨...⟩ к тому безвестному кружку, который инстинктивно прилепился ⟨...⟩ к Франции Сен-Симона, Кабе, Фурье, Луи Блана и в особенности Жорж-Занда. Оттуда лилась на нас вера в человечество, оттуда воссияла нам уверенность, что „золотой век" находится не позади, а впереди нас...» (*Салтыков-Щедрин*, т. XIV, стр. 111—112). Близость молодого писателя к социалистическим кружкам 1840-х годов во многом определила образ Нагибина — главного героя первой повести Салтыкова «Противоречия» (1847) (см.: В. И. Семевский. М. Е. Салтыков — петрашевец. *РЗ*, 1917, № 1; Т. Усакина. Петрашевцы и литературно-общественное движение сороковых годов XIX века. Саратов, 1965; о личных контактах Салтыкова и петрашевцев см.: *Макашин*). Публикация повестей «Противоречия» и «Запутанное дело» (1848) вызвала серьезное недовольство писателем со стороны властей: в апреле 1848 г. — за год до ареста петрашевцев — Салтыков был выслан в Вятку. Со смертью Николая I Салтыков получает право вернуться в столицу. Широкую известность приобретают его «Губернские очерки» (1856—1857), персонажей которых Достоевский воспринимает в качестве нарицательных типов (см., например, «Ряд статей о русской литературе», «Введение», 1861). До осени 1862 г. Достоевский высоко отзывается о творчестве Щедрина, ставя последнего рядом с Гоголем и подчеркивая, что направление, к которому принадлежит сатирик, «гораздо живуче, жизненней, чем положительнейшая литература...» («Два лагеря теоретиков», 1862). В 1862 г. Салтыков публикует во «Времени» свои «Недавние комедии» (№№ 4, 9). В той же 9-й книге «Времени» за 1862 г., где увидел свет «Наш губернский день» Щедрина, появилось объявление о подписке на этот журнал в 1863 г., положившее начало долгой и страстной полемике между Щедриным и Достоевским (об этом см.: *Борщевский*). Дальнейшая история журналов Достоевских — история их непрекращающейся идейной борьбы с «Современником» Н. А. Некрасова и Салтыкова. В 1863—1864 гг. Салтыков часто избирается непосредственной мишенью Достоевского (см., например, статью «Господин Щедрин, или Раскол в нигилистах», 1864). Наиболее развернутую характеристику творчества Достоевского Салтыков дал в апреле 1871 г. в рецензии на роман Н. Омулевского «Светлов» (*Салтыков-Щедрин*, т. VIII, стр. 436—438; см. также: наст. изд., т. IX, стр. 416—417).

⟨ПОКАЗАНИЯ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО ИЗ ДЕЛА О ПРИКОСНОВЕННЫХ ЛИЦАХ⟩

(Стр. 170)

Печатается по подлиннику.

Хранится: *ЦГВИА*, ф. 801, оп. 84/28, д. № 55, ч. 119, лл. 59, 84, 103, 235—236 об.; см.: *Описание*, стр. 300—301. Датируются июнем — августом 1847 г.

Впервые напечатано: *Бельчиков, 1936*, стр. 150—152.

Все лица, перечисленные в публикуемых вопросах, не имели никакого отношения к обществу петрашевцев.

⟨ПОДПИСКА Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО В ВОЕННО-СУДНОЙ КОМИССИИ⟩

(Стр. 173)

Печатается по автографу.

Хранится: *ЦГВИА*, ф. 801, оп. 84/28, д. № 55, ч. 120, л. 395; см.: *Описание*, стр. 301. Датируется второй половиной октября 1849 г.

Впервые напечатано: *Бельчиков, 1936*, стр. 168.

Стр. 173. *Но распространения* ∾ *убегал*. — См. примеч. к стр. 120.

⟨МЕМУАРНАЯ ЗАПИСЬ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО В АЛЬБОМ О. А. МИЛЮКОВОЙ ОБ ЕГО АРЕСТЕ⟩

(Стр. 174)

Печатается по автографу.

Хранится: *ИРЛИ*, Р. I, оп. 42, № 18, лл. 32—33. Запись в альбоме О. А. Милюковой от 24 мая 1860 г.; см.: *Описание*, стр. 271—272.

Впервые напечатано: *Биография*, стр. 100—102 (см. также: *Милюков*, стр. 200—203).

Стр. 174. *...мы отправились на Фонтанку, к Цепному мосту, у Летнего сада*. — Здесь помещалось III Отделение.

Стр. 175. *Антонелли* Петр Дмитриевич (род. 1825) — студент Петербургского университета, с декабря 1848 г. тайный агент И. П. Липранди в среде петрашевцев (см. выше, стр. 319). Воспоминание Достоевского о том, что имя шпиона стало известно арестованным уже утром 23 апреля 1849 г., при первой перекличке, подтверждается мемуарами Д. Д. Ахшарумова, который писал, что фамилия Антонелли была в списке петрашевцев сопровождена пояснением: «агент наряженного дела» (*Ахшарумов*, стр. 8). Тот же автор вспоминал, что еще до ареста Петрашевский «имел... некоторые сомнения в личности А⟨нтонелли⟩. На предпоследнем собрании, 15 апреля, он отозвал меня в сторону и спросил: „Скажите, вас звал к себе А⟨нтонелли⟩?" Я ответил, что звал, но я не пойду, так как его вовсе не знаю. „Я хотел предупредить вас, — сказал он мне, — чтобы вы к нему не ходили. Этот человек, не обнаруживший себя никаким направлением, совершенно неизвестный по своим мыслям, перезнакомился со всеми и всех зовет к себе. Не странно ли это, я не имею к нему доверия"» (*Ахшарумов*, стр. 9). После окончания дела петрашевцев Антонелли, рекомендованный И. П. Липранди в ряд ведомств, столкнулся с явным нежеланием даже самых верноподданных чиновников компрометировать себя покровительством шпиону, ибо роль Антонелли в деле петрашевцев приобрела огласку (так, например,

на улице агент подвергся публичному оскорблению со стороны П. И. Белецкого). Антонелли вскоре вынужден был уехать из столицы.

Стр. 175. *Вошел Леонтий Васильевич* ∾ *преприятный человек.* — Дубельт Леонтий Васильевич (1792—1862), начальник штаба корпуса жандармов, отстраненный от ведения предварительного следствия, включился в расследование дела петрашевцев только с момента их ареста (см. выше, стр. 320). Дубельт был членом Следственной комиссии. А. И. Герцен вспоминал, что в обращении с подследственными (или подозреваемыми) Дубельт всегда был учтив (см.: *Герцен,* т. IX, стр. 57—58). Это подчеркивали и многие петрашевцы. Так, И. Л. Ястржембский вспоминал, что когда во время допроса волнение мешало ему сосредоточиться, «генерал Дубельт начал меня успокаивать и посоветовал быть похладнокровнее и обдумывать свои ответы... Этот, может быть, ничтожный знак, не говорю участья, но просто человеческого отношения к обвиняемому, ободрил меня несколько» (*Петрашевцы,* т. I, стр. 161) Такое же впечатление о Дубельте осталось и у Е. И. Ламанского и у А. Н. Майкова (см.: *Петрашевцы,* т. I, стр. 170 и наст. том, стр. 192). О. Ф. Миллер предположил, что мягкое обращение Дубельта с подследственными «может объясняться тем, что дело это было поднято И. П. Липранди помимо III Отделения» (*Биография,* стр. 105).

По поводу дела петрашевцев Дубельт писал в своих заметках: «Всего лучше и проще выслать их (арестованных, — *ред.*) за границу... Право, такое наказание выгнало бы всякую дурь и у них, и у всех, кто похож на них. А то крепость и Сибирь — сколько ни употребляй эти средства — всё никого не исправляют; только станут на этих людей смотреть как на жертвы, станут сожалеть о них, а от сожаления до подражания недолго» (*ГМ,* 1913, № 3, стр. 161).

2. ДОКУМЕНТЫ

⟨СЕКРЕТНОЕ ПРЕДПИСАНИЕ III ОТДЕЛЕНИЯ ОБ АРЕСТЕ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО⟩

⟨Стр. 176⟩

Печатается по подлиннику.

Хранится: *ЦГАОР,* ф. 109, оп. 5, д. № 214, ч. 13, л. 1—2; см.: *Описание,* стр. 529.

Впервые напечатано: *Гроссман, Жизнь и труды,* стр. 55.

⟨ВЫПИСКА ИЗ «СПИСКА ЛИЦАМ, ПОСЕЩАВШИМ С 11 МАРТА СЕГО ⟨1849⟩ ГОДА СОБРАНИЯ У ПЕТРАШЕВСКОГО ПО ПЯТНИЦАМ»⟩

⟨Стр. 177⟩

Печатается по подлиннику.

Хранится: *ЦГВИА,* ф. 801, оп. 84/28, д. № 55, ч. 2, лл. 30 об.—31.

Впервые напечатано: «Полярная звезда» на 1862 г., кн. VII, вып. 1. Вольная русская типография, Лондон, 1861, стр. 60.

Целиком «Список...» входил в число документов, представленных 21 апреля 1849 г. Николаю I (см. выше, стр. 320). Инкриминируемые Достоевскому факты заимствованы из донесений Антонелли. Однако агент ошибся, приписывая Достоевскому присутствие на собраниях 11 и 25 марта 1849 г.; в своих показаниях Достоевский утверждал, что в течение всего марта он не посещал «пятниц» Петрашевского ввиду болезни, в дальнейшем Следственная комиссия учла эту поправку (см. выше, стр. 181, 185).

⟨ОТНОШЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ ПО РАЗБОРУ БУМАГ АРЕСТОВАННЫХ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СЕКРЕТНОЙ СЛЕДСТВЕННОЙ КОМИССИИ⟩

(Стр. 177)

Печатается по копии.
Хранится: *ЦГВИА*, ф. 801, оп. 84/28, д. № 55, ч. 26, л. 37—37 об.
Впервые напечатано: *Бельчиков, 1936,* стр. 94.

Текст записки Белинского см. в примеч. к стр. 164; соответствующие отрывки из письма А. Н. Плещеева Достоевскому см. на стр. 178. О двух изъятых у Достоевского книгах см. примеч. к стр. 165.

ДОНЕСЕНИЕ ⟨П. Д.⟩ АНТОНЕЛЛИ

(Стр. 178)

Печатается по копии.
Хранится: *ЦГВИА*, ф. 801, оп. 84/28, д. № 55, ч. 26, лл. 45 об.—50 об.
Впервые напечатано: *Бельчиков, 1936,* стр. 98—100.

Резюме донесений агента вместе с двумя печатаемыми ниже документами составляет предварительную сводку данных о Достоевском, на основании которой производились допросы. Сообразуясь с ходом следствия, можно предположить, что сводка датируется маем — началом июня 1849 г. (см. выше, стр. 322). Сводка имеет в подлиннике заглавный лист: «Достоевский 1-й, отставной инженер-поручик». Сводка разграфлена на четыре части. Последняя графа осталась незаполненной. Данный документ занимает 1-ю графу.

В первой фразе три мартовские даты зачеркнуты карандашом после того, как Достоевский заявил о том, что в этом месяце он был болен и никуда из дома не выходил (см. выше, стр. 140).

ПОКАЗАНИЯ СВИДЕТЕЛЕЙ

(Стр. 179)

Печатается по копии.
Хранится: *ЦГВИА*, ф. 801, оп. 84/28, д. № 55, ч. 26, лл. 45 об. —48 об.
Впервые напечатано: *Бельчиков, 1936,* стр. 101—102.

Представляют собой выборку из показаний петрашевцев о Достоевском. Входит в сводку и занимает в ней 2-ю графу.

ПОКАЗАНИЯ ОБВИНЯЕМОГО

(Стр. 179)

Печатается по копии.
Хранится: *ЦГВИА*, ф. 801, оп. 84/28, д. № 55, ч. 26, лл. 46—54.
Впервые напечатано: *Бельчиков, 1936,* стр. 103—107.

Представляет собой сжатое переложение «Объяснения» Достоевского его собственными словами. Входит в сводку и занимает в ней 3-ю графу.

ВЫПИСКА ИЗ ДЕЛА ОБ ОТСТАВНОМ ИНЖЕНЕР-ПОРУЧИКЕ ФЕДОРЕ ДОСТОЕВСКОМ

(Стр. 181)

Печатается по подлиннику.
Хранится: *ЦГВИА*, ф. 801, оп. 84/28, д. № 55, ч. 26, лл. 119—129. Датируется приблизительно первой половиной сентября 1849 г. (см. выше, стр. 328).

Впервые напечатано: «Красный архив», 1931, т. 2 (45), стр. 133—135 (публикация Н. Ф. Бельчикова).
Краткий пересказ «Объяснения» и «Показаний» Достоевского, положенный в основу «Заключения Военно-судной комиссии».

⟨ЗАКЛЮЧЕНИЕ ВОЕННО-СУДНОЙ КОМИССИИ ОБ ОТСТАВНОМ ИНЖЕНЕР-ПОРУЧИКЕ Ф. М. ДОСТОЕВСКОМ⟩

(Стр. 184)

Печатается по подлиннику.
Хранится: *ЦГВИА*, ф. 801, оп. 84/28, д. № 55, ч. 134, лл. 415а—427, 617—618. Датируется так же, как и предыдущий документ.
Впервые напечатано: *Петрашевцы*, т. III, стр. 200—207.

Здесь публикуется часть общего «Заключения военно-судной комиссии», относящаяся непосредственно к Достоевскому.
В «Заключении...» допущена ошибка: церковнославянский перевод «Слова верующего» Ф. Ламенне прочел не П. Н. Филиппов, а А. П. Милюков (см. выше, стр. 158; ср.: *Милюков*, стр. 183).

ПРИГОВОР ⟨ВОЕННО-СУДНОЙ КОМИССИИ⟩

(Стр. 189)

Печатается по подлиннику.
Хранится: *ЦГВИА*, ф. 801, оп. 84/28, д. № 55, ч. 134, л. 427—427 об. Датируется первой половиной ноября 1849 г. (см. выше, стр. 328).
Впервые напечатано: *Петрашевцы*, т. III, стр. 207—208.

В приговоре допущена ошибка: копии с письма Белинского Гоголю снимал не Н. А. Момбелли, а П. Н. Филиппов, предварительно получив этот документ от Достоевского (см. выше, стр. 178, 184).

⟨ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛ-АУДИТОРИАТА О Ф. М. ДОСТОЕВСКОМ⟩

(Стр. 189)

Печатается по подлиннику.
Хранится: *ЦГВИА*, ф. 801, оп. 84/28, д. № 55, ч. 135, лл. 28 об.—29; 57 об.—58; 67—68 об., 70 об., 91. Датируется 19 ноября 1849 г. (см. выше, стр. 328—329).
Впервые напечатано: *Петрашевцы*, т. III, стр. 298, 311—312, 324, 328, 333, 335.

Здесь публикуется часть общего «Определения генерал-аудиториата», относящаяся к Достоевскому.

⟨ПРЕДПИСАНИЕ О ВЫСЫЛКЕ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО⟩

(Стр. 190)

Печатается по подлиннику.
Хранится: *ЦГАОР*, ф. 109, оп. 5, д. № 214, ч. 13, л. 4—4 об.
Впервые напечатано: *Бельчиков, 1936*, стр. 174.

Об упоминаемом здесь фельдъегере Достоевский писал брату 22 февраля 1854 г.: «Все мы (Достоевский, С. Ф. Дуров, И. Л. Ястржембский, — *ред.*) приглядывались и пробовали нашего фельдъегеря. Оказалось, что это был славный старик, добрый и человеколюбивый до нас, как только можно представить: человек бывалый... Дорогой он нам сделал много добра. Его зовут Кузьма Прокофьевич Прокофьев».

⟨РАПОРТ ОБ ОТПРАВКЕ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО В СИБИРЬ⟩

(Стр. 191)

Печатается по копии.
Хранится: *ЦГАОР*, ф. 109, оп. 5, д. № 214, ч. 13, л. 4.
Впервые напечатано: *Бельчиков, 1936*, стр. 177.

Аналогичный рапорт И. А. Набоков отправил также военному министру А. И. Чернышеву (см.: *ЛН*, т. 22—24, стр. 703).

⟨ПИСЬМО А. Н. МАЙКОВА К П. А. ВИСКОВАТОВУ⟩

(Стр. 191)

Печатается по автографу.
Хранится: *ИРЛИ*, 13568. LXXIII, б. 12. Датируется 1885 г.
Впервые напечатано: *Сб. Достоевский, I*, стр. 266—277 (публикация Е. Б. Покровской).

Печатается часть письма, непосредственно относящаяся к событиям 1840-х годов. Адресат письма — Висковатов (Висковатый) Павел Александрович (1842—1905), историк литературы, подготовивший первое собрание сочинений М. Ю. Лермонтова в 6 томах (М., 1888—1891), в последнем томе которого опубликована первая биография поэта, написанная редактором.

Милютин Владимир Алексеевич (1826—1855), выдающийся философ, экономист и правовед, и Стасов Владимир Васильевич (1824—1906), крупнейший теоретик живописи и художественный критик, в молодости входили в кружок В. Н. Майкова, одним из членов которого был Достоевский (см. примеч. к стр. 168).

Письмо А. Н. Майкова к П. А. Висковатову имеет исключительную важность, так как этот документ и рассказ того же А. Н. Майкова, записанный А. А. Голенищевым-Кутузовым, являются единственным свидетельством участия Достоевского в конспиративном кружке ряда петрашевцев, ставившим своей целью произвести в России революцию. Приурочение визита Достоевского к Майкову с приглашением принять участие в заговоре к январю 1848 г. сомнительно: по справедливому предположению Е. Б. Покровской, этот факт скорее имел место в январе 1849 г. (см.: *Сб. Достоевский, I*, стр. 268).

⟨УСТНЫЙ РАССКАЗ А. Н. МАЙКОВА О Ф. М. ДОСТОЕВСКОМ И ПЕТРАШЕВЦАХ В ЗАПИСИ А. А. ГОЛЕНИЩЕВА-КУТУЗОВА⟩

(Стр. 193)

Печатается по автографу.
Хранится: *ЦГАЛИ*, ф. 143, оп. 1, ед. хр. 158, лл. 17—23.
Впервые напечатано: *ИА*, 1956, № 3, стр. 222—226 (публикация Н. П. Овсянниковой).

Рассказ записан в 1880-х годах близким другом Майкова поэтом Арсением Аркадьевичем Голенищевым-Кутузовым (1848—1913).

СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ

Места хранения рукописей

ГБЛ — Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина (Москва).
ИРЛИ — Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Академии наук СССР (Ленинград).
ЦГАОР — Центральный государственный архив Октябрьской революции (Москва).
ЦГВИА — Центральный государственный военно-исторический архив (Москва).

Печатные источники

Анненков — П. В. Анненков. Литературные воспоминания. Гослитиздат, М., 1960.
Ахшарумов — Д. Д. Ахшарумов. Из моих воспоминаний. Изд. «Общественная польза», СПб., 1905.
БВ — «Биржевые ведомости» (газета).
БдЧт — «Библиотека для чтения» (журнал).
Белинский — В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений, тт. I—XIII. Изд. АН СССР, М., 1953—1959.
Бельчиков — Н. Ф. Бельчиков. Достоевский в процессе петрашевцев. Изд. «Наука», М., 1971.
Бельчиков, 1936 — Н. Ф. Бельчиков. Достоевский в процессе петрашевцев. Изд. АН СССР, М., 1936.
Бем — А. Л. Бем. У истоков творчества Достоевского. Грибоедов, Пушкин, Гоголь, Толстой и Достоевский. Изд. «Петрополис», Прага, 1936.
Библиотека — Л. П. Гроссман. Библиотека Достоевского. По неизданным материалам. С прилож. каталога библиотеки Достоевского. Одесса, 1919.
Биография — Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского. СПб., 1883 (Полное собрание сочинений Ф. М. Достоевского, т. I).
Блок — А. Блок. Собрание сочинений, тт. I—VIII. Гослитиздат, М.—Л., 1960—1963.
Борщевский — С. Борщевский. Щедрин и Достоевский. История их идейной борьбы. Гослитиздат, М., 1956.
Боткин — В. П. Боткин. Сочинения, тт. I—III. СПб., 1890—1893.
ВЕ — «Вестник Европы» (журнал).
Виноградов — В. В. Виноградов. Эволюция русского натурализма. Гоголь и Достоевский. Изд. «Academia», Л., 1929,

Вр — «Время» (журнал).
Герцен — А. И. Герцен. Собрание сочинений, тт. I—XXX. Изд. АН СССР — «Наука», М., 1954—1966.
ГМ — «Голос минувшего» (журнал).
Гоголь — Н. В. Гоголь. Полное собрание сочинений, тт. I—XIV. Изд. АН СССР, М., 1937—1952.
Гозенпуд — А. Гозенпуд. Достоевский и музыка. Изд. «Музыка», Л., 1971.
Гончаров — И. А. Гончаров. Собрание сочинений, тт. I—VI. Гослитиздат, М., 1959—1960.
Гр — «Гражданин» (журнал).
Григорович — Д. В. Григорович. Литературные воспоминания. Гослитиздат, М., 1961.
Григорьев, Воспоминания — А. А. Григорьев. Воспоминания. Изд. «Academia», М.—Л., 1930.
Гроссман, Биография — Л. П. Гроссман. Достоевский. Изд. 2-е, испр. и доп. Изд. «Молодая гвардия», М., 1965.
Гроссман, Жизнь и труды — Л. П. Гроссман. Жизнь и труды Ф. М. Достоевского. Биография в датах и документах. Изд. «Academia», М.—Л., 1935.
Гроссман, Семинарий — Л. П. Гроссман. Семинарий по Достоевскому. Материалы, библиография и комментарии. ГИЗ, М.—Пгр., 1922.
Д — «День» (газета).
ДБ — «Домашняя беседа» (журнал).
Дело петрашевцев — Дело петрашевцев, тт. I—III. Изд. АН СССР, М.—Л., 1937—1951.
Деркач — С. С. Деркач. Добролюбов и Достоевский. В кн.: Н. А. Добролюбов — критик и историк русской литературы. Изд. ЛГУ, Л., 1963, стр. 97—131.
Д, Материалы и исследования — Ф. М. Достоевский. Материалы и исследования. Под ред. А. С. Долинина. Изд. АН СССР, Л., 1935.
Добролюбов — Н. А. Добролюбов. Собрание сочинений, тт. I—IX. Гослитиздат, М.—Л., 1961—1964.
Долинин, Достоевский среди петрашевцев — А. С. Долинин. Достоевский среди петрашевцев. В кн.: *Звенья*, т. VI, стр. 512—545.
Достоевская, А. Г., Воспоминания, — А. Г. Достоевская. Воспоминания. Изд. «Художественная литература», М., 1971.
Достоевская, Л. Ф. — Достоевский в изображении его дочери Л. Ф. Достоевской. ГИЗ, М.—Л., 1922.
Достоевский, А. М. — А. М. Достоевский. Воспоминания. «Изд. писателей в Ленинграде», 1930.
Достоевский в воспоминаниях — Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников, тт. I—II. Изд. «Художественная литература», М., 1964.
Достоевский и его время — Достоевский и его время. Под ред. В. Г. Базанова и Г. М. Фридлендера. Изд. «Наука», Л., 1971.
ДП — «Дневник писателя».
Д, Письма — Ф. М. Достоевский. Письма, тт. I—IV. Под ред. А. С. Долинина. ГИЗ — «Academia» — Гослитиздат, Л.—М., 1928—1959.
Дружинин — А. В. Дружинин. Собрание сочинений, тт. I—VIII. СПб., 1865—1867.
Записка о действиях — Записка о действиях секретной следственной комиссии. В кн.: *Петрашевцы, 1907*.
Звенья — Звенья. Сборники материалов и документов по истории литературы, искусства и общественной мысли XIV—XX вв., тт. I—IX. Изд. «Academia» — Госкультпросветиздат, М. — Л., 1932—1951.
И — «Искра» (журнал).
ИА — «Исторический архив» (журнал).
ИВ — «Исторический вестник» (журнал).
ИЗ — «Исторические записки» (журнал).
Кирпотин — В. Я. Кирпотин. Ф. М. Достоевский. Творческий путь (1821—1859). Гослитиздат, М., 1960,

Кирпотин, Достоевский в шестидесятые годы — В. Я. Кирпотин. Достоевский в шестидесятые годы. Изд. «Художественная литература», М., 1966.
Кирпотин, Достоевский и Белинский — В. Я. Кирпотин. Достоевский и Белинский. Изд. «Советский писатель», М., 1960.
Кирпотин, Достоевский — художник — В. Я. Кирпотин. Достоевский — художник. Изд. «Советский писатель», М., 1972.
Комарович — В. Комарович. Юность Достоевского. «Былое», 1924, № 23, стр. 3—43.
ЛА — Литературный архив. Материалы по истории литературы и общественного движения, тт. 1—6. Изд. АН СССР, М. — Л., 1938—1961.
ЛГ — «Литературная газета».
Лейкина — В. Р. Лейкина. Петрашевцы. М., 1924.
Липранди, Записки — Записки И. П. Липранди. В кн.: *Петрашевцы, 1907*.
Липранди, Мнение — Отрывок из мнения действительного статского советника Липранди. В кн.: *Петрашевцы, 1907*.
ЛН — «Литературное наследство», тт. 1—88. Изд. АН СССР — «Наука». М., 1931—1974. Издание продолжается.
Майков — В. Н. Майков. Сочинения, тт. I—II. Киев, 1901.
Макашин — С. Макашин. Салтыков-Щедрин. Биография, т. I. Изд. 2-е. Гослитиздат, М., 1951.
Материалы и исследования — Достоевский. Материалы и исследования. Тт. I и II. Под ред. Г. М. Фридлендера. Изд. «Наука», Л., 1974, 1976.
МВ — «Московский вестник» (журнал).
МВед — «Московские ведомости» (газета).
Милюков — А. П. Милюков. Литературные встречи и знакомства. СПб., 1890.
Михневич — Вл. Михневич. Петербург весь на ладони. СПб., 1874.
НВр — «Новое время» (газета).
Некрасов — Н. А. Некрасов. Полное собрание сочинений и писем, тт. I—XII. Гослитиздат, М., 1948—1953.
Нечаева — В. С. Нечаева. Предисловие. В кн.: Ф. М. Достоевский. Петербургская летопись. Четыре статьи 1847 г. (Из неизданных произведений). Изд. «Эпоха», Пб. — Берлин, 1922, стр. 7—23.
Нечаева, «Время» — В. С. Нечаева. Журнал М. М. и Ф. М. Достоевских «Время», 1861—1863. Изд. «Наука», М., 1972.
О Достоевском — О Достоевском. Сборник статей, вып. I—IV. Под ред. А. Л. Бема. Прага, 1929—1936.
ОЗ — «Отечественные записки» (журнал).
Описание — Описание рукописей Ф. М. Достоевского. Под ред. В. С. Нечаевой. М., 1957 (Библиотека СССР им. В. И. Ленина — Центральный государственный архив литературы и искусства СССР — Институт русской литературы АН СССР).
Панаев — И. И. Панаев. Литературные воспоминания. Ред. текста, вступ. статья и прим. И. Ямпольского. Гослитиздат, М., 1950.
Панаев, Сочинения — И. И. Панаев. Собрание сочинений, тт. I—VI. Изд. М. В. Саблина, М., 1912.
Панаева — А. Я. Панаева. Воспоминания. Изд. «Художественная литература», М., 1972.
Петрашевцы — Петрашевцы. Сборники материалов, тт. I—III. Под ред. П. Е. Щеголева. ГИЗ, М. — Л., 1926—1928.
Петрашевцы, 1907 — Петрашевцы. Изд. М. В. Саблина, М., 1907.
Писарев — Д. И. Писарев. Сочинения, тт. I—IV. Гослитиздат, М., 1955—1956.
Произведения петрашевцев — Философские и общественно-политические произведения петрашевцев. Госполитиздат, М., 1953.
РА — «Русский архив» (журнал).
РБ — «Русская беседа» (журнал).
РВ — «Русский вестник» (журнал).
РЗ — «Русские записки» (журнал).

РИ — «Русский инвалид» (газета).
Р и *П* — «Репертуар и Пантеон» (журнал).
РЛ — «Русская литература» (журнал).
РМ — «Русская мысль» (журнал).
РС — «Русская старина» (журнал).
РСл — «Русское слово» (журнал).
С — «Современник» (журнал).
Салтыков-Щедрин — М. Е. Салтыков-Щедрин. Собрание сочинений в двадцати томах, тт. I— XVIII. Изд. «Художественная литература», М., 1965—1976. Издание продолжается.
Самарин — Ю. Ф. Самарин. Сочинения, тт. I—VIII. М., 1878—1896.
Сб. Достоевский, I — Ф. М. Достоевский. Статьи и материалы. Сборник I. Под ред. А. С. Долинина. Изд. «Мысль», Пб., 1922.
Сб. Достоевский, II — Ф. М. Достоевский. Статьи и материалы. Сборник II. Под ред. А. С. Долинина. Изд. «Мысль», Л. — М., 1924.
Св — «Светоч» (журнал).
Семевский — М. И. Семевский. Царевич Алексей Петрович. *РСл*, 1860, № 1, стр. 1—66.
Семевский, Петрашевский — В. И. Семевский. Буташевич-Петрашевский и петрашевцы, ч. I. Изд. «Задруга», М., 1922; также в кн.: В. И. Семевский. Собрание сочинений, т. III. Изд. «Задруга», М., 1922.
СЛ — «Современная летопись» (журнал).
СП — «Северная пчела» (газета).
СПбВед — «Санктпетербургские ведомости» (газета).
Творчество Достоевского — Творчество Ф. М. Достоевского. Изд. АН СССР, М., 1959.
Тургенев, Письма — И. С. Тургенев. Полное собрание сочинений и писем в двадцати восьми томах. Письма, тт. I—XIII. Изд. АН СССР — «Наука», М.—Л., 1961—1968.
Тургенев, Сочинения — И. С. Тургенев. Полное собрание сочинений и писем в двадцати восьми томах. Сочинения, тт. I—XV. Изд. АН СССР — «Наука», М.—Л., 1960—1968.
Фельетоны — Фельетоны сороковых годов. Изд. «Academia», М.—Л., 1930.
Фридлендер — Г. М. Фридлендер. Реализм Достоевского. Изд. «Наука», М.—Л., 1964.
Фридлендер, У истоков «почвенничества» — Г. М. Фридлендер. У истоков «почвенничества» (Ф. М. Достоевский и журнал «Светоч»). «Известия АН СССР». Серия литературы и языка, 1971, № 5, стр. 411—416.
Фридлендер, Эстетика Достоевского — Г. М. Фридлендер. Эстетика Достоевского. В кн.: Достоевский — художник и мыслитель. Изд. «Художественная литература», М., 1972, стр. 97—164.
Хомяков — А. С. Хомяков. Полное собрание сочинений, тт. I—VIII. М., 1900—1907.
Чернышевский — Н. Г. Чернышевский. Полное собрание сочинений, тт. I — XVI. Гослитиздат, М., 1939—1953.
1883 — Ф. М. Достоевский. Полное собрание сочинений, тт. I—XIV. СПб., 1882—1883.
1918 — Ф. М. Достоевский. Полное собрание сочинений, тт. I—XXIII. Изд. «Просвещение», Пб., 1911—1918.
1926 — Ф. М. Достоевский. Полное собрание художественных произведений, тт. I—XIII. Под ред. Б. Томашевского и К. Халабаева. Госиздат, М.—Л., 1926—1930.

СОДЕРЖАНИЕ

Печатается по постановлению
Редакционно-издательского совета
Академии наук СССР

*

Тексты подготовили и примечания составили:
Е. И. КИЙКО, Т. И. ОРНАТСКАЯ, А. Л. ОСПОВАТ,
В. П. СТЕПАНОВ, Б. В. ТОМАШЕВСКИЙ,
В. А. ТУНИМАНОВ, Г. М. ФРИДЛЕНДЕР

Редакторы XVIII тома
В. А. ТУНИМАНОВ, Г. М. ФРИДЛЕНДЕР

*

ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ ДОСТОЕВСКИЙ

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

Том XVIII

Редактор издательства *К. Н. Феноменов*
Оформление художников *С. Н. Тарасова* и *Л. А. Яценко*
Технический редактор *М. Н. Кондратьева*
Корректоры *Н. П. Кизим, Г. А. Мошкина* и *Т. Г. Эдельман*

Сдано в набор 02.07.76. Подписано к печати 20.12.78. Формат 60×90 1/16. Бумага типографская № 1. Гарнитура обыкновенная Печать высокая. Печ. л. 23.25+1 вкл. (0.12 печ. л.) = 23.37 усл. печ. л. Уч.-изд. л. 30.73. Тираж 50 000. Изд. № 6271. Тип. зак 967.
Цена 3 р. 40 к.

Издательство «Наука», Ленинградское отделение
199164, Ленинград, В-164, Менделеевская линия, 1

Отпечатано с матриц ЛПТО «Печатный Двор»
в Ордена Трудового Красного Знамени
Первой типографии издательства «Наука»
199034, Ленинград, В-34, 9 линия, 12